



Annotation

«Сердце Пармы», вероятно, самый известный роман писателя Алексея Иванова, автора таких бестселлеров, как «Золото бунта» и «Географ глобус пропил». Две могучие силы столкнулись на древней пермской земле. Православный Господь, именем которого творят свои дела люди великого князя Московского, и языческие боги вогулов, темные и пугающие. Две культуры, две цивилизации, два образа жизни... Но так ли велика пропасть между ними? Столь ли сильно отличаются таежные язычники от богобоязненных христиан? Здесь, на Урале, в крови и пламени куется новая культурная общность, сплетаются судьбы людей и народов.

Здесь шаманы-смертники на боевых лосях идут в бой сквозь кровавый морок, здесь дышит и гудит гора Мертвая Парма, прибежище беглецов, здесь предают и убивают ради древней Канской Тамги, дающей власть над племенами и народами, здесь загадочно улыбается Золотая Баба, кружащая головы русским ратникам, а в чащобе рыщет огненный ящер Гондыр. «Огромный, разветвленный и невероятно увлекательный роман о том, как люди, боги и народы идут дорогами судьбы» — так охарактеризовал «Сердце Пармы» писатель Леонид Юзефович.

Роман впервые публикуется в полной авторской редакции.

- [Алексей Иванов](#)
 - [ЧАСТЬ 1](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [ЧАСТЬ 2](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)

- [Глава 14](#)
 - [Глава 15](#)
 - [Глава 16](#)
 - [ЧАСТЬ 3](#)
 - [Глава 17](#)
 - [Глава 18](#)
 - [Глава 19](#)
 - [Глава 20](#)
 - [Глава 21](#)
 - [Глава 22](#)
 - [Глава 23](#)
 - [Глава 24](#)
 - [ЧАСТЬ 4](#)
 - [Глава 25](#)
 - [Глава 26](#)
 - [Глава 27](#)
 - [Глава 28](#)
 - [Глава 29](#)
 - [Глава 30](#)
 - [Глава 31](#)
 - [Глава 32](#)
-

Алексей Иванов

Сердце Пармы

*Вы — свет мира. Не может укрыться город,
стоящий на верху горы.*

Матфей 5:14

ЧАСТЬ 1

6963 год

Глава 1

Мертвая Парма

Зеленое золото Вагирйомы тускло отблескивало сквозь прорези в кожаном шатре, расшитом понизу багрово-красными ленточками. Шатер стоял на помосте, укрепленном на спинах двух оленей, что устало шагали за конем хонтуя. Позади остался длинный путь от родного Пелыма, путь извилистый и непростой: через многие хонты своей земли, через священное озеро Турват, на жертвенники у Ялпынга, по отрогам Отортена и на полдень по Каменной ворге до самых Басегов. Хаканы встречали караван, меняли быков, помогали тянуть лодки вверх по рекам, тащили через перевалы, и прощались, отправляя вместе с хонтуем по два-три воина от своих селений. К тому времени, как Вагирйому довели до Чусвы, у Асыки уже собрался сильный отряд в семь десятков манси. Оставив плоты у последнего павыла перед устьем Туявита-Сылвы, хонтуй повел караван лесами напрямик к Мертвой Парме.

Вековой ельник заслонил небо растопыренными космами, и только вдали, перед Пармой, вспыхивали слепящие пятна заката среди разошедшихся вершин. На тропе, заросшей орляком, загроможденной обомшелым валежником, было холодно и сумрачно. Сумрачно было и на душе у князя. Прежде чем везти сюда Вагирйому, он объехал свои владения, и теперь с ним лучшие манси, сын Юмшан и сыновья хаканов, с ним пурихумы-жертвы и благословение Ялпынга. Но нет в его отряде людей северной Югры, нету ернов и саранов, нету нагаев, башкортов, Казани, сибиров, печоры... Некогда их ждать. Омель уже вбил свой кол.

Древней тропой от Сылвы на Мертвую Парму давно, видно, никто не пользовался. Папоротник, буреломы... Заплыли белой смолой вырезанные на еловых стволах сопры. Затянуло корой вбитые в деревья тамги, что указывают путь. Может, и лесные духи уже покинули парму? Шаман дремлет на спине оленя, держась за подпиленные рога и покачивая шест, на котором тихо звякает бубенчик, отгоняющий духов в тайгу.

Но вот конь под хонтуем вздрогнул, мотнул головой и фыркнул. Зверь раньше человека учует куля, который, почти невидимый, увяжется за путником. Успокаивая, Асыка ласково потрепал коня между ушами. Хороший конек. Нята — Олененок. Два года назад он спас князю жизнь, когда на переправе через вздувшуюся Бур-Хойлу его сбило с ног...

Шаман встрепнулся и затряс колокольчиком, качая рогами мохнатой

шапки. Караван выходил к Брошенному Городищу. С болотистой опушки открывался вид на Мертвую Парму. Огромная, похожая на медведя гора заросла могучими деревьями, но все они умерли, стояли сухие, голые, без коры, без хвои, без листьев. От заката лес-покойник пожелтел, как мамонтова кость. Брошенное Городище темнело у подножия горы, одним краем затонув в болоте. Сквозь чахлое, кривое редколесье князь разглядывал его, на ходу отмахиваясь от комаров еловой лапкой.

Валы заросли дремучей и серой от паутины малиной, из которой торчали кривые зубцы частокола. Постройки обрушились. Из сырых ям высывались сгнившие, осклизлые бревна. Тонкие березки, словно птичья стая, разлетелись по Городищу. Заплесневев по шее, идолы-охранители косо чернели среди белых стволов. Бесстыже ярко горели мухоморы, и пучки поганок дрожали на трухлявых пнях.

Легкий озноб обметал виски князя, заставив вздрогнуть монеты на шапке. Дурное место. Так и чудится желтый, немигающий взгляд куля откуда-нибудь из болота. Ночами духам нравится приходить в покинутые людьми селения и играть там в свою любимую игру — в людей. Они сидят в ямах, как в домах, ходят в гости, роют землю, таскают бревна, но потом забывают смысл игры и дико скачут по обвалившимся частоколам, вылезают в окна, прыгают с крыши на крышу, висят гроздьями на ветвях и оголившихся стропилах... Князь сплюнул в сторону Городища и положил ладонь на тамгу, нашитую на грудь кожаной рубахи.

Караван не спеша двигался вдоль склона Мертвой Пармы. «Гляден — так называют ее русы», — думал князь. Понизу гору охватывала ветхая изгородь, клонящаяся то наружу, то внутрь. Трава зелено-белесыми языками забиралась вверх, но чахла, сменяясь прелой хвоей и мхом. Скелеты деревьев неподвижно топорщили изломанные ветви над этой странной, застрывшей на отмели времени горой.

Обогнув плечо Пармы, караван миновал ворота со столбами-идолами, чьи остановившиеся глаза налились кровью камского заката. Невдалеке стрельнула искрой темная полоса речушки. Асыка, обогнав шамана, первым вывел Няту к травянистому берегу. Правее, на песчаном обрывчике, стояли балбаны родов — и совсем старые, побелевшие, треснувшие вдоль волокон, и новые, еще желтеющие свежей древесиной. Зверолицые, птицеголовые, рогатые, с человеческими личинами, глубоко врезанными в деревянную грудь... Воины каравана спешили, заходили по колено в воду, умывались. Звеня удилами, шумно пили кони и олени.

Дождавшись, когда Нята напьется, князь тронул его и тихо поехал вдоль берега вниз по течению. Проплыло по правую руку устье Юрчима, и

с пригорка открылся весь Шаманский город. Он стоял посреди широкой вырубки, ошетилившись частоколами и шестами, и над ним огненным крылом Торума взметнулся закат.

По утоптанной земле Священной дороги хонтуй медленно приближался к высоким валам с гребнем тына, к сторожевым вышкам на длинных и тонких ногах. По обе стороны дороги из кустов торчали черные головы истуканов. Могучие Перы-защитники высились над стенами, свирепо и невидяще впялившись в путников выжженными дырами глаз. За частоколом виднелись острые углы односкатных пермяцких керку. Над ними густо и враскось взлетали ввысь шесты с колокольчиками, фигурками духов, пучками лент, лисьими и волчьими хвостами, птичьими колодинками. Навстречу хонтую из раскрытых ворот с лаем покати́лась орава разномастных косматых псов, запрыгавших вокруг Няты. Сквозь собачий брех в городе слышалось отдаленное позвякивание молотков и шорох зернотерки.

Князь остановил коня у моста, переброшенного через ров. Трещали кузнечики, орали вдалеке лягушки, отфыркивался Нята. В проеме ворот появился человек. Он тоже остановился и молчал. Князь не произнес ни слова, разглядывая шамана и поджидая свой отряд. До темноты пришельцам нужно соблюдать молчание, чтобы духи, немые для обычных людей, могли хорошенько вызнать их, а ночью, когда для них наступит время говорить, дали ответ.

Отряд постепенно собирался за спиной князя. Собаки метались под ногами лошадей и оленей, клацали зубами у самых ног всадников, но их никто не гнал ни окриком, ни плетью, ни палкой. Асыка ждал, щурясь на закат и рассматривая город.

Не таким уж и неприступным выглядел он вблизи. Валы начали оплывать. В щелях частокола видны были подпорки, изнутри приставленные к бревнам. Давно не чищенный ров заполняла черная вода, затянутая ряской, над которой дрожали комары. Сторожевые вышки обветшали и рухнули бы под тяжестью двух-трех лучников, а лестницы, ведущие на боевые площадки, недосчитывались ступеней. Только черепа на кольях — оленьи, медвежьи, человечесьи — выглядели устрашающе. На страх и полагались шаманы, оберегая свой город. Но тот враг, который придет, не испугается ни черепов, ни идолов, ни богов. Он устрашится лишь того, что сейчас принес сюда в своей груди князь Асыка.

Город шаманов умел многое. Он восходил к богам и нисходил к ящерам, изгонял демонов и призывал духов, он знал, как направить умершего к Полуночному морю и как вернуть его обратно, он считал

звезды, предугадывал будущее и помнил прошлое, он умел лечить людей и добывать металл, сочинять песни и вырезать идолов, он ссорил и мирил народы. Но шаманы не умели двух самых простых вещей в этой жизни — кормить себя и бороться с судьбой. Он, князь Асыка, пришел сказать, что сделает это за них, если они поверят ему, поймут его и передадут его волю Вагирйоме.

Последний воин нагнал поджидающий караван, и князь движением колен направил Няту по мосту. Человек в воротах отступил в сторону, пропуская князя, и пошагал вслед за ним рядом с шатром Вагирйомы, звоном бубенчика на шесте отгоняя тени зла от ее зеленого золота.

Глава 2

Хумляльт

Верховный шаман — пам — проснулся словно от толчка. Значит, где-то на другом краю Вышкара в это время проснулся князь Асыка. Тонкие нити уже связали пама с хаканом, хотя они еще и не видели друг друга. Пам тяжело поднялся на своем низком лежаке и прикрыл ладонями глаза, останавливая бешеное мельтешение миров, сквозь которые навстречу пробудившемуся разуму неслась издалека его душа. Опершись на посох, пам встал, нашарил на столе бронзовую рукоятку огнива, высек искру на трут из бересты и, поддувая, запалил о него острый конец лучинки, пропитанной горючей смолой. «Пусть хакан видит свет в моем окне и приходит сюда», — подумал пам, опуская лучинку в горшок на плоском блюде, залитом водой.

Посохом открыв дверь, пам вышел из своего керку во двор. Над землей, над Вышкаром, дико лучилась полночь. Луна висела над Мертвой Пармой, превращая белый сухостой в колючие кристаллы хрусталя, которыми гора обросла, как изморозью. Где-то в страшной дали, опустив голову, созвездие Сохатого пило чувинскую воду, а над Камой распахала вечную тьму Звездная ворга. Пам подошел к низкой ограде двора и остановился, подперев посохом грудь. Легкий камский ветер забросил на лицо длинные белые волосы шамана, оплел запястья прядями бороды.

Вышкар спал, только у ворот тлел костер караульных да на кузнечном дворе в щелях домничной землянки то вспыхивал, то гас багровый ответ и вздыхали меха. Воины хакана тоже спали в отведенных им гостевых керку. Дом, где поместили князя и троих княжат, находился рядом с загоном. Пам увидел, как, задумчиво поправив полог на проеме входа, высокий человек направился к изгороди. «Нята, Нята!» — шепотом позвал он. Разбуженные кони глухо переступали копытами. Между жердей высунулась голова Няты, и Асыка протянул коню на ладони угощение.

Напрямик, сквозь лопухи и мерцающие во тьме заросли крапивы, мимо пустых домов и собачьих шалашей князь зашагал на пригорок, ко двору пама. Шаман в лунном свете молча разглядывал лицо хакана — узкое, скуластое, как маска безжизненное, резко очерченное линией сивых волос, натуго стянутых в две косы.

— Входи, — сказал пам остановившемуся у калитки князю.

Пам знал, что про него говорят, будто он видит людей насквозь. Это

было правдой. Пам видел души человека — две, три, пять, у кого сколько есть. Душа-ворон живет с предками. Душа-филин с духами. Душа-сокол с богами. Душа-лебедь — там, выше богов, где движутся судьбы. А последняя душа, живущая с людьми, у всех разная — у кого утка, у кого воробей, у кого ястреб. В хакане Асыке пам не увидел ни одной души. Он был глух и целен, как камень.

Хакан остановился на пороге и провел пальцем по фигурным пластинам замка на двери, а затем, прищурившись, оглядел жилище пама. Старый шаманский керку был сложен из огромных, уже замшелых бревен с врезанными в них тамгами. Под самыми стропилами в узком волоковом окне синели звезды. Пам заменил догоравшую лучину в горшке. Огонек осветил кровлю из берестяных полос, на которой зашевелились причудливые косматые тени от пучков трав, висевших на стропилах. Стол был завален кусочками кожи, обрезками кости, черепками. На чувале, в котором догорали угли, громоздился древний, позеленевший котел со щербатиной на краю и обломанным ухом. На деревянном гвозде висела траченная молью одежда шамана, расшитая амулетами и бахромой. В изголовье низкого лежака под шкурой, служившей покрывалом, желтел медвежий череп. Покосившиеся полки были заставлены драгоценными болгарскими, персидскими, арабскими блюдами, туесками и горшочками с зельями. Один угол керку занимала груда коробов, в другом друг на друга были навалены резные чурки-иттармы, в которых жили души бывших шаманов Мертвой Пармы, предшественников пама. В земляной пол были втоптаны угли, обрезки кожи и отщепы костей, перья птиц, уже ответившие на вопросы пама и больше не нужные. Над входом топырились огромные лосиные рога.

— Чего тебе надо, хакан? — спросил пам, деревянной кочергой шевеля головни в чувале.

— Я хочу увидеть Канскую Тамгу.

— У меня ее нет. Она там, где и должна быть, — на иттарме последнего кана.

— Проводи меня туда, старик.

— Ты увидишь ее завтра, во время жертвоприношения.

Хакан помолчал, наблюдая, как шаман бронзовой ложкой на длинном черенке вылавливает из котла угольки.

— Я хочу увидеть ее сейчас. Проводи меня. Я тебя прошу.

Пам подумал и опустил ложку в котел.

Они медленно шагали по Священной дороге. Трещали кузнечики, во

рву у Вышкара пели лягушки, в реке изредка всплескивала рыба. Неприкаянные духи бродили по лесу, шумели ветвями, вздыхали, перешептывались. Только Мертвая Парма горбилась, как глыба подземной тишины. Однако для пама она не была горой мрака и безмолвия. Для старого шамана она была словно бы мускул огромного сердца земли, которое обнажилось из-под почвы и медленно бьется вместе с высоким ходом судеб, что, как тучи, плывут над памом и князем, над Мертвой Пармой, над народами, богами и звездами.

— Скажи мне, хакан, ведь посвящение молодых князей — это только повод привезти Вагирйому туда, где находится Канская Тамга, так?

— Так, — согласился Асыка. — Я хочу получить Канскую Тамгу.

— Но ведь с тобой нет ни хакана, ни хонтуев от Югры. И наш князь в Йемдыне служит русам за пьяную воду, как собака за кость. И о намерении твоём не знают другие народы Саранпала и Мансипала. И те, кто считает себя нашими хозяевами, не давали на это своего разрешения. И даже твой собственный народ не знает, зачем ты поехал к Мертвой Парме...

— У меня нет хозяев, чтобы я выпрашивал позволения, — жестко ответил Асыка. — А мой народ и другие народы пойдут за мной, когда у меня будет Тамга.

— Откуда ты знаешь? Ты умеешь читать будущее?

— Я знаю, пам. Для этого знания мне не нужно гадать по перьям, не нужно следить за полетом священных птиц, не нужно выпускать кишки жертвенным козам. Я знаю, пам. И поэтому я хочу, чтобы ты отдал мне Канскую Тамгу без сомнений.

«Хумляльт», — понял пам. Князь Асыка — хумляльт. Человек, идущий навстречу. Человек призванный, человек одержимый. Князь Асыка, убивший отца, живущий без старости, изгнавший жену-ламию, — хумляльт. Он не вершит судьбами народов и земли, ибо судьбы эти вершатся сами собой по законам, которым подчиняются даже боги. Но если судьбу народа уподобить обвалу, камнепаду, то князь будет в нем самым большим камнем, что катится впереди всех, расшибает преграды и торит путь, по которому вслед за ним несутся прочие валуны. Не зря пам увидел князя глухим, как скала. У хумляльта нет ни одной души.

— Канская Тамга дается только общим решением людей наших гор...

— Неправда. Ты сам это знаешь, старик. Кан Кудым получил ее от своего увтыра. Кан Реда получил Тамгу от тех, кто потом, изгнав соплеменников, назвал себя «вису». Кан Атыла взял ее себе сам. Еще нужно вспоминать, старик?

Шаман долго молчал, сокрушенно качая головой.

— Но тебе не удержать ее, хакан, — наконец сказал он. — Почему?

— Я помню историю про сына хакана Кероса. Он ведь поменял свою тамгу русскому мальчику на серебряный крест...

Асыка недобро усмехнулся.

— А когда Керос хотел за это лишить сына родства, сын убил отца и в двенадцать лет сам стал хаканом, завладев его тамгой, — закончил историю князь. — Но это было давно, старик. Я думал, что у тех событий на Мамыльском пороге осталось только три свидетеля — я сам, русич Калын и моя жена Айчейль, ламия...

— Свидетелем тому был не я, а мой брат. Он уже состарился и умер, хотя был младше меня. Смотри, хакан, какой я дряхлый — ноги меня не слушаются, глаза слепнут, волосы поседели... А ведь я тебя моложе. Почему же ты не стареешь? Ты и вправду бессмертен, хакан, как все хумляльты и ламии?

— Ты ведь лучше меня знаешь порядок вещей в мире, старик. Бессмертен любой, кто не доделал своего дела.

Глава 3

Канская Тамга

Два высоких идола — богатыри Играмшор и Шавельшор — держали тяжелую балку ворот, ведущих в пределы Мертвой Пармы. За воротами стеной стоял погибший лес. Наверное, такие же леса растут на проклятых островах Пети-Ур в ледяном полуночном океане, по которым в вечной тьме, стеной, скитаются души предателей. Пам чувствовал, что в этих высохших и окаменевших стволах нет ничего и никого — ни духов, ни кулей, ни демонов. Разве что злая мансийская ведьма Таньварпеква заглядывала сюда, но сразу же мчалась дальше на своем седом волкелюдоеде Рохе. «„Холатур“ — так манси называют Мертвую Парму», — вспомнил шаман.

— Зачем тебе Канская Тамга, князь? — спросил он, первым шагая по чернеющей во мху тропинке.

— Настало время войны.

— Ты хочешь изгнать русов? Чем они тебе мешают?

— Ты и сам знаешь ответ, старик.

Шаман концом посоха сдвинул с пути белую ветку с семью скрюченными пальцами.

— Рус русу рознь, — сказал он. — Новгородцы — да, это волки, рвущие живое мясо. Но московиты идут к нам с миром. Они строят здесь свои селения, растят своих детей и, как мы, терпят притеснения от своего кана. Но ведь русский кан не жаден. Казани мы платим харадж в три танги с лука, а ясак русов вчетверо меньше — всего два соболя. Даже самый захудалый охотник сможет за год добыть двух соболей, чтобы откупиться от кана русов.

— Почему на своей земле мы должны откупаться от чужеземцев?

— Лучше откупиться соболями, чем кровью.

Тонкие и высокие ели с редкими сучьями и голыми вершинами торчали по склону густо, как копья хонта, воткнутые в погребальный курган его хонтуя. В неровной россыпи звезд над Мертвой Пармой зияли дыры, словно некоторые звезды сорвались и упали вниз, будто спелые кедровые шишки. Если Поясовые горы — и вправду великан Кам, уснувший после своего подвига, то Мертвая Парма — это его колчан. Весенние ливни и осенние бури ломали умершие деревья, но те не падали, а зацеплялись за собратьев и так и висели в высоте.

Это остановившееся движение еще больше омертвляло и без того страшный лес. Кое-где среди стволов торчали вертикально вкопанные лестницы, чтобы боги могли спуститься по ним на землю к людям. Но паму казалось, что эти лестницы выдвинули из недр подземные человечки сиртя: видно, жить в оцепеневшей горе им стало так жутко, что они бежали из глубин на небо.

Пам свернул на боковую тропинку в обход горы, где росла священная ель — единственное живое дерево на Мертвой Парме.

— Русы-новгородцы — давние наши враги, — сказал Асыка. — А давние враги — это почти друзья. Как и всем прочим, им нужны были наши богатства. За эти богатства они честно платили кровью и уходили. Но москвитам кроме наших сокровищ нужна еще и вся наша земля. Они шлют сюда своих пахарей с женами и детьми, чтобы те своим трудом и кровью пустили в нашу землю свои корни. Если они сумеют это сделать, выкорчевать их отсюда станет невозможно, потому что земля наша каменная, и их корни обовьются вокруг камней.

— Что ж, — возразил пам, — если они так хотят, то пусть платят кровью, пускают корни и живут. Наши предки поступали так же.

— Нет, ты меня не понимаешь, старик, — с досадой сказал князь. — Можно мириться с набегами врагов, но нельзя мириться с их богами. Враги приносят к нам свои мечи, а москвиты принесут нам своего бога. Мечи мы сможем отбить, а с богами человеку никогда не справиться. Если мы покоримся богу москвитов, то у нас уже не будет ни родных имен, ни песен, ни памяти — ничего.

Шаман глубоко задумался. Еловые остроги постепенно сменялись островами берез, кедров, сосен, лиственниц — тропа выводила к древней части святилища на том склоне, под которым затонуло в болоте брошенное городище. Появились прогалины, на которых лежали полуистлевшие идолы легендарного народа Велмот-Вор, ушедшего с земли больше тысячи лет назад. Этот народ поклонялся богам хаканов и хонтуев — страшным звероподобным чудищам с почерневшими от жертвенной крови клювами, рылами, когтями, пастями.

— Почему ты считаешь, что бог москвитов погубит наши народы? — с трудом перешагивая через идола, спросил пам.

— Ты лучше разбираешься в делах богов... Скажи мне сам: какие они, боги?

— Боги?.. — Останавливаясь передохнуть, пам взглянул на огромную голую луну, на Звездную Воргу, распахавшую небо. — Мне трудно ответить так, чтобы тебе, воину, это стало понятно... Для каждого нашего

народа есть священные уста, с которых к нам долетают слова вечности. Мертвая Парма у нас, у пермов. Пуррамонитур у зырян. Ялпынг у вас, у манси. Лонготьюган у хантов. Хэбидя-Пэдара у ненцев... Для всех нас священна Солнечная Дева — Заринь, Мядпухоця, Вут-Ими, Егибоба, а по-вашему Сорни-Най. Ее устами говорит Вагирйома. Но, ожидая ответа из этих уст, мы спрашиваем не гору, не предка, не бога, не идола. Мы спрашиваем что-то большее, которое одновременно и гора, и предок, и бог, и идол... Все, что есть, — это одно и то же, все это — одна цепь, а мы видим только ее звенья. Связь между звеньями этой цепи ваши шаманы называют «ляххал» — «весть». Судьба — это весть земли, боги — вести судьбы, люди — вести богов, земля — весть людей... Ты спрашиваешь меня так, словно возможно дать окончательный, последний ответ, или, наоборот, словно бы есть первая, изначальная точка, от которой мы могли бы верно отмерять правду в нашей жизни...

— Не очень ясно, хотя я понимаю тебя, старик, — кивнул хакан. — Но если ты сравниваешь мир с цепью, скованной в кольцо, то я скажу вот что. Заменяв своего бога на чужого, мы разрываем эту цепь, и мир рушится.

Они подошли к высокому идолу Торума. Прародитель был изображен сидящим, а на его коленях покоилась чаша с монетами, перемешанными с землей. Хакан отцепил с налобного кольца дирхем и тоже бросил его в чашу. По обеим сторонам Торума сурово возвышались покосившиеся от времени балбаны сульдэ с сучьями-крыльями и лосиными рогами. У их ног, до дыр проклеванные грачами, белели черепа медведей. Пам, кряхтя, наклонился и поправил священную выкладку. Пусть дух Великого медведя Оша не оскорбляется небрежением к головам его детей.

— Почему мир должен разрушиться, если здесь поселится русский бог, пусть даже он и вытеснит наших богов? — спросил пам, печально глядя на растрескавшийся лик Торума. — Хакан, ты не суеверный охотник, который видит лишь вёрс, вуншерих и вакулей. Ты знаешь: пусть сменится облик, имя, обряд, — дух останется прежним. Ничего с миром не случится. Уж не вообразил ли ты себя Мяндашем, спасающим Солнце от Йомы?

Они снова зашагали по тропинке, которая должна была привести к кладбищу канов. За спиной Торума тихо позванивала на ветру целая роща мертвых берез, увешанных бронзовыми и медными фигурками, обвязанных ленточками беременных женщин. Этот звон звучал в темноте окостеневшего леса очень грустно.

— Бог русов — не наш бог, — сказал Асыка. — Наши боги рождены нашей судьбой, нашей землей. А их бог рожден даже не их землей, а самой-самой дальней, где-то на краю мира, где садится солнце и почва от его жара

бесплодна, суха и горяча, как жаровня. Что делать этому богу у нас, среди снегов, пармы, холодных ветров?

— Мало ли кто где рожден, — усмехнулся шаман. — Мы с тобой вышли из чрева матери, а Ен из яйца — ну и что?

— Наши боги — это боги судьбы и трех миров. А бог русов — это бог человека, и одного только человека. Для него ничего нет — ни земли, ни народа, ни предков. Я слушал русских шаманов. Их бог — изгой, бродяга, он бросил свою мать.

— А ты убил отца.

Князь зарычал сквозь зубы, но шаман даже не оглянулся. Молча они шагали по тропе дальше. Торчали из земли колья с надетыми черепами. Вырезанные прямо в деревьях балбаны пялились в звездное небо. Валялись во мху трухлявые иттармы, поваленные ветром древние истуканы. Деревья топорщились черенками жертвенных стрел и рукоятями ножей, с которых свисали веревочки, некогда державшие кошельки с подношениями.

— Среди наших гор люди и боги одинаково идут дорогами судьбы! — громко и яростно сказал Асыка. — Нас ведет воля нашей земли, и нас судят предки! Ни люди, ни боги не могут свернуть со своего пути, помедлить на нем или пойти по нему вспять! Поэтому мы живем в вечности, и земля наша нерушима!

— Это верно, но это слова хумляльта, — негромко произнес пам.

— А русы сами выбирают дорогу и идут по ней куда хотят и как хотят! — не слыша пана, продолжал хакан. — Они говорят, что волос с их головы не падает без воли их бога! Но ведь ты, пам, знаешь, что голоса богов не звучат в ушах каждого, иначе и нам, и русам не нужны были бы шаманы, вроде тебя. Значит, русы сами объединяют себя и своего бога и всегда несут его в себе таким, каковы они сами! Это не вера, пам, а безверие! Это не воля земли, а желание человека! Русы не принесут нам другого бога, как думаешь ты, — они просто уничтожат всех богов, и будет пустота! Они бренны, и все, что они сотворят, рано или поздно погибнет, и земля их погибнет тоже! Я не хочу, чтобы наша земля стала их землей и погибла вместе с ними! Почему же ты спокоен? Русов надо гнать, пока еще не поздно, надо убить их жен и детей, стереть их города, изжить даже память о них! Ты говоришь: пусть приходят, если не помешают. Но каждый их кол, вбитый в нашу землю, — это кол Омоля! Вспомни: когда Ен и Омель делили землю, Омель выпросил себе кусочек шириной в один шаг, чтобы хватило только вбить кол. Но из дыры от него вылезли все духи зла, которые и сейчас льют реки крови!

Шаман резко остановился и, выбросив руку, указал князю под гору.

Там, внизу, топорщился густой и плотный колок мертвых елей, обнесенный высоким тыном.

— Видишь это, хакан? — спросил пам. — Два века назад на нашей земле насмерть бились люди вису и люди угру, пока великий кан Реда не изгнал угру прочь. Он уже и сам не знал, из-за чего началась эта война, что не поделили на этой огромной земле два маленьких народа. Когда он победил, он плакал от горя! Босой, он прошел от Мертвой Пармы до Хэбидя-Пэдары. Он целый год молчал и молился у Зарини, у Сорни-Най, чье дитя ты привез к нам вчера. А потом он взял войну, положил ее в горшок и горшок оставил в этой роще. И рощу обнесли частоколом, чтобы война оттуда не убежала, и поставили охранителей, и никто с тех пор не входил в эту рощу, а если с дерева за частокол падала хоть ветка, хоть шишка, хоть еловая иголка, то шаманы подбирали их и бросали за колья обратно. Ты же, хакан, просишь Канскую Тамгу, чтобы выпустить войну на волю. Не русы со своим богом, каким бы он ни был, а ты, слепой хумляльт, пробьешь колом Омоля первую дыру, из которой хлынет нескончаемый поток крови!

Старый шаман, задохнувшись, схватился за сердце и словно обвис на своем посохе. Хакан стоял рядом, стискивал в кулаке свою тамгу и упрямо глядел в сторону, на Звездную Воргу.

— Ты слишком стар, пам, — презрительно сказал он. — Твое сердце одряхлело. Ты не мужчина. Ты боишься крови.

— Бессмысленной крови должен бояться даже мужчина, — пробормотал шаман.

Он медленно распрямился и поковылял вниз по тропе. Шаман и князь шли мимо проклятой рощи, мимо жертвенных ям и болванов с золотыми блюдами вместо лиц, мимо огромных клубков из искривленных и переплетенных воедино еловых стволов на могилах шаманов — древние умели гнуть не только кости, но и целые деревья, свивая их в змеиные узлы. Наконец за изгибом склона блеснула под луной речка, и пам вывел хакана к кладбищу канов. Чамьи — погребальные домики на высоких столбах — обозначали захоронения самых великих вождей Каменных гор. Кое-какие могилы были пусты — не все каны обрели покой на родной земле. Но чамьи хранили их иттармы как залог того, что души канов вернулись в отеческие горы.

— Вот чамья последнего кана Судога, который двести с лишним лет назад разметал монгольские тумены в устье Чусвы, в битве при Чулмандоре, — сказал пам. — Канская Тамга на его иттарме. Ты можешь взять ее, Асыка. Но помни, что я тебе ее не давал.

Хакан молча поднял валявшуюся неподалеку лестницу и приставил ее ко входу в чамью. Поднявшись на несколько ступеней, он откинул кожаный полог и по пояс всунулся в амбарчик. Через несколько мгновений он уже выбрался обратно, бережно держа в руках большую, облаченную в соболью ягу деревянную куклу-иттарму. С шеи иттармы на цепочке свисала позеленевшая от времени, обломанная по краям священная Канская Тамга.

— Может быть, нашим народам судьбою как раз и уготовано покинуть своих богов?.. — почти умоляюще спросил шаман, все еще надеясь остановить хумляльта. — Можно отречься от всего, но ведь это не изменит ход вещей в мире, ибо вещи эти превыше любого человека и целого народа...

— Замолчи, — велел хакан.

Луна над Мертвой Пармой ярко освещала жесткое лицо князя, с иттармой в руках стоявшего над шаманом на лестнице. Князь долго глядел в лицо чурку-Судогу словно хотел что-то понять.

А потом спокойным и уверенным движением хакан Асыка положил иттарму на порог амбарчика, снял с нее Тамгу и снял тамгу со своей шеи. Держа обе тамги на ладонях, будто взвешивая, какая из них тяжелее, он поднял лицо к небу. Звездная Ворга Каменным Поясом пересекала небосвод. И хакан Асыка, словно в воду родника, окунул голову в кольцо цепочки древней Канской Тамги.

Глава 4

Станица

Демьян Ухват спал на карауле. Он ушкуйничал уже три десятка лет, и чутье на опасность не подводило его даже во сне.

Русская станица на Гляденовской горе пряталась в проклятой роще, где кан Реда оставил горшок с войной. Калина говорил, что не стоит тревожить здесь лиха, но Ухват плевал на все его страхи. Пермьки сюда не сунутся — вот что главное.

В станице было девять человек: пятеро новгородцев во главе с Ухватом, три ратника из чердынской полусотни Полюда и проводник — неясный человек Васька Калина. Весной епископ Питирим от какого-то своего соглядатая прознал, что в конце лета вогулы привезут на Гляден Малую Золотую Бабу и будут при ней короновать — или чего они там делают? — своих княжичей. Золотая Баба — добыча сказочная. Но ратников за ней ни епископ, ни Полюд, ни князь Ермолай послать не могли. Попадется княжья станица в когти вогулам, так ничем потом кашу не расхлебать будет. Ну, а ушкуйники — люди вольные. Коли влипнут, так князь здесь не при чем. Дескать, я — не я, и лапа не моя. К тому же в лихом промысле новгородцы половчее будут, чем Полюдовы витязи, распухшие от чердынских пельменей. Но чтобы ушкуйники с хабаром мимо князя, епископа и сотника восвояси не утекли, владыка и навязал им этих троих Иванов — дядю Ваню, Ванюху Окуня да Ивашку Меньшого. А в проводники — храмодела Калину. Неизвестно, как там Калина церкви ставит, но в дремучем чудском чародействе понимает не хуже шамана, разве что сам не камляет.

После Петрова дня станица вышла из Чердыни, а вчера ночью, спрятав насаду в кустах, прокралась мимо городища к Глядену и спряталась в проклятой роще.

Широко раскинув ноги в татарских ичигах, Ухват ничком лежал среди гнилых сучьев у самого частокола. Солнце перевалило за полдень и пекло его прямо в лысину. Расклеив мутные глаза, Ухват заворочался, вытащил из-за пазухи колпак и нахлобучил на голову. В это время где-то внизу, у ворот на Мертвую Парму, забренькали шаманские бубенцы. Ухват припик глазом к щелке между кольями.

Ему хорошо была видна здоровенная проплешина на склоне Глядена. Здесь стояла толстая, как колокольня, священная ель. Ободранная понизу,

расколота пополам обугленной трещиной, сверху ель еще зеленела редкой хвоей. Вся голая поляна вокруг была изрыта жертвенными ямами, откуда торчали пережженные кости, была утыкана большими и малыми, новыми и старыми истуканами, обвешанными разными побрякушками и бусами. На каменных плитах-алтарях что-то поблескивало, а на блюда и горшки в ручищах, на коленях и подле ног идолов Ухват хитро щурился, накручивая бороду на палец.

Под звон колокольцев из ворот повалили пермяки. Впереди шли шаманы с бубнами и дарами; потом дюжие воины с косицами вели троих измученных пленников; дальше шагал князь, за ним — три княжича; наконец, волосатые люди в красной одежде и в берестяных личинах тащили на носилках маленький шатер. «Идолица — там», — сразу понял Ухват.

Шаманы остановились возле трех новых истуканов, рядом с которыми свежей, сырой землей темнели недавно выкопанные ямы. Ухват изогнулся, чтобы удобнее было разглядывать, чего там пермяки станут вытворять. Шаманы долго завывали, плясали кругами, то почти распластываясь по земле, то подпрыгивая, звенели бубнами, жгли какую-то дрянь на палках. Потом выпустили целую тучу голубей и на четвереньках, с поклонами поползли к истуканам, толкая перед собой по земле блюда и горшки. Воины поставили пленников ногами в ямы, заткнули рты кляпами и привязали к идолам. Те, что были выряжены в красные сермяги, бережно сняли с носилок тяжелый шатер и перетащили в дупло, выжженное молнией в священной ели. «Хоть бы полсть-то откинули, собаки, — азартно подумал Ухват. — Посмотреть на Бабу-то... Много ли в ней золота или так, на три наперстка...»

Наконец толпа потянулась обратно. Ухват перевел взгляд на оставленных пленников — старика, парня и девку. «Больно схожи старик с парнем, — подумал он. — Небось, отец, сын и невестка. Значит, вогулы где-то по пути починок разорили... На закланье, чай, людишек приготовили... Жаль души христианские, ну да ничего не поделать. Коли отвязать их да отпустить, то и самим без хабара нужно уматывать, а днем далеко не уйдешь...»

Сняв колпак, Ухват перекрестился, потом перевернулся на спину и облегченно вытянулся, прикрыв глаза.

Из дремоты его вывели далекие голоса, шаги и звон бубенцов. На дороге, приближаясь, опять бухали бубны. «Идут бесов тешить», — понял Ухват, снова переворачиваясь на брюхо. Сзади хрустнул сучок, и он злобно оглянулся. На шум толпы к частоколу поглазеть ползли и ратники, и свои

ватажники.

— Цыц! — шепотом рявкнул Ухват. — Куда поперли, дуrolомы? Башку на вогульский кол посадить охота?

— Дак любопытно, чего брынчит-то, Дема... — вытаращив наивные глаза, прошептал Семка, самый младший из ватаги.

— Зубы твои сейчас забренчат, возгря, — тихо ругнулся Ухват. — Ну-ка пошли все прочь!

Недовольно сопя, станичники отползли обратно. Только двое — давний напарник Ухвата Ероха Смыка и Васька Калина — беззвучно скользнули меж валежника к щелям в частоколе. Ухват покосился на Калину. Тот разглядывал пермяков, гурьбой поднимавшихся по склону, кумирню с пленниками. Обветренная, багровая скула Калины смялась складкой злого оскала. Калина тоже обернулся на Ухвата.

— Давно их тут поставили? — спросил он.

Ухват усмехнулся и кивнул.

— Иуда, — сказал Калина.

— Да уж не Моисей, ивреев из Египта выводить, — хмыкнул Ухват. — Я с хабара по ним в Успенье на Волотовом поле на серебряную ризу дам.

— По себе дай, — отворачиваясь, ответил Калина.

Ухват не ответил, снова прикинув к щелке между кольев. Пермяков на мольбище собралось человек сто. Они были в темных, лохматых одеждах из шкур, непривычных русскому глазу, а потому походили на зверей, вставших на задние лапы, или на оборотней, уже превращающихся в людей, но еще не до конца превратившихся, а может, и на диких духов своих буреломных лесов и болотных бучил. Выстроившись неровными рядами, пермяки положили руки друг другу на плечи и медленно, вперевалку раскачивались под звон бубнов, тупой гул деревянных барабанов и заунывный вой медного варгана, который держал в зубах шаман, опустившийся на колени и ссутулившийся. Ухват почувствовал, что и в его душе что-то стронулось от этого мерного, общего движения, от ударов и воя. Плечи поневоле повело, и Ухват перекрестился.

Камлание началось. Вертелись, кривлялись, прыгали шаманы, одетые медведями и лосями. Взвились костры, в которые бросали горсти драгоценной соли, взрывававшейся синими снопами искр. Воины что-то дружно распевали, вдруг разражаясь дикими криками и вскидывая над головами копья. В дыму костров шестами гоняли очумелых голубей. Многоголосицу пенья словно раздирали на куски пронзительные, скребущие по сердцу вопли многоствольных дудок-чипсанов. В забулькавшие котлы полетели корешки трав и листья, мухоморы и кора.

Одуряющий дух пополз от кумирни вниз по склону, и Ухват, натянув ворот армяка на усы, чихнул. Воины черпали из котлов глиняными кружками пойло, пили его и разбивали кружки о ноги идолов. Один из шаманов раскидал по земле бронзовые гадательные фигурки и хлестал по ним плетью, глядя, какая перевернется, а какая нет. Другой шаман на жертвенном камне из брюха огромной белуги, проткнутой через глаза золотой палочкой, выматывал длинные петли кишок, читая грядущее. Рядом кололи коз, рубили головы птице, рвали мясо, пили свежую кровь, жрали печень. Пьяные, растрепанные, перемазанные кровью, жиром, грязью люди бесновались и падали, потеряв силы. Дым и чад обволокли поляну возле священной ели.

Багряное солнце доньшком коснулось синих закамских лесов. Лучи его напрямик понеслись вдоль просеки-дороги от ворот к вершине Глядена и ударили в священную ель. Тотчас целый рой завывающих вогульских стрел со свистульками в остриях взлетел в густо потемневшее небо. Полог, укрывавший Золотую Бабу, словно сам собою пополз вверх. Ухват втиснулся лбом между кольев.

В черном, обугленном дупле тускло засветился золотой истукан. Маленький, грубо и плоско выделанный из болванки зеленоватого золота, он глядел из полумрака горящими кровавыми искрами самоцветных глаз. Бесстрастное круглое лицо, плоские, отвисшие груди, скрюченные ручки, обхватившие выпуклый живот, на котором насечкой был изображен младенец в утробе... Словно бы сама суровая, каменная, непримиримая земля глазами Вагирйомы уставилась на ушкуйника. Ухват зажмурился, кляня себя сквозь зубы, закрыл лицо ладонью, но и в темноте под веками тлели две капли крови.

Ухват вновь придвинулся к щели только тогда, когда страшного истукана убрали в глубину дупла. Теперь в самом большом костре торчал идол. Вогулы с короткими мечами в руках все быстрее и быстрее кружились вокруг костра. И вдруг мечи засверкали один за другим, срубая щепки с идола в костре. Идол на глазах корчился, худел, усыхал и вскоре превратился в кривой обрубок, по которому белками скакало пламя.

А потом толпа вдруг разом переместилась к трем ямам, где, привязанные к истуканам, стояли пленники. Три подростка-княжича шагнули вперед с ножами. Вогульский князь — высокий, бледный, с жестким и властным лицом — поднял над собой за цепочки три медных тамги. Воины закричали. Угоревшие в дыму пленники очнулись, подняли головы, дико переводя взгляды с княжичей на князя. И тогда, размахивая ножами, княжичи завизжали и бросились на них, кто вперед. Взмыкнул

старик, подавившись кляпом, страшно захрипела баба, затрещали ремни на руках молодого мужика. За свою жизнь Ухват и многое повидал, и многое сотворил, но и он отвернулся, когда в окровавленных ладонях вогульских княжичей, роняя алые капли, задержались живые человеческие сердца.

Пермяки оставались на мольбище еще долго после наступления темноты. Наконец последние шаманы, подобрав утварь, побрели вниз с горы. Яркая и прозрачная ночь сияла над Гляденом. Далеко за Камой поднялись Стожары. Свежего чекана луна чудским блюдом звенела в небе. В ямах на кумирне дотлевали угли; остывающий белый дымок стлался по земле у подножия истуканов, торчавших лицами к звездам, которые своим мертвенным зеленым светом резче выделили их грубые черты. Верховный шаман один-одинешенек, остался сидеть у священной ели, опустив голову и время от времени чуть встряхивая серебряный бубен.

— Когда этот уйдет? — спросил Ухват Калину.

— Это ихний пам. Он всю ночь будет сидеть, богов слушать, — пояснил Калина. — Он нам не помешает. Сейчас он ничего не видит и не слышит. Его только солнце в разумение вернет. Пока он здесь, сюда никто не сунется.

Ухват недоверчиво хмыкнул и бесшумно поднялся. Ударом ноги он повалил пару кольев перед собой и, перешагивая их, пробормотал:

— Посмотрим...

В одиночку, не таясь, он поднимался по освещенному луной склону горы к старику. Пам не оборачивался, сгорбившись и держа обеими руками бубен. Из дупла напротив него светили два болотных огня. Ухват откинул полу армяка, нашаривая что-то на поясе.

— Стой! — крикнул Калина, перепрыгивая частокол.

Ухват, зажав старику рот ладонью, ловко вогнал нож под лопатку и, надавив на черенок, дослал до рукояти. Отдернув руку, он легко подтолкнул шамана вперед, и тот повалился лицом вниз. Калина, подойдя, молча смотрел на него.

— Теперь со своими богами вволю наговорится, — сказал Ухват.

— Зверюга ты, а не человек, — ответил Калина, поглядев ушкуйнику в глаза.

Ухват медленно вытер нож о рубаху на груди Калины, сунул за голенище ичига и сухо произнес:

— Ты нас вел, свое дело делал, я тебя не учил. И ты меня мое дело делать не учи.

Он нагнулся и вынул из рук шамана серебряный бубен. По склону

Глядена уже торопливо поднимались станичники. Впереди всех, работая локтями и зевая, бежал Семка. Ухват скинул на землю армяк, чувствуя, как плечи и грудь упруго наливаются силой.

Чердынские ратники поначалу растерялись, увидев, каким вдруг сноровистым и властным, уверенным в себе стал Ухват. Ушкуйники деловито рассыпались по мольбищу, быстро и умело набивая мешки хабаром.

— Эй, служивые, просейте-ка землю, — издалека негромко велел ратникам Ухват, кивнув на блюда и чаши, что стояли на коленях и возле ног многих идолов. В посуде была насыпана земля вперемешку с монетами.

Ушкуйники выколупывали из древесины драгоценные тамги, собирали посуду, срезали с ветвей серебряные и золотые амулеты, раскидывали золу и угли в очагах на кумирнях. Дюжий Ероха Смыка, кряхтя, переворачивал жертвенные камни, а Семка ловко выгребал из-под них все, что схоронили там шаманы. Взобравшись на бычий загрибок Гаврилы Михайлова, юркий Пишка, беглый монах-расстрига из Устюжского Троицкого монастыря, сдирал с болванов персидские блюда, приколотенные вместо лиц. Ратники, вытряхивая содержимое чаш на кафтаны, выбирали деньги и ссыпали их в кошель. Только Калина сидел на валуне и ни в чем не принимал участия.

— Слышь, храмодел, — окликнул его Ухват. — Ты говорил, будто ихний бог-олень земли касаться не может, так ему под копыта серебряные тарелки кладут... Где они?

— Там, — мотнул головой Калина.

— Семка, проверь, — распорядился Ухват и пошагал к священной ели.

Уже без всякого трепета он сунул руки в дупло и выволок Золотую Бабу. С трудом тряхнув ею, он сказал:

— С пуд-то будет... А может, и поболее. Я думал, она цельная, а она полая... Везде начет, — он усмехнулся, оборачиваясь к Калине. — У нас в прошлом году Федор Стратилат сгорел, так поп взял образ Симеона Столпника себе: говорит, оклад поправлю, жаром оплавил. Поправил, черт брюхатый, красивше прежнего вернул. Только брал-то литой, а вернул чеканный. Чего уж тут с нехристей спрашивать?

Калина не ответил. Ухват вытащил из дупла шатер для истукана и встряхнул его, расправляя.

— Перлы, никак? Берем. Отпорем, как бог даст час.

Он завернул Бабу в шатер, выбросив изогнутые кости каркаса, и первым двинулся прочь с мольбища.

— Шабаш, станичники! — крикнул он. — Хабар в зубы и уходим!

Станица ссыпалась с Глядена к берегу речонки. По реке Ухват и хотел

добраться до насады, спрятанной на Каме. Через парму к насаде не пройти — долго, да еще ночь, да буревалы, да болота. И по дороге мимо шаманского городища не проскользнуть — собаки учуют. Проплыть речкой было единственным способом исчезнуть отсюда. Слава богу, пермякам и в голову не пришло перегородить речонку запрудой. «Дремучие людишки, на кукиш молятся, от жабы совета ждут, — ухмылялся про себя Ухват. — Ворота на засове, а забор псы подмыли...»

Ушкуйники и ратники ремennыми арканами начали выворачивать из земли идолов, целой рощей столпившихся на берегу. Калина молча стоял в стороне.

— Что, и кушака на аркан уж пожалеешь? — насмешливо спросил его Гаврила Михайлов и плечом налег на ближайшего болвана.

Земля затрещала. Калина глянул в лицо идола, медленно переводившего тяжелый, пугающий взгляд со звезд на него, на человека.

— Берегись! — рявкнул ушкуйник, и Калина отскочил. Идол рухнул на то место, где он только что стоял. Мимо глаз Калины пролетели, падая, черные, дикие глаза истукана.

— Забирай, — распорядился Гаврила, ногой катнув бревно Калине.

Из трех болванов Ухват связал салик и приторочил на него мешки с хабаром. Ухват должен был плыть первым, а за ним — хабар. Калина и Семка замыкали.

— Готовы? — стоя по колено в воде, спросил Ухват. — С богом!

Он толкнул плот и свою чурку на середину реки, забрел по пояс и лег в воду.

Калина замешкался. Когда на берегу остался только Семка, вынул из-за ворота рубахи зеленую вогульскую тамгу на гайтане — такую же, как у князя Асыки, но поменьше. Наклонившись, оттиснул ее на песке у воды.

— Ты чего это? — подозрительно спросил Семка.

— Это мой привет вогулам, — ответил Калина, убирая тамгу и спихивая балбана на глубину.

Семка посмотрел на отпечаток, но стереть побоялся, только плюнул в него и заторопился вслед за Калиной.

Без плеска и шепота станичники один за другим плыли по узкой и вертлявой речке. После впадения Юрчима она стала поглубже, и теперь ноги уже не касались дна. Ветви деревьев то закрывали, то оголяли небо, и тьма вокруг то густела, то становилась реже, сквозистее. По одной, по две вдруг просверкивали звезды. Калина плыл, обняв своего идола за шею, касаясь щекой его неструганой щеки. Казалось, он что-то шепчет истукану на ухо. Но истукан не отвечал, лежа в воде лицом вверх, как покойник в

гробу. Только лунные отсветы ползли по его лику, будто ему снились древние, неизъяснимые, вещие чудские сны.

По левую руку, растопорщив частоколы, вдали гусеницей прополз шаманский город, не унюхавший грабителей. А потом Чулман, дохнув свежестью, медленно всосал в себя речку. Прямо над устьем в небе льдисто пылала луна, а за ней сиял весь иконостас мироздания.

Станичники бросали идолов и гребли к берегу. Ухват уже брел по мелководью, в одиночку волоча за ремень плот с хабаром. Калина тоже соскользнул с болвана и поплыл за остальными, беззвучно раздвигая руками темную воду.

Брошенные идолы утекали вместе с рекой куда-то в неизведанную даль, но еще долго черными лучинками они виднелись в широком свечении камского плеса. Узкая и легкая насада с заломленной покуда мачтой, качаясь, выползла кормой вперед из прибрежных кустов. На мгновение остановившись, она как крылья, расправила весла, взмахнула ими и пошла против течения, все быстрее, быстрее, и вот уже лебедем понеслась туда, где над великой рекой вечной свечкой, как душа, горела северная звезда.

Глава 5

Балбанкар

Второй месяц, изнывая от скуки, станичники жили на Балбанкаре — заброшенном болванском городище. Калина говорил, что здесь им безопаснее всего, потому что пермяки сюда не заходят. Двести лет назад пермская чудь в битве при Чулмандоре разбила нахлынувших монголов. Но через двадцать лет после этого на Каму пришел непобедимый хан Беркай и покарал пермяков, а их священный город Балбанкар — вроде Вышкара под Гляденом — предал мечу и поруганию. С тех пор Балбанкар — «плохое место», куда никто не заглянет.

Балбанкар лежал на вершине высокой прибрежной горы правой стороны Камы. Чело горы, обращенное к реке, было обрывистым и неприступным. Восточный и западный склоны круто падали в лога. На пологом северном скате виднелись друг за другом три заросших вала. Они уже расползлись, как тесто по столешнице, и от частоколов не осталось следа. Шаманы здесь заняли какое-то совсем уж непробудно-древнее городище и, устраивая кумирни, расчистили площадку, обновили диковинные выкладки из огромных бревен и въевшихся в землю валунов, обложили камнями жертвенные ямы, натыкали истуканов, отстроили дома-землянки, выгородив их заплотами из могучих заостренных плах. А теперь, через два века после Беркая, дома порушились, сгнили бревенчатые стрелы, что указывали на звезды, валуны заросли мхом, ямы осыпались, идолы перекосились.

Стояла поздняя и холодная осень. С холма Балбанкара было видно, как хмурый ветер катит волны по синим окрестным лесам, ерошит дальние пармы, треплет последние бурые космы травы под провалившимися кровлями и на полуденных склонах древних насыпей. Земля лежала изнуренная, словно бы все хотела уснуть, а сон не шел.

Голый по пояс, грязный и обросший, Ухват сидел у костра, калил на углях нож и выжигал вшей на рубахе. Душу его что-то тревожило, а что — он не знал. Вроде, все идет по сметке, без сбоев. Никто, кроме истуканов на заброшенных городищах, не заметил, как станица пробралась от Чердыни к Глядену. На Глядене топтались в татарских ичигах. Только вывели спрятанную насаду — сразу же из курьи правого берега спустили вниз по реке заранее приготовленную татарскую шибасу, которую посекали мечами и перевернули вверх дном. Ухват сам всунул между досок шибасы

две медные бляхи, подобранные на Глядене. Хватятся вогулы своих сокровищ — а вот им и следы татарских сапог. Дунут вниз по реке в погоню — а вот и шибаса плывет кверху брюхом, и на ней побрякушки с Глядена. Значит, Золотую Бабу унесла татарва, да тут же передралась, друг друга порубила, лодку перевернула и утопла. Ни воров, ни краденного. А уж коли вогулы все равно не поверят и кинутся к русским городам, так им в любом пермяцком горте, что по пути встретится, скажут: нет, никто не проплывал. Да и кто проплывет? Станица-то в трех днях пути от Глядена на Балбанкаре прячется! Только теперь это уже не станица, а купецкая ватага. Плыли честные торговые люди из Жукотина, налетели на топляк, струг свой угробили со всем наваром, сами едва живота не лишились. Вот, торчат тут, кукуют, ждут ледостава, потому что по берегу домой пешком не дойдешь: далеко, да грязь осенняя, да паводок на притоках, — а новый струг ладить смысла нет — зима не за горами. И где-нибудь на Варварумученицу встанут они на лыжи, добегут по льду до ближайшей деревни, купят там нарты с упряжками — и в Чердынь. Там владыка Питирим пособит до Вычегды добраться, а в Усть-Выме князь Ермолай пошлет дальше — в Устюг, в Новгород. Все ладно, все ловко, но почему же такая тревога на душе? Почему же мнится, что кто-то следит за ними незрячим глазом? Почему же чудится, что стоит за спиной неминуемая лихая беда?

Ухват вспоминал давний разговор с Калиной и злился. Накарает храмодел, потому как, видно, задарма душу лукавому отдал и еще на чужие зарится... В день того разговора и погода была похожая: так же кипели над Камой сумрачные облака, и ветер вздувал волну, которая глухим набатом бухала в глиняный яр, и тускло блестел изгиб реки, как бывалая кольчуга на локте.

— Зря мы Бабу уволокли, — говорил Калина. — Не надо было трогать ее. А коли тронули — надо было сразу в омут. Зачарует она нас, оморочит. Навяжет свою волю и сгубит.

— Креститься надо от бесьего наваждения, — пояснил Пишка.

— Не спасет. Это ведь не сатанинские дела, а вообще безбожные. Здесь, мужики, самый край божьего мира, а дальше — одни демоны творенья, которым ни наша, ни божья воля не указ. Ангелы-то над нами небо еще держат, а демоны всю землю пещерами изрыли, лезут наружу, прорастают болванами. И люди здешние — югорские, пельымские, пермские, — те тоже по пояс из земли торчат. Души у них демонские, каменные.

— Так охристианить их, гнать нечистого, — все пояснял Пишка.

— Они Христа не боятся, в них ведь не черти сидят, — усмехнулся

Калина. — Их ведь и Стефан семьдесят лет назад крестил, потом Исаакий и Герасим радели, теперь в Чердыни Питирим крестит, а они все равно Николе Можая, как идолу, губы кровью мажут... Сколько я сам церкв поднял, а все не то... Крестом их не взять. Тут сам бог остановился...

— Не доделал, что ль? — спросил вислоусый Иван Большой. — Ты, Калина, никак против святой седмицы толкуешь?

— Седмица... Господь всю вечность сотворил, а мы ее только на неделю и поняли, да и то последний день — отдых... А там, за горами, — то, что у бога дальше было, нам не понять. Тут мы без бога остаемся, лицом к лицу с вечностью...

— Ты доходчивей толкуй, — попросил Ивашка Меньшой, — а то как наш пьяный пономарь: «Покайтесь! Покайтесь!» — а в чем? Сам не знает.

— Как тут объяснить доходчиво, коли и самому все будто в сумерках?.. Ну, это словно здесь мы — как в пещере со свечкой, и свечка — вера наша. А пещера огромная, неизвестная, с чудищами. И вот нам надо либо на месте стоять, чтобы свечку не загасить, либо впотьмах путь, впереди лежащий, руками ощупывать.

— Свечку-то свою, я гляжу, ты уж давненько притушил, — недобро сказал Ухват. — Не со святых книг мудрость твоя, храмодел, а болванами нашептанная да в дыму кумирен примерещившаяся...

— Ты, Хват, мою веру не трожь, — спокойно ответил Калина. — В вере я покрепче твоего. Вот только здесь одной-то ее мало, но и господь нам пределов в вере не ставил. Так что коли я от здешней нежити свои молитвы слагаю и обряды вершу — так на то его благоволение. Когда в бурю вокруг меня Маньпупынёры пели, или когда на Янгалмах я от Мертвой Шаманки прятался — не «Отче наш» помог мне, прости, господи! На каждого врага, Хват, — свой меч. Каждому диву — свое разуменье. Я свою веру нерушимой пронес и сквозь прельстительные речи шаманов, и через камлания, и против злой воли Золотой Бабы, и по судьбе своей, и в любви ламии, что пылает, как пожар, только застужает до смерти. Посмотрю я на тебя: каким ты отсюда вернешься?

Ратники слушали Калину со вниманием: им тут жить. Ушкуйники посмеивались — они здесь люди пришлые, временные. Один только Семка глаза вытаращил и рот раззявил — ну да этот дурак всему поверит, ничего не запомнит.

— Не замай, — глухо ответил Ухват Калине.

Саднящим пчелиным укусом горел в душе Ухвата этот разговор. Под хабар ушкуйники отвели маленький погребец рядом с большой,

наполовину обвалившейся землянкой. В скуке и безделье, раздумывая над словами Калины, Ухват повадился таскаться в этот погребце. Усаживался на бочонок, где лежало чудское золото, зажигал лучину, всматривался в плоское и безмятежное лицо истукана и не находил в нем ни угрозы, ни знаменья. Он насмешливо щелкал Бабу в лоб ногтем и говорил: «Ну, чего выпучилась? Накося, выкуси! Вот притараню тебя домой, под молот суну, тогда и пялся, коли сможешь. И станешь ты просто куском золота, и начеканят из тебя гривн, а с ними я всю жисть шуча справлялся. Что на долги пушу, что на снаряд, а остатка хватит всей слободой до весны гулять. Болванка ты и есть болванка, хоть и с глазами...»

Ухват был доволен своей смелостью. Никакое чудское проклятие его не пугало. Но однажды, когда он вел с Бабой такие речи, его словно обухом по темени хватануло. Так ведь вот оно, оморочье пермское! Вот ведь он сам — сидит тайком от всех, говорит с болванкой, как с живым человеком или с церковным образом, мечты свои ей поверяет, будто одобрения просит... А ведь по уговору-то Баба остается владыке и князю, а не ему и не ватаге! Швырнув идола с поставца на пол, Ухват вылетел из погреба. Два дня тарачился на Каму, крестился. А потом словно пелена с глаз упала, и увидел он, что ведь каждый из станицы, кроме разве Калины, от безделья ходит глядеть на Болванку. Тогда Ухват велел завалить дверь погреба землей.

Никто Ухвату не возразил, но как засыпали погреб — началась в станице такая тоска, точно мужиков от церкви отлучили. Семка целыми днями валялся и в небо смотрел. Пишка словно тронулся, все стал своему монастырю умиляться, будто это и не он, плюясь, сбежал оттуда пять лет назад. Ероха Смыка только и делал, что из лука бил по лицам истуканов, выдирали стрелы и снова бил. Гаврила какие-то корешки и корье собирал, хотел брагу варить, трижды травился до синева и пены изо рта. Даже служивые приуныли и пропадали от зари до зари кто на охоте, кто на рыбалке.

В ту ночь Ухват сторожил, дремал у костерка. Начался мелкий дождик, Ухват промок, замерз, проснулся и полез в землянку за кошмой. Он выволок ее из-под Семки и уже откинул полог, чтобы выбраться обратно, как вдруг до него дошло, что Калины в землянке нет. Мало ли, зачем Калина мог уйти, но почему он уполз тайно, через дальний пролом? И Ухват сразу заподозрил неладное. Он пощупал валявшийся армяк Калины — уже простыл. Давние подозрения опалили душу ушкуйника.

Прямо по спинам товарищей Ухват ломанулся в обрушенный конец землянки, занавешенный от дождя и ветра парусом. Отбросив парус, он

пополз по слякоти под упавшими бревнами кровли, ударился головой, сбил шапку и неожиданно провалился руками в сырую, холодную яму. Быстро ощутив края, Ухват понял, что это узкий сруб колодца подземного хода.

«Все! — понял он, разворачиваясь и спуская в сруб ноги. — Вот теперь храмодел себя выдал!» Он соскользнул в сруб, пролетел вниз и упал на дно лаза. Стены его были из тонких кольев, свод — из плах. Из щелей свисали корни и капала вода. Ухват ловко пополз вперед, переваливаясь с боку на бок, чуя могильный запах земли, гниющего дерева и остывшего дымка лучины.

Он прополз саженой десять и вдруг лысиной ощутил холод над головой. Подняв руки, Ухват нащупал другой колодец. Корячась, путаясь ногами в армяке, он поднялся в колодце во весь рост и понял, что теперь торчит по плечи из днища погребка. Он рывком вывалился в погреб и зашарил руками по стенкам и поставцам. Бочонки и кошели с хабаром были на месте. Золотая Баба исчезла.

Ухват рухнул обратно в лаз и стремительно пополз вперед, во тьму тайника. «Все рассчитал, собака... — лихорадочно думал он. — Сам нас на Балбанкар привел, сам страстей наплел, чтобы мы погребец засыпали... А потом бы сказал нам, что ушла болванка в землю, что ее Чудь Белоглазая прибрала, да еще бы посмеялся над нами, когда бы мы поверили! А весной бы вернулся сюда и выкопал ее... Тайник-то не иначе как шаманы отрыли, а он его нашел и придумал, как приспособить... Хитер божий человек!»

Дождь обрызгал руки и голову Ухвата. Задыхаясь, ушкуйник выполз на дно оврага под горой, на которой стоял Балбанкар. Царапаясь о голые кусты малины, Ухват ринулся к ручью и рухнул на колени, выискивая следы в прибрежной грязи. Ага, вот они! Вверх храмодел побег, к болотам! Ничего, с таким грузом далеко не уйдет.

Плеща чунями по скользкому ручью, Ухват побежал за Калиной, на ходу доставая нож. Он нагнал храмодела, когда тот лез на склон. Калина шатался, прижимая к груди, как младенца, болванку, закутанную в обрывки шатра. Рубаха его выпукло светлела на темном фоне кручи.

— Стой! — хрипло крикнул Ухват.

Калина оглянулся, и Ухват метнул нож. Удар в грудь посадил Калину на землю. Потом Калина выронил болванку и повалился. Болванка, разматываясь из обрывков, подскакивая, покатила по склону к Ухвату. Ухват присел, растопырив руки, чтобы поймать ее, и лишь в последний миг отпрыгнул в сторону. Тяжеленная, как бревно, Болванка врезалась ему в бок и отшибла, словно цепом.

Ухват по пояс в ручье повернулся набок и разбойниче свистнул. Свист

сбился на хрип от боли в проломленных ребрах. Золотая Баба валялась на дне рядом с ушкуйником. Сквозь мутную воду просвечивало ее безмятежное лицо.

Станичники прибежали не скоро. Цепляясь за кусты, Ухват уже выполз и сумел подняться, хотя и стоял согнувшись. Ватажники и ратники ссыпались к нему с обрыва ошалевшие, расхристанные, с мечами, ножами, луками наизготовку. Иван Большой первым увидел Калину, лежащего на склоне за кустами тальника, и дернулся к нему.

— Готов он, — проскрипел Ухват. — Не трогай падаль.

— Это кто ж его?.. — останавливаясь, изумился Иван.

— Я, кто ж еще? Он Болванку через подземный лаз уволок, — Ухват кивнул на ручей, куда скатилась Золотая Баба. — Хотел спрятать для себя... А я его нагнал. Вот так.

Тяжело дыша, и ратники, и ушкуйники молчали.

— Не может быть, — наконец сказал Иван Большой. — Я Калину пять лет знаю. Калина не вор.

— Ну да, святой, хоть образа пиши, — ответил Ухват, прижимая ладонью бок.

Иван Большой вдруг цапнул Ухвата за бороду и дернул к себе, отводя в сторону меч.

— Сам ты вор, ушкуйник! — хрипло рявкнул он. — Видел я, что невзлюбил ты Калину... Это ты Болванку понес, а его порешил как свидетеля! Это ваши разбойные дела! Не вор Калина!..

— Может, он ее потопить хотел?.. — испуганно спросил Ивашка Меньшой. — Он ить говорил, что бесы в ей чудские...

Ухват внезапно ударил Ивана Большого в лицо. Вслед за ним, не удержавшись на ногах, ушкуйник тоже полетел в кусты. Ратник вскочил первым, замахиваясь над Ухватом мечом.

— Ты ее украл, тать, чтобы она не князю, а тебе досталась! Ты и погреб велел засыпать, ты и лаз нашел! Грех свой на Калину перевесить решил, да?..

Иван Большой, открыв рот, уставился на свое правое плечо. Руки его ниже локтя уже не было. Пишка сзади снова махнул мечом, и голова стрельца плюхнулась в ручей, а обезглавленное тело, ломаясь, повалилось на Ухвата.

— Кончай их всех! — крикнул Ухват, откатываясь в сторону.

Ероха вскинул лук, единым движением натянул и сронил с пальца тетиву. Ванька Окунь вцепился в стрелу, что выросла у него из глаза, и с треском упал в тальник. Ивашка Меньшой тонко завизжал, повернулся и

сиганул в гору, прыгая, как заяц.

— Этого туда же! — рыкнул Ухват. — Теперь хабаром ни с кем делиться не придется...

Ероха другой стрелой подбил Ивашку, и тот, захлебнувшись воплем, махая руками, покатился по склону обратно к ручью.

Ухват поднялся, цепляясь за Гаврилу, как за дерево, и сплюнул кровью.

— Семка, забирай болванку, — устало сказал он. — На рассвете уходим отсюда. Пешком. Хватит, к бесам все это...

Глава 6

Усть-Вым

В Усть-Выме первым всегда поднимался князь. Мертвые предрассветные часы стали для него самым отрадным временем.

Засветив лучину, князь Ермолай быстро бросил на лоб крест перед киотом и вышел на двор. Спускаясь с гульбища терема, он пнул в ребра сторожа, что дрых на поленнице, потом открыл ворота, отгребая створкой снег, и глянул на свою землю. Земля спала, словно придушенная, придавленная низким беззвездным небом. Дымно темнела тайга за широкой белой полосой Вычегды. Напротив княжеского детинца, на обрыве над Вымью, чернел частоколами зырянский город Йемдын. Старая Пермь... Усть-Вым, ожидая рассвета, тлел караульными кострами в проездах бревенчатых башен. Тускло догорали свечи в высоких окошках епископского собора. Где-то рядом, почти что за крепостными городнями, выла волчица, чье логово вчера разорили лесорубы.

Князь Ермолай, покряхтывая от мороза, вернулся в дом, прошел в свою думную горницу, погрел ладони о печь и сел за стол. Сняв с полки ларец, он разложил перед собой вчерашние записи, расправил свежий берестяной лист, подумал и костяным стилем выдавил первые, мелкие и четкие буквы: «А понеже великий князь воинских людей на нас пошлет...»

Если бы великий князь Московский Василь Василич Второй Темный знал, чем занимается его наместник, князь Ермолай Вереинский, а ныне Ермолай Вычегодский, не сносить бы князю Ермолаю головы. Но Москва далеко, а мечта уже близка, потому князь Ермолай ничего не боялся.

Он составлял Уставную грамоту для своего будущего княжества, вольного и могучего. Уже четвертый год он сам — князь Вычегодский. Старший сын его, тринадцатилетний Миша, — князь Великопермский. На подходе восьмилетний Васька, которого он с божьей помощью лет через пять князем Югорским поставит. Печора сама присоединится к трем его княжествам. Пелымцев он купит или запугает. Вятку продаст казанцам, чтобы татары держали щит между Пермью и Москвой. И вот тогда он отложится и от Москвы, и от Новгорода. Князь Ермолай щедро и властно захватывал земли и дарил земли, менял на них хозяев — пока еще только в сметках. Но скоро сметки эти станут явью, и тогда все — от каменной самоеди до Ногайской орды, от Сибири до Московитии — ахнут, увидев, что вдруг на Каменных горах, как сказочные дружины, сами собой

вырастут рати нового княжества, а студёные реки оцетинятся неприступными деревянными крепостями. А он, Ермолай, будет владычить в новом княжестве. И княжество его станет неуязвимым, потому что в нем никто не будет пахать полей на склонах неплодородных гор, а будут только торговать, бить зверя, ловить рыбу и гонять стада. И каждый житель будет воином. И воля веча будет утверждаться только его, князя, приказом.

При свете лучины склоняясь над берестой, князь верил: пройдет время, и те уставы, что он сейчас выписывает, будут вырезаны на досках и прибиты к столбам вечевых звонниц. Сначала в его Перми Старой Вычегодской — в Йемдыне, Карьяге, Петкое, Турье, Синдоре, Сыктывкаре, Ибе, Ужге, Керчемье, Аныбе, Лойме. Потом у Мишки в Перми Великой Камской — в Чердыни, Покче, Искоре, Уросе, Редикоре, Афкуле, Кудымкаре, Ныробе, Соликамске. А затем и повсюду в городах людей Каменных гор — в Пелыме, Лозьвинске, Епанчине, Назыме, Игриме, Обдоре, Сыгва-Ляпине, Салия-Гардене... Везде! Князь Ермолай знал, что для исполнения этого замысла ему хватит хитрости и силы. Князь Ермолай понимал, что вся жизнь его, смысл которой только здесь стал ему ясен, вела его к венцу Великого князя Перми Старья, Великия и Чусовския, князя Печорского, Югорского, Пелымского и Самоедского — государя, равного Московскому, Казанскому и Сибирскому.

С детства его звали Татарином за маленький рост и скуластое, смуглое лицо. Он привык быть всем чужим, а потому и не считал зазорным идти к своей цели любым путем. Поначалу он слепо следовал судьбе. В пятнадцать лет он стал князем в отчей подмосковной Верее, когда моровая язва выкосила его семью. После этого он и сошелся с князем Василь Василичем, который по слабости характера, по мнительности и злопамятству не нажил себе друзей-ровни. И Ермолай выжал из этой дружбы все, что смог, да и господь ему пособлял. В восемнадцать лет он спасся в битве с войском князя Юрия Дмитриевича, который в клочья разнес ополчение своего племянника Василия Васильевича и отнял у него московский стол. А через год судьба вызволила Ермолая из ямы смертников, когда Юрий Дмитриевич преставился и тем самым избавил его от плахи. Дальновидность удержала Ермолая от похода на хана Улу-Махмета, который у Суздаля порубил все русское войско и пленил самого московского князя. Собирая выкуп за него для казанцев, Ермолай прослыл опорой московского стола. За это свирепый Шемяка хотел выколоть ему глаза так же, как он выколол глаза Василь Василичу. Но Ермолай покался Шемяке и целовал ему крест, а потом все равно сбежал в Вологду к ослепленному Василию. Вместе с ним он поехал к игумену Кирилло-

Белозерского монастыря Трифону, чтобы тот снял грех клятвопреступления, а потом под Галичем бил Шемякиных ратников. За все эти заслуги только у него, князя Вереи, Василий Темный не отнял удела. На Шапку Мономаха больше никто не зарился, но Ермолай чуял, что покоя и власти ему не видать, пока длится грызня Москвы с Новгородом, Псковом и Тверью, пока точат зубы на Русь Улу-Махмет с востока, Азы-Гирей с юга и Казимир с запада. И тогда, четыре года назад, князь Ермолай смиренно обменял Василию Темному свою маленькую Верею на Пермь Вычегодскую Старую и Пермь Камскую Великую. И здесь, пока то ли его враги, то ли его друзья дерутся между собой, он начал создавать свое великое княжество. Ему было в тот год сорок лет.

Князь Ермолай сидел в горнице до рассвета. Дом просыпался: заскрипели половицы под осторожными шагами служек, затрещали дрова в раздуваемой печи, забрякала посуда, захлопали двери, сквозняк качнул огонь лучины. Князь задул его и потянулся, глядя в окно, затянутое мутным пузырем. Где-то за лесами и гребнем гор, над Югрою и Пелымом, вставало низкое солнце севера. А здесь, над Вычегдой, растекалось тускло-пунцовое зарево, понизу обмахивая тучи малиновыми и сиреневыми отсветами. Князь спрятал в ларец бересты, вышел из горницы и направился к сыновьям, крикнув по пути, чтобы накрывали стол.

Мишка и Васька спали вдвоем на широкой лавке под шкурой белого медведя. Рядом на сундуке дремала нянька, старуха-вогулка Айчейль, взятая рассказывать сказки и учить языку. Князь остановился, рассматривая сыновей. Хоть и в довольстве растут, но в чертах обоих какая-то линия обиды. Живут без матери, умершей родами Васьки. Миша уже и сам князь, года через три уезжать ему в Чердынь. Надежный будет властитель, только уж больно раздумчивый. Наверное, в мамку. А Васька весь в тятю — непоседа, забияка. Лишь бы дураком не был. Ваське земли завоевывать и беречь, а Миша пусть правит, если уж рассудок в нем верх над душевным пылом берет. Надо в ближайшее время Ваську на Печору, в Троицк отправить: пускай приглядывается к людишкам и к земле. А к Мише пора дьяка приставлять, чтобы обучал хитрой науке княжения по книгам разным, по летописям и по грамотам.

— Утро, князь! — крикнул сыновьям Ермолай и сдернул шкуру.

Потом в черной горнице князь распоряжался хозяйством, ходил по амбарам и на конюшню, в погребе пробовал закваску, потрепал собак на псарне, дал по шее ключнику: какого беса тот в кладовухе до конца окно не заволок, кот ночью чуть не лопнул, сметаны обожравшись. Князь сам вел

все дела — и княжеские, и домашние. Хозяин не тот, кто с державой, а тот, кто с поживой.

Когда князь пришел в трапезную, стол уже был полон. Князь никогда не завтракал один, всегда собирал по утрам тех, кто мог понадобиться днем. И сейчас, усаживаясь во главе, читая молитву, князь оглядывал пришедших. По правую руку сидел сотник, вологодец Степан Рогожа, старый и опытный ратник, которого князь сманил на долю ясака. По левую руку сел новый человек, игумен Ульяновского монастыря на Вычегде отец Иона — маленький, седенький, розовый старичок с умильным личиком и ласковыми глазами. У монастырей князь Ермолай собирался отобрать право сбора пошлин, и настоятеля следовало ублажить. Дальше расселся самый разный народ: дьяки, тиуны, рядчики, гости, купцы, залетный муромский боярин, какой-то иноземец-путешественник, устюжский солепромышленник, пара мастеров-артельщиков по ремесленным делам, татарин-соглядатай, лекарь, московский писец и прочие нужные люди, а между ними, конечно, разный сброд — лизоблюды, приживальцы, всякая дрянь, промышляющая темными делишками под благовидной личиной.

Ведя разговоры, провозглашая здравицы, угощая, князь Ермолай поглядывал и на дальний конец стола, где сидели княжичи, а за ними в углу вороной торчала старая Айчейль, а также кое-какие зыряне и пермяки. Князь строго прищурился на кухонного мужика Лукашку. Тот, скорчив честную рожу, развел руками. За столом был и чердынский князец Танег, которого Ермолай почти насильно привез к себе года полтора назад и с тех пор усердно спаивал. Каждое утро Танег вроде бы как в дар по дружбе получал от князя здоровенный кувшин браги. И Танег, сам того не заметив, пропил все — княжество свое, власть, достоинство, облик человеческий. Обрюзглый, трясущийся, мутноглазый, он обиженно держал в обеих руках опустевший кувшин, из которого подлец Лукашка еще до рассвета выпил больше половины — по харе его свекольной видно. Лукашка выхватил у Танега кувшин и убежал в погреб. Танег жил в княжеском доме, в каморе в подклете, вместе с дочкой по имени Тичерть, которая и ходила за ним, как за полоумным. Князь Ермолай давно решил: когда Мишке наступит пора уезжать в Чердынь, он женит его на Танеговой девчонке. Будет Мишка князем по всем законам: и по русскому, и по пермскому. А Танег, пьяница, за баклагу дочь хоть сейчас отдаст.

День катился своим чередом, застолье завершилось. Князь получил благословение от Ульяновского игумена и, напяливая шубу, вышел на крыльцо. Конюх подвел ему застоявшуюся кобылу. У коновязи уже подтягивала подпруги обычная свита из дьяков и тиунов. Князь первым

проехал в ворота своей усадьбы, обнесенной, точно крепость, стенами из высоких служб и амбаров и плотно сбитыми пряслами из заостренных кольев.

Дел было по горло. Князь осмотрел, как сложили повал на угловой башне детинца, и остался доволен. Еще летом успели до половины поднять напольные вежи и отсыпать городни, а вот с вычегодской стороны до будущего тепла так и остался торчать гнилой тын времен святителя Стефана. Князь прошелся по ремесленным рядам, разобрал бондаря, пустившего на бочки лыко вместо железных полос, похвалил кольчужника, велел дворовым взять княжатам пару сапог. Потом князь проверял, какой лес привезли на стройку, опробовал новый спуск к Вычегде, глянул на ночной улов возвращающейся рыбацкой артели. На посадке заглянул на торг, потолкался, прицениваясь, что новенького. В проезжей потолковал с устюжскими купцами, в таможенной избе полистал писцовые книги и для верности перерыл пару сундуков. Затем через Вымь, где на иорданиях русские бабы отбивали белье, проехал в Йемдын, поговорил с приехавшими издалека зырянскими князьками и долго расспрашивал суровых остяцких промысловиков о богатствах их земель.

Вернулся домой — там ждали тиуны, новгородский выборный человек с торговым делом, пинежанин-лодейщик, званный еще весной; рядчики рядились об аршинах и неделях, артельщики жаловались друг на друга, московский писец выкопал какую-то ошибку в ясачных книгах, купцы челом били, пришлый мужичонка из Анфала-городка принес ябеду на соликамского старосту, татарин врал и сулил золотые горы, просили отсрочки платежа гонцы из Локчима: «Зима позна, белка не вылиняла, погоди, кнеса, до большой холод полторы луны...» Князь решал дела, рассылал тиунов, судил, грозился, ударял по рукам — все с ходу, без промедления. А дел не убывало.

Вот солнце уже лесов коснулось, а так и не договорился с Рогожей, чтобы тот Ваську в Троицу повез; и ходоков еще целая толпа в сених мерзнет; и забыл Лукашке плетей всыпать; и не посмотрел, чему десятники новобранцев учат — говорят, только бражничают; и стол неразобранными берестами завален; и не послал никого проверить оленью гуртовку, дальние деланки лесорубов, новых лошадей; и в узилище к Федьке-острожнику не заглянул узнать, будет ли тот признаваться, где золотой самородок сыскал; и грамота мезенская без ответа осталась; и поп, который с дразгой своей таскается к нему на поклон битый месяц, уже пьяный у крыльца лежит и — Лукашка шепнул — такие словеса про епископа заворачивает, каких и митрополит бы не посмел сказать.

Когда закат багрово и дымно догорал за частоколами лесов, на дозорной башне, что поднялась над кручей вычегодского берега, забил колокол. Значит, кто-то неизвестный приближался к Усть-Выму. Потом застучали копыта по настилу проездной башни, взвизгнули полозья. Собачий брех прокатился по улочкам к дому князя, и в ворота его усадьбы въехали четыре оленьи упряжки.

Сотник Полюд привез из Чердыни ясак. Новые заботы навалились на князя. Только поздним вечером, приняв и пересчитав добро, устроив людей и животных, князь расправился с делами и в душной горнице за чаркой собрался поговорить с Полюдом.

Огромного роста, круглоголовый и вечно нечесанный, с растопыренными усами и бородой, с неистребимым добродушием в маленьких, близко посаженных глазах, Полюд приволок с собой бочонок и уселся на него у стола. Князь позвал игумена Иону и княжича Мишу — пусть послушают, как и чем живет Чердынь. За Мишей приковыляла старая Айчейль и тихо пристроилась на сундуке в углу, как ворона на гробу.

— Что ж, Полюд, тебе с ясаком и послать некого, коли сам прикатил? — усмехнулся князь.

— Дело не в ясаке, а вот в этой кадке, — Полюд стукнул пяткой по бочонку. — Питирим просил лично приглядеть и тайно тебе из рук в руки передать.

— А что там? — заинтересовался князь. — Говори, здесь все свои.

— Помнишь, весной станицу снаряжали? Так вот, дело свое она сделала. Бабу добыла. Здесь она.

— Вот это весть так весть! — изумленно сказал Ермолай. — Ну, сотник, обрадовал! Быть тебе воеводой. А что станица?

Полюд вздохнул, невесело глянув на князя, и пальцем тихонько подвинул к нему по столу свою чарку. Князь наклонил над чаркой кувшин.

— Станица, князь, почитай, вся полегла. Ушкуйники сначала Калину и моих ратников порубили, хотели с хабаром утечь. Потом у них ватажник — Хват, помнишь его? — от раны помер. Еще двое друг друга в драке кончили. Которые двое остались, перли нарты по льду, струганину жрали, обморозились, а все равно хотели втихую мимо городков проскользнуть. С Анфала дозор их заметил — догнали. Сейчас в яме у Питирима сидят. Ну, а Бабу он велел мне до тебя свезти.

— Что ж, посмотрим, — увлеченно сказал князь, ударив кулаком в ладонь.

Полюд встал, поднял бочонок, локтем выбил дно и с усилием вытащил

золотого идола. Миша подхватил бочонок, а Полюд опустил Бабу на стол и придвинул к ней светец с лучиной.

Слабый огонек осветил бревенчатые стены, лавки, ставни, плахи потолка, лица людей. Тускло замерцало золото Вагирйомы. Грубо и дико улыбалась Золотая Баба — здесь, в горнице под образами неуместная и страшная, как отрубленная голова. Князь Ермолай спиной почувствовал, какой нерусской, нечеловеческой жутью повеяло от истукана — жутью пермских ропочажников и лысых вогульских тумпов, что встают над гнилыми болотами, тьмою уремной глухомани, где еловые корни, как змеи, оплетают белые черепа валунов, стужей снеговеев, в которых над погибельной тайгой проносится Войпель, пермский Перун, бог Северное Ухо.

— Тьфу на нее, прикрой! — рывкнул князь Ермолай, выдираясь из цепких лап наваждения.

Полюд, переводя дух, набросил на идола старый княжеский зипун. Князь оглянулся. Иона отодвинулся в темноту, словно прячась от медленного и неотвратимого взгляда идола. Миша сидел бледный, с приоткрытым от испуга ртом.

— Во как хватает... — произнес Полюд, разминая пальцами горло. — То-то мне ее Питирим и не показал, а прямо так в бочке сунул.

Два огонька увидел князь в дальнем темном углу горницы. Это по-кошачьи горели глаза старухи Айчейль.

— Пошла вон, карга! — И князь швырнул в нее чаркой.

Князь Ермолай думал, что в эту ночь долго не уснет, но уснул быстро и как-то ошеломительно, словно шел в сумерках, споткнулся и упал в пустую могилу. Так же внезапно он и проснулся посреди ночи. Хотелось пить. Князь протянул руку за ковшом с квасом и в лунном свете из прорези ставни увидел, что стол пуст. Золотая Баба исчезла.

«Мишка!.. Васька!..» — Бессмысленный страх прошиб князя. Вскочив, он рванул из ножен меч, висевший на стене, и кинулся к сыновьям. Оба спали, укрывшись медвежьей шкурой. Однако старухи-вогулки на ларе, на ее обычном месте, не было.

Князь бесшумно пробежал к сеням. Дверь изнутри была заложена засовом. На крыльце хрустел снегом сторож, побрякивал трещоткой. «Значит, болванка в доме, — успокаиваясь бешенством, подумал князь. — Тащить идола в руках самой старухе не под силу, а кроме старухи из домашних про болванку никто не знал. Кому старуха могла довериться? Танег!»

Ермолай на цыпочках сбежал по лестнице в подклет. В каморе спившегося чердынского князька тлел свет. Князь подошел и распахнул дверь.

Огонек лучины плавал в спертom сивушном мареве. Танег храпел на своем топчане, свесив до земли волосатую руку. Золотой идол стоял на поставце. Зипун, которым укрыл Бабу Полюд, косо висел на углу столешницы, зацепившись воротом. А на другой лавке, где спала Танегова дочка Тичерть, сейчас поверх девочки пластом лежала старуха, прижавшись щекой к ее щеке. Князь затрясся.

Глаза у обеих были открыты, губы шевелились, и какое-то полудетское-полустарческое бормотание донеслось до князя.

Князь шагнул к лавке и дернул старуху за плечо. Голова Айчейль со стуком ударилась лбом в доску, тело было как деревянное. Старуха замолкла, не шевелясь, а девочка все продолжала бормотать — глухим, скрипучим голосом старухи.

Волосы дыбом колыхнулись на голове у князя. Стуча зубами и грозя девочке мечом, он сгреб одной рукой идола под мышку, попятился и метнулся в дверь, но врезался головой в притолоку...

Он очнулся в своей горнице на полу. Меч в ножнах висел на стене. Истукан стоял там, где его вчера поставил Полюд, — на столе у окна. Князю хотелось пить.

Он поднялся, выпил квасу, вытер ледяной пот и пошел к сыновьям. Мишка и Васька спали под шкурой. Айчейль лежала на ларе и постанывала во сне. Князь заглянул в сени: дверь на засове, колотушка бренчит у ворот. Князь спустился в подклет. Под дверью каморы Танега светилась полоска. Князь заглянул в камору. Танег храпел, свесив руку до земли. Девочка сопела на лавке, повернувшись лицом к стене. А с угла поставца свисал старый зипун князя.

Ермолай застонал, как подраненный. Вернувшись к себе, он снова долго пил квас. Потом, встав на колени, молился перед божницей, крестил углы, дверь, окно, свой лежак, даже золотого истукана. А затем без сил повалился и уснул.

Ему приснился заснеженный еловый лес под луной — словно разбитое зеркало: то ослепительно блещет, а то глухая, непроглядная, угловатая тьма. По снегу на лыжах бежала Айчейль. Она была одета так же, как в доме: в каких-то шароварах, в рубахе, с тремя кожаными чехлами для кос и в трех платках, по-разному повязанных вокруг головы. Старуха бежала без рукавиц, хотя от стужи в лесу лопались деревья. Волчья стая неслась вокруг Айчейль; волки иногда оглядывались на старуху, светя желтыми

глазами. Не уставая, Айчейль летела по прогалинам и еланям, по снеговым полям, скатывалась со склонов холмов, ведьмой петляла по извилистым долинам речушек. Над землей пылали злые вогульские звезды, и луна была как блюдо, прибитое вместо лица у болвана.

Старуха выбежала на опушку, где высились темные копны чумов. Лежа в снегу, вместе спали собаки и олени. Торчали из сугробов поставленные на попа нарты. Костры погасли. Старуха направилась к самому большому чуму. Полог его откинулся. На входе стоял высокий человек с бледным безбородым лицом, с длинными темными волосами, с рогатым оленьим черепом на голове.

— Здравствуй, князь Асыка, муж мой, — молодым, певучим голосом сказала старуха, останавливаясь.

— Здравствуй, ламия Айчейль, жена моя, — ответил человек в оленьем рогатом черепе.

Айчейль повернула голову, и Ермолай увидел ее лицо — молодое, прекрасное, дивно-прекрасное и смертельно-страшное, ярким и беспощадным взглядом похожее на лик Золотой Бабы.

— И ты здравствуй, князь Ермолай, враг мой, — улыбаясь, сказала Айчейль.

Князь дернулся и проснулся. Рассвет нежными розовыми лучами из-под ставен веером разошелся по сумеречно светлеющей горнице.

Весь день эти полусны-полуявь не выходили из головы князя. Делами он занимался как в тумане. «Эй, Полюд, опохмелил бы его, что ли», — ухмыляясь, шепнул чердынскому сотнику Лукашка.

Вечером княжич Миша остановил отца в сенях.

— Батюшка, — спросил он, — а где сказочница наша? Целый день не показывалась...

Старуху-вогулку искали по всему терему, по всей усадьбе, потом по всему детинцу, кричали о ней на торгу — не нашли. Да еще в сарае пропали старые лыжи.

Глава 7

Владыка

«Стефан соврал, желая славы, а Епифаний трижды соврал... Не веруют они. Не веровали и не будут...» — озлобленно думал епископ Питирим. Подметая сугробы лапами бобровой шубы, он выхаживал над кручей по узкой тропинке, проложенной вдоль частоколов Чердынского острожка. Над головой владыки острия тына пропахивали извилистые борозды в низких темных тучах. Под ногами гудел ветер, раздувавший на снежной долине Колвы метельные водовороты. Сквозь дым непогоды мутно темнели дальние леса. Наклонив голову и разметав по плечам длинные космы, епископ угрюмо вышагивал от Тайницкой башни до Спасской и обратно, поджидая Ничейку.

Такой уж день был сегодня — проклятый. Ровно тринадцать лет назад прямо во время службы мальчишка-зырянин удавил пермского епископа Герасима омофором. Герасим был третьим пермским епископом — после Стефана и Исаакия. Питирим его не знал. Он видел лишь скромный крест с двускатной кровлей и иконкой, стоящий у алтарной стены Благовещенского собора в Усть-Выме. Питирим преемствовал Герасиму, и его шибало в тоску и злобу от мысли, что и его жизненный путь завершится таким же крестом у того же алтаря.

«К бесам эту идолскую пермскую землю!» — плевался Питирим. Тринадцать лет назад он и не чаял, что окажется здесь. Грехи утянули: и пожертвованиями попользовался, и вино уважал, и бабий пол туда же... Но что непростительно игумену Чудова монастыря, то простится пермскому епископу. Потому сдуру и сунулся сюда, сатане за пазуху. Вот и околачивается тринадцать лет.

Епархия-то плюгавенькая, вроде и забот никаких. Четыре монастыря, семнадцать приходов — и сорок сороков верст вокруг. Питирим рассчитывал пересидеть здесь, в глуши, опасные времена, — да и обратно на Русь. Куда там! И грамоты писал, и лично молил — шиш, не отпускали. Хотел трудами, смирением перевода заслужить, слово о митрополите Алексие составил — и опять без толку. Тогда в козни ударился. В ту пору митрополит Исидор, грек из Солуня, хотел Русь Папе Римскому отдать, а за то был низложен и заточен, но потом бежал. Православная же церковь откололась от ромейского патриарха. Семь лет назад на Московском соборе в первые русские митрополиты выбрали Иону Рязанского. Он, Питирим

Пермский, да еще епископы Ефрем Ростовский, Авраам Суздальский и Варлаам Коломенский кричали за Иону. Питирим был уверен, что в благодарность митрополит Иона вытащит его из Перми. Не вытащил. Питирим пропадал заживо. Пил, буянил, бесчинствовал, потом грехи лютые замаливал, каялся, сам на себя епитимьи накладывал — все равно и митрополит, и сам господь забыли о живой душе, мятущейся среди этих гор, лесов и рек.

«Ну, и к дьяволу все, — решил Питирим. — Коли ни с правой, ни с левой ноги шагнуть не даете, я шагну сразу обеими. И через подкуп буду действовать, и подвиг совершу».

Год назад Ничейка нашептал епископу, что этим летом вогульский князь Асыка привезет на Гляден Золотую Бабу. Питирим предложил князю Ермолаю замысел, как ее выкрасть. Ермолай согласился, набрал станицу — надежных ушкуйников и ратных людей. Питирим дал станице проводника — храмодела Ваську Калину. С Калиной Питирим познакомился в Соликамске; Калина поставил там Троицкую церковь, а Питирим приехал ее освятить. Со всей этой затеи с Золотой Бабой князь Ермолай обещал Питириму долю.

Станица ушла. Питирим ждал ее в Чердыни, Ермолай — в Усть-Выме. Месяц назад в Чердынь приехал из Анфаловского городка тамошний есаул Кривонос. Анфаловские поймали на камском льду двух оставшихся от станицы ушкуйников, уходивших с хабаром, — Семку и Пишку. Кривонос пригнал разбойников и привез отбитый хабар: Бабу, бочонок с побрякушками и три кошель монет. «Я ж Ухвату пять кошель давал», — напомнил Кривоносу Питирим. «У него и спроси, где недостача», — ухмыльнулся Кривонос. Питирим дал ему еще кошель, чтобы молчал о двух оставшихся и бочонке. Кривонос понимающе хмыкнул и уехал. Питирим закопал хабар в погребе. С такими деньгами он сможет сложить с себя сан, вернуться на Русь, основать тихую обитель и безбедно жить там, пока бог не приберет. Полюд по указу Питирима замкнул Семку и Пишку в пустой амбар, а сам повез идолицу в Усть-Вым князю.

Питирим, конечно, мог бы и с Полюдом уехать. Но хотелось поберечься от неудач, особенно когда деньгой разжился. Надо бы еще и дело какое богоугодное совершить, чтобы митрополит на его бегство из Перми не прогневался. Да и опаска перед всевышним тоже... Видно, хоть совесть и сплошь в заплатках, а держит еще божий ветер. Питирим решил вновь покрестить Пермь Великую. Уж за такой-то подвиг должны его перевести куда поближе к митрополиту!..

Но крещение не удалось. Через овраг, сквозь снежную мглу, Питирим

глядел на языческую Чердынь, венчавшую высокий холм. Городище здоровенное, куда там до него полупустому русскому острожку. Чердынь, столица Перми Великой... Питирим со злорадством усмехнулся, вспомнив, что князь этой земли спивается в подклете у Ермолая Вымского. Русскому глазу Питирима дико было смотреть на языческий город. Стена из нескольких рядов заостренных кольев, торчавших вкривь и вкось, как широкая щетка, опоясывала вершину горы. Питирим знал, что изнутри к этой стене была еще привалена насыпь, покрытая бревенчатым накатом. Над стеной вставали сторожевые вышки, похожие на грачиные гнезда, поднявшиеся на ходули. Высокий частокол скрывал гущу тесно столпившихся односкатных хибар, крытых берестой, корой, дерном. Новое городище заслоняло собой старое, порушенное, что топорщилось на третьем холме. Чердынь казалась епископу не людским поселением, а каким-то логовом чудищ. Нелепо, неуместно, до тоски одиноко выставлялась над частоколом лемеховая луковка с крестом. Это по указу епископа перед уходом на Гляден Калина — царствие ему небесное — поставил в Чердыни часовню. Питирим перенес туда икону Живоначальной Троицы Стефанова письма. Да вот только ни икона, ни часовня ничего не значили.

Пермяки охотно купались в Колве, надевали кресты, кланялись в часовне иконам. «Русский друг — друг сильный, — говорили они. — Мы будем чтить его бога». Потом Питирим уехал по приходам — в Анфал и на Яйву, в Соликамск, в Мошевы и Аниковские деревни, в Верх-Усолку и Усть-Боровую. Когда же он вернулся, дверь в часовню была оплетена паутиной. «Смотри, где мы молились, — оправдывались пермяки, ведя Питирима на свое святилище. — Вот, гляди, твоему богу мы нового идола поставили и дары ему щедрые принесли, золото». В бешенстве Питирим изрубил Христа-идола на щепки.

Он прочел пермякам Евангелие. Они не поняли, что такое фарисеи, синедрион, прокуратор. Питирим пересказал им своими словами, поражаясь, как святотатственно звучит его переложение на чужой язык и чужой быт. «Хороший человек, — одобрили Христа пермяки, — правильно богов чтит и судьбу свою понимает, не прячется от нее, не путает следов. Несомненно, Войпель отнесет все четыре его души-птицы на верхнее небо, а пятую душу — голубя, как ты нам сказал, — вложит в грудь здоровому и красивому младенцу». «Грех!» — орал Питирим, расталкивая пермяков и уходя прочь.

Тогда мириться к нему пришел ихний мудрец — седой и слепой старик, которого вела дочь. «Ты говоришь непонятные нам вещи, — сказал

он. — Что такое грех? Человек идет по судьбе, как по дороге. С одной стороны — стена, с другой — обрыв; свернуть нельзя. Можно идти быстрее или медленнее, но нельзя не идти. Что же тогда это такое — грех?»

Потом пермяки пригласили Питирима на праздник, усадили на почетное место. Слепец положил перед собой огромную берестяную книгу, исписанную закорючками Стефановой азбуки. Под струнный плач журавля ощупывая пальцами листы, он начал петь о подвигах богатыря Кудым-Оша. «Ты рассказал нам о своем великом герое, а мы хотим рассказать тебе о своем», — пояснили Питириму. Питирим плюнул и снова ушел.

Он перевел молитвы на пермский язык, и в них бог казался каким-то лесовиком, который за почитание дарует глухарей и песцов. Питирим попросил лучшего резчика в Чердыни охотника Ветлана, чтобы тот вырезал для часовни богоматерь с ангелами, и богоматерь Ветлана походила на Зариню, а ангелы — на шаманов с руками-крыльями, какими пермяки изображают их на своих бронзовых бляхах. Питирим собрал по острожку иконы, и пермяки измазали их жертвенной кровью.

«Они дети душою, — убеждал себя Питирим. — Не по злонамерению богохульствуют, а по неведению...» И в то же время он знал, что это ложь. Пермяки не были детьми. Просто мир в их глазах выглядел совсем не так, как в глазах самого Питирима, или князя Ермолая, или Полюда, или ушкуйника Пишки. В этом мире даже Христос принимал облик идола. И вместо смирения, снисхождения, душу Питирима жгла ненависть растравленного самолюбия, давней саднящей обиды на свою несчастливую участь.

Сумерки заволакивали дали, когда на тропе появилась темная фигурка Ничейки. Ничейка — пермский человечешко Ичей, прибившийся здесь, в Чердыни, к епископу, — бежал, размахивая руками, и что-то издали кричал Питириму. Вообще-то Ичeya по-пермски звали Ичег, но он считал, что зваться на татарский лад величественнее.

— Беда, бата, беда!.. — донеслось до епископа.

Три дня назад в Чердынь съехались все десять пермских князьков. Вместе их свело какое-то важное дело, Питириму неизвестное. Не хватало лишь главного князя — Танега, но его в Чердыни уже и не чаяли увидеть. Питирим послал Ничейку узнать, за каким бесом всполошились пермяки. Теперь, похоже, станет ясно.

— Беда, бата!.. — повторял, налетев, Ничейка и тяжело дышал. — Асыка, кнеса, Канский Тамга взял, война идет на Йемдын, роччиз бить, гнать обратно!..

До Питирима уже доходили слухи о готовящемся набеге вогулов.

— Где Асыка? — помрачнев, спросил Питирим.

— Близко, бата! Пянтег четыре дня ходить! Большой хонт, много, много мечей!

«Четыре дня до Пянтега... Значит, сейчас, может быть, уже на Анфал приступом идут...» Питирим оглянулся на Колву, словно ожидал увидеть на ней вогульские упряжки.

— А князья зачем собрались? — спросил Питирим.

Морщинистое, подвижное лицо Ничейки сложилось в гримасу скорби.

— Асыка-кнеса за собой зовет, всех зовет. Гонца прислал.

— И что князья ответили? — с презрительной неприязнью поинтересовался Питирим, не ожидая от пермяков ничего, кроме предательства.

— Думают кнесы... — вспоминая, Ничейка по пальцам начал перечислять: — Ныроб, Акчим, Редикор, Пыскор, Кудымкар говорили: «Не хотим, а роччиз попросят, то с ними против тебя, Асыка-кнес, пойдем, и твоя Тамга нам не указ, мы ее на твою шею не вешали». Урос, Искор и Покча пока молчат, а Пянтег и Губдор согласились Асыку помочь...

«Кто вогулам по пути попался, те и согласились», — понял Питирим. Значит, и прочие согласятся; поупрямятся — и смирятся. Недаром примчались в Чердынть татарские шибаны из Ибыра и Афкуля: им тоже кусок урвать охота... А-а, дьявол их подери!.. — разъярился Питирим. Пуцай хоть солнце с неба срывают, а с него хватит этих чудских напастей! Пусть Ермолай кашу расхлебывает, а ему тут делать нечего!

— Где вогулы пойдут? — хватая Ничейку за плечо, свирепо спросил Питирим. — По Кельтьме или по Колве?

— Не знаю, бата! — прикрываясь локтем, закричал Ничейка. — Прогнали меня кнесы, не знает Ичей!

Питирим постоял, соображая, развернулся и широко пошагал к раскрытым воротам острога. Ничейка тотчас побежал вслед.

— Нарты собирай, — через плечо бросил ему Питирим. — Завтра утром в Усть-Вым уходим. Пропадай все пропадом!

Задолго до рассвета с княжеского двора съехали три оленьи упряжки. На передней с хореем под мышкой боком лежал Ничейка. Глаза его были красными от бессонной ночи. Вторая упряжка везла свернутый походный чум и припасы. На третьей поместился владыка. Хабар он решил не брать: будет надежнее, если тот полежит пока зарытый в погребе. Надо переждать набег, а потом вернуться за побрякушками.

Свистя смазанными полозьями, нарты пронеслись заметенными

улочками острога и сквозь темную, обметанную изморозью башню выкатились в поле. Колва, тускло отсвечивая, простиралась вдаль до самых тусклых туч. На горе косматой пермяцкой шапкой криво сидело городище. Шатры на башнях острожка деревянной короной венчали другую гору, постепенно отступающую за плечо городищенской. Маленький караван уходил в черно-снежную предрассветную мглу.

От Чердыни Ничейка, который все знал и все умел, хотя и прикидывался дурачком, повел по Ныробскому тракту. На рассвете миновали Покчу в устье Кемзелки, где из-за частокола с Ничейкиными псами лениво перелаялись покчинские. Ворга была хорошо накатана, и нарты летели будто с горки. В полдень, когда солнце разгорелось в безоблачном небе, а леса и дали окутались серебристым, иглистым сиянием, прибыли в Вильгорт, где Ничейка свернул к керку своего брата. Потрапезничав, покатались дальше, и к ночи, уже в темноте, уже преследуемые волчьим воем, въехали в Янидор. Пермяки радушно привечали епископа и не спрашивали, какая нужда выгнала его из чердынского терема в самую стужу. И так было ясно. От этого Питирим злился и мрачнел.

На следующий день миновали Камгорт, утонувший в сугробах, потом — высокий и грозный Искор, драконом вздыбившийся на каменистой горе. В малиновом тумане заката по золотым снегам въехали в Ныроб. Дав оленям передышку, опять сорвались с места. «Пырр! Пырр!» — задорно кричал Ничейка оленям, на лыжах не отставая от упряжек, и, озоруя, хлопал оленей хореом по крестцам. Проехали Бобыкин камень, нависший над Колвой, как бык на водопое, и вскоре на вершине Бойца в низенькой избушке остановились на ночлег, не отваживаясь идти в волчьи часы. За Бойцом по берегу Колвы по грудь в сугробах стояли древние черные идолы с белыми от снега головами, усами и бородами. Питирим плюнул, проезжая вдоль шаманской Дивьей пещеры.

С Колвы свернули на узкую, петлявую Вишерку и в сумерках добрались до пустой по зиме Фадиной деревни. У мостков, вмороженная в омут, лежала брошенная барка. Ночевали в остывшей варнице. Питирим, не привычный к зимним таежным ночевкам в маленьком чуме, решил, что под крышей будет теплее, чем под шкурой на лапнике, и ночью чуть насмерть не замерз на цырене. Охая и качая головой, Ничейка поутру поил его от простуды какой-то пахучей, горячей дрянью. Два дня проторчали в Фадиной, покуда епископ не окреп, потом пустились дальше. Легендарные Семь Сосен высокими снежно-хвойными кронами проплыли над головами в ослепительной лазури января, и к вечеру за лесами распахнулось

огромное, пустынное поле Чусовского озера.

Полдня шли через озеро, продуваемое всеми ветрами Полуночного океана. Прогногнав, встали на другом берегу возле устья Березовки. На следующий день по засекам, по каким-то своим приметам Ничейка повел оленей напрямик через застывшие болота, петли Березовки, Еловки и Молога и вывел к огромному разлапистому кресту с кровлей, вбитому ушкуйниками в незапамятные времена. Отсюда начинался Бухонин волок, а сейчас — неглубокая борозда в бездонных снегах. Измучившись, потеряв одного оленя, выползли к речке Нем. Хоть погода и начала пошаливать, идти по льду стало не в пример легче. Увидев наконец белую долину Вычегды, Питирим почувствовал себя спасшимся из этого снежного ада.

— Трудно, бата, вдвоем, — уважительно сказал Питириму Ничейка. — Молодец, бата, только рожа отморозил. Пырр! Пырр! — весело закричал он оленям и на лыжах ушаркал вперед.

Зима окончательно осатанела, и пришлось встать на берегу, пока по Вычегде день за днем катили бураны. Отощавшие олени едва держались, один пал, другого задрали волки. Собаки прятались в сугробах. Ничейка и Питирим лежали в чуме, прижавшись друг к другу. Припасы кончались. Ничейка отдал свое епископу и что-то жевал, отвернувшись в сторону, — ел струганину из падали. Питирим молчал, тоскуя, и думал о тихой обители, где обретет покой, об огне, о Ермолае, о вогулах, что, как тени, упрямо идут сквозь бураны, о русских городах Перми Великой, где на три острожка всего полсотни ратников Полюда против всех врагов, идолов и заклятий. «Найдет или нет Полюд в своей погребке мой клад, если я не доберусь до Усть-Выма?..» — равнодушно размышлял Питирим.

Однажды утром их разбудила тишина.

— Вставай, бата! — тормозил Ничейка. — Ветер ушел! Ехать надо!

Над Вычегдой пылало северное сияние, хрустально перекатываясь огромными полосами и кружа голову. Еле переставляя ноги, Питирим и Ничейка полезли запрягать оленей. Вдруг Ничейка схватил Питирима за руки.

— Тише, бата!.. — вытаращив глаза, прошептал он. — Вогулы!..

Сквозь редкую цепочку сосен на берегу, под переливами неземного огня, они увидели упряжку, медленнодвигающуюся по льду Вычегды. На нартах сидели два вогула с пиками. Завернув шапки так, что уши торчали, как рога, они всматривались и вслушивались в умолкший лес, отыскивая беглецов. Но умные собаки Ничейки не залаяли, олени не всхрапнули, и, помедлив, вогулы повернули обратно.

— Бежать быстро-быстро надо, бата! — жарко зашептал Ничейка. —

Асыка-кнес — злой, жить не даст!

Бросив отягощавшие их нарты с чумом, Питирим и Ничейка съехали на лед Вычегды и понеслись дальше, к недалекому уже Усть-Выму. Начинался рассвет, и поднялась поземка.

Питирим лежал на нартах, а Ничейка бежал на лыжах, словно выжидание отнимало у него больше сил, чем бег. В снежных тучах поднималось багровое, обветренное солнце. Вековые ельники по берегам окутались белым дымом. Ничейка оглянулся и завизжал, как подстреленный заяц.

— Вогулы! Вогулы! Асыка-кнеса! — кричал он, нагоняя Питирима.

Епископ тоже оглянулся через плечо. Попутная вьюга хлестнула снегом по глазам, но Питирим разглядел смутные тени нагонявших вогульских упряжек.

— Пырр! Пырр! — вопил Ничейка, хлеща хореем по спинам Питиримовых оленей. — Бата! Спасаться надо, бата! Вон речка Помос, беги туда! Вогулы за Ичеем побегут, бата спрячется, спасется! Беги скорее на Помос, пока мало видно, пока снег заметет! Ичей уведет вогулов, Ичей хитрый!

Питирим приподнялся, присматриваясь к дальним кустам, в которых скрывалось устье Помоса, и тут увидел, как вьюга несет и справа, и слева, и сверху над ним вогульские стрелы. Одна стрела тупо ткнула Ничейку в спину. Тот захлопал лыжами, теряя равновесие, выронил хорей, но удержался на ногах и бежал дальше. Питирим заметил, как на спине Ничейки, в дырке, прорванной стрелой, что-то блеснуло.

Питирим боком кинулся на пермяка, перевернув нарты и свалив Ничейку на лед. Треснули лыжи, Ничейка в ужасе взвыл. Питирим за шею вдавил его лицом в снег, сунул руку сзади под ягу, нашарил и выдернул золотое персидское блюдо с отчеканенными царями и львами, поверх которых шаманы нацарапали свои каракули. Блюдо было из тех, что он закопал в погребке княжьего терема в Чердыни.

Олени остановились невдалеке, тяжело поводя боками. Вокруг плясали и лаяли собаки. Свистела вьюга. Питирим выпустил Ничейку, сел в снег и захохотал.

Он неожиданно ясно понял все: Пермь возвращает себе то, что отняли пришельцы. Ничейка разнюхал и выкопал его клад. Князь Асыка возьмет и разрушит Усть-Вым, и ничто не спасет князя Ермолая Вереинского, назвавшегося Вымским. Ничто не спасет и его, Питирима, четвертого епископа этой проклятой страны.

Он видел, как останавливаются передние упряжки вогулов, как с нарт

сходят люди с пиками, луками, мечами — странные, так и не понятые, навечно чужие люди с нерусскими лицами и глазами, люди в одеждах из шкур, похожие на зверей или оборотней. Угли души Питирима, угасавшие от голода и усталости, от грехов несправедливой жизни, от неудач и несбывшихся надежд, — угли эти вспыхнули последним сумасшедшим пламенем.

Вогулы не сразу поняли, зачем им навстречу побежал этот огромный человек, сбросивший шапку и рукавицы, распахнувший шубу, выломивший жердину из опрокинутых нарт. Почему он хохочет, так страшно раскрывая черный, обмороженный рот в заиндеветой бороде?

Удар жердиной по уху сбил с ног одного вогула, все лицо которого сразу окрасилось кровью. Обратный взмах покатило по льду другого. Хохоча, как безумный, владыка крутил свое оружие, валя вогулов во все стороны, вышибая мечи из застывших пальцев, ломая руки, разбивая черепа. Крест мотался и кувыркался на его груди. Новые и новые упряжки проносились справа и слева от епископа, целая толпа окружила его, но он продолжал драться, даже когда жердь сломалась, когда враги грудой подмяли его под себя, — он махал кулаками, орал, душил кого-то, рвал зубами.

Но его все-таки скрутили, повязали и бросили под ноги неподвижно стоявшему вогульскому князю с бледным, омертвелым лицом. В тишине князь за краешек поднял, как солнце, золотое блюдо, показал его всем и швырнул епископу на грудь.

— Ты Золотую Бабу крал? — по-русски спросил он.

— Проклинаю-у!.. — в каком-то восторге зарычал Питирим в метельное небо.

Его потащили куда-то по снегу, выволокли на обрыв берега, поставили на ноги и прислонили к березе. Раскинув ему руки, вогулы ремнями прикрутили запястья к корявым веткам, а ноги привязали к стволу. Питирим хрипел что-то бессмысленное, мотая окровавленной бородой. Бешено сверкал крест на разорванной рубахе, полоскавшейся на ветру. Вогулы спрыгнули с обрыва и пошагали к нартам, оставив епископа висеть распятым на березе.

Одна, другая, третья, пятая, десятая, сотая упряжки мчались внизу мимо владыки, но он их уже не видел. Последние нарти просвистели под обрывом, и река, исполосованная полозьями, опустела. Вьюга застилала следы свежим снегом, мутила воздух. Но, оглядываясь, вогулы долго еще видели красный уголок вечно-красной седины Питирима под хрустальным кружевом ветвей заледеневшей березы. Владыка оставался один, распятый

над снежным берегом, только он — и огромная река, да, может, еще где-то и бог.

Глава 8

Набег

Княжич Миша жил сказками. Сказкой стала для него и мать, умершая так давно — восемь лет назад. О ней в памяти сохранились лишь какое-то ласковое, нежное, печальное тепло да отзвук тихого голоса. Этот голос сквозь толщу лет все рассказывал Мише сказку, как хитрая лиса тащит петушка, который позвал ее на блины, и петушок зовет на помощь: «Котик-братик! Котик-братик!.. Несет меня лиса за синие леса...»

Исчезновение матери словно оглушило его, и дальше он рос тихим, послушным, незаметным никому — тем более отцу, который был вечно занят своими делами. Миша не был хилым или затравленным, не был помешанным, но почему-то все считали его слегка блаженненьким. Однако князь Ермолай своим простым и хватким умом сразу определил: этот — грамотей, книжник. Значит, будет править умом и хитростью, а потому надо учить, чтобы знал все крючки княжеских междоусобных премудростей. Мечом пусть машет младший брат — Васька, он побойчее будет. И к Мише приставили учителей.

Он учился прилежно, но ему было скучно. Только сказки овладевали его душой без остатка. Миша убегал в подклеты и на поварни, тайком от всех пробирался в конюшню и в гридницу, молча прятался там в уголку и слушал все подряд. Вековые чащи с болотами и буреломами, дикие звери и яростные стихии, земля, покрытая мхом и валунами, витязь у тына, унизанного человечьими головами, и избушка на курьих ножках, где живет горбатая старая ведьма с костяной ногой, а главное — неизъяснимые силы природы и судьбы, о которых и словом не говорится в тех книгах, что читали ему приставленные отцом монахи, — вот что поражало воображение княжича больше, чем хождение по водам, обращение камней в хлебы и вознесение.

Миша не представлял себя богатырем, побеждающим Кощея. Ему нравились не ратные подвиги, а именно та нерусская жуть, с которой богатыри боролись. И когда отец вдруг поменял княжество, перевез свой двор и стол куда-то на край земли, за синие леса, куда за Петушком вечно бежал верный Котик-братик, когда Миша впервые увидел на обрыве над темной рекой частокол пермского городища, эта самая нерусская жуть словно холодом из пещеры дохнула ему в лицо. Отец привез Мишу в сказку.

Здесь, в бескрайней северной парме, русские тесно жались друг к другу, укрывались в крепостях. Но пермяки не были страшнее татар или немцев. За стенами острогов русские прятались от чего-то другого, незримого — от чего стены, наверное, и не могли защитить. А Миша этого «чего-то» не боялся и потому оставался один, вне ошестинившейся копьями толпы. Здесь он стал еще более одинок, чем в Верее, но гораздо меньше чувствовал свое одиночество.

Князь Ермолай считал, что бесстрашие его сына, который совсем не был воином, происходит от наивной любознательности затворника-грамотея, способного засунуть руку в пасть льву, чтобы потрогать зубы. Это было не так, но князь не способен был того понять. А Миша, конечно, объяснить не мог. И потому в Усть-Выме сложилось отношение к старшему княжичу как к божьему человеку, вроде юродивого. Разве что простодушный Полюд, изредка приезжавший из Чердыни, не замечал этого и всегда то вызывал Мишу биться на кулачках, а то дарил деревянную сабельку как обычному тринадцатилетнему мальчишке.

Но и пермяки не держали Мишу за своего, ничем не выделяли среди прочих «роччиз». Будь Миша постарше, он бы насторожился. Но пока что он еще доверял всем. Он не делил людей на своих и чужих, потому что еще не знал такого деления. Не было у него ни матери, ни друга, ни учителя. Брат Васька был еще маловат. Отец был всегда занят. И для Миши пока что существовали только он сам — и весь мир. Он желал видеть, а мир мог показать. И не находилось другого человека между ним и миром, который мог бы превратить подобное положение вещей в добро или зло. Старая Айчейль, учившая языку и рассказывавшая сказки, была равнодушна к своему делу. Язык пермяков Миша знал плохо, а сказки их почти не понимал. Только девочка Тичерть, дочка чердынского князя Танега, была Мише чуть поближе прочих, но между ними стеной стояло ее недетское горе. Лишь изредка они вместе сидели на лавке в каморе у Танега и слушали, как пьяный князь плачет и поет древние песни своего народа.

Миша видел гибнущего Танега, но не понимал причин его гибели. Он многое мог бы почувствовать, но не умел. Душу княжича еще нужно было разбудить, и сделать это должен был человек, а сделал золотой идол.

Когда Полюд поставил на стол Золотую Бабу, все, кто был в горнице — сам Полюд, князь Ермолай, отец Иона, княжич Миша, — ощутили удар по душе, глянув в пустые и безмятежные глаза медленно улыбающегося истукана. Для взрослых, сложившихся людей этот удар был ударом ужаса — ужасом перед злом золота, злом судьбы, злом язычества. А для Миши это был просто удар той силы, которая таилась в земле, породившей идола.

Круглый солнечный лик показался дырой в горнило, в недра, и из недр страшным напором вылетел поток, сразу начавший наполнять порожний кувшин Мишиной души. Сила не была еще ни злой, ни доброй. Миша отвел взгляд от идола только потому, что испугался внезапно нарастающей тяжести в груди.

Потом он долго вспоминал и обдумывал свое чувство. Сила земли, ставшая волей идола, казалась злом только потому, что была слишком велика для одного человека. Что ей противопоставить? Как усмирить? Тем более — как подчинить своей воле?

Конечно, Миша не мог облечь эти мысли в слова. Но тревожная необходимость ответа смутила покой его доселе безмятежной души. При виде Золотой Бабы побледнел отважный Полюд, ощерился отец, злобно закрестился всегда умильный игумен Иона. А он, Миша, не почуял никакой угрозы — только испуг от их общей неосторожности. Он увидел, что в идоле нет зла, а есть очень большая и чужая сила, другими безоговорочно сочтенная злом. И тогда впервые Миша понял, что далеко не сказочно просто все это — добро, зло, человеческие дела. А потому никогда и никому нельзя позволить решать за себя, что есть добро, и что есть зло, и что надобно делать.

Но не твердый вывод и даже не сомнение — еще только тревога после той ночи поселилась в душе у княжича. Душа, как слепая, начала неловко ощупывать окружающий мир, поверяя все по себе. И несколько дней спустя, утром, когда князь Танег лежал в горнице на скамье, будучи не в силах сидеть, и трясся, ожидая опохмелки, Миша, с трудом подбирая пермские слова, сказал ему:

— Дядя Танег, не пей вина...

Однажды февральским днем Миша с причетником разбирал в горнице Минеи. За стеной отец о чем-то беседовал с двумя вологодскими купцами. Васьки в Усть-Выме не было: князь Ермолай наконец-то отослал его с сотником Рогожей на Печору — пусть присматривается к своим землям. И в предзакатный час, когда из лесов должны были возвращаться артели, на Благовещенском соборе загудел набатный колокол.

Причетник, разъяснявший Мише картинку складным и затейливым книжным языком, вмиг побелел и застыл с отвисшей бородой. За стеной раздались грохот и лязг. Миша перепрыгнул скамейку и выскочил из горницы.

Пинками отшвыривая с дороги лавки, князь Ермолай с длинным мечом в руке рванулся в сени. На его татарских скулах горели багровые пятна.

Вологодские купцы, крестясь, валились на колени перед киотом. В другой горнице Полюд напяливал кольчугу, ударяясь локтями о поставцы и стены. По терему загомонили голоса, забухал топот. Набат качался над головами, над крышами, над шатрами башен городка, как северное сияние.

Миша выбежал на крыльцо и увидел, как отец выводит коня. Скотники, хлеща и матеря скотину, распихивали ее по хлевам и стойлам. Челядь металась, вооружаясь чем попало — топорами, вилами, косами, рогатинами, жердями, кольем. За гребнем палисада мелькали шапки — народ бежал по улочке кто куда.

Столкнув Мишу со ступенек, промчался мимо Полюд в остроконечном железном шеломе с кольчужной бармицей и сотниковским яловцом. Завизжала баба, сбитая им с ног и окатившая себя закваской из кадушки. Захлопал крыльями, роняя перья, взлетел косматым комом над двором петух, сел на зубец палисада и заорал; в него швырнули полено. Конюхи отволакивали створки ворот. Что-то крича, князь Ермолай пустил коня в проход и врезался в толпу на улочке. Полюд бросился за князем, Миша — за Полюдом.

— Куда, княжонок!.. — хватая за опашень, поймал его в воротах старый конюх Савела. — Брешут, вогуличи налетели! Там сейчас у ворот страсть что за рубка будет... Не дело тебе туда, полезай вон с монахом в погреб от беды подальше.

Савела захлопнул прясла и завалил их огромным брусом. Злые слезы досады брызнули у Миши из глаз. Набат перекачивался в небе, точно гроза.

— Уходи, — велел Савела, вставая у ворот на караул и опираясь на рогатину. — Уходи сам, а то ведь кликну кого — с позором потащат.

Миша повернулся и побежал в дом. «Все равно проберусь на забрало!..» — стиснув зубы, думал он. Не увидеть сшибку с вогулами — грозными, загадочными, страшными закаменными воинами — Миша никак не мог. Слишком много слышал он об этом народе в керку и чумах пермяков.

Захватив кочергу, Миша поднялся на верхний ярус дома. Он подцепил кочергой дверь гульбища, заколоченную на зиму, и двумя рывками отодрал ее от косяка. Гульбище было завалено снегом. Размахивая руками и уходя в снег выше колен, княжич добрался до перил на углу, перелез их и спрыгнул в сугроб на крыше амбара, а с амбара уже сиганул в проулок.

Он побежал к проездной башне, сталкиваясь с людьми, бегущими навстречу, — с ревущими бабами в сбитых платках и разодранных полушубках, с хрипящими и окровавленными мужиками из артельных и посадских. По улицам уже невозможно было пробраться: там скакали

ратники, люди вытаскивали из осадных дворов рогатки, городили завалы из домашнего скарба. Миша петлял по закоулкам. Его сшибали с ног, не узнавая, и он барахтался в сугробах, желтевших собачьими отметинами.

Перед проезжей башней уже шел бой. Миша слышал рев, брань, крики, стук и лязг, треск, ржанье лошадей, мычанье, дикий вой вогульских стрел, яростный собачий лай. На подходах к площади, где сейчас рубились с вогулами, сновал народ, оттаскивая раненых. Ратники прятались за углами, сложенными в обло, крючьями натягивали самострелы, заряжали их тяжелыми болтами. Миша обежал крайнее подворье и с задку полез на заплот, забрался на поленницу, а оттуда — на крышу. С крыши избы он увидел все.

Небо густо засинело, вытаял месяц, но рядом с ним еще висел блеклый желток солнца. Сумерки заволокли леса. Пермьский Йемдын громоздился, как вымерший, — ворота открыты, и ни души. Пермьки попрятались, не желая ввязываться. Над посадом шевелилось белесое облако дыма подожженных изб; дым потихоньку сползал в распадок Выми и сливался с вечерней мглой.

Вогулы подошли к городку ночью, укрыли в тайге ударный отряд, а днем напали врасплох. Когда забил набат, с другого берега Вычегды к Усть-Выму уже мчались основные силы. За луковым пучком многоглавого собора Миша видел, что вся белая долина реки покрыта летящими к городку оленьими упряжками. А головной отряд вогулов рубился уже внутри городских стен, захватив ворота.

Первыми прорвались огромные боевые лоси, на которых сидели по два всадника в красных одеждах. Это были шаманы-смертники, проворонившие на Глядене Золотую Бабу. Они орудовали пиками с широкими иззубренными лезвиями; с лезвий свисали кровавые лохмотья. Длинные, тонкие ноги лосей были по колено в крови. Шаманы ворвались в крепость вместе с обезумевшей толпой, что ломанулась с посада и торго под защиту стен. Толпа эта дважды вышибала ворота, затворяемые князьими дружинниками. А вслед за шаманами сквозь проездную башню хлынули внутрь всадники на косматых лошадях, в одеждах из звериных шкур, со щитами из лосиной кожи, в деревянных доспехах, которые брали только секира или железный болт самострела. За всадниками уже неслись олени с нартами, где сидели лучники в лосиных малицах, прочных, как кольчуги. Вогульские стрелы со свистульками в остриях взвыли над Усть-Вымом, сшибая защитников с недостроенной крепостной стены и поднимая из-за стрех целые птичьи тучи, что с граем и карканьем заклибились вокруг снежных шатров над башнями.

Ратники падали и отступали в улочки и проулки, прочь с площади у проезда, где топтались кони и лоси. В свалке им было даже не размахнуться секирой, не развернуть копье, а их мечи и клевцы не доставали всадников, что сверху разили их пиками. Собаки, как на медвежьей охоте, хватали лошадей и лосей за ноги и вместе с людьми, визжа, кувыркались в снегу, разбрызгивая кровь. И Миша с ужасом увидел, как вся площадь постепенно краснеет от человеческой и звериной крови, от красных армяков лежащих ратников, от одежд упавших шаманов. Кровь замерзала, но багровый снег под сапогами и копытами таял, снова становясь кровью, и в этой каше, как срубленные ветки на лесосеке, валялись мечи, копья, стрелы, руки, головы, шапки. Мишу затрясло, и он попятился, словно от нечистой силы.

Дикий клич донесся из-за крепостной стены — это добрались вогулы с другого берега Вычегды. Бревенчатая башня загрохотала, точно барабан. По настилу проезда, свистя полозьями, покатались новые и новые нарты. На передних, широко расставив ноги, стоял человек, на голове которого вместо шлема топорщил рога олений череп. Ратники повернулись и побежали прочь, уворачиваясь от пик нагонявших вогулов, виляя, чтобы не покатиться со стрелой между лопаток. Миша так и не увидел никого знакомого — ни отца, ни Полюда. Вогулы пролетали сквозь башню и с разгона уносились в глубь городка по узким улочкам меж изб и заплотов. За полозьями их нарт тянулись по две красные полосы. Миша на четвереньках пополз к краю крыши и свалился вниз.

До княжеских хором он добрался чудом — бежал, лез через заплоты, полз в сугробах, кубарем откатывался из-под копыт — и плакал от страха в голос. Пару раз над ним рвали воздух вогульские мечи, молния стрелы опереньем обожгла ухо. Но вогулы слишком быстро неслись по улочкам, чтобы успеть хотя бы зацепить клинком юркого мальчишку. Да и не до него было. С нарт вогулы прыгали на крыши амбаров, на поленницы, росомахами перекатывались через заплоты осадных дворов и падали внутрь. Над зубцами оград вороньем тут же взмывали рев и крики. Миша бежал, ничего не соображая. Дремучим звериным чутьем он угадывал опасность и боялся уже только собственной смерти, а не чужой; он лез по телам хрипящих людей, по обломкам нарт, по дрожащим тушам коней и оленей, которые в судороге разбивали копытами брусня палисадов и головы своих вожатых. Миша взобрался на заплот княжьего двора и слетел в сугроб за колодцем.

Во дворе тоже кипел бой. Метались олени, сцепляясь упряжками. На створке распахнутых ворот, прибитый копьем, висел конюх Савела. Вогулы

волочили по снегу визжащих, извивающихся баб. Мужики, вооружась чем попало, отмахивались в дверях амбаров и конюшни. Несколько ратников отступали к хоромам, прикрываясь от стрел досками, крышками бочек, даже деревянным корытом. Посреди всей сумятицы, закрыв глаза и подняв над собой крест, торчал давешний монах-причетник, непонятно как живой.

И тут Миша увидел, что дверь сеней отлетела и на крыльцо, шатаясь, вывалился князь Ермолай — безоружный, в разорванном кафтане, с непокрытой головой, с окровавленной щекой. Глаза его были безумные, белые.

— Миша!.. — страшно закричал князь и, схватившись обеими руками за перила, пьяно шагнул вниз по ступенькам.

— Тятя, я здесь!.. — вставая за колодцем во весь рост, отчаянно завопил Миша.

А в это время на другой стороне двора раскрылся лаз погреба, и оттуда, выдираясь из рук прятавшихся баб, выкатилась растрепанная черноволосая девчонка.

— Ай-Танег! Ай-Танег! — надрывалась она ревом, барахтаясь в сугробе. Это была Тичерть.

Два вогульских копья одновременно ударили в грудь князя Ермолая, ступившего с крыльца на снег между порубленными ратниками. Князь оскалившись, как в хохоте, зарычал и вцепился в цевья копий. Некоторое время, все глубже вгоняя острия в грудь, он давил двух рослых вогулов, заставляя их пятиться. Но затем они, выдохнув, приподняли князя над землей. Князь задергал ногами, будто побежал навстречу врагам, и уронил голову. Вогулы повернули копья и, будто сено с вил, скинули князя под стену амбара.

Миша уже мчался к отцу через двор, сквозь свалку. Сближаясь с ним, неслась и Тичерть, а за ней на жеребце скакал вогул, свесившись с седла и низко над землей протянув меч, чтобы снести девчонке голову. Князь Танег, в одной рубахе и портах, как он пьяный спал в своей каморе, растерянно шел к дочке по двору. Танег выбрался из подклета через большое окно, куда спускали мешки с припасами. Танег слышал крик дочки, но не мог ее увидеть в суматохе боя. Он увидел ее в самый последний миг.

Миша столкнулся с девочкой, и оба они полетели на снег, сбив друг друга с ног. Вогульский меч с шелестом пронесся над ними и поперек груди полоснул князя Танега. Танег остановился, не понимая, что разрублен, сделал еще шаг вперед, потом бессильно отступил шага на три и повалился спиной на мертвого князя Ермолая.

Тичерть змеей вывернулась из-под Миши и бросилась отцу на грудь,

захлебываясь ужасом. Миша бросился за ней и дернул Танега за плечо, освобождая лицо отца, но поскользнулся на крови и тоже упал на грудь Танегу.

— Спас Тиче... — по-пермски прошептал Танег, глядя на Мишу. — Женой бери... Князем будешь... Кровью отца...

Окровавленные ладони Танега притиснули головы детей к груди, в которой что-то бурлило, и сквозь этот хрип и Миша, и Тиче слышали последний, гулкий удар сердца.

А что было дальше, Миша и не помнил. Остался в памяти волчицын вой девочки, да в кончиках пальцев вечное обморожение от прикосновения к мертвому лицу князя Ермолая. И еще одна картина: на крыльце терема над орущей толпой вогулов в одеждах из звериных шкур стоит высокий бледный человек с рогатым оленьим черепом на голове и поднимает над собой Золотую Бабу. И от него несется на Мишу волна все той же неизмеримой силы, какую раньше излучали глаза истукана, но теперь эта сила уже имеет и вкус, и цвет — вкус и цвет крови.

— Сорни-Най! — победно ревели вогулы.

Миша уже не видел, как вогулы запалили подворье и ринулись в ворота, а в проулке сшиблись Полюдовыми с ратниками, подоспевшими на выручку князю; не видел, как из свалки у ворот прорвался сам Полюд — без шлема, в рассеченной кольчуге, с обломком меча в руке; как он упал коленями на снег возле тела князя и застонал, ощерившись и запрокинув голову.

Оторвав от Танега Тичерть, Полюд перебросил девочку через плечо, подхватил под мышку княжича и поволок обоих через дым пожара к воротам.

— Князя убили! — крикнул он. — Я княжат в собор потащу!

Он бежал по улочкам, левой рукой придерживая на плече девчонку, а правой волоча за собой Мишу. Миша бежал за Полюдом, спотыкался, ревел и размазывал по лицу сажу, слезы, кровь. Дым сизыми гривами полз вдоль стен и заплотов. За углами домов, за концами стропил, за коньками крыш в красно-сизой мгле поднимался, как дракон, многоглавый собор.

На площади суетились бабы, втаскивая раненых по узкой и крутой лестнице в притвор. Стон мешался с рыданиями, молитвы с матерными проклятиями. Бил колокол, словно отсчитывал последние удары сердца городка Усть-Вым.

Полюд затащил детей наверх, в храм. Здесь горели все свечи, непролоазной толпой стояли на коленях и молились люди, истово пел поп.

От человеческого дыхания, от дыма пожара, от ладана и свеч страшная духота сдавила горло.

— Здесь будьте! — толкнув детей под иконы, рывкнул Полюд, перекрикивая гам, и ринулся обратно.

Дикий бабий визг с лестницы и гульбища, треск досок, чужой боевой клич, донесшийся с площади, встряхнули Мишу, заставляя очнуться. Бабы рвались в дверь, топча друг друга и раненых, пластая одежду, выдирая косы. В проеме появилась широкая кольчужная спина Полюда. С ревом швырнув кого-то косматого через перила рундука, Полюд влетел в храм и захлопнул тяжелую окованную дверь, грохнув железным засовом. Расталкивая людей, Полюд принялся заваливать дверь лавками. Несколько могучих ударов извне сотрясли косяк, но затем за стеной раздались хруст и дружный вопль: это крыльцо собора, не выдержав тяжести, рухнуло. Вогулы, захватившие площадь, осадили запертый, неприступный собор. Колокол прогудел несколькими угасающими ударами и смолк — пробитый стрелами пономарь упал со звонницы к полозьям вогульских нарт.

Полюд протолкался к Мише и сел рядом с ним на пол, обняв его рукой и привалившись к стене.

— Ну, все, князь, — весело сказал он, впервые называя Мишу князем. — Сейчас будут нас жарить.

Вогулов на площади все прибывало. Усть-Вым горел. Собор стоял в дыму. Было слышно, как в нем поют и плачут. Вогулы потащили вязанки хвороста, сено с сеновалов, дрова из поленниц, разбитые прясла заборов, полосы бересты и луба с кровель. Все это они сваливали под стены храма, а потом в эту кучу полетели головни. Огонь, разбегаясь, кольцом охватил здание. Очертания его в дыму заколебались. Казалось, что собор на огне всплывает над землей.

Сквозь непроконопаченные щели дым пополз по трапезной, по молельной. Грозно потемнели лики на иконостасе, съежились язычки свечей. Малиновое зарево заката в окошках приобрело мертвенный синеватый оттенок и задрожало в потоках раскаленного воздуха. В гомоне молитв, стонов, плача раздались вопли ужаса и кашель, заревели дети. Миша взглянул на Полюда, измученно прикрывшего глаза. Лицо его было мокро; русые волосы рассыпались и прилипли к вискам, ко лбу. Тичерть тяжело дышала, раскрыв рот, и бессмысленно пялилась перед собой сквозь свисавшие с бровей черные пряди, словно она перепарилась в бане. Потолок поплыл в Мишиных глазах, колесом закрутилось расписное «небо» со спицами-тяблами. Красный туман за клубился по краям зрения.

И тут из подклета сквозь плахи настила ударили белые струи дыма от

вспыхнувшей под храмом рухляди — соболиных, песцовых, горностаевых, куньих, лисьих, бобровых, беличьих мехов. И разом лопнула сила, сдерживавшая людей перед лицом гибели. В общем диком реве народ заметался по бревенчатой коробке храма. Кто-то валился на колени, кого-то топтали, кто-то полез на стены. В удушающей мгле скакали адские тени. Вышибли дверь — дым качнулся наружу, и тотчас из-под ног вверх по стенам шарахнуло пламя.

Ругаясь и хрипя, Полюд вскочил, поднимая Мишу и Тичерть. Он боком ломанулся сквозь ослепленную, обожженную, ошалелую толпу. Люди рвались к дверному проему и вываливались, выпрыгивали наружу из устья бревенчатой печи, но еще в полете их насквозь пробивали поющие вогульские стрелы. Полюд наперекор всем вывернул к алтарю, вскочил на амвон и выдернул к себе детей. Мимо на коленях прополз поп, он удушенно сипел и путался в рясе. Люди кучами лежали на полу, трепыхаясь, как выловленная рыба. В притворе орали, перекатываясь, горящие бабы. Храм был весь освещен пламенем пылающих стен. Воздух обжигал грудь.

— Туда!.. — указывая на высокое окошко, приказал Мише Полюд и кинул его на иконостас. Миша вцепился в резьбу рам, как репей в одежду, и по чинам пополз наверх. Оглянувшись, он увидел, что Полюд карабкается за ним, а на его спине, обхватив за шею, висит Тичерть.

Миша протиснулся в узкий проем и сел верхом. Чистый морозный воздух полоснул его изнутри ножом по ребрам. Храм стоял на круче над Вымью, одной стеной выходя за старый тын. Внизу под ногами Миши была высота в десять сажен до вымского льда, но половину ее съедал крутой, заваленный снегом склон.

— Давай, князь! — прохрипел сзади Полюд.

Миша перекинул ногу через оконный проем и прыгнул вниз. Мелькнули перед глазами небо и чертово гнездо Йемдынского городища. Миша по пояс вонзился в сугроб, стронул его и в лавине снега выкатился на лед. Он тотчас поднял голову, отплевываясь, вытирая лицо, и увидел, что по склону на него уже налетает вихрь, в котором барахталась Тичерть. А из маленького окошка в высокой бревенчатой стене, из зарева, словно черт из пекла, лезет дымящийся Полюд.

Втроем они опрометью перебежали вечернюю Вымь и нырнули в лозняк под кручей йемдынского берега. И оттуда они молча глядели, как на стрелке двух рек огромным костром горит до неба русский городок. Огонь пожара сливался с огнем заката, и над Йемдыном кроваво лучились звезды, словно разлетевшиеся с пожарища угли. И Миша не плакал, глядя из

кустов, как гибнет город его отца. Миша чувствовал, что пламя этого пожара еще осветит всю его жизнь, а пока что оно уже высушило все слезы.

ЧАСТЬ 2
6969–6977 годы

Глава 9

Пусто свято место

От всех жителей городка, основанного еще Стефаном, уцелело человек тридцать посадских и семеро израненных ратников. Их приютили зыряне в своих керку, когда вогулы ушли. Йемдын, видно, чувствовал свою вину за то, что робко спрятался в сугробах, когда русский городок дрался с врагом. Пермьки и русские вместе собрали на пепелище Усть-Выма обугленные кости убитых и сожженных и погребли их в общей могиле. Над могилой скатали из обгорелых бревен часовенку — Неопалимого Спаса на скудельне.

С Вычегды пермский человек Ничейка привез на нартах одервеневшее тело распятого епископа Питирима. Его похоронили рядом с развалинами алтаря Благовещенского собора, где уже торчал пенек сгоревшего креста на могиле епископа Герасима. Игумен Ульяновского монастыря отец Иона в часовне Неопалимого Спаса венчал Ермолаевых княжат на княжение. Сотник Рогожа привез с Печоры княжича Ваську, и теперь Васька стал князем Перми Старой Вычегодской. Сотник Полюд увозил княжича Мишу на Колву, и теперь Миша стал князем Перми Великой Камской.

Пермь Великая встретила нового князя молча и настороженно. Миша разослал тиунов, призывая к себе пермских князьцов. В Чердынь съехались все десять — не торопясь, но и не пренебрегая. Миша объявил пермякам волю Москвы. Пермские князьцы смотрели на него и видели отрока четырнадцати лет, который выступил один против всех, поддерживаемый только именем: «волею Великого князя Московского удельный князь Михаил Великопермский». Ничего не ответив, пермяки разъехались по своим увтырам и городищам. Ясака в тот год никто не дал.

Зимой Москва прислала Мише думного дьяка Морковникова. И Морковников, и Полюд советовали Мише держать круче. Летом на Пермь за хабаром пришли новгородцы. Полюд с ушкуйниками отправился от Чердыни вниз по рекам, разорил и насильно взял ясак с Редикора, Губдора, Сурмога и Пянтега. Миша намеренно не тронул близлежащую Покчу, и та вскоре сама принесла положенные сорока. Но пермяки разволновались и осенью съехались на совет в Янидор, куда пригласили и молодого князя русских. Миша приехал с Полюдом, Морковниковым и тремя дружинниками, напоказ оставляя себя без воинской защиты. Пермские

князя привезли с собой шамана — нового пама, заменившего убитого на Глядене. Пам был глух. Он сам медным гвоздем пробил себе уши, чтобы лучше слышать голоса богов.

— Вас, роччиз, как друзей мы пустили жить на наших землях — в Чердыни и Анфале, — сказали Мише пермские князя, — а вы грабите нас, и нет у вас к нам уважения. Уходите тогда жить вниз по Каме, на пустые земли, где мало наших селений, где проклятые пепелища Кужмангорта, где стоит ваш Соликамск.

— Мы не уйдем, — ответил Миша. — И мы обяжем вас платить нам ясак.

Князя внимательно смотрели на худенького пятнадцатилетнего юношу.

— Почему мы должны платить вам?

— Потому что Москва сильнее всех.

— Остяки говорят, что сильнее всех Игрим. Вогулы — что Пелым. Сибирцы — что Искер. Татары — что Казань. Поморы — что Новгород. Вотяки — что Вятка. Даже ногаи говорят, что они сильнее всех, хотя у них нет своего города, и они кочуют по земле, как дикие животные. А твоя Москва дальше, чем Пелым, и Новгород, и Казань, и другие города. Почему же мы должны давать ей ясак?

— Отдайте ему, чего он просит, — вдруг сказал пам, который ничего не слышал.

Князя удивленно молчали. Они не очень доверяли новому паму, потому что его слова часто были совсем не к месту.

— Хорошо, — наконец сказал пянтежский князь Пемдан, по смерти Танега исполнявший роль верховного князя. — На будущий год мы дадим тебе половинный ясак. А потом ты докажешь нам, что ты — самый сильный.

— Сила — это тяжесть, — обращаясь к Мише, сказал шаман. — Ищи ношу по плечу.

На следующий год Морковников поехал собирать ясак. Из Искора дьяка привезли мертвым. В окостеневшей руке у него был зажат мешочек с мышинными шкурками. Полюд с дружиной пошел на Искор. Городище высилось на неприступной скале, единственный подъем преграждали пять могучих валов с частоколами. Горделиво и насмешливо смотрели из-за тына на пришельцев искорские истуканы. Полюд повернул дружину обратно. Мише исполнилось шестнадцать.

Миновала осень, потом зима, заканчивалась весна, и опять никто не вез ясак. Москва прислала гневную грамоту, перечислив недоимки. Князь

жил иждивением ратников и промысловиков соликамских починков. Новый ясак придется собирать с боем. Однако промышленным людям не было дела до княжеских забот, а ратники брали в жены пермских девок, садились на землю, обзаводились хозяйством и не хотели класть головы почем зря. Полюд почти насильно собрал сотню и повел ее на пермские городища, каждое из которых могло выставить столько же, если не больше, защитников. Но и пермяки не горели желанием сразиться. Покча откупилась, выдав соболей. Ныроби не стал ждать и тоже откупился. Дело дошло до гордого, самоуверенного Искора.

Искорский князь Качаим вывел из городища свою дружину. Княжья сотня и пермское войско стояли друг напротив друга. Полюд ждал нападения пермяков, потому что своих было меньше, а нападающий обычно несет большие потери. Бой никак не начинался. Тогда Михаил выехал вперед и знаком подозвал к себе Качаима.

— Смотри, князь Коча, — по-пермски сказал он. — Сейчас мы начнем сражаться, и погибнет сто человек. Благодаря этому ты потеряешь — или, наоборот, сохранишь — тридцать песцовых шкурок. Это несправедная цена. Оставь песцов себе. Я увожу свою сотню.

Ратники вернулись в Чердынь. А вскоре из Искора приехал сын Качаима княжич Бурмот и привез сто соболей.

— Мой отец велел сказать тебе, князь Михаил, что он, пока жив, будет платить тебе ясак, — передал Бурмот. — А мне он велел жить с тобой и защитить тебя, если нападет твой враг.

Потом привезли ясак и другие князья. Михаилу исполнилось семнадцать.

Лето выдалось жаркое, по лесам шел пал, трава сохла на корню, зверье разбегалось. Зимой треснули такие холода, что тайга вымерла. Пермяки голодали. Миша и сам исхудал так, что ходил с палкой.

Весной князья съехались в Чердынь. «Ты по душе нам, русский князь, — сказали пермяки. — Твой разум далеко превосходит твои года. Нам не хотелось бы терять тебя оттого, что русский кан заменит тебя другим князем, который сможет посылать ему больший ясак. Но мы не можем дать тебе даже прежнюю малую дань. Парма пуста, мы едим траву и рыбу. А нам нужно платить и новгородцам, которые скоро придут, и харадж татарам. К тому же на пермские горты уже точат зубы вогулы и остяки, башкорт и вятка. Защити нас хотя бы от новгородцев и татар, и тогда твой кан всегда будет тобой доволен».

Ушкуйники ходили в Пермь каждые три-четыре года, иногда и чаще. Они торговали, но если удавалось — грабили. Их отчаянные ватаги не

знали ни чести, ни жалости. Когда они плыли по реке, пермяки целыми деревнями уходили в тайгу, оставляя на грабеж и сожжение все свое добро. Михаил решил встретить новгородцев на Колве.

На перекате возле крохотной деревушки из трех замшелых керку Михаил велел ставить цепию. Его ратники на мелководье вбили колья поперек реки, а на стрежне перегородили путь веревкой, продетой сквозь чурбаки-кибасья. По приказу Михаила за Фадиной деревней через Вишерку повалили сосну и прибили к ней доску, на которой было вырезано: «Поворачивай. Московская земля». Вскоре лазутчик донес: ушкуйники сдвинули сосну и плывут дальше.

Они плыли мимо колвинских утесов длинной вереницей, один за другим, стоя в ушкуях с веслами в руках. Кожаные запоны от колен до груди, широкие рукавицы, упрямые синие глаза под косматыми бровями... Ратники прятались в кустах перед цепией. Михаил открыто сидел на валуне у воды. Ветер шевелил над ним хоругвь: Георгий пронзает змия. Московский знак.

Полюд по-разбойничьи свистнул в два пальца. Тупые стрелы скользнули в полет с обоих берегов, сшибая ушкуйников в воду. Передние повалились, переворачивая лодки. Те, что посередке, смешались: кто-то рванулся вперед, врезался в кибасья и тоже бултыхнулся в Колву; кто-то бросил весло, помогая товарищу перебраться через борт; кто-то кинулся назад, под защиту. На задних ушкуях новгородцы вытаскивали луки. В таких били стрелами с наконечниками.

У кольев и у цепи болтались на воде перевернутые ушкуи, весла, стрелы. Уцелевшие новгородцы повернули лодки и угребали назад, против реки. Пермские насады прошли по Колве, вытаскивая из ледяной воды барахтающихся ушкуйников. Насады плыли над мертвецами и утопленниками, лежащими на дне, как спящие. Их было видно, когда отвесные лучи полуденного солнца насквозь пронзали глубину. Новгородцев набралось десятков пять. Десятка два утекли, да столько же погибло. «Ступайте, молодцы, восвояси, — сказал ушкуйникам Михаил. — И передайте боярам да посадским в Новгороде, что отныне кончилась здесь дармовщинка и не будет ни ясака, ни хабара, а коли торговать захотите — не забывайте Московскому князю пошлину платить, вира дороже станет».

В тот год Михаилу исполнилось восемнадцать. Наступившим летом он хотел уладить и дело с татарами, но это оказалось сложнее, чем пострелять ушкуйников. Татары сидели в крепостях — в Ибыре и Афкуле, — а свой харадж начали собирать с пермяков задолго до прихода московитов. Ссориться с татарскими шибанами князь Михаил не хотел: до Москвы и на

помеле не доберешься, а Казань рядом. Михаил поехал на переговоры и, простояв станом три дня у запертых ворот Афкуля, вернулся ни с чем — шибан Мансур праздновал очередную свадьбу и говорить о делах не пожелал. На две грамоты русского князя он ответил тем, что содрал с пермяков такой харадж, от какого вместо соболей пермяки начали отдавать баскакам девчонок. Отписав все, как есть, приложив два жалких сорока соболей и чернобурок, Михаил с первым льдом направил в Москву гонца, прося у князя Василия войска.

И снова навалилась зима, давая передышку, и целыми днями, закутавшись в шубу, молодой князь простаивал на обходах башен Чердынского острожка, молча глядя неизвестно куда. Он думал о делах, которые худо-бедно, но делались, а все равно казались ему неисполнимыми. Он вспоминал отца. Батюшке Ермолай Матвеечу небось по нраву пришлось бы на Мишином месте. Он ведь охоч был до трудных задач, до борьбы; был ухватист, напорист, ловок, неутомим. Но батюшка лежит в скудельнице в Усть-Выме, под часовней Спаса Неопалимая Купина. И все мечты батюшки, которые он вечерами раскрывал сыновьям, — о вечевых звонницах и досках с «Пермской правдой», о княжестве промысловиков, охотников, оленеводов и торговцев, — все эти мечты здесь, под чердынским небом, казались наивной сказкой.

А жизнь извечно идет по-своему, безлично, и Мише она привычно страшна до полного равнодушия. Миша знал, что его называют «малохольным князем», и усмехался: а кого-то из них, из ратников, русских мужиков или пермяков-охотников, больше, чем его, что ли, холили? Не в этом дело. Дело в том, что у него какая-то душевная цинга. Пусть нет боли, но чего-то беспросветно не хватает. Даже Полюд, ставший Мише вместо отца, однажды сказал ему: «Женись, Мишка. Пропадешь. Женись, князь».

Но девушки Мишу не привлекали. Он не думал ни о женитьбе, ни о будущем. В глубине души, не отдавая себе в том отчета, он вообще не верил в нужность, в действенность своих занятий. Он что-то делал лишь потому, что в нем была сила молодости, требующая выхода. Пермяки уважали его за разумную справедливость и бескорыстие. Но Миша никогда не примерял: разумно ли он поступает? Справедливо ли? Будет ли ему с этого выгода? Он поступал так, как положено. Ему не имело смысла поступать иначе. Ведь каждый человек знает, что и как ему надо делать на своем месте; однако эта большая истина всегда идет вразрез с сутью маленького человека. Князь же Михаил не имел в себе этой сути. Миша словно выгорел изнутри в тот давний усть-вымский пожар. Не осталось ничего — ни боли, ни любви, ни надежды, ни зависти, ни тоски. Миша был

пуст, как дом, который сгорел так, что жильцы его покинули, хотя стены еще стоят наперекор ветрам, дождям и снегопадам. А в пустом доме всегда поселяются духи.

Миша понимал это, но не боялся. Полюд тоже понимал, но как-то по-своему. Пусть и слишком прямодушно, но он был убежден, что есть в человеке что-то неизменно человеческое, что можно утратить только вместе с самой жизнью. Как когда-то в Усть-Выме он дарил нелюдимому княжичу деревянные сабельки, словно обычному мальчишке, так и сейчас он верил во что-то простое и доброе, что обязательно появится в пустой душе надломленного князя.

Однажды Миша и Полюд ехали с дружиной в Соликамск по лесной дороге и остановились у старой часовни. Лет двадцать назад посадские люди Калинниковы сманили откуда-то с Вологды на Усть-Боровую несколько семей переселенцев. Возле этой часовни их обоз застигла пурга. Люди забились под крышу, пережидая непогоду, и все замерзли насмерть: и мужики, и бабы, и детишки. В память о них соликамцы долго ухаживали за часовней, не давая ей рухнуть, но в конце концов все равно забросили. Ушедшая в землю кривая избенка заросла мхом, на провалившейся крыше выросла малина, паучье затянуло сетями окошки и дверь.

«Дозволь, князь, задержаться — подлатаем хоромину», — попросили ратники. Миша долго смотрел на часовню. «Не надо, едем», — ответил он. «Свято место пусто не бывает», — добавил Полюд. «Что?..» — изумленно переспросил его Миша, никогда еще не слышавший этой поговорки. Полюд повторил. Он имел в виду, что пока люди помнят о тех замерзших горемыках, то и бог будет с ними, хоть часовня и обветшала. Полюд считал, что «свято место» не бывает без бога. Он все понимал слишком прямодушно. А Миша понял, как надо.

Пусто свято место, — потом часто думал он. Он глядел в себя и убеждался — пусто. В его душе только то, что вокруг, — великая парма, стылые реки, зубцы скал под печально далекими облаками и древняя, наверное, вечная мысль, остановившая время над этой суровой землей. И больше — ничего. Пусто. Пусто. Да и ладно. Да будет так. Но почему же тогда внезапно щемит сердце, когда в сумерках, проезжая мимо незнакомой деревни, он видит в чужом окошке теплый огонек чьей-то лучины?

Глава 10

Возвращение Птиц

По вешней воде, сразу после ледохода, княжеская барка плыла вниз по Каме. Закинув руки за голову, Михаил всю дорогу лежал на скамье, покрытой медвежьей шкурой, и глядел в небо. Погода стояла ветреная. Шумели непролазные ельники на красных, глинистых крутоярах. Журчала вода в ветвях повалившихся с обрыва деревьев. Брызги с весел падали на лицо. По ясной, размытой синеве неба быстро текли высокие, неожиданно темные облака. Раннее, холодное солнце высвечивало то один берег, то другой, то сквозистый по весне лес на склоне дальней пармы, то мокрые лопасти над мутной водой у борта.

Князь плыл на встречу с татарским шибаном, который неожиданно прислал льстивую грамоту. Михаил не знал, что заставило заносчивого шибана Мансура искать примирения с русским князем. Михаил вообще не собирался разговаривать с татаринном. Ябеда послана; прочтут ее в Москве, пришлют войско и турнут шибана из Афкуля. Видимо, хитрый татарин учуял угрозу в молчании чердынского князя и потому пошел на попятную, оставил спесь.

Полюд с Михаилом не поехал, послал вместо себя верного Бурмота — Обормотку, как он его звал. Бурмот давно уже учился у русского сотника командовать отрядом, и сейчас Полюд отдал ему десяток ратников. Бурмот был совсем не дурак, не обормот, но зато страшный тугодум. Он таскался за князем, не оставляя того и на час. Князь в седло — Бурмот в седло, князь на полати — Бурмот на залавок, князь за книгу — Бурмот за спиной сопит, а потом листы прочитанные перевернет, осмотрит, разве что не обнюхает. У кряжистого, невысокого Бурмота была крупная, как котел, голова и всегда суровое лицо. Михаил привык к постоянному насупленному присутствию Бурмота как к тени.

До обвинского устья дошли по течению на веслах, а дальше, вверх по Обве до Афкуля, шибан прислал своих бурлаков. Бурлаки ждали на стрелке, палили костер.

— Русские, — глядя на них, сообщил зоркий Бурмот. — Рабы шибана.

— Не удержался татарин, чтобы меня не поддеть... — Михаил сплюнул за борт.

Бурлаки разобрали лямки и потащили барку. Михаил разглядывал их с борта. Бурлаки были в рвань, сквозь дыры которого чернели истощенные

тела. Ноги, в лаптях, в оленьих кисах, в поршнях или попросту завернутые в куски бересты и коры, ступали по льду, по мерзлому изломанному тальнику, проваливались в наст. По кровавым следам ехали татарские всадники с камчами. Бурлацкий путь шел по бровке высокого берега, где лес был вырублен еще лет двести назад, когда во времена хана Беркая татары поставили на Обве свою крепость, когда шибаны начали драть с пермяков харадж. С тех пор бурлаки тянули шибасы и тюрени вверх по великой реке Рудерус и дальше по Темному Итилю — по Каме.

На ночь татары отгоняли бурлаков, а княжеским ратникам не давали даже перекликнуться с ними. Рослого, краснорожего, сивобородого мужика, который что-то закричал через головы стражи, татарин поперек груди ожег плетью.

Далеко за полночь Михаил проснулся оттого, что кто-то поскребся и, шепча: «Князь!.. Князь!..» — полез в шатер, не отодвигая полога. В светлом сумраке майской ночи Михаил увидел, как сразу встрепенулся на своей лежанке Бурмот и блеснул его нож. «Свой я, бурлак!» — прошептал гость.

— Бурмот, засвети лучину, — приподнимаясь, велел князь.

В шатре у входа сидел давешний краснорожий мужик, что шел в упряжке гусакон. Он был в одних портах, с которых текла вода.

— Мимо татарвы плыть пришлось, а река-то ледяная... — прохрипел мужик и потянул к себе кошму, которой укрывался Бурмот. — Дозволь, князь, согреться... Дело у меня к тебе.

— Какое?.. Бурмот, дай ему баклагу, пусть хлебнет.

Мужик хватил хмельного, отер усы.

— Знаю я, зачем тебя шибан Мансур позвал. Понимаю по-татарски, подслушал. Поймал он твоего гонца, которого ты в Москву с ябедой послал. Узнал, что ты войско просишь. Перепугался и хочет с тобой харадж делить.

— Н-ну, ладно, — пожал плечами Михаил. — Хорошо. Почто же ты ночью приплыл? Это бы я и без тебя узнал от шибана.

— А я тебе другое скажу, про что он рассказывать не будет. Шибан Мансур — сильно родовитый мурза и на пермяках богат не меньше казанского хана. Только в опале он. Боится Мансур, что вскоре помрет в Москве князь Василий Васильевич Темный, и на стол сядет сын его, Иван Васильевич. А Иван не в батюшку пошел. Жаден-то так же, а нравом лют. Прознает, что татары серебро закамское у него из-под носа гребут, и сразу дружину вышлет. Казанский хан Мансуру помогать не станет. Вот и хочет Мансур с тобой замирииться, чтобы ты на него ябед не слал, и уступить тебе часть хараджа. Умный он, понимает, что лучше малый кус потерять, чем

весь пирог.

— Вот это хорошая весть, — согласился Михаил.

— И теперь главное, зачем плыл к тебе. При таких делах Мансур не только на долю хараджа согласится, а и много еще на что — и на пошлину, и на торговлю... Ты же, князь, попроси у него нас отдать — русских. Двадцать три человека нас в рабстве. Мы к тебе пойдем служить — или к государю, как рассудишь, только не забудь единоверцев. Отплатим. Есть среди нас полезные, редкие люди — кто россыпи золотые знает, кто по самоцветам, кто по железу, кому о старых курганах известно, где клады лежат. Забери нас, князь, не пожалеешь.

— Попрошу за вас шибана, — кивнул Михаил. — Слово даю. Как звать-то тебя?

— А уж это, князь, не важно, — стаскивая с плеч кошму, ответил бурлак.

Вечером следующего дня барка прибыла к Афкулю. Князь с интересом рассматривал крепость, не похожую ни на пермские городища, ни на русские острожки. Наклонный тын над кручей обвинского берега был составлен из высоких и редких кольев и гребнем нависал над отмелью. За тыном среди четырехскатных крыш, обмазанных глиной, торчали тонкие деревянные минареты. Огромные пузатые башни в ряд стояли только по напольной стороне.

Шибан Мансур принял князя Михаила на утро. Напялив несколько халатов, шибан лежал на топчане, усталом коврами, с балдахином на резных столбиках, а на верхушке балдахина сиял золотой полумесяц. По сторонам с саблями наголо берегли мурзу четыре бритоголовых батыра, голых по пояс. Две девушки заплетали косичку на жирном затылке шибана. У ног шибана на скамеечке сидел богато одетый, поразительно красивый юноша. Рядом на полу стояло золотое блюдо с сушеным инжиром.

Князю подали высокое жесткое кресло, Бурмоту — такую же, как у юноши, скамеечку. Стражники привели толмача, в котором Михаил с удивлением узнал давешнего бурлака.

Шибан говорил едва слышным тонким голосом. Толмач, глядя себе под ноги, спокойно переводил витиеватые фразы. Красивый юноша нетерпеливо постукивал носком расшитого ичига.

Шибан торговался хитро, цепко, но Михаил был непреклонен. Принесли вино и булатную саблю в подарок. Вино князь едва пригубил, а саблю сразу взял Бурмот. Шибан начал сдаваться и предложил передвинуть торг на вечер. Князь сослался на срочные дела. Наконец сошлись на том, что татары и русские собирают дань по очереди — год харадж, год ясак. За

это князь согласился не посылать ябед, не грозить Ибыру и Афкулю войском, негласно признать земли по Каме ниже обвинского устья за татарами, то есть безъясачными, а с ними и черемисские берега. В свой черед шибан обещал за пушной торг с пермяками помимо хараджа платить в Чердынь пошлину, а рыбий клык брать вообще только у русских купцов, пропускать по Каме в Казань без платы все русские суда и вернуть Михаилу русских рабов. На случай войны между Москвой и Казанью каждый обязался не поднимать друг против друга меча. Михаил был доволен. Договор скрепили пиалой с бузой, над которой шибан сказал:

— На этой далекой земле нет ни аллаха, ни Иисуса, ни русского князя, ни татарского хана. Здесь хозяева только мы с тобой — ты, Михаил, и я, Мансур. Давай жить в мире, помогать друг другу и ублажать своих государей, чтобы они не заботились нашими делами. Тогда наши дома станут полными чашами, у нас будет вдоволь жен и коней, а дети наши не изведуют нужды.

— Понятно, — усмехнулся Михаил, кивая.

— Я знаю, — продолжал Мансур, — что вогулы, союзники моего хана, грозят твоим городам и землям, и в беде я помогу тебе своим войском, лишь бы ни русские полки, ни татарские тумены здесь не появлялись. Если мы будем вместе собирать дань и вместе обороняться, то мы сможем без чужого надзора подумать и о себе самих, верно?

Пока Михаил и Бурмот сидели у Мансура, ратники обменяли у татар тяжелую барку на три легкие шибасы да прикупили три пермяцких каюка для освобожденных бурлаков. Вечером, когда грузили пожитки, чтобы с рассветом выплыть в обратный путь, от мурзы пришел юноша, который присутствовал на переговорах, и привел еще одного пленного — чердынца Семку-Дуру, отправленного Михаилом в Москву с ябедой.

— Эх ты, Дура! — смеясь, сказал ему один из ратников, отвечивая подзатыльник. — Небось, и палец до ноздри не донесешь, не то что княжью грамоту в Москву!

— Ладно зубы-то скалить, а то как дам по ним... — мрачно бурчал здоровенный Семка, почесываясь. — И так в яме всего меня вша татарская разъела, а ты еще тут подсолить лезешь...

Ратники дружно захохотали.

— Послушай, князь, — обратился юноша к Михаилу. — Я — сын мурзы Мансура Исур. Мой отец торговец, а я — воин! Возьми меня с собой в Чердынь.

— А я ни с кем воевать не собираюсь, — ответил Михаил.

— Все равно хакан Асыка нападет на тебя! Я буду драться с Асыкой!

— За меня, чужака, головой рисковать? — удивился князь. — Или просто бранной славы ищешь?

— Я ищу Асыку! — горделиво заявил Исур. — Я должен отомстить ему за то, что он напал и увел в полон мою невесту!

— А-а... — сказал князь. — Ясно. Что ж, будет батюшкино дозволение, так езжай ко мне.

— Он сам послал меня к тебе соглядатаем, но я хочу ехать воином!

Михаил усмехнулся.

— Хорошо. Собирай пожитки и приходи.

— Я воин! Мне нужна только сабля, а она всегда при мне! — Исур шлепнул ладонью по ножнам на бедре.

— Ишь ты какой, — усмехнулся князь. — Откуда по-русски говорить умеешь?

— Я этого петушка выучил, — со стороны ответил толмач, тоже слушавший разговор.

И вдруг страшно завопил Семка-Дура. Вытаращив глаза, он указывал на толмача пальцем. Губы его прыгали.

— Святые Господи!.. — наконец выговорил он. — Васька Калина!.. Я же сам видел, как Ухват тебе голову срубил!..

Ратники уставились на бывшего бурлака.

— Так ведь дождик тогда шел, вот новая и выросла, — отшутился бурлак, поворачиваясь и собираясь уйти.

Михаил поймал его за рукав.

— Постой, — велел он. — Ватага Ухвата?.. Ты оттуда?..

— Потом, князь, расскажу, — высвобождая руку, ответил Калина. — Когда ушей поубавится...

В путь вышли, как и хотели, на рассвете. До устья Обвы шибасы и каюки долетели после полудня. Дальше, против мощного напора вешней камской воды, идти пришлось на веслах и гораздо медленнее. Только на восьмой день караван добрался до Анфалова городка и Пянтега. Князь стремился успеть на пермяцкий праздник Возвращения Птиц. Это был праздник лесных богов, чествуя которых, пермяки пели, плясали, камлали и приносили жертвы в священных рощах Дия, Сурмога, Бондюга, Пянтега, отмечая приход весны.

Князь Михаил плыл в одной лодке с Бурмотом, Исуром, Калиной и тремя ратниками. Калина рассказал Михаилу давнюю историю ватаги, ушедшей на Гляден за Золотой Бабой. Завершение этой истории князь и сам видел в пожаре Усть-Выма. Уцелевшие ушкуйники — Семка-Дура и

Пишка — считали Калину погибшим, однако Калина выжил. Его подобрала вогулка-охотница по имени Солэ. Она перевезла его к себе в павыл, одиноко стоящий в тайге на берегу Чусовой. Вогулку считали ведьмой, и сама она считала себя ведьмой, а потому не боялась появляться на проклятом Балбанкаре. Она выходила Калину, и тот прожил у нее полтора года, пока на рыбалке случайно не попался татарам. Еще четыре года он ходил в бурлацкой лямке. О заклятии Сорни-Най, Золотой Бабы, Калина ничего не сказал князю, да и сам князь умолчал, что дважды видел Вагирйому в лицо.

От Пянтега караван двинулся дальше и через три дня подошел к Бондюгу, укрывшемуся во впадине камской излучины. Весна входила в силу. С парм облезал последний снег. Половодье заливало луга и распадки, громоздя вырванный с корнем, поломанный лес. Где-то рядом то и дело гремели быстрые грозы. С обрывов в воду шумно падали деревья и ручьи. По бескрайней реке плыли, вращаясь, оторванные от берегов острова. Плыли в небе среди облаков и солнца птичьи стаи. В урманах трубили пьяные, бешеные лоси. Пахло водой, слепила синева, и первая травка шелком светилась на округлых склонах древних курганов. Михаил, как молебну, внимал могучему гулу огромной весны и верил, что этой божьей буре нельзя не поклониться.

Бондюг был небольшой деревней, не имевшей никаких укреплений. Священная роща оберегала его надежнее стен. Вокруг домов на выгонах и выпасах стояли чумы приезжих. Стада расплозились по еланиям и луговинам. В роще дымно горели костры, стучали барабаны, слышались звуки свирели и журавля, ныл варган, звенели бубны и колокольцы, пели женщины. Пока ратники поднимали шатры и разбивали стан, Михаил, Бурмот, Исур и Калина пошли в рощу.

Березы разбежались по широкому полю, вдали смешиваясь с елками. Размашистое крыло Камы вздымало березовый строй на обрыв. Здесь высилась очень старая, огромная, развесистая береза, почерневшая понизу, изуродованная древесными грибами. Ветви ее были увешаны лентами, бубенчиками, венками, тряпичными куколками, деревянными фигурками. У корней лежала обтесанная жертвенная колода. У этой березы девушки выпрашивали женихов, женщины — детей, старухи — смерти, и все, кому не хватало тепла, доброты, удачи — просили счастья и хоронили обиды. Повсюду в роще были натканы низенькие черные идошки. На земле были выложены из камней непонятные узоры, круги. Сейчас у этой березы девушки встали в хоровод в честь возвращения птиц, и народ покинул шаманские шалаши и жертвенники.

Михаил, Бурмот и Калина задержались возле седого старика-шамана. Старик приносил в жертву щенков. Полуслепой, он нашаривал на земле щенка, нежно брал его в ладони, гладил его, беззубо улыбаясь, совал ему в рот пососать палец. И вдруг тихо, легко, незаметно прокалывал ему сердце тонкой иглой из рыбьей кости, а потом бросал трупик в большой костер. Михаил глядел и не видел в лице, в руках старика ни злости, ни жестокости, ни безумия исступленной веры. На щеках шамана блестели слезы. Ему и самому было жаль щенков. Пушистые кутята бестолково ползали в прошлогодней траве у его ног, тыкались носами, взвизгивали, переваливались друг через друга. «Зачем же он их убивает?» — с гневом и щемящей нежностью к щенкам думал Михаил. Бурмот вдруг отвязал от шапки монету и положил на пенек возле костра. И Михаил неожиданно почувствовал, что эти гибнущие щенята — просто искорки, которые старик бережно выпускает в остывшие за долгую зиму угли жизни, такой хрупкой и быстротечной. Озноб инеем пробежал по груди и плечам князя, и князь поспешно отошел прочь.

— А наш Христос не та же ль искра? — вдруг спросил Калина, шагавший рядом. — Только такая, что вовеки не погаснет...

Михаил покосился на него, поразившись странной созвучности мыслей.

Под песню женщин, обступивших поляну кругом, девушки танцевали у священной березы. Пермьяки расступились, пропуская русского князя и его спутников в первый ряд, где стояли парни-женихи, а посередине, скрестив на груди руки, — Исур с покровительственной и довольной улыбкой на горделиво обрисованных губах под тонкими усиками.

— Епископ Питирим хотел срубить эту березу, — шепнул Михаилу Калина. — Прокудливая, говорил... Пермьяки не дали.

Девушки двигались несколькими линиями, что сплетались и расходились кругами. Головы они покрыли маленькими венками из подснежников, в руках держали первые зеленые ветки, взмахивая ими, раскачиваясь и кружась. Михаил прислушался к словам, которые плавно выводил женский хор: «На широких крыльях песни унесу вас в край преданий, пусть слова мои, как зерна, в вашем сердце прорастают, есть запев у древних песен, есть начало у народа, сероглазые чудины жили в парме в давний век...»

Над Камой вдаль разгорался закат, и его резкий красный свет разбавлялся майской лунной синевой, белыми ветвями берез в вышине. Розовой, ангельской нежностью он просеивался вниз, озаряя юные, нерусские лица девушек, их золотые косы, странные глаза, незнакомые

губы, тонкие и гибкие фигуры. А девушки со своими ветвями-крыльями и вправду казались стаяй птиц, устало опускающихся на родную землю. Завораживали их медленные, плавные движения. И Михаилу внезапно почудилось, что среди черных, вьющихся теней вдруг мелькнул настоящий призрак. Линии тел, рук, ветвей задрожали в его глазах, как отражения в потревоженной воде. Чем-то страшным, словно сумраком крыла, обмахнуло Михаила и принесло легкий запах гари.

Строй девушек рассыпался. Каждая уже шла с венком в руках к жениху, к любимому, к избраннику. За плечами и лицами вновь промелькнула тень того давнего страха, и вновь, и вновь... И тут Михаил увидел, что и к нему тоже идет девушка с венком. Она была в круглой кожаной шапочке с длинными, до пояса, ушами, и в черном, не скрывающем ни одной черты тела, но против солнца Михаил никак не мог увидеть лица девушки, узнать, кто же она?..

— Это тебе, Михан, — тихо сказала девушка, надевая князю венок.

И по этому обращению — «Михан» — Михаил вспомнил.

— Тиче... — потрясенно прошептал он.

Он увидел перед собой черные, непроницаемые, безмятежные глаза, глядевшие куда-то сквозь него, сквозь людей, сквозь весь мир, и сразу узнал Тичерть, дочь погибшего в Усть-Выме чердынского князя Танега, и тотчас понял, что все равно уже не узнает ее, не узнает того нового и главного, чем стала она за прошедшие со времени пожара годы. И Михаил был потрясен, почувствовав, как то страшное, кровавое и дикое, что выжгло его душу, то, чего он старался никогда не вспоминать, вдруг меняется и делается словно бы сказкой — страшной, кровавой, но все равно волшебной и любимой, давней и успокоительно невозвратной. Черствая, окостеневшая душа князя вдруг разом словно выдохнула из себя сковывающее ее зло и жадно стала набухать всем, что было вокруг нее в этот миг, — а прежде всего этой девушкой, Тичерть, Тиче, его невестой, нареченной ему кровью отца на усть-вымском снегу.

Михаил не помнил, как в тот вечер добрался до шатра, и три дня ходил сам не свой, не в силах вновь встретиться с Тичерть или отдать приказ собираться в Чердынь. Венок, что надела ему девушка, был замечен всеми. Ратники перешептывались; пермяки не трогались с мест, сидя по своим чумам и ожидая развязки. Откуда-то всем стало известно, как погиб Танег и что он сказал перед смертью.

Первым не выдержал Исур. Подкараулив князя за деревней, он сказал:

— Хочу поговорить с тобою, как мужчина с мужчиной. Я все узнал. Она живет у дальних родственников отца, которые отдадут ее за калым.

Скажи мне: берешь ты ее или нет? Если нет, то в жены ее куплю я.

Михаил только бессильно махнул рукой и ушел.

Потом, уже ночью, подступился Бурмот. Он долго сидел на своей кошке, сопел, кашлял, сморкался, почесывался и наконец с трудом заговорил:

— Ай-Полюд рад будет. Она — дочь главного князя. Станет твоей женой — будешь совсем пермский князь. Сама пришла. Ай-Полюд скажет: «Хорошо!» Бери.

Михаил застонал и отвернулся лицом в стенку шатра.

Наконец, когда Михаил, сбежав, рыбачил на острове, в отмель толкнулась лодка Калины. Калина сел рядом с князем на кромку исады.

— Поехали в Чердынъ, князь, — попросил он. — Знаю, что в твоей душе. Не верь себе. Не человек она. Чертовка. Ламия. Нет счастья выше любви ламии, но любовь эта сжигает, не грея. Погубишь душу христианскую. А ее душа не богом вдохнута. Из земли она пришла, от дьявола, колдовством пермским из пекла выволочена. Ламии — не бабы, князь, хоть и слаще любой бабы. Оборотни. Это сама Сорни-Най в человечьем обличье. Спалит любовью, и будешь делать, чего она пожелает. Волю свою на демонскую променяешь. Я тоже ламию любил, князь. Землю есть был готов, но ей не сдался. Обожгла она меня всего, кровь отравила, жизнь хуже пытки стала, но я выдюжил. А ты больно молод еще... Откажись. Пропадешь.

— А мертвецом жить, как раньше, лучше, что ли? — тихо спросил князь.

— Не знаю. Но когда я понял, что моя Айчейль — ламия, мне показалось, что лучше быть мертвецом. А с ламией даже умереть не сможешь. Любовь не отпустит.

— У меня в Усть-Выме няньку тоже звали Айчейль, — только и ответил князь.

На третью ночь он тихо поднялся с лежака, с ловкостью вора обогнул спящего у полога Бурмота и вынырнул под небо. Сопротивляться больше не было сил.

Над рощей демоновыми городищами пылали созвездия. В ветвях свистели, звенели, щелкали соловьи, словно там запуталось северное сияние. Сверкающая дорога Камы уносилась к Луне. В кромешной тьме князь видел каждую травинку. У Прокудливой Березы было пусто.

Михаил постоял, глубоко дыша холодным, черным камским ветром. И тут из-за березы вышла Тиче, молча прислонилась к стволу плечом и щекой, положила на него ладонь.

— Не бойся меня, Михан... — тихо и жалобно позвала она.

Михаил шагнул ближе. Он робко обнял девушку за плечи и услышал, как на ее пояске зазвенели подвешенные на счастье лошадки-бубенчики. Прокудливая Береза растопырила корявые ветви, а над ними блестело лунное блюдо — как лик Золотой Бабы в руках человека с рогатым оленьим черепом на голове. И пение соловьев, чуть слышный звон лошадок-бубенчиков вдруг показались князю дальним отголоском победного вогульского рева: «Сорни-Най! Сорни-Най!..» Тиче всхлипнула и уткнулась Михаилу в грудь.

— Боже... — застонал князь. — Боже... Я люблю тебя, Тиче...

Глава 11

Иона Пустоглазый

Васька, пятнадцатилетний князь Василий Ермолаевич Вымско-Вычегодский, писал: «...а еще, брат мой Миша, заberi ты у меня епископа нашего Иону. Он епископ Пермский, пускай и в Перми Великой поживет хоть малость. Надоел он мне хуже горькой редьки. Боюсь, прибью».

Князь Михаил дочитал грамоту до конца, свернул берестяную полоску трубочкой и стал задумчиво постукивать ею по краю стола. Бурмот молча и неподвижно сидел на скамье. Полюд, покусывая усы, вырезал из сучка погремушку; завернутые в тряпицу сухие горошины торчали у него из-за голенища сапога. Тичерть кормила грудью Матвейку — трехмесячного княжонка Пермского. Роды нисколько не испортили ее; она стала даже словно бы тоньше, прозрачнее, и на побелевшем за долгую зиму лице тепло темнели черные глаза, будто проталины.

— Что скажете, советчики? — спросил Михаил.

— А чего говорить? — Полюд выплюнул ус. — Пусть приезжает. Помню я Иону по Усть-Выму, старикашка терпимый.

— А чего же братец-то убить его хотел? — усмехнулся Михаил.

— Да твой братец и за тараканом с мечом побежит, нрав такой, — спокойно пояснил Полюд. — А епископ нам тут нужен. В городище чердынском шепчутся, что летом вогулы придут. Мол, князь Асыка опять красную стрелу разослал и хонты собирает. Давеча видел я, что Исайка-охотник вятскому купцу всех своих соболей продал. Хоть, говорит, и продешевлю, да все чень-то в мошне останется, ведь вогулы придут — все задаром возьмут, счастье, коли башка уцелеет, — Полюд вздохнул и повертел погремушку, рассматривая, где чего еще подстругать. — Будет у нас епископ — будет нас Москва беречь, подмогу в случае беды вышлет. Князь-то великий Иван не чета батюшке, царство ему небесное, авось не забудет нас, не просыплет меж пальцами...

— А ты, Тиче, что скажешь? — князь глянул на жену. Тичерть подняла ребенка торчком, держа наготове уголок платка, чтобы сразу вытереть младенцу рот. Она безмятежно посмотрела на князя и улыбнулась.

— Новый шаман посвятит нашего сына в русскую веру. Ведь русский кан не сделает князем иноверца. А я хочу, чтобы наш сын был пермским князем.

— Верно, милая! — обрадовался Полюд. — Об этом я и не подумал!..

Княжонок Матвей до сих пор оставался некрещеным. В Чердыни попа не было, а соликамский батюшка Варфоломей болел и не мог приехать.

Полюд поднялся, собираясь выходить, погладил Тиче по склоненной голове, сделал Матвейке козу, и тут засопел, закричал Бурмот. Было видно, что и ему хочется добавить что-нибудь дельное, чтобы заслужить похвалу Полюда.

— Надо велеть Калыну, пусть дом строит, — наконец бухнул он.

Полюд выпучил глаза, поднял палец и значительно произнес:

— А это самое важнейшее! Ты, Обормотка, уж проследи сам, а то мы, грешные, точно напортачим!

Как только отбушевало северное половодье и лето обсушило по заливным лугам полои, из Усть-Выма в Чердынь поволокся епископский караван. По Вычегде, по Кельтме тяжелые лодки проползли мимо облысевших круглых быганов, сквозь глухую рамень и речные буреломы и вывалились в Каму. От Бондюга до Чердыни монахи шагали Русским вожем, а скарб их ехал сзади на телегах, запряженных оленями. Из ворот острога встречать вычегодских попов высыпал весь народ.

Епископ Иона совсем не изменился за те семь лет, что Михаил его не видел. Такой же крохотный, чистенький, седенький и розовый старичок, бодро шагающий возле передней телеги с высоким костяным посохом в руке. Улыбаясь и благословляя направо и налево, он первым вошел в ворота острожка. Князь спустился ему навстречу с крыльца своих хором, и епископ протянул ему для поцелуя зеленое медное распятие, перекрестив склонившуюся голову Михаила. За частоколом острога, за почерневшей грядой высокого ельника заходило солнце, разбросав над пармой алые клочья облаков. Проем под воротной башней пылал прямыми закатными лучами. Из этого слепящего сияния одна за другой появлялись вороны фигуры монахов, подоткнувших рясы за кушак и снявших клобуки с мокрых, взлохмаченных грив.

Михаил взглянул в глаза Ионы и снова поразился — глаза были водянисто-голубые, почти прозрачные, за что еще в Усть-Выме Иону прозвали Пустоглазым.

В горнице уже готовились принимать гостей. У длинного стола служили Тичерть и косоротая баба-пермячка, что обычно хозяйничала на поварне у неженатых ратников, которые жили в остроге по осадным дворам или в княжьей гриднице.

Пока в домовой часовне служили обедню, за стенкой скрипели половицы, брякала посуда. Жирный синий чад с запахом лука и жареного мяса змеями плавал вокруг образов и лампад.

— Ну, как живете-можете, княже? — усаживаясь во главе стола, ласково спрашивал Иона. — Вырос-то как, возмужал... Вот уж батюшка покойный порадовался бы. И баба у тебя славная! А где ж княжонок-то? Э-э-э, милая, мне скоромного не надо, обет. — Иона отодвинул деревянное блюдо с рябчиком, что поставила Тиче. — Мне, княже, вели попроще — молочка там с хлебушком... Мы люди божьи, нам об утробе печься грех.

— Нету хлеба, владыка, — кланяясь, ответил Михаил. — За зиму все подъели, сухаря не оставили. Хлеб у нас теперь только осенью будет, не обессудь.

— Съешь тогда харюза рубленого с моченой репой, — не поклонившись, предложила старику Тиче.

Иона растерянно уставился на нее, словно бы с ним заговорил идол. И князь вдруг ощутил что-то странное в тех взглядах, которыми обменялись полудикая женщина-пермячка с глазами ночной нечисти и ласковый старичок-поп с прозвищем Пустоглазый.

Хоть Иона и разменял шестой десяток, он сохранил юношескую, если не отроческую резвость. С первых же дней он наотрез отказался жить в домике, который ему наскоро выстроили у острожной стены.

— Храма божьего еще нет, значит, и мне своей крыши пока не надо. — Он махнул на домишко маленькой ручкой. — Встану на постой пока что к тебе, княже. — И он нежно погладил Михаила по локтю.

В толпе усть-вымцев Михаил увидел знакомое лисье лицо, обросшее пегой бороденкой. Лишь с подсказки Полюда он вспомнил, что это пермский человечешко Ничейка, который после вогульского набега привез на пепелище мертвого епископа Питирима.

Иона бодро обегал весь острожек, заглянул во все избы на посадe, приветливо здороваясь с хозяйками, которые, дуры эдакие, пугливо прятались в темных углах, и раздаривал детям деревянных петушков и лошадок, невесть откуда нашедшихся в его скарбе. Детвора из городища уже на третий день стала караулить Иону у ворот, боясь пробежать внутрь острожка мимо здорового стражника с секирой и сажеными усами. Иона угощал детей кедровыми орешками, сваренными в меду, — в числе прочих подарков их целый мешок прислали посадские из Усолья Камского.

Князь сопровождал Иону, когда тот в первый раз отправился в городище в часовню, чья маковка так неуместно торчала над тыном и коньками языческой Чердыни.

— Чудно живут! — весело удивлялся Иона, разглядывая непривычные избы, черные от времени колья городьбы, резные узоры вокруг маленьких

окошек под свесом кровли. — Ох, беса тешат, беса тешат... — укоризненно бормотал он, проходя под покосившимися болванами-охранителями, что торчали на перекрестьях узких улочек. — Воссияет и здесь слово божье и просветит малых и неразумных сих, кои едино любимы господом наравне с праведниками, — поучительно говорил Иона князю.

Через толпу выжидательно молчавших пермяков Иона подошел к часовне, уже малость скособочившейся, и оттащил в сторону скрипучую дверь. Князь знал, что те пермяки, которых покрестил Питирим, ходили в часовню, но обряды их сильно смахивали на идолопоклонство. И сейчас в часовне в свете лучин Михаил увидел тех же чудских богов. Вырезанный чердынским мастером Ветланом из цельного елового ствола, Христос с высокими пермскими скулами и прищуренными глазами охотника сидел в алтаре, подперев ладонью щеку. Резная Богоматерь, как Заринь с Витькаром и Пупикаром, стояла с апостолами, больше похожими на леших. Запах чего-то тухлого — запоздало убранной жертвы — ударил в нос. Иона, крестясь, попятился из часовни.

— И в божий храм сатана пролез! — изумленно сказал он князю и оглянулся на пермяков. — Грешно вам, которые с крестом, под святыми образами кудесить! Вы ломайте всех истуканов отсюда ныне же, бейте плетью их да в костер! — наставительно добавил он и, вздыхая, пошагал обратно.

— Воочию вижу, князь, что немецкое папство — ересь, — сказал он, выходя из ворот городища. — Что немцы-еретики, что пермяки-язычники одинаково вместо ликов статуям идолским молятся. Запустил ты подданных своих. Ну да грех понятный, ты ж не пастырь. Повсюду бесы расселись, небось скоро и гайтан в качели превратят. Много нам, видно, работы тут предстоит, князь. Что ж, с божьей помощью одолеем... Идолов — в плети, как Володимер Перуна, а людишек лаской, приветным словом охватим. Тоже души живые. Не отдам я их лукавому, на то здесь и поставлен.

Иона с монахами, князем и Калиной долго кружили по ядреному, чеканному бору, венчавшему соседний с острожным холм над Колвой. Столь красив был могучий сосняк, что рука не подымалась подступиться к нему с топором.

— Благодать! — глубоко вдохнув хвойный ветер из тайги, умильно сказал Иона. — Здесь, князь, на будущий год будем монастырь ставить. Нельзя такой большой земле без обители. Ты пермякам вели вместо ясака артелями тут побатрачить. Вершину расчистить, храм сложить, кельи, стены с башнями... Кто у тебя главный строитель-то?

— Вот он, — Михаил кивнул на Калину.

— А вот мой строитель — отец Дионисий. — Иона указал на тощего и высокого старого монаха с суровым лицом и клочкастыми седыми бровями. — Будет настоятелем. Так что готовьтесь вместе за дело браться. Холм к снегам от леса заголить надо, да и бревна свезти покрепче, чтоб века монастырь простоял.

Калина хмуро глянул на Дионисия и отвернулся. Дионисий упрямо смотрел себе под ноги. А князя Михаила уже начала раздражать ласковая и слепая неугомонность епископа. Он понял, почему брат Васька так хотел избавиться от Ионы. Монахи потянулись за владыкой вниз по склону холма, а Калина все стоял в папоротниках, задрав голову, и глядел на сосновые вершины, сквозь которые лучилось ослепительное небо.

— Такую красу свести! — горько сказал он князю. — Э-эх! Пустоглазый!..

На Прокла Великие Росы Иона наконец-то собрался поехать по русским селениям Перми Великой. Михаил провожал его с облегчением.

— Вернусь уж после Семена Летопроводца, — говорил князю Иона, усаживаясь в возок. — А там, к первым снегам, и крещение устрою. И пермяков в православие обращу, и младенцев, всех. Жить в Чердыни я долго собираюсь, так что обратно к идолам не отобьются. И ты не бойся, княже: там и твоего сыночка окрестим.

Михаил долго стоял на пыльной дороге, глядя, как, прыгая на камнях, укатываются вниз по склону телеги. Что-то тяжелое, даже зловещее почудилось ему в словах Ионы. Словно обещание его было страшнее, чем вогульские хонты, которые, по слухам, бродили на верхней Вишере.

Михаилу потом еще долго не давала покоя мысль о предстоящем крещении пермяков. Он вглядывался в себя: не потерял ли в нем христианин? Нет, вера в нем не пошатнулась. Но здесь, в дремучей Перми Великой, где городища стерегут тайгу, Христова вера была пока еще не нужная, излишняя. Люди, верящие в зверей и демонов, не примут богочеловека. Богов принимают лишь тех, что вырастают из своей земли. А здесь вырастают идолы, а не иконы.

Однажды ночью Михаил почувствовал, что Тиче рядом с ним не спит. Он повернул голову и увидел ее глаза, черно горевшие на белом, словно подсвеченном изнутри лице.

— Тиче... — тихо позвал он. — Я боюсь крещения...

Нежная ладонь коснулась его скулы, легла на лоб.

— Пусть мой князь правит народом, который одной с ним веры. Он

тогда станет сильнее всех.

Михаил грустно улыбнулся и хотел возразить, но Тиче вдруг ящеркой скользнула на него, обхватила его голову руками, мягко опалая его тело своим телом, закрывая губами его рот.

— Тебе будет трудно, Михан, но ты сможешь преодолеть все, я знаю. И наш сын будет властелином пармы. Михан... Михан...

От ее полустона-полурычания в зыбке проснулся княжонок. Тиче, глубоко выдохнув и обмякнув, оторвалась от мужа. Ночь была облачная, ставни были закрыты, но в крошечной тьме Михаил все равно видел ее — с черной растрепанной гривой, с влажно блестящим белым телом. Он удивился, как сильны, гибки и точны ее движения в таком мраке — словно у ночного зверя. Тиче взяла младенца и приложила к груди, тихонько покачивая вправо-влево. И сейчас она вдруг показалась князю Богоматерью — но не такой, к какой он привык: в длинных одеждах, бесплотной, излучающей печаль. Нет, она была языческой богоматерью — нагой, отважной, сильной, как волчица, которая, улыбаясь сама себе, кормит самого хищного волчонка в стае.

Иона вернулся даже раньше, чем обещал, — в конце лета. С ним приехал старец Дионисий и четверо монахов. Остальная братия рассеялась по пустым соликамским храмам в малолюдных, но крепко рубленых деревнях среди великих лесов и рек.

Отдохнув лишь ночь, Иона крепко взялся за дело. Целыми днями, проповедуя, увещевая и грозя, пропадал он в городище. И пермяки потихоньку потянулись по утрам мимо острога на монастырский холм. В мендаче застучали топоры. С гулом повалились вековые янтарные сосны. Оголяясь, вершина холма не остывала, курилась дымом костров, на которых жгли корье и сучья. Один за другим вставляли целые снопы из очищенных бревен, приготовленных на строительство. В речку Чердынку чертовыми колесами покатались со склона выкорчеванные пни. Обнаженный холм тяжело округлился, словно вывалился из недр земли на заливные луга у Колвы.

— Он ведь, песья борода, твоим, князь, именем народец страшает, чтобы шли на работу, — словно бы случайно, как-то сказал Михаилу Полюд.

Михаил, разгневавшись, отыскал Иону. Иона в сокрушенном изумлении всплеснул руками, глаза его увлажнились, он открыл рот, и оттуда, как рыбы из дырявого невода, потоком посыпались на князя упреки, жалобы, поучения, наставления, притчи. Михаил, не дослушав, махнул рукой и пошагал прочь.

А осень стояла долгая, ясная, ветреная. Снег все никак не ложился, и дожди, не дозрев, не падали с облаков, быстро проносящихся над Чердыню. Рощи царственно позолотели и осквозились, хрупкий и прозрачный свет низкого солнца до окоема озарил бескрайнее таежное море, по которому бежали облачные тени, цепляясь за изломы далеких утесов. Уплывали на полдень птицы, пожухла и полегла на пожнях трава, и крепкий иней уже не таял на рассвете.

В назначенный Ионой день огромная толпа вразброд повалила из ворот городища и острожка, с посада, с дороги на монастырский холм. Русские поселенцы смешались с пермяками-охотниками. Бабы сбивались в кучи и шептались, застревая на дороге. Всюду шныряла детвора, путались под ногами лохматые собаки. Посреди толпы на конях, по четверо в ряд, медленно ехали княжеские ратники в броне, в наручах и поножах, с яловцами на шлемах и яблоками на щитах. Только Полюд, ехавший первым справа, был одет в простую одежду. Правой рукой он держал на весу тяжело плескавшуюся княжескую хоругвь с медведем, книгой и крестом на алом поле. Сам князь шагал в толпе вместе с Тиче, Бурмотом и Калиной. Примчавшийся на праздник из Афкуля Исур так и не поборол гордости, не спешился, а потому тащился сзади. На конях со своими советниками и воеводами ехали и прибывшие пермские князья — Пемдан Пянтежский, Сойгат Покчинский, Керчег Янидорский, Колог Пыскорский, окрещенный еще Питиримом, Качаим Искорский, отец Бурмота, совсем еще юный Мичкин из Уроса. Несли на носилках глухого пама с Глядена. Под руки вели совсем седого, благообразного сказителя-слепца, единственного в Чердыни, кто еще понимал Стефанову грамоту, а за ним шла его дочь Пассэр, Бисерка, как звал ее Полюд, и рядом с Бисеркой шагал маленький, незаметный охотник Ветлан, лучший резчик в Чердыни. Прибыли усольские старосты, анфаловский есаул Кривонос и много другого, своего и чужого люда.

Толпа поднялась на вершину холма, всю изрытую ямами, засыпанную золой, корой, ветками. Здесь уже высилась новенькая желтая часовня, а рядом с ней темнел в земле свежий ров, засыпанный хворостом. Из хвороста торчали головы и стопы идолов.

Толпа окружила часовню, и на ее пороге появился Иона. Он долго оглядывал свою паству и наконец поднял над головой серебряный крест. Гомон в толпе потихоньку угасал.

— От сего храма, — тонко и громко закричал Иона дребезжащим голосом, — да зачнется обитель, славнейшая в парме, реченная Иоанна Богослова именем, на сей горе да воздвигнется и сними людьми да

укрепится в вере своей и славе, аминь!

И странная тишина висела над холмом, над народом, пока Иона освящал часовню, и только птицы и ветер были слышны вокруг, словно вода веков уже затопила и людей, и города. А когда в часовне началась служба, зазвенели кольчуги, зашуршала одежда, скрипнула земля под русскими коленями. А вслед за русскими на колени стали опускаться и пермяки — крещеные и язычники, князья и голь. Когда Иона вышел на крыльцо и увидел коленопреклоненную толпу, глаза его блеснули умиленным торжеством. Он снова вздернул крест и начал проповедь.

Михаил слушал Иону и поражался безумству и отваге этого маленького старичка с распятием в руках. Пермяки наполовину не понимали того, о чем говорил Иона, а он говорил как раз о них, об их истуканах и болванах, о кудесниках, одержимых бесами, о страшном грехе идолопоклонства, о муках, уготованных грешникам. Михаил перевел взгляд на ров с идолами. Во рву лежали в основном злые духи — Омоль, придумавший холод и голод, ведьма Йома, суровый лесной мужик Комполен, водяной Вакуль, пожиратель утопленников, и прочие кулидьяволы. Среди идолов не было ни Торума, ни Ена, ни мяндашей, ни ервов, ни Перы-охотника, ни Кудым-Оша. Михаил присмотрелся и вздрогнул: среди черных чудовищ стоял, покосившись, и резной Христос, выломанный Ионой из чердынской часовни.

— Како же Володимер Креститель высек Перуна, тако же и я высеку идолов! — провозгласил Иона.

Он очутился у рва и звучно хлестнул плетью по идолам. Монахи со свечами и факелами шли за епископом. Пермяки замерли в благоговейном ужасе. Конечно, никто не любил ни кайского лешего Висела, ни людоедку Тань-варпекву, ни огненного ящера Гондыра, но ведь и никто не решался бить их доселе. А плеть гуляла по деревянным глазам, ртам, рукам, туловищам. После каждых трех—пяти ударов Иона властно протягивал назад руку, и монахи совали ему факел, подожженный от церковной свечи. Иона швырял факел в ров и шагал дальше. И вдруг плеть полоснула по Христу, сломав ему ладонь у лица. Иона задержался, с остервенением лупцуя Христа, а тот, безрукий, уже не мог защититься и покорно подставлял впалые щеки. Какое-то нехорошее чувство заворочалось в душе у князя. Он прищурился. Иона орудовал его плетью, всегда висевшей на стене в горнице. «Вот и пусти в дом праведника», — подумал Михаил и первым, не скрываясь, поднялся с колен.

Костер широко и жарко разгорался, и в пламени страшно кривлялись, корчили бесовские рожи черные идолы. Иона отступил от жара, отбросил

плеть и взял в руки большую берестяную книгу.

Михаил знал, что это за книга. Ее много лет Стефановской азбукой писал слепец-сказитель. Он писал и сразу пел. Он пел о том, как был сотворен мир, и лебедь-Ен снес яйцо-солнце, а злой Омель разбил его; как была создана земля, а потом начался потоп, и лишь святые горы-ялпынги спасли живущих; как бобр украл для людей у Торума огонь; как Ош отдал людям шкуру греться в страшный холод, насланный Омолем. Старик писал о Пере-охотнике, научившем делать металл, и Кудым-Оше, научившем сеять рожь. Писал о жене Кудыма зверолицей Хостэ, ставшей красавицей от любви мужа, и сыне их Руме, выпустившем солнце из пещеры Ящера. Писал о древних народах, их городах и святилищах, о злых пришельцах — лесных всадниках, научивших строить могильные курганы и подаривших лошадей, о войне вису и угру, о булгарах, мурманах и монголах, о великих бедах и великих канах своего народа — обо всем, о чем кто-то забыл, а кто-то и не знал. Эту книгу несколько дней назад принесли в дар Ионе. Пермь, принесший ее, передал и слова старика: «Народы наши сошлись на одной земле и вот теперь меняются богами. Поменяемся же и мудростью, ибо жить нам вместе вечно».

— Идолам — идолское! — выкрикнул Иона Пустоглазый, поднимая книгу. Сил вздуть огромный фолиант над головой ему не хватило, и он от груди толкнул книгу в костер. Она упала на горящий хворост, раскинувшись, как птица, и берестяные листы, испещренные выдавленными закорючками, тотчас вспыхнули.

Глаза князя сами собою обратились на старика-сказителя. Тот стоял ничего не видя и тихо улыбался, греясь теплом костра. Борода и волосы его шевелились на горячем ветру, алые и золотые. Бисерка, дочь старика-сказителя, стояла на коленях, вцепившись в отцовскую руку, и, расширив глаза, в ужасе кусала губы. А за спиной слепца упрямо поднялся во весь свой невеликий рост охотник и резчик Ветлан. Смуглое лицо его от света костра стало бронзовым.

— А теперь — в воду! — провозгласил Иона. — Пусть очистит вас река, и да примите вы святое крещение!

Толпа, нарушая оцепенение, шевельнулась, распалась, и люди по тропкам потекли вниз с крутого холма к Колве. Иону свели под руки, принесли алтарь-складень.

— В воду, в воду!.. — с образом и распятием в руках кричал Иона огромной толпе, заполонившей весь пойменный луг.

Пермяки заходили в воду — кто по колени, кто по пояс, умывались и выходили обратно. Монахи, как милостыню, швыряли в толпу горсти

кипарисовых крестиков. Иона все что-то кричал. Люди ползали в пожухлой прибрежной траве, собирая крестики, кто-то уже выпрашивал их у монахов с кошельками в руках, кто-то подносил Ионе орущего младенца, кто-то ссорился с соседом, кто-то торговался из-за находки, обменивая повыгоднее. Гомон огласил берег.

Михаил, Тиче, Исур, Полюд, Калина и Бурмот стояли рядом с епископом. Нянька Табарга, запыхавшись, подбежала к ним с княжонком Матвейкой на руках. Княжонок плакал. Тиче взяла его себе, расстегнула платье и дала грудь. Два мужика, шепотом костеря и князя, и епископа, волокли лохань, расплескав чуть ли не всю теплую воду.

Иона сам взял Матвейку на руки, освободил от пеленок и, улыбаясь, с молитвой окунул, обнес вокруг алтаря, перекрестил и достал серебряный нательный крестик.

— Нарекаю младенца именем Матвей, — отдавая мокрого и визжащего ребенка няньке, торжественно произнес он. — Да будет верным он рабом божиим, и осенит жизнь его божья благодать, аминь!

— Благодарим, отче, — за всех ответил князь, кланяясь епископу.

— Ну а ты, дочь моя, что же медлишь святое благословение принять? — ласково обратился Иона к Тичерть. — Я уже и имечко тебе православное подобрал, чудесное имя — Анастасия. Михаил и Анастасия, князь и княгиня Великопермские!

Михаил ошарашенно уставился на Иону. Он ведь даже не думал, что и Тиче тоже надо креститься! Тиче? Нет, это в голове не укладывалось... Спиной он почувствовал, как напряглись сзади Калина, Полюд, Бурмот. Но Тиче осталась безмятежна. Глядя своими черными, нечеловечьими глазами в пустые глаза епископа, она улыбнулась и ответила:

— Спасибо тебе, старый шаман, но мне не нужна ваша вера. Мои боги хорошо заботятся обо мне.

Иону словно окатили ледяной водой. Он отшатнулся, и пустые глаза его на миг совсем прояснились.

— Грешно так говорить, а упорствовать вдвое грешнее! — изумленно произнес он. — Или ты хочешь своих лесных чудовищ на Христа променять?

— Я ничего не меняю, старый шаман.

— Смирись, девонька... — тихо сказал за ее спиной Калина.

— В третий раз спрашиваю, примешь ли крещение? — распалялся Иона.

— Не приму, шаман. Не твой кудесник в меня душу вдохнул, не ему мной и править.

— Бесы, бесы! — закричал Иона, отступая на шаг. — Воистину, имя тебе, девка, — Чертовка, как в народе называют! Раскайся!

Оковы беды стиснули сердце князя.

— Повели же ей, муж! — крикнул Иона.

— Тиче... — без голоса сказал Михаил, глядя на жену.

Тиче и не повернулась к нему, весело и беззаботно всматриваясь в лицо епископа.

— Коли не крещеная, так и не жена тогда! — выкрикнул Иона, уставляя в нее палец. — А коли не жена, то и выблядок твой не князь!

Тиче, не отвечая, развернулась и шагнула прочь.

— Стой! — завизжал Иона. — Братья, держи дьяволицу! Коли сама не хочет, силком заставлю, у всех на глазах нагую в воду загоню!..

Люди вокруг останавливались, оборачивались. Михаил не мог сдвинуться с места, одеревенев от страха за Тиче. Черные монахи вдруг оказались со всех сторон, и князь поразился, как их на самом деле много. Полюд сделал движение загородить Тиче, но палец Ионы уткнулся в него:

— Прокляну!

Полюд застрял на полушаге. Лицо его было в поту. Рослый Дионисий схватил Тиче за плечо.

Тиче вдруг изогнулась, подныривая под его руку, и мгновенно очутилась уже перед Ионой.

— Нагую, говоришь? — смеясь, переспросила она. — В воду?

Она глянула Ионе в глаза своими колдовскими глазами, и епископ словно остолбенел, разинув рот и задыхаясь. Узкое длинное платье змеей скользнуло с плеч Тиче на землю, и Тиче осталась обнаженной, только между высоких, враскос торчащих грудей зеленела на шнурке древняя тамга князя Танега.

Тиче звонко захохотала, сорвалась с места и вихрем понеслась между людей к Колве.

— Тиче!.. — в озарении тоски, отчаянно закричал Михаил и рванулся за ней. Бурмот повис у князя на кушаке.

И Полюд, очнувшись, тоже кинулся за княгиней, расшвыривая с дороги народ. Тиче уже бежала по мелководью, вся в брызгах, словно бледный язычок пламени среди искр.

Забежав по пояс, она изогнулась и рыбой нырнула в воду. И Полюд тотчас же бухнулся в ледяную осеннюю реку, саженками выбрасывая руки. Бурмот, навалившись грудью, придавил Михаила к земле, чтобы князь не бросился на верную смерть в остывшую, как булат, Колву. Иона и Исур стояли, одинаково раскрыв рты, а Калина молча отвернулся, каменея

скулами.

— Тиче!.. — надрывался князь.

Светлая голова Полюда вынырнула чуть ли не на стрежне, а Тичерть так и не показывалась. Полюд с хрипом набрал воздух и вновь ввинтился в глубину, болтнув над рекой ногами.

— Лодку!.. Лодку!.. — кричали вокруг. Несколько рыбаков бегом понеслись к городищу за своими пыжами из еловых прутьев и шкур.

Полюд снова вынырнул — далеко-далеко на широкой Колве — и опять нырнул, вынырнул и нырнул. И вдруг толпа хором ахнула. Тичерть, живая и невредимая, выскочила из-под воды у противоположного берега, прыгнула на камень, с него белкой перелетела на другой, на третий, юркнула в заросли тальника, мелькнула за ветвями белизной тела и исчезла.

Стая легких пермяцких пыжей, валясь с боку на бок от мощных гребков, уже мчалась по реке. Часть их повернула к Полюду, остальные — к камням на дальнем берегу. Пыжи вылетели на валуны, гребцы побросали весла и ринулись в кусты.

Тичерть они так и не догнали. Один из пермяков, придя вечером к князю, долго мялся, виновато глядя в угол. Князь, укрывшись шкурой с головой, лежал на топчане спиной к гостю.

— Не серчай, кнес, — сказал пришедший. — Голая — она бы далеко от нас не ушла, мы бы ее быстро догнали, бежали по следам... Да следы-то ее в парме из человеческих стали... стали рысьи. Не поймать нам ее. Не человек она. Ламия.

Глава 12

Только свети

Калина замерзал. Бездумно плутая, он ушел от Чердыни далеко в парму, напетлял лыжню и на закате, решив идти домой напрямик, зацепил корень и сломал лыжу. Плюнув на свой след, он попер через сугробы и лощины и увяз в снегах, сбившись с пути. Ночь накатила яркая, звездная, но за еловыми шатрами трудно было разглядеть созвездия. Калина взял на Перо Тайменя, как называли эту звезду пермяки. Если не к Чердыни, то уж к Колве он точно должен был выйти. Но он все брел и брел, проваливаясь по пояс, минуя пустые елани, карабкаясь по буреломам, сползая в овражки и взбираясь на верей, а ни города, ни реки все не было. Он продрог, обессилел и наконец свалился под сосной на опушке большой поляны. Он смог только прислониться спиной к стволу и обхватить руками колени. Глаза закрывались сами собой. Сладкая, теплая полудрема-полусмерть заволакивала человека, потерявшегося в зимнем лесу. Калина знал, что погибнет, если не заставит себя ползти дальше, но заставить не мог.

Зачем его вообще понесло в тайгу? Месяц назад в избушку, где Калина имел угол, нагнувшись, вошел старец Дионисий. «Владыка велел передать тебе, храмодел, каким желает видеть собор, — сказал Дионисий, не присаживаясь. — Чтоб был со звонницей и о пяти главах в честь пятого епископа Пермского. А обликом чтоб выражал мысль о посприании Каменных гор княжьей дружиной. И еще владыка велел, чтоб к Рождеству ты образ этот обдумал и представил ему игрушкой или изографией».

После побега княгини Иона, видно, порядком стал побаиваться князя. Михаил не желал видеть епископа. Дверь в его половину хором заколотили и прорубили новую с другой стороны, чтобы князю с епископом даже не встречаться. Не случайно Иона вспомнил о князе, когда размышлял, каким быть собору.

Калина крепко взялся за этот храм. Он уже лет десять не брался по-настоящему за свое прежнее ремесло — со времени строительства Троицкой церкви в Соликамске. В заказе епископа, в своем возвращении к делу, в значении, которое будет иметь собор для всей пармы, Калина увидел огромный смысл, а может, и перст судьбы. К такой задаче не годилось подходить спустя рукава, по вековой дедовской мерке: трапезная-молельная-алтарь, палатка-бочка-луковка. Немало души растратил Калина на эти леса, реки и скалы, чтобы ставить храм без тайного слова,

запечатленного в упругих рядах венцов и серебряном лемехе маковок. Калина и сам точно не знал, чего же ему так хочется сказать, выразить, выплеснуть из себя, а потому и мучился, метался, просыпался ночами, царапал ножом доски стола, рисуя собор. Чтобы охолонуть, подумать наедине с собой, вытряхнуть из головы накопившийся сор неудачных замыслов, он и пошел в лес. Пробежусь, мол, по стуже, а там и разум прояснится. И вот теперь Калина замерзал.

Уже не было ни страха, ни усталости, ни горечи — только бредовая, сладкая, предсмертная истома. С трудом приподняв веки, Калина мутно глянул из-под бровей, задетый каким-то звуком — то ли треском лопнувшего ствола, то ли хрустом снега. Поляна ослепительно-бледно пылала под луною в зубчатой раме ельника. Посреди поляны Калина увидел нагую девушку, стоящую по пояс в снегу. Волосы ее были повогульски подняты на макушку и стянуты в хвост. Девушка тихо смеялась и протягивала руку, подзывая, как пса, матерого, сидящего волка, что прятался в четырех одинаковых маленьких елочках, едва торчавших над снежным озером.

«Ламия...» — затлел последний уголек памяти.

Холодный ветер, как сквозняк в теплой мгле, лизнул скулу Калины. Калина вновь приоткрыл глаза. Перед ним на корточках сидела Тичерть и гладила его по лицу.

— Поклон тебе, Калина, от Асыки, князя вогулов, — улыбаясь, прошептала она, сияя нелюдским, полуночным взглядом.

Калина молчал. Губы смерзлись.

— Умираешь, Калина? — спросила ламия. — Замерзаешь? Замерзаешь... Враг мой замерзает, самый заклятый враг... Страшней князя, страшней сотника, страшней епископа... Может, чего узнать хочешь? Спроси, я все скажу.

Калина чуть приподнял голову. Скрипнул ломающийся ворот зипуна, затрещала обледеневшая борода, отрываясь от груди.

— Где Чердынь? — без звука спросил Калина.

Ламия удивленно и пытливо заглянула ему в глаза.

— Живуч ты, Калина, — улыбнулась она. — А ведь, коли скажу, вдруг спасешься, а? — Она пальцем провела по обмороженной скуле Калины. — Правильно ты шел на Перо Тайменя. Только не дошел немного.

Они опять молча глядели друг на друга. Усы Калины хрустнули.

— Почто спасаешь, ламия? — медленно спросил он.

Тичерть, точно любуясь, снова нежно провела ладонью по его лицу.

— А баба я, — ответила она. — Жалко мне вас...

Она вскочила, свистнула и помчалась босиком по снежной поляне к дальнему лесу — живая, голая, отбрасывающая черную тень на слепящий снег. Из елочек вывалился волчище и тяжело поскакал рядом, по брюхо проваливаясь в сугробы.

Калина ничком ткнулся вперед, лежал и пополз к синей звезде над лесом. Он уже ничего не думал, не вымерял, не ждал — просто полз, полз, полз по лучу, как по струне. И то ли парма расступилась — расползались буреломы, отодвигались стволы, — а то ли вправду синий луч с небосвода, рассыпавшегося льдинками, был путеводным, но вскоре лес поредел, как рубаха на локтях, и вдали перед бледной полосой застывшей Колвы поднялись черные зубчатые гребни городища и острога. Чердынь пермским подземным ящером вылезла под луну, чуть посвечивая красными глазами лучин в маленьких окошках.

Калина не помнил, кто его подобрал, кто притащил в тепло, кто раздел, растер, закутал. До первых ростепелей он метался в горячке на топчане, укрытый блохастыми медвежьими шкурами. В дыму ему чудились бревенчатые стены, скаты кровель, тугие излучины закомар, надутые купола под крестами, а то нагая девушка среди снегов, живые округлости ее лица, плеч, груди, бедер — а вокруг мертвая, ледяная неподвижность крещенской стужи. Все это смешивалось, переплеталось, таяло и появлялось вновь; то женское тело, как чешуей, вдруг обрастало лемехом, то бревенчатые венцы вдруг расплывались горячей плотью. Калина звал Айчейль, князя Асыку, вогулку Солэ, что подобрала его, истекающего кровью, на Балбанкаре, а то вдруг мертвецов — Ухвата, Питирима, князя Ермолая. Только к весне он выплыл из лихорадки, будто из трясины, и начал узнавать тех, кто появлялся рядом, — Полюда, Михаила, Бурмота, княжеских ратников, косоротую стряпуху.

Чаще всех рядом бывал Полюд. От него Калина и узнал все новости, когда лихоманка начала его отпускать. Оказывается, через несколько дней после того, как он дополз до Чердыни, князь на рассвете нашел у ворот острога занесенную снегом Тиче. Тиче была еще жива. Михаил стоял на коленях, прижимая к груди ее голову, и мужики, прибежавшие на выручку, долго не могли разжать этих обреченных объятий. Тичерть принесли в дом, растерли брагой, медвежьим жиром, согрели. Она была почти голая, закутанная в какие-то драные шкуры. Горячка свалила и ее. Приходя в себя, она говорила, что пряталась на дальней охотничьей заимке, но, теряя сознание, начинала бредить на непонятном языке. Князь почти не отходил от нее. Часто посреди ночи его заставляли у лавки, на которой лежала Тиче,

упавшего на колени, уткнувшегося лбом в ее бок, сжимающего в руках икону. Когда после крещения Тиче убежала, князь не изменился ни в чем: так же разговаривал, решал споры, делал дела, словно ничего и не случилось. Но когда парма вернула ему жену и страх за нее перестал терзать душу князя, боль его сломила.

— Любит, — криво и печально улыбаясь, пояснил Калине Полюд.

Набравшись сил, чтобы сидеть, Калина попросил дать ему нож и лучины. Из тоненьких палочек на крышке от бочки он построил маленький храм — как и было велено, пятиглавый, со звонницей. Полюд отнес игрушку Ионе. Вскоре пришел Дионисий и, не глядя в глаза, передал слова епископа: как сойдет снег, начинай ставить такой же, и чтоб высотой под кресты семьдесят локтей.

И пришла весна, и сошел снег, и на облысевшем холме над Колвой русские мужики, княжеские ратники, чердынские пермяки начали рыть ямы, вбивать сваи, выкладывать бутовый камень, накатывать венцы храма Иоанна Богослова. Калина, ослабленный, но набирающий силу, сидел, наблюдая, в сторонке на бревне. Дни стояли солнечные и ветреные. В синем небе над Чердыню плыли белые кучевые облака и отражались в темной воде Колвы. По холму, по лесам бежали их тени. На стройке пахло щепой, смолой, оттаявшей землею.

Однажды на стройку пришел Полюд. В последние недели он стал словно сам не свой: молчал, молчал, и в глазах сквозила какая-то неизбывная тоска. Обойдя поднимающийся храм, он пошел к Калине, который стругал топором дощечку лемеха для главки, и присел рядом, глядя куда-то за Колву, в синие леса, над которыми крылом вставал далекий утес.

— Слышь, Вася, — негромко сказал он. — Только тебе открою... Погибну я скоро.

Вести о том, что вогульские хонты вновь появились на Вишере, давно мутили Чердынь. Если в прошлое лето вогулы так и не пришли, то в нынешнее их уж точно ждать следовало.

— Не каркай, — ответил Калина.

— Не каркаю я... Чую. Достала она меня. Единый-то раз и видел — в Усть-Выме у старого князя Ермолая, и все равно, через восемь лет, достала...

Топор Калины застрял лезвием в расщепе.

— Скажи ты мне, — не глядя, попросил Полюд, — вот ты не только видел, а даже крал ее, — почему же ты жив до сих пор? Сильнее ее, что ли?

Калина молчал.

— А почему пермяки живы, которые ее видели? — допытывался Полюд. — Они что, из другого теста? Почему мы-то все, увидев, гибнем, а они — нет?

— Она — ихний бог, — сказал Калина. — Ихней землей рождена. И живут они на своей земле.

— Когда же эта земля и нашей станет? Храмы и города на ней строим, крестим ее, живем здесь уже сколько лет — когда же она и нашей станет?

— Когда на три сажени вглубь кровью своей ее напоим.

Полюд нагнулся и соскреб рядом с сапогом горсть.

— Боже мой, — сказал он. — Боже мой...

Калина отшвырнул дощечку и вогнал топор в комель.

— А правда ли, что у Мишки жена — ведьма? Мне уже ничего не страшно. Убью ее.

— Оставь девку, брат. Какая она ведьма? Разве ведьма елка, на которой высекли катпос? Разве ведьма река, которую переплыть не можешь?

— Добрый ты, Калина. И я добрый. И земля добра. Отчего ж мы помираем?

Калина опять молчал.

— Девчонку я полюбил, Васька, — вдруг сказал Полюд. — Больше света белого полюбил. Ничего мне от нее не надо. Жизнь бы свою отдал за счастье ее. Только бы из могилы выглянул — сотворил ли господь ей счастье взамен меня? И если нет... то нет для меня ничего, ни бога, ни черта...

Калина посмотрел на Полюда. Давно знакомое, обычное лицо его словно бы прояснилось высшей, вечной силой.

— Зимой, понимаешь, скучно было. Я и повадился в городище ходить. Помнишь старика-сказителя, слепца, у которого Иона книгу сжег? Вот к нему и ходил. Сидел, грелся у огня, сказки слушал, как мальчик. Там и увидел Бисерку, Пассэр по-ихнему. Нет, не полюбил, — так просто, любовался. А однажды ночью в остроге усмотрел: лезет в княжий погреб вор. Ну чего там воровать, а? Замок только для красоты висит. А тот с топором, с мешком, чисто ушкуйник. Пригляделся я и узнал мужичка-пермячка, которого с собой привез Иона из Усть-Выма, — Ничейку. Ну, снял он дверь, шасть вниз. Я за ним. И стал он стенку рыть, доставать из тайника кошель с монетами, горшки золотые, блюда — все персиянское... Я, конечно, Ничейку — в шею, добро перепрятал. Но как золото увидел, так сразу и вспомнил про Золотую Бабу.

И понимаешь, не золота мне захотелось, не богатства, не власти, не славы, — Золотую Бабу мне захотелось как простую бабу. Обнимать,

целовать, под руками почуять... Наваждение чертово!

Полюд ошеломленно посмотрел на свои широкие ладони.

— Смерть как захотелось... Ну, и подумал я... После того, как вогулы отняли ее у Ермолая в Усть-Выме, сам небось слышал, что спрятали ее на Пуррамонитуре, в вороньих городищах. А как найти ее — отлили путеводную тамгу и вбили навроде катпоса в ствол сосны, Ялпынгтарыга, что растет на острове на реке Лопсии. И на той путеводной тамге всякие ящеры, совы, змеи... Хрещеному не понять. Кто же разъяснит? Я и прикинул, что здесь-то и некому, кроме слепца-сказителя, который все ихние древние знаки помнит. А как его заставить? Чужому он не скажет. И решил я: женюсь на Бисерке — девка, благо, хорошая. Вот уж зятю-то слепец все выложит. А я пойду и Зариню, Сорни-Най, возьму. Ну, как женятся пермяки — рассказывать нечего. Кто больше заплатит — тот и муж. А сокровищ у меня, спасибо Ничейке, — полон погреб. Вот и посватался я...

Полюд закрыл лицо руками.

— И что? — спросил Калина.

— Согласился старик. Он любил меня. Не знал ведь, что подлец я, что я — последняя волчина... За Бабу Золотую девку хочу взять, которая сама дороже золота. А она, Бисерка-то милая, молча покорилась. Ни словом, ни взглядом не возразила. Я знаю, что любит она другого — Ветлана-охотника. Давно любит и навсегда. Только нищий Ветлан, не на что ему жену купить... Вот я и смекнул: я Бисерку куплю, а потом навроде как ему отдам. У пермяков это дело обычное. И отдам ненарушенную, честную. А он мне за это с Лопсии тамгу принесет. Самому-то мне туда не дойти. Что ж, ударили с Ветланом по рукам. По осени он ушел. Скоро вернется. А я, пока ждал, все ходил к старику, глядел на невесту. Ну, и вдруг полюбил ее... Боже, как полюбил-то! И ничего мне уже не надо стало, не надо Бабы Золотой — ее только одну, Бисерку, свет мой, милую, ненаглядную...

— Что ж мешает тебе? — жестко спросил Калина. — Богатство есть, плати и женись.

— Совесть меня мучит, Васька. Люблю я ее. Не хочу ей зла. И отдал бы я ее Ветлану, — черт с сокровищами, черт с Бабой Золотой, была бы она счастлива... Да поздно.

— Отчего ж?

— Оттого, что не вынес я любви своей, рухнул под ее тяжестью... Тайком от всех взял я Бисерку в жены как отступник, от дружины своей тайком, от обряда святого... Нарушил я Бисерку, понимаешь? А она мне отдалась, хоть и не любила. Не хотела отцу перечить... И вот куда мне

теперь? Ветлан — гордый, он Бисерку не меньше моего любит. Он ее, нарушенную, не возьмет. С собой что-нибудь сделает. Его не станет — и она уйдет. А я вслед за ней пойду.

— Вот и беда разрешится, — хмыкнул Калина.

— Дурак ты, — с тоской сказал Полюд. — Я ведь здесь поставлен не пельмени жрать, не девок портить, не на нож кидаться... Я должен Чердынь беречь, людей. А я любовь свою сберечь не могу. И жить нельзя, и умереть нельзя... Что делать мне, Калина? Скоро вернется Ветлан, и кончится мое счастье. А ведь за Ветланом беда придет. Золотая Баба не прощает. За Вагирьомой в Усть-Вым она вогулов послала, Асыку беспощадного. Что ж за тамгой на Чердынь обрушится? Я огонь раздул, мне и гасить. Вогулы уже по Вишере бродят... Что же мне делать, друг? Совесть, любовь, долг меня мучат... Помогите...

— На три сажени... — тихо ответил Калина.

Лицо Полюда дернулось. Он положил ладонь Калине на плечо и поднялся.

— Горько мне это слышать... но спасибо, — честно сказал он. — Ты меня помни. А князь вместо меня пусть Обормотку поставит. Я его всему научил. И... прощай.

Дни шли после этого разговора, а ничего не менялось. Полюд по-прежнему разводил караулы, пил квас у князя, ходил купаться на Колву. Храм на холме медленно отстраивался ввысь, врезаясь в светлое северное небо и прорастая в нем разлетом кровель, коньков, закомар. Калина с волнением и тревогой наблюдал, как облекается плотью невидимый никому образ, что явился ему в горячечном бреду, в полутьме душной и низкой избы, придавленной сугробами.

Храм представлял собою массивный и высокий столп-восьмерик, шатрово переходящий в другой восьмерик, поменьше. С четырех сторон к столпу примыкали срубы-приделы, увенчанные бочками с большими главами на барабанах. Малый восьмерик, пронзенный узкими прозорами, гранено взлетал ввысь шатром, на котором расцвела самая большая глава. От прируба, противоположного алтарю, выдвигался корабль трапезной с висячим гульбищем. Трапезная упиралась в мощный четверик колокольни, расширяющийся повалом, над которым на резных столбах вонзались в небо четыре четырехскатных шатра. Эти шатры обозначали Каменные горы, а пятиглавие храма — просторное и раздвинутое, не сжатое в редисочный пучок, — обозначало княжью дружину с князем. Калина, раздумывая, отходил вдоль Колвы по Покчинскому тракту подальше и смотрел оттуда на

собор. В бледном свечении облаков храм — измельчавший, утончившийся, словно съеденный светом, — казался Калине гроздью колокольчиков над травяным колком.

За неделю до Ильина дня сломали леса, и храм предстал в том виде, в каком ему и суждено стоять над Колвой весь свой век. На осмотр прибыл Иона, обошел вокруг, заглянул внутрь, где еще тюкали топоры, и, умильно сложив губы, позволил Калине поцеловать крест. Дионисий, хмуро шагавший вслед за Ионой, отвернулся, плюнул и надвинул клобук на кустистые брови. За два дня до Ильина епископ освятил собор, нарекши Иоанно-Богословским, и провел первый молебен. В тот день и пропал Полюд.

Никто не заметил его исчезновения, потому что канун праздника был жутким, как пророчество. Давно уже не падали дожди, и земля высохла, клубилась горячей пылью. Небо затянула мгла, медленно разгоревшаяся угольно-багряным туманом. Тонкая, сияющая линия очертила потемневшие волны парм на востоке и косую скалу у горизонта. Казалось, что по Колве и меж холмов, на которых стояли городище, острог и монастырь, стелется синий дым, ползущий с бескрайнего и далекого болота вдоль Камы. Там, на болоте, который век не гас подземный пожар. По рассказам пермяков, забредавших в те гибельные места, где стояли только убогие деревни людоедов, там в пылающих трясинах жил огненный ящер Гондыр. Но ветер с восхода бил Чердыни прямо в лицо, а болота Гондыра лежали за спиной.

Наконец темно-сизая туча змеями поползла из-за Каменного Пояса и, раздуваясь, зависла вдали над Вишерой, дыбила космы, лучилась, ворочалась. Ветер ударил, как конь в намет, словно хотел вверх брюхом выворотить из земли горы. Колва вспенилась и волнами понеслась на чердынский берег. Из заречных кустов покатались, полетели берестяные пыжи ушедших охотников. Они падали в воду, крутились, переворачивались, а некоторые, точно разумные, стремительно помчались через реку, будто невидимые духи-охранители бросили своих хозяев-охотников и в одиночку бежали домой. Завыли зубцы острожного тына, закрипели башни, забренчали непрочно пригнанные тесины на кровлях, а одна, оторвавшись, закувыркалась по улочкам. Парма гудела. Валились бочки под потоками, обреченно ложились наземь плетни и городьба. Ворота, закрытые от греха перепуганными ратниками, загрохотали о засовы, словно в них ломился кто-то из лесу. С Вишеры шла буря.

И тут и острог, и монастырь, и городище увидали, как в сизой туче медленно раскрылось сияющее окно, словно кто-то посмотрел на землю слепящим глазом. А потом окно сомкнулось, и на его месте вылепилось

чудовищное рыло, из которого вниз потянулся тонкий язык. Изгибаясь, как девушка, смерч танцевал где-то на берегу Вишеры, а затем, облизав, чего хотел, втянулся обратно в пасть. В вихре загудел и сам собою забил набат единственный колокол собора Иоанна Богослова.

«Беда!» — молнией запрыгало по острогу. С вогульских тумпов и нёроек ползло на Чердынь что-то страшное, нечеловеческое, древнее. И тогда Калина понял, что это Ветлан несет в Чердынь тамгу Сорни-Най, а все демоны Каменных гор идут вслед за ним.

Но ничего не менялось до темноты. Туча висела над Вишерой, и только ураган рвал в клочья воздух. В одичавшем небе носились сбитые листья. Выли псы. По вспененной Колве плыли выдранные, переломанные деревья. И на закате, когда уже резало слезившиеся глаза, что глядели на восток сквозь все окна, бойницы, прозоры, щели меж кольев тына, новое известие облетело ошетилившийся, оскалившийся острог: в своей горнице упала и забилась в падучей молодая княгиня, только что оправившаяся от горячки. Расшвыривая столы и лавки, она каталась по полу, срывая одежду, визжа, воя, хрипя, выкрикивая непонятные заклятья, а князь и Бурмот держали ее, зажимая рот, чтобы никто не вспомнил, что она — ламия, а не человек.

Ветер не стихал всю ночь. В соборе Иоанна Богослова епископ Иона служил всенощную. Люди били поклоны и жгли лампы. Ратники стояли по вежам и на забралах, словно к острогу приближался враг. В кромешной тьме над почерневшим городищем поднялись два огромных красных деревянных лица — это пермяки выволокли из тайных ям самых надежных идолов и молились, паля у их ног костры.

Рассвет все не приходил, будто Омель вновь украл солнце. И вдруг солнце зажглось прямо посреди неба — не на краю земли, а на гребне тучи. И туча, как вогульская орда, двинулась вперед, на Чердынь. Полоса дня два-три часа сияла над сжавшимся городом, но туча пересекла Колву и неподъемной крышей надвинулась на правый берег. Туча ползла и ползла вслед за солнцем, съедая остатки света на закате, и все не кончалась. Ветер бесом вертелся над пармой и рекой. Дождя не упало ни капли. Огненная полоса дня вспыхнула последний раз и пропала. Вся Пермь Великая лежала в брюхе у тьмы.

Дикий грохот подбросил землю, выбивая мозги и глаза. Бесконечная корявая молния растреснула небо от Пелыма до Казани. И сразу дружный вой взвился с монастырского холма, а ему ревом ответили ратники с северной стены. Калина бросился к Тайницкой башне и взлетел на обход. Многоглавый, многошатровый собор, венчавший гору, был весь

освещен вразнобой бегаящими отсветами от жгуче-ярких огней, роившихся вокруг куполов, как ласточки. Народ выбегал из собора вон.

Калина скатился вниз, к тайнику, откинул окованную крышку погреба и ссыпался по ступенькам лестницы. Подземный ход вел вглубь. Пробираясь на четвереньках в темноте меж осклизлых бревенчатых стен, Калина чувствовал, как из-под рук убегает и уползает что-то мерзкое, живое, холодное, влажное. Но больше его поразила тишина, царившая в подземелье. Наверху бесновалась буря, и земля об этом знала, но оставалась бесстрастной, неподвижной, вечной. И еще этот ход напомнил Калине другой тайник — тот, по которому он тащил из Балбанкара золотую Вагийюму.

Он вывалился в урему у Чердынки, перебежал речку и стал карабкаться вверх по склону. Когда он выбежал к собору, то могучий толчок ветра в спину едва не сбил его с ног. И в мельтешении огней Калина увидел, как на главном куполе крест пошатнулся и, сложенный, не складываясь, медленно повалился. В падении он косо спланировал по ветру, как птица, пронесся над шарахнувшейся толпой и сгинул где-то во тьме.

— Ты, идолопоклонник, храм сгубил!.. — услышал Калина чей-то крик в общем вопле ужаснувшегося народа. Цепкие руки схватили его за горло. Дионисий со вздыбленными волосами, с растрепанной бородой, в рясе, клубящейся за спиной, кинулся душить Калину. Калина оторвал его от себя и швырнул на землю. Дионисий приподнялся — страшный, будто искалеченный, — и пальцем указал на храм у себя над головой:

— Храм ли это, храмодел? Гнездо бесовское! Чертову бабу ты изваял, а не храм!

Калина задрал голову и в озарении торопливо отступил на шаг. По поясу из холма, как из сугроба, вздымалась гигантская деревянная ламия с грудями-закомарами, с плечами-маковками, с головой главного купола на гордой шее-шатре — и она протягивала руку-трапезную к четырем елочкам шатров колокольни, в которых волчьими глазами горели два огня.

Рука Калины сама собою отпечатала крест. «Крест!»

Калина бросился к стене алтаря, на ходу разматывая с пояса веревку, как носили все плотники. Когда ставили кресты, он хотел верхний сделать больше, чем все прочие, но Иона велел все пять крестов рубить одинаковыми. Неиспользованный большой крест так и лежал у алтарной стены. Калина поднял его, обмахнул веревкой его распростертые лапы, навалился на крест спиной и примотал к себе.

Подгоняемый ветром, Калина побежал к лестнице.

И вскоре народ, толпившийся на холме, увидел, как через перила гульбища на крышу трапезной полез храмодел с новым крестом на спине. Огни, плясавшие вокруг куполов, застыли. Ветер рвал освобожденную рубаху, трепал отросшие волосы и бороду, шатал человека, на четвереньках пробиравшегося по охлупню к стене закомары. Большой плотницкий топор висел у Калины на груди, зацепленный лезвием за продранный ворот.

Распластавшись на венцах закомары, Калина вцепился в резьбу причелины и выволок себя на скат бочки. Обхватив рукою шею лукови, он стал карабкаться дальше, выше. Изнутри храма к куполу подобраться было невозможно, даже прозоры окон во втором ярусе восьмерика были недостижимы. Прикрытый стеной от ветра, Калина встал сначала коленом, а потом лаптем на растесанный нижний край окна и перепрыгнул на близкую лукови, репьем прилипнув к ее щетинистой лемеховой щеке.

Люди замерли, когда Калина поднялся на ноги, держась за малый крест, и сиганул через пустоту, упав животом на пики раската, широко разнесенные над повалом восьмерика. Забросив ноги, он долго лежал на грани шатра, переводя дух. А когда заворочался, то даже снизу стало видно, что доски под ним потемнели от крови.

Калина полз по шатру вверх, ни о чем не думая, не боясь высоты, не замечая ветра. Его терзала такая боль, словно он зацепился кишкой за зубец, и, чем выше ползет, тем сильнее выволакивает кишки из разорванного брюха. Шатер скрипел и ходил ходуном. Буря выла на его гранях, вихрями оплетаясь вокруг купола. Огромная чешуйчатая луковица вздулась прямо над Калиной, как парус. Летучие огни сновали уже где-то внизу, ослепляли и не давали увидеть землю. Извиваясь, Калина освободился от веревок, державших крест, и намотал их на топор, вогнанный в доску. Крест улегся на скате, вздрагивая и качая лапами. Выпуклый бок купола был на расстоянии руки. Перебирая его лемешины над головой, Калина выпрямился во весь рост. Толчок — и, болтаясь, он повис в пустоте. Он перебросил вперед руку, перехватываясь дальше, подцепил носком зубчатую корону, поверху оторочившую барабан, и оказался лежащим грудью под основанием обломленного креста. Конец веревки он стискивал зубами. Обняв щепастый пенек, Калина выкарабкался на самую верхушку, а потом стал вытягивать к себе свою ношу.

Казалось, что купол храма в буре кругами летит над землей. Где-то вдали сверкали молнии, грохотало, гудела парма... Выл и свистел ветер, отдирая тело от ненадежной опоры. Калина выпутал топор и закрепил крест на веревке за конец лемешины. Крест, как пойманная птица, бил

крыльями, стучал о доски. Несколькими ударами топора Калина снес главке резную верхушку и вколотил пенек креста внутрь купола, освободив квадратную скважину.

Толпившиеся внизу люди разбежались далеко по сторонам от храма, чтобы видеть, как крохотный человек на самой маковке, почти под рукой у бога, станет поднимать крест. Калина, лежа, повернул лицо к небу. «Помоги...» — прошептал он.

Он подтянул к себе крест, подтесал конец и бросил топор вниз. Широко расставив ноги, он медленно приподнялся на коленях, с трудом удерживая тяжелый крест наперевес, как копье. И едва на миг ветер поперхнулся, Калина ткнул крестом в дыру и выпрямился тетивой, всаживая крест отвесно. Ветер ударил, как волна, но Калина уже висел на перекладине, своей тяжестью вгоняя крест глубже в купол.

Окровавленного, обессиленного Калины только и хватило привязать себя к кресту, чтобы не сорвало и не швырнуло вниз. Прижавшись скулой к бруссу, обняв крест, притиснувшись к нему, Калина полулежал на главке, глядя куда-то в темноту, за Колву, за тучу, за небо. И в той бурной тьме он вдруг различил крохотный красный огонек. Калина тяжело мотнул головой, провел трясущейся ладонью по лицу, по глазам. Огонек не гас, мерцал — словно звал откуда-то, кричал о чем-то безмерно важном, тревожном, неведомом: будто о любви, будто о смерти, будто об истине. Красная звездочка горела на вершине косой скалы, что высилась вдали над пармой как остров, на котором, загнанная неборимой бурей, пылает, рвется и гибнет живая человеческая душа.

— Сполох!.. — закричал Калина, указывая на искорку рукой. — Полюд зажег сполох!.. Вогулы идут!..

И Калина еще увидел, как люди побежали прочь с монастырского холма — под защиту острожного тына. Он оставался один на макушке храма, над пустеющей землей, привязанный к кресту посреди бури, — один, но уже не ждал никого на помощь.

А к утру буря утихла, словно остановленная этим невиданным распятием. На рассвете Калину, полумертвого, спустили вниз. Три дня острожек не смыкал глаз, ожидая врага. Но вогулы так и не пришли. Не нашелся Полюд, не вернулся из пармы Ветлан, в городище пропала девчонка Бисерка. Наконец князь снарядил заставу: проверить, что случилось на далекой скале, где зажегся сполох.

Застава вернулась не скоро и вести принесла странные. Гора со скалой, где зажегся тревожный огонь, превратилась в сплошную выскирь — ее

чертовым тыном окружили вырванные с корнем деревья. Вокруг все было истоптано вогулами, но ни один след не вел на вершину. А на вершине среди валунов чернело огромное кострище и еще валялись дрова — не нарубленные, а наломанные и насеченные мечом. В расщелине одного из валунов и нашли этот меч — меч Полгода. Куда же подевался сам Полюд? Он не мог здесь умереть, потому что не было здесь его останков, и он не мог уйти отсюда, не оставив следов. Буря, что ли, его унесла? Но он бы не бросил меча. А может, Полюд воистину рассек мечом камень и ушел в гору?..

Оттуда, с той скалы, станица принесла боль и мучительное непонимание, которые растеклись по людям, сразу впитываясь в сердца. Что за беда погнала сотника прочь из Чердыни, в одиночку навстречу врагу, и что за тьма поглотила его, не оставив ответа? Столь земной, простой, обычный и привычный человек — Полюд — оказался вдруг так дорог всем, что отчаянье, как заморозок, обметало и сковало Чердынь.

Но станица прошла еще дальше, по полосе буревала, которая привела к берегу Вишеры. За рекой поднималась другая скала. И на ее вершине, привалившись спиной к стволу обломанной сосны, лежал мертвец — черный, словно обугленный, не тронутый ни зверьем, ни птицами, ни тлением. Это был охотник Ветлан. Высохшими, скрюченными пальцами он стискивал обломок тамги. Земля вокруг Ветлана была истоптана вогулами. Здесь, от места гибели Ветлана, начался ровный, как по струне, бег смерча, сдохшего у Полюдовой горы. Отсюда побежали на Чердынь вогулы, но у Полюдовой горы повернули обратно, остановленные сполохом. Отсюда побежал к своей горе и сам Полюд и дотла сгорел на ее вершине в том огне, что обуглил отважного охотника. Следы Полюда нашли рядом с телом Ветлана. И нашли еще одни следы — отпечатки легких девичьих ног. Эти следы вели на обрыв и, уже невидимые, за него — в Вишеру. Никто бы не узнал, что это была за девушка, если бы по пермскому обычаю на лице Ветлана не лежали, зачеркивая мертвые глаза, бусы той, что любила его больше жизни, — бусы Бисерки.

Глава 13

За синие леса

Два года, как два журавлиных клина, проплыли над Чердынью, затягивая, залечивая раны, и сколько еще было их там впереди — сотни? тысячи? тьма? В Москве князь Иван Васильевич потихоньку затягивал подпруги, а в Новгороде бояре Борецкие мутили вечем народ, подбивая предаться ляхам и свеям. Но в далекой Перми Великой все это не находило отголоска. Хватало своих забот. В Афкуле умер шибан Мансур — говорили, жиром разорвало, — и теперь Исур приезжал к Михаилу как равный к равному. Монастырь оброс стенами и кельями, а Иона перестал появляться в остроге, не желая видаться с князем, который замирился с демонами. Вокруг Чердыни рассыпались слободки. На Каме, у Кайского волока, где некогда шалил рыселищый леший Висел, испросив позволения, вятичи стали рубить новый городок среди боров-беломошников, который навек бы повязал вольный город Хлынов-Вятку с вольными городами Соликамском и Чердынью. Не густым, но и не ослабевающим потоком текли в Пермь с Руси замордованные боярами и усобицами мужики-черносошники, селились, корчевали лес, сеяли рожь, поднимали дома, растили детишек. Глядя на них, княжьи ратники совсем приуныли на опостылевшей, как зимние сухари, службе, просили волю и перебирались жить за острожный тын, истосковавшись по земле. Заводили пашню, рыли землянки, праздновали свои то ли христианские, то ли языческие свадьбы с пермскими красавицами, и через год уж и представить было невозможно, что этот заросший, как болотная кочка, провонявший навозом, но счастливый мужик с белоголовым пузаном на коленях, со своими вечными лошаденками-коровенками-избенками-бабенками когда-то в малиновом армяке, с мечом и секирой безвылазно неделями торчал в княжьей гриднице, коротая время между кедровыми орешками, жбаном и похабной тоской. А в княжьей дружине все больше появлялось парней-пермяков, поохотничьи предпочитавших рогатину и лук шестоперу и бердышу, и приезжие купцы уже не удивлялись, почему у русского князя в сотниках ходит некрещеный язычник с неуважительным прозвищем Обормотка. И даже Полюда вспоминали словно бы с удивлением: неужто и впрямь далекий шихан над пармой когда-то был человеком?

Вогулы пока больше не тревожили пермские земли. Жуть, что накатывала на Чердынь из-за Каменного Пояса, будто утихомирилась где-то

там, среди своих капищ и ялпынгов. Оправилась молодая княгиня и вновь понесла — девочку, как сказала старуха-знахарка, а значит, по пермским поверьям, идут спокойные и щедрые годы. Княжич Матвейка, как некогда Михаил с Полюдом, уже ездил в седле за спиной Бурмота, по-прежнему серьезного и неразговорчивого. Но те угли, что когда-то опалили сердце князя, — зарево горящего Усть-Выма, отец на кровавом снегу, проклятие лами в черных и безумных глазах Тиче, дракон над горой, сраженный Полюдом, — угли эти не гасли в памяти. Они точно упали на дно глубокого погреба, куда никому, даже самому князю, доступа не было, и все еще тлели там. А крест на Богословском соборе, что поставил Калина, так и стоял непорухенный.

И вот однажды весенним днем в Чердыни поднялся переполох. Люди с берега побежали под защиту крепостных стен, ратники рассыпались по двору, бухнул колокол, заскрипели ворота, что-то зычно по-пермски приказывал Бурмот. «Новгородцы! Новгородцы! Роччиз!» — слышалось повсюду.

Михаил сбежал с крыльца, кинулся к Спасской башне. С высоты обхода он увидел на Колве целый косяк больших лодок. Под солнцем на них взблескивали брони и оружие.

«Ушкуйники?.. — всматриваясь из-под ладони, удивился Михаил. — Как же можно? Им сейчас не до нас — с московским князем ссорятся. Да ведь и не пропустили бы их мимо Усть-Выма, Васька-брат первым бы поперек встал...»

Роняя квадратные паруса, лодки веером рассыпались по реке, поворачивая к берегу. В городище гулко стучало деревянное било. Лодки причаливали. Люди, выпрыгивая на мелководе без оружия, спокойно поворачивались к крепостям спиной, подтягивая суда на песок. С самого большого струга, из-под палатки-навеса сошли по сходням начальники и уверенно пошагали по дороге в гору, к острожным воротам.

— Бурмот, открой калитку, — крикнул Михаил, спускаясь с башни по наружной лестнице. — Похоже, кто-то свой.

Плечистые, рослые воины в кольчугах, хохоча, протискивались в проем калитки и не обращали внимания на поднятые копья и натянутые луки дружинников Михаила. И вдруг среди пришельцев князь словно увидел отца — но гораздо моложе, гораздо выше ростом и шире в плечах.

— Васька? — растерялся Михаил.

— Мишка, братец! — завопил богатырь, растопырил руки и бросился к князю.

Они обнялись посреди двора. Десять лет Михаил не видел брата,

оставшегося в Усть-Выме щуплым мальчишкой. И вот теперь этот дюжий детина — тот самый Васька...

— Айда в хоромы! — Отстранившись, князь Васька махнул спутникам и двинулся к дому, обнимая старшего брата за плечи тяжелой рукой. — Ключница, браги князьям! — по-хозяйски крикнул он.

Но тотчас же Васька запнулся об кобеля, и пес с ревом вцепился в Васькины бутурлыки-поножи, усаженные железными пластинами. Васька взвыл и выхватил меч.

— Ругай, брось! — рявкнул Михаил.

Ругай, как заяц, полетел от Васьки прочь, но Васька кинулся за ним, да споткнулся, покатился и врезался в поленницу. Поленница рухнула, целиком погребая под собою Ваську. И дворовые, и ратники, и пришельцы дружно ржали.

— Ну, дьявол! — выбираясь из-под поленьев, сказал князь Васька и расхохотался вместе со всеми. — Сатана, чистым духом! Чтоб ты мухомором отравился, чтоб тебя медведь порвал, чтоб тебя колесом тележным переехало!

Ничуть не смутившись, князь Васька поднялся за Михаилом на крыльцо и, входя в сени, вдобавок приложился лбом к притолоке так, что соскочила с головы железная ерихонка.

С Васькой из Усть-Выма прибыл отряд мечей в сто. Здесь наполовину были йемдынские зыряне с князем, которого Васька так и звал — Зырян, не выговаривая его настоящего имени. Зыряне со своим князем отправились в чердынское городище; в остроге они не появились, и Зыряна этого Михаил не увидел. Другую половину отряда составляли устюжане под началом охочего человека Васьки Скрябы. Скряба и подбил Вымского князя на поход, посулив и добычу, и славу. Положившись на слово Скрябы, Васька взял с собой только пяток своих дружинников и сманил Зыряна. А Скряба Михаилу сразу не понравился. Рослый, какой-то словно разрубленный на куски и потом наскоро сшитый мужик, уже лысый, с усмешкой в бороде, с недобрыми суженными глазами. Едва встретившись с ним взглядом, Михаил сразу понял, кто он: ушкуйник. Как сели на Вычегде и Вишере русские князья, так и несподручно стало лихим налетчикам обирать зырян и пермяков: князьи дружины побить могут, Москва к вечу придерется, да и Борецкие, хозяева Новгорода, тоже не пирогами попотчуют, а, глядишь, на чепь посадят. Вот и пришлось ушкуйникам подаваться теперь подальше прежнего — за Каменный Пояс, на Югру, по стопам Улеба и Гюряты. Зато теперь можно молодого вымского князя в упряжку запрячь. Ему, дураку, подвигов охота — он и даром ватаге пособит... Но Ваське Михаил о своих

мыслях ничего не сказал. Все же Скряба — гость, и не дело Михаилу его в своем доме чернить.

Пировали до ночи. Скряба незаметно ушел, а князя все сидели. Васька быстро напился, но упасть все никак не мог. Помянули батюшку, помянули матушку, даже князя Василия Темного, злосчастливого епископа Питирима и далекую, почти забытую Верею помянули. Васька долго и тяжело молчал, узнав, что погиб дядька Полюд, и все никак не верил, что Тиче — дочь Танега, а потом от умиления плакал у Михаила на плече, что старший брат своего первенца и наследника — княжича Матвейку, то есть, — в честь него Васькой назвал. Михаил только смеялся, не разуваясь. Потом Васька хвастаться начал: кричал, что девок зырянских у него целое войско, из чего Михаил понял, что ни одной нет; что княжество Вымско-Вычегодское как на дрожжах богатеет — из чего Михаил понял, что не только жажда подвигов, но и нужда погнали Ваську и Зыряна ощипывать вогулов. Когда же под конец Васька в горнице стол разрубил и посуду потоптал и пошел во двор мириться с кобелем Ругаем, а там опять врезался в поленницу, Михаил мигнул своим караульным у ворот. Те поймали Ваську, облили водой, натерли уши и чем-то отпоили, чтобы привести в ум. Тогда Михаил и решил серьезно поговорить с братом.

Они снова уселись в горнице, теперь уже за квасом, и Михаил спросил:

— Что же ты, Вася, на вогулов по Вишере решил пойти, где, почитай, никто и не ходит? Чем старый путь по Печоре, через тумпы и нёройки, плох? И как ты собираешься князя Асыку ощипать, если он тебя вдесятеро сильнее и опытнее?

Васька засопел и достал из-за пазухи плоский кожаный мешочек, вытащил из него сложенную холстину и расстелил ее на столе. На холстине были начерчены реки, обозначены горы и селения.

— Изография, — пояснил Васька. — Скряба составил. Вот, глянь: к вогулам все ходят где? К полуночи, через остяков, от Печоры по Хлебному Пути на Мокрую Сыню. Дальше вот — по Щугору через перевал Перна до Ляпина. Или вот с Илыча по Егра-Ляге. Еще вот — с волоком от Хара-Маталоу до Бур-Хойлы. Я и сам поначалу хотел с Нёlsa на Лозьву. Только уже нельзя. Вогулы там везде крепостей понаставили: Ляпин, Лозьвинск, Герд-Ю, Юган-Горт, Обдор, Игрим, Тебенду, Войкар, Халь-Уш, Сюрэскар-Роговый, ну и вообще — сам видишь. Все пути перекрыты. А Скряба говорит: давай, мол, ближе к полудню брать, с брюха в Югру влезем. И мы пойдем по Вишере до Уlsa, с него прыгнем на Сосьву, а с Сосьвы на Лозьву ниже Лозьвинска. Оттуда напрямик до Пелыма, понял?

— Два волока, — сказал Михаил.

— Плевать, доволочемся. Главное, говорят, там на туманах вогулы Золотую Бабу прячут.

— А я слышал, что на Пуррамонитуре.

— Брешут. Я весной с остяком разговаривал — на туманах.

Михаил глянул на брата. Тот не отрываясь смотрел на карту, прижав извилистые реки растопыренными пальцами, словно сквозь них, как сквозь рану, видел пульсирующее сердце Каменных гор. И Михаил вновь услышал тот иногда тихий, а иногда оглушающий, но никогда не умолкающий зов, что срывал людей с мест и увлекал к гибели. Одно за другим поплыли в памяти князя лица, будто освещенные изнутри кровавым пламенем, — отец, Питирим, станица Хвата, Полюд... Кто еще будет? Кто остался?.. Тоска затопила душу князя.

— Вася, брат, прошу — не ходи, — тихо сказал Михаил.

Васька сложил холстину и серьезно усмехнулся:

— Не сгибну, Миш. Не из таковских.

На следующий день, проспавшись, Васькина дружина погрузилась в лодки и поплыла вниз, до Вишеры. С дружиной ушли Скрыба и Зырян. Из Чердыни с ними сбежал Михайлов человек Семка-Дура. Говорили, будто он ночью упился и, пока храпел под столом, с его женой Скрыба повеселился. Вот Семка и увязался отомстить — парма все покроет. А князь Васька остался еще на день с дружинниками из Усть-Выма, рассчитывая верхами проехать через Полюдову гору и встретить свое войско у камня Ветлана.

— Охота поклониться месту, где дядька Полюд смерть принял, — пояснил Васька.

Едва розовое сияние восхода очертило на горизонте Полюдову скалу, Михаил вышел провожать брата. У мостков под холмом Ваську и ратников ждала барка, чтобы перевезти на левый берег. Тичерть тоже вышла на крыльцо, кутаясь в пониток, который не сходиллся на ее животе. Михаил глянул на жену — глаза Тичерти были черны, как пещеры.

— Не бойсь, — хмыкнул Васька, видя, как побелели скулы брата.

Единым махом взлетев в седло, он сразу тронул коня. Сиреневые рассветные облака перьями плыли в светлом небе над Чердынью. В уреме под осторожным тыном пели соловьи, да заливались петухи по слободкам. Весело задрав копыта с алыми яловцами, шестеро всадников проскакали в ворота и пустили коней наметом вниз под гору. Стук копыт звонко дробился на зубцах частокола в прозрачной птичьей тишине. Князь сделал несколько шагов вслед всадникам и остановился, словно дошел до края

земли. И тут с крыльца послышался стон. Побледнев, Тиче опускалась на ступеньки. Князь рванулся к ней, подхватил, прижал к себе. Это начались схватки.

— Повитуху! — властно крикнул князь людям.
«Бог даст сына — назову Васькой», — подумал он.

Но родилась девочка, которую Иона окрестил Анной. Новые заботы отвлекли Михаила от тяжелых мыслей о брате. Зная, что русские по-особому относятся к рождению ребенка, из Афкуля с подарками приезжал Исур. Однако узнав, что брат князя пошел на Асыку, а князь не сообщил о том ему, шибану, Исур обиделся и уехал. Шли дни. Острота тревоги сглаживалась. Никаких вестей из-за Каменных гор не доходило. Васька и еще сотня людей затерялись где-то среди идолских рек и священных болот вогулов. Осенью донесся слух, что с Вишеры в Каму и дальше на Вятку, не завернув ни в Чердынь, ни в Соликамск, быстро, как воры, пробежала какая-то русская ватага. Что это были за люди, почему так торопились — никто не знал. Князь удивился такому, но скоро забыл. А когда осень стала иссякать и деревья растеряли свое золото, к Чердыни снизу приплыла большая лодка в сопровождении двух пермяцких пыжей. В лодке находились четверо йемдынцев и князь Зырян. Они принесли в острог, в терем к Михаилу, совсем седого, умирающего старика. И Михаил узнал в нем восемнадцатилетнего Ваську.

Его положили в той же горнице, где висела зыбка маленькой Анны. Тиче ходила и за ребенком, и за Васькой. Хлопот с ним было немного. Васька не приходил в себя и бредил совсем тихо, шепотом. Ночами, слепо глядя на огонек лампы, Михаил сидел между братом и дочерью, весь обожженный новым горем. Палящая боль не давала Михаилу спать, пока голова его сама собой не падала на колени брата. Тогда Тиче — исхудавшая, но с прежним ведьмачьим огнем в глазах — вставала, бормоча заклятья, гасила огонек лампы голыми пальцами и, безумно улыбаясь во тьме, шла за Бурмотом. Бурмот уносил Михаила к себе, недобро оглядываясь на ламию, и до утра караулил его, сидя на краю топчана и положив меч на колени.

Князь Зырян, сгорбленный и почерневший от пережитого, понемногу преодолевая себя, рассказал Михаилу, что же случилось там, в пелымской земле.

Вверх по Вишере до устья реки Улс отряд дошел за десять дней. Васька всю дорогу был весел и любопытен. Он с увлечением орал всякую чушь под стеной Говорливого камня, хохоча в ответ эху. В Колчиме пил

настойку из мухоморов. Купил своей девушке серьги с каменными слезами на Щугоре. На Велгуре ловил хариусов. Крестился, раскрыв рот, когда плыли мимо огромных каменных идолов Пермских Чурков — вогульских великанов, хотевших сбросить скалу в Вишеру и окаменевших от колдовства пермского пама Отши. На Шелюге Васька подрался с каким-то ушкуйником. На Писаном камне перерисовывал древнюю карту Вишеры, начерченную на скальной стене. Перевернулся в лодке у камня Боец и ходил смотреть чудские копи на речках Золотихах. Голосковский Чурок он проспал, а в деревне Вая опять напился какой-то дряни.

По Улсу шли вверх два дня. Опять смотрели чудские копи на Золотанке, а зыряне ходили поклониться знаменитому идолу Пели с серебряной бородой на речку Пелю. Доплыв до речки Кутим, любовались угрюмыми вершинами Кваркуша. Где-то дальше лежала речка Лямпа — там жили лумпы, болотные великаны, у которых рукава от малицы хватало на три человечьи шубы. Немного поднялись по Кутиму, вышли на берег и несколько дней волочили лодки через невысокий перевал. С перевала было видно, как реки разбегаются с гребня Каменного Пояса — одни в Саранпал, на закат, другие в Мансипал, на восход. Добрались до истока Сольвы, двинулись вдоль суровой громады Ялпынга — святой горы, увенчанной гребнем издалика различных идолов. Наконец доползли до ключа, которым начиналась ангельски-лазурная речка Шегультан. Проволочились по ее дну до впадения Малого Шегультана, поплыли дальше. Без приключений и встреч в три дня догребли до Сосьвы — вогульской реки Тагт.

Плыть по Сосьве было одно удовольствие — весело и быстро. Река была безлюдна. Охотники и оленеводы уходили в тайгу. Двух встретившихся вогулов-рыбаков убили и похоронили. По берегам видели всего только три небольших павыла, чьи жители сразу разбежались. По приказу Скрябы в деревеньках порубили идолов, ободрали с их лиц золотые блюда, а домики пограбили и сожгли. Доплыв до какой-то ворги, решили дальше двинуть волоком на Лозьву.

Волок был трудный, ворга ушла в сторону, докучали гнус, жара. На полпути лес сменился зыбкой янгой — болотным редколесьем. Намучились, пока дотащились до Лозьвы примерно у речки Лявды. Дальше начинался путь, где за меч держаться надо было крепче, чем за весло. У павыла Лачи их обстреляли; пришлось сойти на берег и сжечь павыл. Соседняя маленькая крепость Лангур сдалась, откупившись. Однако Скряба велел вернуться и вырезать Лангур, чтобы отсюда никто не послал весточку о них в Лозьвинск. Прошлись вдоль притока Лозьвы речки Тамги,

пограбили вогульские мольбища, повалили болванов. После Тамги в полдень проплыли речку Евву и вечером осадили крепость Понил. С рассветом пошли на приступ: впереди — зыряне, позади — русские. Зырян poleglo одиннадцать, русских — пятеро. Понил был взят. Пленили местного князька Течика. Заодно с Понилом пограбили и древние могильники неподалеку, разжились персиейским серебром и золотом. Хабар придал сил и уверенности, о погибших не скорбели. Васька везде дрался среди первых. Переночевали на речке Арии, следующим полднем разорили павыл Синдею, а вечером — павыл Верваль. Наутро взяли павыл Тальму, а вечером осадили крепость Вагиль. С рассветом Вагиль пал. В крепости взяли богатую добычу и князька Калпака. Он-то на допросе и проболтался, что прошлым летом князь Асыка сказал вогулам, будто привез и спрятал на Вагильском тумане Золотую Бабу.

Скряба — старый и опытный ушкуйник — идти за Бабой отказался. Да никто и не хотел соваться в зловещую вогульскую глухомань. Но Васька весь так и вспыхнул от желания одним броском завладеть никому доселе недоступной Сорни-Най. Кликнули охочих. Пожелали идти только чердынский беглец Семка-Дура и устюжанин Охрим, мужик угрюмый и дюжий. В проводники взяли Калпака. Договорились, что Скряба и Зырян будут ждать ушедших в Вагиле десять дней. Вчетвером и вышли.

Жутким был этот путь по югорской чащобе. То ли тайга, то ли болото — янга, одним словом. Шли по засекам — катпосам, сопрам. Проваливались сквозь мох по пояс в черную, гнилую воду. Змеями-чудищами плелись по земле склизкие корни. В редкой хвое деревьев висели клубки из ветвей — гнезда бесов. Хилые сосны падали от толчка, с шумом вздымая облепленные землей и тиной корневища. Низкие елки опустили на мох огромные нижние ветви. Над полянами по ночам летали совы и светили желтыми глазами. Было волчьё. Кто-то стонал и хохотал в чаще.

На четвертый день вышли на прогалину, где высились качели. Столбы — в три роста высотой, в обхват. На уровне головы висела пятивершковая плаха-сиденье, висела и раскачивалась. Кто-то только что спрыгнул с нее, слышав шаги. Посерев лицом, Калпак повалился русским в ноги: давайте вернемся, беда! Русские достали мечи, взялись за кресты: вперед, с божьей помощью прорубимся. Уткнув в спину Калпака копья, двинулись вперед.

Начинался туман. Туманами вогулы называли огромные — в десятки верст длиной и шириной — озера, образованные разлившимися по тайге реками. Они были очень мелководны. В дожди вода тумана могла подняться путнику до шеи, в ведро туман превращался в болото. Ни

пройти, ни проехать, ни проплыть. Ни Пермь Великая Камская, ни Пермь Старая Вычегодская, ни Юг, Сухона и Двина таких разливов не знали, поэтому князь Васька, Охрим и Семка-Дура даже не представляли, в какую петлю они сунули головы.

Косые и кровавые закатные лучи зловеще освещали кривое мелколесье, где то зеленели болотные бучила, то пылали зеркала озер. Иногда люди шли по травянистым или мшистым гривкам; иногда Калпак сворачивал в болото, слеглой нашаривая одному ему известный брод; иногда они пробирались по колено, а то и по пояс в бурой торфяной воде. Кричали болотные птицы, ухал филин, бурчала под ногами жидкая земля, выпуская пузыри. Изредка в зыбунах что-то тяжело и протяжно стонало, вздыхало, охало.

Когда сырая мгла немного поднялась над водой, космами поплыла среди скорченных деревьев, среди высоко вздернутых извивов корневищ у вывороченных сосен, местность начала обсыхать. Это был остров на тумане, где и находилось вогульское молябище. Вскоре путники шагали уже по твердой земле. Калпак то и дело сворачивал, повинаясь указаниям сопр, вырезанных на стволах. Мутные сумерки охватили лес. На опушке Калпак остановился и, указывая вперед, со страхом прошептал: «Кол Сорни-Най...». На невысоком взгорье чернел покосившийся, замшелый тын, а за ним — темная кровля. Русские двинулись вперед, обходя огромные валуны и растрескавшиеся жертвенные колоды. На остриях тына растрепанными гнездами торчали полусгнившие, исклеванные человеческие головы. Пройдя полпути, Калпак наклонился и потрогал камень очага, выложенного на земле. «Исум!..» — округляя глаза, сообщил он.

«Погоди, — хватая Калпака за шиворот, сказал князь Васька. — Семка, поди первым, погляди, кто там костры палил». Семка кивнул, выставил вперед рогатину и медленно пошел вверх по склону к покосившимся воротцам. Постоял, прислушиваясь, осторожно взялся за сучок в доске, заменявший ручку, и потянул створку на себя. Заскрипели петли, и тотчас за воротами что-то туго крякнуло. Створка отлетела, а Семка подпрыгнул и рухнул на землю. Он насквозь был пробит деревянной стрелой толщиной в руку человека.

«Холат Хусь-Урнэ! — завизжал Калпак, вырываясь. — Хумполь-Ен!..» Он бросился бежать обратно к лесу, а князь Васька и Охрим одновременно рухнули под защиту валунов. Топот Калпака затих в чаще. На сильном восточном ветру, разогнавшем сумрак, скрипела створка ворот. Семка неподвижно сидел у пустого прохода, свесив голову. За тыном никто не

шевелинулся. Время шло. Прилетел ворон, опустился на острие частокола, начал щипать себя под крылом, топчась на месте. И князь Васька, и Охрим, увидев огромную стрелу, сразу вспомнили чудовищные качели, встреченные на пути. Васька видел, как Охрим зло перекрестился, трижды сплюнул через левое плечо, перетянул со спины на локоть щит и стал подниматься. Васька тоже взялся за ремень щита.

Прикрываясь щитами, выставив мечи, они вдвоем, плечом к плечу, протиснулись в узкие ворота. Ворон, закаркав, взлетел. Небольшой огороженный двор был утыкан черными идолами. Кривая игла месяца висела над кровлей маленькой чамьи, громоздившейся посреди двора на двух высоких столбах. Двор был пуст.

Охрим опустил щит, прошел вперед и пнул сооружение из брусьев и спиц, перемотанное сыромятными ремнями.

«Самострел», — сказал он.

Семку втащили и положили во дворе. Охрим с хрустом вытянул из тела окровавленную стрелу и швырнул ею в ворона, севшего на крышу чамьи.

«Пусть полежит пока, — сказал князь Васька о Семке. — Темно яму рыть, да и боязно что-то... Утром схороним».

«Небось истукан-то в избушке на курьих ножках, — кивнул Охрим на чамью. — Айда, князь».

По ветхой лесенке князь Васька забрался к порогу, открыл дверцу, отстраняясь от возможной новой стрелы, заглянул внутрь и чуть не слетел со ступеньки — в крохотной, без окон, горенке, занимая почти все ее пространство, стоял гроб с чем-то лохматым внутри.

«Мертвец!..» — ахнул Васька.

«Ну-ка, пусти, — отстраняя его, полез внутрь Охрим. — Этот нам беды уже не сделает...»

Он влез внутрь, долго возился — так, что избушка раскачивалась на столбах, сыпала труху с берестяной кровли, — и наконец выбросил наружу резную деревянную куклу почти в рост человека, одетую в меховую ягу. Это была иттарма, вместилище души умершего — лилли хеллехолас повогульски.

«Пусто... — мрачно сказал Охрим, спрыгивая вниз. — Нету там никакой Золотой Бабы... Обманули, псы».

На ночь договорились дежурить по очереди. Разожгли костерок, и князь Васька завалился первым. Он уснул мгновенно — тяжело, но молодому крепко. Во сне ему чудились какие-то крики, шаги, шорохи, но он не проснулся. Когда же он открыл глаза, небо уже просветлело. Охрим

его не разбудил вовремя. Охрим исчез. Исчез и труп Семки.

Васька орал, бегая по лесу вокруг капища, но Охрим не отзывался. И повсюду — в траве, под деревьями, во мху, на еланях, под валежником, у валунов — Васька встречал разбросанные зеленые, гнилые человеческие кости. Васька вытащил меч и ломанулся туда, где в чаще мелькал прогал. Страшно было переть в чапуригу в одиночку. Он перебирался через бурелом, бежал опушками, перепрыгивал бочажины, путался ногами в орляке, сек мечом кусты и еловые лапы, скользил на камнях. Лес оборвался, и Васька вылетел на берег тумана. До самого окоема раскинулась сизая водная гладь, очеркнутая от неба узкой полосой далекой тайги. Докуда хватало глаз, из воды там и сям торчали костяки мертвых деревьев.

Васька развернулся и бросился обратно и вскоре вновь вывалился из тальника на берег. Он помчался на полудень и, казалось, уже достиг матерого леса, но и тут дорогу преградила вода, залившая деревья по нижние ветви. Пугаясь собственной догадки, Васька пошел вдоль берега и через полторы версты вернулся к старому месту — к кряжистому идолу, валявшемуся по грудь в воде. Васька обессиленно сел на его лицо. Он был на острове среди тумана. Восточный ветер нагнал из Вагиля воду, и холм в болоте, в янге, стал островом. На этот остров умирать от голода вогулы приводили свои жертвы. На этом острове по своей воле оказался и он, князь Васька, — теперь уже один.

Васька побрел к капищу, и тут из зарослей с шумом и треском на него рухнуло что-то живое, разумное. Свистнул, блеснул меч, и только бармица спасла князя, чтобы ему не отпластали левую руку вместе с плечом. Васька покатился по корням, перевернулся на спину и ногами отшиб нападающего. Он вскочил — враг снова бросился на него. Мечи крестили сумрак чащобы, едва разжиженный серым светом облачного неба. Разлетались срубленные ветки, листья, шишки. Васька исхитрился и витым ударом выбил меч противника, но тот, рыча, бросился вперед с голыми руками. Васька мог бы его зарубить, но на свету мелькнул красный русский армяк, и Васька остановил замах. Васька сцепился с врагом врукопашную. Враг был гораздо сильнее его, но словно забыл все приемы драки. Повалив его и двинув пару раз головой о комель, Васька сел ему на грудь и отбросил с его лица длинные грязные волосы. Это был Охрим — с белыми, выкаченными глазами, с пеной на усах и в бороде. Охрим хрипел и бился под Васькой.

Связав Охрима кушаком, сунув в пасть шапку, Васька приволок извивающегося ушкуйника в мольбище и уложил рядом с чамьей. Охрим ничего не узнавал, ничего не понимал. Он грыз шапку, бился затылком о

землю, изгибался, как в падучей, сдирал пальцами дерн и мох. Васька сел под тыном снаружи. Над ним чернела изъеденная голова. Подумав, он скинул перевязь, стащил тяжелую кольчугу, снял шлем с мокрых волос. От того, кто качался на огромных качелях, кто до полусмерти испугал Калпака, кто уволок труп Семки-Дуры и свел с ума бывалого, прожженного налетчика Охрима, кольчуга и шлем защитить не могли.

По-прежнему дул ветер. Косматые облака, шевелясь и вскипая, неслись туда, где за каменным гребнем остались родные и надежные деревянные крепости с крестами на башнях. До вечера Васька просто сидел и опустошенно ждал неизвестно чего. Потом он замерз — кафтан его, проплевший и рваный, был натянут прямо на рубаху, — стащил с иттармы волчью ягу и влез в нее. Он хотел есть. Их харч составляли только сухари и соль, совсем промокшие в пути к мольбищу. Остальное — дичь. Но где здесь найти хотя бы утку? Мертвые, проклятые места... Васька подстрелил ворона, оципал и бросил. Ворон жрал мертвечину. «Я не людоед», — думал Васька.

Прошла ночь, никакое чудище не пожаловало. Наступил такой же ветреный, полный тоски день. Охрим утих. Васька развязал его. Он бродил по острову, разыскивая съестное — осиновою кору, медвежью дудку, грибы, корни папоротника и осоки, стебли борщевика. Руки тряслись от голода, ноги подгибались.

Прошла еще ночь, и еще точно такой же день, и еще ночь. Охрим сидел под чамьей, привалившись спиной к столбу, закрыв глаза. Он ничего не ел, не пил, не говорил, только сипло дышал сквозь стиснутые зубы. Васька спал в гробу, в яге, а иттарму расщепил мечом и сжег, отогреваясь от пронизывающего голодного холода, обсушиваясь после дождей, протекавших сквозь ветхую берестяную кровлю чамьи. Утром, когда Васька сполз на землю, он увидел, что Охрим стоит под чамьей на коленях. Лицо у него было синее. Черный язык поленом торчал из бороды. Охрим повесился на стропиле. Васька мечом разрыхлил яму за тыном, шлемом выгреб землю и похоронил ушкуйника. Весь день после этого он пролежал в полубреду, а вечерняя роса вновь загнала его в гроб.

С рассветом Васька опять упрямо пополз наружу. И сразу увидел, что не отрубленная — оторванная голова уже схороненного Охрима торчит на колу у самых ворот мольбища. Чудище пришло ночью и навело порядок. Его, князя Ваську, оно не заметило, потому что тот лежал на месте иттармы, а вонючая волчья яга отбила человеческий дух.

Ваську затрясло. Он выломал себе палку и кинулся в воды тумана — прочь, прочь, прочь с этого острова. Он брел сначала по колено, потом —

по пояс. Было совсем неглубоко, но иногда он падал в ямы или болотные прорвы и плыл. Он тащился в воде бесконечно долго, нащупывая слегой путь, брел на закат, к своим, из давно иссякших последних сил, голодный, полусумасшедший, ничего уже не боящийся. Остров остался далеко позади, а затопленный лес все не кончался. Стояли в воде кривые березы; как руки кикимор, высовывались, изгибаясь, корни упавших сосен; шатры елок облепляла ряска. Всюду плавали сучья, хвоя, листья, шишки, куски мха и земли, трава, трупы мышей, хорьков, лис, незрелые ягоды морошки, выкорчеванные пни. Князь Васька все тащился и тащился, раздвигая коленями и животом черную, страшную воду.

И вот тогда-то он и увидел чудовище. Оно без плеска прыгнуло в воду с дерева и поднялось во весь рост — в полтора раза выше человека, широкоплечее, сутулое, с длинными, до колен, могучими руками, все сплошь покрытое серым волосом, с плоской головой, вбитой в плечи, почти безносое, только с дырами ноздрей, с тонкими черными губами, с глазами загнанного зверя, печальными и равнодушными. Подгребая ладонями, чудовище пошло навстречу Ваське. У князя не было никакого оружия — меч он сломал и выбросил, слегой потерял. Тогда он просто вытянул вперед руки, хищно скрючив пальцы, и сам бросился на врага...

— Комполен это был, лесной мужик, хранитель Сорни-Най, — сказал князю Михаилу Зырян и приподнял иссохшую, старческую руку Васьки с намертво стиснутым кулаком. Между пальцев торчали жесткие серые волосы — не медвежьи, не лосиные, не волчьи.

— Мы уговаривались князя Ваську десять дней ждать, — рассказывал князю Михаилу Зырян. — На девятый день приполз Калпак, сказал: погибли все, и князь Васька тоже. Калпаку поверили. Зачем ему врать? Он от своих отрекся, когда повел нас за Сорни-Най. Если он и нашего князя сгубит, так ему вообще не жить. Потому и поверили. А я не поверил. Скряба своих забрал и ушел воевать дальше. Похоже, он с самого начала подумывал князя Ваську как-нибудь сгубить, чтобы не делить с ним хабара. Вот ему случай и подвернулся. Он и тела князя искать со мной не пожелал, ринулся за добычей. А мы, кто с Вычегды, всей дружиной пошли на туман за князем. Хоть мертвым. Только прошли всего два дня, а наутро нашли князя прямо у шатров. Это Комполен его принес. Он ведь зря не убивает. А князь-то кто? Мальчишка, глупый... Он и сам не знал, куда полез. Мы забрали его и повезли обратно. Скряба с Лозьвы вверх по Сосьве повернул — удирать. Всех переполошил. Вогулы на нас и накинулись. Тридцать три нас было, когда ушли из Вагиля, а добрались, сам видишь, пятеро... Но

князя привезли.

— Спасибо, Зырян, — сказал Михаил и тяжело замолчал.

— Не вернусь я в Йемдын. Как я буду княжить? Лучших мужчин увел и всех сгубил, а сам с ними не пропал. Не вернусь. Возьми меня к себе, князь...

— Возьму, Зырян, — кивнул Михаил. — Люди с верностью и совестью всегда в цене.

Навещать умирающего князя Ваську иногда приходил Иона. Сидел, скорбно вздыхал, крестился, шептал: «На все воля божья... Идольники поганые...» Михаил не гнал его — уходил сам. Он знал, что Иона уже присмотрел место для могилы. У Ионы было все — сан, епархия, приходы, паства, церкви, часовни, попы, дьяки, собор; монастырь, угодня, князь, язычники, подвиг. Не хватало одного — родовой усыпальницы. Вот Иона ее и получил.

Князя Ваську похоронили рядом с Иоанно-Богословским собором, в монастыре, высоко над Колвой. Срубили огромный крест с кровлею. Васька так и не пришел в сознание, умер где-то там, по пояс в водах тумана, в схватке с неведомым чудищем. Но перед смертью Васька вдруг тихо-тихо запел песенку из сказки. Эту сказку Мише рассказывала мать, а потом, когда ее не стало, Миша пересказывал ее пятилетнему Ваське. Песенка-плач, песенка-мольба, вечный безнадежный призыв о помощи. Лиса украла Петушка, бегом уносит его, а Петушок поет из-под лисьей лапы, зовет своего дружка.

— Котик-братик, котик-братик... — шептал князь Васька. — Несет меня лиса за синие леса...

Глава 14

Кровь Пелыма

Зима нагрянула рано, и могила князя Васьки не тронулась до весны. Огромным грибом со снежной шапкой на кровле креста она высилась за алтарем Иоанно-Богословского собора. А по весне почва оттаяла, и могила провалилась. Михаил сам натаскал земли, поправил холмик, выпрямил крест.

Скряба, трусливо проскользнувший мимо Чердыни, добрался-таки до Белокаменной и довез своих пленников — вогульских князьцов Течика и Калпака. Но московский князь Иван Третий был далек от пермских судеб. Он поверил всему, что наболтали Калпак и Течик. Хотя и был крут нравом, он простил вогулов и вольными, с подарками отправил их обратно на Каменный Пояс — домой. Осенью они проплыли по Каме и Вишере мимо колвинского устья. Плыли пьяные, грязные, в богатой, но уже рваной и заблеванной одежде. В Кайгороде, в Уросе, в Бондюге, в Акчима Калпак похвалялся, как ловко он обманул и сгубил глупого Вымского князя. Михаил подумывал, не послать ли Бурмота с дружиной — пусть догонит Калпака и попросту выпорот. Но посылать не стал. С вогулами плыл новый московский дьяк, направленный в Чердынь для досмотра за пермским князем. Его звали Данила Венец. Михаил с благодарностью вспоминал помощь другого дьяка — Морковникова, убитого за ясак в Искоре князем Качаимом, а потому ждал Венца с какой-то неясной надеждой.

Венец проводил вогулов до Акчима — границы Перми Великой — и двинулся обратно в Чердынь уже поздней осенью, когда река вставала. На выскірях у Полудовой горы нарты дьяка полопались. Венец приехал в город промерзший, несмотря на четыре шубы, злой, недовольный. И Михаил сразу почувствовал, как чужа и ненавистна столичному боярину его родная дремучая парма. Венец с гадливостью отказался просто сходить и посмотреть пермское городище, а острожек — маленький, почерневший в дождях и морозах, — вызвал у него лишь презрительную усмешку. Венец заперся в тереме, приказал найти ему в услужение девок покрасивее, русских, и начал пить. Венец был ровесником князю Михаилу и Великому князю Ивану. Михаил поразился мужественной красоте боярина, которую портила только дыра на месте выбитых передних зубов. Венец не поделил любовницу с Великим князем, а потому и оказался в опале, у черта на рогах — в Чердыни.

Всю зиму Венец пил и паскудничал с бабами — со вдовами ратников, озверевшими от безмужья, с глупыми девками, мечтавшими выскочить в боярыни. А потом Венец оценил и дикую, колдовскую притягательность пермянок, для которых радости безумных ночей не считались грехом. Не протрезвляясь и не одумываясь, Венец прожил так до лета, пока из Москвы не пришла к нему княжеская грамота. Чудовищным усилием воли Венец остановился и, отойдя от похмелья, явился к князю.

Для Михаила год, прошедший с тех пор, как брат его ушел за смертью на вагильский туман, был страшен. Тиче, едва оправившись от родов Аннушки, снова понесла и родила сына, окрещенного Иваном. Младенец прожил два месяца и умер. Усыпальница Ионы набирала княжеского блеска. Тиче от горя слегла и, казалось, больше не поднимется. Только когда видела мужа, она немного оживала — но ни Матвейка, дни и ночи пропадавший с Бурмотом, ни Аннушка, уже начавшая лопотать первые слова то ли по-русски, то ли по-пермски, не пробуждали в княгине тепла жизни. И сам князь Михаил, словно оцепенев в мертвящем холоде беды, чувствовал: еще немного — и эта череда смертей его сломит. Отец, Питирим, Танег, Морковников, Полюд, Васька, княжонок Иванушка — сколько можно? Чтобы ожить самому и своим теплом оживить Тиче, князю требовалось какое-то сильное и яркое движение судьбы.

— Такие дела, князь, — сказал Михаилу Венец. — Великий князь Иван пишет мне, что дозволил вернуться вогуличам Кашаку и Течику, с тем чтобы они пелымскому князю Асыке его волю передали. А воля такова: год срока ему дается, чтобы принять присягу перед московским государем. Время исходит. Князь Иван пишет, чтобы ты собирал войско и шел за Камень — Асыку изловить и в Москву доставить. В общем, князь, готовься в поход. Государева воля, князь.

Михаил взял три дня срока обдумать ответ. Через три дня он сказал Венцу:

— Можешь, дьяк, отписать Великому князю: в поход на Пелым пойдем перед будущим Новым годом, в конце февраля. Это чтобы вогулы после разорения до весны дотянули — мы же с крестом пойдем, не по-людоедски. Заодно и рухлядью разживемся; небось за зиму вогулы порядочно зверя набьют. Привезу Асыку в Москву. Но для всего этого мне надо у вятичей подмогу просить и у татар в Афкуле тоже — ихний шибан Исур давно хотел с Асыкой встретиться.

Помощи от вымичей и вычегодцев Михаил не ждал. После гибели князя Васьки и самоизгнания князя Зырны — так в Чердыни звали Зыряна — Пермь Старая не хотела связываться с вогулами. Да и непонятно стало,

кто ж на Вычегде княжит? У Васьки вдруг отыскался сын от сойгинской княжны, родившийся уже после гибели Васьки, — его срочно окрестили Федором. Великий же князь Московский послал в Пермь Старую опекуном Федору какого-то дальнего-дальнего родственника князя Ермолая Вереинского — князя Петра. Путаницу усугубляли все, кто мог. Борецкие держали сторону Федора, за которым прятались быстро богатевшие новгородские солепромышленники Суровцевы, Елисеевы, Шустовы, надолбившие колодцев на Усолке и Сыsole. Игумены монастырей Ульяновского на Вычегде и Троицкого на Печоре, подбиваемые игуменом Филофеем из Ферапонтовой обители, кричали, что им надо свою епархию основать и отколоться от пермской епархии Ионы, а потому метались то к Петру, то к Федору. На Печоре к тому же волновались остяки, с которых все, кто к власти рвался, драли по три шкуры. Усть-вымский сотник Рогожа, отправленный на усмирение остяков, взял да и женился на красавице-остячке и теперь неизвестно на кого меч точил. Мутили воду и устюжане, и двиняне, и вятичи, и мезенцы, под шумок набивая мошну.

Вскоре Михаил разослал гонцов в Афкуль и в Вятку. Слух о предстоящем походе расползся по Чердыни. Однажды ночью князь проснулся оттого, что мокрая, ледяная ладонь легла ему на лоб. Он подскочил от страха и в свете лампы увидел, что Тиче — нагая, вся в поту, в беспамятстве, с закрытыми глазами — сидит на его постели.

— Тиче, что с тобой?! — шепотом крикнул князь.

Тиче уронила голову, уткнувшись лбом ему в грудь. Черные волосы засыпали плечи князя.

— Михан, не ходи за Камень... — одним дыханием умоляла Тиче. — Михан, не ходи за Камень... Михан, не дразни вогула...

Князь обнял жену, бережно укладывая ее на медвежье одеяло.

— Прошу тебя, Михан, любимый мой... — шептала Тиче.

— Там погиб мой брат, — сказал князь, зная, что ламия услышит.

— Судьбе не мстят...

— Это не месть... Это совесть, Тиче...

— Ты не виноват в его гибели... А боль пройдет.

— Совесть — это не только когда болит. Это когда делаешь.

— Не ходи за Камень, Михан... Всем, что есть, прошу тебя... Людьми твоими, детьми, своею любовью... Михан, за тобою придет беда... Не ходи за Камень.

Князь долго глядел на жену — родную до каждой жилки, бесценную, навек единственную, до тоски беззащитную перед древней силой, что держала в плену ее гаснущую душу.

— Не пойду, — солгал он.

Он знал, что пойдет. Все равно пойдет. Ему, зажатому между Югрой и Русью, между ламией и хумляльтом, между смертью и смертью, только так и можно было сберечь жизнь. И тоска, с детства сосавшая сердце князя, вновь полоснула по лицу ранней морщиной между бровей. Ему двадцать семь лет, а душа его уже исхлестана судьбою, как плетью, до костей. Откуда же она — тоска? Он словно младенец, что жил с матерью одной кровью, одним дыханием, одним чувством, и вдруг оказался исторгнут наружу, и пуповина обрезана. Кто та мать, с которой он потерял единство? Чего ему не хватает? И вроде все есть, и вроде ничего больше не нужно, но почему же по-прежнему вздрагивает горло, когда он видит сквозь синюю заснеженную просеку огонек лучины в далеком окошке?

Чем погасить тоску? Он слаб и уязвим, и его власть над людьми и пармой по праву заслужила жалостливую усмешку московского дьяка. А мир к человеку безразличен, даже если и любим. Какая же сила еще осталась в нем, в князе Михаиле? Бог? Русский бог ничего не объясняет, попросту разрубая узел волшебных нитей равнодушным мечом прощения. А пермские боги похожи на половцев, что привязывали пленников к хвостам диких кобылиц — они мчатся по дороге судьбы и не остановятся, даже не задержат бега, если обессилевший человек споткнется и упадет.

Последняя защита, последняя стрела в колчане, последнее перо в крыле — спасающая любовь женщины. Но и этого ему не дано. Ему дана любовь ламии, которую и сам он полюбил безоглядно; но эта любовь губит так же верно, как ненависть врага. И вот он, князь Михаил, стоит на этой земле перед этим вечным, могучим идолом — и не знает, что ему сказать.

К осени Тиче стало полегче, и князь отправил ее с детьми в далекую деревню Дий высоко по Колве — к родственникам. Пусть выздоравливает под присмотром родни и не видит, как муж нарушает обещание. Сам же князь начал собирать войско в поход. Дело это оказалось очень хлопотным. Скарба, харча, боевого снаряда на каждого человека вышло по две оленьих упряжки. Князя даже удивило: как же вогульские хонты с такой легкостью чуть ли не каждый год уходят в набеги то на самоедов, то на печору, то на остяков? Впрочем, может быть, князю просто не хватало опыта.

От своих ратников Михаил взял полусотню во главе с Бурмотом. Столько же во главе с воеводой Паклиным прислали вятичи и кайгородцы. Охочих чернососных мужиков из Анфаловского городка и соликамских посадов, польстившихся на княжий харч и возможную поживу, собралось десятков семь. Подумав, князь поставил над ними Калину, тоже

напросившегося в поход. Пермьяков явилось около сотни, в основном с Колвы — из Чердыни, Покчи, Ныроба, Искора, Янидора; но были и камские — бондюжане, губдорцы, пянтежские. Им воеводой Михаил назначил князя Зыряна. Наконец из Афкуля с шибаном Исуром прибыло двадцать уланов.

Странное, разномастное собралось войско. Пермьяки были в остроконечных меховых шапках с соболями по ушам, в расшитых бисером и тесьмой малицах, в штанах с пришитыми меховыми унтами, с рогатинами, копьями, луками, мечами. Русские напялили зипуны с перевезями, лисьи треухи, толстые порты, заправленные в подбитые войлоком сапоги; с пиками, бердышами, шестоперами, секирами, клевцами на длинных ратовищах. Татары пришли в многослойных простеганных халатах и меховых шароварах, в малахаях, в зимних ичигах, в руках — пики, сабли, луки, у каждого на спине — саадак, на поясе — аркан для невольников. Пермьяки ехали на оленьих упряжках, аргишем — караваном. Русские и татары отправлялись на конях, заготовив под хабар сани.

В поход тронулись в конце февраля. Войско на пару верст растянулось по вишерскому льду. Холодок тревоги пробрал князя Михаила, когда с высоты Ветланова камня он оглядывал дружины: к добру ли разбужена такая сила?

До Акчима шли пермской землею, а после начались уже земли вогулов. Тревога все не утихала в душе князя. «Тиче... Тиче... — стучала кровь в висках, — я тебе солгал... Я пошел за Камень. Но я не вернусь, если увижу, что за мной, даже победителем, крадется беда...»

Первыми шли пермьяки, нартами накатывая дорогу — воргу. Князь верхом ехал за ними, покачивался в седле и всматривался, вслушивался в мир вокруг себя. Но мир был тих, и тишину его не заглушал даже шум идущего по реке войска. Молча высились насмерть промерзшие скалы. По брови заросли снегом леса. У окоема, как дым, беззвучно растворялись в искристом мерцании дальние лазоревые шиханы. Вокруг была только красота — пусть дикая, вечная, безразличная к человеку, но не таившая угрозы. И даже если валом накатывал буран или, как вспугнутая лебединая стая, сквозь войско проносилась вьюга, это все равно не пугало, потому что рядом оставались люди, кони, олени...

Однако ночами — хоть ярко-лунными, когда под косматыми вогульскими созвездиями по берегу на версту пылали костры, хоть метельными, когда раздувало шатер и в опустившейся тьме по небу, по деревьям, по реке неслись снежные колеса, — эта беда вдруг мороком обволакивала князя, словно сзади кто-то стоял и ждал; давно стоял,

оказывается, близко. И во тьме князь ясно видел, что забрел он не в зачарованные земли, а прямо в горло Пети-Ура, ледяного вогульского ада. И здесь, крутясь смерчем, шагал по лесам бог ветра Шуа, метлою смахивая все со своего пути. И тряс небосвод, разгоняя волны северного сияния, великий бог Войпель. А откуда-то из-за медвежьей лапы Манараги, над самоедскими мертвыми кряжами, несло из жерла огромной пещеры стылое дыхание Омоля, в потоке которого плясал и подвывал от радости демон Куль, вновь укравший солнце и спрятавший его в расселине Горы Мертвецов. На Нэпупыгуре, пермяцком Тэлпозизе, в своем гнезде ворочались, хлопали крыльями, разбрасывали белые перья ветры. На волке Рохе по снежным еланям, окутанная тьмою, неслась злая ведьма Таньварпеква, а сестра ее старуха Сопра, сидя на льду святого озера Турват, грызла черепа жертв, украденные из теснин древнего города покойников — Пуррамонитура, и треск костей разносился на сотни верст. Вслед за войском князя под сугробами, подо льдами Вишеры упорно бежали подземные человечки сиртя — Чудь Белоглазая. От стужи в чамьях на курьих ножках гулко лопались деревянные куклы-иттармы, выпуская на волю заключенную в себе птицу-тень лилли хеллехолас, злую душу. За дальними горами протяжно дули в многоствольные дудки-чипсаны великаны капай, и бегал, звеня ледяными колокольцами, по бубну Койпу, что бросили окаменевшие от ужаса Маньпупынёры, крылатый пес смерти Паскуч. На капищах, на гибидеях, скрипя суставами, танцевали почерневшие идолы. Деревянными зубами грызли лед над своей головой людоеды менгквы с болот Янкалма, пытаясь выбраться на волю. Тяжело и печально вздыхал окованный зимою святой дед Ялпынг, и стонала под тяжестью земли, переполненной злом, держащая ее бабушка Минисей.

Войско миновало устье Улса, по которому ушел к Вагильскому туману отряд князя Васьки, и продолжал подниматься вверх по Вишере мимо лесов и утесов к устью Вёлса. От Калины и Бурмота Михаил узнал, что они идут по древнему караванному пути, заброшенному еще за несколько веков до битвы при Чулмандоре. Хоть вогулы и называли себя «манси» — «меньшими сыновьями» легендарных угров, — «старшим сыновьям» пермякам они оказались недобрыми братьями. Неистовые манси в жестоких сражениях отбили у пермяков Чусву-Чусовую и Яйву, низовья которой прозвали «Кужмангорт» — «покинутое жилье», вытеснили пермяков ниже вишерского устья на правый берег Камы и захватили верхнюю Вишеру вплоть до Акчима. Некогда оживленный путь по Вишере и Вёлсу обезлюдел: к недругам в гости не ходят.

Вёлс горбатился подо льдом замерзшими порогами, замороженными

буреломами через всю реку. Идти стало труднее. На полуночи угрюмо поднялся Чувал — печь-гора, в которой пылала яростная душа вогулов. Свернув с Вёlsa на узкий, извилистый Посьмак, войско наконец достигло Хартумского идола — раскорячившегося над снегами деревянного чудища, обозначавшего волок. Через кривое редколесье переволоклись на Тальтию, а по ней покатались вниз, в Югру. Вогульские лазутчики давно уж, видно, предупредили своих, что из-за Камня идет сильный, ожесточенный враг. Редкие павылы, зарывшиеся в сугробы по берегам Тальтии, Ивделя, стояли пустыми, остывшими. На головах идолов-охранителей ветер трепал кожаные мешки.

Когда же под полозьями нарт, под конскими копытами белая лента Ивделя размоталась до конца, войско вышло к первой вогульской твердыне — к Лозьвинску. Город громоздился над снежным обрывом, безмолвный и настороженный. Ворота были закрыты. Над частоколом в белом дыму метели торчали шесты с волчьими головами — знаком непримиримости. Лозьвинск собирался драться.

Два дня войско стояло под стенами. Михаил думал.

— Нет, — глядя на сизые от инея частоколы, решил он. — Приступа не будет. Идем дальше.

Кайгородец Паклин перекрестился, Бурмот и Калина промолчали, но Зырян скрипнул зубами, лишенный возможности отомстить за свой разгром, а Исур, выйдя из княжеского шатра, так перепоясал плетью ближайшую ель, что с веток повалился снег.

Войско, недовольное княжеским решением, взволновалось. Князь созвал всех под свою хоругвь с серебряным медведем, крестом и книгой на алом щите.

— На приступ идти нам нельзя, — спокойно объяснил он. — Если мы возьмем город, то потеряем много людей и отяжелим себя добычей. Пелыма нам тогда уже будет не осилить. А если не возьмем — тем более. Когда же мы, не растратившись, покорим Пелым, Лозьвинск сам добровольно выплатит нам дань. Поэтому мы идем дальше.

Негодую, но покоряясь, войско двинулось вперед, вниз по вогульскому Луссуму — Лозье. Город остался за верстами, за буранами, за лесами. Шли по льду, по снегам, вдоль унылой кривой янги, мимо пустых павылов и крепостиц — Лачи, Лангура, Тамги, Понила, Арии, Верваля, Синдеи, предательского Вагиля, Лики, Учимьи, Таныи, Синтура. В криволесьях и янгах лежали по сторонам замерзшие озера-туманы, идолские кумирни, древние могильники. Однажды хмурыми сумерками до князя донесся радостный крик передовых воинов — это справа из тайги вышел Тагт,

Сосьва. Две ледяные дороги — Сосьва и Лозьва — слились, образуя одну: Тавду. Через пять дней войско вышло к Пелыму.

Пелым ждал врага. Крепость стояла на высоченном обрывистом мысу между Тавдой и речкой Пелымом. За стенами яростно брехали собаки, но ни один человек не показывался за частоколом, словно Пелым вымер. Только собачий лай, фыркание оленей, свист полозьев, хруст снега и далекий гул ветра в лесах. В зловещем молчании раздался окрик Бурмота, возглавлявшего войско. Войско, как змея, изогнулось и потекло с Тавды на пелымский лед.

Отойдя от крепости вверх по реке с версту, Бурмот распорядился разбивать лагерь на обширной луговине-выпасе. Войско рассыпалось, раскатилось по берегу. Михаил глядел, как его люди расседлывают лошадей, выпрягают оленей, лопатами кидают снег, ставят шатры и чумы — не спеша, негромко переговариваясь, спокойно, устало, будто приехали не на битву, а на торг. Застучали топоры дровосеков, первые дымы потянулись к небу. Князь окликнул своих воевод, и все вместе, без охраны, они поехали вдоль реки обратно.

Вогульская твердыня венчала окатистую гору. Стены крепости были сложены из бревен, как стены избы, но изнутри их, видно, подпирала насыпь, а снаружи через шаг были вкопаны отвесно целые стволы высотой в десяток сажень. Стволы эти постепенно заострялись кверху, и на остриях желтели человеческие черепа в истлевших татарских малахях, в пермяцких меховых колпаках, в самоедских нгэсах, в сапынах остяков, в пробитых и ржавых русских шлемах. Между стволами-кольями на стенах кое-где торчали могучие самострелы. Жуткое шествие мертвоголовых стволов перебивали круглые башни из стоймя врытых в насыпь бревен. Башни были без кровель и походили на огромные ребристые трубы. Снизу, от подножия горы, невозможно было разглядеть, что скрывалось за стенами. Склоны были беспорядочно утыканы заостренными кольями, чтобы затруднить врагу подъем и не пропустить конницу. Единственная дорога, как просека в кольях, круто поднималась к воротам. Она была облита водой и заледенела, как стальная. Похоже, что Пелым был неприступен.

На обширной луговине под горой чернели пепелища сожженных вогулами домов и амбаров. Когда всадники приблизились к этим угольям, серыми стрелами, стелясь по снегу, от них к лесу побежали волки. Повсюду по сгоревшим посадкам валялись лошадиные и оленьи головы, ноги, потроха — вогулы перебили свои стада. На волков и лаяли со стен свирепые вогульские псы.

— Подготовились, дьяволы, — сказал Паклин, хмуро оглядывая молчавшую крепость. — Скот положили, хибары пожгли, даже дорожку нам замостили... Не взять нам, князь, Пелыма.

Шесть всадников безмолвно стояли под горой, глядя на высоченный частокол с черепами. На ветру шумели близкие леса. Поземка крутилась на застругах пелымского льда. Кони позвякивали удилами и переступали с ноги на ногу, дрожа под залубеневшими попонами. Снег ложился на шлемы, на плечи, на рукавицы, на расставленные колени всадников, на конские гривы. Михаил в раздумье сдирал с усов и бороды наросшие сосульки.

К вечеру метель унялась, а к ночи небо совсем очистилось от туч и инеисто рассозвездилось над оснеженными лесами, над замерзшими реками, над низкими павылами и высокими крепостями вогулов. Князь созвал в своем шатре совет. Посередке в железном решете развели огонь. Дым ворочался под потолком и утягивался в черную дыру, над которой скрещивались связанные в пучок жерди.

— Брать Пелым нам надо скорее, — сказал Михаил. — Осада не годится. Лозьвинские и сосьвинские вогулы нам не страшны. Они боятся, что обратным путем мы можем пройти через них. Но вот пелымские этого не боятся. Петька Кочедык, мой лазутчик, сказал, что в Атымье, Оусе, Массаве, Портахе, Вотье, Шантале, Урае уже собирают ополчение на подмогу Асыке.

— А в Пелыме ли он? — хмыкнул Паклин. — Может, утек давно...

— Он там, — уверенно сказал Калина. — Он не сбежит, гордый.

— Хоть бы языка ихнего взять... — вздохнул кайгородец.

Исур сидел у огня, скрестив ноги, и нервно наматывал на палец хвост нагайки. Заговорили о том, как брать крепость. Михаил молчал, уступая тем, кто был опытнее в делах приступа, — Зыряну, бравшему крепостицы по Лозье, Паклину, осаждавшему городища черемисов. Неожиданно и Калина оказался сведущ в ратной премудрости.

— Хватит спорить! — крикнул, не выдержав, Исур. — С Тавды брать, с Пелыма, с рогов у шайтана!.. Ясно, что взять можно только с ворот!

— А как, татарин? — посмотрел на него Паклин.

— Осадные нарты, — вдруг негромко сказал Бурмот, и все посмотрели на него.

— Кто же их поведет? — помолчав, спросил Зырян.

— Я, — спокойно ответил Бурмот.

Калина положил руку ему на плечо, испытующе глядя в глаза.

— Но только в метель, Обормотка, — добавил он.

Еще два дня после совета войско отдыхало. Погода стояла ясная и морозная. Вечером третьего дня к Михаилу в шатер пришли все пятеро воевод — Бурмот, Зыряна, Исур, Калина и Паклин.

— Слышь, князь, — сказал Калина. — По примете, быть завтра метели.

Метель — значит, приступ. Князь почувствовал ледяной толчок сердца. Он обвел взглядом лица своих воевод: обмороженное, суровое, распаханное морщинами лицо Васьки Калины; строгое лицо Бурмота; простое, русское, дико заросшее волосом лицо Паклина, чем-то похожего на Полюда; надменное и красивое татарское лицо Исура; непроницаемое, тусклое лицо Зыряна — такое, словно тот терпел какую-то давнюю, привычную боль.

На закате князь вместо шубы напялил простой тулуп и вышел из шатра. Мороз стянул скулы, резанул по глазам. Далеко-далеко за Каменным Поясом пылала ало-вишневая дымная полоса. Над ней остывал туманный булат небосвода. Черная, щетинистая крепость на горе заслоняла зарево. «Там, под крепостью, под горою, спит вогульский великан богатырь Пелымталектур, — подумал князь, — спит, охраняя сокровища. Нужны ли они мне? Стоит ли будить?..»

Тревога сосала душу. Михаил повернулся и пошел по стану. Высоко горели костры, освещая шатры и чумы. Русские, пермяки, татары жарили мясо, латали одежду и обувь, пересмеивались, переругивались, грелись, чистили коней и оленей. Никто с озверелым лицом не шаркал точилом по лезвию меча. Стан был мирным и спокойным, словно бы завтра никому из этих людей не грозили смерть и муки. Тюкали топоры. Звенел на походной наковальне молоток кузнеца. Михаил, как чужак, проходил вдоль костров, между чумами, мимо своих людей, стараясь держаться в тени. Из темноты он пытливо вглядывался в столь обычную, будничную, ставшую привычной жизнь войска. Как ему обрести хоть малую часть этого неброского мужества?

Князь не спал всю ночь, глядя на угли костра в решетке. Он слышал, как за стенами шатра с бесконечных снегов медленно поднимается ветер. Издалека по реке пополз глухой гул тайги. Словно бестелесные духи побежали по лагерю — это метель разгонялась, раскручивалась на льду и начинала бурлить у опушки, наткнувшись на стену леса. Только часовые устало перекрикивались друг с другом: «Тихо на заставе!» — «Аллах акбар!» — «Хэй-ла парма!».

«Михан, не ходи за Камень!» — тоскливо вспомнил князь.

За два часа до рассвета в шатер вошли воеводы.

— Время, — спокойно сказал Калина, стряхивая с плеч снег.

— Стройте дружины, — тяжело поднимаясь, велел Михаил.

Откинув полог шатра, Михаил глядел, как в круговерти метели, в красном свете разворошенных ветром костров выстраиваются его отряды. Князю подвели коня. Дружины видели, как князь надел тяжелый колонтарь и поднялся в седло. Бурмот подал высокую хоругвь, плескавшуюся в метели, — медведь, книга и крест на алом поле. Князь принял хоругвь и вставил в гнездо на стремени острием древка. Вьюга, как в парус, толкнулась в полотно, и князя качнуло вперед — к Пелыму. И куда-то вдруг в душе князя пропали страх, неуверенность, тоска. Остались лишь надежда на этих разных людей вокруг да леденящее ожидание боя.

— С богом, — сказал Михаил дружинам. — Вперед.

Дружины стронулись.

Без разговоров, позвякивая железом, одна за другой они шагали в предрассветной метели. Впереди везли осадные нарты — огромные, высотой в человеческий рост сани с загнутыми спереди и сзади полозьями, с якорями на цепях на передке-тёндере. Сани были загружены льдом, бревнами, камнями, мерзлой землей. Два десятка самых сильных воинов-пермяков шли между полозьями под санями и налегали на брусья-упоры, толкая сани вперед. А самым первым в одиночестве торил путь, утопая по колено, маленький Бурмот.

Вскоре сквозь темную вьюгу показались сожженные павылы, а потом и склон с набитыми кольями и стеной поверху. Вогульские сторожа, конечно, не спали — было видно, как их костры снизу освещают круглые бревенчатые башни. Однако в непогоду ни сами они, ни их псы не учуяли приближения врага.

— Уна йоз! — негромко крикнул своим Бурмот. — Вер йогра! Керавны Пелым! Торре-порре, эгей!..

Он первым бросился вперед к воротам по ледяной дороге. На миг Михаилу показалось, что это не Войпель раздул метель, а Бурмот взвихрил снег вокруг себя. С ревом осадные нарты быстро поползли вслед за Бурмотом. Пермская дружина, шедшая в строю первой, рассыпалась по склону меж кольев, обрастая над шапками поднятыми для защиты щитами. Вьюга дымилась у подножия деревянных стен, укрывая бегущих. На воротной башне взвыли чипсаны стражи. Тотчас в крепости застучали барабаны. Приступ начался.

Осадные сани ехали по ледяной дороге к воротам. Сверху в них летели стрелы, копья и камни, но пермяки под санями были укрыты надежно. Эти

огромные сани вдруг напомнили Михаилу мамонта — «маммута», тушу которого давным-давно привозили в Усть-Вым самоеды, откопав ее где-то на своих полуночных пуданах нго — Последних Островах. И память детства, как метель, внезапно взвила душу князя полузабытым ужасом, когда он вновь услышал вдали сквозь крики и свист ветра дикий вой беспощадных вогульских стрел со свистульками в остриях. Этого воя он не слышал с того дня, как вогулы раскорчевали Усть-Вым.

Сани остановились у запертых ворот. Пермяки-силачи полезли наружу. Они хватали с тендера плоские якоря на цепях и вбивали их в щели между огромных плах воротных створок. Сверху валились стрелы, копья, нарубленные комли — распарывали щиты из лосиной кожи, поднятые над головами, дробили черепа, отшибали руки. Что-то тонко крикнул Бурмот, и тотчас пермяки столкнули нарты вниз по ледяной дороге. Нарты заскользили, набирая скорость и вытягивая цепи якорей. И со всей мощи разгона они рванули створки ворот наружу. Одна створка треснула, но удержалась. Зато другая вылетела начисто, обнажив проход, перечеркнутый бревном засова. Перевернувшись от толчка, осадные нарты покатались кувыркком, разваливаясь на части и сбрасывая груз. Остатки отряда Бурмота ринулись в проем. Снизу к ним спешила дружина Зыряна.

Со всех сторон князя начали обгонять ратники: сначала Бурмота и Зыряна, затем — Паклина, после — посадские ополченцы Калины, наконец визжащие батыры Исура на конях. Хоругвь тяжело колыхалась над головой князя, словно кланялась в спину уходящим на бой. Князь видел, как чердынцы повалили оставшуюся створку ворот и полезли на правую стену, а кайгородцы и вятичи — на левую. Они должны были пройти вдоль частокола, сбросить вогулов с веж и соединиться над кручей тавдинского берега, охватив крепость в клещи. Пермяки и посадские, как круги по воде, должны были расходиться в глубь городка от ворот, затапывая врага. А конница Исура, как копье, должна была вонзиться прямо в сердце Пельма, чтобы взять живьем князя Асыку.

Михаил медленно ехал по дороге к воротам. Мимо него, пятная снег, брели и ползли раненные. Среди кольев на склоне лежали мертвецы. Их было бы гораздо больше, если бы вьюга не сносила в сторону вогульские стрелы. Вьюжная заря, розовая, как снег на крови, вставала над ревушим Пельмом, над безмятежной серебряной лентой реки, над далекой хрустальной тайгой. Разбитая воротная башня сверху надвинулась на князя, раззявив беззубую пасть, как израненное деревянное чудовище. Конь всхрапывал, мотая башкой над убитыми, что целой кучей лежали в проходе. Не опуская хоругви, Михаил проехал под балкой ворот, вступая в

кровавые чертоги погибающего Пелыма.

Вогульский городок, погруженный в чашу из насыпей с частоколами, казалось, тянулся вверх, вставал на цыпочки, чтобы увидеть мир, закрытый стенами. Высокие дома-башни из врытых бревен венчались берестяными и кожаными шатрами. За изгородями на двух, трех, четырех столбах торчали амбары-сомъяхи. С выступавших стропил свисали длинные резные доски с колдовскими узорами, глядели вниз на узкие улочки звериные черепа. На тесных перекрестках корячились огромные идолы — не из обтесанных бревен, как у пермяков, а из цельных размоченных и выгнутых деревьев: с десятками рук, с оскаленными пастями, с ветвистыми рогами. Город нелепо и уродливо громоздился над людьми, а люди дрались друг с другом среди тысячи его ног.

И в драке уже не было никакого порядка, задуманного изначально. Каждый налетал на каждого и все на всех: резали, рубили, кололи и рассекали. Большие вогульские луки, клееные из березы и ели, были хороши на просторах редколесой янги, но не в кутерьме улочек; зато маленькие луки пермяков, задуманные для охоты в буреломах и чащобах, били толстыми стрелами среди столбов сомъяхов так же верно, как в парме. Длинные копья вогулов, привыкших с разгона конницей налетать на ошарашенного врага, не находили простора для удара, для разворота; а короткие, могучие пермяцкие копья с большими иззубренными листьями наконечников, что предназначались для плотной рукопашной стычки с медведем у берлоги, и среди стен так же верно пробивали ребра, вспарывали животы, как и в глухих ельниках. Вьюга бурлила в улочках, кружила людей, смешивала в единый общий рев мужские крики, хрипы, стоны, женские вопли, детский визг и плач. Свисту и вою ветра вторили треск и гул разгорающихся пожаров.

Князь с поднятой хоругвью медленно ехал по Пелыму, и его, словно заколдованного, никто не замечал, хотя убитые валились его коню под копыта, стрелы, пущенные в других, взрывали воздух возле его головы, а какой-то израненный человек повис на стремени и дергался, цепляясь за сапог князя, пока его кололи копьями в спину.

По городищу разбежались олени из разбитого загона; лаяли псы, хватая за ляжки; кричали женщины, разыскивая в свалке детей. Истоптанный снег алел лоскутьями и полосами крови. Из сугробов торчали ноги и руки мертвецов, стрелы, копья, мечи, рогатины. Трупы висели на заборах, высывались, застряв, из окошек, лежали на дороге. Кровь капала сверху, как дождик. Вьюга крутила и несла клочья одежды, шапки, рукавицы, пучки волос, обрывки шкур. Будто запасной инвентарь,

вывалившийся из опрокинутой телеги, валялись под ногами отрубленные руки и головы, разбрызганные мозги, полуразмотанные клубки человеческих внутренностей.

Князь знал, что увидит кровь и ужас битвы. Но вокруг него была не битва, когда заклятые враги скрещивают мечи. Вокруг него бушевал напрочь лишенный страха безумный пир. Так над тушей заваленного, но еще живого оленя пирует изголодавшаяся волчья стая, где волки выдирают из тела куски еще трепыхающегося мяса и рвут их друг у друга из зубов. Это было какое-то дикое, зверское камлание — и даже на крепостном валу плясал, пел и бил в бубен, как шаман, какой-то сумасшедший. Князь не мог понять, как же эти лесные охотники, что способны часами неподвижно выслеживать зверя, вдруг утратили свою вековую, опытом внушенную сдержанность и сами стали зверьми?

Вот ратник подбрасывает вверх, хохоча, ребенка и ловит его, пронзая насквозь, на бердыш. Вот за изгородью высовывается по пояс старик вогул и бережно насаживает на кол отрубленную голову, еще дергающую губами в беззвучном крике. Вот под амбаром пермяк насилует женщину, и та отдается ему с какой-то ненасытной алчностью, распаляя еще больше. Вот рядом другой охотник-пермяк, придавив коленями чьи-то елозящие ноги, вспарывает обнаженный живот, достает руками черную, дымящуюся печень и впивается в нее зубами. Вот посадский мужик на ходу смахивает мечом с плеч голову вогула и, пока безглавое тело еще бежит, за волосы кидает ее мертвецу в спину, сшибая с ног. Вот еще один дружинник ошалело стоит поперек дороги, разинув рот и скосив глаза на оперенье стрелы, что пронзила его ухо. Вот вогул и пермяк вместе с разных сторон яростно рубят по спине оленя, что упал между ними на передние ноги и кричит, пытаясь встать, — они хотят быстрее свалить его, чтобы кинуться друг на друга. Вот русский мужик сидит в сугробе и осторожно, чтобы не отвлекать, тянет из-под ног дерущихся бурые веревки своих кишок. А вот вдруг посреди бойни возвышается давно знакомый промысловик Кирюха и попросту с наслаждением пьет воду из деревянной бадейки.

«Михан, не ходи за Камень...» И князь обеими руками высоко держал древко хоругви, словно висел над обрывом на веревке, сброшенной ему с вечного, мудрого и доброго неба.

Строения расступились. Михаил выехал на састум — главную площадь Пелыма, обставленную идолами. Впереди высился заплот, ограждающий двор хозяина городища — хакана Асыки. На састуме, визжа, гарцевали уланы Исура. Несколько мужиков бревном били в запертые ворота. Ворота треснули и проломились. Татары взвыли, бросаясь к

пролому. Но тут из него, трубя, вырвались навстречу боевые лоси Асыковой дружины.

Огромные, горбоносые, бородатые, они летели вперед, ничего не видя, выбрасывая перед собой тонкие сухие ноги. Вогульские воины взревели, выставя копыта. Покатались в разные стороны смятые копытами мужики; заржав, повалились с разбитыми коленями татарские кони; несколько уланов взлетело из седел на остриях копий. Конь Михаила попятился.

И тут князь увидел, как в проеме ворот, тоже верхом на лосе, появился высокий человек с бледным безжизненным лицом, с длинными сивыми косами, с рогатым оленьим черепом вместо шлема. Это и был сам Асыка. Михаил помнил его. Мгновение два князя глядели друг на друга через площадь. А на площади, на састуме, бухарские кони вились вокруг югорских великанов. Михаил тверже перехватил хоругвь. Асыка взял свое копьё наперевес и послал лося напрямик на чердынского князя.

Михаил, не шевелясь, смотрел, как несется на него вогул, целя острием ему в грудь. Копьё Асыки не вздрагивало. Хоругвь колыхалась над Михаилом, сметая кистями снег с его непокрытой головы. Оба князя сидели в седлах совершенно прямо.

И вместе с Асыкой неслась на Михаила воля Каменных гор, над которыми он осмелился себя поставить. Неслась месть Вагирйомы, которой он не стал бояться, и судьба, богам которой он не поклонился. Неслась смерть, что подбиралась к нему, вышибая любимых людей, как на пермских пашнях камни выламывают зубья из бороны, и несло проклятие страшной любви, от которой он, Михаил, не пожелал отречься.

Но посредине пляшущей вьюги и буйства кровавого пира, чтобы самому не вовлечься в эту пляску, Михаилу надо было стоять неподвижно, лишь бы не пошатнулась хоругвь и серебряный медведь не уронил со спины книгу. Михаил и не двигался. «Михан, не ходи за Камень...»

И вдруг конная тень промелькнула между Михаилом и Асыкой. Асыка вылетел из седла, швырнув в небо копьё, и, ломая рога на шлеме-черепе, рухнул в снег. Это Исур опоясал вогульского князя арканом.

Глава 15

Беспощадная

Для православных били в мерзлой земле скудельницу и, схоронив, поставили огромный крест под кровлей. У князя Михаила осталось еще чуть больше сотни человек да с полсотни раненых. Из воевод убили Паклина. Зыряну пронзили плечо стрелой. Бурмоту при взятии ворот отсекали ниже локтя правую руку. На приступе больше всех полегло пермяков — они шли первыми. За стеной Пелыма им сложили костер, куда Михаил велел бросить и срубленные столбы крепостного тына с человеческими головами.

Теперь в крепости стояло чердынское войско. С одного края, где располагались амбары-сомьяхи и загон, Пелым обгорел, но пожар успели погасить. Хабар взяли большой: меха, моржовую и Мамонтову кость, арабские ткани, татарское оружие, бочонки с монетами, камни, посуду, ободранную с идолских личин, снадобья, что сибирцы привозили из дальних Заоблачных гор, из Индии, из города Камбалыка. Но для Михаила главным было то, что вогульский князь попал в плен и сейчас от зари до зари стоял на састуме, привязанный к идолу, на обозрение всем — стоял там, где его вышиб из седла аркан Исура. И в голове у идола торчал топор, всаженный по обух.

Смотреть на Асыку шли чердынцы, вятичи, соликамцы, шли вогулы, которые съехались со всей пелымской земли. Они раскинули свои чумы вокруг крепости, но их вылазки Михаил не боялся. Слишком велики были страх и уважение вогулов к хумляльту, чтобы они решились рискнуть его жизнью, даже ради того, чтобы выпустить его на свободу. Вогульские женщины забрали мертвецов из городища. Теперь вогулы ждали торго, чтобы откупить пленников. После этого пришельцы уйдут обратно за Каменные горы.

Босой, в порванной на груди рубахе, князь Асыка стоял на ветру, на морозе, но, казалось, не чувствовал стужи. Ветер забрасывал ему на лицо длинные сивые волосы. За день тамга примерзала к телу. Михаил глядел на вогульского князя, а вогульский князь глядел куда-то сквозь него и не говорил ни слова. Исур попытался узнать у Асыки, где его невеста, увезенная много лет назад. Асыка молчал, не замечая Исура. Исур в бешенстве начал стегать вогула нагайкой, и Михаил схватил его за руку. Асыка даже не посмотрел на князя и шибана.

Торг пришелся на ясный, морозный день. Для торга выбрали луговину на берегу Тавды, недалеко от крепости. Луговину серпом охватывала редкая березовая роща. Стволы берез на солнце золотились сквозь оплетающее их хрустальное кружево ветвей. На луговину пригнали пленников — и здоровых, и раненых, — с надетыми на шею веревочными петлями. Женщинами, стариками и детьми люди Каменных гор обычно не торговали: бабы и девки должны были невольницами идти за победителями, а прочих попросту прогнали. На луговину вытащили здоровенную еловую колоду, принесли дров, окружили торг нартами, где сидела стража с копьями и луками. По обычаю торг вели жены-вогулки. Их и пустили за линию охраны.

Под ноги Михаилу на утоптаный снег постелили ковер. Рядом с Михаилом стояли Исур, Калина и раненый Зырян, оперевшийся Калине о плечо. Торг начался. Толпа вогулов за оцеплением волновалась, переговаривалась, выглядывала родичей через головы стражи. Бабы-вогулки плакали, бросая охапки песцовых, соболиных, лисьих шкурок в лица пришельцев, державших в руках веревки. Освобожденные вогулы угрюмо брели к проходу между нартами, к свободе. Какой-то старик тонко кричал в толпе:

«Хортхан, пыг, осьёмасулум олэн, осьёмасулум олэн!..» Растрепанная женщина, завывая, валялась в снегу, ловя сапог ратника-чердынца: ей не хватало на выкуп. Мальчик-подросток влез на березу и крикнул: «Ась, ам нур вингкве!» — и пожилой вогул-охотник, мрачно сидевший на нартах, швырнул в него палкой. Князь отвернулся. Ему хотелось выблевать свою победу, как тухлое мясо.

Когда медное солнце звякнуло о тавдинский лед, а синие тени стрельнули по снегу от стволов, торг завершился. Невыкупленными остались шестнадцать вогулов. То ли они не имели родичей, то ли их родичи не могли заплатить. Вогулы-пленники стояли посреди опустевшей, истоптанной поляны с погасшими, помертвелыми глазами и неподвижными лицами.

— А с этими что вы делаете? — спросил Михаил Зыряна.

Брать их с собой как невольников не имело смысла — убегут, а если связать, то замерзнут. И отпустить было нельзя.

— Тэли эри алунгкве, — по-вогульски сказал Зырян. — Зимний закон.

Зырян выпрямился, отпустив плечо Калины, и со звоном ударил над головой мечом по оковке щита. И вогулы, и пермяки, и даже русские замерли, предчувствуя что-то важное, тяжелое, страшное.

— Койп сорум! — крикнул Зырян и повторил для всех: — Тэли эри

алунгкве!

В толпе вогулов завопили бабы. Несколько женщин кинулись к проходу в оцеплении — их пропустили. Они вцепились в мужчин, одеревеневших, словно идола. Какой-то вогул, властно отодвинув стражника с дороги, подошел к толпе обреченных и остановился возле высокого, смертельно бледного парня. Распустив петлю на его шее, он стащил веревку, оттолкнул парня в сторону и сам занял его место, надев петлю на себя. Зырян молчал, сузив глаза; лицо его было напряженным, будто на пытке.

— Это Вангын, их знаменитый охотник, — пояснил Михаилу Калина. — А парень — его младший брат. Вангын вдовец, а у брата жена и детей целый хонт...

Другой молодой вогул из пленников что-то крикнул Зыряну, и Зырян, отвернувшись, махнул рукой. Стражник-пермяк пошел к толпе молодух-невольниц и вытащил какую-то девушку.

— Прощаться хочет, — спокойно сказал Калина. — Ему — в рай, по их понятиям, а ей — в ад, в неволю.

Девушка плакала, вцепившись в малицу на груди вогула. Парень неловко прижался щекой к ее мокрым глазам, погладил по голове, обнял. Почти незаметный рывок могучего плеча — и девушка вдруг, как лента, тихо стекла на снег к его ногам. Вогулы за оцеплением завопили, стражники с копьями кинулись к убийце. Тот стоял спокойно, опустив голову, уронив руки. Он первым и пошел к огромной колоде, в которую был воткнут широкий лесорубный топор.

Подталкиваемые копьями стражников, невыкупленные пленники тоже потянулись к плахе. Молодой вогул одной рукой выдернул крепко всаженный топор, протянул его ближайшему товарищу, встал на колени и положил голову на колоду.

— Зачем это? — спросил Михаил, чувствуя, как жуть высасывает из него тепло.

— Зимний закон, — тихо сказал Калина.

Зырян повернулся к Михаилу. Глаза его слезились от ветра.

— Бывает, что ни жена, ни отец, ни сын не могут собрать выкупа, — прохрипел он. — Бывает, и весь павыл не может... А народ может всегда. Если они забывают об этом, то сами себя и казнят...

Топор поднялся, тускло блеснув на закатном солнце, и канул вниз, тупо впившись в колоду. Голова вогула отскочила в снег, а тело дернуло руками, загребло ногами, точно стараясь доползти до головы, и боком повалилось. От звука удара стражники вздрогнули, а по толпе вогулов

прокатился дружный вздох, похожий на всхлип.

Тот вогул, что отрубил голову, выдернул топор, подал его следующему и сам встал у колоды на колени. Топор взлетал и падал. Черно-кровавые, облепленные волосами и снегом головы раскатились возле плахи. Бледные, злые стражники за руки и за ноги оттаскивали истекающие кровью обезглавленные трупы. В тишине, воцарившейся над лобным местом, слышны были только свист топора, тюканье удара, хрип, шорох разворошенного снега и хруст шагов. Плаха сверкала от крови, черная, как уголь. Вокруг нее кровь пропитала и смяла снег в комья. Кровавые борозды, оставленные оттаскиваемыми телами, лучами оцетинили плаху. Следы стражников, что волочили мертвецов, тоже были багровыми.

Кровавый дым колыхался в глазах князя. Казнь была страшнее любого боя. Тюканье топора горячей болью ударяло в виски: сердце дергалось так же редко и мерно, как пленные вогулы вонзали в плаху топор, казня друг друга. Сквозь багровую мглу Михаилу алели следы стражников, и он снова вспоминал кровавые следы санных полозьев на снегу улочек Усть-Выма. И Михаилу казалось, что он опять отдал бы отца, брата, Полюда, себя самого — лишь бы никогда больше люди и нарты не оставляли таких следов. Михаил поднял голову и взглянул на Асыку, все это время сидевшего неподалеку в санях и привязанного к шесту. Вогульский князь, сощурившись, со спокойной усмешкой смотрел на все укорачивающуюся цепочку приговоренных.

Михаил перевел взгляд на Калину, который нервно скреб и драл со скулы клочья бороды.

У плахи оставался последний человек. Отрубив голову, он беспомощно оглянулся на Зыряна, словно искал поддержки.

— Князь, этого должен кончить ты, — твердо и негромко произнес Зырян. — Ты — победитель.

Топор палача застучал в висках князя в сто раз быстрее.

— Я не кат, — осипнув, ответил Михаил.

— Ты — только топор. Кат — судьба.

Глаза Зыряна были точно ледяные.

— Иди, — велел Михаилу Калина. — Сумел устоять в Пелыме, когда на тебя Асыка с копьем летел, — сумей и сейчас. Это их земля, их закон.

От плахи на князя угрюмо смотрел вогул. Пристально, испытующе смотрел на Михаила Асыка — смотрел второй раз в жизни. Связанный, он и сейчас нес Михаилу смерть. Все — и свои, и чужие — смотрели на Михаила.

Качнувшись, князь в дыму двинулся к плахе. В душе его все корчилося

и чернело. Взгляд Асыки был как копье, на острие которого вогул переносил Михаила с места на место. Асыка был словно движущей силой Михаила. Не то чтобы чердынский князь хотел показать пелымскому, что может ничем не уступить ему в суровости духа. Сам того не осознав, Михаил хотел дать понять, что владеет беспощадным оружием врага, а потому уже равен ему в силе. Но у него есть и другое оружие, какого нет у Асыки, — его вера в Христа. И значит, он сильнее.

Михаил выдернул топор из колоды, ощутив его тяжесть и тепло ладоней тех, кто уже остывал на снегу. Пленник молча встал на колени и уткнулся лбом. Комья красно-бурого снега сминались под сапогами князя, истекая розовой водой. Михаил глядел на мощную, жилистую, смуглую шею пленника, которую ему предстояло перерубить. «Отрубить голову человеку не труднее, чем отрубить сук...» — подумал Михаил, ощущая, что эта мысль пришла откуда-то из-за черты умопомрачения. Михаил видел, как дико напряглись лопатки вогула, буграми вздулись мускулы на плечах, набухли вены и пальцы судорожно вцепились в края колоды, точно вогула отрывали от нее. Взглядом отметив линию — как всадить лезвие, — Михаил поднял над головой неимоверно тяжелый топор и во вспышке облегчения обрушил его вниз.

...Этой ночью он не смог заснуть. Не то чтобы ему вспоминалось, как отскочила, перевернувшись, голова казненного, а на ее лбу отпечатался след крови, пропитавшей плаху, и тело дернулось вслед за головой, распрямляя ноги. Нет, это воспоминание пошло в черный погреб к другим подобным, которые тихо тлели всю жизнь, но сейчас разгорелись, разворошенные событиями этого похода. Михаилу не давало заснуть что-то другое. Он не мог заснуть, словно не мог найти дверь в сон, как в слепом буране однажды не мог найти дверь в избу, шаря обмороженными руками по заледеневшим бревнам. Князь встал и вышел во двор, побрел по заснеженной улочке Пелыма, кутаясь в зипун, забыв надеть шапку.

В воротах, на взятии которых Бурмот потерял руку, горел костер, грелись караульные. С ними на бревне сидел Калина, держал в зубах почерневший рог с вогульским курением — саром, сушеной мятой. Михаил опустился рядом, глядя в огонь.

— Слышь, Калина, — наконец сказал он. — Хотя я на кумирнях не камлаю, но не христианин я. Я своих людей любить не могу... Знаю, русские не хуже пермяков и вогулов чужую кровь льют. Но ведь льют и знают, что это — грех. А у них совсем не то... Я ведь только последнему голову снес, а прочие головы они сами себе поотрубали. Разве православный сделал бы так? Они, понимаешь, для сердца моего — как

глина для брюха. Вроде люди как люди, что в Твери, то и в Перми, и вдруг видишь, что они совсем иные, а какие — мне никогда не понять. Как же мне, князю, к своему народу путь найти? Как нам, русичам, с ними ужиться? Как же, в конце концов, людей любить, не этих или тех, а всех?

Калина сплюнул длинной желтой вожжой.

— Полюд же смог, — сказал он.

— Научи как. Не хочу жить зря.

— Они, Миша, свою жизнь по своим богам делают, свою душу по их душе меряют, а боги их — из земли.

Коли ты в Христа веруешь воистину и людей любить хочешь, то люби их землю. Корнями и кровью своей в нее врасти. А через землю уж и людей сможешь полюбить.

Михаил молчал.

— Отец мой, брат и сын уже в этой земле — вот и корень. А кровь... Опять кровь, Калина? Я устал от крови.

— Так мы ж, люди, без крови ничего не умеем. Привыкай.

На другой день после торга войско князя Михаила вышло в обратный путь, оставив вогулам разоренный Пелым. Михаил предчувствовал, что обратный путь будет куда труднее, чем путь вперед. Пелым щедро расплатился хабаром, но вот съестным разжиться не удалось. Запасы сгорели во время приступа. И еще не хватало оленей, слишком велик стал обоз, отягощенный ранеными и добычей. Стылая дорога Тавды не сулила добра.

От Пелыма за войском увязались волчьи стаи, сытно отожравшиеся на мертвецах и падали. Каждую ночь у табунов выставляли охрану, и все равно волки рвали оленей. На первых же переходах стали падать кони. Хотя конь и сильнее оленя, югорская зима губила его раньше. Не проходило утра, чтобы на высокое дерево не вывешивали новую гробовую колодину, закрытую берестой, — это умирали раненые. Сквозь вьюгу и стужу люди шли впроголодь, не отдохнув за ночь, — истомившиеся по женам мужчины изнуряли себя любовью пленниц. А приходилось торопиться, потому что под снегом уже ползла в Югру весна, и последние бураны клекотали в ущельях ледяных рек, как ее прибой.

Целыми днями Михаил молча и угрюмо сидел в седле, не глядя по сторонам. Конь его хромал вслед за нартами, что везли раненого Бурмота. Князь видел, как тает его войско, падает дух людей, но ничего не мог поделать. Что-то главное было утрачено, а может, этого главного и не существовало вовсе. Михаил присматривался к Асыке, который мерно

шаркал лыжами, привязанный к хвосту своего коня Няты, смотрел и думал: неужели все, что было, совершилось лишь затем, чтобы на этого человека надменно любовался далекий московский князь?

На слиянии Лозьвы и Сосьвы войско простояло три дня, застигнутое бурей. Мерзли в шатрах, в переполненных чумах, грызли струганину, не в силах развести огонь. Когда распогодилось, увидели: ветер повалил несколько чумов с ранеными, и те задохнулись. Двое воинов замерзли, трое потерялись. Коней, кроме Няты, вообще не нашли. Пропала половина оленей. «Михан, не ходи за Камень», — все вспоминал и вспоминал Михаил, шагая по снежной борозде на лозьвинском льду.

По берегам Лозьвы павылы и крепостицы стояли брошенные, заметенные снегом. Крыши домов были сняты, стены раскатаны по бревнам, амбары пусты. Негде было укрыться от ветра и стужи. А когда добрались до Учимьи, в уцелевшей землянке нашли две бочки соленой медвежатины. Князь не успел остановить: шедшие впереди пермяки уже обожрались. Медвежатиная оказалась отравленной. Еще семь гробов повисло на сучьях старой березы у лозьвинского крутояра. Михаил подсчитал: у него оставалось восемьдесят шесть человек на ногах и три десятка раненых. Оленей было втрое меньше, чем требовалось.

В павыле Верваль взбунтовался отряд из Искора: весна на подходе, кругом вогулы, жрать нечего, и камнем на шее висят раненые и хабар. Зырян, мол, искорцам не князь, и Михаил не князь; был бы здесь Качаим Искорский — его бы послушались, а сын его, Бурмот Однорукий, считай, уже покойник. Два десятка искорцев бросили войско и одни, налегке, ушли вперед. Так еще можно было выжить. Войско же поползло своим чередом. Искорцев нагнали у павыла Лангур. Стоямя вмороженные в лед, они частоколом перегораживали Лозьву.

— Это лозьвинские вогулы нас предостерегают, — сказал Зырян. — Через Лозьвинск нам не пройти.

— Надо сворачивать на тот путь, которым шел князь Васька, — утирая кровь с лопнувших обмороженных губ, сказал Калина. — Ну, Зырна, веди нас...

От Лачи свернули на воргу, уводящую с Лозьвы на Сосьву. В буреломах и криволесье погибли последние олени. На Сосьву нарты вытащили бечевой. С обозом и без оленей двигаться дальше было невозможно. Из тягла остался один Нята князя Асыки.

— Не дай, Миш, народу вогульского коня слопать, — тихо посоветовал Калина. — Брешут, Нята заговорный конь. Коли его сгубят, Асыку до Москвы не довезешь.

Войско собралось на совет. Люди были мрачные, ожесточенные. Михаил почувствовал, что древняя воинская мудрость пермяков знает пути спасения, но требуется человек, который подтолкнул бы прочих вперед по этой страшной ворге судьбы. Сизые весенние тучи громоздились над сумрачной янгой. Черные, ободранные вершины мертвых елей бороздили брюхо утекающему на север небу. Желтыми полосами сукровицы сочился солнечный свет.

— Зимний закон! — сказал Зырян молчавшему войску.

Князь измученно сидел на нартах Бурмота и даже не глядел, как рубят прорубь. В душе Михаила не было ужаса. Он слишком присмотрелся, притерся к смерти. Была только тоска, торчавшая голо и остро, как ободранные вершины янги в облаках. Конечно, они не убийцы. Убийца — судьба. Убийцы — холод, голод, весна, вогулы. «А может, и я убийца, — равнодушно думал Михаил. — Ведь это я повел их на Пелым... А может, убийца — Великий князь Московский, которому обжег руки не целованный вогулами крест? А впрочем, ничто уже не важно...» И ощущение жестокого, не-христово мудрого милосердия древних богов Каменных гор прохладой остудило тлеющее болью сердце князя.

Сначала в черную воду Сосьвы — Тагта спустили тех раненых, что были без сознания. Пермяки быстро вталкивали их под урез льда, словно прятали. Потом понесли к проруби и прочих — исколотых, изрубленных, увечных, обмороженных, больных. Некоторые из них снимали одежду, оставляя живым. Так же, как у плахи на торгу, обреченные не сопротивлялись — помогали друг другу. Михаил сидел, отвернувшись, и слушал. Шаги, скрип снега, несколько негромких слов, всплеск — и все снова.

Тяжесть ладони на плече качнула князя. Это Бурмот грузно поднимался на ноги, прижимая к груди укоротившуюся руку.

— А мне, Михан, раньше тебя нельзя, — просипел он.

— Как, князь, о своих единоверцах прикажешь? — спросил Зырян.

Михаил оглянулся. Поддерживая друг друга, несколько русских мужиков стояли у проруби. Зипуны валялись на льду. Ветер трепал отросшие волосы, бороды, надувал пузырями грязные рубахи в бурых пятнах запекшейся крови.

— Не бойсь, княже, — прогудел в бороду угрюмый, косматый мужик с гноящимися язвами на распухшей шее — солевар. — Мы теперь своим не кормильцы, незачем и небо коптить. Сами уйдем. Баб наших и деток не оставь, а то с того света вернемся... Прощай.

Перекрестившись, он тяжело сел на краю проруби, спустил в воду

ноги, вздохнул и соскользнул вниз. Михаил видел, как на каждый всплеск Калина кладет на грудь крест, шепча молитву.

Лишние нарты и ненужные вещи оставили у проруби, в которой плавала шапка. Впрягшись в постромки, люди тронулись дальше, вверх по Сосьве, — туда, где в мглистом небе темнели Каменные горы.

Шли медленно, еле волоча ноги, выбивались из сил и мерзли, падали и подымались, но не бросали хабар. Хабар теперь был единственным оправданием всех жертв и помощью тем, кто никогда не дождетсЯ отцов, мужей, сыновей, братьев. Длинной цепочкой войско вилось вместе с извивами реки. В общем строю шли и князь, и его воеводы — Калина и Зырян, поддерживавшие ослабевшего Бурмота. Грудью навалившись на лямку, пер нарты Исур, которому гордость не позволяла вернуться без добычи. Хлопая треснувшей лыжей, брел пленный Асыка, за все время плена не сказавший ни слова. Шатаясь, тащились невольницы, связанные одной веревкой. Истекая жизнями, войско упрямо продвигалось к горам.

С Сосьвы свернули на Шегультан и под Ялпынгом, святой горой, встретили первые ростепели. Дорогой случайно нашли две берлоги, жевали медвежатину, убили сохатого. На истоке Сольвы пермяки поставили идола и зарезали одну невольницу в жертву, чтобы Ялпынг сберег их на пути домой. Ночью окровавленный труп женщины утащили волки. Ялпынг жертвы не получил. Но люди пошли дальше.

Днем все раскисало и таяло. Снег налипал на лыжи и полозья нарт. Наст резал обувь и ремни. Ночью все застывало обратно, и спящие люди смерзались одеждой. Костров почти не жгли, не было сил. Сползли с гор к речке Кутим и добрались до Улса в день Николы Вешнего. Лед на Улсе потемнел, продавился, сверху бежала вода. Один день попробовали идти по реке, но вымокли, начали проваливаться и решили встать на берегу, ждать ледохода. Пробриться сквозь лес никто и не помышлял.

Ледохода ждали почти неделю. Глодали ветви, кору, выкапывали из-под снега мох и мороженую морошку, жевали кожу упряжей и чумов. Силками поймали несколько мышей, белок, бурундуков, съели вместе со шкурками. Стрелами били зимородков и глухарей. Однажды к Михаилу пришли несколько пермяков. Они плакали и кричали, падая князю в ноги, что нет больше сил терпеть голод, и они съедят либо Няту, либо вогулку-невольницу.

— Жрите бабу, — сказал им Калина, и пермяки убили и съели женщину.

— Думаешь, вогульские болота Янкалма почему называются болотами людоедов? — спросил у князя Калина. — Думаешь, там живут чудища-

менгквы с деревянными зубами? Такие же люди там живут, только сыроядцы, а потому и отвергнуты своими. Вогулы чаще пермяков в набег ходят, чаще и мучаются, как мы сейчас. Кто из них утерпеть не сможет, отведаёт человечины, тот и уходит жить на Янгалмы. Пермяки таких у себя на Каму, на Дымное болото гонят, где, по их вере, живет огненный ящер Гондыр. Эти туда же уйдут.

Но однажды вечером Улс вдруг по всей длине треснул со страшным грохотом, начал мяться и ломаться; ледяные поля вспучивались и лопались. Князь велел рубить плоты. Воодушевленные люди всю ночь работали при свете костров, время от времени останавливаясь и прислушиваясь, как шуршит, рокошет и хрустит ледоход. Наутро на плотях пустились вниз по течению.

Надо было, конечно, переждать первый вал, но терпение истощилось. Плоты плыли по вышедшей из берегов реке, ударялись о скалы и камни, вертелись на водоворотах, качались в порогах. Приходилось рубить лесные завалы, слегами ворошить ледовые заторы, лезть в воду, целыми днями на холодном ветру работать в насквозь мокрой одежде. Не обошлось без погибших, но теперь близость возвращения утравила силы.

Улс вынес плоты в Вишеру, по которой, сталкиваясь, плыли целые горы льда. Весеннее небо сияло над головами. Мелькали заснеженные берега, вздыбив пласты обломленных льдин, нагроможденных друг на друга. Из почерневших лесов неслись ручьи. Водопадики, дробясь, рушились с утесов, расцвечивая серый камень переливчатыми радугами. Низины и устья притоков затопило докуда хватало глаз. Вместе с половодьем войско катилось вниз по течению. Когда через несколько дней жители Акчима увидели, что от реки к воротам их крепостицы поднимаются мокрые, изможденные, оборванные и обросшие люди, то никто не поверил сразу, что это возвращаются победители.

Уже в начале лета, отдохнув и оправившись, остатки отряда князя Михаила приближались к Чердыни. У Ветлана простились с Исуром, соликамцами и вятичами и отправились по тракту мимо Полюдовой горы. Михаил и Бурмот поднялись на ее вершину, постояли в молчании среди белых, изъеденных временем камней. Глядя на волны пармы, синеющие до окоема, Михаил думал, что в страшной вогульской ночи его похода ему по-прежнему, хоть незаметно, но верно, светил огонек, зажженный здесь Полюдом. На этот огонек они и шли. Из расселины все так же торчал меч Полюда, уже заржавевший. Михаил подержался за рукоять, словно поздоровался. Бурмот отвернулся. Ему теперь нечем было здороваться.

Целая толпа высыпала к переправе из острожка и городища Чердыни. Михаил плыл через Колву, стоя на носу передней барки. Он держал хоругвь, тяжело качавшуюся на ветру. По алому полю серебряный медведь нес на спине книгу и крест.

Тиче среди встречавших не было. Она налетела на князя только в темных сенях терема, когда Михаил со своего крыльца простился с народом и закрыл за собой дверь. Волосы, руки, губы, шепот, тепло, слезы, смех — все это разом, как вихрь, охватило князя, и вдруг в груди так ударило сердце, что Михаил покачнулся. Ничего не видя, он держал Тиче в руках и тоже целовал, что-то бессвязно бормотал, чувствуя, как силы хлынули из него прочь, словно кровь из вскрытых вен. Только сейчас, когда под его ладонями вздрагивали острые лопатки жены, когда ее груди двумя языками жара опалили его грудь даже сквозь кольчугу, когда уже никто не мог увидеть, как смялось его лицо в ранних морщинах, он почувствовал, что вернулся, вернулся, вернулся. И будто грязь с тела, потекла с души чужая запекшаяся кровь, от которой он так страшно устал.

А потом было бледно-голубое северное лето, беззакатно лучившееся сквозь щели между ставен, которые были закрыты даже днем. И бревенчатые стены оплывали янтарной смолой от зноя любви, не имевшей конца, забывшей обо всем — о днях и ночах, о людях и нелюдях. И была сумасшедшая, яростно желанная, ненасытная, греховная и святая нагота жены, и буря ее разметанных волос, летящих рук и ног, яд окровавленных ведьмачьих губ. Кровь тех поцелуев на вкус была полна пьяных соков зацветающей земли, чья древняя сила огнем текла сквозь звонкое тело ламии. А когда Тиче задыхалась от густого звериного хрипа, Михаил видел ее счастливые, горящие во тьме глаза, и его слепил горячий блеск мокрых плеч. А если он сам валился в изнеможении, то Тиче бысстыдно и беспощадно сдавливала его душу своей жаждой и мукой и неведомой властью вновь возрождала его для любви.

И лишь потом, когда ревущее половодье схлынуло и смыло всю тяжесть былого, князь увидел детей — Матвея и Аннушку, сходил на могилы Ивана-младенца и Васьки, отстоял молебен, разыскал вдов и сделал многое другое, чего от него как от князя ждали люди. А посреди лета к нему приперся разжиревший за зиму Данила Венец и показал грамотку, в которой Великий князь Московский Иван повелевал доставить «полоненного гогоulichа Асыка» пред его светлые очи.

Асыка сидел в погребе на цепи. Ухаживал за ним присланный Ионой монах. На Прокопьев день Михаил забрал у него ключ и вместе с Тиче пошел к погребу. Они спустились в сырую и холодную яму по склизким

ступенькам приставной лестницы. Михаил держал в руке пучок лучин, мутно освещавших заплесневелые бревенчатые устои и балки. Асыка, навалясь на стену спиной, сидел на куче гнилой соломы. Его правую ногу охватывало ржавое кольцо, цепью соединенное с таким же кольцом на столбе. Асыка оброс, исхудал, но властные и суровые складки, рассекавшие лицо, рубцами обозначившие в красном полумраке его высокие скулы, говорили, что вогул не потерял ничего — ни страсти, ни силы, ни лютости. Тиче сзади схватила Михаила за локоть. Асыка из-под бровей глянул на вошедших. И тотчас, соприкоснувшись со взглядом вогула, Михаил почувствовал, будто паутина изморози оплетает и его, и Тиче. Михаил оглянулся на жену. Приоткрыв рот, Тиче смотрела на вогула черными, расширенными, неподвижными глазами. Михаил подтолкнул ее, словно спящую. Не сказав ни слова, Тиче развернулась и полезла вверх по лесенке.

Эта встреча оставила в душе князя тяжелую, холодную тревогу. И вновь припомнилось, как Тиче пять лет назад сбежала от него. Где она была? Где? Где?

— Михан... — ночью шептала Тиче. — Скажи мне, ты опять уходишь?

— Я повезу Асыку в Москву, — признался князь.

— Не бросай меня, Михан... Я боюсь... Я очень боюсь одна... Ты не знаешь, как я жила, когда ты ходил на Пелым... Они все страшатся меня, избегают меня. Никто не навещал меня без тебя, никто со мной не говорил. Я ходила ночью на вежу и звала тебя, я хотела, чтобы зимняя вьюга донесла до тебя мою тоску через самые высокие горы. Но если бы я замерзла там, на юру, никто бы ко мне даже не прикоснулся. Ты один меня любишь, только ты меня не боишься. Даже дети меня оставили — мой сын пропадает с твоими гриднями, а моя дочь слушает сказки нянек в их закуте. Ты последний у меня, Михан... Не покидай меня...

— Я не могу не ехать, родная моя... Боюсь, Венец не довезет Асыку до Москвы, упустит, а княжий гнев падет на мою голову. Но я могу взять тебя с собой.

Они выплыли из Чердыни на двух больших барках. На первой — Михаил, Тиче, Калина и ратники. На второй — Асыка с Нятой, Венец и Ничейка, услужавший Венцу. Дьяк тащил с собой тюки нажитого добра. Пил, блудил, а — видишь ты! — мошну не забывал.

В Бондюге простояли день, отдыхали. Михаил и Тиче ходили к священной березе, у которой когда-то, давным-давно, тысячу лет назад, свела их судьба. Огромная береза могуче раскорячилась в небе и гудела под ветром, все еще зеленая, живая. Михаил вспомнил, как тогда, на празднике

Возвращения Птиц, Тиче танцевала с ветками в руках, в шапочке с длинными, до колен, ушами... «На широких крыльях песни унесу вас в край преданий...» — кажется, эти слова звучали той весной?

Плыли дальше вверх по Каме, встречали купеческие расшивы, пыжи пермяков. Небо то хмурилось, то сияло. Древняя река неспешно шла сквозь парму, желтела отмелями, чернела омутами, подмывала обрывы, поила луга, расплеталась извилистыми протоками, старицами и сплеталась вновь. Темным таежным урочищем проплыло устье Кельтьмы; остались позади облака мертвой мглы над Дымными болотами. Над водой на осыпающихся крутоярах наклонялись полуистлевшие идолы вымерших городищ; на веревях сквозь буреломы вдруг проглядывала круглая макушка могильного кургана; на плесах задолго до деревень начинало пахнуть дымом и слышался собачий лай.

Остановившись в Уросе, вдруг увидели, что снизу их догоняет татарская шибаса: перышком белел вдали парус, соломинками взблескивали весла. Дождались. Оказалось, это Исур решил присоединиться к каравану Михаила. Был Исур какой-то мрачный, отмалчивался. Уросский князь Мичкин сказал Михаилу, что на верхней Каме, ожидая казанцев, переполошились вотяки и черемисы. Михаил понял, что Исур покинул Афкуль именно из-за этого. От Уроса, на сваях стоявшего по колено в реке, три судна поплыли дальше, убегая от осени.

Лешан, Лупья, Весляна, Чикурья, Сейва, Порыш, Пыелка, Кужва... Кай-городок увидели издалека, и князь удивился, как быстро и основательно обстроился торговый люд. На взгорье стояла крепостица с тынами и башнями, уже распираемая изнутри толстобокими купецкими амбарами. Среди хором даже церковка была как репа — бочкастенькая, с пузатенькими главками. На рочах полно скотины; по берегам вверх брюхом лежат расшивы, пришедшие весной с товаром с низовий и теперь ждущие октябрьских паводков, чтобы укатиться обратно в Пермь Великую. У причалов торчал целый лесок мачт. Волок был выстлан бревнами, и рядом с ним громоздились огромные просмоленные ворота. И не подумаешь, что совсем недавно сидел здесь на берегу один-одинешенек леший Висел и свистел от скуки в камышовую дудку.

Кайгородцы встретили князя поначалу радостно, а потом приуныли. Они думали, князь к ним с войском на защиту идет. Десять дней назад в Кай из Вятки прибежал человек и рассказал, что казанские татары осадили город, пожгли посад, разорили земли.

— Ты знал об этом? — спросил Михаил Исура.

Тот сплюнул.

— Знал, что хотят, да верил, что не станут.

Оседлав коней, отряд Исура поскакал в Вятку по просеке волока. Отпросился и утряхал за ними на ледащей кобыле Ничейка — епископов доглядчик. Михаил с прочими остался в Кае ждать.

Через две недели Исур вернулся; лицо — черное.

— Под Вяткой стоит темник Талдак, старый враг моего отца, — сказал он. — Казанцы с вогулами союзники. Талдак, собака, говорит, что оставит город, если ты выпустишь Асыку.

Михаил затворился в горнице, лег на топчан, стал думать. За что же судьба так жестоко над ним смеется? Стоило ли Пелым своей кровью заливать, чтобы под Вяткой тебя самого в выгребную яму окунули? Тиче опустилась рядом с князем, гладила его волосы, пальцем вела по резким морщинам на лице. Михаил сел так порывисто, что она испуганно отпрянула.

— Не князь я, а кровавый шут, — глухо сказал Михаил.

Он вышел и хлопнул дверью.

Ночью Тиче не пришла к нему. Тогда он потребовал браги и напился так, что уснул на крыльце. Утром караульные оттащили его в горницу. Он снова велел нести жбан. Так же и на третий день.

Третьей ночью его, шатающегося, пьяного, разом исхудавшего, Калина поймал на улочке Кая.

— Опомнись, князь! — Он потряс Михаила и прислонил к заплоту. — Где же честь твоя!..

— К бесу!.. — прохрипел Михаил, вытаскивая меч. — С дороги, дурак!.. Кто я для него, драный лапоть, что ли? — Михаил махнул мечом в сторону креста, черневшего над церковкой во звездах. — За что головы рубили? За что душу свою я истуканам продал? Крови-то сколько, боже ж ты мой! А там все пусто! Для него кровь что роса, ни цены ей, ни памяти!

— Кровь, князь, в землю уходит, а к нему... Да чего с тобой, с таким, разговаривать!

— Все я понимаю! — прорычал Михаил, отталкивая Калину. — Москве на пермскую кровь плевать, Чердыни на вогульскую, Казани на вятскую!.. Пропадай все пропадом!

Михаил побежал по улочке, мотаясь от забора к забору, заплетаясь ногами в крапиве, чиркая мечом по бревнам и доскам. Калина пошел за ним.

Князь ввалился во двор дома, где гостевал, и устремился к погребу.

— Прочь! — Он пинком погнал караулившего дверь Ничейку.

Сломав меч, он выдернул из косяка запертую на всякий замок

щеколду и распахнул дверь.

— Выходи! — крикнул он в темноту, в яму.

Асыка не спеша поднялся по лестнице и вышел под звездный свет. Не глядя, он, как холопу, уверенно протянул Михаилу связанные руки.

— Пасия, Васыка, — спокойно сказал он Калине.

Михаил — пьяный, растрепанный, жалкий, — обломком меча пилил веревки между запястий вогула, держась левой рукой за локоть Асыки, чтобы не упасть.

— И ты, хакан, здравствуй, — нехотя ответил Калина.

— Нята, — без выражения приказал вогул.

Словно по волшебству, беззвучно отворились загородки конюшни. Из сумрака вышла Тиче, ведя в поводу оседланного и снаряженного в дорогу Няту. Конь фыркнул, закивал, узнав хозяина.

Отстранив Михаила, Асыка шагнул к Няте и единым движением очутился в седле. Оглядев хмурого Калину, обомлевшего Михаила, бледную Тиче, он негромко и властно произнес:

— Йингкве тыг.

Тиче медленно двинулась к нему. У нее были черные, расширенные глаза ламии. Асыка наклонился, ловко обхватил Тиче за талию и рывком вздернул вверх, усаживая перед собой. Нята тряхнул гривой, повернулся и побежал к раскрытым воротам.

Михаил, мгновенно протрезвев, стоял посреди двора и потрясенно смотрел на пустую улочку. Калина помялся и устало хлопнул его по спине.

— Пойдем, княже, в дом, — сказал он.

Михаил провел ладонью по лицу и обернулся. Калина грустно ухмыльнулся и кивнул, отвечая на его безмолвный вопрос.

Глава 16

На чужом пиру похмелье

Венец пьянствовал потому, что здесь ему было скучно, здесь ему было тесно, здесь ему было унижительно от своего бессилья — да вообще: здесь все было не по нему. Разве ж это город — два десятка кривых замшелых изб, крытых берестой и врытых в землю, да летние чумы вокруг? Разве ж это крепость — щетка черных кривых частоколов с черепами, грязным колтуном торчащая на темени скалистой горы среди неоглядных лесов? Разве ж это вера — чужезычное бормотанье в тесной и низкой часовне, вокруг которой кумирня с идолами и алтарями, где сам Христос — только сто первый божок? Разве ж это жизнь — до веку с луком и ножом по буреломам и раз в месяц не ласковые, а жадные и сильные, как клещи ката, объятия изголодавшейся жены? Вокруг разметнулись бескрайние земли, горы, реки, дикая парма, и что значили для них крохотные людские селения или даже целые народы, развеявшиеся в них, как горсть песка? Огромный, великий простор со всех сторон давил душу Венца, и от этого дьяку казалось, что все прочее сжимается, мельчает, теряет смысл.

Здесь было мало солнца, здесь полночь дышала стужей, а зима запирала в избе, как в тюрьме. Здесь росли деревья, которые надо рубить всей деревней, а горы, на которых можно поставить Суздаль или Рязань, даже не имели названий. Здесь реки текли неизвестно откуда, и всюду слышался гул движения чужих и страшных богов — под землей, где ручьи рокотали в пещерах; в неоглядных лесах; среди гор, где застыли чудища-скалы, живые, но живущие нечеловечески медленно; в небе, где над снегами полощутся отсветы костров чудских владык. Здесь и сами люди жили в вечности: спокойные, молчаливые люди с непонятными глазами и древней кровью — они, словно бы слегка прижмурясь на свет, выходили из мрака в звездное свечение и, постояв немного, так же молча уходили во мрак.

Где Русь с ее колокольнями и перезвонами, с пажитями, деревушками и городами, с псовыми охотами во ржи, с теремами и кружалами, с хороводами, Масленицей и крестным ходом, с дьяком Антипой, веселым паскудником и пьяницей, с боярином Ромодановским, что в кулачном бою валил замоскворецких целыми рядами, с Илюхой-сокольничим, с которым вместе запирали девок в банях Китай-города, с Ибрагишкой-цыганом и жеребцом Пересветом, с алой татарской кровью на сабле, со вкусом бабьих

слез на сеновале под соловьиной березой, с полячкой Оксаной, которая, нагая, со свечой в белой руке, шла открывать дверь на тихий условный стук...

«Дорого я заплатил за твою любовь, Аксюта-Оксана, — думал Венец. — Великий князь и кару великую выдумал: сослал на край света в страну великанов, в эту чужеречую, тысячеречую, синелесую, камнегорую землю. Я неплохо жил там, на Руси, да и здесь потешился. Сытно ел и вволю пил; у епископа и разносолы, и сладенькое водится, а Ничейка всегда хмельного достанет. Сколько бесстыжих девок пермских в постелях извалял, так тому и счета нет. Только все равно не по мне здесь. И во сне один глаз не спит, и во хмелю внезапно язык закоснеет, и на бабе вдруг озноб по хребту обмахнет — точно рядом, за тонкой стенкой, дышит и смотрит неведомая и нечеловечья сила. Потому пермяк и молчалив, сторожек, натянут — он всегда готов к этой встрече. А я не святой дьяволов изгонять и не витязь, чтоб беречь рубежи. Поэтому я отсюда уйду. На святые и ратные подвиги и без меня охотники сыщутся. И коли судьба пермская мне отсюда домой мирной дороги не припасла, уйду войною... Войною».

После многодневной пьянки Венец проснулся перед закатом на полу своей горницы оттого, что тараканы бегали по лицу и рукам. Венец с трудом поднялся на четвереньки и дополз до стола. Баклага упала, все вылилось, жбан с квасом стоял пустой. Борясь с головокружением, Венец по стенке двинулся к выходу. В сенях намело снега, приоткрытая дверь примерзла к половицам. Венец поскреб снег ногтями и чуть не упал. Адски хотелось пить.

Он выбрался на крыльцо и вцепился в балясину. Март нагнал тепла. Сугробы осели и потемнели. Венец с отвращением окинул взглядом двор: щелястый заплот, спьяну рассыпанная поленница, ворота на одной петле, распахнутые стойла — коня пропил, истоптанный снег пополам с грязью, навозом, сеном, желтые пятна мочи вокруг крыльца, и надо всем этим низкое, темное, облачное небо. Зима была будто постель, в которой всю ночь провозились с немытой блудницей.

Венец, загребая ногами, двинулся через двор к калитке, распахнул ее и очутился во дворе князя, где был колодец. У колодца Чертовка, княжья жена, переливала из ведра в бадью воду. Ничего не говоря, Венец рухнул у бадьи на колени и стал пить. Оторвавшись, он прислонился спиной к колодезному срубу и снизу вверх глянул на Тичерть.

Она молчала, разглядывая хмельного дьяка. «Хороша баба...» — без охоты подумал Венец. Его колотило от холода, от похмелья.

— Ты, говорят, ведьма... — сипло сказал он. — Избавь...

Тичерть помолчала, гибко нагнулась к бадейке, подняла ее и вдруг широко плеснула Венцу в лицо. Венец дернулся, словно от оплеухи, даже стукнулся затылком и тотчас вскочил, сжимая кулаки.

— Сдурела, с-сука?! — рявкнул он.

— Сам просил, — спокойно ответила Тичерть, вздела бадейки на коромысло, развернулась и мягко пошла прочь.

Венец ошарашенно смотрел ей вслед. Раздражение, дребезжа, затихало в груди, а от похмельной немощи не осталось и следа. Тиче оглянулась на Венца и пошла дальше. Венец ладонью утер лицо, сгоняя воду в бороду. Он впервые по-настоящему увидел пермскую княгиню.

Он вернулся к себе, повалился на топчан, на блохастую шкуру, подтянул с пола зипун и задумался, глядя в тусклый рыбий пузырь окошка. Он всегда обращал внимание на Чертовку — но так обращают внимание на человека, неподвижно стоящего среди базарной сутолоки. А чтобы присмотреться...

Когда в Кае наутро разнеслась весть, что вогульский князь бежал с пермской княгиней, Венец о Чертовке и не подумал. Всю его душу заполнил взрыв ярости: опять судьба не дает ему вернуться в Москву! Потом был обратный путь вниз по Каме до Бондюга и от Бондюга до Чердыни воргой. А в Чердыни он узнал, что совсем недавно в острог прискакали Асыка и Тичерть. Вогулич, словно заговоренный, спешил и прошел в терем за княгиней. Ратники попросту растерялись. А вогул вышел из княжеского дома только утром. Оседлал коня и уехал, словно так само собою и разумелось. Услышав об этом, Венец был поражен. Именно тогда он впервые попытался заглянуть в лицо, в глаза княгине. Заглянул — и ничего не увидел. Безмятежная тьма нерусских зрачков, пугающая улыбка припухлых, алых, словно только что зацелованных губ. «Сумасшедшая», — решил Венец. В то, что княгиня ведьма, он не верил.

А пермский князь Венцу сразу не понравился. Он точно перелицевался из русича в пермяка: то же спокойствие, будто чуть тронулся умом, и тот же пермяцкий взгляд сквозь человека, и даже лицо по-северному смуглое, хотя откуда в нем, сыне подмосковного удельника, смоляная северная кровь? Наблюдая, как князь Михаил двигается, разговаривает, Венец подумал, что и мыслит-то князь небось тоже по-пермски, хотя его русская речь оставалась чистой, как у книжника. Венец был и опытнее, и искушеннее, и хитрее князя; пожалуй, и в глазах Ивана Васильевича — Всея Руси — и значения он имел побольше, но все равно к этому захудалому князьку Венец относился с опаской. Было в нем что-то непостижимое. Вот смотрит

сквозь тебя, а боязно: вдруг этот пронзающий, невесомый взгляд выйдет из бесконечности и остановится в твоих глазах, разрывая голову, как замерзшая вода разрывает запечатанный кувшин. И Венец представить не мог: как нелюдимый, замороженный князь ласкает свою жену-ведьму и как она отвечает ему. Только и оставалось, что плюнуть и уйти.

Но сейчас... Михаил не простил жене измены и побега с вогулом, но мстить не стал. Он просто ушел жить к храмоделу в его избенку. Сын его давно обретался в гриднице у однорукого воеводы, дочь забрали няньки, слуги со двора разбежались, и княгиня осталась совсем одна. Одна. Так она жила всю зиму. Топила печь, носила дрова и воду, что-то стряпала — тихо, незаметно, будто и вправду была не от мира сего. От людей она не пряталась и не отворачивалась, глядела в лицо, но, похоже, ничего не видела, словно в душе что-то навек остановилось, и поэтому ее избегали. То ли страшно делалось, то ли стыдно.

В пьяной гульбе ратники не раз похихатывали с дьяком, что ему можно уже и дверь прорубать на княжью половину. Венец тогда и сам посмеивался. А сейчас, вспоминая лицо и фигуру Чертовки, вспоминая, как гибко нагнулась она к бадье, как легко шла с коромыслом к дому, будто что-то переливая из бедра в бедро, вспоминая, что здесь, за стенкой, столько ночей эта баба была одна, ждала хоть кого-нибудь взамен детей и мужа, кто поделился бы теплом среди зимнего чердынского холода, — сейчас Венцу сделалось жарко.

Это бывало: жажда тела вдруг охватывала, как обруч, била в виски, гнала. Но, утоленная или нет, не важно, эта жажда всегда проходила. Даже Аксюта была желанна не сама по себе, а потому, что была запретна. Однако теперь томление не истлевало. Разгибая толстые листы ясачных книг в приказной избе, пересчитывая соболиные сорока, потягивая наливочку у епископа или с дружинными пенником затуманивая голову, Венец все равно думал о Чертовке. Все никак не проваливалось видение: вот она вздевает на плечо коромысло и, струя складки платья с бедер, идет по снегу. Будто от скуки, Венец часами простаивал на крыльце, грыз кедровые орешки, сплевывал скорлупки, а сам глядел через заплот на княжеский двор и ждал Чертовку. А однажды, увидев, как неловко баба колет дрова, вдруг дал Ничейке по загривку: пойди, дурень, помоги.

«А в чем, к бесу, разница? — утихомиривал себя Венец. — Княгиня она или не княгиня... Все одно — баба, чудь белоглазая...» Может, поступить, как бывало в далеких деревушках: завалиться в дом, детям и мужику по шеям и на улицу, бабе ладонью рот зажать и притиснуть к полу... Кто здесь на государева дьяка хайло разинуть посмеет? Что ж, один

раз попробовал. Принял для храбрости и, пока хмельная братия глотки драла, двинул из горницы, сшиб в ночной тьме заплот, рванул на себя дверь в княжьи сени. Чертовка, как услышала чужое дыхание, мигом на лежанке поднялась. Так и запомнилась: во мраке перед бревенчатой стеной сидит на топчане, глаза как угли, и волосы копной разметались по плечам, шевелятся, точно змеи. Взглядом так шибанула, как и оглоблей не достанешь. Очнулся Венец во дворе в сугробе, ничего понять не мог. Всю ночь не пил, соображал, а утром робко пошел вроде бы как прощенья попросить — дескать, голос князя ему послышался, ну, он спьяну и решил на пирушку позвать, — а на самом деле узнать: была ночью встреча или почудилось? Чертовка сидела за столом и вращала жерновок зернотерки, глядела перед собой в пустоту. Венец присел на лавку, покряхтел виновато, встал, помялся — нет, не видит его баба. Страшно стало; перекрестился и ушел.

И завязла в душе заноза, будто загноилась душа. Не то чтобы он ее полюбил, и не то чтобы только хотел. Любить, желать — это ведь все лишь к людям применимо, а она... Да все пермяки, и князь, и жена его, для Венца как бы вне людей были. Даже когда дома холопов сек или девок портил, и то чувствовал порой стыд или жалость, переживал. По крайней мере понимал, что те испытывают. А к пермякам у Венца сочувствия не было вовсе. Так охотник не сочувствует подстреленному волку, хотя зайца, скажем, может пожалеть. Венец уважал тех людей, которые делают жизнь: Великого князя уважал, кое-каких бояр и купцов, ливонских рыцарей, греческих монахов, свейских мореходов, уважал ратников, конокрадов, послов, богатых любовниц. Венец снисходителен был к тем, кто лепился к сильным, — к наушникам, к шутам, к верным слугам, к разбойникам. Но пермяки... Жизнь свою они не делали: их судьба шла сама по себе; и к силе они не лепились — все равно судьба не минует. Для Венца пермяки стояли как бы за обочиной человеческого, не имели никакого значения — не друзья, не враги, не холопы. Люди, а вроде и не люди. Однако с этой бабой случился в мыслях какой-то сбой. Умом он не постигался, душой не принимался, плотской похотью не исчерпывался. То же самое, наверное, чувствует рыба, вдруг очутившаяся на берегу. Только вот кто крючок-то ему забросил? Эта баба стала для Венца как идол: срубить боязно, потому как чуешь, что в древесных узлах затаился могучий дух, и поклониться не можешь, словно кол в спину засадили.

Время для Венца шло как в дыму. Какие-то грамоты из Москвы ему показывали, о чем-то князь с ним советовался — Венец тупо глядел, кивал и ничего не понимал. Когда весна коснулась Колвы, синью выплеснувшись

на лед, когда с полуденной стороны начали обтаивать горы, а проталины испятнали парму, по Чердыни пронесся жутковатый слух. Из затопленной берлоги вылез медведь, да раньше срока, и с бескормицы подался на человечину. Ошивается, мол, возле самого города. Двух охотников задрал и бабу с обоза. Венец в это время ездил на Усолку считать соляные колодцы. Прислали ему ябеду, что соликамцы нарыли новых ям, набили трубы, качают рассол, а соляную подать не платят. Венец поехал разбираться в Соликамск, а там его пять дней допьяна поили, что он и говорить-то не мог. Весь опух, глаза ничего не видели. Суровцевы и Елисеевы, мудрые мужики, напихали ему мешок бобров и с богом отправили обратно, пряча за пазуху подписанную грамотку. Венец и Ничейка ехали воргой, оба распьяным-пьяны-пьянешеньки, на полпути уснули. Олешки сами бежали. Венец во сне скатился с розвальней и остался валяться на дороге. Очнулся — ночь кругом, и созвездия над бором-беломошником, как вогульские грозные городища; пустая белая дорога, снежный лес, дикая тишина. Огляделся: показалось, будто за чащей огоньки мерцают. Решил, что либо охотники, либо деревня, либо уж сама Чердынь. Попер по лесу напрямик, цепляясь шубой за сучки.

Вывалился на край обтаявшей елани и застрял от страха на месте. Посреди поляны высоко горели костры, и рядом с ними сидел на корточках седой, длинноволосый, слепой старик-сказитель, играл на длинной дудке-чипсане. А меж костров, то растворяясь в огненных струях, то вылепляясь вновь, распустив волосы, танцевала нагая женщина — Чертовка. И перед ней на задних лапах стоял медведь, переваливаясь с боку на бок, задрал к небу острую морду, — тоже танцевал. Венец затряс головой — и не было ничего, давно умер слепой сказитель, у которого Иона сжег берестяную книгу, одна в тереме сидела брошенная князем жена, медведь грыз человечьи кости где-нибудь в урочище, не было ничего, только пьяный бред, только морок, только чудская луна колдует в ожерелье звезд над пустой еланью. И в то же время было все — беззвучно горели костры, плясал с ведьмой медведь-людоед, мертвый старик заунывно дул в дудку, и ведьма шептала, глядя зверя по морде: «Уходи, Ош, в парму, не губи своих детей...»

Венец ломанулся обратно и по дороге что было духу бежал до самой Чердыни. Во дворе поленом отходил уснувшего Ничейку, заперся в горнице, засветив все светцы, очумело шаря глазами по стенам и держа под рукой меч. Печально глядел с темной иконы Георгий, медленно пронзая копьем червячного змея. Дух Венца не успокаивался. Едва взгляд останавливался, как из огоньков лучин распушались костры, а из них

вытаивала нагая Чертовка, танцуя теперь вокруг Венца, и, сияя глазами, шептала алыми, словно кровь, губами: «Зачем, дьяк, подсмотрел, как я, ламия, волхвую? Смерть тебе! Смерть, милый! Иди же ко мне!...» И опаляла лицо, грудь, живот страшная и дивная нагота женщины — зовущая, гибельная. А как рассвело, на сугробе под окном Венец нашел след босой женской ноги — один-единственный.

Теперь с каким-то болезненным вниманием вглядывался Венец в пермского князя. Как же этот человек обладает таким чудом, таким чудовищем? В чем его сила, пересиливающая ведьминскую силу? Ничего особенного не было в князе Михаиле.

Венец боялся смотреть на Чертовку, словно взгляд мог выдать его. Но, совсем охваченный пожаром, он уже думал о ней неотступно, ловил каждую тень ее — забытую на перилах крыльца рукавичку, нерасколотый слабыми женскими руками кряж, пролитую у колодца воду, веник, обмахнувший снег с ее ног, скрип половиц под легкими шагами за стеной. В последние дни князь вдруг начал приходить по вечерам к жене. Ревность, ненасытная жадность и тяга к этой страшной бабе съедали душу дьяка. Он под лавкой вытащил мох из пазов между бревен и сквозь щель подслушивал голос Тиче — чтобы знать, о чем она молится, поет, бормочет во сне, разговаривает с мужем. А вскоре Венец увидел, что его уловка стала известна княгине: щель оказалась заткнута тряпкой. Венец даже не раздумывал — лезвием ножа выпихнул кляп.

Сквозь эту щель он и услышал однажды новость. К Чертовке вечером опять пришел князь. Венец лежал под лавкой, прижимаясь ухом к бревну. Князь долго ходил по горнице, молчал, потом сел и сказал:

— Не хочу я, Тиче, свою обиду выносить на люди. Скоро к нам нагрянет князь Юрий Дмитриовский. Пока он будет жить в Чердыни, я буду ночевать здесь. Но ты помни, что я не возвращаюсь. Я тебя не прощаю.

— Я не буду запираť дверь, Михан, — тихо ответила Чертовка. — Я жду тебя и без этого кана. Вернись ко мне...

— Н-не могу... — с трудом ответил князь Михаил.

Венец не размышлял, почему в Чердыни появится брат Великого князя Московского. В уме его, как кость поперек горла, застряло одно: теми ночами дверь будет открыта. Лишь бы Михаил хоть раз припозднился...

Прошел ледоход на Колве, а потом и пермские праздники. Прилетели птицы, мужики вышли в поле, рыбацьи пыжи понеслись в верховья за нерестившейся рыбой. Из Афкуля зачем-то приехал шибан Исур, собрались княжеские воеводы — Бурмот и Зырян, прибыли князьки из Покчи, Искора, Пянтега, Кудымкара. Что-то, видно, затевалось — но Венцу ни до чего дела

не было. Иона Пустоглазый сделался втройне обходительней, и наливочка теперь текла ручьем. Наконец из Бондюга со своими воеводами явился и сам Юрий Дмитриовский.

Венца пригласили на встречу: куда ж без московского дьяка? Венец в боярской шубе прел в гриднице на лавке и тупо пялил глаза на князя Юрия, а сам думал: устроит ли князь Михаил в честь московского гостя пир, чтобы до утра домой не явиться?

Князь Юрий давно был знаком Венцу. За прошедшие годы он сильно сдал — ссутулился, похудел, стал весь желтый. Наверное, грызла какая-то хворь. Немного уж небо ему коптить оставалось. Юрий обрадовался Венцу, а дьяк его словно и не узнал. Глядел — не видел, на вопросы отвечал невпопад. Юрий, похоже, обиделся.

— Чего это, брат, у тебя Данила-то как обухом по лбу получил? — недовольно спросил князь Юрий у князя Михаила.

— Пьет без просыпу, очумел, — спокойно ответил Михаил.

Юрий внимательно оглядел давнего знакомого.

— Да уж... Твой медвежий угол кого хошь в баклажку загонит... Поди, Данила, к себе, пропись. Завтра поговорим.

Венец молча встал, поклонился и двинулся в сени, не чуя под собою ног. Навстречу ему челядь волокла блюда и прочую утварь для пира. Чертовка сидела в тереме одна, и дверь ее была не на засове... Господи, в этих краях и темноты полночью не дождешься!

А князь Юрий из Дмитрова, брат Великого князя Московского Ивана Третьего, прибыл в Чердынь не ради пирогов с осетриной. Михаил понимал, что самое правильное название его приезду — разведка. От посельников, шедших в Пермь из Твери, Рязани, Москвы, Пскова, Новгорода, Вологды, Михаил знал, что чем богаче и сильнее становится Московский стол, тем жаднее Московский князь. Не раз в голову Михаилу приходила мысль: как же хитер был отец — ушел от алчной Москвы на самый край мира. Не князь Иван Васильевич, так другой бы москвит в Шапке Мономаха все равно бы начал стягивать к себе земли и сшибать княжьи венцы с голов братьев. Вот теперь хищная рука Рюриковича уже подбирается к горлу Новгорода. Как выдерут язык у вечевоего колокола, как выпотрошат утробы Борецким, так и станет Пермь Великая уже совсем ничья — то есть московская. Недолго, видно, осталось ждать лета, когда Москва полезет в парму за серебром какамским. Вычегду и Печору новгородцы отдали москвитам почти аж сто сорок лет назад — хотя спроси их об этом, так обеими руками открестятся и шапкой о землю стукнут. Но все ж пока что Устюг, Усть-Вым и Вятка размежевали Москву и

Чердынь, но долго им не устоять. И тогда останется последний враг, который еще будет драться с Москвой за пермские златокипящие земли. Это казанцы. Поэтому Великий князь и снарядил брата Юрия в поход.

С конями и дружиной князь Юрий переволокся в Кай, настроил насад и с ледоходом поплыл вниз по Каме к Казани. Государевым дозволением разрешено ему было набирать войско в попутных землях, и теперь с Юрием шли галичане и устюжане. Вскорости должны были нагнать его и белозерцы. Теперь дело за пермяками. Пойдут на татар добром — значит, сами помогут надеть на себя московское ярмо. А не пойдут — значит, дадут повод покарать. Как быть Михаилу Ермолаевичу? Только что грозу с востока отогнали, теперь вот на западе молнии блещут.

Князь Михаил смотрел, как жрут, пьют и смеются воеводы князя Юрия. Он думал, что где-то далеко, на берегу голубой Камы, их дожидается беспощадное войско: смолит насады, бьет птицу и зверя в дорогу, чеканит наконечники стрел и натягивает тетивы на луки, а в пестрой тени Прокудливой Березы, где когда-то разгорелась его любовь, сидит бородатый москвит, точит саблю и пробует остроту лезвия на тонких ветках. Князь Михаил смотрел на желтого, иссыхающего князя Юрия, которого он должен был называть братом, и думал, что не брат он ему, а враг, потому что его брат костром сгорел на Вагильском тумане и сейчас лежит в земле у стены собора, а князь Юрий гнилушкой медленно тлеет подле московского стола и отравляет все вокруг себя, сам отравленный своей злобой на судьбу, смысла которой ему никогда уже не постичь.

— Вели-ка, брат, татарину выйти, — склонясь к Михаилу, велел князь Юрий.

Исур услышал, встал, сжав губы в нитку, и вышел из гридницы, звеня ножнами и шпорами.

— С оружием его к себе допускаешь? — хмыкнул Юрий, провожая Исура глазами.

— Я не Великий князь, а он не казанский хан.

— Не хан, да варнак его. Как, брат, двинемся мы вниз по Каме от Бондюга, надо бы, думаю, завернуть нам и к татарским городищам в твоей земле. Как их?..

— Ибыр и Афкуль.

— Вот... Коли казанцев трясти станем, не дело этих здесь нетронутыми оставлять. Ты мне дай проводников, которые к татарам дорогу укажут.

Михаил положил на столешницу локти, катая между ладонями деревянную кружку.

— Нет, князь, — ответил он. — Московиты с казанцами воюют — это их дело. А Чердынъ и Соликамск с Ибыром и Афкулем не враги. Ты нас в свой горшок не суй.

— За татар заступаешься, никак?

— Не за всех. За пермских татар, у которых Исур шибаном.

— Да есть ли разница между пермской и казанской татарвой?

— Из Москвы, конечно, эту разницу не увидишь. Только с колокольни рыбу не ловят. Когда судьба забросила меня сюда княжить, был я мальчишкой сопливым. И кто мне помог? Великий князь? Нет. Шибан Мансур, отец Исура, помог. Ему я и обещал не поднимать меча на Афкуль с Ибыром. А Исур мне друг преданный, чего, к примеру, про отца его я сказать не могу. Исур сам мне дружбу предложил и ни разу слова своего не нарушил. Вместе со мной на Пелым ходил против воли своего хана, спас меня от вогульского копья и пленил Асыку. Я на Исура не пойду. А если кто против него встанет, с тем сам вместе с ним биться буду. Не обессудь. Твое дело — Казань, вот и ступай туда.

Князь Юрий сузил глаза. Иона, сидевший на лавке у стены за спинами воевод, грозно затряс белой бородашкой и белой епитрахилью, пристукнул об пол костяным Стефановским посохом. Торчащий рядом игумен Дионисий, в черной рясе и черном клобуке, косматый и костлявый, только зыркнул тяжелым взглядом исподлобья. Михаил встал, поклонился гостям и вышел прочь из гридницы.

Он остановился на высоком крыльце дружинного дома, всей грудью вдыхая талый, ясный воздух — такой свежий и просторный после затхлого духа пьяной гридницы. Далекое безоблачное небо тонко и нежно светилось майской синевой над серыми шатрами острожных башен. Два ястреба плавали в вышине, кружа друг вокруг друга. Над синей пармой за рекой косо взлетала Полюдова скала. И теплый покой безмятежно разливался вокруг.

Фыркали в стойлах кони, скрипел колодезный журавель, звонко бил по наковальне кузнечный молот. Сохли на крышах амбаров смазанные жиром нарты. Грязные курицы бродили между луж, что-то выклевывали из конского навоза. На заплотах вверх дном висели горшки и корчаги, оплетенные берестяными полосками. Орали грачи на пашнях, расчирикалась урема под тыном острожка, пар поднимался из лощин, шлепали вальками бабы на Колве, и тощий кот вылез из окошка погреба, слизывая с усов сметану. Весна пришла не как праздник, не как буря, а как спокойное и радостное начало долгожданных трудов, которыми и живет человек. Заулком пробежали мальчишки, хворостинами гнавшие перед

собой сломанный бондарный обруч. Старик, сидя перед воротами на скамейке, строгал новое топорище. Баба понесла из дома в хлев корыто с ополосками, наступила на пса и грохнулась в грязь, облившись с головы до ног. Мужик заколачивал дыру в заборе обломком лыжи. И князь почувствовал мучительно-острый приступ любви к этому миру — житейски-обыденному здесь и сказочно-грозному там, где с Каменных гор сходила на Чердынь вековая парма.

Все вроде бы оставалось неподвижным, но сквозь этот мир незримо и беспощадно катилось огромное, неотвратимое колесо судьбы. За стеной, в гриднице, вызревала злоба, которая рано или поздно грозой взойдет над берегом Колвы. И в тени этой грозы, как перед разлукой, князю вдруг до тоски захотелось увидеть жену. Да, все было — и будет еще страшнее; будет кровь, огонь, смерть, предательство и гнев дремучих богов. Но сейчас, в тихий и мирный вечер, пусть исчезнут мертвецы, идолы, ведьмы, проклятия... Просто в доме одиноко ждет его женщина, и самое важное, что он ее любит.

Князь сошел с крыльца и пошагал домой, удивляясь легкости каждого шага. У своих ворот он увидел Исура и остановился.

— Я никого не поведу на Афкуль и сам не пойду на Казань, — сказал он. — А ты будь сейчас моим гостем.

Он толкнул перед Исуром перекосившуюся створку ворот. Опустив голову, Исур схватил его за плечо, сжал, повернулся и первым вошел во двор. Они поднялись на крыльцо. Дверь в сени была приоткрыта. И вдруг Исур встрепенулся и, отшвырнув князя, прыгнул вперед. Ошарашенный Михаил услышал его рык, свист плети и чужой, звериный рев, а лишь потом увидел в сенях на половицах грязные следы здоровенных мужских сапог. В его доме был Венец.

Венец не дождался темноты. Как вор, он перелез забор княжеского двора; прячась за конюшней, за телегой, добрался до крыльца и метнулся в дом. Чертовка сидела в горнице у окна и только успела подняться, как он сшиб ее грудью и повалил. Она вертелась, извивалась, хрипела, а он придавил ее всей тяжестью, вырвал из пальцев платок и стал всовывать в рот. Ее когти пластали рубаху Венца на лоскутья. Треснуло платье, в полумраке резанула глаз белизна бедра. Венец плечом надавил Чертовке на горло, схватив в ладонь ее тонкие запястья, рванул другой рукой под колено, задирая ее ногу и сходя с ума от ее хрипа. Он окунулся в эту бабу, словно в огненную полыню, и уже стало не понять, то ли она бешено сопротивляется, то ли бешено отдается.

Венец сразу и не сообразил, что это обожгло его яростной болью,

лентой перехлестнувшей через спину, а потом и другой раз — накрест. Третий удар нагайки сорвал его на пол, и он, перевернувшись, увидел над собой Исура. Плеть стегнула по лицу, разорвав кожу на скуле и губы. Венец взревел, трезвея, и рванулся к стене, где висел меч князя Михаила. Но плеть обвила выброшенную руку и откинула Венца обратно. Исур хлестал дьяка по-татарски: так, что мясо отслаивалось от костей. Венца швыряло из стороны в сторону, а кровь брызгала на доски половиц. Венец не выдержал, рухнул на колени, закрываясь локтями, и тут князь Михаил вломился в горницу, оттолкнув Исура. Венец прямо с колен кинулся в дверь и скатился с крыльца в грязь.

Михаил упал рядом с Тиче, обхватил ее, и она завывала, уткнувшись ему в грудь.

— Тиче, Тиче, любовь моя... — трясущимися губами говорил Михаил, стискивая жену. — Ты прости меня, прости... Я больше никогда тебя не покину...

А Венец, повиснув на Ничейке, который прибежал на крик, плевался кровью и клял все на свете. Ничейка приволок его к колодцу, опустил на землю и окатил водой, смывая кровь. Венец заорал и врезал Ничейке по зубам. Цепляясь за сруб, он поднялся и, скорченный, оглянулся на княжее крыльцо.

— С-сука, н-ну, сука... — шипел он. — Оморочила, стерва, приворожила...

И все ему стало ясно. Ведьма окрутила его, как дурака, лишь бы гордый князь вернулся к ней. Нету, мол, кроме тебя, княже, мне защиты. А кто ж, кроме него, московского дьяка, осмелился бы на княгиню как на простую бабу смотреть? Ох ты, жеребец безмозглый! Ах ты, тварь премудрая! Ведь не платок он у нее из пальцев выдирал, чтобы ей пасть заткнуть, а тряпку, которой она щель меж бревен конопатила. Выходит, все она знала: знала, что он, Венец, все разговоры в ее горнице слышит, и намеренно сказала про открытую дверь, чтобы он, кобелина, сунулся! Л-ладно, гадина, отплачу я тебе сполна!..

Шатаясь, Венец двинулся к воротам. Ничейка с разбитым ртом поддерживал его под мышку. Венец пер по улочкам острожка к дружинной избе на виду у всех: пусть все видят, как татарин русского человека в его же дому измордовал. Венец забрался на крыльцо, распахнул дверь в gridницу и остановился в проеме — рубаха клочьями, сам весь в крови так, что с пальцев капает. Воеводы и князь Юрий пировали, все уже изрядно пьяные, обнимались, ржали, пели песни, требовали браги, ковшей, закуски. Но едва Венец молча встал в двери, голоса постепенно затихли — больно страшен

был вид у дьяка.

— Пируешь, княже? — хрипло спросил Венец. — А у меня на чужом пиру похмелье...

На следующий день князя Михаила рано утром разбудил посыльный от князя Юрия. С тяжелой душой Михаил пошагал к дружинному дому. Во дворе царила суета: седлали напоенных коней, снаряжались. В телеге на мешках храпел дьяк Данила Венец. Михаил поднялся в дом. В пустой гриднице за неубранным столом сидел князь Юрий — в кольчуге, в шлеме, в наручах и поножах, сам еще желтее, чем вчера. Он хмуро поигрывал бунчуком на рукояти сабли.

— Чего ты, князь, вдруг в путь засобирался? — спросил Михаил.

— Испужался, — глядя в угол, ответил Юрий. — Коли в твоём доме безродный татарин московского дьяка плетью охаживает, так, боюсь, и меня ты ни с того ни с сего вилами в бок разбудишь.

Михаил смолчал, сел на другую скамью, локтем отодвинув со стола объедки и посуду.

— Скажи-ка мне, брат, прямо, — начал Юрий. — Идешь ты со мной на Казань или нет?

Михаил вздохнул, расправил усы.

— Не с кем, — ответил он. — В прошлом году две сотни человек за горами оставил. Дружина моя сплошь из молодых, их еще учить надо. Над дружинами пермяцких князей я не властен. А ополчения весной ни у русских, ни у пермяков не соберешь. Пахотные землю поднимают. Солевары только-только колодцы разморозили. Рыбаки за нерестом пошли, путина. Пастухи оленей погнали на свежую траву. У охотников после гона самое дело началось. Кто от работы побежит? За зиму все наголодались, истрепались... Не забывай еще, что и пелымцы ждут часа с нами сквитаться.

— Эвон у тебя сколько отговорок, — хмыкнул князь Юрий. — А покороче сказать можешь?

— Могу, — согласился Михаил. — Не пойду я на Казань. Не хочу.

Князь Юрий бросил бунчук и стал натягивать рукавицы.

— Что ж, тогда и я тебе вот что скажу. Ясак ты платишь исправно, пенять не на что. Только вот поговорил я вчера с дьяком... — Юрий впервые за весь разговор поднял на Михаила глаза: тусклые, уже неживые. — Считаю сам. Волю Великого князя исполнить ты не желаешь. Дьяка его посек и выгнал. С татарвой снюхался, к дому приваживаешь, крепости их выдать не хочешь. Вогульского князя, союзника казанцев, с миром на свободу отпустил. Ну, мало этого для измены или хватит? Если

мало, то я могу прибавить и то, что твой епископ мне нашептал. Подумай, князь. Не играй с лихом. Последняя возможность отмыться у тебя — идти со мной. А не то пошлет Великий князь сюда другого своего брата, только уж не с речами, а с мечами. Так пойдешь на Казань или нет? Я у Казани буду стоять пять дней и ждать тебя.

Михаил молчал.

— Не жди, — наконец ответил он.

— Что ж, тогда ты сам жди гостей.

Михаил задумчиво кивнул:

— Приходите. Встретим.

Вечером, когда князь Юрий с воеводами и дьяком давно уже уехал, Михаил пришел к Калине, у которого жил все время после побега Тиче с Асыкой. Калина во дворе своей хибары топором тесал какую-то чурку. Михаил присел рядом на колоду, за день разогревшуюся от весеннего солнца.

Рассказ князя Калина слушал молча, не перебивая.

— Чего ж ты от меня хочешь? — спросил он. — Совета? Есть же у тебя свои дьяки и тиуны, есть Бурмот. Ты можешь созвать пермских князей и спросить их. Да хоть вече устрой.

— Ничего я от тебя не хочу, — сказал Михаил, раздосадованный неожиданным равнодушием Калины.

— Я, князь, давно понял, что рано или поздно Москва к тебе прицепится. Для меня это не новость. Считай, быть беде.

— Значит, говоришь, зря я все это затеял?

— Зря — не зря, тут разницы нет. Все равно это бы случилось. Все к тому шло. Я другого понять не могу. Тебе-то с твоего упрямства какая выгода? Ты не гордец, чтобы тебе непременно наособицу стоять было надо. Прибыли со своего княжения тоже не имеешь. В богов пермских не веришь. А если о людишках заботишься, так московские полки их от вогулов понадежнее, чем ты, защитят. Почто же ты кашу заварил?

Михаил и сам вдруг удивился: а и вправду, зачем это ему надо? Неужели он ошибся, своевольничая? Но какой-то голос говорил в его душе: все верно. А что за голос? Откуда? Почему?

Калина, опустив топор, с усмешкой смотрел на задумавшегося князя.

— Придет срок — поймешь, — вдруг сказал он. — Только крови много прольется.

— Думаешь, одолеют меня московиты?

— Одолеют, — кивнул Калина. — Но сделал ты все правильно. Так и надо. Ты человек, живи своей человеческой судьбой. Только не бойся ее.

Тогда она у тебя в одном русле с судьбой твоей земли течь будет. Не зря, значит, жизнь пройдет.

— Экий ты пророк лапотный, — разозлился Михаил. — Что-то я до смысла речей твоих добраться не могу. Говоришь, все равно меня победят, и это правильно будет, но я должен драться за свою глупую правду, кровь лить, так?

— Кровью земля к земле прирастает.

— А-а, вон мы какие мудрые! — Михаил встал, непримиримо глядя на Калину. — Значит, побольше кровушки надо, чтобы Пермь покрепче к Руси присохла?

— Главного ты не понял еще, Мишка. — Калина миролюбиво толкнул его в грудь, усаживая обратно. — Пермь-то твоя — уже тоже Русь.

ЧАСТЬ 3

6980 год

Глава 17

Поганая Скудельня

Епископ Иона тихо сидел в монастыре на вершине горы возле Чердыни и прислушивался к дальним раскатам грома надвигающейся грозы. Гроза вызрела на западе, над Московитией. Где-то там, как разъяренный медведь, ворочался и рвал цепи Великий князь Иван Васильевич. Прикинув к земле, опасливо затаились вольные Рязань, Тверь, Псков. Поначалу Великий князь слал полки на татар. Прошло время Золотой Орды, когда недостижимый, как поднебесье, хан, сидя на белом войлоке, окруженный древними рогатыми бунчуками Чингиза, Субудая и Батия, рассылал на обескровленные селения урусов каленые монгольские тумены. Теперь Золотая Орда рассохлась и развалилась на глыбы. Поход за походом, как капля за каплей, точили московиты изъязвленную громаду Казанского ханства. То на одном, то на другом краю земли, пропитанной кровью болгар, звенели русские мечи. Казань шаталась, отмахиваясь кривой саблей. Епископ Иона вспоминал, как и по Каме просверкал русский булат князя Юрия Дмитровского. Однажды в схватке московиты даже взяли татарскую твердыню, но пришлось оставить. Грохот казанских сеч мучил ужасом душу Новгорода.

Первыми не выдержали бояре. Борецкие надрывались на вече, уговаривая предаться ляхам. Уговорили. Бородатое новгородское посольство пало в ножки королевичу Казимежу. А Великий князь только того и ждал. Предали! Родную землю без боя в полон сдали! Черная вода гнева затопила московитские города. Из этого наводнения поднялись блистающие шлемы русских дружин. Новгородцы заматались в ловушке, сколачивая ополчение. Два войска увидели друг друга, разделенные синей лентой Шелони. Московиты стояли хмурые. Новгородцы отчаянно орали, махали мечами. Двинулись друг на друга и сшиблись прямо в волнах. Рубились без пощады, дотемна. Новгородцы отступали, но не просили милости. Московиты шли в бой через Шелонь по мостам из мертвецов. Красные ручьи текли с поля в речку, как притоки. Наконец треснул новгородский тын под московскими топорами. Сеча превратилась в бойню. Под тяжестью мертвых тел прогнулась земля.

Великий князь Иван Васильевич, улыбаясь, порвал ряду, что четырнадцать лет назад в Яжелбицах прихлопнул своей печатью его отец. Но покоренный Новгород торговался и на коленях. Тогда, год назад,

епископ Иона возликовал: наконец-то сойдет с пермских земель морок новгородской вольницы и воссияют здесь хоругви Великого князя! Но лукавый оказался хитрее московских дьяков. Плача, новгородцы подписали отказную грамотку на полуночные края. Однако ж разве разглядишь эти края с москворецкого берега? Вятичи, вотяки, вымичи, вычегодцы, мезенцы, пинежане, двиняне, печора, зыряне, пермяки, самоедь, вогулы, остяки, черемисы — кто их разберет? Запутавшись, москвиты послали бывалых людей составить список Двинских земель — новгородского Заволочья. Но эти бывальщичики до Перми Великой не дошли. Так и осталась она наполовину московская, наполовину новгородская, наполовину ничья. Который год Пермь Великая ходила по острию между Новгородом и Москвой, между Русью и татарами — вот и сейчас проскользнула у них меж пальцев.

И тогда Иона понял, что судьбу надо понужать. Он настроил грамоту верному человеку — игумену Ферапонтовой обители отцу Филофею. Описал подвиги свои: и крещение Перми Великой, и строительство монастырей по всей епархии, и борьбу с идолами. Даже походы за Камень Васьки Скрябы и князя Михаила каким-то образом оказались его заслугой. Описал Иона и обиды, кои чердынский князь чинит московской воле и православной церкви: мирволие язычникам, потворство пермским татарам, отказ идти на Казань с князем Юрием, освобождение татарского гогоулича Асыка, избиение дьяка Данилы Венца. Даже княжья жена-шаманка не была забыта. Письмецо Ионы взял доверенный монах — отец Епифаний, а попросту Пишка, — опытный бродяга, беглый устюжский монах-расстрига и бывший ушкуйник ватаги Ухвата. Теперь Пишка замаливал грехи в монастыре Иоанна Богослова. С грамотой, защитой в шапку, Пишка ушел на Русь и вернулся с обнадеживающим ответом Филофея.

И точно. Скоро из Устюга донеслась весть. Идут через него на Пермь Великую полки москвитов. Ведет их сам князь Федор Пестрый Стародубский, который, не щадя живота, отважно рубил врагов и под Казанью, и на Шелони. Под рукой у Пестрого — москвиты, белозерцы, вологжане. В Устюге к князю присоединился с полком родовитый боярин Федор Давыдов Вострово. Там же свой полк передал Пестрому и устюжский воевода Гаврила Нелидов. От Устюга войско пошло на Вычегоду, обрастая и вычегодцами. Даже в такой холодной дали от Москвы русская рать наливалась горячей силой москвитов. Пять тысяч мечей готовились прорубиться сквозь парму.

Но Пермский князь тоже не ждал сложа руки. Московские полки — могучая сила, но у Перми Великой хватит мощи противостоять ей. Десять

пермяцких князей с дружинами и ополчением, ополчения Чердыни и усольцев, дружина самого князя вместе с отрядами из Соликамска и Анфалова городка, исуровские уланы из Ибыра и Афкуля... Нужно только собрать, зажечь их. Михаил разослал тиунов. На это Иона отправил Михаилу послание, в котором упрашивал не затевать кровопролития, смириться перед старшим братом — Московским князем, пощадить пришельцев единоверцев. Иона знал, что об этом послании станет известно везде, где есть храмы. Над душами паствы хозяин он, а не князь. К тому же здравый смысл был на стороне епископа. Пермяки не видели разницы между Новгородом и Москвой. Тем ясак и этим ясак. Они не понимали, что Новгород отнимает соборей, а Москва — свободу. И понять это могли только тогда, когда свободу потеряют. А ведь многие надеялись попросту отсидеться в лесах. Не полезет же русское войско в урманы и глухомань.

Так и вышло. Кудымкар на Иньве и Акчим на Вишере, Ныроб на Колве и Пыскор на Каме даже не ответили князю. Камские Урос и Пянтег велели передать, что, коль сильное войско московитов подступится к ним, они драться не будут. Усольцы тоже отказались: на своих, на православных, рука не подымалась. Только воинственный и вечно непокорный Искорский князь Качаим сразу принял сторону суровой, напряженной Чердыни. Зажатая между ними Покча была вынуждена согласиться. Согласие прислал и сильный Редикор — полуденный сосед Чердыни. И, конечно, жаждой боя тут же вспыхнул Исур, уязвленный принижением Казани. От всех возможных сил у Михаила осталась лишь четверть. Его замысел — встретить московитов у Бондюга — сделался невыполнимым. Князь приказал твердить стены в Чердыни.

С монастырского холма Иона наблюдал, как люди чистят рвы, подновляют тын. На башнях-стрельницах стучали топоры. Подводы везли в острог припасы, смолу, лыко, паклю. Хворостом устилали улочки, рубили дрова, тесали камень. От Чердыни, как птичий щебет издалека, доносился звон кузнечных молотов. Кто-то сказал Ионе, что в городище заклали человека, вымаливая спасение от московитских полков. А где-то за лесами, за горами уже шагало русское войско, и князь Пестрый из-под руки смотрел в хмурую даль: не покажутся ли пермские земли?

То, что нужный день наступил, Иона понял тогда, когда в Чердынь пришли люди из Уроса. Со стены монастырского забрала Иона видел Бондюжскую дорогу — Русский вож, по которому двигалась цепочка молчаливых беженцев. Впереди тащились несколько волокуш со стариками, бабами, детьми. За ними, опустошенно глядя в землю, ехали одиннадцать мужчин-всадников. Головы их были обвязаны кожаными

ленточками с колокольцами на висках. Иона уже знал, что это — знак скорби и мести. Уросцы направлялись не к родичам в городище. Они ехали в острог, под руку князя Михаила, который собирал войско, чтобы биться с подступающими москвитями.

«Не быть Чердыни столицей... — глядя на уросцев, на толпу встречавших их ратников, твердил себе Иона. — Не быть острогу оплотом пермского непокорства...» Вечером этого же дня епископ объявил в монастыре, что вместе с Ничейкой уезжает на Вычегду.

На самом деле Иона никуда не уехал из монастыря. Он спрятался в дальней угловой келье у монаха Пишки. Об этом, кроме Пишки и Ничейки, не знал никто, даже игумен Дионисий. Два дня Иона сидел взаперти и впроголодь. Он ожидал, когда Пишка завершит порученное ему дело. Третьей ночью вместе с Пишкой Иона выбрался из монастыря и тайком, крадучись, сполз с монастырского холма в урему речки Чердынки. В непролазной шараге у Чердынки таилась лиственничная дверь подземного хода в острог.

Зазубрив серп как пилу, Пишка две ночи сквозь щель пилил внутренний засов на этой двери, и теперь она была открыта. Иона и Пишка тащили с собой мешки со свитками бересты, со щепой, с лучиной. Низко пригибаясь, они перешли вброд блестящую под луной Чердынку и полезли в кусты. Тайным ходом пользовались очень редко, и торчащий из склона погребок густо оплели заросли. Пишка серпом прорубал дорогу для епископа.

— Вот она, владыко, — тихо сказал Пишка, оттаскивая покосившуюся дверку.

На четвереньках они полезли в тайник. Лучины не зажигали. Сырое, плесневелое подземелье давило душу. Как гнилые волосы мертвецов, падали на лица свисавшие с потолка корни. Рукавиц взять не догадались, и теперь обоих передергивало, когда под ладонь попадались влажные, скользкие черви и мокрицы. Впереди, в темноте, пищали растревоженные крысы. Тяжелое и ледяное дыхание земли выстужало руки и колени; на спину капало. Пишка шепотом ругался сквозь зубы, Иона охал, кряхтел, стонал. Наконец тайник вывел к колодцу, который сверху был накрыт громадой Тайницкой башни.

Пишка с серпом полез вверх по приставной лестнице. Иона повозился, развязывая мешок, высек на трут искру, затеплил лучину и светил напарнику снизу. Монах, пыхтя, просунул острие серпа в щель между колодезным срубом и крышкой, пошарил — острие звякнуло о железо — и осторожно, тихо выдвинул из скобы на крышке запиравший ее крюк.

Одной рукой он легко поднял крышку над головой и, вылезая из колодца, шепнул:

— Готово! Пуста башня!

Тайницкая башня стояла посередке северной стены, а потому ночью на ней не было дозора, как на угловых башнях. От греха на ночь ее запирали снаружи на засов с амбарным замком, ключ от которого уносил Бурмот; приставные лестницы, что вели с валов вдоль частоколов на боевую площадку, забрасывали на обходы. Караульные проверяли порядок только снаружи. Северная стена была, пожалуй, самой безопасной, так как выходила на овраг Чердынки — крутой, кривой, непролазно заросший лозняком, а по другому склону огороженный крепкой стеной монастыря. К северной стене острога лепились всякие хозяйственные постройки: амбары, конюшни, бретьяницы, дровяники, сараи. Готовясь к московитской осаде, в острог навезли полно всякого нужного припаса. То, что боится дождя, частью заволокли в Тайницкую башню. Иона и Пишка внимательно осматривали, ощупывали лежащие вдоль стен башни укладки из мешков, тюков, заколоченных бочонков, коробов и туесов — что там? Лыко и пакля, связки стреловищ, рогожа, сушеный торф, веревки, земляная смола — тяжелая, жирная, черная, какую добывают где-то у себя и продают сылвенские остяки.

— Ох, годы вы, годы, — кряхтел Иона, сидя на краю колодца тайника и потирая поясницу. — Пишка, бесов сын, таскай мешки да заваливай дверь...

Пишка, запихав рясу в штаны и засучив рукава, громоздил у двери мешок на мешок. Вскоре гора их, подпертая тяжелыми бочками, уткнулась в сруб колодца, намертво перекрыв вход в башню. Иона зубастым серпом уже порол дерюгу и раскидывал повсюду вороха пакли. Пишка выдавил дно туеса и разлил по мешкам и пакле вонючую, черную земляную смолу.

— Хорош! — чихнув по-кошачьи, шепнул Иона. — Поджигай!

Пишка залез на колодец, подпалил пучок лучин и стал разбрасывать их во все стороны. Язычки пламени побежали по мешкам, по клочьям сухой пакли, по связкам лыка, вырастая на глазах. Отсветы огня озарили бревенчатые стены, балки высокого облама, черные прозоры бойниц.

— Эх, владыко, сюда бы еще сенца!.. — страстно шепнул Пишка, озираясь вокруг.

Иона отступил на шаг Пишке за спину, высоко и неловко замахнулся над головой серпом и с силой всадил его монаху под левую лопатку. Пишка изумленно охнул, выгнулся дугой и, растопырив локти, свалился с колодезного сруба ничком в черную, горящую лужу.

Иона, дрожа, перекрестился. Огонь выростал все выше и выше, как болотная трава. Торопясь, Иона встал на крышке тайника на четвереньки, потянулся, выдернул у Пишки из спины серп и бросил рядом. Все правильно, прости господи. Разгребут пожарище — найдут кости поджигателя. Кто он? Дознаются: монах Пишка. Понятно. Русский человек не хотел, чтобы пермская крепость русскому войску путь преграждала, затем и поджег ее. А епископ Иона здесь ни при чем. Он еще за два дня до поджога на Вычегду уехал.

«Без малогого греха большой грех не одолеешь», — думал Иона, сползая в колодец тайника.

Он вывалился из норы в урему у Чердынки и первым делом оглянулся. Башня стояла за деревьями, вверху и немного в стороне. Сквозь листву и ветви Иона увидел, как пылают ее бойницы, словно жерла домниц. Скоро башня вспыхнет целиком, а от нее красный петух перелетит на прясла стен, на крыши амбаров, на шатры других башен... Не бывать больше крепости в Чердыни! До Ионы донеслись крики, стук деревянного била, звон маленького колокола в монастыре — началась суeta. «Гори, гори, как свеча воску ярого!» — будто заклиная, прошептал Иона и побежал вверх по речке Чердынке.

Он очень удачно пробрался под новым мостом, соединявшим монастырский холм с острожным, — его никто не заметил, хотя из обители по мосту густо бежали на выручку чернецы. Руслом Чердынки вдоль околицы Иона обогнул посад, где уже поднимались крестьяне, разбуженные суматохой, и углубился в лес за выпасами. Когда он, задыхаясь, миновал еще с полверсты, из кустов на него вывалился человек с ножом.

— Тьфу тебя! — закричал Иона, шарахнувшись. — Дурак!

— Ой, бата, прости! — запричитал Ничейка, всплеснув руками. — Не признал Ичей! Крепость горит, Ичей думал, москвит пришел, зажег, сюда бежит!

Иона опустилсЯ на землю и раскашлялся.

— Коней давай, истукан, — просипел он.

Верхами они двинулись дальше, к Бондюгу. На Русский вож выходили только там, где приходилось по мосту преодолевать речки, и то сперва Ничейка пешком бежал на разведку — нету ли кого. Ехали вдоль дороги, но так, чтобы никто не увидел. Медлить было нельзя. Около полудня добрались до бондюжских выпасов. В роще распрягли коней и повалились спать.

Когда стемнело, выбрались на луга и свернули к речке Бондюжанке,

где Ничейка спрятал лодку — легкий берестяной пыж. Коней отпустили на волю, сняв упряжь, чтобы никто не догадался, чьи это скакуны. Загрузили лодку, петлями речонки тихо выплыли в Каму, никого не потревожив в деревне, и погребли вверх по реке. Иона сидел на руле, Ничейка махал распашными веслами. Высокая, серебряная крона Прокудливой Березы ушла за поворот. Впереди простерся черно-лунный тракт великой реки. Где-то там, еще вдали, но приближаясь с каждым мгновением, навстречу пыжу двигалось непобедимое войско московитов.

Иона и Ничейка решили плыть ночами, чтобы никто не опознал, не остановил беглого епископа. Древний путь по могучей реке открывался Ионе со своей темной, колдовской стороны. Над сквозисто-синей водой вздымались черные, зубастые крутояры, и совы, светя желтыми глазами, пересекали дорогу. Теплый белый туман выползал на камский простор из стариц, а притоки в полночи казались струями таежного дурмана, медленно растворяющегося в свежести протяжных створов. Отмели поднимались с глубины, показывая бледные сине-зеленые спины, над которыми бесами вертелись рыбы, игравшие в лунной воде. Комьями пены вскипали зацветавшие плавни. Острова плыли навстречу, как большие косматые корабли, все опутанные птичьим щебетом. Изредка на пойменных лугах багровыми огоньками мелькали догорающие костры, и тогда Ничейка отводил лодку к противоположному берегу. Многоярусное звездное небо казалось холмистым полем, где разбили свой стан полки московитов, чтобы с рассветом идти на приступ. На старых прибрежных требищах идолы поднимали к звездам деревянные лица, чуть подсвеченные снизу лунным отражением, и печально глядели на кружева небесных ворг: мол, наши народы уже рассеялись в вечной парме, дайте же и нам спокойно лечь и истлеть...

Но Иона ни на что не смотрел, ничего не видел, ничего не чувствовал. Старость позволяла ему даже не думать — и при этом не испытывать скуки или тревоги. Глупые, наивные, нелепые и неверные мысли, которых он нахватался в молодости, время сплавило, вылизало и превратило во что-то похожее на веру и жизненные итоги. Теперь, в старости, Ионе уже было достаточно знать, что он занят делом, на которое его вдохновила вера, и это как бы само собой давало ему ощущение накала разума, страсти, борьбы, хотя не было ничего — просто недалекий старик плыл в берестяной лодке по чужой реке.

Иона никогда не задумывался над тем, что такое вера, что такое бог, каков путь человека к вере и к богу — иначе бы он и не стал епископом, не

строил бы монастырей, не крестил бы язычников-пермяков. В жизни Иона стремился только к одному: к благочинию. Господь вставил в каждого человека душу, как кувшин. Если за ним не следить, бесы нагадят внутрь, испоганят. А если блюсти себя, держать кувшин в чистоте, то господь сам обязательно наполнит его святым духом. Кувшин с бесовым дерьмом — это язычество. Кувшин с божьим духом — Христова вера. Все очень просто. Такую простоту Иона называл мудростью. И главным своим делом он считал сохранение чистоты кувшина. Создать кувшин и наполнить его — уже дело бога. А он, Иона, как пастырь должен только сохранять чистоту кувшина в себе и в других. Это Иона называл святостью.

Чистота — это когда мусор выброшен вон. Идолы сожжены, храмы построены, люди в нужный час кланяются кресту и говорят положенные слова — вот она, чистота, благочиние. Князь Михаил не давал Ионе вымести весь мусор с пермской земли, поэтому епископ и бежал к москвитам. Пускай они выметут Михаила. Иона Пустоглазый даже не видел того, что и сам он сейчас, как мусор, выметен судьбою из Чердыни.

В первый день, когда отсыпались, Ничейка не стал разжигать костра — боялся, что кто-нибудь увидит дым.

— Завтра пожжем, бата, — извиняясь, сказал он. — Завтра болота Гондыра начнутся, много дыма будет, никто не заметит.

Следующей ночью действительно плыли мимо берегов Дымного болота. Во тьме над лесом по правую руку висели сизые космы дыма, замутнявшие звезды. Луна казалась змеиным гнездом. Перед рассветом доплыли до знаменитого Кэджорёма — двойного крутого поворота, где река расслаивалась на несколько русел между островами и была загромождена буреломом, глухо заросла тальником и плавнями, укрыла мысами заводи. К тому же мели, выпавшие старицы и притоки так путали здесь дорогу, что без проводника трудно было за день выпутаться из извилин Кэджорёма. Большой путеводный крест, установленный купцами, пермяки срубили, чтобы им не воспользовались москвиты. Несколько землянок, где обычно жили уросские мальчишки, знавшие реку как шнуровку на своей яге и нанимавшиеся на ладьи проводниками, теперь были брошены. Солнце поднималось в мутной белесой дымке, которую легкий ветерок натащил на реку с криволесий вечно горящего Гондыроля — великого Дымного болота, где жил огненный ящер Гондыр.

До полудня Ничейка гонял пыж по узким протокам. Лодка то застревала на мели — приходилось спрыгивать и спихивать ее, — то утыкалась в завалы, и Ничейка с топором полз на груды стволов, надеясь высмотреть чистую воду. Трудно было дышать от запаха гари. Тусклое,

угрюмое марево висело над протоками — Кытыгилом, Бур-дэма-Ёром, Пил-Сосом, Ер-Чукером, Вук-Перной и Нэк-Перной, Нэджоромом, Лёшки-Плёшками... Течение исчезло, и стало совсем непонятно, куда же правиться.

— Роттыны сер Кама! — в сердцах бормотал Ничейка. — Рува-дува!..

— Давай причаливай! — не выдержал Иона. — Спина вся затекла!

Ничейка привел пыж к берегу, где в кустах кверху брюхом валялась старая, серая от времени барка. В ее днище чернели дыры. Борты были проломлены таранами смытых половодьем древесных стволов. Невдалеке на пригорке кособочились два креста на могилах сплавщиков.

Лес перепутался с тальником. Из ветвей торчал белый костяной плавник. Гнилые буреломы оплела паутина и плесень. Молодая ядовитая зелень густо затопила опушку. Припекало, и раскаленная мгла начинала душить. Птиц не было слышно, зато всюду орали лягушки.

Ничейка вытащил и спрятал пыж с веслами и пошел по едва заметной тропинке за епископом. Тропа привела к разбитой барке. Иона сел на трухлявый брус возле старого кострища. Ничейка вдруг начал затравленно оглядываться.

— Бата, нехорошее место, уйдем, — заговорил он.

— Чего еще? — недовольно заворчал Иона. — Намаялся, все косточки ноют... Охо-хо, грехи...

— Это русский костер, — касаясь пальцами перекладины на рогатках, сказал Ничейка. — Пермьяк журавль строит, а это козел. Росы на углях нет. Следа лодки у берега нет. Какой-то рус или много русов тут совсем недавно был и не ушел еще, прячется. Может, дурной человек, злой. Уйдем, бата...

— Ужо не уйдете, друже, — неожиданно раздался голос над головами Ничейки и епископа.

На днище разбитой барки стоял босой, оборванный, заросший человек и натягивал лук. Кто-то — Ничейка его не увидел — схватил Ничейку сзади за лоб, задирая голову, и лезвие ножа легло на горло.

— Не дергайся, — велел второй голос.

Иона отвалил челюсть.

Лучник прыгнул с барки, подошел ближе, вынул нож из-за голенища у Ничейки и сунул за веревку, намотанную вместо кушака, откинул в сторону Ничейкин топор, поднял и высыпал на землю мешок, принесенный Ничейкой из пыжа.

— Нынче харчи сами к нам приходят, — хмыкнул он. — Отпусти его, Аниска.

Нож у горла исчез. Ничейка оглянулся. За его спиной стоял рослый,

рыжий, длиннорукий горбун.

— Скудельники! — вдруг со страхом воскликнул Ничейка, отступая от рыжего.

— Они самые, — кивнул ватажник, прилаживая на средний палец правой руки, на ладони которой лежал нож, волосяную петлю и натягивая ее на рукоятку. — Кто будете такие, добрые люди?

Ничейка знал, для чего нужна волосяная петля на пальце. Одно короткое движение руки — и нож по рукоятку войдет меж его ребер. Ничейка рухнул на четвереньки и пополз к ватажнику, обхватил его колено и, плача, ловя взгляд, полез по ноге вверх, как по столбу на Масленицу.

— Не губи, Лукан!.. — умолял он. — Не губи!

— Так ты меня знаешь? — удивился ватажник.

— Ты — Лукан Убойца! — закивал Ничейка и показал пальцем на горбуна. — А он Анисим Рыжий! Скудельники! Не губи!

Лукьян стряхнул Ничейку на землю.

— А на кой вы мне сдались, щадить-то вас? — спросил он.

Ничейка быстро закивал на Иону, ошарашенно сидевшего на брус.

— Епископ Пермский он! Богатый выкуп получите!

— Сам Иона Пустоглазый? — не поверил Лукьян. — Так ведь он в Чердыни в монастыре сидеть должен, а не рыскать по Дымному болоту у поганых скуделен!

— Бежал бата из Чердыни! — торопливо говорил Ничейка. — К москвитам бежал!

— Эвона что... — хмыкнул Лукьян, — Глянь, Аниска, какая птица в нашей яме приземлилась. Ну, а ты небось князем Михаилом будешь?

— Нет, Ичей я!

— Да ба-а! — изумился Лукьян. — Ичей! Смотри, Аниска, Ичей-батыр к нам пожаловал! Три зуба, семь пальцев и сопля с вожжу!

Рыжий Анисим угрюмо усмехнулся.

— Не смейся, Лукан! — горячо уверял Ничейка. — Не губи меня! Я тебе много, много скуделен покажу! Тайные капища покажу! В парме древние чамьи покажу! Много богов! Много блюд, монет, бисера!

Лукьян глянул на рыжего. Тот пожал плечами.

— Заместо Савки, — прогудел он в бороду.

Лукьян присел перед Ничейкой на корточки, серьезно глядя ему в глаза своими голубыми и холодными глазами.

— Ладно, — согласился он. — Покажешь скудельни. И мольбища, и чамьи покажешь. Будешь у нас вместо Савки — погиб он недавно, болота сожрали. Копать будешь, работать будешь, не получишь ничего, а коли не

предашь — отпустим живым. Слово. Повезло тебе, пермячок. А епископа твоего мы потом обменяем.

Вечером того же дня легкий шитик плыл по протокам Дымного болота. Над болотом низко висело тускло-сизое, светящееся марево, в котором не видно было солнца. Камыши и осока шуршали по бортам шитика. Из черной, подернутой ряской жижи торчали космы кривого, заплесневелого леса, заваленного гнильем и буреломом, густо заросшего вязкой и жирной зеленью. Было очень жарко и душно. Горло драл запах гари. Плотными тучами висели и ныли комары. Трясины чавкали, урчали. Какие-то твари возились в тальнике, трескали сучьями. Пронзительно верещали вдали птицы. Повсюду ощущалась густая и тесная жизнь — жизнь больших и малых, терпимых и омерзительных болотных обитателей; холодная, склизкая, черно-торфяная и смрадная жизнь болотной нечисти.

На корме шитика с шестом стоял Лукьян, на носу слегой расталкивал плавучую дрянь рыжий горбун Анисим. Епископ Иона сидел посередине на дне, рядом лежал связанный на всякий случай Ничейка. Спасаясь от гнуса, люди наворачтели на себя рваное тряпье и походили то ли на огородных пугал, то ли на вставших из могил мертвецов в истлевших саванах. Под тряпьем было нестерпимое пекло, пот разъедал кожу, но Иона терпел. Он зажмурился, широко раскрыл мокрый рот и твердил про себя молитву, прося избавления.

— Вишь как получается, дед, — балагурил Лукьян. — Вот мы с тобой и оказались в одной лодке, в одной упряжке...

Лукьян обращался к Ионе без всякой почтительности. Лет пять назад княжеские дружинники выловили на Каме ватагу скудельников изборича Прохора Сыча. На монастырском дворе в Чердыни по приказу Ионы их всех побили камнями, а перед тем Иона отлучил от церкви и Сыча с ватагой, и прочих скудельников, шаставших по прикамским чащобам. Значит, и его, Лукьяна, отлучил.

— Ты, дед, меня не бойся. — Голос Лукьяна звучал из-под тряпья глухо, одышливо. Впрочем, Иона и не слушал. — Зовут меня Убойцей — да, но оно мне только для острастки нужно. Ремесло обязывает. Зазря я живота никого не лишаю, хотя грех на душу брать приходилось. Я тебе, дед, дурного не сотворю, не трясись. Вот разгребем Перунову яму, переждем, пока князь Михаил с князем Пестрым Чердынью поделят, и отвезу я тебя в монастырь. Так что потерпи пока. А все же не зря судьба нас в одной лодке свела. Мы ж с тобой, считай, побратимы, хотя ты меня знать не желаешь. И ты, и я, оба мы с демонами боремся. Только ты их молитвой изгоняешь, крещением, а я — врукопашную... Вот ты меня от церкви

отлучил, а у кого из нас вера прочнее? Сдается мне, что у меня. Псалмы голосить да кадилом махать много веры не надо. Ты попробуй с демоном один на один схватись, когда жуть кровь леденит, и не сдавайся... Не-ет, дедуня, не сдюжить твоей вере. Сломаешься. Болтун ты пустоголовый и пустоглазый, а не святой. Не тебе с демонами бороться. Ты их, поди, и не видел никогда.

— Ты, что ли, тать, видел? — буркнул Иона.

— Видел. Ты ведь и не знаешь, какие они, демоны. А меня вуншерихи душили и в сыню волокли... Видел ты, как мертвецы в разрытых могилах ползают и золото собирают? Как по болоту деревья ходят и корни из тины вытягивают? Я видел, как вёрсы змей едят, как из земли камни всплывают. Видел Осину-С-Руками, Болотные Ноги и Глаза-Из-Бучила. И призраки меня морочили, и огни болотные заманивали в утопель... Я и от Комполена убегал, который по веткам прыгает, и с Таньварпеквой дрался — гляди, ножом ей персты отмахнул, — Лукьян порылся на груди и вытащил нитку с насаженными на нее двумя высохшими, черными человеческими пальцами; на каждом пальце было по четыре фаланги и желтый загнутый птичий коготь. — Десять лет я здесь брожу, три ватаги сменил. Я про это болото все знаю. Знаю, где Гондыра найти; знаю, где чердынские ведьмы камлают; знаю, где крещеных младенцев топят, где болотницы охотников караулят. Знаю, где Мухоморный остров, дающий забвенье, где деревни людоедов и Чертово кладбище...

Я со здешней нежитью каждый день бьюсь — только вера меня и хранит. А ты меня от церкви отлучил, иуда... Был у меня в ватаге бродяжка из Коряжмы — загиб он потом, прорва засосала. Так вот, я видел, как его в зыбун утягивает; как у него одна голова осталась, так он и говорит мне: «Бери, Лукьян, у меня в торбе икону, она тебя сбережет, ее сам Стефан писал...» Вот эта икона, старче, ныне мне все твои храмы заменяет. Ей только и молюсь, она мне единственная защита и подмога...

Лукьян задумался. Черты его дикого, заросшего лица вдруг стали еще резче, обрели выражение какой-то жестокой скорби.

— И не зря, видно, меня Убойцей прозвали, — сказал он. — Не потому, что людей убиваю, а потому, что сами они со мной гибнут. Сколько уж их... Кто утоп, кого в могиле завалило... И блудили, терялись в урманых, и от голодухи падали, и заразой всякой травились, и самострелы нас на мольбищах били, и в ямы-ловушки с кольями на дне проваливались, и шаманы нам мстили, и князьи дружинники вешали, да и друг друга за хабар, бывало, решали... Что за жизнь! Без дома, без бабы... Лытаешь по глухоти, ищешь кумирни и курганы, могилы роешь... Да, бывает, и куш

урвешь, а радости-то? В кружале глаза залить, растряссти все с пьяной теребенью и снова к демонам на промысел... Попы да монахи нас анафемой клянут, пермяки убивают, ратный люд ловит и на чепь в поруб, а простой мужик шарахается, как от зачумленных. И ведь не тати, по дорогам не лиходействуем, чужого не берем, дуван не дуваном — у мертвяков золото отнимаем, не нужное никому, забытое, запрятанное. А нами детей стращают: «Не будешь мамку слушаться — отдам в скудельники, пойдешь в древних могилах клады копать, кости человечьи грызть, будут тебя бояться все, как прокаженного...» Эх, знал бы сызмальства, что вековать мне на покойницких болотах, как кикиморе, копать в могилах, как ворону в падали, так, наверное, из мамки бы и не вылез. Болото, болото... Жизнь моя — болото...

Шитик ткнулся носом в заросший осокой бережок.

— Все, приехали. — Лукьян толкнул шестом Ничейку. — Вылазь. Вон наша скудельня.

Невдалеке на краю болота поднимался крутой холм сажени три высотой и саженой десять в подошве. На вершине его росла кряжистая береза. В боку холма зиял раскоп, где виднелись почерневшие бревенчатые венцы склепа. Сверху склеп был укрыт накатом. Береза корнями прижимала его бревна, которые, видно, окаменели так, что их и топор не брал. Чтобы проникнуть в склеп, скудельники приподняли два бревна и подперли их колом. В образовавшуюся щель мог пролезть человек. Сверху возле ямы лежали кучи свежей земли с воткнутыми в них лопатами, носилки, бадейки. Из ствола березы торчал топор; в развилке ветки была укреплен черная иконка. А вокруг древнего кургана по согре валялись черепки глиняных блюд и горшков, истлевшие тряпки, зелено-бурые заплесневелые кости, покоробленные деревянные щиты, ржавые обрывки кольчуг, изъеденные временем мечи — все, что скудельники выбросили из погребения. Иона обратил внимание на весело скалящийся человеческий череп под кустом. На черепе криво сидел проржавевший и расклепавшийся шлем с насечкой. В болотной воде громоздился толстый, короткий идол с грубо вырезанным лицом — наверное, раньше он венчал курган.

Ничейка затравленно озирался. Анисим развязал ему руки и хлопнул по спине, подталкивая вперед.

— Пермяк твой здесь останется, — пояснил Ионе Лукьян, спихивая шитик с отмели. — Будет с нами работать. Еще позавчера нас трое было. Сгубило болото Савку. Плыл он ночью на лодке и натолкнулся на корягу. Туда-сюда — не может отцепиться. Решил лучину зажечь, посмотреть. А я на берегу стоял, ждал его. Только он искру высек, как вспыхнуло все

вокруг, грохнуло и в куски Савку разорвало вместе с лодкой. Меня аж в тальник закинуло, опалило. Так мы с Аниской и остались вдвоем. А без третьего нам никуда. В скудельне поруб водой затопляет, надо отчерпывать, а щелка в кровле узенькая, сам видел, едва ведро просунуть можно. Так и получается: один копает, другой воду черпает и подает, третий выплескивает. Понял?

Шитик отходил от кургана, глядевшего в черную камышовую заводь.

— Знатный здесь человек схоронен, — оглядываясь, сказал скудельник. — Сотник, а может, и князь. С ним оружие, золото, тамга, трех коней нашли, шестерых рабов убитых... А ведь не пермяк он. Пермьки своих покойников либо сжигают, либо в колодах на деревья вешают, либо закапывают в берестяных свертках, а сверху ставят чамью с иттармой... Здесь не то. И мечи у них не пермские акинаки, и железо на бронях нездешней выделки. Что за племя? Откуда пришло? Куда подевалось? Почто они князя своего здесь, на болоте, схоронили? Места получше не нашлось?

Иона молчал.

— Может, из-за этих вопросов и роюсь я в древних могилах? — задумчиво рассуждал сам с собою скудельник. — Золото что? Золото — так... Не оно манит. Тайна манит, понимаешь? Охота за грань времен заглянуть. Как жили люди? Зачем? В кого верили? Какие обряды творили? Почему исчезли с земли? Может, оттого и щадят меня демоны, что я не за кладами рыщу, а за истиной?.. Был у меня друг, Калина прозвищем, он тоже все хотел о минувшем правду вызнать. Много чудного я от него услышал. Жаль, сгиб где-то, говорят... Что ж, таков промысел. Есть ради чего пропадать. Вот, гляди, диво какое...

Лукьян порылся в лохмотьях и вытащил зеленую медную бляху. Повалив вверх брюхом, медведь свирепо терзал ящера, а сверху его в затылок долбил клювом огромный ворон. Три фигуры сплелись в борьбе в единый кружевной узел. Лукьян любовался бляхой и показал ее Ионе. Иона без выражения тупо смотрел на скудельника пустыми глазами.

— Эх ты, идол, — привычно огорчился Лукьян и спрятал бляху. — Коли нет в тебе тяги к тайнам человеческим самодревним, так и сиди тогда на острове посереде болота. Вари нам кашу.

Шитик пересек протоку и причалил к другому берегу. Здесь был стан скудельников — шалаш, кострище, мешок с припасами. С острова Иона не сбежит. Пусть готовит харч, пока скудельники роются в кургане. Оставив Иону кашеварить, Лукьян поплыл обратно.

Иона сел на чурбак у кострища и смотрел, как скудельник переплыл на

противоположную сторону, вытащил из воды шитик и полез на курган. Вместе с Ничейкой он спустился в склеп, а рыжий горбун остался наверху. Ничейка изнутри подавал ему бадью с водой, и Анисим выливал ее на склон — так, чтобы вода не просочилась обратно и чтобы вместе с грязью не выплеснуть какую-либо побрякушку, случайно зачерпнутую на дне скудельни. Из щели под бревнами струился синеватый дымок от горевших в склепе лучин.

Иона понимал, что ему нельзя оставаться на Дымном болоте. В Чердынъ он должен войти с войском князя Пестрого как вдохновитель победы, а не как бычок с ярмарки. Кряхтя, Иона поднялся и вдоль берега болота побрел искать выход с острова. И сразу за кустами увидел, что протока, которую на шитике переплывал Лукьян, сворачивает, мельчает и сужается, превращаясь в обычную выраю — приточенную лесную ложбину. Иона вернулся к кострищу.

— А-а?.. — крикнул скудельник Анисим, не расслышав слов ватажника из-под земли. Он присел у края раскопа на корточки, опершись о бадью.

— До скотницы дорылся! — услышал и епископ слова Лукьяна. — Одному не подковырнуть, спустись!

Анисим засуетился, бросил ведро и неловко полез в щель под бревнами наката. Ноги его лягнули в воздухе, и он исчез в темноте склепа. Иона вскочил, выдернул жердину, обрушив шалаш, и мелкой трусцой побежал к найденной вырае. Ощупывая жердью дно, он по пояс в болотной воде перебрел на другую сторону протоки и поспешил к скудельне.

И под холмом, и на холме было пусто. Из ямы, из склепа доносилась взволнованная ругань троих людей, вытягивающих из вязкой земли колодину-сокровищницу. На тряпице возле раскопа лежали, отблескивая, грязные золотые и серебряные чаши, монеты, броши. Так же валялись рыжие лохмотья рваных кольчуг, ржавые мечи, гнилые кости. Так же из-под куста скалился череп в разъехавшемся дырявом шеломе. Звенели комары, вдали хохотали жабы. В дымной мгле, что запуталась в ветвях березы на верхушке скудельни, темнела закопченная икона.

Толстый столб, вкопанный в землю на локоть глубины, поддерживал два бревна кровли склепа. Иона уперся своей жердиной в край раскопа, установил ее поперек столба и надавил. Кол начал медленно клониться. Раздался скрип дерева по дереву. В склепе глухо звучали голоса скудельников. Кол вывернулся, и тотчас тяжелые бревна кровли с грохотом упали на прежнее место — на сруб склепа, как крышка на гроб. От удара струйки земли потекли в яму. В склепе заорали скудельники.

Иона бросил жердь и с трудом вскарабкался на кровлю полуразрытого сруба. Бревна подпрыгивали от ударов снизу. Иона выдернул лопату и стал тыкать ею в края ямы, обрушивая извлеченную землю обратно на склеп, себе под ноги. Топчась, он трамбовал ее, но земля не хотела лежать спокойно — дергалась, шевелилась. Иона торопливо вылез на верхушку холма и замахал лопатой, засыпая яму. Он задыхался, сипел, но не останавливался. Земляные кучи на вершине холма потихоньку оседали, а яма делалась все мельче. Над головой темнело. Затихая, глухие удары становились реже, а вопли невнятные.

Иона, обессилев, опустил на перевернутую бадью, посидел, переводя дух, затем тяжело поднялся и, уже не торопясь, скидал в яму оставшуюся землю, почти сровняв ее с утоптанной площадкой на вершине холма. Скудельня была закопана обратно. Демонское оставлено демонам. Иона снова присел, бросив лопату. Из-под земли еще доносились крики заживо погребенных людей, скудельня еще вздрагивала всем телом, как умирающее животное, в котором останавливается сердце. Иона прочел молитву, перекрестился и пошел собирать раскатившиеся с тряпицы чаши, монеты, резные украшения чудского князя. Завязав их в узел, Иона снял с березы закопченную иконку Стефановского письма и побрел со скудельни к шитику Лукьяна.

Он плыл болотными протоками, не зная и не разбирая дороги. Он мог заплутать и совсем пропасть в дебрях бескрайнего Дымного болота, но ему повезло — нарья вывела его в старицу, а та, покрутив по воложкам, указала путь к Каме. Далеко за полночь Иона выбрался к матерому берегу парой верст ниже Кэджорёма. Издалека он увидел огромное множество огней на берегу, шатры, лошадей; увидел зачальные плоты и барки, услышал голоса, звон кузнечных молотов, шум большого стана, стук топоров. Иона бросил шитик, взвалил на спину узел со скудельным золотом, прихватил Стефановскую иконку и по бечевнику зашагал к людям — туда, где ночлегом стояло войско князя Федора Пестрого Стародубского.

Глава 18

Беличы Гнезда

Князю Уроса Мичкину было двадцать четыре года, а сыну его Ерику четыре. Дом Мичкина стоял на окраине Уроса, на сваях, по колено в водах разлившейся майской Камы. Мичкин и Ерик сидели на пороге, свесив ноги вниз, и смотрели на закат. Ерик прижимался к отцу, а Мичкин, задумчиво улыбаясь, ерошил ладонью его светлые волосы.

— Ай-Мичкин, Расскажи про Ай-Тайменя, — попросил мальчик.

Я ведь много раз тебе рассказывал, — ответил Мичкин, но сын молчал, лишь теснее прижимаясь к его боку. — Ну, ладно... Мы с тобой, и твоя мама Ротэ, и дедушка Хурхог, и дядя Оста, и дядя Пэрта, и старик Выртылунве, и многие другие у нас в Уросе — все они происходят из рода Великого Тайменя Самоцветное Перо. Давно-давно, когда еще не было никого из живущих ныне и даже когда еще не родились те, кого помнят идола Модгорта, Великий Таймень Самоцветное Перо, князь Камы, полюбил девушку-рыбачку, которую звали Талавей, и Талавей родила ему сына Кирика. Но демон Куль тоже полюбил прекрасную Талавей и ночью украл ее у Тайменя и спрятал на небе. Маленького Кирика он бросил в парму, а Каму закрыл льдом, чтобы Таймень не мог увидеть даже лица своей возлюбленной. Парма сжалась над маленьким Кириком. Ош дал ему свою шкуру, чтобы греться зимой. Береза Кэдз дала бересту, а елка Кёз — ветви, чтобы построить лодку. Богатырь Пеля принес зуб Гондыра, чтобы Кирик имел огонь. А звездный конь Вёл, что вечно везет по Звездной ворге повозку Торума, дал Кирику волос для тетивы. Прошли годы, и Кирик вырос. Он пошел к святому деду Ялпынгу и рассказал ему о своих страданиях, которые претерпел, пока парма не послала ему на помощь своих добрых жителей. Ялпынг заплакал от жалости и направился к великому богу Ену. Он упросил равнодушного бога поделить на земле добро и зло пополам. И с тех пор зима стала длиться только полгода, а полгода — тепло. Когда же началась первая весна, Таймень наконец-то вновь увидел на небе лик своей возлюбленной Талавей — луны. Но горе и разлука иссушили ее. Она не захотела старухой вернуться к вечно молодому и прекрасному Тайменю. Но она завещала ему: если уж судьба была так зла к ней и к сыну их Кирику, если уж жизнь детей, и внуков, и правнуков Кирика на земле, где полгода лежат снега, будет полна трудов, невзгод и печалей, дай, о Великий Таймень, им в утешение свой

волшебный самоцвет — любовь. И Таймень обещал это своей несчастной жене. И теперь каждую весну, когда сходит лед, он разыскивает своих потомков, вошедших в пору мужания, всплывает, держа во рту самоцвет, и отдает его. И самоцвет этот приносит счастье, потому что человек, имеющий в сердце любовь, способен радоваться своей горькой и трудной жизни, с благодарностью нести на своих плечах ее тяготы, выстоять в схватке с любой бедой и все преодолеть. Поэтому мы, потомки Тайменя, всегда живем на Каме и ловим рыбу — ведь где же еще нам встретить своего предка, как не на этой великой реке?

— А к тебе приплывал Ай-Таймень? — с горящими глазами спросил Ерик.

— Приплывал, — улыбнулся Мичкин.

— И он принес тебе во рту самоцвет?

— Принес. Это твоя мама — Ротэ.

Замерев, Ерик как на чудо глядел на камский плес, пылавший на закате между частоколами пармы. И от теплого майского ветерка тысячи мелких волн сияли в зареве всеми самоцветными огнями — алыми, малиновыми, лазурными, янтарными, изумрудными, пламенными.

Позади дома у береговой двери стукнула причаленная лодка. Это вернулась Ротэ, плававшая к соседям за солью.

— Ерик, уже поздно, пора спать, — сказала она, появляясь за спинами мужа и сына.

Когда мальчик, тяжело вздыхая, уплелся в глубину дома, Мичкин поманил к себе жену, раздувавшую угли на камнях очага.

— Посиди со мной, — попросил он.

Ротэ подошла и села рядом так же, как недавно сидел Ерик. Мичкин обнял ее. Оба они смотрели на гаснущий закат, на реку и лес, погружающиеся в синеву.

— Что говорят в Уросе? — спросил Мичкин.

— Разное, — ответила Ротэ. — Многие боятся москвитов. Хотят велеть женщинам, старикам и детям уйти, спрятаться на Модгорте, пока москвиты не проплывут мимо.

— Москвиты не причинят нам вреда, — купая ладонь в льняных волосах жены, сказал Мичкин. — Я обещаю это как князь. Ведь старики решили не восставать против чужаков и принять их как гостей. Пусть московитский князь разбирается с чердынским — при чем здесь мирный Урос? Мы в этой войне участвовать не будем. Мы сами, добровольно, примем каном любого, кто победит. Нет, моя милая, не надо бояться. Старики уже послали к москвитам братьев Ыджит-Изку и Дзоля-Изку с

подарками и приглашением. Видишь: ни я, князь, ни кто-либо другой не достаёт и не чистит меч, не острит копье, не натягивает лук...

— Все равно страшно... — положив голову мужу на плечо, тихо и виновато сказала Ротэ. — Ведь это пришельцы из чужой земли, не знающие наших законов. Сана-охотник сегодня тайком бегал до московитов. Они стоят за два поворота от Уроса. У них множество огромных плотов с шатрами и конницей и барки с воинами, у которых вот такие, алые как кровь, щиты. — Ротэ руками обрисовала форму щита. — От их костров над рекой зарево, словно полдень. У них воинов в три раза больше, чем всех жителей Уроса вместе с женщинами, детьми и стариками. Такая большая сила... Они не обратят на нас внимания и растопчут нас, как лось топчет муравейник. Я очень боюсь, Мичкин...

Мичкин молчал, поглаживая жену по волосам. С порога его дома Урос не был виден — дом стоял на нижнем по течению реки краю селения. Таких городов, как Урос, в Перми Великой больше не было. Здесь, на длинном камском створе, крутые еловые косогоры резко обрывались над широкой полосой рочей — заливных лугов с длинными озерами-полоями, возле которых высились рощи старых деревьев. На лугах стояли дома Уроса, выстроившись вдоль Камы в несколько рядов. С береговой стороны их прикрывали два невысоких вала и покосившийся, щербатый частокол. Но при защите города больших надежд на валы и частокол не возлагали. Главной защитой была сама Кама. Почти круглый год, кроме нескольких недель июльской межени, луга были залиты водой. Дома Уроса стояли на сваях. До них враг мог добраться только на лодке. Зимой во льду прорубали полынью, опоясывавшую город. Сейчас, в половодье, Кама поднялась почти до порогов, до просмоленных днищ. Прижатый к правому берегу, Урос не боялся и ледоходов: крутой поворот русла уводил струю к левому берегу и лед не задевал строений. У дверей каждого дома на воде покачивались привязанные лодки. На стенах висели сети и снасти, вязанки хвороста, связки сушеной рыбы. Мостки соединяли дома с амбарами, тоже поставленными на столбы. В межень толпа свайных жилищ, обвешанных разным хозяйственным припасом, и вправду напоминала лес, где на деревьях повсюду белки нагромождали свои гнезда. Урос, Ур-Поз, Беличьи Гнезда русские называли своим именем — Гайны.

Урос жил рекой, оберегался рекой, кормился рекой, молился реке. Даже старики не помнили, чтобы враг нападал на их город или чтобы сами уросцы уходили с кем-нибудь в набег. Мирный Урос летом и зимой добывал рыбу и торговал с купцами, что шли главной торговой дорогой в Пермь Великую — Камой. Они не сеяли ржи, не били зверя, не рыли руду,

а все — от меда, соли и орехов до хлеба, соболей и железа — покупали или выменивали. В самые богатые или, наоборот, самые голодные годы их аргиши уходили с мороженой рыбой далеко в парму — от правого берега к полудню до чащоб Кудымкара и Майкора, от левого берега к полуночи до болот зырянских городищ.

Управлял селением древний род Тайменей, который пророс сквозь Урос, будто огромное многоветвистое дерево. Волю рода старики высказывали князю, а уж князь претворял ее в жизнь всего города, где много было и пришлых семей, и посельников-одинок. Десять лет назад старики избрали князем четырнадцатилетнего Мичкина. Тогда Мичкину нравилось, что он — еще мальчишка и простой рыбак, а не воин, — на равных стал разговаривать с прославленными пермскими князьями: отважным Качаимом Искорским, мудрым Пемданом Пянтежским, справедливым Михаилом Чердынским и со всеми другими. Но прошло десять лет, и Мичкин понял, что ему важнее не это. Важнее для него стало то, что в князья его выбрали именно свои старики, которые тоже были и отважны, и мудры, и справедливы, и уважаемы в парме. Важнее стало то, что в князья он выбран своим родом — Тайменями. Одобрение рода, его процветание и обережение для Мичкина стало главным.

Он лежал на шкуре у погасшего очага, обнимал спящую Ротэ и думал обо всем этом. Перо Тайменя — самая яркая и волшебная звезда северного неба светила ему сквозь дымоход в кровле над очагом.

Глубокой ночью, в самый глухой, волчий час чья-то лодка стукнулась о порог дома Мичкина. Князь проснулся, поднял голову.

— Мичкин, Мичкин! — звал кто-то, отводя полог.

В маленьком берестяном пыже сидел Бичуг — воин из княжеской дружины, который сейчас должен был стоять на страже у верхнего конца Уроса.

— Ты почему убежал? — строго спросил Мичкин.

— Страшно, князь! Поплыли быстрее со мной, сам увидишь!

— Куда? Зачем? — удивился князь. — Я не поплыву! Плыви один! Возвращайся!

Отвернувшись, Бичуг покачал головой.

Вдвоем в пыже, подгребая маленькими веслами, они проплыли мимо последнего в Уросе дома, где жил бобыль Кыртог, и вышли на камский простор. Ярко-синее небо искрилось над темной, блестящей водой. Ломаная полоса елей разделяла реку и звезды. А вдали на реке виднелось что-то маленькое и черное, тихо плывшее по течению.

— Вот это, — указал Бичуг.

Они дружно загребли, направляя пыж к плывущей коряге — так поначалу показалось Мичкину. Но когда до коряги осталось расстояние в половину полета стрелы, Мичкин увидел, что это маленький плот, на котором громоздилось что-то непонятное.

— Торум барны вагырны... — зашептал наговор Бичуг.

Мичкин сделал еще пару гребков и замер. Он увидел, что же такое находится на плоту. Там, спиной друг к другу, сидели братья Ыджит-Изка и Дзоля-Изка, посланные вестниками в русское войско. Русское копье насквозь протыкало обоих.

— В Урос! — коротко и злобно крикнул Бичугу Мичкин. Пыж ласточкой понесся против течения к темным копнам Беличьих Гнезд.

Старик Хурхог, глава рода Тайменей, не спал в этот час. Его давно томила бессонница. Ныли кости и суставы от вечного холода и сырости. Хурхог сидел у очага и иглой из рыбьего ребра латал сеть, когда в порог стукнула носом лодка и в керку ввалился бледный Мичкии.

— Ай-Хурхог, тревога!.. — выпалил он. — Русы убили братьев Изок! Они нападут на нас утром! Надо защищаться, надо уводить женщин и детей!..

— Сядь, — строго велел Хурхог. — Успокойся. Мичкин опустил у очага и провел ладонями по глазам. Некоторое время оба молчали.

— Теперь говори, — разрешил старик.

Мичкин рассказал о страшном плоту.

— Я тебе не верю, — подумав, сказал старик. — Русам незачем нас убивать. Мы привечаем их миром, мы открыли им двери наших домов и кладовых. Тебе почудилось. Это была коряга.

— Нет! — горячо возразил Мичкин. — Не коряга! Я не знаю, зачем русы решили поднять меч против покоряющихся. Может, они хотят нашей смертью запугать прочих — Чердынь, Редикор, Искор? Но я не ошибся. Это была не коряга, а мертвые Изки.

— Почему же ты не привел плот сюда? Почему не взял с плота какую-нибудь вещь в доказательство? Почему же хотя бы не отрезал клоч волос у Изок? Я не могу тебе верить, Мичкин. Ведь ты с самого начала не хотел покоряться москвитам, хотя и скрывал это. Я видел по твоим глазам.

— Уже не важно, чего я хотел, а чего не хотел, Ай-Хурхог! Беда возле самого Уроса! Надо поднимать дружину, надо увозить людей!

— Нет. Я не даю тебе на это позволения рода. Русы сильнее нас, и нет смысла драться с ними. А если мы побежим из Уроса, то они решат, что мы в чем-то перед ними виноваты, и отомстят: разрушат дома, вышлют

погоню, убьют оставшихся или отставших. Мы встретим москвитов в Уросе. Это решение рода.

Мичкин вышел из дома Хурхога и прыгнул в лодку. Он сел на скамейку и в отчаянье обхватил руками голову.

— В чем дело, Мичкин? — осторожно спросил Бичуг.

— Род мне не верит. Хурхог хочет оставить всех людей здесь, — и перед внутренним взором Мичкина вдруг предстали лица Ротэ, жарившей над очагом рыбу на палочках, Ерика, с открытым ртом глядевшего на самоцветные закатные волны. — Нет, я князь, и у меня есть своя воля! — вдруг злобно крикнул Мичкин. — Бичуг, ты сам видел мертвецов. Ты веришь, что я хочу спасти Урос?

— Верю, князь, — кивнул Бичуг.

— Тогда мы сейчас будем поднимать мою дружину.

Мы выйдем на Каму и перед Уросом примем бой с москвитами. Когда люди Уроса увидят, что льется наша кровь, они осознают опасность и побегут. Пусть не жилища, не припасы — но жизнь свою они спасут. А мы должны драться сколько сможем, чтобы сдержать русов, пока наши уходят. Так?

— Так, — сказал Бичуг.

Мичкин помолчал, нервно переплетая пальцы.

— Мы можем погибнуть, — наконец произнес он. —

И скорее всего, мы погибнем. Но мы должны идти, так?

— Так, — хрипло подтвердил Бичуг.

— Я князь, и я должен в первую очередь думать о людях, хотя у меня есть жена и сын. Как ты считаешь, пойдет ли моя дружина за мной ради всех людей Уроса, или каждый мужчина предпочтет скорее спасти своих, а прочих предоставить их участи?

— Я не знаю, — мрачно ответил Бичуг. — Наверное, будут и такие. Но я пойду с тобой.

До рассвета Мичкин метался по Уросу, поднимая спящих людей и собирая свою дружину. От суеты, от того, что ему пришлось много раз повторять одно и то же: «Бегите! Идут москвиты! Бегите! Идут москвиты!» — его тревога померкла, сменившись досадой на неповоротливость сородичей, на их страх, лень, неверие. Когда поголубели ельники на дальнем берегу, а один край Камы засиял рассветным серебром, из лодочных сараев дружинники начали выводить длинные каюки. Мичкин поплыл к своему дому.

Ротэ и Ерик спали. Мичкин потряс Ротэ за плечо.

— Вставай! — твердил он. — Вставай скорее! Бери сына и беги!

Ротэ села, спросонок глядя на мужа испуганно и непонимающе. Мичкин, сшибая и топча вещи, вытаскивал из ларя дедовский меч, со звоном натягивал ржавую кольчугу, скрипел зачерствевшей кожей боевых перевязей.

— Московиты идут! — поднимая Ротэ на ноги, вновь говорил он. — Бросай все, бери Ерика, уходите из Уроса!..

— А ты? — цепляясь за него, со страхом спросила Ротэ.

— Я с дружиной задержу их насколько можно.

— Нет! — прижав ладони к вискам, не сводя с мужа глаз, затрясла головой Ротэ. — Я буду ждать тебя в твоём доме!

— Уходи! — заорал на нее Мичкин. — Они убьют всех!.. Беги в Модгорт!

— Я жена князя! Я не побегу из города, который он защищает!

Мичкин в ярости швырнул шлем на камни очага. За кожаной занавеской заплакал разбуженный Ерик.

— Я не хочу умирать, зная, что моя жена и мой сын тоже умрут! — сдерживая бешенство, сказал Ротэ Мичкин. — Я хочу драться, зная, что от этого мои любимые люди спасутся! Ты понимаешь меня, Ротэ? Беги в Модгорт!

Царапнув ножами бревна керку, Мичкин с порога прыгнул в пыж и, не оборачиваясь, оттолкнулся от дома.

Тринадцать больших каюков уже покачивалось у ворот Уроса. В каюках сидело по пять—восемь воинов с луками, мечами, длинными копьями. Над одним из каюков высоко торчал шест, увенчанный лосиными рогами, с которых свисали ленточки с изображениями Тайменя. Это была княжеская ва-йэра, символ рода, Водяной Лось. С этого каюка Мичкину протянули руку. Он перебрался из пыжа на нос большой лодки и крикнул, встряхнув шест с рогами:

— Вперед!

Сердце его запело, когда он увидел, как узкие и хищные, словно щуки, каюки выстроились клином и понеслись в хрустальную лазурь рассвета по глади камского плеса. В тот миг свой отряд показался Мичкину непобедимым. Он даже не оглянулся на Урос, на родные Беличьи Гнезда — ему незачем было набираться сил. Наоборот, сейчас ему хотелось выплеснуть на врага то воодушевление, тот порыв, что кипели в его душе и переполняли грудь.

Каюки промчали створ, плавно зашли за поворот, и тут Мичкин увидел сразу все русское войско. Эта картина была такой яркой, красочной, торжественной, что он не выдержал и закричал. Под бескрайним

лазоревым небом по зеркальной и густо-синей долине Камы, четко ограниченной зубчатыми стенами сизых ельников, медленно плыл целый город — множество огромных плотов и плоскодонных широких барок. Они управлялись парами весел-потесей, вырубленных из цельных сосновых стволов. У каждого весла в ряд стояло по десятку человек. Плоты и барки густо заполняло войско, которое в ясном рассветном сиянии сверкало бронями, шлемами, мечами, копьями, кровенело ало-серебряными щитами, было пестро изузорено хоругвями, шитьем княжеских шатров, блеском плащей-корз и дорогих ферязей у сотников и есаулов, разноцветьем сукна лошадиных попон. Все это вмиг напомнило Мичкину ловлю на нересте, когда в бурлящем хрустале мелкого переката, в струях весеннего солнца радугой переливаются сотни, тысячи, сотни тысяч рыб. Мичкин и сейчас почувствовал себя как в путину: на него плыл целый город, а он ликовал, потому что так много было врагов — бей любого, и от каждого удара будет падать десяток.

Каюки и плоты сближались. У московитов запели рожки. Воины выстраивались по краям плотов, сдвигая щиты. Длинные копья выдвигались во все стороны, уложенные на плечи щитonosцев. За шлемами первых рядов щетиной поднялись бердыши, секиры, шестоперы, клевцы на длинных ратовищах, пики с яловцами, чеканы, топоры. Заржали растревоженные кони.

Мичкин оглянулся. Его дружинники натягивали рукавицы, чтобы не ободрать пальцы о тетиву, смачивали луки, перекидывали на борта кожаные щиты. На корме гребцы ложились на спины, передний — затылком на живот заднего.

— Рассыпай строй! — закричал своим Мичкин. — Входите между плотов! Бейте по коням!

Словно ветер порывом дунул от русского войска — это взвился рой стрел и взбурлил воду вокруг лодок. Каюки стали расходиться «еловой лапой», втягиваться в протоки между русскими плотами и барками. По сторонам дробно замелькали ряды щитов, гуще стал свист стрел. Над головой Мичкина провыла сулица. Каюки неслись вперед, вглубь русского войска. Пермяки отвечали на стрелы стрелами и не приближались к щетке копий. Но пробить легкой стрелой толстый червлёный щит или кованые брони было почти невозможно. Пермские стрелы летели в коней, чьи крупы, шеи, головы виднелись за рядами ратников. Обожженные болью, кони ржали, вставали на дыбы, рвали привязи, метались, сшибая людей, топча их копытами, скидывая в воду. Свалившиеся в волны орали, цепляясь за бревна плотов, или под тяжестью доспехов колунами проваливались на

дно. Стрелы и сулицы московитов проносились над пермяками и разили своих же, что плыли на соседних плотях.

Мичкин видел, как за надвигающимися на него плотами искрой горел алый шатер русского князя.

— Идите на кана русов! — крикнул своим Мичкин.

При виде смятения, охватившего оставшиеся позади плоты, ему показалось, что победа совсем близко. Надо только прорваться к князю, накинуть на него сеть, подрубить шест его шатра и кинуть в Каму хоругвь, на которой горделивый, изнеженный русич копьем тычет с коня в извивающегося пермского ящера. В запале Мичкин уже не обращал внимания на то, что и пермяки падают в камскую синь, пронзенные стрелами, что один каюк перевернулся, а два других плывут с горами окровавленных мертвецов...

Мичкин пробивался к княжескому плоту, и к его каюку присоединялись уцелевшие, вновь выстраиваясь клином. Русы поняли, куда метит пермская дружина. Ближайший плот грузно замахал веслами-потесями, медленно двинулся наперерез, но не успел. Сзади в него врезался другой плот — мелькнули в воздухе обломки весла и, как шишки, посыпались в воду ратники. Плот, треснув, разошелся узкими связками бревен. Поплыли кони, щепки, стрелы, деревянные щиты, шапки; огромным пузырем вздулся белый шатер сотника; горшками закачались на волнах шеломы; чешуистыми рыбами наискось скользнули ко дну тяжелые кольчужники. Теперь некому стало прикрыть русского кана. Его плот был прямо на острие пермского косяка.

Но русский кан не дрогнул. Передний ряд ратников раздвинулся, поднимая копья. Четыре воина вышли на край плота, уткнув в бревна ратовища секир, и на выемку лезвия положили длинные, черные, железные трубы. Сзади им протянули горящие лучинки, и эти четверо сунули огоньки в комли железных стволов. А затем и небо, и река раскололись грохотом, как в грозу, и колесом кувыркнулись в глазах Мичкина, и он плашмя полетел в воду.

Мичкин вынырнул, потеряв и меч, и родовую ва-йэру. Кольчуга утягивала обратно, и плот русского князя надвигался, как остров. Мичкин увидел блестящие днища перевернувшихся каюков, фонтаны брызг там, где тонущие воины его дружины еще боролись с тяжестью кольчуг. Совсем рядом качалась на волнах двухбременная связка из разбитого плота. Мичкин выбросил руку, цепляясь за нее, и тотчас раскаленная игла пронзила ладонь — это стрела пригвоздила руку к бревну. А сразу вслед за этим тяжелая потесь ударила по голове, сминая шлем, и окунула Мичкина в

черную, холодную воду беспамятства.

Если бы не стрела, прибившая его к бревенчатой связке, Мичкин бы утонул. Но стрела, пущенная, чтобы убить, спасла его. Он очнулся словно бы в другом мире. Вокруг не было ни души. Огромная и пустынная река сияла под солнцем. В лесах по берегам чирикали птицы. Связка лежала на золотистой отмели, вытащив за собой Мичкина.

Мичкин подтянулся и лег на бревно. Голова разламывалась. На затылке волосы запеклись от крови колтуном. Князь обломил стрелу и сдернул руку. Боль широкой, горячей волной омыла виски. Спина и бок затлели углями — там в тело были вбиты кольца кольчуги; видно, его, потерявшего сознание, издалека еще пробовали добить стрелами. Мичкин, дрожа челюстью от напряжения, боли и холода, тяжело поднялся и, прищурившись, огляделся. Где он? Это Налимья старица... Вон и маленький идол Отца-Налима на глинистом обрывчике. Его, Мичкина, снесло течением гораздо ниже Уроса. Солнце стояло над головой. Покачиваясь, Мичкин побрел к матерому берегу. В голове его пылал горячий, сверкающий туман.

Он шел по отмелям, по прибрежным лугам и слышал только птичий щебет. Ни души не было вокруг, словно бы и не было вообще ничего — ни Уроса, ни русского войска. Деревья гнулись и шумели в порывах теплого ветра. Огни бежали по синеве Камы. Тихие желтые отмели застенчиво мерцали, когда над ними проплывала рябь. Плеск шагов Мичкина спугивал с мелководья мальков.

Урос открылся как-то весь сразу, и сразу Мичкин понял, что родных Беличьих Гнезд уже нет и никогда больше не будет. Дома, видно, сшибали плотами: косо торчали наклонившиеся на одну сторону сваи, а бревенчатые срубы без крыш боком лежали в воде. Кое-каких домов вообще не хватало — наверное, они уплыли. У некоторых вокруг окон и дверей торчали стрелы — там жители пробовали защищаться. В неподвижной воде висели рваные сети, полосы бересты с кровель, угли очагов, деревянные миски, поленья, вязанки хвороста, запасные весла, обрывки одежды, перевернутые лодки, щепки, перья. Мичкин медленно шагал по краю пойменного луга, и в безоблачный жаркий день ему было до лязга зубов холодно.

Его дома не было — дом уплыл.

На берегу он увидел низкую, бесформенную кучу сырой земли, на которой лежал рыбацкий пыж. Рядом сидел на траве Бичуг и тупо счищал сучком глину с деревянной лопаты. Мичкин остановился. У Бичуга было серое лицо; глаза провалились в глазницы, ушли под брови. Запекшаяся

рана буровила щеку, надвое разорвав ухо; выше колена левая нога была обмотана бурой от крови тряпкой.

— Всех нашел, кроме отца, — сипло сказал Бичуг и дико посмотрел на земляную кучу. — Н-наверное, н-на куски... — заикаясь, добавил он.

Мичкин молча стащил с могилы пыж и спустил его на воду, выловил плавающее в осоке весло.

— Садись, — велел он Бичугу. — Поплыли в Модгорт.

Они медленно проплыли по Уросу, разглядывая дно.

Дно было усыпано домашним скарбом. Тускло отблескивали медные котлы. Люди лежали под водой, словно спали на лугу: старик Хурхог, тетка Нанэ, Пэнсин-косорукий, бабка Пуртым, силач Кэр-Удом, охотник Сана... В одном месте Мичкин увидел отсеченную руку ребенка, в другом — женскую голову, в светлых, развевающихся волосах которой играла рыбная мелочь. Солнечный простор Камы, тихое и мощное ее течение стали для Мичкина дорогой, выводящей из темной погребальной пещеры.

На закате пыж догнал дом Мичкина. Хорошо просмоленный новый сруб не затонул потому, что, перекосившись, поднял проемы входов над водой. Сейчас дом торчал в воложке, запутавшись в плавнях. Странно было видеть его посреди протоки, посреди дремучего леса. Мичкин причалил к порогу — причалил на закате к тому порогу, от которого отплыл на рассвете. Хватаясь за стены, князь полез внутрь.

Бичуг ждал его недолго. Но Мичкин вернулся таким, словно провел в доме сорок лет. Он молча опустил на скамейку, оттолкнул пыж веслом и повел на стрежень. Глаза, скулы, подбородок князя были каменно-неподвижны, но кожа на лбу мелко дрожала, словно от страшного напряжения. Бичуг ничего не спросил, да он и не думал сейчас о Мичкине, вспоминая кучу сырой земли на берегу возле Беличьих Гнезд.

Ночью пыж проплыл мимо русского стана. Сотни костров на версту протянулись по круче вдоль опушки леса. Дозорные русов не заметили маленькую берестяную лодку, прокравшуюся у другого берега в тени еловых частоколов.

Вечером следующего дня князь догреб до урочища Модгорт, где стояли древние, черные, печальные идола. Несколько дымов заранее пояснили князю, что кто-то из его родичей все же сумел спастись. Но даже с остатками своего рода, с женщинами и детьми, князь уже не хотел строить новое селение в Модгорте, не хотел уходить и прятаться от пришельцев в парме. Князь Мичкин хотел плыть в Чердынь.

Глава 19

Лютожирый

Гаврилу Нелидова жизнь помотала крепко. С молодых лет служил в поместной коннице у Великого князя. С рубежа на рубеж, от татарвы на княжескую усобицу, с мужицкого бунта — на засечных татей. Когда плеть не помогала, брался за меч; меч не выручит — выручай, добрый конь. Сначала до десятника дослужился, потом стал сотским. Думал, так уж до веку и жить меж седлом и гридницей. Но жизнь повернулась иначе. Стареть начал, грузнеть, а ума ратного не скопил. Родовое поместье без него совсем развалилось, старосты проворовались, холопы по земле растеклись. Тогда за былые заслуги Великий князь и определил его на воеводство в Устюг.

Городишко не большой и не малый. Князь Константин Ростовский посадил его почти на слиянии Сухоны и Юга так ловко, что сошлись на нем границы и торговые пути новгородцев, двинян, вычегжан, мезенцев, пинежан, печоры, пермяков, вятичей, московитов. За два с половиной века Устюг оброс замшелыми стенами, купеческими дворищами, монастырями, пажитями, ловами, лесными угодьями, починками, пристанями, ремесленными слободками. Воеводе там не житье, а малина. Однако поначалу Нелидов скучал. А потом приглянулась румяная вдовица, и с ней неплохое хозяйство взял — так исподволь и врос. Начал богатеть на пошлинах, ясаках, церковных льготах, оброке, обзавелся детишками да и вошел во вкус. Устюг — город мирный, никто ниоткуда мечом не грозит, а Великий князь далеко. Постепенно подмывал Нелидов городишко под себя, почувствовал себя хозяином, и уж не тянуло больше на ратные труды. Своя забота дороже княжьей удачи. Главное — дела вести рачительно, а во мздоимстве не зарываться. Нелидов так и поступал.

Получив от Ивана Васильевича грамоту с приказом собираться в поход на Пермь, Нелидов даже обрадовался. Давно уж пора ему было поразмяться, разогнать в жилах застоявшуюся кровь. Пермяки народ мирный, не в пример вогулам и другим югоричам. Сечи не жди, за шкуру не трясись. Так, для страху побряцает дружина мечами о щиты и уйдет. А зачем надо пугать пермяков, Нелидов не думал. Не его дело.

Однако пришлось задуматься, когда узнал, что во главе рати поставлен сам князь Федор Пестрый Стародубский. Нелидов много слышал о нем: верный пес Великого князя, суровый и опытный ратный муж. Такого пугать

не пошлют, такого пошлют только рубить. А войско из московитов, устюжан, белозерцев, вологжан и вычегодцев в Устюге собирал боярин Федор Давыдов Вострово. Его Нелидов знал и не любил. Было в боярине какое-то сладострастие злобы, показное зверство. И Пестрый был жесток, и сам Нелидов на своем веку немало крови пролил и голов ссек, но не было в них людоедского наслаждения этим. Они убивали по нужде, а боярин по охотке казнил. Даже дворовые звали боярина за тучность и бессердечие Лютожирым. И коль во главе войска были поставлены такие беспощадные люди, Нелидов понял, что дело затевается нешуточное. А почему?

Понятно, Москве враги — ляхи, свей, мурманы, татары... Ну, Псков, Новгород, Тверь... А пермяки-то, Чердынь ихняя? Ясак платят исправно, откалываться от Руси не помышляют, про угрозы какие и речи нет. Сам же князь Московский Василий Темный и ставил Михаила на княжение, а сын его, Иван Васильевич, через Пермь на Казань князя Юрия Дмитровского с войском посылал, и тоже все тихо-мирно было. До Нелидова доходили слухи, что пермяки с камскими татарами снюхались, что на хана идти отказались, что дьяка московского выперли. Ослушание, конечно; только другие-то князья, что под самой Москвой сидят, впятеро больше строптивятся, и ведь прощает же их Великий князь... Нет, не по вине пермякам кара. Какие-то, видно, другие вины принудили Ивана Васильевича послать на Камень грозное войско. А какие? Да бог с ними, решил Нелидов.

Из Устюга с первыми ледоходами полки поплыли на Вычегду. Там по речке Черной поднялись до истока и перетащились на Весляну. На Весляне сбили новые плоты, наладили большие расшивы и насады и потекли до Камы и дальше по ней — вниз. Пестрый почти весь путь лежал в шатре. Он застудил плечо, пробитое новгородской стрелой, и его трясла лихоманка. Войском командовал Вострово. Конечно, по чину полагалось командовать тысячникам или воеводе Гавриле Нелидову, но уж больно родовит, нахрапист, самоуверен был боярин, больно уж хотелось ему властью потешиться. Поэтому Нелидов молча уступил. Дойдет до дела — вот тогда он и подвинет боярина. А в пути и так можно.

Но зря он укрылся в тени. Долго потом мучила совесть, хоть и казалось раньше, что совесть давным-давно позабыта-позаброшена вместе с деревянными коняшками. Когда перед Беличьими Гнездами к войску приплыли два пермяка, Вострово и не посоветовался ни с кем. Велел проткнуть обоих одним копьём и на плотике отправить обратно: пусть те, кто их послал, знают, чего ждать. А утром, едва полки тронулись в путь, налетели на лодках пермяцкие воины. И была-то их всего горстка, но

суматоху устроили большую. Услышав рев и вопли, вышел из шатра Пестрый — как раз когда камский князец прорвался к его плоту. Пестрый не стал рассусоливать, куражиться. Войско везло в Пермь ратную новинку — две свейские пушечки и шесть пищалей. Залп — и нету пермского князя. Но ратники были взбудоражены нападением пермичей, разъярились от смерти товарищей. Их уже не могла насытить гибель князьца и его дружины. И за поворотом реки тяжелые плоты погреблись через стрежень к пермскому городищу на ножках. Пестрый стоял у шатра и смотрел, как плоты сшибали и крушили домишки, как рубили ребятишек и стариков, как затаскивали на плоты и насиловали беловолосых баб. Вот тогда-то воеводе Нелидову и стало жутковато. Не святым он был, конечно, и не шибко жалостливым, тоже из народишка сок умел выжимать так, что небо с овчинку казалось, — но уж такое людоедство... Отвык он.

— Князь, прекрати, вели трубить отбой рожечникам, — попросил Нелидов.

— Не к часу, воевода, ты за свое дело браться решил, — ответил Пестрый и ушел в шатер.

Вечером, когда встали на ночлег, Нелидов видел, как огромный, толстый боярин вышагивает к княжескому шатру. «Хвалиться идет, ирод жирнозадый», — зло подумал воевода.

Но боярину похвалиться не удалось.

— С тобой, боярин, дерьмо жрать хорошо, — тихо сказал Пестрый. — Потому что ты поперед лезешь. Не в том забота, нужное ль ты дело сделал, а в том, что за меня решил. И коли такое повторится, сидеть тебе, как ретивому псу, на цепи. И на Рюриковичей твоих не посмотрю.

Вострово побагровел, запыхтел от бешенства, но Пестрый отодвинул его взглядом и ушел. Даже воевода, стоявший в стороне, почувствовал на своем горле железные пальцы князя.

Через несколько дней к войску из леса вышел румяный, добренький старичок. Оказалось — епископ Пермский. По мнению Нелидова, епископ должен был в палатах сидеть, а не шляться по болотам босиком. Когда ж в княжьем шатре Иона рассказал, как он в Чердыни острог запалил, как на болоте татей в скудельнице живьем закопал, Нелидову и вовсе не по себе стало. Почуял он, что непростое это дело — поход на Пермь. Ведет их всех какая-то высшая сила, для которой, кроме конечной цели, ничего больше нет — ни своих, ни чужих, ни добра, ни зла. Ох, не зря Великий князь Иван Васильевич во главе похода поставил Пестрого... Но воеводе все эти дела были не по душе. Пусть он и грешен, и скуден умом, только не по-людски здесь все творится, а потому противно естеству его человеческому,

противно простому разуму. Была бы воля — бросил бы все воевода и ушел домой.

Старикашка-епископ как прилип к князю. Пестрому это не нравилось. Он каменел скулами, когда чувствовал за спиной присутствие Ионы, но сдерживался. Через несколько дней войско добралось до Бондюга — небольшого сельца в излучине Камы между вертлявым притоком и могучей березовой рощей. Из Бондюга гужевой путь вел в Чердынь. Плыть до нее по Каме и дальше вверх по Вишере и Колве было неразумно. В Бондюге войско окончательно сошло на берег.

В алом княжеском шатре Пестрый созвал совет: Нелидова, Вострово и тысячников — белозерца Ратманова, вологжанина Хворостину, вычегодца Позёмку. Иона тоже торкнулся в шатер, но его остановил рында и крикнул князя. Пестрый вышел.

— Прости, владыка, — сказал он, насмешливо щуря глаз. — Богу — богово, а кесарю...

Иона остался ни с чем. Нелидов давно понял, чего нужно епископу — разрушить требища в самом сердце Перми Великой: в Губдоре и Редикоре, на Яйве, Язьве и Вишере, в Чердыни, Покче, Вильгорте, Янидоре, Ныробе, Искоре... Но движение войска подчинялось своим законам, и они были не на стороне епископовой выгоды. А спорить с владыкой Пестрый не хотел. Трудно спорить с попом, который, не согласившись, сжигает крепости.

В шатре Пестрый расстелил на пушечных козлах выбеленную холстину с картой Перми Великой. Оглядев собравшихся, он спокойно сказал:

— Мне Великий князь работу поручил, мне и решать. Вашего совета мне не требуется. Иван Васильевич повелел мне весть о победе в Москву к Петрову дню прислать. Значит, времени у нас мало: недели три. А потому придется нам полки разделить. Я с вологжанами, белозерцами и вычегодцами пойду на Чердынский стан от Бондюга пешим строем. За мной — Чердынь, Покча, Искор, самое гнездо пермской вольницы. Я же и князя Михаила Пермского полонить буду. Это самая трудная часть дела. Устюжан — воеводу и боярина, отправляю в Соликамский стан. Там русских селений достаточно, да и пермяки смирные. Им взять Пянтег, Керчу, Пыскор, а обратно идти по Каме и Вишере в Колву и взять Губдор с Редикором. Промысловых старост по Усольским землям, есаулов Анфалова городка и Соли Камской к присяге привести и наказать ставить против Соликамска на реке крепь от ибырских и афкульских татар. Встречу назначаю на солнцеворот в Покче.

— А чего ж, князь, хоть на Обве-то татар пощипать не дашь? — сипло,

с одышкой спросил Вострово.

— Далеко. Вернуться не успеете.

— Так мы, кого надо будет, сможем и поторопить, — сказал Вострово.

Они глядели друг на друга в упор — боярин и князь. Невысокий, сухонький князь походил на секиру: голова его была большая и плоская, с выступающим затылком, с длинным и узким лицом — точь-в-точь топор. Бледные глаза князя под тяжело набрякшими веками казались усталыми, но воевода знал, какая сила в них таится. Знал это и боярин, но все равно смотрел с вызовом, чуть сощурясь. Одет боярин был, несмотря на майское тепло, в длиннополую шубу. Огромному, грузному телу под стать было и лицо с тяжелыми, грубыми складками, обросшее нечесаной бородищей от уха до уха. Нелидов понял, как люто жестокий боярин ненавидит князя — заморыша, худородного нахала, московского прихвостня. Но воеводе неприятны были все раздоры и страсти вокруг бранной славы и московских милостей. Плюнуть хотелось и на чванство боярина, и на дерзость князя. Домой бы, в свои хоромы, к бабе и детям, к гусям, к наливке, к былому покою. Уже не по летам, не по душе, не по уму воеводе Нелидову людей пластать да грызться из ревности к великокняжеским почестям.

— Ну что ж, попробуйте добратся до татар, — насмешливо согласился Пестрый. — А войско ваше ставлю под начало Гаврилы Нелидова.

Боярин яростно засопел, а воевода тайком ухмыльнулся: вот так, мол, задумка твоя — и спрос с тебя, а дело делать другой будет. Поделом — не пучься.

На следующий день дружины Нелидова и Вострово погрузились в барки и поплыли от Бондюга вниз. Пестрый дал им две пицали и пушчонку. Боярин держался в стороне от воеводы. Барки ушли за поворот, и великие леса обступили великую реку.

Плыли не торопясь. К вечеру первого дня встали в устье Сумыча. На второй день для ночевки выбрали большую луговину, на окраине которой оказалось кладбище пермяков-рыбарей: огромный кедр держал на ветвях, как люльки, долбленные лодки, в которых под обрывками бересты, все в плесени, догнивали кости. Несколько низеньких идолов оберегали покой мертвецов. На третий день, проплыв правый приток Урол, по левому берегу увидели большое городище — Пянтег.

Стоящий в излучине, он был обнесен ветхим тыном, хотя по многочисленным крышам и крепким срубам было видно, что город богат. Значит, не боялись врага пянтежцы, имели, чем оборониться. Воины на

барках зазвякали железом, надевая кольчуги и опоясываясь мечами.

Из ворот городища высыпала толпа пермяков, вооруженных чем попало. Барки ткнулись в берег. От толпы отделилось несколько человек во главе со стариком-князем. Они стали спускаться с кручи навстречу пришельцам. Нелидов сошел к ним без меча, без шлема. От своей барки уже ехал на коне Вострово.

Пермяки и русские остановились, молча разглядывая друг друга. Пянтежский князь был сутул, длинноволос, совершенно сед, но умные, светлые глаза его глядели спокойно, без старческой слепоты и усталости. За спиной воеводы в боевые порядки строились ратники, выставляли щиты, укладывали на тетивы длинные стрелы.

— Это Пемдан, князь Пянтега, уважа... — зашептал Нелидову подоспевший толмач.

— Надо, воевода, хрыча в полон брать, и сразу на приступ, — перебивая толмача, громко заговорил Вострово. — Пока очухаются, мы уже ворота выбьем, стену повалим, в городище ворвемся. Побегут нехристи как ошпаренные.

— Не хвались, на рать едучи, боярин, — усмехнувшись, вдруг негромко заговорил по-русски Пемдан. — Здравствуй, воевода Гаврила.

— И ты, князь Пемдан, здравствуй, — немного опешив, поклонился Нелидов.

— Глянь-ко, идол по-нашему болбочет!.. — деланно захохотал Вострово, торчавший на коне среди пеших, как пень на вырубке.

— Помолчи, боярин! — зло одернул его Нелидов.

Пемдан даже не глянул на Вострово.

— Если вы к нам с миром пришли, то мы рады принять вас гостями, — продолжал Пемдан, и Нелидову вдруг стало неловко.

— Пока я и сам не знаю, кем мы пришли — друзьями или врагами, — сказал Нелидов. — Коли покоритесь... — он замолчал, почувствовав нелепость этих слов: «Покоритесь — будем друзьями».

— Покорятся все люди... судьбе. И победители, и побежденные.

Нелидов не знал, что ответить.

— Я человек простой, — наконец выговорил он. — А ты, я вижу, мудрец. Разве ж мне тебя на словах одолеть?

— Тогда на мечах попробуй, — посоветовал Вострово.

— Не мучай себя, — сказал Пемдан, видя замешательство воеводы. — Князь Пестрый умный муж, раз поставил во главе войска тебя, а не этого спесивого человека. — Пемдан кивнул на Вострово. — Я отвечу на те вопросы, которых ты не можешь задать. Мы уважаем князя Михаила за

разум и справедливость. Но мы не пойдем защищать его от вас, потому что рознь между вашим хаканом Иваном и князем Михаилом рождена не пармой и парме не нужна. А мы поклоняемся Пянтегу — Кедровому духу пармы. Но в знак уважения мы не предадим князя Михаила и не пойдем против него с вами. Если князь Михаил отстоит себя, мы будем ему рады. Если нет — то поможем ему, но как человеку, а не как князю.

Если князь Пестрый будет побит, мы с миром выпустим его вон, хотя на нем кровь людей Уроса; но мы не будем мстить. А если он победит, то мы будем смотреть, справедлив ли он в княжении. Если нет — тогда возьмемся за меч. Если да — то будем давать ясак, как и прежде. Но это не значит, что мы ему покоримся. Мы просто примем его как часть своей судьбы, а ей мы и без князя Пестрого покорны. Я понятно сказал?

Вострово в досаде плюнул на землю. Нелидов измученно снял шлем и вытер мокрый лоб.

— А мне чего делать? — беспомощно спросил он.

— Будь гостем и жди. От тебя ничего не зависит. Победит Пестрый — и ты без боя победишь. Побьют Пестрого — и тебе убегать, даже если ты разоришь и сожжешь наш город.

— Гос-споди, куда меня бог занес!.. — в сердцах сказал Нелидов, думая: «Хорошо, что моя дружина меня не слышит!..»

— Князя Пемдана вся Пермь уважает как мудрейшего... — шепнул сзади толмач, но воевода отпихнул его локтем.

— Вон там, воевода, на шутёме ставь свое войско, — Пемдан указал рукой. — И близко, и места достаточно. А к закату жду тебя в своем доме.

Вострово хмыкнул.

— А ты, боярин, не думай врасплох на Пянтег нападать, — обратился к нему Пемдан. — На ваших мечах кровь Уроса. Пянтег уважаем в нашей земле. Он не попомнил вам зла и вышел к вам с открытой душой. Если же вы его вероломно обманете, предадите город мечу и надругаетесь над священной рощей, то дальше на своем пути вам придется с боем брать каждое селение, каждую охотничью избушку. На вас падет проклятие пармы, и каждая еловая иголка будет целить вам в сердце.

— Коли мы боялись того, так сюда бы не пришли, — надменно ответил Вострово.

— Чтобы нас одолеть, тебе придется вырубить всю парму. А зачем вашему хакану мертвая пустыня вместо цветущей земли?

Боярин уже разинул рот отвечать, но воевода оборвал его:

— Хватит!

Полки дружно двинулись на поле за городищем. «Да-а, с таким князем

здесь частоколы не нужны», — думал по пути воевода. Ему было стыдно оттого, что перед Пемданом он почувствовал себя мальчишкой, которого оттащали за уши и прогнали на полати.

— Тряпка ты, воевода, — презрительно бросил Вострово.

— Помолчи!., — вспыхнул Нелидов. — «Тряпка»!.. Пянтег наш, а за ним и прочие городища покорятся! И все это — не пролив ни капли крови православных!

— Ею победы омываются и укрепляются! — гордо заявил боярин, но воевода лишь обессиленно махнул рукой.

«Вот оно, пермское колдовство, — убеждал он себя. — Заморочили, по рукам и ногам связали». Но в душе Нелидов в это колдовство не верил. Он немало повидал в Устюге пермяков. Так же, как и прочий люд, те пили и ели, торговались, хитрили на таможне, прятали товар, заливались брагой, дрались или, увязнув в долгах, сидели в порубе на цепи. Не в колдовстве тут было дело. Здесь, среди родной пармы, пермяки вдруг показались Нелидову совсем не такими, как дома. Они словно бы обрели какую-то вторую душу, непознаваемую глубину. Здесь был другой мир, и люди были не его частью, а им самим, его ипостасью, что ли. «Эх, — корил себя воевода, — почто князь меня во главе поставил? Я — надтреснутый человек. Мне то ли Москве послужить охота, то ли на печи полежать; то ли людей сбережь, то ли повое-водить. И согрешить, и чистым остаться. Коль ратник — так руби, коль воевода — сиди в Устюге и купцов потроши... Надо было Вострово над войском ставить. Тому все ясно: пермяк? — голову снимай! Или же самому князю Пестрому идти сюда. Он того же поля ягода: Москва велела — коси, коса». И еще Нелидов вдруг испытал странное чувство уважения к никогда не встречавшемуся ему князю Михаилу Пермскому. Как же он, православный, не теряя веры, правит этой многолукавой, премудрой и грозной пармой?

Вечером воевода и боярин отправились в Пянтег, захватив с собой десяток стражников. Нелидов не мог оставить Вострово на стану, хотя и знал, что боярин пришелся Пемдану не по душе. Если бы воевода поехал один, то раскол между ним и боярином стал бы неизбежен, и войско развалилось бы и погибло по частям, когда боярская рать навлекла бы пермский гнев и на рать воеводскую.

Княжеский дом был обширен, крыт еловым лубом. Сени из плотного ивового плетня вели в просторную, хотя и низкую горницу, куда надо было спуститься по двум земляным ступенькам, забранным досочками. В противоположных углах горницы громоздились две глинобитные печи — чужалы с деревянными дымоходами. Вдоль стен тянулись лавки, на

которых сидели гонцы, ожидающие воеводу и боярина. Здесь был Соликамский есаул, посадские старосты и выборные из Усть-Боровой, Верх-Яйвы и Мошевых деревень, пермяки из Кондаса, Пыскора, Сурмога, Урала, Майкора и Мечкора, Шакшера, Кудымкара, Касиба. Пемдан скромно притулился в стороне и наблюдал.

Начался разговор, чем-то напоминающий торг. Пермяки обещали ясак, распахивали короба с подарками. Нелидов изумленно мямл в руках невиданные меха — голубых песцов, серебряных соболей, бесценный белый каракуль, привезенный через Хаджи-Тархан из-за Хорезмского моря, вслушивался в русскую речь непривычного произношения. Но единоверцы оказались не столь податливы, как пермяки. Конечно, уверяли: «Божьей волей одолеем Михаила-отступника и вам наши животы принесем, крест целовать будем...» — но с подарками не торопились. Мол, в пути подводы. Нелидов глядел на уверенные, сытые, хитрые рожи всех этих Суровцевых, Елисеевых, Калинниковых — и понимал: если отобьется Михаил, то подводы тут же развернут оглобли.

— А где же анфаловский есаул? — спросил он.

— Прийти не пожелал, — пояснил Пемдан. — Заперся в своем городке и велел передать, что он Михаилу-князю клялся и ни вам, ни князю Пестрому, ни вашему московскому хакану служить не станет, а крепость не покинет.

— Это как же? — не понял Нелидов.

Пемдан усмехнулся.

— Есаул Кривонос — совсем старик, — сказал он. — Ему уже за шесть десятков зим миновало. От старости он умом повредился, потому и заперся. Вы его не бойтесь. С ним всего семь человек. Чем они вам помешать смогут? Оставьте старика в покое. Потом сам выползет.

— А что с ним за люди?

— Трое сыновей и четверо Михайловых ратников. Жена Кривоноса давно в Пянтеге живет, В последние дни, как он заперся, она каждое утро и вечер ходит к городку и ругает мужа за глупость и упрямство, а он все равно не вылезает. Вы, русские, говорите: седина в бороду, бес в ребро.

На лавках заржали посадские. Нелидова передернуло от нелепости положения. Старый хрен засел в крепости — хоть и маленькой, но важной, — и что с ним делать? Вострово явно злился.

— Дурь какая-то! — плюнул Нелидов.

— А почему от татар гонца нет? — рявкнул Вострово, пресекая хохот посадских.

— Я над татарами не властен, — развел руками Пемдан. — Ибыр и

Афкуль казанскому хану подчиняются — при чем здесь Пянтег? Знаю: афкульский шибан Исур собрал своих воинов и увел в Чердынь на подмогу князю Михаилу.

— Значит, Афкуль без войска стоит? — наседал Вострово. — И далеко ли до него?

— Далеко, — кивнул Пемдан. — Афкуль стоит на Обве-реке, что падает в Каму по правую руку. По весенней воде, если и ночами плыть, вам пять раз восход в пути встретить придется, да еще против течения вверх по Обве до Афкуля два дня.

— З-забрались же, черти... — процедил Вострово.

— Я понимаю твои мысли, боярин, — глядя Вострово в глаза, сказал Пемдан, — но ты подумай шире. Зачем вам Афкуль, даже и без войска? Коли победит князь Пестрый, Афкуль и сам с повинной головой придет. А коли победит князь Михаил, вам Афкуля лучше не трогать...

— Слышал я уже твои «коли-коли»! — грубо ответил Вострово.

Нелидов понял, что разговора о походе на татар ему сегодня не избежать.

Над камской излучиной, над теплыми заливными лугами стелился волшебный бирюзовый туман, по брюхо в котором тихо шли кони. Ночные деревья казались скво-зисто-черными, высокими соловьиными кострами. Где-то протяжно кричал дергач. Хрупкие майские звезды лампадами усеяли небо. Крестным ходом стройно и торжественно тек над землей Млечный Путь. Нелидов глубоко вдохнул пьяный, вольный запах раннего лета, и ему захотелось забыть обо всем — о походе, о князьях, о татарах, о боярине Вострово...

Но Вострово не давал о себе забыть. Он велел страже поотстать и нагнал воеводу.

— Все, хорош! — сразу отрубил Нелидов. — И слышать не хочу о походе на Афкуль! Пойми ты, боярская борода, нам не успеть, не у-спеть! У нас пол-три недели всего!

Вострово захрипел и плюнул под копыта воеводскому коню.

— Мало тебе, что ли, крови? — распаляясь, продолжал Нелидов. — Беличьи Гнезда вырезал поголовно — мало? Только и слышу: Пянтег? — руби-и! Татары? — руби-и!.. Кто тебе жить не дает? Ты, что ли, решил всю эту землю костями засыпать? Тоже, антихрист толстозадый выискался! Чужими ратными руками, слезами да безвинной кровью славы себе добыть хочешь, да? Откуда в тебе эта лютость-то? Ты сам-то хоть раз в сече мечом махал или только на думе в бобровую шубу злого духа стравливал?

— Может, ты, воевода, и махнул когда мечиком пару раз, да вот нынче пора, видать, тебя за пяльца усаживать! — заорал боярин. — Тя Великий князь землю воевать послал, а ты чего навоевал? Бочку слез ему привези да три крысиных хвоста — вот твоя добыча! Я велел Беличьи Гнезда разорить — так пермяки сразу нам все ворота раскрывать стали! Еще бы раз пугнул — так они у своего черта последние лапти сняли бы и нам принесли! Вот где добыча-то, воевода, — не в подарочках! Смерды посадские над тобой ржут, а ты им подхихикиваешь! Пермяки тебе башку морочат, а ты уши развесил, готов братину по кругу пустить да лобызаться! Татары далече оказались — куда уж нам белы ножки маять! Старикашка полоумный крепость занял — и Христос с ним! Чего нам Пестрый скажет, когда узнает, что мы и меча из ножен не вынимали? Не-ет, ты как знаешь, хоть акафисты каждой вше пой, а я сюда на рать ехал — на рать и уйду! Завтра же подымаю своих людей и плыву на татар!

— Ряшку — во! — нажрал, а ума не нажил! — заорал и Нелидов. — Куда ты полезешь со своими дристунами? Ратных людей он в Устюге набрал, называется!.. Они только друг с другом в котелке ложками сражаться умеют! Всех с головами сгубишь и меня под монастырь подведешь! Я здесь воевода! Никуда не пущу!

— Да плевать мне на твое воеводство, коли ты даже от таракана на печь лезешь!

— Что, тебе покрасоваться охота? Сила богатырская пучит? Ладно! На тебе — как кость собаке! Вот тебе Анфал-городок! Сидит там старик, богом обиженный, и с ним семь дурней, один другого замудреннее, — вот, отбей у них крепость! Отобьешь — так и быть, веду всех на татар!

— Запомню твои слова, воевода! — крикнул Вострово, утыкая чуть ли не в нос Нелидову жирный палец. — Завтра тебе всех восьмерых притащу, а к послезавтрему собирайся в поход!

Нелидов выматерился, повернул коня и в одиночку поскакал прочь по туманному лугу.

Вернувшись в шатер, воевода потребовал пива и уже не помнил, как завалился спать. Далеко за полдень его растолкал служка Соколов.

— Вставай, — талдычил он. — Баба к тебе просится, ревмя ревет...

Едва Нелидов сел на походном топчане, в шатер ворвалась толстая старуха и с воем повалилась в ноги.

— Спаси, воевода, скажи свое слово золотое! — вопила она. — Не вдови меня, глупую бабу, не губи деток! Муж мой богоданный совсем в старости спятил, помилуй старика помешанного! Чего ж это на свете делается, целую войску на полоумного послал!.. Откуда ж горе такое на мою

седую голову!

— Да погоди ты!.. — отпихивая старуху, сморщился Нелидов. Башка его трещала с похмелья. — Не вой! Кто такая? Чего надо? Соколок, найди рассолу...

— Кривоносиха я, Агафья, мужа-дурака свою жена! Не послушал меня благоверный, сидит, ирод, в крепостище своей, как сыч в дупле, сынов сманил. А боярин твой лютожирый войску готовит, меня гнать велел, а к старому и гонцов не слал, сразу за глаза порешил сгубить! Смилуйся, батюшка!

Нелидов застонал, вспомнив вчерашнюю ссору с Вострово. Упрямый боярин готовил приступ Анфалова городка. «Лютожирый... — с ненавистью вспомнил воевода. — Нашла дубина на пень...»

— Сейчас Соколок рассолу добудет, и поедет к твоему хрычу, — сказал Нелидов Кривоносихе.

Анфалова крепостица стояла за городищем, за священной кедровой рощей Пянтега, на высоком холме камской излучины. Хоть и маленькая, но, окопанная рвами, она казалась неприступной. По сути, это была даже не крепость, не острожек, а мощно и умно укрепленное подворье. Здоровенный, длинный двухъярусный дом, второй ярус которого лежал на повале, составлял напольную сторону. От него крыльями тянулись две крытые стены с бойницами — вроде городней — и углом сходились на кряжистой, шестистенной башне, увенчанной шатром. На врага пристально глядели узкие стрельницы, причем растесанные наискось, так, что поразить их можно было лишь из рва, в котором сейчас под солнцем искрилась талая вода и торчали гнилые колья. Единственные ворота располагались прямо посередке домины. К ним вел узкий дощатый мостик, уже порубленный Кривоносом и валявшийся во рву. Поставленный Анфалом Никитиным почти семь десятков лет назад, городок словно поседел: зной и холод, ветра и дожди закалили могучие бревна до звона, до серебряного блеска.

Нелидов медленно ехал через луг к городку. Старуха семенила сзади. Воевода думал о человеке, который выстроил эту первую в Перми Великой русскую твердыню. Видно, был двинской боярин Анфал Никитин человеком беспокойным. Рассобачившись с Новгородом, бежал в Москву. И там не удержался, сцепился с князем Василием Дмитриевичем, а потому был сослан в Устюг и посажен в поруб. Однако, зная, не изъела его душу злоба и черная зависть: устюжские сторожа потихоньку выпустили Анфала на волю. Некуда уже ему было деваться, вот он и подался сюда. Выстроил свой городок — тут и жизнь довершил. Вон за холмом высится крест над его последним пристанищем... А городок остался.

На лугу перед ним ратники Вострово готовились к приступу: ладили лестницы и крючья, обматывали стрелы смоляной паклей, сколачивали на телеге мосток, который надо будет перебросить через ров. В небе верещали жаворонки, и работа шла весело, с гоготом. Приступ казался потехой, тем более что и сам старик Кривонос в одних портах сидел за рвом на пороге раскрытых ворот своей домины.

— Ишо, ребята, башку к плечам гвоздями присадите, а то у меня сабелька-то во-острая, — подзуживал он.

— Глянь, воевода, экий страшенный стариканище объявился! — весело кричали ратники Нелидову, угрюмо проезжающему мимо. — Всем скопом на него навалиться задумали, а то одним-то полком боязно! Супротив эдакой хрычовины хиловат народишко у нас!

Нелидов спешил и вместе со старухой вышел на край рва. Кривонос оказался тщедушным старичком с жидкой бороденкой и кудряшками вокруг плеши.

— А-а, явилась, старая карга! — завопил он, увидев жену. — Да еще воеводу приволокла!

— Уймись! Не позорь лета свои! — закричала Кривоносиха. — Стыд смотреть на тебя! Изыдь оттудова, сынов выпусти!

— Прочь пошла, дура! Мало, знать, я тебя колотил, коли ума не вбил! Грех на мне!

— Да кто кого колотил-то? — разозлилась старуха. — Ты меня, что ль, стручок мозглявый?! О-ой, лишенько мое! Почто меня вовремя бог не прибрал, позориться-то из-за тебя перед миром оставил! Пропади ты со своей крепостью пропадом, анафема, сынов только не держи! Молодцы!.. — обернулась старуха к хохочущим ратникам. — Вы анчихриста этого не запомните, порубите на куски собакам скормить — я вам цельную баклагу хмельного выкачу! Всю кровушку до капельки он из меня выпил, белый свет не мил! Из-за него, дьявола плешивого, все глазыньки выплакала, бед претерпела, что матушке-богородице впору!..

— Вой! Вой! — Вскочив на ноги, старик плюнул через ров. — Чтоб тебя удар треснул! Чума на тебя, раз ты мужу, коему перед святым алтарем клялась, погибели желаешь! Как отобью крепость — власяницу на тебя напялю, в монастырь сошлю, чтоб тебя, густомясую, до гроба там на хлебе и воде мордовали!

— Кончай балаган! — рявкнул Нелидов. — Ты, старик, коли в скоморохи податься решил, выметайся из крепости! Ты чего из княжьего дела потеху устраиваешь? Думаешь, мы со всей Руси сюда приперлись на тебя зубы скалить да галиться? Князю острог пограничный нужен, а ты

здесь с женой свары разводишь! Выметывайся, пока силком не вышвырнули!

— Силком?! — закричал старик и быстро сунул руку за косяк. В воздухе свистнул нож и вонзился в землю прямо у сапог отпрянувшего воеводы. — Попробуй силком-то! Ишь ты, выкинуть меня решил! Учит меня, где и как мне собственную жену вразумлять надо! Это мой дом, понял? Я его больше полвека берегу, и никто его у меня не отнял! Кто тебя просил сюда приходить? Кто ты вообще таков здесь? Я — есаул Кривонос! — Старик стукнул себя во впалую грудь. — Меня вот таким мальцом... — Кривонос полоснул себя ладонью по бедру, — к себе жить сам Анфал Никитин прибрал — царство ему небесное, святой был человек! Мне — а не тебе, не князю, — он крепостицу завещал! Я ее и сторожу! Со мной князь Ермолай за ручку здоровался, а Мишке-княжонку я сопلي вытирал! Сам Полюд-богатырь и епископ Питирим у меня бражничали, а Федьку-острожника, татя, щеку клейменую, я один вот где держал! — Старик потряс стиснутым кулачишком. — Вогулич Асыка с хонтами ко мне соваться боялся, а шибаны татарские подарки слали! Кто меня из пермских князей не знает, не уважает? Спроси Пемданку Пянтежского! Я здесь одиннадцать сынов поднял и восьмерых схоронил — вон кресты за угором! Поди к ним и скажи: тятка ваш прогнил, штаны запачкал, дом свой отдал!

Кривоносиха всхлипнула.

— Ну ладно, ладно! — крикнул Нелидов. — Твой дом! А нас князь Московский послал...

— А мне он не князь! — перебил старик. — В своем доме я сам себе князь! Еще Анфал меня этому учил! Я крест Ермолаю на Мишку целовал и на старости лет перекрещиваться не собираюсь! Князь Московский хочет всю землю Шапкой Мономаховой прихлопнуть! Сам и пальцем показать не сможет, в какой стороне Пермь, а гребет, гребет, гребет под себя — леса, реки, людишек, соболей, золото!.. Мала у меня земля под домом, а успокоюсь и на того меньшем лоскутке, а не отдам! Хочет твой князь, чтоб есаул Кривонос ему поклонился? Пусть сначала Мишку в Искоре заломает! Да и потом я ему вот чем поклонюсь!.. — Старик повернулся, проворно спустил портки и показал тощий зад.

Озлобление мутью поплыло в глазах воеводы. Ропот негодования пополз по рядам ратников, стоявших и слушавших спор.

— Не замай! — угрюмо крикнул кто-то.

— Я ведь тебя, старик, добром просил, — с укором и угрозой сказал Нелидов. — Тут ведь уже не шутки — Великий князь-то... Хотя и ржали эти дурни, а на тебя с настоящим железом пойдут.

— Сыны мои!.. — заголосила Кривоносиха.

— Сыны? Сынов я не держу! — ответил Кривонос и позвал: — Петька, Митька, Митроха!

Три здоровенных детины появились за спиной старика.

— Мы, матушка, за тятей... — виновато прогудел один из них.

— Давай! Давай с мечами-то! — кричал старик. — Не запужаешь! Попотчую и стрелой каленой, и кипятком! Будя, нашутились!

Кривонос уже остервенел. Он достал высокий лук и положил стрелу на тетиву. Толпа ратников бросилась врассыпную. Стрела пронеслась над головами и упала где-то на лугу.

— Вон дотуда отойдите! — взвизгнул старик. — А кто ближе встанет, того насквозь продырявлю, рука не дрогнет!

Нелидов и Кривоносиха остались у рва вдвоем — ратники бежали прочь, за линию стрелы. Старик взял новую стрелу, натянул лук и нацелился на воеводу.

— И ты пошел вон!

— Ну и пр-ропадай! — гаркнул Нелидов и повернулся к коню.

— Пощади! Не губи! — снова взывала, валясь в ноги, Кривоносиха.

— Сам он себя губит! — выдирая из ее рук сапог, крикнул воевода, взлетел в седло и погнал коня в поле.

Издали он увидел Вострово, возвращающегося к Анфалу со стана после трапезы. Пришпорив коня, воевода развернул его к Каме, чтобы не встречаться с боярином.

Отъехав от Пянтега на версту, Нелидов увидел на берегу сушила с сетями и двух рыбаков у костра, в котором торчал горшок. Воевода направился туда и, приблизившись, спешился. Молча он подошел к рыбакам и сел у огня, опустив голову.

Рыбаки, узнав русского начальника, не двигались и ничего не говорили. В горшке булькала уха.

Нелидов думал о том, что сейчас начинается приступ городка — ненужное, нелепое и неизбежное кровопролитие. Что-то коснулась его руки, и он вздрогнул, приходя в себя. Рыбак протягивал ему костяную ложку.

И в это время где-то вдали словно бухнул огромный барабан.

— Пушка!.. — охнул Нелидов, вскакивая.

Слома голову он помчался обратно к Анфалу. Вострово взял пушку — это ж куда годится! Пока конь нес воеводу через перелески, пушка бабахнула еще три раза. Какой-то гул, слитный вой доносился до воеводы.

Нелидов вырвался в поле и поразился. Все пянтежцы высыпали

глядеть на приступ Анфала. Городок стоял в дыму. Ветер с Камы отгонял дым в сторону, и из облака выступала мощная башня, точно отшатнувшаяся от пожара.

Разгоняя пермяков плетью, Нелидов наконец вылетел к городку. Поле вокруг было вытоптано. Повсюду сидели и лежали окровавленные люди, валялись щиты. Какие-то женщины раздевали визжащего человека, обваренного кипятком. Ратники пнями торчали на безопасном расстоянии от крепости, опустив оружие. Горели костры, возле которых сутились лучники. Они поджигали стрелы и одну за другой посылали их в стены городка. На валу и во рву валялись мертвецы. Повиснув над водой, пустой тележный мосток упирался в ворота, запертые по-прежнему. В траве рядом с козлами дымилась лопнувшая пополам свейская пушчонка. Где-то на отшибе метались всадники, слышался зычный рык боярина.

Анфал не сдался. Он сыпал стрелы, лил кипяток, устилая валы телами, а теперь, как видно, обескровел, но так и не раскрыл ворот, створки которых не смогли пробить маленькие ядра. И Вострово приказал просто сжечь крепость. Прозрачное, рыжее пламя бежало по серым, звонким и сухим бревнам. Городок угрюмо, упрямо и неподвижно стоял в огне, чернея на глазах, и все равно не покорялся. Лютый жар не давал подступить. Оглушительно трещали бревна. Искры и уголья, взрываясь, подпрыгивали над кровлей и падали в ров. Густой дым, как дух Анфала, полз от городка на лучников, и небо дергалось, дрожало в потоках раскаленного воздуха, точно тряслось от ужаса.

И тут Нелидов увидел, как из рва, шатаясь, выбралась старуха в порванной и грязной одежде. Она на четвереньках поползла по мостку к воротам, в самое пекло. Ее платок сбился на спину, волосы шевелились и осыпались пеплом. «Сынки! Сынки мои!.. — выла старуха. — Ванюша, сердце мое!..» Это была Агафья Кривоносиха.

Старуха доползла до ворот и стала скрестись в доски. Словно по волшебству, одна створка ворот отошла. За дымом, во тьме сеней, стоял сам Кривонос — в кольчуге, в шлеме. Он поднял старуху, обнял ее, и вместе они скрылись в глубине дома. А потом медленно и грузно, все в огне, рухнули стропила.

К вечеру Анфаловский городок догорел. Дождик прибил угли, черными кучами лежавшие на вершине прибрежного холма, окопанного рвом. Белый пар медленно стекал с его склонов в поле, на Каму. На фоне багрового заката одиноко и страшно громоздилась чудом уцелевшая башня. На маленьком кладбище за угором, где лежали Анфал Никитин и восемь сыновей Кривоноса, пермяки рыли скудельню для погибших на приступе.

Отвернувшись от них, Нелидов сидел на треснувшей пушке и глядел за реку.

Сзади, сопя, на коне подъехал Вострово. Нелидов обернулся. Поодаль стоял и Пемдан. Ненависть полоснула воеводу по горлу. «Радуетя, иуда многомудрый, — подумал он о пермском князе. — Русы пришли его землю воевать, да своих же и побили...»

— Ну, воевода, я держу слово, что давеча давал, — горделиво сказал Вострово. — Сам видишь: солнце упало, и Анфал нам больше не помеха. Объявлять, что ль, назавтра выход против татар?

Нелидов поднял на боярина тяжелые, белые от злобы глаза.

— Да, боярин, — ответил он. — На завтра выход объявляю... Только не на татар, а восвояси пойдем, в Покчу, к Пестрому. Никого больше не дам тебе, лютожирому, на пожар.

Глава 20

Прокудливая Береза

Иона опять не мог уснуть, потому что звонил колокол. Сначала Иона думал, что это ему чудится, что он сходит с ума. Но потом понял, что колокол воистину звонит, хотя никому, кроме него, звона не слышно. Что ж, на то он и поставлен над людскими душами, чтобы слышать неслышимое и видеть невидимое.

Этот звон Иона впервые уловил на вершине могильного холма, в недрах которого бились и кричали заживо похороненные скудельники. Потом, когда он ушел оттуда, звон вроде бы отдалился. Иона решил, что это было просто эхо от ударов в свод склепа, дрожь земли под ногами. Но, заблудившись в протоках Дымного болота и уходя, видимо, все дальше и дальше от скудельни, он все равно чуял за болотным криволесьем колокольный звон. Он потерял надежду отыскать дорогу к Каме, запутался, и руки сами собою направили лодку в сторону набата, И протока, как заговоренная, вывела Иону к старице. Звон колокола спасал его. Тогда-то Иона и понял, что же это такое встревожило небо над его головой.

Понимание и потрясло, и поглотило епископа. Даже встреча с москвитями, с князем Пестрым, которого Иона ждал как избавителя, словно миновала его душу. Иона не заметил того изумления, с каким приветствовали его ратники и сам князь. Босой, грязный, голодный старик в ободранной рясе — это епископ? Но в облике Ионы было что-то, от чего в сане его нельзя уже стало усомниться. И только Иона знал: это «что-то» — звон его колокола.

В своем шатре князь почти до рассвета расспрашивал епископа о Чердыни, о пермских городищах, о дорогах, о хозяйстве и оружии, о князе Михаиле, его сотниках и дружинах. Иона рассказывал, но чем дольше он говорил, тем меньше в его речи было Чердыни, князя, войска и тем больше какой-то исступленной веры и восторженного ожидания чуда, которое непременно должно осиять московские полки. В конце концов Пестрый понял, что толку от епископа не дождется.

— Ладно, владыка, — Пестрый хлопнул ладонью по колену. — Час поздний, а завтрашний день трудный. Спать пора.

Ионе поставили лежак в княжеском шатре. Однако Иона не улегся. Он сидел во тьме и продолжал говорить, говорить, говорить — о землях, о пермяках, об идолах, богах и шаманах, о великой и тайной силе, которой

дышала парма, о чьей-то воле, тяготеющей над людьми, о проклятии на тех, кто восстает против зловещей языческой тьмы. Говорил о божественном свете, который должен разлиться вокруг и озарить звериные души пермяков; о храмах в еловых буреломах; о крестах, что поднимутся над шиханами, осенив увалы и увтыры божьей благодатью.

На следующем ночлеге Ионе отвели отдельный шатер, но епископ не пришел ночевать туда. Не приходил он и в третью ночь, и в четвертую. Войско плыло вниз по Каме, Иона плыл вместе с войском и не отлучался от ратников. Он не держался только князя — перебирался с плота на плот и проповедовал, поучал, наставлял. Ночами он сидел у караульных костров. Если десятники или есаулы просили его дать себе милости и отдохнуть, он в одиночестве молился до рассвета. Спал он самую малость и где попало; питался — чем подадут. Он разом исхудал, за несколько дней дико оброс, стал еще более грязен и оборван, опух от комаров, но ничего не замечал. Колокольный звон заслонял от него весь мир, будоражил, не давал покоя, гнал куда-то.

Иона был счастлив — может, впервые в жизни. Он был лишен всех удобств и привычек, но не только не страдал от этого, а даже словно бы чувствовал облегчение, будто расстался с тяготившими его потребностями. Былая жизнь осыпалась с него, как пожухлая листва с дерева, и обнажила ствол — его главную мысль. Иона был возбужден, его пьянили невесть откуда взявшиеся силы, и он хотел ринуться в бой, в схватку, на подвиг, чтобы эту свою главную мысль утвердить. И он не осознавал, что такой прилив сил — не оттого, что он своими силами переполнен, не от обновления, которое ему чудилось. Так же ручьем хлещет вода из пробитой бочки, пусть даже воды в бочке было всего-то на доньшке.

Наверное, Иона был таким же язычником, как и пермяки. Он верил в изначальную заданность всего на свете, в невозможность выбора. Но, в отличие от пермяков, вера епископа была проще. Не загадочные и грозные судьбы; не боги, одновременно злые, добрые и равнодушные; не тайные соки земли, настоянные на зацветшей крови погребенных предков; не птичьи стаи душ, владеющие миром и человеком, — нет. Бог, единственный бог — владыка. Так думал Иона. И незачем искать ничего иного, незачем мучить свою волю, совесть и разум. Только бог в мире, а все остальное — лукавый. И лукавого надо попросту гнать. Если он пророс из земли идолами и священными деревьями — рубить их. Если он свил гнезда на кумирнях и капищах — жечь их. Если он выглянул на белый свет из окошек языческих глаз — так навесить на язычников крест, как замок на ворота: бесам хода нет! Незачем кого-то переубеждать, доказывать,

объяснять, зачем надо принять Христову веру: надо просто гнать сатану прочь, и где его не станет, там вера воссияет сама собой. Другого не дано. Пастырь не должен с рук кормить своих овец — он должен отгонять от них волков. И бесов, этих волков сатаны, бессмысленно уговаривать или убеждать, как бессмысленно уговаривать землю расступиться: надо просто взять заступ и рыть яму. Нет смысла и говорить с овцами: мол, не будьте съедены. Овцы тут вообще бессильны. Сила только в пастыре, в его руке, биче и мече. Это и было главной мыслью Ионы, которую он таил столько лет. А сейчас, когда все переменилось — иные люди, иные условия, и сам он иной, — Иона решил, что настала пора отложить молитвенник и поднять на требища топор.

Иона нашел князя Пестрого и стал убеждать его разослать из Бондюга отряды или самому с войском совершить большой круг по пермским землям, чтобы разорить святилища — Бондюг, Кудымкар, Майкор, Пыскор, Пянтег, Сурмог, Урол, Редикор, Акчим, Чердынь, Покчу, Искор, Ныроб... Пестрый выслушал епископа хмуро.

— Я тебе, владыка, не тевтонский магистр, — сказал он, — и у меня не крестовый поход, а государево дело. С шаманами ты сам разбирайся, а я буду с князьями.

Иона разразился упреками, но Пестрый не стал спорить, молча ушел. Войско тем временем прибыло в Бондюг, раскинуло стан по прибрежному лугу. Пестрый созвал воевод на совет. Иона хотел при всех снова уламывать князя, но Пестрый его в шатер не пустил. Тогда Иона пошел искать Прокудливую Березу.

О Березе ему много рассказывали. Колдуны слушали шум ее ветвей, чтобы предсказать погоду; больные пили ее сок, чтобы исцелиться; беременные женщины, породняясь, мазали ее кровью; даже сам князь Михаил свою жену-ведьму встретил под этой березой. Прокудливая Береза, решил Иона, падет первой, начиная отсчет последних дней языческой вольницы в парме. Пусть лесные божки урсят по своим берлогам, как плачут бабы по домам несчастного Уроса.

Бондюг был покинут жителями. В добротных, больших керку уже хозяйничали русские воины, тащили с крыш полосы побелевшей бересты на растопку очагов. Весь берег покрывали выволоченные плоты и барки. Кони паслись вдоль маленькой речонки, текущей из болот. Надутые, крутобокие облака висели над Бондюгом в ослепительном небе и отражались в широком камском плесе.

Священная роща была видна издалека. Иона пошагал к ней по утопанной тропинке. Старые березы укрыли его ветхой, дырявой, желто-

зеленой тенью, зашептались над головой. В их ветвях пели птицы. В молодой траве чернели круги кострищ и маленькие идолы с увядшими венками подснежников — совсем недавно здесь праздновали праздник Возвращения Птиц. Иона оглядывался, выискивая Прокудливую Березу. Она могла быть одной из многих, покрытых клеймами сопр, из чьих стволов торчали деревянные колышки с подвязанными подарками, на чьих ветвях висели пестрые лоскутки и ленты. Но Иона должен был найти все-таки ту самую, заветную...

Иона даже не понял, как это случилось. Ноги его вдруг отяжелели, шаг замедлился. Он остановился и медленно поднял голову. Прокудливая Береза была перед ним, над ним, вокруг него. В вершине ее туманом запуталось облако, а сквозь листву били снопы солнечного света. Это вздымалась седая, дремучая, языческая вселенная. С каждого листка смотрели на Иону немые колдовские глаза, ветви извивались ужами, перелетали зеленые птицы, древесные грибы приобрели выразительные черты диких рыл чащобной нечисти, и в глубине виделись — нагая женщина-сова с совенком на руках, лось с березовыми рогами, прозрачные души предков, самоцветные рыбы, пернатые медведи, вороны с человеческими личинами на груди, рысь с крыльями на лапах, подземный зверь Маммут с древесными корнями между ног, конь с огненной гривой, человек с тремя оленьими головами и Золотая Баба с неподвижной улыбкой и желтыми волчьими зрачками. Барабанили дятлы, заливались соловьи, шелестели ветры, журчали ручьи, тихо пели духи, стонали мертвецы, стрекотали кузнечики, выли ведьмы, хлопали крыльями ястребы, гудело пламя, шипели змеи, скрипели на мольбищах священные чамьи, стучали сердца, скрежетало железо, шумел дождь, дышали снежные поля, гремели ледоходы, звенело ведро, падая на дно колодца, и звякали колокольчики лошадок-оберегов на обнаженной груди светловолосой девушки...

Иона попятился, крестясь, оглянулся — он был один. И снова поднял взгляд на Прокудливую Березу, и в глаза ему, как скопище демонов, кинулись тысячи чужих глаз, когтей, рук, крыльев, рогов. Иона с воплем покатился по траве, вскочил и бросился прочь.

Весь русский стан видел, как из священной рощи Бондюга выбежал епископ — без посоха, с растрепавшейся гривой. Он завернул в первый же встретившийся двор и схватил секиру, прислоненную к бревенчатой стене керку. Сильная рука ратника перехватила ратовище.

— Это почто тебе, владыка? — не отпуская секиры, осторожно спросил бородатый дружинник.

— Сечь буду березу прокудливую! — вперяясь в него пылающим

взглядом, крикнул Иона.

— То секира, оружие боевое, — мягко отнимая секиру, ответил ратник. — Ты, владыка, ступай к вологодским — вона они. Они знатные лесорубы. У них топором и разживешься.

На том конце деревни, где дымили костры вологжан, Иона увидел князя Пестрого. Пестрый беседовал с вологодским сотником. Иона ринулся к нему.

— Требую, князь, войска твоего! — с ходу налетел Иона. — Рощу бесовскую надо свести, где сам дьявол гнездо свил!

Пестрый нахмурился оттого, что его перебили.

— Мы, владыка, сюда не за дровами пришли, — мрачно перебил он. — Мне войско Великим князем для усмирения его врага дадено. Со своими врагами ты сам разбирайся. На то у тебя и сан. А мне спешить надо.

— Коли чудских богов не изгонишь — чудь не возьмешь! Для Христова дела часом поскупишься — удачей поступишься!

— А ты не каркай, — зло сказал Пестрый. — Молодца меч судит, а не ворон.

— Вороном, значит, меня окрестил? — разъярился Иона. — Вижу, князь, что недобро ты на меня косишься! Нет в тебе рвения к благочинию! Смеешься ты над моим делом!

— Я свое дело делаю! — рывкнул князь. — А ты лезешь, куда не зван, и палки в колеса суешь! Почто боярина Вострово супротив татар подбивал? Где теперь у меня половина войска? Почто народ смущаешь на вишерские капища за золотой идолицей двинуть? Моя цель — чердынский князь, а ты мне рать с пути сбиваешь! Забирай своих монасей и с ними, с постниками, при на кумирни, а дружины не трожь! Не моя забота истуканов валить!

Вологодский сотник отступил в сторону, видя сшибку князя и епископа. Оба они были маленькие — князь-недоросток и старикашка-поп, — но глядеть, как они лаются, было не смешно, а страшно. Иона вытянул руку и уткнул в Пестрого трясущийся палец с черным обломанным ногтем.

— Ты на меч, князь, шибко не уповай! Мало землю завоевать, ее еще и удержать надо! К каждому пермяку ты московита с пикой не приставишь! Землю и каждого смерда на ней вера держать будет!

— А мне некогда сейчас! Мне каждый день дорог! В любой миг к Михаилу в Чердын из лесов и гор пополнение идет! Я не Евпатий Коловрат драться одному с тысячью, а двоим с тьмою!

— Божья правда любой силы сильнее! Повалишь болвана языческого — считай, полк вражеский порубил! Мы с тобой под одним парусом

плывем, князь, — не забывай этого! Ты ладью обладил, а я ее смолю и конопачу! Ты пашню пашешь, а я засеваю! Тебе без меня нельзя, а ты плюешь на мою нужду! Дня тебе, видишь, жалко! За день этот к Мишке Чердынскому сто дураков уйдет, да тысяча умных сбежит, когда узнает, что боги ихние тобою порешены!

Пестрый в ярости схватился за рукоять меча и грохнул крыжем о ножны.

— Ладно, будь по-твоему, владыка! Данила, — окликнул он сотника. — Пошли в рощу десяток человек, пусть порубят Березу. А остальных отправь плоты разбивать, бревна тесать на часовню. Отдаю тебе, владыка, весь завтрашний день до заката — руби рощу, ставь храм, бог с тобою!.. Но третьего дня с рассветом — все, не обессудь, идем на Чердынь!

Князь круто развернулся на пятках и пошагал прочь.

Во главе небольшой ватажки лесорубов Иона шел по священной роще. Сквозь ветви деревьев било солнце, щебетали в листве птицы, но мужики двигались сторожко, словно пробирались мимо спящих врагов. Иона нагнулся и поднял свой посох, мертвенно белевший резной костью в свежей траве. Теперь он издали увидел Прокудливую Березу. Колокола оглушительно зазвенели в его голове. Береза надвигалась на идущих, как огромный корабль под всеми парусами.

— Вот она, — указывая, остановился Иона.

Мужики, задирая головы и придерживая шапки на затылках, обошли дерево.

— Пень ровно стешите! — издали крикнул им Иона. — На пне в часовне престол пресвятой богородицы воздвигнем!

Перекрестившись, мужики взялись за топоры. От ударов с ветвей, вереща, посыпались птицы. Щепки полетели вокруг на траву. Иона глядел на могучую березу. Она даже не вздрагивала, погрузившись вершиной в солнце, как в озеро, — словно не замечала, что ее рубят. Голова Ионы тряслась, губы шевелились, читая молитвы. Сливочно-белые раны надрубов углублялись под падающим железом топоров.

Наконец мужики отошли в сторону и уперлись в ствол длинными слегами.

— Э-эх, р-раз!.. — крикнул артельный.

И береза вдруг словно немного осела, охнула. Ионе почудилось, что внезапно в листве широко раскрылись мириады глаз и ошеломленно повели взглядом вокруг — побежали вокруг солнечные тени; закрутившись, ветер

взметнул ленты, подбросил в воздух жухлые прошлогодние листья; из травы брызнули кто куда кузнечики. Страшный треск, как смертельный крик, потряс рощу, и Береза начала падать головой на восток. Сминая и ломая соседние деревья, она грянулась о землю, качнув даже небо над Камой, расшвыряла по кустам привязанные берестяные туески с подарками, лоскутных куколок, резных болванчиков. Птицы фонтаном взвились над вершинами, криком оглушая людей. Ионе показалось, что мимо него пролетела и рухнула та языческая вселенная, которая час назад его отсюда вышвырнула. Колокольный звон в ушах епископа стал нестерпим: захолонуло сердце, потемнело в глазах, изнутри расперло череп. Иона опустился на колени и плача кланялся — неизвестно кому.

Весь вечер и всю ночь на берегу горели костры. Ратники разбивали на бревна выволоченные плоты, дробью стучали топоры тесальщиков. Артели тащили бревна в рощу по дорожке, освещенной огнями. Окопав пень срубленной Березы, наскоро бутили подножие, выкладывали венцы. Сотня человек строгаала лемешины. Уже к рассвету стены часовни поднялись до повала; к полудню четыре чела накрыли охлупнями, на слег и курицы постелили кровлю. Здесь, на севере, солнце долго стоит в небе, словно очаровавшись тихой красотой холодных рек, бескрайней пармы, каменных зубцов на горах. Задолго до темноты плотники изладили барабаны и луковки в лемеховой чешуе, подняли кресты. Внутри уже подогнали толстые половицы, навесили двери, поставили раму иконостаса, и чья-то рука успела пройти по брусу легким резцом.

Первую службу войско, сотники, воеводы и князь отстояли в роще, пока Иона святил храм. Маленькая, ладная часовенка светилась, как теплый огонек среди вековой священной рощи, будто лампада. Огромная крона Прокудливой Березы горой возвышалась за алтарем, шевелилась на ветру, перешептывалась, словно духи шныряли меж листьев, прячась от новых хозяев. Птицы, успокоившись, укрылись в чаще, лишь отважная маленькая синичка не побоялась народа и задорно прыгала по кровле часовни. Ратники жертвовали в храм иконки, привезенные из дома. Князь отдал большой наперсный крест с жемчугами. Иона водрузил на иконостас черный образ Стефанова письма, что достался ему от скудельника Лукьяна. Прозрачный и слепящий алый закат освещал речную излучину, берег, рощу с часовней и молчаливую толпу.

А ночью Иона ушел из Бондюга в Чердынь. Никто из войска живым его больше не видел.

С рассветом полки Пестрого вышли по Русскому вожу. Хоть и невелик

путь оставался до Колвы, дружины с обозами двигались медленно, переваливаясь через буреломные увалы и седые, замшелые ельники.

На второй день ертаульная полусотня наткнулась на маленький пермязкий горт. Жители деревушки, увидев бородатых всадников в бронях, кинулись врассыпную — прочь от большой ямы у околицы. В руки русским попался только один — угрюмый, рослый, беловолосый парень, В большой яме на дне в ряд лежали семь свертков из бересты. В каждом свертке — ребенок с перерезанным горлом. Трупы еще и окоченеть не успели. Ертаульные остановили войско, призвали Пестрого.

— Почто чад порешили? — спросил пленника князь.

— Русский бата вечером пришел, крестил, — хмуро ответил пермяк. — Затем и убили. Души спасали, освобождали от перны.

Пестрый глядел на пермяка, и пермяк отвечал ему таким же твердым, тяжелым, упрямым взглядом.

— На релю каина, — кратко велел князь.

Иона бежал впереди войска как наскучавшийся, наголодавшийся и спущенный с цепи пес. Следы его находили повсюду.

Под низкими облаками обуглившаяся, черная Чердынь выглядела страшно. Полусгоревший, опаленный острожек непримиримо топорщил головни частоколов, обломанные клыки башен, скелеты шатров. Острожек был пуст. Кое-где в нем еще можно было расположить людей под крышей, но почему-то никто не захотел подниматься на княжий холм. Сотники поехали по дворам посада. Пестрый направил коня к монастырю.

Монахи — видно, напоказ — усердно молились: из храма слышалось многоголосое пение, службы стояли закрытые, работных распустили. Пестрый спешил к у крепких маленьких ворот бревенчатого тына и рукоятью меча забренчал в тесовые прясла с железными набойками. Вратарь приоткрыл одну створку; дозорный на каланче звякнул в колокол — два раза в знак уважения. Пестрый отдал удила вратарю, стащил рукавицы и бросил их на землю. От келий по грязному двору уже бежал навстречу мальчишка-послушник.

— Веди к игумену, — велел князь.

Дионисий сидел в своей келье, писал грамоту. Когда на лестнице зазвенели шпоры князя, он отложил перо и отодвинул в сторону старый, много раз перебеленный пергамент.

— Здрав будь, отец, — поклонился князь, не снимая шишака.

— И тебя храни господь, — сдержанно ответил Дионисий.

Пестрый уселся на скамью, покрытую рядом. Тотчас открылась низенькая дверца в соседнюю горницу, и вошел отец келарь — маленький,

толстый, с объемистым свертком засаленных холстин: монастырскими описями. Князь сразу приступил к делу: каков харч заготовлен, сколько кормов на конницу, что от монастыря и епархии своекоштно, а что за казну. Келарь оказался рачительным, немногословным и надолго князя не занял. Дионисий слушал молча.

— Благодарствую, отец Елизар, — подвел он итог. — Распорядись, князь, подводы подгонять к житницам и амбарам. Руку к вире приложишь, думаю, на обратном пути, — я не из тех, кто наперед титулы выпрашивает, а потом гнилье подсунет. Оставь теперь нас, отче, с глазу на глаз.

Келарь поклонился и вышел. Игумен и князь долго глядели друг на друга.

— Ну что ж, старче, — наконец начал Пестрый. — Разъясни мне, что за бес во владыку вселился?

— То не бес, — тяжело произнес Дионисий. — То рвение великое, сравнимое со святой одержимостью, а может, и с подвигом...

— Надеюсь, братия нас не подслушивает? — усмехнулся князь. — Тогда, старче, можно на речи и оскоромиться. Получается, что ты здесь хоть не саном, так разумом в вашем духовном сани выше всех остался. Вот и объясни мне, что делать-то с владыкой? Развяжи руки. Он ведь таких дров наломает — вывозить возов не хватит. От его рвения великого, с подвигом сравнимого, пермяки уже в леса бегут, детей своих режут. Скоро так озлобятся, что Михаилу предадутся. А крепость-то нашу единственную владыка сам же и спалил.

Дионисий помолчал, жуя губами.

— Сам примерь, князь, сколь много достойного владыка за свою жизнь совершил... От усть-вымского разорения через младость князя Михаила Пермского он землю покрестил, обитель поставил. А приходам открытым, храмам освященным, идолам поваленным и числа нет. Даже в сей скорбный час сумел он на кумирне бесово дерево посечь и воздвигнуть часовню из плотовых бревен. По силам ли такое человеку? Плоть старческими немощами скорбна; дух из тела, как из худого меха, наружу хлынул, помутил разум... Вчера владыка к нам прибежал хуже голи какой перекатной — брада и власы клочьями, от рясы лохмотья, босой, грех смотреть — Иов на гноище. Прибежал и стал прогонять братию с подворья; велел набат бить; кричал, чтоб шли мы в леса и болота истуканов валить; чтоб крестным ходом полчища Михаила-отступника развеяли; чтобы жили праведно, без пристанища, подавания моля и собачей блевотиной питаюсь. Каюсь, растерялся я; а как бог разумение вернул — владыки уж и след простыл. Ушел как пришел — нищ, с крестом и посохом, только топор

украл. Куда убег — не знаю, но думаю, что по Ныробскому тракту направился напрямик на Искор, на Перунов алтарь, впереди тебя, князь. Потому и просить тебя хочу... Седины уважая, прояви милость. Нельзя нам ни сана епископского порочить, ни самого владыку, помня о подвигах его. Надо тайком от всех его поймать и доставить ко мне. Найдется для него и келья, и почет — лишь бы не позорился по городам и весям. А под нашу митру уже игумен Филофей, настоятель Ферапонтовой обители, голову готовит. Так что, князь, на тебе сейчас две заботы. За Михаила тебя Иван Васильевич благодарить будет, а за епископа — митрополит. Однако, зная твой крутой нрав и отдавая тебе волю, прошу об одном — об осторожности...

Но князю Федору Пестрому Стародубскому осторожничать не потребовалось. В тот час, когда он разговаривал с игуменом Дионисием, Иона подходил к Покче — всего в десяти верстах от Чердыни. Силы оставили его на полпути, и он долго пролежал в придорожном бурьяне, но все же сумел подняться и побрел дальше.

Перейдя речку Кемзелку, он остановился среди домишек, изумленно оглядываясь. Керку были безлюдными. Пустое, запертое городище угрюмо топорщило частоколы за берестяными кровлями изб. Налегая на посох, Иона выбрался к околице, что-то бормоча себе в бороду. Вдалеке, на выпасе, виднелась большая толпа. Доносился шум, вопли, треск. На берегу Колвы горели костры.

— Камлаете, дьяволы?! — яростно закричал Иона.

Он бросился через луг к толпе. Вновь в голове зазвенел колокол — все быстрее, громче, тревожнее. К нему прибавлялись новые звоны, оглушая и сводя с ума старика. Иона бежал напрямик, падал на рытвинах, спотыкался на истоптанной скотиной земле. Светлые сумерки белых ночей сияли над рекой и лесом.

Нокчинцы собрались на лугу, чтобы воззвать к самой надежной богине — Матери Земле, Солнечной Деве Зарини. Они хотели молиться даже не за себя — за весь свой народ, за всех богов, за свою землю, на которую пришли полки московитов. Боги судьбы не остановили нашествия — так пусть же сама земля, что породила и судьбу, и всех на ней живущих, восстанет против врага, сгубит его или изгонит прочь. Нашли старого шамана, согласившегося стать вестником. Покчинский князь Сойгат сам затянул на его горле ременную петлю, чтобы птицы-души не покинули тела в миг смерти. Обрядив труп в ягу, вывернутую мехом наружу, другие шаманы возложили его на помост, под которым были дрова. Каждый, кто

пришел на камлание, обязан был принести огню если не ветвь, то хоть завитушку бересты, хоть искорку сосновой иголки, чтобы в крыльях Пил-Кая — Птицы-Облака, улетающей к Зарини, — от каждого было перо. А вслед за Пил-Каем полетят и черные от горя и дыма птицы-души Чагала — удавленника, которые расскажут Солнечной Деве о беде. Пермяки, размахивая горящими метлами, плясали вокруг будущего костра, пели, кричали, били в бубны. Они уже опились пьяными настойками из болотных трав, надышались дымом из священных горшков, в которых тлели волшебные корешки.

Когда Иона ворвался в обезумевшую толпу, столб огня взвился над головами, осыпав людей искрами. Толпа взвыла. Сумасшествие светилось во всех глазах, и епископ тоже окунулся в него, как и любой из камлавших. Голова его лопалась от звона и грохота.

— Перуновы дети! Идолское отродье! — кричал Иона, расшвыривая пермяков перед собой с невесть откуда взявшейся силой.

Он пробивался вперед, к высокому огню. Князь Сойгат, узнав его, шагнул ему навстречу, преграждая путь, растопырил руки, но Иона взмахнул Стефановым посохом и ударил острием Сойгата в грудь. Выхватив из-за пенькового пояса топор, Иона выскочил к костру. Круг людей остался у него за спиной, раздвинутый нестерпимым жаром могучего пламени. Иона жара не чувствовал.

Рядом с костром торчал идол, до этого дня надежно спрятанный в лесной яме — нетревоженный. Но это был не медведь, не лосиноголовый человек, не золотое блюдо на гвозде и не птицерылое чудище: из соснового ствола была вырублена сама Заринь. Коренастая, нагая баба, закрыв глаза и улыбаясь, кривыми ручками охватила свое раздутое чрево, в котором было обозначено дитя, а в его чреве — еще одно. От зноя дерево раскалилось, и янтарные капли смолы, как слезы, текли по круглому, плоскому деревянному лику богини.

Иона вмиг ее узнал. Это сейчас она стала деревянной, а тогда, в Усть-Выме, в горнице князя Ермолая, она была золотой... Иона завизжал и бросился на идолицу.

Вокруг епископа затрещал воздух, края рясы начали обугливаться, но Иона этого не заметил. От пота его лицо и обнажившиеся из рукавов руки засияли на огне, как медные. Иона рубил идола — последнего в своей жизни.

И тут толпа пермяков закричала. В огромном костре, в облаках пламени вдруг шевельнулся мертвец и медленно сел. Руки его дергались, поджимались, словно он силился их поднять. И тотчас русский епископ

вспыхнул с головы до пят, как береста. Но и горящий он рубил идола. Вопли баб, хрип пораженных ужасом мужиков волной прокатились по толпе. Кто-то упал лицом вниз, кто-то остолбенел, кто-то бросился прочь. Горящий мертвец глядел из костра, как горящий епископ рубит горящего идола. Лик Зарини с закрытыми глазами и медленной, длинной улыбкой плыл над людьми, как луна, — в расплавленном темном воздухе, в золотом рое искр.

Идол протяжно хрустнул, как кости на дыбе. Иона отпрыгнул, выронив топор. Заринь камнем ринулась к земле, точно ястреб на добычу, и ударила головой Ионе в темя. Мертвец в костре рухнул на спину, будто, отомстив, испустил дух. Иона бесформенной кучей тряпья яростно догорал под поверженным истуканом. Над кострищем и лугом, над Колвой и пармой ветвями Прокудливой Березы в светлой пермской полночи сияли грозные созвездия языческого небосвода.

Глава 21

Чур сочтет

Закашлявшись от дыма, Пестрый поднялся на лежаке и кинул на земляной пол керку рукопись «Шестокрыла» — толстую прошитую тетрадь из жестких бумажных листов, засаленных и закапанных воском. Читать эту муть охоты у него совсем не было. Великий князь еще в Москве попросил Пестрого свериться с «Шестокрылом» о лунных долях в далекой северной Перми. Не будь этой просьбы, не стал бы князь возиться с этой жидовской грамоткой, пусть даже она досталась после битвы на Шелони от самого лжеепископа Схарии. Впрочем, митрополит обещал вымести из головы московского владыки сор жидовской ереси. Может, потом и не вспомнит Иван Васильевич, что поручал Пестрому проверить таблицы «Шестокрыла»?

Натягивая сапоги, князь неприязненно оглядывал просторное, низкое керку Сойгата — покчинского владыки. На Руси у смердов курные черные избы лучше, чем здесь терем у князька... Пестрый откинул кожаную занавеску со входа и по ступенькам поднялся на двор.

Вклинившаяся в междуречье Кемзелки и Колвы, языческая Покча была охвачена полукольцом пламени. Душный белый дым от хорошо просушенных бревен ключами бурлил за частоколом городища, длинной бородой полз по Колве, затягивая хмурые прибрежные леса.

Из-под телеги во дворе вылез Вольга — новгородский ополченец, сбежавший перед Шелонью от своих и взятый Пестрым в рынды. Вольга проворно оттащил перекосившееся прясло ворот, и князь пошагал по тесной, грязной улочке Покчи, сжатой частоколами дворов и замшелыми стенами керку и сомъяхов. Сопрелая береста по свесам крыш обросла плесенью, дерновые кровли зеленели свежей травой. Пестрый брезгливо морщился, переступая собачьи трупы. В грязи под ногами валялись черепки, щепки расколотых бочек, рваные тряпки и шкуры, растоптанные корзины. Отовсюду смердело: в чужих домах ратники справляли нужду прямо под стены. За спиной Пестрого Вольга поддел ногой растрепанную куклу, плававшую в луже. Над головами торчали онемевшие от горя идолы-охранители, не охранившие Покчи, и вдалеке в дыму виднелся вздернутый колодезный журавль, на котором теперь вверх ногами раскачивался повешенный покчинский колдун. На ближайшей сторожевой вышке у частокола плевался и перхал караульный. Сажа падала с неба.

В Покчу войско московитов вступило три дня назад. Напуганные гибелью епископа Ионы, покчинцы сами раскрыли ворота. Но Пестрый считал, что покорность не искупляет их вины. Если бы покчинцы сопротивлялись, он всех бы перебил. А уж если сдались на милость, он им эту милость — насколько заслужили — и оказал: баб, стариков, детей прогнал прочь, а мужиков взял в полон. Среди мужиков были и русские, обжившиеся вокруг Покчи, но Пестрый не стал разбираться. Жаль, не достался ему покчинский князь Сойгат. Посох Стефана, направленный рукой Ионы, так пробил грудь Сойгата, что в тот час, когда Пестрый въезжал в ворота Покчи, Сойгат кончился. Тело его Пестрый велел бросить в Колву.

Князь все хладнокровно рассчитал. От Покчи до Искора, Искорки, где засели с ополчением Михаил-отступник и пермские князьцы, было два дня пешего хода. Не близко, но и не далеко. Искорка — крепость сильная, трудная. Здесь, в парме, Пестрому придется надеяться только на себя. Коли он будет разбит язычниками под Искоркой, ему придется бежать. Иначе — смерть. Однако далеко не убежишь: вся Пермь Великая поднимется добить раненого московского волка. Вдогонку хлынут орды пермяков с верхней Колвы — с Ныроба, Янидора, Тулпана и Дня; в бок врежутся вишерцы с Акчима и Редикора; лоб в лоб ударят камичи, если тех не усмирили Нелидов с Вострово, — с Пянтега, Керча, Губдора, Сурмога, Урола, Канкора, Пыскора, Майкора; наконец, наперехват в засаду спрячутся пермяки Кудымкара, уцелевшие уросцы и бондюжане. Получится мешок. Поэтому безопасней не бежать, а спрятаться поблизости от Искорки, чтобы не искушать беса вероломной пармы. Но где укрыться? Монастырь хоть и крепок, да мал; острожек Иона спалил... Только в Покче. Если пермяки осадят Покчу, им в спину вонзятся копья монахов, соликамцев и ратников Нелидова. И Пестрый распорядился выгнать из городища жителей, обоз оставить в его стенах, а полкам налегке двинуться к Искорке, Каменной крепости.

Но Покчу еще надо приготовить к обороне. Старое городище больно хлипко, да и не строят на Руси таких крепостей. И пермякам, опять же, о Покче известно все вплоть до последней былинки на юру. За этим Пестрый и оставил покчинцев в полоне: пусть работают. А кормежку им жены принесут с воли. Пермяки и трудились в Покче: углубляли ров; отсыпали валы, муравьиной кучей усеяв скаты; набивали частоколы на напольной стороне и Ныробском тракте; жгли посадки, чтобы врагу негде было укрыться; смолили ладьи, чтобы московиты в случае разгрома успели послать гонцов за подмогой. За работой присматривали обозные.

На грязных от весенних дождей улочках городища тоже копошилась толпа. Повсюду тюкали топоры, свистели пилы, бранились приневоленные к трудам ратники, чавкала няша под сапогами. Московиты в рубахах и подвернутых портах, босые и грязные, раскатывали избы на бревна, волокли бревна к заплотам, правили тын, крепили ворота, обкладывали срубамии сторожевые вышки, сбивали щиты с прозорами для лучного боя, растаскивали припасы по землянкам. Болтаясь на ремне, в колодце копался сотник. Пестрый, проходя по городищу, только хмыкал, слыша ругань недовольных ратников. Еще два дня назад он отослал полки с воеводами к Искорке, оставив в Покче лишь конницу, — не нужно, чтобы все войско видело, как он готовится к поражению. На конников и обозных и легла вся тяжесть трудов.

Сопровождаемый Вольгой, князь поднялся на вал и стал смотреть туда, куда в лес утекал Ныробский тракт, — в сторону Искорки. Великая парма морем-океаном разлилась перед московитом до окоема. Князь видел ее — и не видел. Он о ней и не думал. Он ее не боялся, не уважал, не замечал. Парма была для него просто очень большим лесом. Если бы он мог думать иначе, он и не оказался бы у Чердыни во главе московитских полков. А ведь когда-то дома, в Стародубове, когда он плетью высек глаз княжичу Даниле Северскому, вслед ему вся дворня шептала: «Сошлют на Пермь...» И вот он здесь. Но пришел сюда он совсем не той дорогой...

Отец его, старый князь Стародубский, сколько Пестрый его помнил, сидел в своей вотчине в опале за потворство Шемяке. У него было четверо сыновей и шесть дочерей. Маленький удел еле кормил такую ораву; смерды бунтовали, пользуясь смутой, бежали. Старый князь с малолетства распахивал своих мальчишек в службу. Когда мать понесла одиннадцатого ребенка, старый князь не выдержал. «Наплодила орду, сучка! — кричал он. — Трави его!» Робкая, забитая княгиня пошла в слободу к старушке-травнице. Та попробовала вытравить плод, да не вышло. Одиннадцатый княжонок родился недоношенным и порченным — дохлым, скрюченным, головастым. Мать родами умерла. «Авось и последыш околеет», — сказал отец. Княжонок, нареченный Федором, не околел, но все же остался уродцем: сам маленький, а башка большущая, плоская с боков, лицо в пятнах. За то и прозвали его Пестрым. Потом князь Пестрый отплатил травнице: велел подпереть дверь ее избушки колом, обложить стены хворостом и спалить ведьму в ее логове.

Княжонок травили еще в материнской утробе, его ненавидел отец, его презирали братья и сестры, над ним насмехалась дворня. Но одиннадцатый

князь Стародубский — даром что недоношенный — родился кремешком. Он молчал, сжимая тонкие губы, опускал глаза, сплетал пальцы, чтобы никто не увидел, как они дрожат от ненависти. «Заткнуть им всем пасти, задавить, пусть хвосты поджимают, пусть под лавки лезут от страха, когда видят меня...» — такие мысли кипели за его огромным лбом. Потом, когда и эта, и все другие мечты исполнились, жажда чужого страха разгорелась в князе Пестром ярким пламенем. Ничего личного в жажде страха не осталось. Отец умер, братья были порублены на засеках, сестер он рассовал по монастырям, и никто уже не смеялся над ростом и головастостью любимого воеводы Великого князя; сгорела старуха-травница, пропали князья-соседи, потешавшиеся над уродцем из Стародубова, горячие слезы лила красавица-жена, запертая в тереме, повсюду окружал почет, гремела ратная слава, сундуки были плотно набиты добром — не на что стало жаловаться, не о чем тужить, не на кого таить злобу. Но в плоть и кровь вошла привычка давить всех вокруг, чтоб и разогнуться не могли; не убивать, не мучить, не страшать, хотя и так приходилось, а именно давить.

Однажды, когда Пестрому было четырнадцать лет, он охотился в окрестностях Стародубова и выехал на поляну, где с дружками расположился пировать сосед — Северский княжич Данила. Хмельная ватага встретила Пестрого радостным свистом, улюлюканьем, гоготом — как шута. Пестрый потоптал конем разостланную скатерть, плетью ожег Данилу по хохочущей роже. Ватага уволокла окровавленного княжича домой. У Данилы вытек глаз. Князь Северский послал в Москву жалобу. Великий князь Василий по прозвищу Темный, после того как нож Шемяки вырезал его очи, даже при намеке на ослепление впадал в бабью ярость. Пестрого под стражей приволокли в Кремль. Вот тогда и шептали ему вослед: «Пропала голова! Бросят в яму или сгноят в дремучей Перми!»

Стоя на коленях перед немощным князем Василием, Пестрый впервые увидел его сына — Ивана Васильевича. Долговязый и тощий, с отвислым носом и редкой бородкой, с умными, вероломными глазами и гневливым лицом сладострастника, Иван Васильевич с любопытством разглядывал стародубского уродца. Пестрый не каялся. С остывшими глазами мертвеца, сжав зубы и сплетя пальцы, он молчал, как молчал всегда в ответ на глумливые потешки. Огромный, упрямый лоб княжича и непокорная твердость, в которой окостенели плечи, испугали даже бояр на судилище, затопавших на него, затрясших бобровыми шапками, застучавших клюшками. Яма и цепь — только это ожидало Пестрого. Однако бог миловал. Иван Васильевич уговорил отца не казнить стародубского

княжича, а послать его на засеки.

Потом князь Федор понял, почему Иван Васильевич его пощадил. Иван Васильевич видел, что дни отца сочтены. Недалеко то время, когда он сядет на московский стол. Уж он-то княжью вольницу пресечет, соберет воедино русские земли, а всех ордынских баскаков повесит на городских воротах. Но с кем же браться за такие дела? Слепой и малодушный отец распустил князей и бояр. Те заворовались, зажирели, привыкли быть сами по себе и спелись с татарами. Таких на великий и общий труд не поднять, да и на что он им, на что им эта Москва? Нужны новые люди, свои. И вот этот стародубский княжич подходит как нельзя лучше. Богатством, славой, землями его род Василий Темный обделил. Тем больше у княжича надежда на Ивана Васильевича. И пусть он собой неказист — не под венец же он нужен. Главное, чувствуется в нем твердость, преданность своей мысли. К недругу не переметнется, за милость оплатит сполна. Вот потому Пестрый и оказался на засеке, а не в яме.

Засака была маленькой крепостицей на рубеже со степняками. Засечники походили то ли на ватажников, то ли на казаков, но уж никак не на государевых ратных людей. Занимались они лишь тем, что рубили ордынцев, грабили окрестных смердов и бражничали без меры. Богатырские заставы на половецких курганах, тревожно и строго вглядывавшиеся в синий простор Дикого Поля, давно ушли в прошлое и по плечи погрузились в сказки и былины, как каменные скифские бабы в горькую землю степей. Пестрый понял, что даже воевода, его предшественник, был заложником своих ратников, а потому и сгиб, как видно, подставленный в схватке под красноперую татарскую стрелу.

Молодой князь не пошел против станичной вольницы; стал таким же, как и все, — пил, буянил, обдирал нищих мужиков, сносил саблей бритые ордынские головы. Он был жесток в сече и вдвое жесток после нее, а потому вскоре его начали уважать. Потихоньку он превращал свою вольницу в войско. Пусть это войско и оставалось полуразбойным, но оно уже представляло собой управляемую силу. Несколько раз татары, что пробовали прорваться по дороге, на которой стояла засака Пестрого, оказывались вдребезги разбиты. Молва разнесла весть о новом крепком воеводе. Тогда Пестрый впервые перестал бояться людей. Его встречали не как уroda и ценили не как потеху. Его стали страшиться, помня рассказы о лютом засечном начальнике, который не брал в полон и не оставлял раненых. Его славословили — в глаза; но за глаза о нем говорили: «Мала куча, да вонюча», — или даже с насмешкой, презрительной и злобной: «Хромая сучонка злее волчонка». И Пестрый знал, что и как о нем говорят.

Но он увидал, насколько страх укорачивает язык. Попавшиеся засечникам татары говорили, что по степи идет слух о «маленьком шайтане» — воеводе Пестром; его ненавидят, боятся, избегают, но никто, даже безнаказанный татарин, не станет над ним насмехаться — такое и на ум не придет. Ведь никто же на Руси не смеялся над Чингизом, в котором от ичиг до малахая было три локтя. Страх — вот что может любого заставить уважать тебя, будь ты высокий или низкий, красавец или урод, мудрец или дурак, богат или беден. Страх врага перед тобою — это хорошо, но вдвое лучше, когда тебя боится свой. А свои Пестрого боялись еще не слишком. Есть звери и пострашнее хромой сучонки.

Через подкупленного человечка Пестрый договорился с мелким степным ханом. Татары ночью окружили засеку и врасплох напали на русских. Пестрый сидел на коне рядом с ханом и видел, как режут, колют, рубят, душат его ратников, и небывалое наслаждение окатило его: даже сейчас хан его боится, и татары все боятся, и этот страх хранит его в бойне, где гибнут свои, хранит его, безоружного, одного-одинешенького среди врагов. Что ж, с прежней вольницей на засеке надо было кончать. Чтобы навести страх на своих, нужны были другие, новые люди.

Москва прислала воеводе новый отряд. И в нем Пестрый завел чингизов порядок, где все держится даже не на страхе — на ужасе. Людей он разделил на десятки, и весь десяток отвечал за каждого. Воровал один — десяти отрубали руку. Один сболтнул лишнее — вырывали десяток языков. Отступил в схватке — отсекали ноги; а если бежал, предал, подвел — по-татарски ломали позвоночник и бросали беспомощных живьем на съедение зверью. С одной сотней ратников, скованных такими правилами, Пестрый стоил целого полка московских питухов. И это сослужило свою службу.

В Москве, дочадив, головешкой затух Василий Темный. И тотчас, как от веку ведется, смута затопила Московитию. Удельные князья каждый в свою сторону потянули на себя лоскутное одеяло Руси. Заволновались голодные смерды; обнаглели в лесах разбойнички; непроходимыми сделались дороги, где сели воры и тати; калики, объединяясь, жгли монастыри и храмы. Слонялись туда-сюда полки, убежавшие от воевод, и воеводы, убежавшие от полков. Холопы вешали ненавистных бар и утекали на Дон. Забрыцали мечами новгородцы, псковитяне, тверяки. Как волки в раненого вепря, вцепились в русскую землю татары, поляки, литвины, немцы. Вот тут и пригодилась дружина Пестрого. Усмиряя край мечом и плетью, колом и дыбой, не жалея никого, кровью заливая деревни и городишки, Пестрый приводил непокорный народ к присяге Ивану

Васильевичу. От той присяги человеческий стон донесся и до Кремля.

Иван Васильевич вызвал Пестрого к себе. Такой князь — верный, упорный, жестокий и холодный — пригодится на более важном месте, чем дорога к степнякам. И взошла звезда любимого воеводы Великого князя — князя Федора Пёстрого Стародубского. Были походы во главе полков — против усобных князей и бунтарских крестьян, против воровских шаек в лесах Рязани и казацких куреней в Запорожье, были, наконец, битвы у Казани и на Шелони... Пришли слава, почет, богатство — и пришел страх. Уж никто и подумать не мог, что лютый князь Пестрый когда-то вызывал усмешки, что спускали на него собак и вместо шапки подсовывали ему колпак с бубенцами. Да и мало уцелело тех, кто мог это видеть. Пестрый обрезал свое прошлое, как слишком длинные полы кафтана. В настоящем остался только страх.

Князь Федор Пестрый не был жестоким человеком от рождения. Забитый и униженный в отчем доме, он и там не отрезал кошкам хвосты. Он лил кровь, много крови, и порой невинной, но не находил в том удовольствия. Так было надо. Он не мучил своих жертв, а просто убивал. Он не наслаждался чужим страданием, а наслаждался своим положением, обретенным в обмен на чужую смерть. Жестокость его была только оружием в борьбе за место поближе к солнцу. Оружием, которое сначала пугало, потом пьянило, а теперь стало привычным. Пестрый хорошо понял боярина Вострово, ринувшегося уничтожить пермский Урос. Он даже не думал остановить боярина. Может быть, поразмыслив, он и сам поступил бы так же. Но вот кровожадность боярина была смешна Пестрому, словно боярин по-детски неумело подражал холодной, спокойной и расчетливой жестокости князя. Тот, кто делает себе судьбу на лютости, должен иметь рамки, пределы. Без них лютость — звериное зверство, не приносящее плода. А князь не был и не хотел быть зверем, хотя и человек-то в нем был наполовину в шерсти.

Пестрый добился в жизни всего. Но, получив все, он вдруг с удивлением понял, что не так уж много ему было надо. Его не влекли богатство, слава, честь, любовь красавиц. Его вообще уже ничто не влекло. Он походил на стрелу в излете, которая пробила все преграды, но дальше лететь нет сил. Немного тешила мысль о власти, но уж куда ее больше? На стол Ивана Васильевича Пестрый и в мыслях не заглядывался, оставаясь верным псом Великого князя, на воле которого и держалось его величие. Однако надо было жить дальше. И как утроба — пищу, как тело — движения, как разум — мысли, его душа тоже требовала чего-то. Но чего? Слишком долго князь Пестрый жил в напряжении яростной борьбы,

слишком долго лил кровь, не ища вокруг себя ничего иного, чтобы душа его могла развиваться и сбросить шерсть. И теперь единственным движением его души, дающим ощущение жизни, была потребность в насилии. Заставлять кого-то, давить, принуждать — только это и мог, только это и желал еще делать князь Федор Пестрый Стародубский как человек. Прочие человеческие стремления ему были уже недоступны. И такая суть Пестрого-человека полностью соответствовала его сути Пестрого-воеводы, поэтому умный князь Иван Васильевич и послал его в парму.

Здесь другой дрогнул бы, смалодушествовал. Дикий еловый край, увалы и утесы, ледяные реки, заповедные чащи, дожди, низкое небо и белые ночи, капища, идолы, городища, курганы, колдуны... И народ — тихий, спокойный, задумчивый народ, словно вечно вспоминающий свое отшумевшее время; народ, владеющий золотом, самоцветами, мехами, рыбьим клыком... Вряд ли у кого из московских воевод хватило бы духу занести меч над этими покорными головами. Вряд ли бы кто устоял перед блеском золота, радугой самоцветов, сиянием соболей. Вряд ли кто не дрогнул бы перед проклятием ведунов, чье знание просачивалось сквозь толщи былых веков, как подпочвенные воды. И только князь Пестрый сумел бы пройти к цели мимо всех соблазнов и страхов. Это Иван Васильевич рассудил верно. И потому Пестрый пришел сюда во главе московитов. Он рубил новгородцев, которые были смутьяны и предатели. Он рубил татар, которые были насильники и язычники. А пермяки уже не были язычниками, не были насильниками, смутьянами и предателями. И только князь Пестрый из всех прочих воевод все равно стал бы их рубить.

Наконец можно стало выехать из Покчи. Оставив там обоз и обозников, на рассвете князь с конницей двинулся по Ныробскому тракту на Искорку, где его войско осадило неприступное городище.

Пестрый рассчитывал, что даже не торопясь он успеет под Искор к вечеру. Растянувшись на полверсты, вершники скакали через лес — то непривычно-чистый, где из толстой перины белого мха плотно торчали черные, густые ели, а то вдруг совсем непролазный, сикось-накось загроможденный валежником, обросший плесенью, огромный и дикий, где рядом с вековыми деревьями грозно и страшно белели великаны-мертвецы, исковерканные, растопорщенные, лопнувшие вдоль стволов. Сизые валуны лежали на дороге, и тележные колеи огибали их, а конские копыта среди глухого перестука вдруг звонко звякали о камень, высекая искры. В косматых вершинах высоко над головой шумел ветер, а последние заморозки прибили комаров.

Отряд одну за другой миновал несколько пермяцких деревень, безымянных для Пестрого. Тракт подошел к броду. Дозорные всадники спешили, побрели по воде к левому берегу, пробуя дно. Вода кипела вокруг их коленей. Кони фыркали, брыкались, мотали головами, одновременно и боясь реки, и радуясь брызгам, свежести, солнечному сиянию. Разведчики, выбравшись на отмель, заорали, замахали шапками. Войско двинулось в Колву. Вольга спрыгнул и повел в поводу обоих коней — своего и княжеского.

За бродом отъехали еще немного и решили полудничать. На большой поляне разбили костры, навесили медные чаны. Пестрый спустился к реке напиться. Вдали, в лесу на излучине, светлел невысокий утес, а под ним торчали сучкастые пеньки идолов.

— Вольга! — окликнул рынду князь, выплескивая из шелома воду и надевая его — холодный, влажный — на разогретую солнцем голову. — Пойдем-ка, пока полба прееет, сходим на мольбище, полюбуюсь, что тут за болваны.

Вольга подбежал, придерживая на бедре ножны меча.

Они зашагали по тропинке меж прибрежных валунов. Вода плескалась у камней, вспыхивала пятнами, солнечные тени сплетались на разноцветной гальке отмели, и речное дно вдруг напомнило князю лучезарные смальтовые мозаики Киевской Софии, которые так завораживали его в детстве.

Под утесом на старой осыпи была расчищена площадка. Скала загородила солнце, угрюмой, холодной стеной приподняла небо над капищем. Плотная, сросшаяся ветвями чаща, оторочившая капище по склону, дышала прелью, сыростью, зябкостью. Студеная синяя тень скалы накрыла Пестрого и Вольгу, когда они подошли к воротам — клином вкопанным бревнам с полуразвалившимся медвежьим черепом на острие. Пестрый остановился посреди кумирни. С десятков черных, разбухших от сырости идолов торчали из земли, подгнив у основания. Они были сделаны из стволов, врытых вверх корневищами. С корней-рогов свисали какие-то лохмотья. Глубоко врезанные выпуклые глаза яростно пялились на пришельцев. Беззвучно вопили раззявленные рты. Валялись вокруг колоды, грубо вытесанные из валунов, оленьи рога, чьи-то треснувшие ребра, расколотые горшки, головни. С морщин утеса на камни тихо капала вода. Пестрый протянул руку и выдернул воткнутый идола в брюхо нож — зеленый медный нож с костяной рукояткой.

Сзади раздался негромкий свист. Пестрый оглянулся. Вольга тоже оглянулся, и рука его непроизвольно дернулась к мечу. Пестрый ухватил

Вольгу за локоть. Загораживая ворота, стояли три человека, словно вынырнувшие из-под земли. На шаг вперед выступил высоченный, совсем седой старик, а за его плечами застыли два мужика, такие же рослые и синеглазые. Старик спокойно положил обе ладони на рукоять огромного меча, воткнутого в землю между носков его рваных кис.

Пестрый почувствовал, как иней ползет по его жилам, а душа привычно сжимается в кулак, выдавливая одну-единственную мысль: «Не прощу!»

— Кто такие? — спокойно спросил князь.

— Я — Тур, — не кланяясь, произнес старик. — А это сыны мои Олег и Комар.

Пестрый помолчал, разглядывая гостей.

— Хороший меч у тебя, Тур, — сказал он.

— Ирий, — глядя князю в глаза, ответил Тур. — Прадедов кладенец.

— Никак караулили нас? — недобро сощурился Пестрый.

— Нет, князь. — Тур степенно провел ладонью по бороде. — Переправлялись с того берега и увидели, как твоя дружина полудничает. А тут и сам ты будто нарочно к нам шагаешь. Подождали. Чур! — негромко крикнул он.

Вокруг капища из-за валунов, распрямляясь, стали подниматься люди. Пестрый мрачно оглядывался. Десятка два мужиков, все с оружием, все как на подбор крепкие, светловолосые, разные и в то же время неуловимо похожие, словно творения одного мастера. Вольга решительно выволок из ножен меч.

— Ты, отрок, не спеши, — сказал ему Тур. — Мы ведь, княже, к тебе на подмогу идем. Не удивляйся. Ты о нас не знаешь. Такие же, как вы, мы — словене. Но живем в лесах, в строгости. Есть у нас несколько деревень по Лологу.

— А почто прячетесь? — сдержанно удивился Пестрый, не веря Туру. — Кто вы? Тати беглые? Скитники?

— Не тати. И не скитники, — веско сказал Тур. — Мы, по-вашему, — язычники.

— Русские — и язычники?

— Не русские. Словене.

Речь старика была русской, но какой-то певучей, древней, сказочной. И весь его облик, облик молчаливых людей, стоящих за валунами вокруг капища, дышал древностью, необычностью, былинной мощью.

— Не пойму я тебя, — отшвырнув медный нож, признался Пестрый. Краем глаза он увидел, как один из «словен» подобрал нож и, обтерев о

рукав, бережно положил на колоду.

— Вы — Христовы дети, а мы — дети Перуна. Издревле род мой, Туры, молился Перуну, да Яриле, да Стрибогу и другим родам на их небеса воскурения не поганил. Но христиане нас не потерпели. Осквернены были наши алтари, заплеваны светочи, затоптаны божьи личины и смешаны с грязью жертвы. Тогда наши пращуры от злого князя Волота Мономаха решили уйти — и ушли из отчего Чернигова в далекую Чердынь. Два священных хазарских блюда у нас было, и одно мы на родине погребли, а другое принесли в дар пермскому кану. Он нам дал земли вдоль лесного Лолога, где тогда еще обитали звери Индрик и Маммут. С тех пор мы здесь и живем. Пермьки по нашему уговору тебе о нас не скажут, а москвитам о нас не узнать никогда.

Пестрый нахмурился, вспоминая. Вотчина его, Стародубово, находилась недалеко от Чернигова, и не раз, будучи еще княжичем, Федор слышал об упрямых язычниках, уносивших свою веру в далекие леса, к чужим чудским народам, хотя сами были с христианами единоплеменниками.

— Чего ж вам от меня надо? — спросил Пестрый.

— От тебя нам ничего не надо — только одолей беду. А мы тебе пособим, сколько сил хватит.

— Так ведь и я христианин.

— Про тебя нам давно известно. Делами своими, терпимостью и твердостью ты многих к себе расположил. Никогда ты чужих святынь не рушил и своих богов силком не навязывал. Под твоей рукой честь наша не осквернилась. Ты — это наша воля. А придут москвиты, и опять нам нужно будет уходить, ибо они нас в нашей вере не потерпят. Мы с тобой по богам разные, но по человечности едины. Твоя правда — наша правда, пусть и судьба будет общей. Не хотим бежать, как пращуры. И ждать покорно тоже не хотим. Хотим встать за себя рядом с тобой.

Князь Пестрый опустил глаза, снял шлем, вытер лоб. Эти язычники приняли его за Михаила Пермского. Когда Пестрый надел шлем и поднял взгляд, лицо его было жестким, непроницаемым.

— Хорошо, Тур, — согласился он. — Я возьму вас в свою дружину. Пойдем. Вольга... — он обернулся к рынде. — Лети в отряд, готовь встречу.

Потемневшие, расширенные глаза Вольги все сказали Пестрому — парень понял его без слов, не подведет. Олег и Комар раздвинулись, пропуская Вольгу на тропу.

Тур и князь пошагали вслед за убежавшим рындой первыми, а

остальные — за ними.

— Ну что ж, как жизнь здесь ваша? — спросил Пестрый, лишь бы не молчать.

— Жизнь добрая, — с достоинством ответил Тур. Он нес свой меч Ирий как косу — на плече. — Жировать не жируем, но и не пухнем с голоду. Немного пашем, рыбу берем, зверя бьем. Пермьяки — народ тихий. Вольно нам здесь.

— А из-за богов не теснят?

— Не теснят. Они нас понимают, мы их — тоже. И мы, и они Перуну молимся, по-пермски Войперу. А главный богатырь их, вроде нашего Святогора, — Пера, — напрямую Перунов внук. Волхвы пермские и наши алтари в чести блюдут, потому как боги наши — единого корня, родные братья. Сварог Сурмогу брат, Рарог — Лологу, Пан — Пянтегу, Лель — Пеле, Дид — Дию, Велес — Вёлся... Как и мы, пермьяки Латыгорке, Солнечной Деве, Зарини, по-ихнему, кланяются, на семик березу завивают, на Купалу хмель варят, хороводы водят, венки плетут... Нет, и по вере мы с ними заодно. А обычаи разные, конечно...

На тропе вдаль послышался конский топот. По берегу скакали вершники князя, держа мечи поперек седел. Словене остановились, выжидательно и испытующе глядя на всадников. Первым скакал Вольга.

Бывалые ратники князя не спугнули врагов, приблизились не торопясь, спокойно. А потом винтом ввысь взвился свист, и дружно сверкнули русские мечи, падая с неба на язычников. Вольга первым рубанул с плеча Комара, широко плеснув кровью в лицо князя.

Пестрый отпрыгнул, падая набок. Над ним, блеснув дугой, с шелестом прошел огромный меч Тура — Ирий. Кто-то из всадников тотчас ударил в широкую грудь старика копьём, и Тур повалился на тропу.

Словене не бросились врассыпную, да и бежать им было некуда — их прижали к крутому склону, заросшему ельником, заваленному непролазным буреломом. Мгновенно построившись серпом, словене оцетинились мечами, кольями, копьями, рогатинами. Но конники врубались в их строй, секли направо и налево.

Они схватились без криков и воплей, молча, только звенели мечи и удил да трещал сухостой под ногами. Один за другим словене падали мертвыми под валуны, ломали сучья телами и тонули во мху. От блеска мечей в лучистом небе словно что-то замерцало — это открылись глаза древних языческих богов, тихо смотревших с высоты, как истребляют последних Перуновых детей на этой земле.

Пестрый поднялся на ноги и наступил на Ирий. К князю уже бежал

Вольга. Ручища Тура медленно потянулась к рукояти меча — огромная и костлявая, похожая на корень, уже мертвенно посветлевшая, стынувшая, но еще упрямо дрожащая. Кровь залила широкую грудь старика, будто на груди, как на парусе, загорелось языческое солнце. Тур чуть приподнял разбитую о камень голову, глянул на Пестрого огненно-синими, запоминающими глазами и ткнулся лбом в мох.

— Чур нас сочтет... — прошептал он.

Глава 22

Искорка

До стана под Искором они добрались к вечеру.

Вольга сразу понял, что место для стана выбрано хоть и не князем, но верными его воеводами. Пестрый всегда подыскивал именно такие места. Большая кедровая роща на берегу Колвы была охвачена широкими луговинами. По луговине враг не сможет подобраться незаметно; вода — рядом; деревья дадут дров, ведь как раз дровосеки становятся «языками» у лазутчиков в первую очередь. Опять же, роща войско укроет так, что издали не сосчитаешь, сколько человек, сколько коней, сколько шатров. Меж деревьев увязнет чужая конница, если, конечно, нужда припечет отступить с поля боя на стан.

Стан был окружен рогатками, заламами, подсеками и располагался квадратом. Пестрый понимал власть по-татарски, а войсковой порядок — по-ромейски. Балаганы воинов окружали палатки сотников; в центре, вокруг княжеского, торчали шатры воевод. У входа в шатер Пестрого были врыты две жерди, на которых висели хоругви: Великого князя Московского с Георгием и князя Федора Стародубского с вышитыми словами из Писания — «Имя же им легион». Вольга понимал, что тем самым Пестрый пояснял: у него не сброд, не ватага, не удельная дружина, а надежное и крепкое войско — как у тевтонцев, как у царьградцев, как у римлян.

Пока Вольга расседлывал коней и снимал сбруи, князь и воеводы пошли по стану. Конюх погнал коней на берег, где ярко зеленела полоса свежей травы. Там стреноженные кони будут пастись до рассвета. А на рассвете — битва. Вольга знал, что с битвой Пестрый никогда не медлит. Коли князь приехал в войско, значит, готовь меч к работе.

Вольга едва успел слетать к артельному котлу, как над станом затрубил рог. Дожевывая горбушку на бегу, Вольга кинулся к князю. У шатра он напялил белый кафтан, нахлобучил смушковую шапку и взял в руки посеребренную секиру. Пестрый уже сидел в шатре на маленькой лавочке, что стояла на алом бухарском ковре. Вольга, как положено рынде, встал у князя за спиной и застыл. Князь хлопнул в ладоши. Рожечник выскочил за полог и снова затрубил. В шатер, кланяясь, но не снимая шеломов, вошли воеводы и сотники. Начался княжеский совет.

Воеводы доложили о своих отрядах. Пестрый на воцанной дощечке чертил какие-то палочки, крестики и крючки — учитывал свою силу

одному ему понятными значками. Потом перед князем расстелили широкий лист бересты, исчерченный линиями, загогулинами и каракулями. Это было изображение местности между Искоркой и станом, где завтра состоится битва. Подолгу раздумывая, расспрашивая, Пестрый начал что-то дорисовывать стилем, переносить с дощечки свои знаки — он расставлял войска, определял ход сражения. Воеводы напряженно всматривались в изографию, чесали затылки под шеломами, кивали, драли себя за бороды. Вольга на бересту не глядел. С огромным уважением он рассматривал большую голову князя, его выпуклый затылок.

Войсковую премудрость Вольга так и не постиг, хотя не раз стоял за спиной Пестрого на советах. Раньше, до Шелони, Вольга думал так. Что такое войско? Это большая толпа богатырей. Что такое сражение? Это когда большая толпа богатырей нападает на большую толпу врагов и рубит ее в капусту. Ну, или же враги рубят в капусту богатырей. И все. Никакого ума не надо — знай мечом маши. Но став рындой при Пестром, Вольга понял, что все совсем не так, все держится на хитрости и расчете. Только постичь эти расчеты он уже не сумел, хоть и все было перед глазами. Вольга мог только изумляться устройству большой головы князя, в которой все эти линии и загогулины превращаются в перелески, луга, лощины, холмы, ручьи, а закорючки, кресты и палочки — в сотни мечников, лучников, копейщиков, которые бегут по холмам и лощинам и бьют врага.

Такое же благоговение, как перед князем, Вольга испытывал только перед зодчими. Отец Вольги был рыбаком на Онеге, на Волкострове. Однажды он взял Вольгу в Новгород — повез рыбу на торг. И там, на торгу, из-за какой-то мелочи отец заспорил со случайным встречным, оказавшимся знатоком строительного ремесла. Спорили не со злостью — с азартом, не по корысти — за интерес. Отец, сам знаменитый лодейный мастер, хотел доказать, сколь мудреное это дело — строительство судна: лодьи, коча, шнявы, это не важно. Сколь много всего надо знать, помнить, брать в расчет. А церковь ставить, мол, просто — кирпич на камень, плинфу на кирпич; четыре стены, крыша да барабаны с луковками. Лепо выйдет — удача; нелепо — что ж, не судьба. Зодчий же не спорил о лодейном деле, но за свой труд стоял горой. Вольга мало что понял из этого спора, зелен еще был, но одно его поразило. Когда церкву заказывают — князь, или посадник, или конец, или улица, — то не просто абы как: чтоб, дескать, стены двадцать сажень на двадцать, и высотой столько же, и глав пять штук. Нет. Вместо этого дают зодчему цепь с двумя кольями, и все. Цепью этой он рисует на земле круг подкупольный, а уж дальше по законам, одному ему ведомым, он, деля цепь на доли, складывая длины,

умножая и вычитая, уже и выстраивает храм по соотношениям частей, всегда неизменным. Вот это Вольгу и поразило. Есть голова зодчего, в которой куча этих правил, и есть цепь — и вот уже стоит невидимый храм, постепенно обрастая камнем. Так же и воинская премудрость Пестрого поражала Вольгу: есть земля и войско, и значит, уже есть битва, никому еще, кроме Пестрого, пока не видимая. Но она вскоре обретет явь, воплотится в мечи, кровь, движение, и все ее узрят.

Потом совет вывалил из шатра. Князя повели на дозорную вышку. На краю рощи стоял огромный кедр, у которого срубили вершину, а вместо нее сколотили помост. По узенькой приставной лестнице Пестрый полез наверх, словно не замечая высоты. Вольга карабкался за князем и едва не трясся на жердях, ходивших ходуном, хватался за перекладины так цепко, что болели костяшки пальцев. Пестрый выбрался наверх и встал у края помоста, оглядывая дали. Помост скрипел, раскачивался, как лодка, будто хотел опрокинуть людей в бездну. Вольга раскорячился посередке, расставив ноги и растопырив локти. Больше всего ему хотелось опуститься на четвереньки.

Глубокий простор раскрывался с вершины кедра. Синей блестящей лентой текла к полуночи Колва. По левому берегу далеко тянулись зеленые луга и выпасы, кое-где разорванные сосновыми борами, березовыми, липовыми, осиновыми, кедровыми рощами. Вольга уже знал, что их здесь называют дубравами, хотя дубы тут не росли. Где-то далеко-далеко виднелась пермьяцкая деревушка, а на полпути между ней и станом раскинулся беспорядочный лагерь пермяков: людишки, кони, шатры, костры... Но к восходу от реки поляны и дубравы сменялись густыми еловыми чащами — великой пармой, что громоздилась до окоема. И там, в парме, поднималась скалистая и гребенчатая гора с частоколами — гора Ис, Камень, и крепость Искор, Искорка, Каменная Твердыня. А над Искоркой и станом, над пармой, лугами и Колвой высоко стояло небо, лазурное, как покров Богородицы.

Только на земле Вольга смог оценить — уже по памяти — все величие увиденной картины. Наверху мешал страх. Пестрый повел воевод обратно в шатер. До поздних сумерек князь еще совещался, раздавал указания. Вольга украдкой начал позевывать. Наконец князь распустил воевод и велел трубить вечерю.

Вольга знал, что спать этой ночью никому не придется. Пестрый всегда назначал бой на раннее утро и никому не давал перед боем спать. Как-то раз при Вольге он объяснял кому-то, зачем так поступает. Сытый, выспавшийся человек в бою плох. Сила играет, подмывает, хочется лихость

проявить, покрасоваться. Человек может увлечься. А битва — это не молодечество, не забава, даже не испытание. Для старого ратника битва — это привычный труд, в котором не должно быть ничего лишнего. Бессонная ночь словно бы гасит душу человека, притупляет чувства, и на ратное поле выходит не творец-искусник, а надежный ремесленник, который тупо, но точно, привычно и мастерски делает свое дело. Мечом воев двигает уже не гнев, не одержимость, не страх, а непогрешимый и выверенный опыт. Такой ратник не будет думать сам, а будет слушать приказ; и пугаться крови в нем силы не найдется; и удача его не опьянит; и о бегстве он не вспомнит. Изматывая усталостью, Пестрый таким образом готовил людей к победе. И всегда побеждал.

После заката Пестрый направил полки на поле завтрашней битвы: копать рвы для конницы, бить колья, отсыпать валы, защищающие лучников. Вольга со слипающимися глазами качался в седле, разъезжая вслед за князем. «Соснуть бы... — мечтал он. — А может, искупнуться? Когда ж свет вернется? На свету дрема отстанет...» Возвратившись в шатер, Пестрый велел нести квасу; он пил квас и поглядывал на очумевшего рынду. Косматые вершины кедров, снизу озаренные кострами, шумели в звездах неяркого северного неба.

— Взбодриться хочешь? — спросил князь. — А вот отправлю тебя сейчас со всеми прочими могилу рыть, и взбодришься.

— Какую могилу? — оторопел Вольга.

— Общую. Ее перед рассветом все войско рыть будет.

— Свят-свят, князь! — Вольга перекрестился. — Ты что ж, для живых людей скудельню готовишь?

— Готовлю. А перед битвой велю еще и отпеть всех. Даром ли попа возим?

— Да почто же это тебе? — изумился Вольга.

— Кто себя мертвым считает, тот смерти не боится. Злее драться ратнички будут.

— Грех, — убежденно сказал Вольга. — Не по уму, да и не по душе мне твоя хитрость, князь. Отпусти ты меня до боя. Пойду в разведку. Там от меня больше проку будет.

Пестрый усмехнулся, перекосив тонкогубый рот.

— Иди, курья душа.

Вольга стащил кольчугу, холодившую ночью тело, оставил шлем и поножи, натянул рваный зипун и шапку, подпоясался оскордом, за голенище сапога сунул ножик.

По летнему лугу в темноте он шагал к пермскому стану. Над далекой глыбой Искора голубой криницей горела Полуночная звезда. Трава под ногами стрекотала, брызгала ночными кузнечиками. Высокое небо со всеми своими светилами, как стог, громоздилось над головой. Вольга дышал всей грудью, чувствуя медвяный хмель набирающих силу трав, росный и влажный ветерок с Колвы, чуть уловимое, но просторное и грозное эхо запахов пармы — горько-смолистое, будоражащее, древнее.

Дозорные у пермского стана жгли костры, и Вольга, дивясь наивности пермяков, попросту обошел их, даже не пригибаясь. Стан, как подтаявший сугроб, кучами расползся по склонам холмов. По опушке перелеска горели огни, бродили стреноженные кони, вверх оглоблями стояли телеги, под которыми храпели хозяева. «Эх, вояки!..» — радостно поражаясь беспечности врагов, восклицал про себя Вольга. Вокруг костров сидели люди, следили за котлами, ели, переругивались по-русски и по-пермски, пересмеивались, кричали что-то, пили. Вольга не чувствовал себя на войне, не чувствовал, что он — лазутчик, что эти люди — его недруги. Он будто бы попал в незнакомую артель, или в купеческий табор, или к косцам... Он остановился в круге света костра, возле которого на охапках кедровых лап лежали, судя поговору, русские.

— Сядь, не торчи, как дрын заборный, — лениво предложили ему.

Он сел на корточки и протянул к углям руки.

— Тоже на рать пришел? — спросил у Волю ближайший мужик, лежавший на боку. Он был одет в рваньё, перемотанное веревкой. На кушаке висел ржавый меч. — Сам-то чей?

— С Лолога, — ответил Вольга, вспомнив перебитых словен.

— Пашенный? Промысловый?

— Пока никакой. Недавно осел.

— А откуда пришел?

— Онежанин с Волкострова, — честно рассказал Вольга. — Отец рыбарил, а я в извозе был, в Новгород на торг рыбу ставил. Московиты пришли — воля кончилась. Податями задушили, приписали к боярам. Купчишек новгородских, что у нас товар брали, на кол посадили. Не жизнь стала. Убёг.

— Понятное дело, — кивнул мужик. — У всех эдак. Потому и поднялись против московита — кто от сохи, кто от сети, кто от рогатины. Без воли недоля.

— Думаешь, одолеем? — спросил Вольга.

— Должны, — почему-то грустно ответил мужик.

— Ладно, добрые люди, бог в помощь, — поднимаясь, попрощался

Вольга. Он пошел дальше меж костров. На душе было хорошо, словно он и вправду собирался драться с москвитями, отстаивая свою волю. И он вдруг ощутил родство со всеми людьми, что собрались вокруг.

Вольга не совсем врал мужику о тяжелой руке москвитя. Все это было правдой, а неправдой то, что он будто бы убежал с Онеги. Волкостровская артель начала доверять Вольге с отрочества. Парень он был хоть и простоватый, но крепкий и рассудительный. Опять же и отец в почете был. Вольге поручили возить в Новгород рыбу: онежскую нельму, севрюгу, осетра. Вдвоем с одноруким дядькой Серегой Вольга несколько лет провожал обозы с мороженой, сушеной, соленой, вяленой, квашеной рыбой. Он думал, что всю жизнь ему и придется заниматься этим мирным и важным делом. Оно и по душе было, жаловаться нечего. Только вот год назад попался волкостровский обоз новгородскому ополчению, шагавшему на битву с москвитями. Добры молодцы новгородские дядю Серегу зарубили, рыбу сожрали, а Вольге дали меч и объяснили: либо, мол, с нами, либо на осину. Выбирать, в общем, не пришлось. Вольга затаил обиду. Тогда он еще и не примеривал, под кем быть лучше: под Москвой или под Новгородом? Казалось, везде одинаково. Но уж коли обидели, то и все большое дело обидчиков стало не по сердцу. На Шелони Вольга утек, переплыл реку и предался москвитам.

Москвиты в полон не брали, перебежчиков убивали прямо на берегу. Туда бы и Вольге дорога, но в тот миг, как дрался он с ратниками, случился рядом князь Пестрый. Князь велел подвести к себе новгородца. Милосердием он не грешил и Вольгу не помиловал бы, если бы Вольга как чудом один в один не походил лицом и статью на тогдашнего княжеского рынду. Только тот парень — Илья — был черноволос, а Вольга рус. Князю Пестрому забавным показалось иметь двух одинаковых рынд — одного черного, другого белого. Это и спасло Вольгу. Правда, на Шелони Ильюху убили, и ничего из княжьей затеи не вышло. Зато Вольга остался жить при Пестром.

Вольга вышел к большому костру, от которого далеко разносились крики и хохот. Здесь, видать, бражничал какой-то пермский князец с дружиной. Вокруг были пермяки, языка которых Вольга не знал. Но ему стало интересно: каковы они, истинные, исконные? Вольга бросил на траву зипун и уселся, скрестив ноги по-татарски. Хмельной воин слева покосился на него, что-то хрипло крикнул, и по цепочке сидящих из рук в руки поплыл для Вольги ковш с брагой. Вольга принял его, поклонился и пригубил.

Пермский князец — высокого роста, нарочито одетый в рванье поверх

дорогой, искрящейся от костра кольчуги, с золотой серьгой в ухе, беззубый и желтоглазый, — что-то увлеченно рассказывал дружинникам, почти кричал, яростно махал кулаком. Вольга едва-едва догадывался, что речь князя идет о его бранных подвигах. На Онеге жило много лопарей и веси, чей язык походил на пермский; Вольга худо-бедно умел с ними объясняться.

Вдруг дружинники начали оглядываться. Князь оборвал рассказ. В темноте послышалась мягкая поступь коней, звякнули чамбуры, кто-то спрыгивал с седел. В круг света вошли трое: высокий, гривастый русский мужик; другой немного пониже, темноволосый, с внимательными, строгими глазами; и третий — низенький, насупленный, с круглой, как котел, головою, по локоть без правой руки. Пришедшие поклонились. Князец кивнул, дружинники загомонили.

— Ну как, князь, не страшно тебе за частоколами Искора? — насмешливо спросил князец по-русски.

— И там, Качаим, страшно, — не поддерживая веселья, ответил темноволосый и присел на полено.

«Это, видать, и есть сам Михаил Пермский!» — понял Вольга, жадно вглядываясь в князя. Не было в нем ничего особенного, обычное русское лицо, усталое, с тенью под глазами, с резкой морщиной поперек лба, разве что очерчено это лицо было как-то жестко.

— Как москвиты? — спросил князь Михаил.

— Москвиты? — Качаим засмеялся. — Вокруг стана своего канавы роют против нашей конницы.

— А ты б не бражничал, а сводил всадников те канавы посмотреть, чтобы сдуру не сунуться.

— Моим коням те канавы на полскока. Мои кони в парме выросли, жеребятами через буреломы прыгали и сейчас вековую лесину берут.

— Неисправим ты, — Михаил покачал головой. — Велика ли сила у москвитов?

Качаим сказал что-то по-пермски, и головастый коротышка, присевший рядом с Михаилом, кратко перевел:

— Пол-три десятка сотен, и две из них конные.

— У меня людей больше, чем у москвитов, — весело сказал Качаим. — А коней вдвое больше! Не бойся, князь! Выходи из-за стен в поле, становись с нами, вместе гостей прогоним. Мои лазутчики своими глазами видели, что москвиты уже сами себе яму копают. Они свою погибель чувствуют, а ты все никак осмелеть не можешь. Или в силу мою не веришь? — Качаим глянул на свою хмельную дружину, и она разом

завопила, завывала от возмущения.

Какой-то пьяненький пермячок вылез из рядов и, ласково улыбаясь, сел перед Михаилом на корточки.

— Коча-князь поражения не знал! Он и силой, и духом могуч! Знаешь, как он княжью тамгу добыл?

Михаил мимо пермячка смотрел на Кочу. Тот развалился, довольно оглядываясь вокруг, важно протянул руку, в которую тотчас вложили ковш.

— Видал ли ты в Искоре на Княжьем валу каменную колоду? Запомни ее и внукам своим покажи! — рассказывал пьяненький пермячок. — Великий подвиг Коча совершил! Был он вторым сыном у своего отца, и отец тамгу хотел старшему отдать. А Коча закричал: «Давай испытание тягой!» Страшное то испытание! Но старший брат не испугался. Подняли Коча с братом руки над головой, и десять самых сильных воинов положили им на руки эту колоду. Кто первым уронит, тот и проиграл. Держат княжичи колоду! Ноги и руки у них затряслись. Коча младше был, да упрямее. У него лицо стало как у мертвеца, кровь из-под ногтей потекла, а он держал. Не осилил старший брат тяги, ослабил руки. Упала колода и голову ему на куски раздавила. Под этой колодой его и похоронили, а Коча князем стал! Вот так! Михаил тяжело вздохнул.

— Воля твоя, князь Качаим, — сказал он. — Не могу я себя судьей ставить. Решил в поле биться с москвитями — что ж, это твоя судьба. А я останусь за стенами Искора. Если ты не сронишь тягу, одолеешь — великая слава тебе, сам тебе поклонюсь. Но если беда подступит — не губи себя и людей, отступай в Искор за валы и частоколы. Я ворота открытыми держать буду.

— Не понадобится, — уверенно сказал Качаим.

— Князь, позволь мне с отцом остаться, — негромко, не поднимая глаз, попросил большеголовый однорукий пермяк.

— Нет! — Качаим поднял ладонь над головой. — Я тебе велел быть с ним — не перечь мне!

Большеголовый молча поник.

— Я тебе, Коча, не данник, а потому по сердцу скажу, — вдруг произнес гривастый мужик, пришедший с князем Михаилом. — Не одолеть тебе москвитя. Чем больше пыжишься, тем больше навоняешь.

Князь Коча, выкатив глаза, сорвал с себя лисью шапку, швырнул ее в костер и показал мужику увесистый кулачище.

— Завтра после боя, Калын, приходи ко мне на кулаках биться! Хоть один зуб домой принесешь — я тебе сто соболей плачу!

Дружина и гривастый захохотали — каждый над своим. Князь Михаил

тем временем наклонился к молодому, но уже совсем поседевшему пермяку, который лежал на шкуре рядом с Вольгой и не смеялся вместе со всеми.

— Мичкин, пошли ко мне на гору, — негромко позвал князь. — Здесь ты сгибнешь зря, а со мной ты сможешь отомстить...

Рука пермяка, державшая глиняную чашку, сжалась. Чашка разломилась, брага пролилась.

— Вот жизнь моя, — бросая обломки, сказал Мичкин. — Я не хочу мстить. Я хочу умереть. Только нет мне смерти, боги меня отвергли. Потому что сам я выжил, а жену и сына защитить не сумел...

Где-то позади опять послышался шум, разноголосый гомон, звон, вопли, бубенцы. Дружинники Качаима повернули головы. Гривастый мужик, которого Коча вызвал на кулачный бой, тихонько произнес — Вольга его услышал — на ухо князю:

— Пойдем, Михаил, отсюда. Шаман мухоморовку заварил. Они сейчас пить будут.

— Почто такую дрянь глотать?

— Так у них еще от мурманов-берсерков ведется. Мухоморовка в бою слепит и бесит. Пойдем, нечего на такую пакость смотреть. — Мужик вдруг взглянул на Вольгу: — И ты, парень, коли православный, лучше тоже уходи. Хорошего мало будет.

Пермяки, вставая, уже не обращали внимания на князя Михаила. Михаил со своими поднялся на ноги и пошел к коням. Вольга тоже встал, подцепил зипун и побрел, не зная куда.

На небе чуть светало. Тихая просинь очертила мрачную громаду Искорской горы в зубчатом воротнике елей. Вольга остановился у другого костра, почти догоревшего. Здесь никого уже не было — люди, закутавшись кто во что, спали поодаль. Вольга поворошил угли, подбросил дров и кинул на траву зипун, тоже лег. «Успею еще к Пестрому, — подумал он. — В кои веки волей подышать...»

Он лежал на боку, подперев рукой голову, шевелил в костре веткой, глядел на звезды, зернью дрожавшие над миром, и ему казалось, что он, как в отрочестве, лежит у костра рядом с дядькой Серегой, а за спиной громоздятся возы с рыбой, бродят во тьме стреноженные кони, и покой в мире, покой в душе. Вольга засыпал, засыпал — и заснул, ткнувшись щекой в кислую овчину зипуна, и так спал посреди вражеского стана, посреди короткой и ласковой северной ночи, легкой, как часовенка, и над ним горела лемеховая луковица луны.

Проснулся Вольга от пинка и вскочил, ничего не соображая. «Идут! Идут! Московиты идут!» — кричали повсюду. «А я?! — ударило Вольгу в виски. — Я же там должен быть!» Мимо бежали люди с мечами, дубинами, вилами, копьями, косами — это пермяки ополчались на пришельцев. Вольга кинулся куда-то в сторону, словно одним рывком мог очутиться среди своих, наверстать упущенное время. Но в толпе его чуть не сшибли с ног, кто-то съездил по уху, сбив шапку. Толпа увлекала Вольгу с собой, и он тоже побежал, топча брошенную одежду и погасшие кострища.

Его вынесло на гребень холма, и он увидел своих. Мглистый рассвет тускло озарил землю, перелески, реку. Осеребренные ночным заморозком травы серебрились на склонах. Широкая, лохматая, зеленая борозда съезжала в лог — это, сбивая росу, визжа и улюлюкая, промчалась пермская конница вдогонку за убегающими московитами.

«Бегут?..» — не поверил, останавливаясь, Вольга. Ратники Пестрого, так дружно и свирепо бившиеся на Шелони, теперь бегут? Рука стиснула топориче оскорда. Вольга наклонился, вырвал пук клевера и вытер лицо, словно снимал порчу.

Несколько сотен русских ратников, первыми вышедших на взгорье, молча и размеренно бежали со склона в низину, где рядами стояло войско, готовое к бою. Тусклые брони блестели в прорезях кафтанов, червлёные щиты остриями врылись в дерн. Издалека Вольга увидел лица стоявших — серые, пустые, утомленные, равнодушные. Конная лава пермяков, рассыпаясь по скату, нагоняла бегущих. Пьяные, непроспавшиеся всадники дико вопили, рвались с седел, горячили коней, вертели над головами мечи, подбрасывали копья. Пешие ополченцы, разгоняясь под уклон, ордой катились вслед коннице. Пермские дружины наваливались сверху на московитов, как гроззовые тучи. Московиты стояли. Вольга упал на колени, словно мог схорониться в короткой траве. Он отстал почти от всех и оказался среди мертвецки пьяных и помятых в суматохе, что валялись по стану и по гребню холма. Он остался у врага! Ужас этого преступления ключевым холодом окатил его душу. От страха у Вольги открылась словно еще пара глаз — он видел и вдаль, и вширь, и в грядущее. А грядущее несло пермякам гибель. Бежавшие московиты проскользнули сквозь стоявших, как вода сквозь сито, а стоявшие за десяток шагов до первых всадников вдруг подхватили щиты и тоже отшатнулись назад, открывая многозубые полосы врытого ночью частокола. Они закрывали колья собою, чтобы конница не усмиряла бега. И теперь пермяки уже не могли остановиться. Кони и люди со всего размаха нарвались на тын, и на его черте вмиг, словно волна, начал расти вал из лошадей и людей. Конский

крик, человеческие вопли выхлестнулись к небу. Кони протыкали кольями шеи, рвали бока, ломали ноги, пробивали груди, вспарывали животы. Они валились целыми косматыми кучами, а люди вылетали из седел и падали на острия, как снопы на вилы. Страшная грудa ног, хвостов, грив, человеческих голов, рук, сломанных копий шевелилась, росла и обтекала кровью, как туша, которую свежуют и тут же рубят. А сзади, не в силах остановиться или отвернуть, налетали все новые и новые конники, и их подпирала толпа бежавших ополченцев, с разбега ползших на живую гору по плечам, головам, лицам, дрожащим лошадиным животам. Их было слишком много, пермских ратников, они мешали друг другу, падали, валили своих, топтали, давили. И вдруг в этом живом и кровавом тесте, как ножи, блеснули брони московитов.

Они шагали по мертвым и по живым редкой цепью. В левой руке, наискосок прикрывая себя до колен, они держали каплевидные червленые щиты, а в правой руке — длинные мечи. Они шагали мерно и страшно, как косари, и широко рубили слева направо и справа налево — на каждый мах. Вольга видел, как от их мечей, будто звезды репейника, разлетаются срубленные руки и головы пермяков. Опушенные медные личины шоломов огненно пылали, а прорези глазниц рассекали взглядом, как лезвием. Московиты двигались будто какие-то железные птицы смерти со щитами-крыльями: прозрачно-алая кровь бежала по булату мечей и брызгами срывалась с крыжей, кровь была на медных личинах, по локоть в крови были кольчужные руки, по колено в крови были ноги, а за сапогами волоклись зацепившиеся потроха.

Пермяки рванулись обратно, сбиваясь в кучу на дне лощины, кинулись в разные стороны — налево, направо, назад. Московиты прыгали на них сверху, словно рыси. Среди алых щитов еще вертелись, отбиваясь, несколько уцелевших всадников — Вольга узнал князя Качаима, точно горящего от покрывавшей его крови, точно дымящегося от пара. Другой пермяк — молодой и уже седой, которого князь Михаил называл Мичкином, — погнал толпу ополченцев вправо, к реке, в обход вала из мертвецов. Но там, где лощина загибалась, на склоне, будто из-под земли вдруг поднялся ряд русских лучников, прятавшихся в канаве. В лощине зарябило и замельтешило от стрел, и Вольга даже издалека слышал их шелестящий, осиный, каленый и пернатый свист. Пермяки падали и вставали, укрывались кожаными щитами и все равно бежали вперед. Тогда склон будто лопнул, подбросив солнце как катящийся бондарный обруч на кочке, и что-то лопнуло в голове у Вольги — это ахнули свейские пищали. Пермяки повалились, вскочили, и опять ударили пищали. Ополченцы —

потерявшиеся и оглушенные — поползли по траве прямо под ноги бегущих навстречу московитов.

С другого краю смятенные пермяки метнулись налево, к далекому Искору, отчаянно черневшему на скале своими бесполезными частоколами. Но им наперерез летела русская конница — так, как умели только русские, когда конь стелется над землей, а всадник прямо, как полено, торчит в седле, слева под мышкой зажав копье, а правой рукой держа на отлете меч. В клин русской конницы вонзился крохотный отряд пермских всадников под началом страшного воина, волосы которого были заплетены в две косы, а на голове растопырил рога олений череп. Этот воин рубился сразу двумя клинками, а конь его танцевал, шел боком, клонился, словно лодка, наискось вынося хозяина из схватки. Строй русской конницы смешался, и в просветах между лошадьми замелькали светловолосые головы убегающих к Искорке пермяков. Вольга встрепенулся и кинулся туда же.

Скорая битва вращалась, как водоворот, и затягивала в жерло всех, кто оказался поблизости, но выбрасывала наружу тех, кто задевал ее по касательной. Так и Вольга проскочил мимо русских конников, перекатился на спине под копьем, получил голомянем меча по темени и вырвался в чистое поле, полого поднимавшееся к Искорской горе.

Он бежал в Искорку во весь дух, бросив оскорд, сорвав зипун, лишь бы уйти. Пермская крепость была теперь его единственным спасением. Он испытал на себе равнодушную и беспощадную руку московитского князя, который властно и свирепо закрутил жернов этой бойни. Московитский князь его, Вольгу, чужака-новгородца и перебежчика, не помилует. Кол и дыба — вот что ждет его у своих.

Солнце палило в затылок, в спину. Вдали кричали добываемые московитами пермяки. Гора качалась в глазах, вздох разламывал грудь. Ворота Искорки стояли открытыми. Все искорцы высыпали на валы глядеть, как с ратного поля бегут уцелевшие воины Качаимова ополчения.

Глава 23

Княжий вал

Князь Михаил так и не решил, на кого возложить вину за поджог острога. Пусть и не сказать словами этому человеку, не наказать его, пусть даже этот человек; уже мертв, все равно — кто это сделал? Михаил не мог заподозрить никого. Но ведь кто-то все-таки был... Кому-то хотелось увидеть над Чердынью московскую хоругвь! Однако тем способом, каким этот предатель добился своего, никто бы не воспользовался. Так подло не поступили бы даже извечные враги — вогулы. Вогульское зло — заклятое, колдовское, высокое и яркое, как горящая ель, — все же было более человеческим, чем зло московитов, которое незримо, неотвратимо и мерно ползет на Чердынь из-за окоема, как торфяной пожар, что душит дымом и обрушивает землю под ногами.

Острог сгорел больше чем наполовину — три башни и четыре прясла стен, осадные дворы, гридница, лабазы, часовня, княжий дом... Остался только юго-восточный угол с несколькими лабазами. Землю и валы усыпал пепел. Грудами выше роста человека лежали головы и кроваво тлели в глубине. Все дымилось; черным снегом реяла зола. Обугленные бревна косо торчали к небу, словно подземные пермские боги в негодовании воздели изломанные, кривые ручищи. В белом тумане рассвета потрясенно затихли вокруг острога и монастырь, и городище, и слободки, и сама Колва. Но даже в пожарище Чердынь оставалась грозной и страшной, точно; ее не воры подожгли, а сама она вспыхнула и пожрала себя в зареве прорвавшегося изнутри неукротимого пламени непокорства.

Утром Михаил поднялся на уцелевшую Спасскую башню, встал на обламе, что навис над воротами, которые теперь вели из пустоты в пустоту. Пепелище родного города лежало под ногами князя. Он уже видел подобное пепелище — в Усть-Выме. Но тогда оно еще не было столь родным и вызывало только страх. А теперь горе, любовь и ненависть комом заткнули горло. Этот город строили люди, бежавшие сюда от Новгорода и Москвы, от удельных усобиц — как Анфал Никитин. Они хотели жить здесь вольно. Ветер свободы высушил до звона бревна венцов и частоколов острога, серебром освятил шатры башен. Этот город его отец выбрал для столицы сына, князя Перми Великой. Здесь в погребе сидела Золотая Баба, и отсюда в страхе бежал епископ Питирим. Сюда он, князь Михаил, привез свою жену, здесь родились его дети, здесь умерли его сын и брат. Здесь он,

князь, обрел свою родину, судьбу и достоинство. Защищая этот город, зажег сполох и пропал в вечной тьме богатырь Полюд — самый дорогой Михаилу человек. А ночью чья-то подлая рука подожгла этот город — подожгла память, судьбу, душу, сердце князя.

Михаил задышался, думая о москвичах. Где-то там, за семью далями, они варились в своем котле, за что-то дрались, к чему-то стремились, но все это было далеко, было ихнее, не пермское. А вот теперь так повернулось, что в их борьбе потребовался этот козырь, и они, ничтоже сумняшеся, протянули за ним руку. Они не посмотрели ни на что, заранее смахнули людей с этой земли, как тараканов с лавки. Им было плевать, они думали о своем. Если бы Москва объяснила свои беды, если бы попросила добром — он бы согласился. Он тоже русский и молится тому же Христу. Он бы дал двойной, тройной ясак, он послал бы в помощь полк, он сам пошел бы простым ратником куда угодно и, наверное, целовал бы крест Великому князю. Но Москва не пожелала заметить, что у него, у его людей, у их земли тоже есть душа. И потому, надменно торопясь, Москва попросту сожгла его город. Он, Михаил, стерпел бы все, примирился бы со всем — но не с грязным московским сапогом, наступившим на его душу. А Чердынь была его душой. И теперь он уже не мог покориться. Он не желал покориться как князь, потому что его оскорбили как человека.

Вокруг башни, прямо в пепле, спали на земле люди: чердынские дружинники, ополченцы из слободок, ратники пермских князей, беглецы, татары — все, кто пришел сюда защищать город. Ночью, едва ударили в набат, они кинулись спасать острог. Крючьями раскатывали строения, выворачивали из земли колья, волокли припасы, топтали головни, обжигались, кричали, падали, ругались. Они так ничего и не смогли спасти, кроме этих трех уже ненужных башен на углу. А князь молча стоял в стороне. Он чувствовал, как тяжелеет его душа. Подобное чувство он испытал давным-давно, в горнице у отца в Усть-Выме, когда смотрел на лик Сорни-Най. И сейчас, на обламке Спасской башни, над родным пепелищем и спящими людьми, князь понял, что это была за тяжесть. Душа тяжелела судьбою.

Как-то давно Калина рассказывал Михаилу песню шамана Отши о душах пермяков. Каждый человек, говорил Отша, рождается с пятью душами, и каждая душа — птица. На четвертом, высшем небе Перми обитает душа-судьба, душа-лебедь. Лебедь — птица священная. Приходит время, и он примыкает к стае, клином летящей под светилами, а приходит другое время, и он покидает стаю, ищет себе пару и живет с лебедушкой. Если же лебедушка гибнет, то и лебедь складывает крылья и камнем падает

вниз с высоты. Вот это и случилось с князем, когда он полюбил свою Тиче, а ее душу унесла за синие леса жестокая Таньварпеква. Их три сестры на свете — ведьма, зовущая зло; ведьма, хранящая зло; ведьма, радующаяся злу, — Сопра, Таньварпеква и Ёма. А лебедь Михаила, оставшись без лебедушки, искал ее за вогульскими горами и туманами, но так и не нашел, только напрасно разорил Пелым. Тогда, когда в Кае князь отпускал Асыку, душа-лебедь его уже падала грудью на еловые пики. И Михаил остался без лебедя.

Отша учил, пересказывал Калина, что человеку не уйти от судьбы. Если кто теряет своего лебедя, то среди судеб на четвертом небе будет жить другая его душа-птица: душа-сокол, что роднится с богами; душа-филин, что роднится с духами; душа-ворон, что роднится с предками; или та душа, что живет среди людей, которая у каждого человека выглядит своей птицей. Когда-то Ветлан потерял своего лебедя вместе с Бисеркой, отданной Полюду, и к судьбам поднялась его страшная душа-ворон, погнав охотника в мансийскую тьму за тамгой Золотой Бабы. Когда-то Полюд потерял своего лебедя вместе с той же Бисеркой, не забывшей Ветлана, и на четвертое небо взмыла его отважная душа-сокол, сделав человека равновеликим богам и поставив его в одиночку на вершину горы, что преградила древнему злу путь на родную Чердынь. И вот теперь князь Михаил не сберег лебедя, и к звездам взлетела его душа-филин — одинокая, печальная, полуночная птица, птица мудрости и памяти, птица с глазами, что видят во тьме и слепнут на солнце.

И Михаил согласился. Это правда. Сейчас, этим летом, он обретает свою судьбу, отличную от судьбы прочих людей. Он выпал из их лебединого клина. Его судьба — это судьба земли, ее духов, теней, ее воли и ее обреченности. Как бы ни решилась нынешняя война с московитами, судьба людей, что сейчас окружают Михаила, не изменится, если, конечно, люди останутся живы. Они и после этой войны будут заниматься прежним делом, по-прежнему понесут ясак, по-прежнему будут кланяться чердынскому начальнику, не важно, какому: князю Михаилу, или князю Пестрому, или московскому посаднику, или какому-нибудь воеводе. Если московиты одолеют их, эти люди сменят шапку, но не голову. Они поднялись против московитов только из гордости, а гордость не имеет отношения к судьбе.

С Михаилом же все наоборот. Он будет или хозяином на своей земле, или рабом на чужой — если останется цел. Эта война может изломать его судьбу. Пестрый вторгся в Пермь только затем, чтобы сбить отсюда его, Михаила, как и сам Михаил когда-то ходил на Пелым ради Асыки. И

потому, что бы ни стряслось, — пусть даже родная Чердынь сожжена вором, — он, князь Михаил, будет драться. Сейчас в его судьбе сумерки, когда одинаково плохо видят и его темноперая, ночная душа-филин, и ясноглазый московский кречет.

Вечером Михаил собрал совет: что делать дальше? Его воеводами были те же, кто когда-то брал Пелым. Татарскими уланами из Ибыра и Афкуля командовал Исур, а чердынской дружиной — Бурмот. Над ополчением пермяков Михаил поставил Зыряна; Калина же взял русских мужиков-промышленников, не желавших вновь попасть в карман Москвы, из которого они когда-то сбежали. Отдельным отрядом Михаил собрал тех пермяков, кто уже принял обиду от пришельцев и был изгнан из родного дома — жителей Уроса, Бондюга, Пянтега. Им князь назначил воеводой уросского князя Мичкина.

Совет был долгим. Сдаваться Пестрому или разбежаться по лесам воеводы и не помышляли. Исур звал выйти на Русский вож и встретить Пестрого на дороге из Чердыни в Бондюг, но его не поддержали: вряд ли в чистом поле пермяки одолеют. Калина и Зырян предлагали перейти в какое-нибудь городище, но в какое? Языческая Чердынь ветха. Покчинский князь Сойгат умолял не трогать его вотчины. Близлежащая крепостишка Крымкор была совсем крошечной. В Пянтеге, наверное, уже стояли москвиты. Калина предложил Редикор — крепкий город, но редикорский князь Кейга приходился зятем премудрому Пемдану Пянтежскому и во всем следовал его советам, а Пемдан не хотел битвы. Гнездо иньвенских крепостей — Кудымкар, Дойкар, Майкор и лента прикамских крепостей — Пыскор, Канкор, Мечкор — уже были отрезаны москвитами. «Да хоть в Акчим уйдем!» — разгорячившись, крикнул Зырян. Но и Акчим не годился. Он притулился на окраине пермской земли; перекрыв Вишеру, москвиты его попросту бы закупорили, не пропуская подкреплений, а сами бы сосали силы со всей Перми; да и в случае поражения куда бежать из Акчима? К вогулам за Камень? Наконец тугодум Бурмот, раскачавшись, сказал: «Князь, надо в Искор».

И как-то сразу всем стало ясно, что иного выхода и быть не может. Куда ж еще, кроме Искора? Неукротимый Качаим Искорский, отец Бурмота, все одно будет драться с москвитами, чего бы там про себя не решали князь Михаил и все прочие пермские князья. А Искор — наверное, первая крепость в Перми, о нее и варяги зубы ломали. Стоит на высокой горе, не окружишь. Значит, просочится подмога, когда начнется осада. Хоть Искор тоже почти окраина пермских земель, но все же за ним еще Колва,

свободная от московитов, а это — Ныроб, Тулпан, Дий, куда князь отослал жену и детей. И если уж совсем станет худо, можно уйти по древней дороге ушкуйников через Чусовское озеро и Бухонин волок в Пермь Старую, которая коли не защитит, так укроет. Конечно, Искор.

К ночи князь приказал начать сборы. На рассвете войско вразброд вышло из Чердыни по Ныробскому тракту. Люди уходили мрачные, ожесточенные. Князь в последний раз оглянулся на три уцелевшие башенки острога, которые, словно сестры, печально чернели в розовой заре за пепелищем.

На следующий рассвет Михаил стоял уже под Искором. На горе дыбились частоколы, а под горой, среди поля, шумел стан Качаима.

Качаим встретил Михаила надменно.

— Если ты хочешь, можешь спрятаться в крепости, — заявил он. — Мне она не нужна. Сидя за стенами, битвы не выиграешь. Я буду встречать московитов здесь.

— Тебе не устоять против них, — возразил Михаил. — Только людей зря погубишь.

— За свою землю не гибнут зря. А людей у меня вдвое или втрое больше, чем московитов. Я растопчу их одной конницей.

— Я думаю, Коча, ты не прав. Давай лучше вместе укроемся в стенах крепости.

— Тебе не напаялить на меня свой страх, как дырявую ягу. Иди, запирайся один. Ты трус. Ты был хорошим князем, пока не было войны. Но сейчас иначе. Брось свою ламию и женись на Пемдане, который тоже думает, что словом может отразить меч. Когда я прогоню московитов, я больше не буду платить тебе ясак.

Лицо Бурмота сморщилось. Ему было стыдно перед отцом за Михаила. Качаим свистнул, выражая презрение и к Михаилу, и к Бурмоту, и поехал прочь. Михаил как оплеванный повернул коня к пустому городищу.

— Ну, старый кочет!.. — с восхищением хмыкнул вслед Качаиму Калина.

Исур и Мичкин остались в поле. Зырян долго колебался, но все-таки повернул в городище. С Михаилом в ворота пустого Искора вошло меньше половины тех людей, что вышли из Чердыни. Михаил угрюмо молчал. Он не сомневался в своей правоте, но здесь, в Искоре, он не был хозяином.

Искор и вправду был крепостью неприступной. Гора, на которой он стоял, с трех сторон обрывалась в леса скалистыми кручами. Единственный доступный подъем на вершину преграждали высокие валы с частоколами. Их колья были тесаны из огромных свилеватых бревен. На

двух нижних валах снаружи они были исклеваны стрелами и посечены — это четверть века назад варяги пытались взять Искор приступом. Изнутри частоколы были подперты валунными насыпями, на которых могли стоять лучники. Расстояние между валами было небольшим — шагов двадцать. Ворота были поставлены так, что если враг прорвется через одни, до других ему придется бежать вдоль всей стены под стрелами и копьями верхнего заплота. Последний вал, называемый Княжьим, поверху подковой охватывал темя горы, где и располагалось городище. Здесь у ворот раскорячилась сторожевая вышка. Крепкие, прочно врытые керку были накрыты толстыми бревенчатыми накатами, на которых уже выросли шапки мха и травы, а стены их были обложены камнями. В скальных кручах тыла имелись два прохода вниз, в леса. Широкое ущелье, перегороженное пряслом ворот, издавна звалось Большой Улицей. Был еще и тайный путь: узенькое, едва протиснешься, неприметное ущельице, заслоненное утесом, — Узкая Улочка.

Для людей князя Михаила городище оказалось тесновато. Кое-кому пришлось ставить шалаши между валов. Впрочем, это все равно ненадолго. Пестрый не будет томить защитников Искора долгой осадой. Он сразу пойдет на приступ. Промедление для него — гибель.

Михаил с Калиной внимательно осмотрели городище. Повсюду торчали старые, дикого вида идолы разных воинских богов. Многих из них Михаил и не знал. Здесь был Чоба — плясун смерти; Йолькирь и Мигирь — боги черных и белых боевых коней; Парасанк — князь небесных воинов великанов капаев; Кильдак — пожиратель трупов; Пэрана — бог боли; дева-воительница Сула.

— Натыкали богов-меченосцев, — хмыкнул Калина, — а охранителей ни одного нет.

Качаим — задиристый, как и все искорцы, — поклонялся тем богам, которые вели в бой. Отсиживаться за стенами было противно его духу. Поэтому Искор, хоть и грозный, порядком обветшал, и повсюду чуялся дух запустения. Серые бревна частокола понизу обметала зеленая гниль, а валунные насыпи замшели. Ворота покосились. Камень, который когда-то на спор поднимал Коча, врос в землю. В керку было захлавлено, пахло плесенью, висела паутина. Вода в бочках протухла. Само городище заросло травой. Чтобы люди не расслаблялись бездельем, Михаил приказал чистить и чинить городище. А внизу, на поле, дразня и искушая, несколько дней подряд в лагере самоуверенного Кочи кипел пир, горели костры, булькала в пузырях брага, жарилось мясо; пели, плясали, кричали и хвастались, звеня мечами и кольчугами, ратники.

На четвертый день после прихода Михаила появились москвиты. Не приближаясь к Искору, они заняли перелесок и встали станом. Удалые молодцы Качаима тотчас отправились их дразнить. Москвиты не отвечали. Воины Кочи вернулись словно бы уже с победой, и веселье разгорелось с новой силой. В сравнении с беспорядочным, пьяным, шумным станом пермяков русский стан был особенно хмур. Упрямая, тихая работа москвитов в перелеске казалась мышшиной возней.

Еще через три дня лазутчики донесли, что прибыл сам князь Пестрый. Михаил понял, что наутро надо ждать боя. Ночью он поехал к Качаиму, и Качаим пренебрежительно отмахнулся от него. Михаилу не осталось ничего иного, кроме как вернуться в городище без всякого успеха.

На рассвете его растолкал Бурмот.

— Москвиты пошли, — сказал он.

Городище уже проснулось, переполошенное известием. Люди бежали на валы к частоколам, на ходу опоясываясь и одергивая кольчуги. Михаил и Бурмот направились к вышке. На дозорной площадке уже стояли Калина и Зырян, вглядываясь в туман над лощинами. Ветер с Колвы потихоньку разволакивал мглу над полем боя.

Михаил видел, как ринулась вперед, вслед коннице, рать Качаима, и, как все, думал, что сейчас уже она сомнет, растопчет редкие цепочки москвитов, темневшие вдоль склона. А потом рать, как волна на запруде, напоролась на колья, и Михаил понял, что был прав, когда отговаривал Кочу от нападения, хотя пока до разгрома было еще далеко. Но князю вдруг захотелось закрыть глаза, уйти — пусть потом кто-нибудь скажет ему о гибели ополчения, лишь бы не видеть все это своими глазами. А в лощине закипела сеча; красные муравьи с искорками в лапках поползли по черным грудам мертвецов. Рука Бурмота сжалась на рукояти меча — там, внизу, попал в ловушку его отец.

— Ведь не соберутся же строем, ироды! Врассыпную кинутся!.. — крикнул Калина и с досады ударил кулаком по жердине, ограждающей площадку вышки.

Пермяки кинулись врассыпную, кто куда. Михаил увидел, что кто-то там сумел собрать небольшой отряд и повел его к реке — и там вдруг что-то странно и страшно треснуло, гулко раскатилось над землей. Другая часть пермяков кинулась к городищу. Пока они еще бежали по лощине, на валах Искора поднялся крик. Ратники Михаила орали, махая копьями с надетыми на острия шапками, руками показывали за лесок, откуда наперерез бегущим скакала русская конница. Но бегущие не могли услышать искорцев, и москвиты, смяв передних, отсекали остальных от

горы. В лощине уже вовсю шла резня, и беглецы оказались зажаты с двух сторон.

Никто не смог понять откуда, но откуда-то вдруг по гребню холма понеслись на московитов пермские всадники. Михаил узнал уланов Исура, кое-кого из конницы Качаима и совсем неожиданно — вогульских вершников на маленьких косматых лошаденках. Два конных отряда сшиблись, перемешиваясь, и сквозь рубку, как рыбы сквозь бредень, потекли из страшной лощины уцелевшие ополченцы, побежали по просторному зеленому полю к частоколам Искора.

— Откройте ворота!.. — закричал с вышки Михаил. Ворота давно уже отволокли, но прежде, чем беглецы достигли склона Искорской горы, навстречу им вниз помчались ратники Михаила, которые за частоколами чуть не обезумели при виде гибели родичей. А битва уже заканчивалась: испугнутыми птицами взлетали вопли тех, кто не сдался и погибал с мечом; ужами расползались по траве стоны тех, кого московиты добивали лежащими. Остатки Исуровой конницы уносились к далекому клину березняка, а московиты поворачивали коней на Искор. Забежавшие в поле ратники Михаила останавливались, ошарашенно глядя на врага, поворачивались и еще быстрее мчались обратно.

Михаил почувствовал, что кулаки его все еще сжаты, будто он держит меч, а горло перехвачено судорогой, но душа уже обвисла в теле, как покойник. Князь провел взглядом по лицам Калины, Зыряна, Бурмота, опустил глаза и полез с вышки вниз.

Он встал на Княжьем валу у ворот и глядел, как мимо его людей, будто нарочно выстроившихся вдоль проходов, идут уцелевшие ополченцы Кочи — хрипло дыша открытыми ртами, вытаращив глаза и ничего не видя, с лицами, облепленными мокрыми волосами. Они изнуренно опирались на окровавленные мечи и копья. Ни Кочи, ни Исура, ни Мичкина среди них не было.

Молчание, как туча, весь день угрюмо висело над Искором. Ворота стояли закрытые, дозорные торчали на валах, вглядываясь в поле. Кроме них, на поле никто больше не смотрел. Отворачиваясь, хмуря брови, опустив глаза, ратники Михаила жгли костры, варили похлебку, чистили оружие. Михаил почувствовал себя одиноким, как никогда в жизни. Калина и Зырян куда-то исчезли, а Бурмот был рядом, и Михаил плечами, шеей, затылком ощущал его тяжелую ненависть. Что он думал, Бурмот? Он думал, что Михаил знал о предстоящей победе московитов, знал — и никого не остановил. Для Бурмота Михаил был первым князем среди

пермских князей, главным. Бурмот не мог поверить, что ему кто-то будет непокорен. Если Михаил не остановил Качаима, значит, Михаилу было надо, чтобы Качаим лег на том поле. Зачем? Чтобы стать хозяином Искора. И гибели отца Бурмот не хотел прощать Михаилу.

А на поле московиты ворошили трупы. Сложив щиты и мечи, они собирали песцовые шапки, золотые браслеты, вытряхивали мертвецов из кольчуг. Они делали это сноровисто, ловко, и было понятно, что такая работа им не в новинку. Не впервой за ними оставалось поле, устланное порубленными врагами. А потом на копьях и корзнах они потащили на стан своих раненых, поволокли убитых, и поле опустело. Палило солнце, стрекотали кузнечики, распрямлялась трава. Птицы пугливо прыгали по лежавшим телам. Печально торчали из земли сломанные мечи и копья, стрекоты садились на оперенные стрелы, ярко блестели раздавленные конскими копытами шлемы.

Тихо, как вода, на поле появились женщины Искора, прятавшиеся в лесу, и вскоре до городища донеслись их вопли, причитания, стоны. Как раненые звери, женщины ползали среди покойников, отыскивая своих. А вдалеке, едва различимые с горы, скрюченные старухи, дряхлые старики и угрюмые отроки кольями и мотыгами молча долбили землю, выгребая общую могилу.

К вечеру в Искор по Широкой Улице стали подниматься последние из оставшихся в живых Качаимовы ополченцы. Они чудом ускользнули от московитских мечей, отлежались под трупами, отсиделись в бочажинах или в Колве, добежали до роши и укрылись в кустах. Наконец вздох изумления прошелестел по городищу: люди оборачивались на ворота Широкой Улицы, и Михаил, сидевший у костра, тяжело встал и обошел угол керку, чтобы увидеть самому — это возвращались всадники Исура.

Исур ехал первым. Лошадь его прихрамывала. На Исуре была блистающая от заката русская чешуя и русский шелом. На коленях он вез отрубленную голову. Возле Михаила Исур остановился, не торопясь спешился и бросил голову князю под ноги.

— Сотник московитов, — улыбнувшись, сказал он.

Но Михаил не смотрел на него, не видел страшной головы, которая подкатилась к нему и окровавленными губами словно бы целовала сапог. В чередѣ всадников, проезжавших мимо, Михаил вдруг увидел человека с бледным, неподвижным лицом, с длинными сивыми волосами, заплетенными в две косы, с рогатым оленьим черепом на голове. Он видел этого человека на крыльце отцова дома в Усть-Выме, когда толпа вогулов ревела: «Сорни-Най!..» — и видел в Пельме, когда этот человек летел на

него, нацелив копье; видел в яме Чердынского острога и в кайской звездной ночи...

— Асыка, — ухмыльнувшись, подтвердил Исур.

Асыка чуть оглянулся на князя, прищурившись, и медленно кивнул. И Нята под ним, словно узнав Михаила, скосил веселый и злой глаз, стал кланяться косматой башкой и тихонько заржал.

Асыка проехал мимо, и теперь Михаил увидел следовавшего за ним юного и стройного вогульского воина. Воин ссутулился, устав, опустил голову, плотно сжал губы, прикрыл глаза. Большой шлем закрывал лоб и щеки, но Михаил угадал — это была Тиче.

Он смотрел ей вслед и не мог ни шагнуть за ней, ни окликнуть. Он внезапно почувствовал, что у него уже нет на нее права. Он еще не поднимал меча, но уже проиграл все битвы. Она — ламия, душа земли, а он — почти никто, князь без княжества, пермяк без Чердыни.

Солнце зависло в небе, как пузырь на луже, и никак не хотело опускаться. Михаил сидел в княжеском керку на совете. Рядом были Калина, Зырян, Бурмот, Исур. Они говорили что-то, а Михаил не слышал, глядя на дыру дымохода в кровле и тоскливо ожидая, когда же сквозь нее стрельнет искоркой первая звезда. Догорающий очаг углями освещал бревенчатые стены, низкий потолок, заплесневевшие бревна наката и белые нитки корней, свисающие из стыков. Перо Тайменя, волшебное светило, блеснуло в дыре дымохода, как в проруби. Михаил поднялся, никого не видя, и, ничего не объясняя, пошел на воздух.

Сделав по двору несколько шагов, князь споткнулся. В траве валялась всеми забытая голова русского сотника. В ее глазах отражалась луна. Страшные, искаженные губы, казалось, улыбались Михаилу. Князь, не задумываясь, пнул ее в крапиву под стеной керку, словно треснувший горшок.

Городище, заросшее молодой травой, с низкими землянками, с идолами, частоколами, угасающими кострами, все сплошь устланное спящими людьми, походило на большой плот, что тихо плывет по звездной реке. Теплая полночь звенела. Князь медленно пошел вперед, разглядывая встречных.

Тиче и Асыку он нашел у Княжьего вала. Асыка сидел, привалившись спиной к камню насыпи. В зубах он держал длинную тростину, всаженную в коровий рог, где тлели угольки сара — вогульского курения. Глаза у Асыки были тусклые, оловянные. Из ноздрей медленно выползал дымок. Вогул ничего не видел и не слышал, отрешившись от земного мира. Тиче

спала рядом на кошме. Она так и не сняла воинского снаряжения. Михаил опустил на корточки, подождал и осторожно стащил с головы Тиче шлем. Черные, густые волосы рассыпались по плечам, по лицу, по ровдуге кошмы. Михаил коснулся кончиком пальца виска Тиче, ощутил теплое трепетание жизни. Он поднял глаза — хумляльт молча смотрел на него. Михаил встал и пошел на вал.

Он взялся руками за зубцы частокола и огляделся. Отсюда была видна вся долина Колвы — мягкие волны холмов и лугов, застеленные прозрачным туманом, темное лезвие реки, леса дальнего берега, за которыми на окоеме вставало зеленоватое свечение. В небе над Искоркой сияли сотни, тысячи, сотни тысяч звездного воинства, словно собравшаяся сюда рать. Луна колесом катилась в дыму Млечного Пути — Звездной Ворги, древнего Пути Птиц пермяков. Пахло речной свежестью, молодой травой, остывающими углями, прелым деревом, пармой. Сзади захлопали крылья, и, оглянувшись, Михаил увидел, что на макушку ближнего идола сел филин, осветив Михаила желтым кошачьим взглядом.

— По мою душу прилетел, побратим? — тихо спросил Михаил.

«Судьба-сова, судьба-сова, — думал он. — Полночь и одиночество... Сегодня от меня ушел Бурмот. У меня не было никого надежнее Бурмота, и вот он меня оставил... Может, он и прав? Если я не смог остановить побоище, остановить Качаима, то я должен был идти в бой вместе с ним — и погибнуть?.. Нет, не то страшно, что погибнуть... Они этого не знают, не видят... Они собираются драться дальше, а я... Я проиграл уже тогда, когда оставил Чердынь. Я был побит не москвитами, а той подлой рукой вора, что зажгла огонь в Тайницкой башне. Я пришел сюда, в Искор, уже побежденным, а им кажется, что все еще впереди, что ничего еще не решено... В моей судьбе уже не важно, отбросим завтра мы москвитов или они нас все же одолеют. Моя судьба уже завела меня за этот поворот, а жизнь за ней еще не поспевает. Ничего, догонит...»

Казалось бы, откуда тоска, откуда печаль, откуда эта уверенность в завтрашней неудаче? Москвиты сильны, но и пермяки сильны тоже. Он, князь, хоть и с небольшим, но с верным и послушным войском в крепости, доныне неприступной. Его люди отважны и не желают сдаваться. Любой, кто посмотрит на все это со стороны, скажет: еще только половина наполовину, что москвиты победят. Почему же он, князь, в этом уверен? Потому что оставил Чердынь? Потому что жена его, ламия, вновь сбежала к хумляльту, и значит, воля Каменных гор уже не с ним? Смешно, нелепо...

И все-таки завтра москвиты победят, потому что на их стороне судьба. Но если судьба уже предрешена, зачем же она завела его, князя

Михаила, сюда, на Искорскую гору? Зачем? Для чего? Что еще ей нужно от князя? Да, он согласен идти в потоке своей судьбы. Он не дурак, чтобы переть против течения; не трус, чтобы выбираться на берег; не глупец, чтобы искать другую судьбу; не безумец, чтобы торопить ее бег; не малодушный, чтобы влачиться безвольно... Он хочет именно идти одним ходом — осмысленно, твердо, до конца. «Чего же тебе, сова, от меня надо?»

Михаил знал, чего надо. Пусть завтрашний день ничего не изменит в его судьбе, но зато он покажет, каков князь как человек. Остается ли он самим собой. И у него только одно оружие против всех бед, обмана и зла, только одно доказательство существования своей души и себя самого на земле — достоинство. Он — человек, живущий в мире людей по людским законам, а людской мир — это толчея волн над глубинным и ровным течением судеб. Пусть оно видит, что князь принимает его не как раб, не как влюбленный, не как мятежник и вор. Князь принимает его с достоинством. Он не потерял головы вчера ночью и не пошел на московитов с Кочей. Он и завтра не смалодушествует и не опустит перед Пестрым хоругви. Пусть он знает свою судьбу, и пусть судьбе безразлично, каким он пройдет свой путь, — ему это не безразлично. Он пройдет путь с достоинством. Грядущий день будет самым важным в его жизни. И прошлому, и будущему он покажет подлинного князя Михаила Великопермского. Те люди, что сей час спят за частоколами городища, ждут битвы, и он будет драться вместе с ними. Но они спят, потому что принимают судьбу душой; их судьбы — лебеди. А он стоит в полночи на Княжьем валу, потому что его судьба — сова, и он принимает ее разумом.

«Сколько огней вокруг, — думал Михаил. — Луна, звезды и Млечный Путь, что отражается в Колве, зарево заката у горизонта, угли очагов в городище, костры московитов в дальнем перелеске и огнища погребальных тризн на берегу реки; а в поле, где полегло войско, — светляки, светляки... Я могу все, что захочу: бежать отсюда в одиночку или увести людей; сдаться московитам с головой или замириться торгом, — но я выбираю бой. Так всегда. Говорят, судьба не дает выбора. Это неправда. Судьба дает выбор. Судьба дает выбор, но настоящий выбор только один. Я принимаю судьбу — я принимаю завтрашнее поражение. Но я принимаю судьбу с достоинством, поэтому завтра я принимаю бой».

Михаил долго стоял на Княжьем валу, а потом спустился, вернулся в свой керку, где уже спали Бурмот, Калина и Зырян, тоже повалился на лежанку и тотчас глубоко, без сновидений, заснул.

Разбудили его трели рожечников, которые играли тревогу. Из неконопаченых щелей в стенах тянулись полосы бледного света. Снаружи доносились крики, топот, лязг. Бурмота и Зыряна в керку не было.

— Вставай, князь, — весело позвал Калина, сидя натягивавший сапог. — Княжество проспишь.

Михаил молча и тяжело поднялся. В висках ломило. Он вышел во дворик. Воины с оружием бежали к воротам. На валах лучники гнули луки, насаживая тетиву. Черные кострища уже не дымили: пермяки предпочитали идти в бой голодными. Светлое, умытое солнце едва приподнялось над горизонтом, сзади осветив городище.

Появился с корчажкой Калина. Михаил ополоснулся, отнял корчагу, стал пить. Калина опять нырнул в керку и вернулся с княжеским колонтарем и перевязью в руках. На его кудлатой голове криво сидел боевой шлем князя. Михаил напялил тяжелый, как мокрая шуба, доспех, перепоясался и снял с Калины шлем.

— Не по твоей башке роблен, — мрачно сказал он.

Шлем был мал, кожа подкладки ссохлась. Михаил, морщась, пристраивал его на темени, а потом сдернул и швырнул в крапиву.

— Похоже, и не по твоей, — ухмыльнулся Калина.

Михаил угрюмо поглядел на него — Калина ответил прямым, понимающим взглядом. Тоска на душе у князя стала еще острее. Калина подал древко и свернутую хоругвь. Больше не пререкаясь, они пошагали на вал.

Здесь князь развернул хоругвь, насадил ее на древко и вбил древко в землю. Он это делал буднично, спокойно, словно сажал деревце. Хоругвь тяжело плеснулась под свежим ветром, и над Искором засиял серебряный медведь на алом поле, что нес на спине книгу и крест. Русские ратники вокруг снимали шапки и крестились, пермяки поклонились медведю.

— Ну, бывай, князь. — Калина хлопнул Михаила по плечу и сбежал вниз, направляясь к своим.

Щурясь от ветра с Колвы, Михаил разглядывал долину. Вдоль частоколов выстроились все защитники и так же, как князь, смотрели вперед, на подножие горы. Там, в тени, рядами брусничин поднимались рати московитов, одетых в красные кафтаны поверх кольчуг и прикрывшихся червлеными щитами. Как солнечные блики на волнах, светлели среди них обнаженные брони сотников.

Михаил сверху рассматривал укрепления Искора. У самого нижнего частокола на валу мелькал Бурмот, что-то приказывал, мечом махал в сторону московитов. На коротком кольчужном рукаве его руки,

отрубленной в Пелыме, болталась цепь с железным шаром, усаженным гвоздями. Это оружие Бурмот придумал себе сам, велел отковать, подвесить к рукаву и научился действовать им ловко, страшно, беспощадно. «Бурмот ушел от меня на самый край, на самый дальний рубеж, — подумал Михаил. — Там опаснее всего. Там верная смерть. Конечно, он хочет погибнуть. Погиб его отец, и князь его предал...»

Второй частокол оборонял Исур, и Михаил сразу нашел его, торчавшего среди пеших на коне. Третий вал взял на себя Зырян. Вон он — сидит на камне, мечом ковыряет землю, ждет. Тот вал, что был перед ним, Михаил отдал Калине. Кудлатой, седой головы храмодела нигде не виднелось — наверное, Калина надел шлем и стал неразличим среди прочих шишаков, ерихонок, кольчужных назатыльников, бармиц и плеч.

Княжий вал — пятый — Михаил оставил за собой. Он окинул взглядом частую цепочку своих воинов. Где-то среди них Асыка, который должен был отсиживаться за своими горами, и Тиче, которая обещала ждать его с детьми в Дие. Михаил прогнал мысли о ламии и хумляльте, перевел взгляд на московитов. Тех было тысячи полторы, может, и побольше. У него же имелось сотен пять воинов — по сотне на вал. Эх, Коча-Качаим, зачем же ты скормил войско Пестрому, не поверив предостерегающим словам?.. И вон там, вдали, за рядами московитов, всадники с хоругвями, в расшитых корзнях, с длинными яловцами на высоких пиках, с кручеными яблоками на маленьких круглых щитах, с блистающими зеркалами на груди — скорее всего, это и есть князь Пестрый со свитой.

Раздался тонкий крик Бурмота, и туча пермских стрел взмыла из-за частокола, поднявшись на высоту Княжьего вала. И тотчас такая же туча взлетела над московитами. Небо замельтешило — стрелы посыпались вниз. Дружно взвыли люди, и боевой рев полосами раскатился по валам — и в него вклинилось яростное «А-а-а!..» московитов. Московские стрелы дождем падали на Искор, перелетая даже Михайлову хоругвь, и ближайший к князю воин покосился, чуть приподняв щит: не укрыть ли от беды? Московиты внизу побежали на приступ, держа щиты над головами. У подножия горы гулко бабахнуло. Там на козлах лежала длинная железная труба, из жерла которой струился дымок. Ворота в нижнем частоколе осели на треснувших деревянных петлях и рухнули плашмя, будто расколдованные. Красные кафтаны тотчас рванулись в проход.

На пространстве между двумя частоколами забушевала рукопашная. Московиты все бежали и бежали вверх по склону — словно кто-то забрызгал склон кровью. Пермяки, ошеломленные внезапным взятием

ворот, неготовые драться на валу и под стеной, все же успели развернуться навстречу врагу. Но московитов было больше, гораздо больше, и число их все увеличивалось, будто рати их были бесконечными, и они валили воинов Бурмота, как буря валит сухостой. А лучники на валу Исура не могли даже поддержать своих: московиты скосили бурмотовых лучников, заняли их места, били стрелой в любую голову, что мелькнет за зубцами, не давали разобраться в кутерьме — где свои, где чужие, — и сразу же с десятка сажен насквозь прошибали и шлемы, и черепа. Стук, треск, звон и вопль понизу серпом отсекли Искор от долины и луга. На других валах люди кричали и махали оружием от бессилья — но чем они могли помочь гибнущей сотне Бурмота, если были разделены гребнями тына?

Михаил видел и самого Бурмота, вертевшегося среди окруживших его московитов. Высверкивая крестом, носился его меч, и черным молотом бил шипастый кистень, проламывая щиты и головы. Бурмот не отступал — наоборот, он пер напролом, без цели, лишь бы вперед, где больше красных кафтанов, на которых кровь не была заметна. Так страшен был напор этого маленького однорукого пермяка, что московитам, наверное, показалось, что это вовсе не один человек, и они отступали, еле отмахиваясь от меча и кистеня, мешая друг другу, теснясь, путаясь и все же наконец подставляясь под разящий наповал удар — сверху или наискосок.

Но вдруг что-то случилось с Бурмотом, и он рухнул лицом вниз. Даже не добивая, а затапывая его, московиты рванулись к воротам Исурова вала. Ворота открывались.

— Стой!.. — закричал Михаил, но его не слышали даже те, кто находился рядом.

Это Исур, запертый за тыном, обезумел и велел открывать, чтобы ринуться в сечу. Что-то визжа, он вылетел на коне и врубился в самую свалку — и тотчас исчез, выбитый из седла. А московиты, смятая защитников, поперли в раззявленные ворота, и через миг черно-красная каша забурлила на Исуровом валу, под частоколом Зыряна.

Михаил увидел, что и зыряновы ратники полезли к засовам на своих воротах: в бешенстве близкого боя нестерпимо было ждать, когда дойдет очередь. Зырян кинулся на своих же, расшвыривая их голомянем меча. Но кровавая каша за частоколом уже разбухла и повалила через зубцы, как через край горшка. Пермяки уже сшибались с московитами на его валу, а Зырян еще не замечал и спиной давил створку ворот, закрывая ее обратно. Из щели лезли мечи, копья, руки. Прясло тряслось и трескалось под ударами топоров, а Зырян все выжимал его, выжимал, оскалившись, будто смеялся от обиды на бесполезность своего усилия. Петли лопнули, и

полотнище створки, как ладонь, накрыло Зыряна и вмяло в землю, и по нему, как по мосту, побежали московиты.

Как все быстро! — поразился князь Михаил. Ведь только что брусничная россыпь появилась у подножия горы, и вот уже московиты лезут через тын Калины, и видны уже их страшные, окровавленные, бородатые лица... Рубились уже прямо под его стеной; гремели и трещали под топорами ворота теперь уже Княжьего вала. Михаил потянул из ножен меч. Виски словно сковало льдом, а руки, плечи, грудь, живот, колени стали наливаться тяжелой, уверенной силой. Михаил понял, что где-то там, в душе, разгорается в нем никогда не гаснущая искорка Полюда.

А вокруг московиты перелезали зубцы и прыгали на вал. И вблизи они не казались красными — вблизи они были как пермяки: белые, черные, синие, рыжие, бурые, и под рваньем кафтанов сверкало железо броней. Московиты походили на огромных, диких, дымящихся животных, которые вылетают из леса, спасаясь от пожара. Они проносились мимо князя, словно не замечая его. На самом же деле было наоборот — все они видели человека, стоящего под хоругвью, но их пылающий разум не успевал понять то, что здесь не всякий стоящий под хоругвью — свой... А может, они даже и не знали, что Пермь Великая — православное княжество.

Городище вмиг наполнилось людьми. Дрались везде — на валу, у ворот, под идолами, на крышах керку. Стоял такой звон, будто люди не сражались, а камлали и били в бубен.

Михаил почувствовал, как полотнище хоругви качнулось над головой. Какой-то московит, совсем еще мальчишка, осторожно взялся за древко рукой, робко посмотрев на Михаила — точно просил разрешения. Михаил с силой махнул мечом и разом отсек руку, которая мгновение повисела на древке, а потом разжала пальцы и шлепнулась. Московит испуганно отскочил, развернулся и, тихо воя, бросился прочь, беспорядочно размахивая бердышом и окровавленным обрубком.

«Вот мое место — под хоругвью!» — понял князь. Он бросил меч, подхватил хоругвь и побежал к вышке над Княжьим валом. Пусть все видят пермского медведя над гибнущей пермской крепостью.

По лесенке он забрался на площадку, где лежал убитый лучник. В спине у него, как у рыбы, торчал целый плавник из оперенных стрел. Михаил загнал кованую пяду древка в щель помоста, укрепил древко в углу ограды и для верности привалил мертвецом. Хоругвь тяжело развернулась над Искором, и серебряный медведь словно бы чуть поклонился последним его защитникам.

А Искор погибал. Князь взглядом разом охватил всю картину

приступа: брусничные брызги у подножия горы, длинные черно-красные груды мертвых тел между частоколами, сумятицу яростной и безнадежной сечи в городище под вышкой. Здесь люди дрались так, словно бы они вовсе не защищали себя и свою землю, словно бы им вовсе не нужна была победа — дрались так, будто у них, как кровь горлом, хлынула наружу душа, и только в битве они могли жить, и если никто из врагов не сможет одолеть, они будут сражаться вечно.

Князь стянул с погибшего лучника перевязь с колчаном, поднял лук. Он слышал стон своих жил и скрип кожи, сдираемой с пальцев тугой тетивой, когда начал стрелу за стрелой посылать сверху в московитов. Он был последним лучником Искора. Он видел, как в коловращении битвы плывет, вертясь, кусаясь и лягаясь, косматый Нята, а на нем по-татарски двумя мечами рубится Асыка, страшный шлем которого венчали теперь обрубки и обломки рогов. Асыка на мгновение нагнулся, словно нырнул, выхватил из человеческой каши тоненького воина, у которого из-под шишака посыпались смоляные кудри, и усадил перед собой. Как-то боком, словно продавливая собою толпу, Нята понес Асыку и Тиче к окраине городища, тяжело поднялся на дыбы и копытами выбил хлипкие воротца, закрывавшие путь по Широкой Улице вниз с Искорской горы. Михаил стрелял в спины московитов, побежавших по расщелине за Асыкой и Тиче, стрелял вслед беглецам, одинаково ненавидя и тех, и других.

С вышки он заметил, как у обрыва дерется Калина, чудом вырвавшийся из ловушки между частоколами. Калина тяжело отмахивался длинным мечом, каждый раз откидывая на сторону направленные в него копья, клинки, бердыши, будто палкой расшвыривал траву. Михаил пытался достать московитов, наседавших на Калину, но Калина все отступал и отступал ближе к краю скалы — и вдруг вздернул меч в последнем замахе и так и повалился в пропасть.

Кто-то уже полз по лестнице на вышку. Едва над помостом поднялись острия шлема, меча, глаз, Михаил ударил в них стрелой. Московит покатился обратно, сшибая тех, кто полз за ним. Михаил опять повернулся лицом к Искору и успел поразиться — теперь он мог убивать любого: кругом остались только московиты.

Новый человек карабкался на вышку. Михаил застрелил бы и его, как предыдущего, но рука дрогнула. Князь узнал человека — это был свой. Этот парень, голубоглазый и большеротый, совсем недавно сидел у костра рядом с Качаимом, когда в ночь перед разгромом Михаил пытался уговорить Кочу, и потом этот же парень бежал к воротам Искора через поле, а за ним гнались всадники Пестрого....

Парень выкатился на помост, вскочил и вдруг рванул лук у князя. Михаил цапнул пустые ножны меча. Парень орал:

— Не стреляй! Это пермский князь!

Широко растопырив руки, он косо прыгнул на Михаила и облапил его, будто обнял. Свистнула сулица и ударила парню в спину — парень собою прикрыл князя. Толчок сулицы качнул их обоих в сторону. Они споткнулись о мертвого лучника, проломили ограду вышки и рухнули вниз.

Уже в воздухе Михаил закричал от гнева — вместе с ними падала и хоругвь. На длинном древке развевалось белое полотно, и князь внезапно узнал этот миг, хотя никогда его не видел: это развеваются белые волосы пермской девушки, что бросилась со скалы Ветлана в Вишеру, белые волосы Бисерки — вечной любви Полюда.

А потом земля прыгнула князю в глаза и ударила в лицо.

Глава 24

Узкая Улочка

Никогда еще Вольге не было так тяжело. Ему казалось: закаты солнце и не взойди больше — и то было бы легче. А что такое случилось? Да, он оказался у пермяков и сидит сейчас в Искорке у костра, вместе со всеми ожидая приступа, — ну и что? Перед ним все равно много дорог, выбирай любую. Можно остаться с пермяками, можно вернуться к своим, можно просто сбежать в лес. Но Вольга понимал, что ни по какой из этих дорог ему не пройти.

Он не мог спать, не мог есть, не мог просто отдохнуть и целый день как потерянный слонялся по Искору, натываясь на людей, а потом, обессилив, присел у этого костра. Его никто не трогал, не одергивал, ни о чем не расспрашивал. Пермяки помнили этого парня — он сумел убежать с поля, где московиты рубили Качаимовых ратников. Видно, разгром так его потряс, что нужно время, чтобы прийти в себя, опомниться, охолонуть. Поэтому в толпе Вольга оставался одинок.

Наступила ночь, городище затихло, а Вольга все сидел у костра. Пермяки, что были рядом, один за другим заваливались спать, только человек напротив никак не уходил, а тоже сидел, глядя в огонь, и шевелил палочкой угли. Вольга всматривался в лицо этого человека, и ему хотелось взять и рассказать о себе. Вольга крепился, убеждал себя, что это его подзуживают бесы, но он и сам знал, что безнадежно запутался в судьбе, и его душит тоска, и ему нужен хоть кто-нибудь — если не с советом, то хотя бы с участием, с жалостью. Он ждал, когда же человек напротив заговорит.

— Ты московит? — вдруг тихо спросил пермяк.

Вольга дернулся, вскинув на пермяка ошарашенные и растерянные глаза.

— Не бойся. Говори, если хочешь, — негромко и спокойно сказал тот. — Я же вижу.

И Вольга заговорил — сначала запинаясь на каждом слове, а потом все более быстро, горячо, и рассказал о себе все, что хотел и не хотел, и даже то, что, как раньше думал, и сам о себе не знал, удивляясь своему доверию к этому незнакомому человеку. А тот слушал, кивал и все шевелил палочкой угли.

— Все твои беды оттого, что ты лжешь, — наконец заговорил человек. — Ты лгал отцу, что хочешь жить с ним его жизнью, хотя ты и сам

еще не знал, чего хотел. Спасая себя, ты сначала лгал новгородцам, что пойдешь с ними, а потом москвитам, что новгородцы держали тебя силой, — ведь человек, который не связан по рукам и ногам, всегда может уйти в лес. Ты лгал своему князю, что хочешь быть его ратником, потому что тебе некуда было податься. Своими делами ты лгал своим товарищам и воеводам, что хочешь покарать пермяков, а очутившись среди нас, ты лгал, что эта война тебя не касается и ты хочешь только одного — уцелеть.

Тихие слова падали в темноту веско и страшно, точно капли раскаленного металла. Вольге показалось, что человек, сидящий напротив, сейчас поднимет голову и закричит: «Держи татя!» Но человек не закричал, а продолжил:

— Самое главное, что ты лгал себе. Но я тебя не виню. Я мог бы сказать, что это было от твоего безмыслия, но так будет неправильно. Вы, москвиты, больны. Вы захватываете огромные земли, а сами разделяетесь на все более мелкие части — на княжества, на города, на владения бояр. У вас только один исцелившийся человек — ваш Великий князь, поэтому боги даруют ему победу за победой. Русь может побеждать слабых — нас, к примеру, но пока она не излечится, сильные будут ее бить, как некогда били татары. И ты тоже болен, юноша. От этого твои страдания. Хотя ты можешь излечиться. Ты для этого готов.

— Как излечиться? — угрюмо спросил Вольга.

— Я тебе скажу, как считаем мы. Все душевные болезни лечатся любовью к родине. Перестань врать себе и другим, трезво оглядись по сторонам и зажги в своем сердце эту любовь — ты удивишься, насколько проще тебе станет жить и как ясен сделается мир.

— Как я зажгу эту любовь? — недоверчиво спросил Вольга. — И к чему?

— Родину не надо искать или выбирать. Она найдется сама, когда ты станешь готов принять ее. И мне кажется, что ты готов. Теперь только встань на землю обеими ногами и скажи себе: «Здесь моя родина» — и проживи на ней всю жизнь. Это уже не трудно.

Они глядели друг другу в глаза через огонь. Вольга почувствовал, как в нем закипает глухой гнев на этого человека — во многом правого, кое в чем нет, слишком уверенно судившего о том, что столь мутной бурей клубилось в его душе. Вольга стащил сапоги и обмотки, поставил босые ноги на землю и сказал:

— Здесь моя родина. Ну, что дальше? Мне не стало легче.

Человек усмехнулся:

— Вот и все. Это самое главное. Теперь у тебя есть друзья и враги, и

не надо ломать голову, путаясь в своих отношениях к людям. Сейчас набирайся мудрости, чтобы прожить с друзьями, и мужества, чтобы поднять на врагов меч.

Вольга опешил.

— Дрянь ты человек, — горько сказал он. — Я тебе душу открыл, а тебе-то от меня только и надо было, чтобы с вами встал на защиту Искорки...

— Мужество ты в себе найдешь, а мудрости в тебе пока нет, — вставая, сказал человек. — Но мы не женщины, чтобы обретать мудрость за одну ночь. Живи. Меня зовут Зырян, Зырна. Я буду оборонять средний вал. Если захочешь, приходи сражаться рядом со мной. Если не захочешь, хотя бы постарайся уцелеть. Я желаю тебе удачи, беспокойный человек. И не бойся — я никому не расскажу о нашем разговоре.

Зырян повернулся и исчез в темноте. Вольга остался один.

Он медленно напялил сапоги и лег у костра ничком. Говори не говори, ничего не меняется. Он не может остаться с пермяками, потому что придется убивать своих, да и князь Пестрый все равно возьмет Искорку. Он не может вернуться, потому что придется убивать пермяков, которые спасли ему жизнь, да и Пестрый все равно его повесит, посчитав двойным — или тройным? — перебежчиком. Он даже не может укрыться в лесу, потому что все равно придется возвращаться — либо к пермякам, либо к москвитам, и возвращаться изменником... Единственное, что ему доступно, это выбрать какой-либо один из трех путей. Но какой? У него нет силы, чтобы идти хоть по какому-нибудь из них. Где эту силу взять? Да и заслужил ли он муки этой дороги?..

Вольга так и не уснул до рассвета, изнузив себя размышлениями. А на рассвете закричали караульные, и стан пермяков вмиг пробудился — это москвиты пошли на приступ. Кругом бегали, кричали, звенели оружием, и Вольга тоже поднялся. Он выбрался на Княжий вал и, стоя за частоколом, смотрел.

Внизу забурилась схватка. Там рубились, вопили, погибали, одни намертво вращались в землю, а другие корчевали их без пощады. Волна москвитов, как через запруду, перехлестнула через первый частокол, через второй, через третий... Бой приближался к Княжьему валу, а Вольга стоял, все такой же безучастный, опустошенный, опустивший руки. Москвиты хлынули через четвертый тын и ударились о Княжий вал. Копья, мечи, шишаки, лица замелькали за остриями бревен. Пермяки кинулись в драку с чужаками, перелезавшими заплот. И тут Вольга увидел, что он, оказывается, потихоньку пятится, отступая от москвитов. А москвиты

перелетали зубцы тына, будто их кто-то швырял снизу, и было их все больше, точно они раздваивались, и они теснили пермяков, сгоняя с вала.

Миг — и рухнул порядок противостояния. Защитники Искорки бросились кто куда, а московиты кинулись вдогонку, заметались, рубя спины направо и налево, словно лисы в курятнике, что мечутся в тучах перьев, как языки огня, и убивают больше, чем могут сожрать или утащить. Вольга тоже побежал сломя голову, сам не зная, где искать укрытия. Его сбили с ног, он покатился и увидел над собой русского ратника, уже замахнувшегося мечом.

— Вольга, с-сукин сын! — рывкнул московит, узнав его, и, не в силах остановить удар, повернул меч, врезав им плашмя Вольге по уху. Голова у Вольги чуть не отлетела и зазвенела, как колокол.

Московит вцепился Вольге в рубашу, вздернул его на ноги и прислонил к стене керку. Две пощечины заставили Вольгу очухаться.

— Б-бархат... — пробормотал Вольга, узнав десятника шестой сотни вологжан Никиту Бархата.

— Своим под меч не суйся, сопляк! — крикнул Бархат и побежал дальше.

Вольга ошалело глядел вокруг. Перед последними, отчаянно отбивавшимися пермяками московиты сшибались толпами. Убегавшие пермяки были зарублены сзади и кучами валялись на земле с копьями и топорами в спинах, с рассеченными затылками. Вольга уцелел лишь потому, что в войске Пестрого все знали княжеского рынду, но никто в суматохе последнего дня не заметил, что рында исчез. Впереди, за низкими земляными крышами Искорки, поднялась высокая бело-ало-золотая и лазоревая хоругвь Пестрого. Вольга повернул голову, отыскивая взглядом пермскую хоругвь. Она плескалась на ветру над вышкой у Княжьего вала, а под ней, — Вольга увидел его очень отчетливо — расставив ноги, стоял пермский князь Михаил с целым снопом стрел в колчане за плечом. Широким, свободным и страшным движением человека, не боящегося смертельного удара в грудь, он натягивал лук и сверху бил стрелами по московитам.

И, увидев эти две хоругви — побеждающую и непобежденную, — Вольга вмиг понял, в чем его спасение от гнева и кары Пестрого, хотя даже не успел объяснить себе все словами. Он кинулся к вышке, забыв, что его все еще могут полоснуть сзади мечом или насадить на копье.

На вышку вверх карабкались двое ратников, и Вольга, как в вора, что лезет за яблоками, вцепился в полу кафтана нижнего московита. Но верхний вдруг захрипел и повалился назад — из его глазницы торчала

стрела. Все трое рухнули на землю, сломав несколько ступенек. Вольга хорьком вывернулся из-под тел и рванулся обратно. Он выскочил на помост вышки и увидел дико нацеленную ему в лицо стрелу князя Михаила. Ни о чем не думая, Вольга схватился за лук князя и рванул его к себе. «Только бы взять живым!» — пронеслось в голове.

— Не стреляй! — отчаянно закричал он всем вокруг. — Это пермский князь!

И тотчас в спину его что-то ударило с такой силой, что его швырнуло на пермяка. Вольга обхватил Михаила, боясь расстаться с добычей, с надеждой, с жизнью, и вдвоем, проломив ограду, они полетели вниз.

Вольга очнулся, когда его окатили водой. Над ним с деревянным ведерком стоял знакомый ратник Тимоха и улыбался во весь рот.

— Очнулся, витязь? — радостно спросил он, помогая Вольге сесть.

Голова у Вольги кружилась, его тошнило, ломило спину, будто на лопатке выжгли тавро, левая рука еле шевелилась.

Вокруг была Искорка — та и не та. Меж низких керку, на их земляных крышах, на валу груды лежали мертвецы. Бродили, нагибаясь, измученные ратники с окровавленными по локоть руками — собирали оружие, вытаскивали раненых, тупо кололи копьями недобитых врагов. Трава была черная и мокрая. Что-то дымилось. В небе над Искоркой носились и верещали птицы. Отовсюду слышались стоны, хрипенье, тихий вой изрубленных, искромсанных людей.

— Повезло тебе! — вопил Тимоха Вольге точно глухому и все совал ему под нос какую-то кривую железку. — Дядя Пахом в пермяка сулицу метнул, а рука у него помнишь какая? Не будь у сулицы наконечник сломан — насквозь бы тебя пробило!

— Где пермяк? — хрипло спросил Вольга.

— Вон лежит, живой... — Тимоха вдруг стукнул наконечником Вольге по лбу. — Оглянись, поклонись князю!..

Вольга посмотрел назад через плечо. За его спиной стоял конь, а в седле сидел сам князь Федор Пестрый Стародубский, глядевший на Вольгу холодно и равнодушно.

— Этого и пермяка — обоих в поруб, — негромко велел он.

Молчаливые стражники помогли Вольге подняться и дойти до землянки, где ночью проходил совет пермских воевод. Вольга еле доплелся и в землянке сразу свалился на кучу желтых еловых лап на берестяной подкладке. Потом стражники притащили и пермского князя, осторожно уложив его на вторую лежанку.

— Братки, принесите попить, — попросил Вольга.

— Принесу, — хмуро сказал один.

Воды Вольга не дождался — мгновенно уснул, а может, впал в забытие. Два разгрома, море крови, спасенье, голодовка, бессонница, горькие размышления, удар сулицы и удар о землю — слишком много выпало на долю одного человека за два дня.

Его растолкали на закате и повели к князю. Вольга шагал как чумовой, мотал башкой, чтобы прийти в себя. Вокруг московиты все еще ворошили мертвецов, разыскивали своих и на корзинах, плетеных носилках, просто на шестах уносили вниз, к скудельне. «Эй ты, как тебя?.. — кричал один ратник другому и показывал, держа за волосы, отрубленную голову. — Это пермская или вашего косоглазого? Ну так забирай себе!»

Пестрый сидел на каменной колоде у ворот Искорки. Лицо его странно пожелтело, глаза округлились, как у совы, — видно, и князю в эти дни пришлось несладко. Закат угрюмо горел за Колвой, словно облил кровью Искорскую гору.

— Ну, что ты мне споешь? — спросил Пестрый.

— Дозволь сесть, ноги не держат...

— Садись, — разрешил князь.

Вольга опустил на другой камень напротив князя. Он поглядел в глаза Пестрого и вдруг понял, что теперь уже ничуть его не боится, не уважает. Пестрый стал для него пустым местом.

— Грешен перед тобой, — сказал Вольга. Пестрый усмехнулся и кивнул. — Дурь взыграла. Захотелось почести, славы, милости твоей... Как давеча в разведке пермского князя увидел, так и втемяшилось; возьму его в полон сам и тебе притащу. Он без охраны, один ночью ходил... В общем, повязали меня пермяки. Думал — конец, ан нет: только в яму посадили. Не поняли, видно, за каким бесом я по их стану рыскаю. Ну, а как вы на гору приступом пошли, сторожам не до меня стало, побежали к частоколам. Я развязался и утек.

— Простенькая сказка, — заметил Пестрый.

Вольга развел руками.

— Не верю я, — рассудительно заметил князь. — Думаю, повесить тебя надо.

— Воля твоя. — Вольга уставился в землю. — Только кабы не я, не видать тебе пермского князя живым. А мертвый он разве ж нужен Иван-то Василичу? Не за упокойником тебя Москва послала.

— Не твоего ума дела государственные, — спокойно сказал Пестрый и задумался, похлопывая себя по голенищу сапога собранной плетью.

— Я, Вольга, добра не помню. Больно уж это для дела обременительно, — наконец произнес Пестрый, посмотрев на Вольгу. — Но чем-то ты мне приглянулся. Может, тем, что от язычников меня недавно выручил? — Пестрый криво улыбнулся и пожал плечами. — Ладно, живи. Но вдругорядь помни — ждут тебя дыба и петля. В рындах я тебя не оставлю. Ступай в тысячу Кузьмы Ратманова, и пусть он тебя к сотнику Подберезовику простым воем поставит. У Подберезовика не пошалишь. Он из тебя дурь вместе с душой вытряхнет. Иди.

Вольга поднялся и поклонился.

— Благодарю за милость, князь.

— Бога благодари. И язычников.

Чуть пошатываясь от слабости, Вольга побрел прочь. В душе его не было радости, не было облегчения: попав в руки Пестрого, он все время проспал, не успев как следует уstrasиться княжьей кары. «Второй раз меня Перуновы дети спасают, — думал Вольга. — Сейчас, да еще тогда, в разведке, у пермяцкого костра... А ведь я их сгубил. Боги, что ль, ихние добрее, или я уже иду по узкой улочке, на которую свернул, сам не ведая, когда и как?»

Поздним вечером, сидя на стану у костра, Вольга уже отколачивал камнем лезвие пики, доставшейся ему от какого-то убитого в бою ратника, а ночью спал в большом шалаше вместе со своим десятком и десятником. Уже следующей ночью десяток Вольги караулил на горе пленных пермских князей.

Их было шестеро. На ночь их загнали в землянку. Толстые бревна стен, окошки-щели и крыша накатом с земляной засыпкой поверху никому не дали бы бежать. Да и куда бежать? С трех сторон скальные обрывы, смертельно опасные даже в светлой темноте севера, а в воротах на Княжьем валу караульные развели костер. И внизу, у первого вала, обосновалась вся сотня целиком. Дверь в землянку придавили тяжелой каменной колодой, которую притащили втроем. Вольга сидел перед ней на обугленном с одного конца бревне, что осталось от другой, сгоревшей землянки. Положив возле ног пику, Вольга уперся локтями в колени, а скулами уткнулся в кулаки.

Его опять душила тоска. Еще два дня назад здесь же, на Искорке, он страстно хотел, чтобы в его жизни все стало как прежде. И вот все вернулось. А тоска осталась точно такая же. Что ждет его в жизни? — думал Вольга. Побудки, походы, схватки и увечья, если не гибель, тумачи десятников и плети князя. Может, через много лет он и сам станет

десятиником, а к седине поднимется до сотника — но не выше. А потом — нищета никому не нужного одряхлевшего бывальца, у которого только переметная сума да воспоминания. В лучшем случае быть ему сторожем и бродить с колотушкой ночами вокруг хором какого-нибудь боярина. И ни души вокруг. Ни отца с матерью, ни братьевъев. Ни жены, ни сынов, ни внуков-разбойников... Можно, конечно, там, на Руси, уйти из дружины, осесть на землю или, что ближе, на рыбные ловы, — да только сладок ли на Руси удел смерда? Неужто два дня назад он тосковал по эдакому счастью? Не от этой ли благодати отбивались пермяки здесь, на Искорке? Эх, доля, доля, где тебя искать?..

Краем глаза Вольга уловил какое-то шевеленье тьмы и тотчас же вскочил, подхватив пику. Под яркой луной тускло светилась вытоптанная площадка городища, чернели провалившиеся землянки, идолы, покосившаяся вышка на валу. Невдалеке горел костер, слышались голоса. Вольга с пикой наперевес пошел вокруг своей землянки и в тени угла, в лопухах и бурьяне различил что-то темное, сжавшееся, дернувшееся убежать.

— Ну-ка стой! — шепотом крикнул Вольга.

Шепотом потому, что вдруг это нечисть какая пермская? Пусть лучше бежит отсюда.

Человек в бурьяне замер.

— Встань, — велел Вольга.

Человек встал. Был он невысокий, хлипенький. Лицо закрывал колпак.

— Руки подыми.

Руки поднялись над опущенной головой. Рукава съехали вниз, и руки оказались тоненькими и от луны белыми, как кость.

Острием пики Вольга зацепил и сдернул колпак, из-под которого посыпались длинные черные волосы. Перед Вольгой была девчонка.

— Ты кто такая? — изумился Вольга.

— Я к мужу пробиралась... — дрожащим голосом ответила девчонка по-русски. — Он у вас в полоне...

— У нас в полоне одни князя.

— Он князь...

Вольга окинул взглядом фигурку девушки и опустил пику. Какая-то щемящая нежность затеплилась в его душе: вот девчонка тоже, как и он, — собака без хозяина, не знает, к чему прижаться.

— Ладно, нечего руки маять, — сказал он. — Как ты сюда мимо караула пробралась, коза?

— По скале залезла. Вверх не страшно, если назад не глядишь.

Вольга помолчал, перекатывая желваки.

— Люб князь-то? — со злостью и завистью спросил он.

— Не люб... — тихо ответила девчонка.

Они стояли друг напротив друга, не зная, что сказать.

— Пусти меня к князю, — тихо попросила девушка.

Вольга покачал головой.

— Нельзя. Да и зачем тебе к нему? Сгибнешь ведь.

— Я и так сгибну.

Вольга даже растерялся.

— Ты лучше добром иди отсюда, — наконец сказал он. — Давай я тебя караулу отведу...

Девчонка отпрыгнула назад, выставив перед собой руки со скрюченными, как когти, пальцами. Вольга в первый раз увидел ее лицо — грязное, исцарапанное, с черными, яркими до синевы глазами, горящими сквозь растрепанные волосы, — и поразился ее яростной, дикой красоте.

— Не пойду! — прошипела она. — Если ты меня тем ратникам отдашь, я со скалы спрыгну! Лучше заколи меня сразу!

— Да чего ты... — оторопел Вольга. — У меня и в мыслях не было... А куда ж мне тебя девать?

Девчонка по-звериному встряхнулась, и бешенства ее как не бывало. Она медленно подошла к Вольге, который суеверно стиснул пику, и вдруг быстро провела пальцами по его лицу. словно серебряная паутина повисла в воздухе перед глазами Вольги.

— А у тебя, стражник, есть ли жена, невеста?

— Нету, — покорно ответил Вольга.

— А знал ли ты любовь? Знал ли ты женщину?

— Нет...

Девушка обошла Вольгу вокруг, как дерево, и снова остановилась напротив.

— Отойди от меня... — охрипнув, с трудом произнес замороженный Вольга и сделал шаг назад.

— Возьми в жены меня, русич, — прошептала девчонка, опять приближаясь и глядя в глаза. — Возьми в жены меня... Я тебе лучшей женой буду...

— Отойди... ламия... — Вольга и сам не знал, откуда появилось это неизвестное ему слово.

Ламия повела плечами, как в танце, и балахон, что был на ней, плавно съехал к ногам. Дивная, бесстыдная нагота ослепила Вольгу. Здесь, в разбитом городище на вершине горы, где чернеют развалины и страшные

идолы, где еще вчера лежали мертвецы, а теперь вокруг только парма и звезды, красота ламии была обжигающей и жуткой.

— Возьми меня, русич... — околдовывая, шептала ламия и обнимала Вольгу за шею, прижимаясь к нему. — Я тебя жарко любить буду...

«Взять ее — и пропади все пропадом... — потрясенно подумал Вольга. — Весь мир отдать можно за это чудо, жизнью за счастье заплатить...» Но сейчас, вблизи, Вольга увидел колдовские глаза ламии: сама она была юной, вечно молодой, а глаза были древние, беспощадные.

— Отойди!

Ужасаясь себе, он схватил ламию за голые плечи — опалило ладони — оторвал от себя и оттолкнул. Он был весь в поту.

Он мог поклясться, что у ламии не было ничего, кроме зеленой тамги, болтавшейся на нитке между торчком стоящих грудей, — и вдруг в руке ее блеснул нож. Молча, с нечеловеческой силой ламия ударила его под сердце, и Вольга полетел в бурьян, еще не ощутив боли от звеньев кольчуги, которые вмялись в тело между треснувших ребер.

Ламия перепрыгнула через него и очутилась перед входом в керку. Нагнувшись, она подняла огромную каменную колоду, припиравшую дверь, и откинула ее в сторону.

— Ведьма-а!.. — завопил из бурьяна Вольга, чувствуя, как кровь потекла изо рта.

Вмиг вокруг костра вырос черный частокол караульчиков.

— Тревога!.. — неуверенно крикнул кто-то.

Ламия оглянулась, завизжала и рысью взмыла на крышу землянки. Промчавшись до другого края, она соскочила на землю и понеслась прочь. И Вольга тут же вскочил, не чуя сломанных ребер. Он первым бросился за ведьмой, не выпустив своей пики.

Светясь под луной, нагая ламия добежала до обрыва площадки и словно сгинула, но Вольга, очутившийся там же через мгновение, увидел ее скачущей через валуны вниз по крутому ущелью. Он ринулся вслед за ламией, расшибая колени о камни и растопырив руки. Он лишь чудом не расколол голову, не свернул шею и не перебил ноги, когда выбежал прямо на ведьму, стоящую под отвесной стеной. Пораженный, он совсем забыл о своей пике.

— Разве ж ты сможешь заколоть пикой свою любовь? — рассмеявшись, спросила ламия и горделиво распрямилась, провела руками по грудям, по животу, по бедрам. — Запомни меня такой... Ищи меня теперь, Вольга, до самой смерти, — прошептала она и, шагнув назад, словно растворилась в камне.

Вольга закричал и кинулся за ней, но всем телом ударился о скалу.

Стражники не решились преследовать Вольгу и ведьму ночью по ущелью. Под скалой, в которую ушла ведьма, Вольга просидел до рассвета. Только при свете солнца он увидел в стене тесную расселину — по ней и ускользнула ламия. Пермяки звали расселину Узкой Улочкой.

Никто из стражников так и не понял, что же случилось с Вольгой, кого он увидел, за кем они все погнались, и вообще — гнались ли за кем-то? Можно было бы и посмеяться над переполохом, но слишком уж страшным вылез Вольга на городище из проклятого ущелья — словно постарел на десять лет. И караульщики предпочли креститься и отмалчиваться.

А Вольга лежал в шалаше один и все вспоминал, вспоминал эту встречу, эту чудскую ночь, идолов и луну, вспоминал дивную и гибельную наготу женщины, и все больше Вольге казалось, что он прошел мимо чего-то главного в жизни. Не признал вовремя, а может, испугался. Но когда? Чего? Ночью у землянки? Или три дня назад, когда разговаривал у костра с Зырной? Мерещилась, блазилась Вольге ламия, и горела душа — сильнее, чем тело от удара ножа и сулицы.

Днем, оставив новых рынд у входа, в шалаш пролез князь Пестрый. Уселся, скрестив ноги, и уставился на лежащего Вольгу насмешливыми глазами.

— Что ж за напасти на тебя? — спросил он. — То ты из стана к пермскому князю убегаешь, то с тем же князем, только пленным, обратно идешь, то ведьмы какие-то этого князя чуть на волю не выпускают под твоим присмотром. Надо было тебя сразу повесить.

Вольга молчал.

— Что было-то? Говори.

— Я ведь уже трижды рассказал, — глухо ответил Вольга. — Своим, да Подберезовику, да тысяцкому Ратманову. Тебе, наверное, и так каждое слово донесли...

— Донесли. А что было на самом деле?

— Ты, князь, везде измену ищешь. По-твоему, это после сулицы дяди Пахома я научился каменные колоды ворочать? Коли не веришь мне, так и вели повесить. Мне, пожалуй, в петле теперь легче будет.

Пестрый помолчал и раздосадованно сказал:

— Надоел ты мне. Не хочу я знать, чем тебя оморочили. Еще вчера не побоялся бы тебя кату отдать. А ночью-то, видно, проклинали тебя — не желаю твое проклятье на себя принимать. Вечером отправляю Великому князю в Москву пленных пермяков, как обещал. Шлю с ними Ратманова и караул. У меня самого еще дела здесь — Покчу достроить, Нелидова с

Вострово встретить, наместника с епископом дожидаться... Так что мне с Ратмановым ехать недосуг. А ты собирайся.

Вольга вдруг со стоном быстро повернулся, ухватил ногу князя и прижался щекой к сапогу.

— Отпусти ты меня, князь... — умоляюще попросил он. — Не хочу в Москву. Отпусти меня из дружины. Добром прошу, а то сбегу. Здесь хочу остаться, жить здесь...

— Как... жить? — удивился Пестрый.

— Вот так... навсегда.

ЧАСТЬ 4
6981–6990 годы

Глава 25

Слюдяное Солнце

По великой реке плыла берестяная лодка. В лодке на корме лежал человек, подстелив под себя порыжевшую, старую кошму и до ушей натянув потертый кожан. Он почти не греб, лишь изредка приподнимался и коротким веслом поправлял лодку, но та через некоторое время, успокоившись вместе с рекой, все равно задумчиво разворачивалась и шла вперед то одним бортом, то другим. В носу лодки лежали на поленьях два тощих мешка с припасами, укрытые рваной шкурой, и нехитрая утварь — топор, маленький медный котелок, лук с пучком стрел в колчане, ковшик, долбленая фляга, рукавицы-голицы.

Стояла глубокая-глубокая осень. Непогода уже отбушевала, дожди сбили листья с деревьев и кустов, скосили траву. Несколько раз, словно пробуя, землю застилал снег, но не удерживался, сползал. Еще чего-то чуть-чуть не хватало, чтобы однажды ночью он тихо нахлынул и накрыл и берега, и леса, и лощины. Земля ждала. Все было неподвижно вокруг — сковано ожиданием. Оцепенели боры-беломошники; разгладилась, серебристо затуманившись, река; остановилось небо, прозрачное и безоблачное, отмытое до звона и блеклости; и даже солнце не светило, а только отсвечивало неживым, слюдяным бликом. Ни ветерка, ни волны. Наклонились с бурого глиняного обрывчика падавшие, но так и не упавшие сосны; повисли на ветвях капли; рыжие заплаты березовых листков испятнали черные лужи по берегам, наполненные прошедшими дождями до краев, но так и не пролившиеся в реку. Только запоздалые птичьи стаи клиньями тянулись через все небо на полудень — это улетали утки и гуси с зырянских болот, с Вычегды, Пинеги и Мезени, с края земли, где льдами выползал в тундру великий полуночный океан.

Человек в берестяной лодке плыл совсем один. Река была безлюдна, словно какая-то сила унесла или согнала всех береговых жителей. Они исчезли, но еще оставались следы: рыбацкие колья для сетей, вбитые в дно на мелководе; упущенная и замытая в тальник жердина; покосившийся крест на темном косогоре; искореженная половодьем затонувшая барка; охотничья избушка с дверкой, припертой батошкой; изредка — древний курган, уже выпотрошенный скудельниками и оттого медленно расползающийся по земле, как тесто; или же черные в чернолесье, хмурые идолы на заброшенном мольбище. Но человек в берестяной лодке не искал

других людей. Ему хотелось одиночества, молчания, покоя. Людей ему уже хватило выше горла.

Он был еще не стар, этот человек в берестяной лодке, но в осунувшемся лице, на котором круто проступили скулы, в резких морщинах, в запавших глазах было столько усталости, что казалось, будто он прожил уже две жизни. В его темных волосах неровно пробилась седина, точно пеплом мазнуло голову. Этот человек в берестяной лодке был пермским князем Михаилом.

Он ночевал на островах или на мысках, отгородившись от пармы костром. Медведя он не боялся, да и волков тоже — те отожрались за лето и были пока смирные, но уж больно тоскливо были ночами, еще не от холода, не от беды, а только от предчувствия. Голодать и князю не приходилось: он вез сухари, вяленое мясо, на ночь иногда забрасывал в воду плетеную морду или же бил стрелой в тальнике гусей, что не смогли улететь вместе со стаей. Целыми днями Михаил молча лежал в лодке, глядел на утекающие вдаль берега, на низкое солнце. Когда начинала угрюмо густеть вечерняя заря, он останавливался, разгружался, ломал валежины, поднимал костер. Ужинал уже в темноте и потом расправлял на ворохе пожухлого бурьяна и лапника, собранного по окрестности, кошму, ложился на одну ее половину, напялив всю одежду, что имелаась, и укрывался другой половиной. Он смотрел, как угасает костер и разгораются звезды, а вместе с ними зажигаются крохотные иголочки синего света на бурых стеблях травы, на стволах деревьев, на его кошме — это иней тихо оплетал мир своей ледяной паутиной. А паутина воспоминаний медленно, против воли, оплетала разум князя и леденила душу.

Сейчас ему думалось и вспоминалось легко — без напряжения, без боли. Раньше, до Искорки, пока он княжил, на его плечах лежала огромная тяжесть княжения, хотя он этого и не замечал. А теперь этой тяжести не стало. Может быть, его обостренное внимание к пермским богам, богам судьбы, и было попыткой снять с души ощущение тяжести, не снимая самого груза?.. Насмешливая и равнодушная судьба опередила его — сбросила груз. Ну, мол, о чем теперь запоешь? А петь не хотелось. Он был счастлив, может быть, впервые за все годы, но счастье не возносило, не пьянило. Оно оказалось совсем не таким, как в мечтах: оно было тихим, неподвижным, остывшим, как осенняя река, как угасший костер, как слюдяное солнце. И все-таки это было счастье. Михаил сравнивал, каким его везли в Москву и каким тем же путем он возвращается домой, сравнивал и убеждался, что не было в его жизни дороги столь же светлой, будто душа его растворилась в поздней осени и в него проникли

тускнеющие краски, замирающие звуки, запахи тумана, сырой земли и остановившейся воды, словно в раскрытую избу ветры намели палые листья.

Из Москвы Михаил выезжал облагодетельствованный Великим князем. Несет его жеребец из кремлевских конюшен, в калите у седла прогонные деньги, на шее цепь с ярлыком, под кафтаном зашитая в холстину грамота Ивана Васильевича, плечи тяготит подаренная соболья шуба. Сам вымыт, отпарен, волосы и борода подстрижены. Правда, лицо бледное — сказалось подземелье, где он просидел все лето. И шуба соболья — не Великого князя, а пермского князьца Сойгата, содранная с мертвеца ратником Пестрого в Покче...

С великокняжескими гонцами Михаил добрался до Вологды. Всю дорогу ему вспоминалось, как подобным же образом возвращались за Каменный Пояс вогулы Течик и Калпак, некогда заманившие на вагильский туман ретивого князя Ваську. И Михаила душил ярлык, давила тяжелая шуба, мыльным и скользким, как от крови, казалось седло. Однако в Вологде он не решился херить подарки Ивана Васильевича. Еще прознает да обидится, чего доброго... Михаилу было стыдно, что после московского плена он стал столь чутко осторожен. «Пройдет», — обещал он себе.

Перед Устюгом он снял ярлык, на первом же постоялом дворе сторговал коня. В город вошел пешим. Надо было еще и шубу загнать. Под крепостными вежами шумели купеческие ряды. Михаил спустился в первую повстречавшуюся лавку, над входом в которую был приколотен колпак — драный, чтобы голь не позарилась. В кислой вонии овчин и псины по стенам висели шубы, полушубки, опашни, пуховые подбойки, кожаны, пермяцкие яги, самоедские малицы, остяцкие парки. Хозяин вполголоса уговаривал другого купца: «Время, Захар Кузьмич, шибко подходящее. Воевода, как вернулся, видать, умом тронулся — пошлину вдвое срезал, покрученников своих разогнал, одного дьяка-лихоимца — да ты его помнишь, Митька Головастов, — на цепь посадил. Пользуйся просветом, грузи товар барками, пока нового воеводу не прислали...»

Михайлову шубу оба купца осматривали долго и придиричливо: шуба дорогущая, князю впору, откуда такая у никому не известного проезжего человека? На татя не похож, но и на боярина тоже... Однако шубу взяли и заплатили много — Михаил такого не ожидал. В Перми Великой скупщики столько не давали. А купец без навару не живет: какая же выходит полная цена?..

В Устюге Михаилу еще было нужно показаться воеводе. Михаил знал,

что Нелидов ходил на Пермь вместе с Пестрым, но в лицо воеводу не видал — пленников увезли в Москву еще до того, как Нелидов и Вострово пришли к Пестрому в Покчу. О том, что поход устюжан на нижнюю Пермь не удался, Михаил знал: ничего там устюжане не добились, только меж собой рассобачились, Анфалов городок спалили да есаула Кривоноса с семьей загубили. Михаил пошагал на воеводский двор с тяжелым сердцем. Ему не хотелось видеть воеводу. Воевода хворал, никого не принимал, но для Михаила вылез из постели. Сидя в горнице на лавках, они разглядывали друг друга. Гаврила Нелидов был рослым, видным мужиком с окладистой бородой и крепко вылепленными скулами, только глаза у него сейчас были как у побитой собаки. Он расспрашивал о Москве, о Великом князе. Михаил скупно отвечал. К принесенным чарам никто не притронулся. Наконец воевода оттиснул на прогонном листе свой перстень и встал. Михаил тоже поднялся, поклонился, повернулся уйти и вдруг услышал за спиной: «С богом, князь. Не помни зла...» Он не оглянулся. Он зла и не помнил. Пусть его помнят пермские боги.

От Устюга с торговым обозом Михаил добрался до Вятки, сделав крюк. От Вятки подобной же оказией доехал до Кая. В Кае его никто не узнал. Изменился князь с тех дней, когда привозил сюда пленного Асыку, — постарел лицом, прогорел глазами, и без того неяркими, подернулся ранней сединой, как старый камень мхом, да и одет был бедно, неброско. Это не Течик с Калпаком в золотых бухарских халатах и малиновых сапогах, что въехали сюда на бочке браги с ордой вопящих оборванцев и спалили баню. Михаил в Кае купил лодку, припасы, а оставшиеся деньги завязал в платок и вечером кинул в открытое окошко церкви. И ночью берестяная лодка уже плыла по великой реке.

Целыми днями Михаил лежал на корме, лениво пошевеливая веслом, и смотрел на проплывающие мимо берега. Полгода назад здесь прокатился могучий поток московитского войска — и никаких следов. А в Перми Великой кто-то из пришельцев погиб, кто-то убежал, кто-то потерялся, многие остались — лежали, залечивая раны, или осели на землю, или были поставлены служить в новой дружине, которую Пестрый создал вместо дружины пермского князя. Втрое поредевшее войско снова прошло этой же дорогой — и опять никаких следов. Вот теперь он, Михаил, проплывает по реке — последний осенний листок облетевшей человеческой рощи, и река тоже не вспомнит о нем, едва он скроется за поворотом. Безлюдье... Что ж, наверное, так и надо. Если уж люди не могут жить иначе, то для реки и один человек — слишком много.

Там, в Искоре, в плен к Пестрому попали все шесть князей. В лощине московиты не добились Качаима, приволокли его в свой стан — изрубленного, истекающего кровью, но живого, еще способного выжить и жить дальше. Из-под стволов пицалей достали Мичкина — оглушенного, с простреленным бедром. Затаптали, поломали все кости, проломили голову, но так и не убили Бурмота. Исура, ринувшегося в схватку на коне, попросту сдернули с седла и повязали, не оставив и царапины. Зыряна придавило воротами, он попал в плен помятый и без сознания. Всех их вместе с Михаилом в Искоре запихали в одну землянку.

В землянке они просидели несколько дней, так и не увидев своего победителя — князя Пестрого. Пестрый разбил пермское войско, взял пермскую твердыню, пленил пермских воевод, и ему уже незачем было разговаривать с пермяками. Из людей, пусть и врагов, они превратились для него просто в вещи, которые надо было доставить в Москву. Причем эти вещи никуда не денутся, никто на них не позарится, в отличие от подарков Великому князю, поэтому подарки и поглотили все внимание Пестрого. Потом Михаил узнал, чем же Пестрый осчастливил владыку. Из Перми Великой Пестрый послал в Москву шестнадцать сороков соболей — все, что смог содрать с покоренных городищ; соболью шубу убитого Ионой покчинского князя Сойгата; из его же закров — пол-тридцать поставов сукна, приданое Сойгатовых внушек; к тому же три брони — кольчугу Исура, прадедовский доспех Качаима, помнящий еще мечи мурманов, и кольчугу Бурмота, с которой не стали снимать прицепленный к рукаву кистень — пусть подивуются московские дьяки Оружейной палаты; а к кольчугам шлем — Исура, опять же, — и две булатные сабли. По цене подарки равнялись ясаку за пять лет, а если брать доход с купеческих пошлин, то и за год Москва получила бы те же деньги. В общем, небогатый был улов.

Не ожидая никакой прибыли от бесславного похода устюжан, Пестрый приказал отправить московский обоз в дорогу, не дожидаясь возвращения Нелидова и Вострово. В середине июня барки и насады московитов тронулись от берегов Искора вниз по Колве. Вышли в путь с рассветом, а на закате уже проплывали чердынские холмы. Лучи заходящего солнца слепили, черня и без того обугленные частоколы острога. Михаил не хотел смотреть, но не смог удержаться, взгляд сам притягивался к терновому венцу сгоревшей крепости на челе горы — три башни над кручей, как три вдовы, глядели поверх реки и лесов вдаль, туда, где над пармой ярко горел от заката костер Полюдова камня. Сумерки стекали на Пермь Великую со склонов вогульских кряжей, но искорка Полюда все не угасала, а потом

как-то незаметно отделилась от земли и взошла звездой.

Обоз в Москву вел тысяцкий Кузьма Ратманов. Пленных везли отдельно, каждого на своей барке. Вместе они собирались только на ночлеге, под строгим караулом. И здесь Михаил увидел, как их шестерых на две неравные половины начала разделять незримая трещина.

Исур и Зырян в плену оправились быстро. Неукротимая натура татарского шибана не могла мириться с неволей, Исур что-то горячо нашептывал Зыряну, который лишь неуверенно пожимал плечами и в сомнении качал головой, но все равно уступал напору. Михаилу не сложно было догадаться, о чем скрытничают эти двое — о побеге. Когда же Исур и Зырян подступились к нему вплотную, Михаил бежать отказался. «Мне бежать некуда», — сказал он. И Зырян его понял, а Исур обиделся, надменно отвернулся и больше ни о чем не заговаривал. Вокруг Михаила замкнулась стена отчуждения.

Качаим умирал. После боя под Искорской горой он ни разу не пришел в сознание, лежал в жару, бредил. О таких, как он, пермяки говорили: убита душа. Она уже там, в подземном мире мертвецов, а тело еще здесь. Бывало, что такие люди выживали, а души их, заплесневев, возвращались в тело, но эти люди становились страшны даже своим близким. Мог выжить и Коча, но все же умирал, потому что некому было за ним ухаживать. Израненный Бурмот, весь в лубках и повязках, еле передвигался, но гнал любого, кто подходил к его отцу. Наверное, душа Бурмота тоже была убита: он никого и ничего не желал видеть, ни с кем не говорил, ел тайком. Он не чувствовал тягот плена, ни о ком и ничего не жалел. Даже забота об отце у него была странная: так не пытаются удержать человека в жизни, так сошедший с ума шаман нянчится со своей иттармой. Под стать Бурмоту оказался и Мичкин, все глубже и глубже тонувший в болоте тоски. Но Бурмот погибал яростно: хрипел пермяцкие ругательства и заклинания, скрипя зубами от боли, бросался на врага, замахивался костылем и падал, царапая землю ногтями. Мичкин же молчал, молчал, молчал, глядя в никуда остановившимся взглядом. Он встрепнулся только один раз, когда проплывали мимо Уроса, и — говорили Михаилу — стражникам пришлось его связать, чтоб он не бросился в воду.

В Устюге Исур и Зырян пробовали бежать, но не смогли выбраться даже за пределы стана. На них надели цепи. В Вологде умер Коча. Его похоронили за оградой кладбища без креста — там, где лежали воры и висельники. Бурмот после смерти отца словно одеревенел — больше никто не слышал от него ни слова. В Вологде пересели с барок на вozy. Путь вел на Ярославль. Здесь Ратманова дожидался великокняжеский гонец: Иван

Васильевич уже знал о победе Пестрого, весть о которой пришла где-то на Петров день. С Исура и Зыряна сняли цепи, обоз разделили и пленников вперед отправили в Москву.

Москва развернулась перед Михаилом сразу вся — обоз перевалил через холм. Это было бескрайнее, теряющееся у горизонта деревянное море — крыши, крыши, крыши, башенки, шатры, каланчи, маковки церквей, столбы дыма, колокольни, деревья, голуби, вороны... Михаил понял, что совсем не помнит Москвы: детские впечатления давно оплыли, как свечи. И Москва потрясла пермского князя. Она показалась ему больше всей Перми Великой, больше звездного неба, больше всего на свете. Мимо заставы обоз втянулся в улочку, и Москва постепенно окружила, облепила князя, загромождила пространство, накрыла с головой. Обозные лошади не замедляли шага, и поначалу казалось, что Москва должна скоро кончиться — так же быстро, как пермские городки, — но Москва все тянулась, тянулась, тянулась и только разрасталась, кондовела, будто ей воистину не было края. Избы, заборы, крылечки, липы, мостки, церквушки, кони, деревья, окошки, теремки, лужи, амбары, толкучки, сады, собаки, телеги, ворота, наличники, лавки, коровы, бани, овраги, колодцы, юродивые, пустыри, попы, мальчишки, виселицы, лотошники, мастеровые, бабы, кружала, пьяницы, часовни, ратники, заплоты, погреба, черемуха, помойки, переулки, воробьи, стук топоров, голоса, колокольные перезвоны...

Здесь была сотня Чердыней, здесь скопилась такая необоримая сила, что дико было бы встать на ее пути. Этот бескрайний город выслал отряд, поход которого показался Перми Великой целым нашествием, сражение с которым будут вспоминать внуки и правнуки пермяков, а город даже не заметил отсутствия этого отряда — так мал был отряд в сравнении с городом. Город жил своей нерушимой жизнью — работал, спал, торговал, веселился, плакал, молился, воровал, казнил воров, жрал, пел, писал иконы, парился в банях, строил дома, хоронил мертвых, любил, ненавидел, щелкал семечки. Как же управлять такой ордой? — пораженно думал Михаил. Чем же прокормить такую бездну праздного народа? И сразу вставала перед глазами картина: из Москвы, как из переполненной щелястой бочки, хлещут тугие струи полков во все пределы Руси, и там без совести и сытости рвут куски из зубов, сдирают с плеч одежду, выворачивают карманы, чтобы привезти добро сюда, в этот самый большой, самый красивый, самый жадный и жестокий город вселенной. Конечно: ну что Москве Чердынь, если здесь боярская усадьба больше чердынского острога? Что Москве вся Пермь Великая, если в ней одной людей, церквей и мечей вдесятеро больше? И Михаилу вдруг обостренно жаль стало свою

маленькую и бедную столицу — и в то же время горло перехватывало от горькой гордости, когда он думал, что все это неоглядное, шумное и равнодушное скопище людей маленькая Чердынь прикрыла собою от грозного зла из-за Каменных гор.

Обоз проехал растрескавшиеся, обомшелые стены Китай-города, потом дополз до Кремля, чьи белые зубчатые башни были видны издалека над кровлями теремов. Боровицкие ворота стояли открытыми. В темном проеме на цепях висела огромная ржавая решетка, а под ее коваными зубьями на дощатом, измазанном навозом мосту краснорожие стражники зубоскалили с девками, что во рву, подоткнув подолы, в тухлой воде полоскали белье. Вozy проехали мост, ворота, и в ярком, радостном свете солнца Кремль предстал перед Михаилом во всей красе: огромные беленые печи соборов, построенных еще при Калите, с золотыми репами куполов, нагромождение многоярусных великокняжеских палат — не разобрать, где что: ставни, причелины, гульбища, кровли бочками и палатками, луковки на шатрах, витые столбики балясин, все изукрашено, все в резном узорочье, — и вокруг стройка: ямы, груды бревен, повозки, леса, кучи щепы; и народу, народу — кишит, во все стороны снует плотницкий люд, пешие и конные ратники, бояре со свитами, попы, дьяки, черт знает кто. Обоз заплутал, заюлил в путанице улочек Кремля и наконец вкатился в ограду каких-то хором. Тысяцкий Ратманов соскочил с телеги и побежал в горницу. «Сейчас дьяку вас передаст», — пояснил Михаилу возница. Михаил ждал. И вот жирный дьяк вышел на крыльцо. В бороде его белело крошево капусты, он зевал и крестил рот, только что встав из-за трапезы. Посреди лета душу Михаила окатило холодом — это был дьяк Данила Венец.

Михаил застонал, сжимая зубы. Чья жестокая и насмешливая воля вновь столкнула его с Венцом? Ему, князю, ничего не нужно было ни от Венца, ни от Москвы, а Венцу — ничего от Михаила и Перми. Почему же их пути все равно пересеклись, и на этом перекрестке они — Михаил и Венец — встретились врагами? И что же это за издевка — иметь врагом Венца, гнилую душу...

Лодку Михаила несло мимо погибшего Уроса. У правого берега из темной, неподвижной воды торчали сваи, улы, стены обрушенных домов. Кровли повсюду уже провалились, обнажив стропила. Из жителей в Урос не вернулся никто, кроме двух старух. Когда Михаил проплывал, они ловили рыбу. Увидев человека, они бросили драную сеть и распрямились. Михаил не пошевелился, лежал неузнанный, с лицом, прикрытым воротом

кожана. Старухи стояли в своей лодке и глядели на него как старые деревья — без удивления, без гнева, без тоски. Михаил подумал, что он на всю жизнь запомнит эту картину — темные осенние ельники под угрюмым небом, хмурая река, полузатопленные развалины и несоразмерно-большая лодка, в которой, опустив руки, молча и неподвижно стоят две старухи, высокие, худые, с длинными белыми косами...

Венец распорядился запереть пленников в каменный подклет больших палат, выстроенных понизу из кирпича, а верх — деревянный. В подвале было сыро, сумрачно, низко. Пологие дуги темных сводов казались напружиненными, как изогнутые под тяжестью снега еловые ветви. Земляной пол был устлан гнилой соломой, воняло скотом — зимой здесь держали коров. В четырех квадратных столбах, подпиравших потолок, чернели зевы печей: их дымоходы шли внутри стен и обогревали здание. И столбы, и своды местами треснули. Окошки в толстых стенах, сужаясь, выходили на двор усадьбы. Под каждым окном в кладку было вделано железное кольцо с цепью и обручем. Эти обручи надели пленникам на ноги и заклепали. Звон кузнечных молотков, как благовест над возвращающимся войском, обозначил завершение долгого пути от Искора до Кремля. Теперь оставалось только ждать суда Великого князя.

В подземелье тоске поддался даже Исур, который поначалу еще пробовал выдернуть из стены кольцо, примеривался, пройдут ли плечи в оконницу. Словно забытые, пермяки сидели несколько дней одни. У Великого князя находились дела поважнее пермяков. Венец же явился только раз и привел с собою невысокого, степенного старика. Потом Михаил узнал, что это был кремлевский зодчий Ермолин. Ермолин ощупал трещины в столбах и сводах и сказал Венцу:

— Я еще твоему батюшке говорил, когда стены клали: не скупись на яйца к раствору.

— Ты мне ответь, не рухнет ли? — перебил зодчего Венец.

— А я почему знаю? — раздраженно сказал Ермолин, стараясь не глядеть на пленников. — Коли ты свое чрево наверх взгромоздишь, может, и рухнет. Ломать палаты надо, новые ставить.

— А через дымоход не улезут?

— Не улезут... даже с твоих харчей.

Венец прошелся по подвалу, не приближаясь к пленникам, подергал кольцо в стене над поникшим Мичкином и ушел, уведя зодчего.

Наконец в один из дней на дворе усадьбы началась суeta. Служки косили бурьян, подметали и мыли в палатах. Потом посередине двора

вкопали два тонких и острых кола. Дверь в подвал отомкнули, и внутрь полезли ратники, впотьмах запинаясь о солому, налетая на стены и друг на друга. Венец тоже вошел и приказывал, тыча пальцем:

— Вон там татарин Исурка, а там пермич Бурмотка...

Михаил встал, чуя недоброе. Рядом поджался Зырян, незаметно накручивая на кулак цепь от кандалов. Мичкин остался все так же безучастен.

Кузнецы стали снимать с Исура и Бурмота железа. А потом стражники навалились разом, заорали, заматерились. Михаил не мог понять, что они делают, только слышал в сутолоке яростную брань Исура. Копья ближних ратников покачивали остриями у груди князя, у лиц сидевших Зыряна и Мичкина. Управившись, стражники толпой двинулись к выходу, на веревках волоча Бурмота и Исура. Оба пленника были одеты в какие-то длинные белые рубахи вроде бабьих; руки Исура были связаны за спиной, рука Бурмота прикручена к телу. Подолы рубах не доходили до колен, обнажая голые волосатые ноги. Последние ратники поднялись наверх и вновь замкнули дверь.

— Зачем это им? — хрипло спросил Михаил у Зыряна, но тот не ответил, а встал и обернулся к окну. Михаил поглядел на клочья разорванной одежды Исура и Бурмота и тоже уставился в окно.

На дворе, оказывается, уже собралась толпа. Перед двумя кольями стояли телеги. Под брань и насмешки пленников протащили через двор и заставили подняться в кузова. Бурмот остановился возле своего кола равнодушно, даже устало, а Исур шипел сквозь зубы, блестел глазами, напрягал плечи, пробуя порвать веревку, и его сбоку придерживав стражник.

Толпа завопила — в широко раскрытые ворота усадьбы начали въезжать богато одетые всадники. Когда появился высокий, худощавый человек на гнедом коне, толпа сдернула шапки, начала кланяться. Михаил понял, что это Великий князь Иван Третий.

Иван Васильевич остановил коня, повернувшись к пленникам боком. Исур и Бурмот глядели на него, возвышаясь в телегах над толпой вровень с князем. Ветерок трепал их нелепые, стыдные рубахи. Появился Венец, низко поклонился, князь кивнул. Венец стал что-то важно говорить, указывая рукой на пленников. Князь выслушал дьяка, глянул в сторону пермяков и тронул коня, направляясь обратно к воротам. Толпа и свита, кольцом охватившие князя, засуетились, освобождая проход и разворачиваясь.

В это время за спиной народа на телеги полезли ратники. Они

облепили Бурмота и Исура, приподняли и опустили вниз — на землю. Михаил услышал заглушённый гомоном тихий, свистящий, почти нечеловеческий всхлип. Одна из лошадей, впряженных в телегу, дернулась, попробовала встать на дыбы, но ее схватили под узцы и принялись успокаивать, похлопывая по морде.

Толпа расходилась, телеги отъехали, и Михаил увидел Исура с Бурмотом. Их посадили на колья. Колья торчали меж растопыренных голых ног, и по ним текла кровь. Бурмот был мертв: его проткнули косо и порвали сердце. Он обвис на колу, уронил голову. Исур был жив и медленно извивался, как раздавленная гусеница, дергался, скреб ногами землю, катал по плечам голову с окровавленным ртом — он откусил себе язык. Люди уходили прочь от казненных так, словно ничего не случилось; они пересмеивались, поправляли шапки. Маленькая дворовая собачка стояла напротив Бурмота, открыв улыбающуюся пасть, и крутила хвостом.

Михаил сполз по стене на землю. Зырян все смотрел, сипло дыша. Михаилу хотелось забиться под кирпичи, закопать себя. Как здесь все это оказалось чудовищно просто: переодели, вывели, посадили на кол, ушли... Как все это изумительно-внезапно и буднично... Как страшно. Неужели Чердынь, Афкуль, Прокудливая Береза, льды Лозьвы и боевые лоси в Пелыме, огонь Полюда, кайская полночь и битва на Искорке были в жизни этих людей? Для чего? Для гибели на этих окровавленных кольях? Для этой позорной казни, неправой, скорой и зверино-безразличной?.. Это все Венец, понял Михаил. Он мстит за те удары плетью в княжеской горнице. Он не может достать его, Михаила, но уже уничтожил главного обидчика — татарина, а с ним и безрукого пермского воеводу, тоже знавшего правду об изгнании дьяка из Чердыни.

Венец появился на следующий день. Оберегаемый стражниками, он подошел к Зыряну и Мичкину, минуя князя.

— Видели небось, как Иван Васильевич казнил главных татей — Исурку и Бурмотку? — спросил он. — На вас же Великий князь обиды не держит. Пока. Велено вам передать, и сроку на раздумья дается день, что Великий князь позволяет вам отслужить ему свою вину воеводами на дальних заставах. Храбрость вашу нам Федор Стародубский описал. Ну, а ежели не захотите воеводами пойти, то пара кольев в Москве всегда найдется.

Это была московская кара для Зыряна и Мичкина. Мичкину, похоже, было все равно, а Зырян отполз от Михаила на всю длину цепи и до темноты сидел за кирпичным столбом.

Далеко за полночь Михаил очнулся от треска полотна. Мичкин, сидя,

отрывал от своей рубахи полосы. Связав и скрутив их, он продел жгут в кольцо, к которому крепились цепи, и сладил петлю.

— Стой!.. — дернулся к Мичкину Михаил, но наткнулся на руку Зыряна.

— Не лезь, князь, — сказал Зырян. — Это ведь его выбор...

Мичкин слышал их голоса, звон цепей, но не обернулся. Он торопливо просунул голову в петлю и, встав на колени, повис в ней всей тяжестью тела. Цепи все равно не дали бы князю или Зыряну добраться до Мичкина, поэтому они молча смотрели на последние судороги пермяка. А на рассвете Зырян заговорил с Михаилом.

— Прости меня, князь, если поймешь, — сказал он. — В Искорке я разговаривал с одним мальчишкой, москвитом, который отбился от своих и оказался у нас. И так мне было легко указать ему дорогу... А сейчас сам точно так же, как и он тогда, маюсь... В общем, решил я предаться москвитам...

Зырян привалился спиной к стене, словно отдыхал после тяжелой борьбы.

— Страшно и стыдно погибнуть на колу... И рука на себя не поднимается. Нету во мне той былой силы, с которой я когда-то пошел на вогулов вместе с твоим братом и вором Васькой Скрыбой. Не надо было мне тогда идти... Потерял я тогда родину, а больше уж, видать, не найти. Верил, станет мне новой родиной чердынская земля. Семь лет прослужил тебе честно, а на земле не удержался... Да... Если уж не родной земле, то без разницы, кому служить — Чердыни ли, Москве ли. Ты прости меня, князь...

Венец пришел уже к вечеру, пьяный. Зыряна расковали, повели на волю. Венец приблизился к Мичкину, все еще стоящему в петле на коленях, глянул, шарахнулся в сторону и вдруг в досаде выхватил плетень и стегнул мертвеца.

— Ушел, сука! — рявкнул он.

Михаил остался один. Из окошка своего подземелья он видел черное небо Москвы.

...Такое же черное небо он увидел над Бондюгом — черное-черное, полное тяжелых туч. А потом на безлюдное селение, на брошенные выпасы, на часовню в разоренной священной роще и на скрюченные, голые ветви срубленной Прокудливой Березы с черного-черного неба полетел белый-белый снег.

Князь Михаил остался в подвале один. Никому, похоже, он не был

нужен, никто им не интересовался, никто не приходил, кроме служек с объедками барского стола. Михаил целыми днями стоял у окошка, глядя на двор усадьбы. За ее оградой плотники разбирали Успенский собор — старый, деревянный, много раз горевший. На его месте Великий князь хотел построить новый храм, каменный, во славу своего скорого брака. Михаил слышал разговоры дворовых и стражников, а потому знал почти все, что творилось в Кремле. Великий князь, ожененный двенадцати лет на тверской княжне Марье Борисовне и имевший от нее сына Ивана, пять лет назад овдовел. Папа Римский Павел Второй, как баба-сводница, решил заново женить вдовца на ромейской царевне Софье, дочери Фомы Палеолога. Сам Фома был царьградским императором, корону он получил от брата Константина Двенадцатого, сраженного янычаром на крепостной стене. Царьград пал, Фома с детьми бежал в Рим, где и притулился под боком у Папы. Великий князь Иван Васильевич был рад породниться с ромеями. Царьград и Рим — это не Тверь, что вечно озлобленно бурчит себе под нос. Сватовство московита длилось долго, но все же завершилось согласием невесты. Царевна Софья теперь ехала в Москву с кардиналом Антонием и толпой голодных греков. Ехала она не спеша, все лето, вот потому Великий князь и не находил времени разобраться с пермяком: надо было и Кремль, и храмы, и столицу, и войско свое в божий вид привести, да и народишко подкормить и приодеть, чтобы сквозь дыры не светил голыми ребрами. Говорят, царевна одевалась страсть как пышно и любила затейливую роскошь и важность во всем, и сама была умна, лицом ангельски прекрасна и толста, как корова.

Миновало лето, а Михаил все еще сидел в подвале на цепи. Великий князь за хлопотами так и не выкроил минутки. Московитию опять потревожили заокские татары: напал золотоордынский хан Ахмет, подбитый на разбой польским королем Казимиром Третьим и разозленный московским своеволием, спалил город Алексин. Совсем отсняла и осыпалась осень, зарядили дожди. Михаила ночами стала прохватывать стужа, от кандалов леденило ногу, и она пухла. Михаил простыл и гулко кашлял. Если не вспомнят обо мне, к снегу помру, — равнодушно думал он. Не страх смерти, не казнь — одиночество, вот что надломило его. А может, и не надломило, но что-то мертвящее поселилось в душе. Все, что когда-то волновало его, заботило, беспокоило, все отдалилось, все казалось ненастоящим, как отражение в темной и неподвижной осенней воде. Какая разница, что случится — с ним ли, с его княжением, с Чердынюю?.. Михаилу хотелось только согреться, чтобы и тело, и разум растаяли в теплом, хоть и мутном сне.

Именно в этот момент Великий князь и решил довести до конца дело с пермяком. Михаил увидел, как на подворье въехал возок коробом с рындами на запятках. Холопы открыли дверку и на себе перетащили через лужу Великого князя. В возке остался дожидаться монах в блестящей шелковой рясе — любимец Великого князя иконописец Дионисий. Значит, Иван Васильевич не собирался задерживаться в подвале надолго.

Ему поставили резную скамеечку, накрытую ковром, он сел и велел слугам и рындам выйти. Одет Иван Васильевич был по-домашнему: в мягких сапожках, в татарских шароварах и татарском халате, засаленном и закапанном воском; на голове — простенький колпачок, на плечах — бобровая шуба, испачканная по полам в грязи. Великий князь долго и пристально разглядывал Михаила, молча стоявшего у стены. Михаил оброс — грязные волосы свисали до плеч, нечесаная борода закрыла гайтан; лицо бледное, землистое; глаза запавшие, мутные; одежда рваная и сопревшая. Великий князь понял: с этим человеком можно либо сразу договориться обо всем, либо отправить его на плаху.

— Ну что, Ермолаич, — усмехнулся Великий князь, — покумекаем, как нам дальше жить?

Михаил опустил голову.

— Сразу скажу, что долгих бесед не люблю. Или ты соглашаешься и все исполняешь, как велю, или голову снимаешь. Топоры у меня готовы, а вина всегда найдется.

— Какая же за мной вина? — уставившись на гнилую солому под стеной, спросил Михаил. — Дьяку Венцу поверил?

— Венца еще на Ильин день в ров выбросили. Отдельно брюхо ненасытное, отдельно башку пустую, отдельно руку вороватую. А вина за тобой одна: что княжишь со мной в те же годы.

Михаил тоже разглядывал Великого князя: вислый красный нос и сочные губы сладострастника, холеная борода висит острым клинышком и загибается на конце крючком, и волчьи глаза: желтые, спокойные, беспощадные.

— Чего же ты хочешь? — спросил Михаил.

— Чего хочу?.. Я скажу тебе, а ты запомни на всю жизнь. Господь наш избрал нашу землю и наш народ, отдав продажный Рим католикам, а спесивый город Константина — туркам. Во всем мире мы теперь главная твердыня праведной веры. И потому Русь должна быть великой державой. И я этого добьюсь. Для себя мне уже ничего не надо — и так всего вдоволь. Пришло время Великому князю и о своем государстве печься. А нам для величия нужно единство. От княжьих уособиц я горя вволю

натерпелся. Я ведь не материнским молоком вскормлен, а солеными слезами из незрячих очей отца. Ну, и хватит усобиц в моем отечестве! Пусть сильны русские княжества, но каждое княжество — это орех, если его и не раскусят, то целиком проглотят. А я хочу из единой Руси такую глыбу сделать, чтобы все — и ляхи, и свей, и турки, и татары, — ежели ее разгрызть захотели, то зубы сломали бы, а ежели целиком заглотить — подавились бы. Я хочу всю Русь перетрясти, со всех князей шапки посшибать, вечевым колоколам языки вырвать, все народы перемешать, чтобы по всем нашим землям от Смоленска до Чердыни не было чердынцев, тверяков, московитов, не было чудинов, литвинов, русинов, а все были русские! Чтобы, коли Москве стали враги грозить, у чердынцев бы сердце захолонуло, а коли на Чердынь бы напали — московит сна лишился. Понял, князь? Руси для величия единство нужно! Единый порядок — я еще Русскую Правду допишу! — единый народ и единый князь — я! Будут еще горы из голов, и обиженные будут, но мне потомки наши поклонятся, а господь меня и так уже победами наградил.

— Мысль твоя светлая, да руки твои одна в крови, другая в чужом кармане, — сказал Михаил.

— Когда и кровь, и карман моими станут, тогда я руки и приструню, — хищно улыбнулся Иван Васильевич. — Ну что, будешь мне добром крест целовать?

Михаил подумал.

— Буду, — равнодушно согласился он.

В тот же день Михаила расковали и перевели в палаты. Поначалу он отмывался, отсыпался, отъедался, грелся. Потом пришел со счетными книгами под мышкой государев дьяк Иван Охлопьев, сели решать княжеские дела. Великий князь оказался не только лют и честолобив, но и жаден. Ясака с пермяков скостить он и не подумал, а новых повинностей положил столько, что и не продохнуть. Мало было ему ясачной пушнины — повелел весь торг с Югрой и самоедами вести через новую таможенную избу в Чердыни и всю рухлядь — в Москву, а купеческий размах ужал до мышинного хвоста. А за послушание — разор, отсечение рук, яма с цепью, ссылка, плаха. Отнял Великий князь и соляной промысел, задумав отделить Соликамский стан, где сядет воевода с дьяками, которые сочтут и колодцы, и варницы, пошлину же будут отсылать на Русь, минуя Чердынь. Всех крестьян, доныне вольных, Великий князь обязал перевести в черносошные на оброк в свою пользу, чердынскому князю дозволено было иметь лишь барщину. На что жить, на что содержать дружину, на что строить крепости?..

— Чем же мне княжение кормить? — хмуро спросил Михаил.

Охлопьев змеино улыбнулся:

— Волен, чем хочешь.

— Земля у нас не щедрая. Новое тягло пермякам не поднять будет. Решил поссорить меня с моим народом?

Но Великий князь и об этом подумал. Местным князьям запрещено стало иметь свои дружины, а точнее, приказано собирать их и отправлять на Русь служить на порубежье. Тут князыцы поневоле задумаются, что им выгоднее: иметь войско или не иметь. Самому же чердынскому князю было предписано набрать новую дружину, втрое больше прежней, и русскую к тому же. Дела делать вкупе с Соликамским воеводой, а не порознь, и платить землей: пусть множится под склонами северных гор русский пахотный люд. Все отношения с соседями отныне Великий князь брал под свою волю. На вогулов самому не ходить, брать себе воевод от Москвы. Татар изгнать. Вот так.

«Железное кольцо мне с ноги на шею переехало», — подумал Михаил. Он вспоминал о словах Великого князя. «Ни к чему мне благодарность потомков, — думал он. — За добро свои, кто рядом, должны кланяться...»

Принять присягу пермяка Иван Васильевич пожелал без шума, без толпы — в Благовещенском соборе, своей домово́й церкви. Михаил ждал под дождем, на гульбище, пока Великий князь закончит утреннее омовение и явится в храм.

Народу и вправду собралось немного — государево семейство, несколько князей и бояр, дьяки, воеводы. Службу вел сам митрополит Филипп. В храме горели пудовые свечи, огни сияли на лакированной резьбе иконостаса, на зерни шандалов, на чеканке окладов, на позолоте икон и риз. Пахло ладаном. Служба была величественна и благолепна, но Михаил почти ничего не слышал. Тоскливо, вопрошающе глядел он на огромные иконы Деисуса. Лики Феофана взирали страстно, требовательно: внемли божьей каре! Печально и раздумчиво, поверх голов, смотрели Праздники Прохора с Городца. Только рублевские образа лучились тихой, умиротворяющей радостью, затмить которую не могли ни гневные тучи, ни горестные размышления. «Великий князь Московский и прочая и прочая... — повторял про себя новый титул Ивана Третьего Михаил, — ... князь Пермский и Югорский... Югру-то ему кто подарил?»

К лицу сунулось массивное золотое распятие, и Михаил приложился к нему губами, закрепляя присягу. Золото обожгло, как перестывшее железо.

Последнюю ночь перед Чердынью Михаил ночевал в брошенной

пермяцкой деревне на Русском воже. Десяток керку притулился под ногами высокого соснового бора. Михаил не боялся тьмы, не боялся мертвецов, которые полночью возвращаются в свое жилье, без иттармы неприкаянные, не боялся духов пармы, которую он отдал москвитам.

Он проснулся от снежинок, которые сеялись сквозь белесо светившиеся щели меж заиндепевших бревен: за стенами мела первая метель больших холодов. Михаил шагал дальше, к Чердыни, по пустой белой дороге, над которой громоздились сизые, узорные ельники. В лощине дорогу черной стрелой пересек ручей. Михаил присел напиться парящей ледяной воды родины. Все замерзло — леса, города, реки, и человек замерзал ночью без огня, а вот не замерзал лесной кипун, и без того студеный... Михаил пошел дальше.

«Я верю во Христа и, значит, должен покориться руке, ударившей меня», — думал Михаил. Он вроде бы и покорился, но в углях души все еще тлела малая искорка, искорка Полюда, задуть которую могли, наверное, только ветры великого бога Войпеля, Северное Ухо, ветры пермских богов судьбы, а судьбе покорялись все — и обиженные, и обидчики. А может, эту искорку и вообще никто не мог погасить.

С опушки, с выпасов открылась занесенная снегопадом Чердынь на холмах над Колвой. У Михаила заболела душа. Три уцелевшие башенки острога стояли, словно три царевны на острове из давней сказки. Михаил шел дальше по дороге, которая вела к воротам Спасской башни. Следов на дороге не было. Кому нужна дорога к воротам, если не осталось стен?

Похоже, в одной из башен кто-то жил. Из окошка торчала долбленая труба дымохода пермяцкой печки-чувала. Из трубы лоскутьями на ветру срывался легкий дымок. Михаил поднялся на вал и прошел сквозь башню, мимо сорванных Спасских ворот — будто бы стены крепости, незримые, стояли перед ним по-прежнему.

У входа в жилую башню на чурбаке сидел без шапки Калина и топором щепил лучину из полена — живой Калина, будто он и не падал с обрыва Искорской горы.

— Здравствуй, князь, — весело сказал он.

— Я не князь, — ответил Михаил.

Глава 26

Горе княжения

Этой весной княжичу Матвею исполнилось двенадцать лет, и отныне он решил жить своим умом. Летом по Колве, как паводковая вода, докатилась до Дия страшная весть о разгроме пермяков под Искором. Матвей случайно подслушал, как дийский шаман нашептывал в керку старшине: почто нам княжки дети? Отец в полоне, мать-ведьма сбежала... не навлечь бы на Дий беды от московитов... Ночью Матвей забрал с берега чью-то лодку и в одиночестве уплыл в Покчу, в стан князя Федора Пестрого.

Матвей жалел мать, любил ее страстно и зло, стеснялся своей любви, дерзил матери, но кидался на всякого, кто называл ее ведьмой и ламией, хотя и знал, что это правда. Рослый и крепкий, гневливый, в бешенстве поматерински дичавший, он кулаками, камнями и палками разбивал обидчикам лица, ломал пальцы, прошибал головы. Мальчишки-ровня и отроки постарше Матвея боялись и ненавидели. А с отцом у Матвея любви не получилось. Между ними всегда стояла незримая стена отчуждения, тонким ледком затянувшая глаза князя. Матвей не хотел, да и не мог понять и принять тяжелое и немое ожидание беды, застывшее во взгляде отца. Он чувствовал тепло, исходящее от князя Михаила, но отворачивался от этого тепла: ему не нужны были угли, ему был нужен яркий и жаркий костер. Отцовой отрадой была сестра Матвея — княжна Аннушка, Нюта. Но отцова кровь дала Матвею умение терпеливого, звериного, бесконечного ожидания — неподвижного, но полного сжатой силы.

В Искоре Матвей Пестрого не застал. Князь ушел в Покчу, объявленную им новой столицей Пермской земли. А Покчи Матвей не узнал. Куда-то делась, словно провалилась под землю, подобно городищам Чуди Белоглазой, ветхая крепостица князя Сойгата. На ее месте стоял русский острог с частоколами на валах, с приземистыми островерхими башнями, с новыми избами за тыном. Только приглядевшись, Матвей понял, откуда все это взялось: и валы были старые, лишь подсыпанные поверху; и новые светлые бревна заплотов перемежались старыми серыми кольями; и на башенных венцах темнели зарубки от тех времен, когда эти венцы были стенами покчинских керку. Вместо обширного покчинского посада вокруг городища теперь вокруг русского острога раскинулся горелый пустырь с головнями и ямами. Только через маленькую Кемзелку

перекинули на сваях новый мост.

Когда явился Матвей, пленников уже отослали в Москву. Княжич прошел прямо к дому Пестрого, обеими руками яростно оттолкнул с дороги стражника, поднялся в горницу. Пестрый дремал на лавке, укрывшись овчиной. Он привстал и хмуро поглядел на мальчишку.

— Ты кто? — спросил он.

— Князь.

Пестрый сразу все понял.

— Коли князь, значит, воин. А коли воин, живи в гриднице, — сказал он и повалился обратно.

Матвей стал жить в гриднице, заняв лучшее место, место сотника — у чувала. Его не решились прогнать.

В Покче стояла новая пермская дружина, созданная Пестрым из своих ратников взамен дружины князя Михаила. В ней было две с половиной сотни воинов, расселенных по большим избам острога. Ратники — и молодые парни, и дюжие мужики, и почти старики с лысиной под шоломом — потихоньку пообвыклись с нелюдимым княжичем. Попробовали его приручить, задобрить, попытались сделать его кутенком для веселья, мальчиком на побегушках или, оказывая уважение, ратным отроком, сыном полка, — ничего не вышло. Матвей остался чужим.

Однажды угрюмый мужик, которого все побаивались, вологодский десятник Никита Бархат, вернувшись из караула злой и промокший, сел на свои нары, стащил сырые сапоги и швырнул их Матвею: просуши. Княжич пнул сапоги обратно.

— Ну, щ-щенок, — сказал Бархат, — отцу рога отшибли, и тебе...

Он не успел договорить — Матвей пересек гридницу и сразу ударил Бархата в зубы. Никите на плечи навалился сзади молодой ратник Вольга — чтобы Бархат не выдернул меч.

— Жди, и тебя на цепь посадят, — стряхивая Вольгу и вытирая кровь с усов, сказал Матвею Бархат.

Другой раз за общим столом, пока вечеряли, парни затеяли разговор про ведьм.

— А брешут, что и пермская княгиня... — начал было один.

Вольга перехватил руку Матвея, рванувшуюся к ножу.

— Думай, дура, чего говоришь, — в повисшем молчании тихо сказал Вольга. — Кончай, мужики, мальчика травить. Вас бы на его место... А ты, княжич, не больно-то в топоры бросайся. Мы здесь все равны.

Матвей помощи Вольги не принял, дружбу отверг, но ратника запомнил. Был тот молод, но глаза — старые-старые. В гриднице Вольгу

уважали.

Осенью пришло из Москвы известие, что Великий князь Иван Васильевич решил дело Перми: пермские князья-пленники разосланы воеводами на дальние русские рубежи, а Михаил Пермский целовал крест и скоро вернется. По первому снегу к Покче приехали афкульские татары. Новый шибан Мурад боялся, что по приказу московского князя князь Михаил начнет изгонять татар, а потому решил задобрить Михаила заодно с Пестрым. Но Пестрый Мурада не принял, и татары остались ждать Михаила.

Едва услышав о татарах, Матвей пошел искать их табор. Татары встали поодаль от Покчи на берегу Колвы. Десяток войлочных юрт был обнесен колышками с красным шнурком. Табор казался пустым: сам шибан со слугами спал после трапезы, жены и рабыни чистили казаны на реке, рабы-мужчины отправились за дровами.

Матвей перешагнул алый шнурок и пошел между юрт, еще сам не зная зачем. Но вдруг на его пути оказалась девчонка, словно выскочившая у него из-под ног.

— Ты зачем пришел? — спросила она. — Сюда нельзя!

— Это моя земля, — хмуро ответил Матвей.

— А ты кто?

— Князь.

Девчонка с сомнением оглядела Матвея. Она была старше его года на два, русская, но волосы ее были заплетены в мелкие татарские косички. На девчонке мешком висел большой, не по росту, расшитый и богатый халат.

— Князя не такие, — сказала девчонка.

— А какие?

— Князь на коне, в кольчуге, в шапке железной, на боку меч, глаза как молнии. Усы и борода — во! — Девчонка широко развела руки.

Матвей усмехнулся портрету отца.

— Я сама видела князя, правда!

— А ты кто?

— Я жена шибана.

— Врешь.

— Младшая жена... но самая любимая, — поправилась девчонка.

— У татарского шибана русская жена?

— У него всякие жены! И персиянки, и бухарские, и... всякие!

— И он везде их за собой таскает?

— Везде.

— А как тебя звать?

— Маша. — Девчонка покраснела.

Матвей развернулся и пошел прочь.

— Пстой! — закричала Маша. — Ты еще придешь?

— Приеду, — буркнул Матвей.

— Приезжать с подарками надо!..

— С какими подарками? — удивился Матвей, оборачиваясь.

Маша плясала на месте — замерзли босые ноги.

— Шибану саблю надо подарить или седло, а женам его ленты, или бусы, или платья, платки, или сережки в уши, или колечки, можно просто монету золотую...

— Обойдетесь, — ответил Матвей, но Маша не расслышала его и крикнула вслед:

— А лучший подарок дарят любимой жене!..

Откуда ему взять эти подарки? У него ничего нет. Матвей решил больше не ходить к татарам.

Вскоре Покча узнала, что в Чердынь вернулся князь Михаил. Он поселился в башне сгоревшего острога вместе с храмоделом Калиной. Эта весть сдавила злобой сердце Матвея. «Лучше бы отец пропал в дороге, или был казнен в Москве, или погиб на Искоре, — думал Матвей. — Все лучше, чем возвращаться сюда побежденным...» Княжич не пошел в Чердынь, а ждал отца в Покче, как и вся дружина. Никто не увидел, насколько тяжело ему знать то, что отец рядом, насколько тяжело иметь такого отца.

Князь Михаил должен был явиться в Покчу к Пестрому в день Николы Зимнего. С утра над Колвой мела пурга, но к полудню она поредела до легкой поземки. Народ толпился на валах, у моста через Кемзелку, глядел на белую дорогу, ждал. Чернели на белых полях еще не заваленные снегом ельники, чернела стылая Колва, чернел острог, даже небо в промоинах меж тусклых облаков было черным. Князь все не ехал, дорога была пуста, только издали шагал по ней пеший человек, прикрывая от ветра лицо воротом зипуна.

Матвей догадался первым, развернулся, продрался сквозь толпу и побежал прочь. Его нашли в гриднице, привели в горницу к Пестрому. Отец уже сидел там, вытянув ноги в рваных и мокрых сапогах. От его холопского зипуна на лавку натекло воды. Матвей с неподвижным лицом уселся в стороне.

Пестрый вошел в сопровождении нового человека в длинной черной рясе и со Стефановским посохом в руке. Человек был высок, худ и очень

сутул. В его подвижном лице было что-то собачье: улыбчивое и умное, но хищное.

— Познакомься, князь, — сказал Пестрый, брезгливо рассматривая Михаила. — Это новый владыка, епископ Филофей. Небось наслышан.

Михаил не полез целовать руку и крест, только поклонился. И Филофей не стал чваниться, ответил сдержанным мирским поклоном.

— Не по чину вырядился, князь, — заметил Михаилу Пестрый.

— Зато по чести.

Пестрый подергал губами, словно примеривался к словам.

— В любовь нам с тобой играть нечего, князь Михаил, — решительно начал он. — Потому давай сразу о делах. Новый порядок княжения в Москве тебе уже разъяснили — знаю. Пермским князьям я волю Москвы передал. Тебе остается лишь ясак собирать. Книги ясачные по новому уставу заведи. Дружину я тебе оставляю. Люди в ней бывалые, добровольные. Кто за выгоду решил здесь служить, кто за славу, кто за укрытие от былых грехов, ну, а кто и по дури. Воеводить пока что сам буду, а как уеду — поставь Никиту Бархата. Или Максима Корытина. Пермяков не принимай. Запомни: дружина тебе не для ратных походов дадена, а для узды на своих же князьцов. О походах не помышляй, незачем это.

— А вогулы?

— О вогуличах можешь не тревожиться. Держи заставу, и хватит. Скоро Асыка помрет, его место займет Течик, а он с Калпаком крест Ивану Васильевичу целовал.

— У Асыки сын есть, Юмшан, да и с чего это Асыке скоро помирать?

— Стар он, — небрежно пояснил Пестрый, и Матвей глянул на отца: кому московский князь вздумал рассказывать о вогуле? Но Михаил сидел неподвижно, глаза опустил. — Асыка еще святителя Стефана видел, а это почти сотню лет назад было. Велик век, но не бесконечен.

Михаил не возражал, молчал.

— На Святки я в Усолье поеду, — продолжал Пестрый. — Там дружину соберу, воеводу поставлю. Та дружина, конечно, под твоей рукой будет, но шибко ты на нее не надейся. Следи, чтоб воевода не заворовался, в Москву доноси. На будущий год по вешней воде пойдешь со мной Афкуль изгонять, если к тому времени афкульские татары сами не уберутся. Здесь, у Покчи, ихний шибан табором стоит — знаю я, начнет тебе золото сулить, чтоб ты его не трогал. Не вздумай соблазниться! Татарам здесь не быть, сам Иван Васильевич повелел. И вот только после Афкуля я отсюда уеду. Князь дальше сам, дел у тебя много.

— Дел много, да ты их все переделал.

Пестрый хмыкнул.

— А я привык за собой пустое место оставлять, — сказал он и улыбнулся так, что Матвею сделалось холодно. Матвей словно наяву увидел это пустое место за спиной Пестрого: поля, усыпанные мертвецами, сожженные города...

— Столицу твою я сюда перенес, — добавил Пестрый и чуть притопнул ногой. — В Чердыни столице не бывать. Чердынь — это непокорство. Так что тебе нужно сюда перебираться.

— Нет, я из Чердыни никуда не уйду, — спокойно возразил князь Михаил, и Пестрый удивленно уставился на него.

— Это почему же? Бунтуешь?

Михаил покачал головой. Матвей во все глаза смотрел на отца, словно подталкивал его: «Встань, скажи: „Пошли вон! Я князь!“»

— Свое я уже отбунтовал, — сказал Михаил, и взгляд княжича потемнел от ненависти и стыда, «Трус! Червяк раздавленный!» — беззвучно кричал Матвей отцу, — Здесь, в Покче, и без меня князей хватит. Что ж, властвуйте. Ты, князь Федор, к пустому месту привык, а я к свободе. Не могу я в свою душу чужую волю вставить, будь она хоть трижды московская. Княжьте без меня. Если вам имя мое понадобится — вот, сына оставляю. А сам уйду. Буду жить в Чердыни. Просто жить.

— Отрекаешься? — быстро спросил Пестрый.

— Была мысль, — кивнул Михаил. — Но я ее еще не додумал. Пока подожду. Княжеское звание мне бог даровал, негоже мне бога поправлять.

— Ты его делами своими поправляешь! — вдруг подал голос епископ и стукнул об пол посохом. — Гордыня тебя заела!

— Да хоть вша, — равнодушно отмахнулся Михаил. — Ну, давайте завершать наши посиделки. Темнеет уже, а мне десять верст обратно мимо волчья топать. Я вас послушал, вы — меня. Ничего нам не изменить друг в друге, да и незачем. Останемся при своих. Бывайте здоровы, государи...

Михаил встал, поклонился, нахлобучил шапку и пошел в сени. Матвей смотрел отцу вслед и, сам того не замечая, щипал и драл мех беличьей опушки кафтана. Отец был жалок, но что-то в нем оставалось непонятное княжичу, отчего Матвей сейчас не жалел, а ненавидел отца. «Тебя разбили! Разбили! Тебя победили, трус! Тебя сломали! — Ненавистью княжич глушил свой стыд. — Я не хочу знать такого отца! Ты не князь, а хорек! Я таким не буду!»

Быть настоящим князем, воином и победителем — только этим Матвей с его яростной дедовской и материнской душой и мог ответить людям и

всей несправедливости своей еще короткой жизни. Он уже знал, что княжество их — самое дальнее, бедное и захудалое на Руси, а род ничем не велик. Пермские же князьцы своими предками звали Войпеля и Ена, великих канов, богатырей Перу и Кудыма, могучих медведей, росомах, лосей, тайменей. Отец был далек и не мог поддержать сына, а мать была сумасшедшей и убегала в леса. Взрослые пренебрегали княжичем, потому что он был крещен, потому что отец его был беден, следовательно, глуп, к тому же мужской силы ему, видать, не доставало, чтобы выбить из жены злого духа. Мальчишки-ровня боялись Матвея за крепкие кулаки и ведьму-мать. Судьба отняла у княжича обоих людей, кто был добр к нему и кого он полюбил, — Полюда и Бурмота. Стать настоящим князем — только это и могло покрыть позор и нищету жизни княжича.

Матвей ненавидел Пестрого за то, что тот покори́л его княжество и разбил отца, но остался жить рядом с ним, чтобы дышать воздухом победы. А отца Матвей начал презирать. Он таким не будет. Он вырастет и станет настоящим князем.

Но расти надо долго, а князем хотелось быть сейчас. На следующий день Матвей вошел в горницу Пестрого, пока князя не было, открыл сундук и вытащил кафтан, украшенный соболями, золотом и самоцветами. Здесь, в Перми Великой, Пестрый надел его только два раза: когда освящали часовню в Бондюге на месте срубленной Прокудливой Березы и в день сражения на Искорке. «Небось больше некуда надевать, всех уже победил... Значит, не заметит», — зло подумал Матвей и, не колеблясь, сорвал с кафтана золотую пуговицу с яхонтом.

На покчинском валу он высмотрел, что шибан Мурад куда-то поехал с ратниками, вывел из конюшни коня Вольги и поскакал в табор. Порвав конем алый шнур ограждения, Матвей остановился у юрты шибана. К нему со всех сторон уже бежали слуги, рабы, стражники. Татарин в броне и с мечом взял коня под уздцы.

— Ты кто? — спросил он.

— Я Матвей, пермский князь! Мне нужен Мурад!

— Шибан поехал на охоту, его нет.

Матвей с высоты седла оглядывал табор. Вроде бы все повылазили из юрт, а Маши, младшей жены шибана, Матвей не видел. В досаде он оттолкнул татарина ногой и тронул коня обратно, но сразу за табором и увидел девчонку — она с ведром шла от реки.

Маша просияла при виде княжича, бросилась к нему, расплескивая воду.

— Так ты и вправду князь? — тараща синие глазища, радостно

спросила она, глядя снизу вверх. — Ты к шибану приезжал, да? А где подарки?

Матвей вынул из-за пазухи и пренебрежительно бросил ей пуговицу с яхонтом. И сразу пустил коня вскачь, не слушая, как девчонка кричит вслед: «Князь!...» — и еще что-то. Теперь Матвей был собою доволен.

Когда через несколько дней Матвея позвали к Пестрому, он решил, что кража его открылась. Сердце у княжича заколотилось тяжело и часто, лицо побледнело и стало неподвижным. «Пусть хоть режут — не сознаюсь», — угрюмо сказал себе Матвей. Но звал его не Пестрый — звал епископ Филофей.

Он сидел в горнице княжьего дома, тяжело опершись о посох, и кивнул Матвею на соседнюю лавку.

— Хочу поговорить с тобою, но не как с отроком, — раздумчиво начал он. — Надо бы мне называть тебя князем... Ты не против?

— Не против, — хрипло согласился Матвей.

— Не долго нам осталось делить власть с князем Федором Пестрым. Чую, скоро он уедет. Кто ж тогда будет править землей? Земля без князя не стоит. Отца твоего разбили, и он потерял уважение пермяков. Кому же нести венец? Тебе, больше никому. Поэтому я и называю тебя князем.

Матвей внимательно взгляделся в опущенное лицо Филофея — печальное, озабоченное, доброе. Филофей не лукавил.

— Тебе ведь придется княжить труднее, чем отцу. Он сумел приручить пермяков миром. Но Москва разрушила этот мир, наплевала пермякам в душу, отняла войско и увеличила дань. Миром уже нельзя вернуть пермяков под твою руку.

Матвей и не хотел княжить миром. Мирное княжение — бесцветное, трусливое, скучное, совсем не славное. Он слышал историю про то, как отец обязал ясаком Искор, но разве ж это победа, разве ж это подвиг — постоять напротив вражеского войска и повернуть восвояси, даже если цели своей достиг?

— Я покорю пермяков мечом, — твердо сказал Матвей.

— Нет, — Филофей грустно покачал головой. — Это невозможно. Невозможно покорить людей, живущих в лесах, которых ты не знаешь, и владеющих таким же, как у тебя, оружием. С помощью меча тебе князем не стать.

Он замолчал. Матвей поспешно соображал, что ему ответить, но ответа не находил.

— Да и зачем тебе править своими мечом? Меч тебе крепко понадобится для других дел, ведь вокруг столько врагов — вогулы, татары,

башкиры, новгородцы, вятичи... Своими людьми ты должен править так, чтобы они тебе пособляли, а не противились. И с ихней помощью ты одолеешь врагов и добудешь себе великую ратную славу.

— Так что же ты мне хочешь посоветовать? — сердито спросил Матвей. Он чувствовал, что своими рассуждениями епископ огородил его со всех сторон, оставляя только один выход. Но какой? Филофей пока умалчивал, и Матвей разозлился.

— Князь Михаил создал свои правила княжения, по-своему умные. Пермские князья собирали со своих увтыров ясак, большую и лучшую часть брали себе, остальное же отдавали Михаилу. За это он был им щитом. Он прогнал Новгород, держал в отдалении Югру, не пускал в парму Москву. Но он не правил пермяками — пермские князья правили своими людьми сами. Они не захотели — и не допустили к себе Христа, сохранили кумирни, укрыли многие и многие свои сокровища, не раздружились с татарами, дружить с которыми им было выгодно и надежно. А теперь порядок, который учинил твой отец, рухнул под ударами московитов. Тебе надо строить новый порядок, уже иной, покрепче. Хочешь, я научу тебя, как это сделать?

— Зачем тебе это надо? — подозрительно спросил Матвей.

— Мне жить рядом с тобою и под твоей рукой. Твоя сила — это мое спокойствие. Разве я не прав?

— Сила отца тоже была спокойствием пермских князей, и что?

— А ты умный отрок. — Филофей одобрительно улыбнулся княжичу. — Значит, пермские князья дали твоему отцу мало силы.

— А ты дашь больше?

— Больше.

— Отчего это?

— Оттого, что Христова церковь богаче и сильнее князьцов.

— Хочешь, чтобы я правил из-под рясы?

Филофей довольно засмеялся:

— Молодец! Ты все понимаешь, Матвей. Давай тогда начистоту. Я предлагаю тебе союз. Тебе нужны победы и слава, а мне — мне, а не церкви! — нужна власть. Если у меня будет власть, я дам тебе все: войско, оружие, деньги, припасы; я закрою тебя собой от Москвы. Богатство татар велико, а земли за Камнем бесконечны — иди, воюй, добывай славу, забирай себе все! А я буду следить за порядком в твоей вотчине, опираясь на твою силу. Я могу даже не мелькать перед твоими глазами — сяду тихонечко в Усть-Выме. Правь сам! Ну, как тебе такой уговор?

— А что за порядок будет в моей вотчине?

— Я лишу власти пермских князей — с твоей помощью, конечно. Ты вели отныне собирать ясак не им, а храмам в их увтырах, которые еще надо будет построить. Назначь вдвое высокий оброк, чтобы всегда иметь возможность скостить его и тем умиротворить пермяков. Вели порубить идолов и изгнать шаманов, чтобы никто не сказал пермякам правды об их положении; чтобы пермякам не за что было уцепиться, коли они захотят бунтовать; чтобы отныне пермяки знали и почитали одного только русского бога. Не слушай Москву, забирай в свою дружину сыновей пермских князьцов — они будут аманатами, заложниками. Изгони татар, чтобы пермякам неоткуда было попросить подмоги. Только такой порядок даст силу твоему княжению. Если ты сделаешь своей опорой меня, ты получишь и единый народ, и защиту от Великого князя, ведь коли он попробует наложить на тебя опалу, то сразу столкнется с митрополитом. Если бы твой отец дружил с епископом Ионой, то никогда бы не появился здесь Пестрый.

Матвей глядел, как епископ оживляется речами, и это ему нравилось. Епископ разговаривал с ним как равный, предлагал жизнь яркую и славную, не отягощенную скучными заботами. Матвей не размышлял, какую опасность могло таить в себе предложение Филофея. Он был неопытен, а потому, когда хотел есть, съедал все и лишь потом соображал, чем же его накормили.

— Я согласен, — твердо сказал Матвей. — Рыться в сундуках, слепнуть над ясачными книгами — это не по мне. Я хочу быть воином.

— Что ж, тогда ступай, князь, — облегченно сказал Филофей. — Готовься. Сначала нам надо дожидаться, когда же отсюда уберется Пестрый. А он уберется, когда уйдут татары. Думаю, ты сам знаешь, чего отвечать татарам, когда они захотят уговорить или купить тебя, чтобы ты дозволил им сохранить Афкуль с Ибыром.

Весь вечер, охваченный бурными мечтами о своем будущем, княжич ходил по заснеженному валу Покчинского острога, глядел на Колву, на леса, на дальние темные горы, из-за которых поднимался угрюмый ночной мрак. Но перед стеной мрака светлел гребень Полюдовой горы, и Матвею чудилось, что он видит на вершине огромного всадника в броне, с поднятым над головой мечом — это был он сам, пермский князь Матвей.

Следующим днем из татарского табора пришел гонец и, кланяясь, позвал Матвея в гости к шибану.

Шибан встретил Матвея возле юрты, согнулся, прижимая руки к сердцу, придержал стремя, пока Матвей спешивался. Вокруг шибана толпились ратники, слуги, рабы, а за спиной Мурада Матвей увидел Машу,

сиявшую от счастья и восхищенно глядевшую на него.

В своей юрте шибан усадил Матвея на кошму, сам поднес пиалу с мутно-белой бузой из кумыса. Матвей не стал пить — он и так был пьян сознанием того, что в глазах всех прочих он — пермский князь.

— Много лет мы, татары, и вы, русские, жили на этой земле дружно... — начал шибан.

Матвей не слушал его, разглядывал юрту, ковры, развешенное оружие, посуду, самого шибана — крупного, грузного, еще не старого человека с косичкой бороды, в роскошном халате и меховой шапке, похожей на лодку, с хитрыми и злыми глазами на жирном лице, с перстнями на пальцах, неподвижно держащих дорогую фарфоровую чашу. Шибан говорил о небесной чистоте помыслов своих предшественников — Мансура и Исура; сетовал на жестокость князя Пестрого и равнодушие Михаила, отошедшего от дел; клялся в любви, призывая аллаха; сулил удачу и выгоду от дружбы с ним; жаловался на пренебрежение хана к нему, одновременно намекая и на месть Казани, если пермяки изгонят татар. Матвей, по внушению епископа, давно уже решил, что татарам в Перми не быть, а потому не вникал в слова Мурада. Он приехал к шибану только для того, чтобы потешиться сладостью княжения.

— Не мне решать за старших — князя Федора и князя Михаила, — смиренно ответил Матвей, в душе наслаждаясь самоуничижением: ведь он считал себя в Перми выше всех, а шибан переубеждает его в его еще большем величии.

— Ты слишком низко ставишь себя, князь Матвей, — пел шибан. — Чего бы ни повелели те князья, что старше тебя летами, исполнится лишь то, чего пожелаешь ты. И на земле, и в небе здесь царит твоя воля. Не было бы пределов моей благодарности, если бы я смог жить подле тебя. Окажи мне милость — я стану твоим данником на век, буду целовать следы твоих ног и с радостью отдам тебе все, что захочешь, — оружие, золото, камни, меха, коней... И это не ложь! Вот, в знак моей честности возьми то, что я мог бы утаить, ведь за такую вещь можно купить десяток рабов, но я хочу, чтобы ты увидел честность шибана Мурада. Эту вещь моя ясырка украла у вашего князя.

Мурад протянул Матвею драгоценную пуговицу с кафтана Федора Пестрого. Матвей обомлел.

— Ясырка?.. — растерянно спросил он. — Раба?

— Раба. У меня много и рабов, и рабынь — даже русских. Пойдем, я покажу тебе.

Мурад взял Матвея за руку, как маленького, и откинул полог.

Смеркалось; хлопья снега падали на юрты, на толпу посреди майдана, на пылающее лицо княжича.

Люди расступились. На снегу стояла скамья, к которой за руки и за ноги была привязана навзничь растянутая Маша. Над ней с плетью стоял голый по пояс, красный от мороза кат.

— Сейчас ее накажут за воровство, — сказал Мурад, положив руку на плечо княжича и глядя ему в глаза. — Но если ты захочешь, то можешь забрать себе ее, и всех русских рабов тоже, ведь если мы будем жить рядом, негоже мне иметь в полоне твоих людей. Твой отец забрал себе русских рабов у шибана Мансура, когда оказал Мансуру услугу...

Матвей понял, какую сделку предложил ему шибан. Он мгновенно побледнел, как перед дракой. Ком бешеной ненависти вспух в груди, сдавливая сердце. Этот татарин решил, что он, пермский князь, может продать свою княжью волю, как краденую шапку? Он думает, что Матвей — отрок, еще не мужчина, который за слезы девчонки отдает свое право? Он думает, что пермского князя можно чем-то купить, сломить, принудить к чему-то? Эти русские рабы шибана — его, Матвея, люди на его же земле, и он лучше изгонит татар, ограбит, убьет, но не признает их власти над собой и не заплатит им ни гроша.

Мурад кивнул кату, и тот, наклонившись, задрал на девчонке богатый халат, заголая тело — посиневшее от холода, покрытое гусиной кожей. Толстая старуха-рабыня опустилась на колени, окутала подолом халата голову девчонки, обняла, точно защищала собой. Свистнула плетью, и на впалых девчоночьих ягодичках вспыхнула багровая полоса. Сдавленный крик, плач вырвались из-под руки рабыни, из-под халата на голове; плечи и ноги дернулись в ремнях.

Матвей смотрел, как секут Машу, остановившимися, тусклыми глазами. Разогреваясь движением, кат радовался, бил с оттяжкой. Кнут рвал живое, бьющееся тело, разбрызгивал по снегу кровь. Матвей простоял до самого конца порки, дождался, пока бесчувственную девочку завернут в кошму и унесут, а потом вернулся в юрту к Мураду и выпил с ним пять чашек бузы, не хмелея, как дюжий мужик. Шибан сам не выдержал своего испуга перед этим мальчишкой с каменным сердцем и глазами шайтана — сделал вид, что упился, и повалился на ковер. Матвей встал и ушел, вскочил в седло, понесся в снежное поле.

Под страшными кровавыми позарями северного сияния он выл и катался в снегу. А потом поднялся на ноги, вернулся в острог, бросил коня у коновязи и пошел обратно в татарский табор.

Стражник в длинной волосатой шубе опасно отступил с его пути. Но

княжич не свернул в юрту Мурада, прошагал в конец табора, где торчала юрта ясырей — старая, худая, облезлая. Он откинул полог и вошел внутрь.

Вдоль стен, завернувшись в тряпье, шкуры и обрывки кошм, тяжело спали рабы. Было тепло и смрадно. Посередке тлели угли очага. Рядом — ничком, как и на скамье, — лежала голая Маша. Толстая старуха с распущенными косами втирала ей в черные, вспухшие рубцы какое-то снадобье. Девочка, видно, была без сознания.

— Полог-то задерни, лампаду загасил, — пробормотала старуха без всякого удивления, словно и ожидала княжича.

Матвей подошел ближе, с отчаяньем глядя на Машу.

— Срам на девку нагую смотреть, да смотри, — тихонько продолжала старуха, не поднимая головы. — Смотри да запоминай, какую муку она за тебя приняла, голубка моя... Не наше, не рабье дело это — в князей влюбляться... Не поверила она мне, коряге старой, поверила птичьему своему сердечку... Вот и растоптал ты сердечко, а над телом вслед за тобой татары надругались...

Матвей не умел сказать: «Простите меня», — не мог встать на колени, и потому молча, неподвижно стоял над старухой и девочкой.

— Она... выживет? — наконец хрипло спросил он.

— Молодая, живучая — выживет... Да уж лучше бы померла. Ты да ирод твой Пестрый прогнали татар из Афкуля на Обве... Татары до лета жить пойдут на Сылву, в Ибыр. А летом там всех нас продадут кого куда. Хорошо, коли купит ее какой вогулич или остяк — эти, говорят, добрые... добрые, да бедные. А попадет бухарцам, или кипчакам, или в башкирский улус, или, не дай боже, в Чинги-Туру — пропала головушка, загубят и даже не похоронят по-человечески...

— Я... я выкуплю ее летом в Ибыре, — вдруг горячо зашептал старухе Матвей, и по лицу его, обжигая, потекли слезы. — Я всех вас выкуплю... Я княжеское слово даю... Я женюсь на ней, она княгиня будет...

Старуха отставила плошку с мазью, бережно укрыла девочку кошмой, достала бесчувственными пальцами уголек из очага и, закряхтев, поднялась. Она медленно обошла Матвея, как пень, и стала разжигать лампадку под иконой, висевшей на стене юрты.

— Уходи лучше, внучок, — равнодушно сказала она. — Или тебе своего горя мало, что ты князем родился?

Глава 27

Пелино поле

В крещенские холода бревенчатая башня промерзла насквозь, как колокол, — она даже чуть гудела на ветру. Шатер изнутри обметало инеем, венцы обросли толстой, колючей шубой изморози, сгущавшейся в углах мягкими наплывами. Глинобитная печка Калины тепла давала едва-едва, да и оно все уходило вверх по ледяному колодцу башни и растекалось в прозоры сквозь частые зубья сосулек.

Михаил так и остался жить на пепелище — в башне, вдвоем с Калиной. Его, в общем, никто и не звал к себе, хотя никто бы и не закрыл дверей — даже настоятель Дионисий или сам князь Пестрый, не говоря уже о пермяках или русских насельниках. Но Михаил сам не хотел идти к людям. В сгоревшей крепости, призрачно встающей вокруг него по ночам, ему было легче.

Он потерял все — и власть, и уважение; потерял дом, город, жену, всех друзей, кроме Калины, и всех врагов; потерял даже сына, княжившего в Покче из-под руки Пестрого его именем. Сначала он держался, ощущая на себе людские взгляды, пусть даже и не сочувственные, а равнодушно-любопытные. Но зима разогнала всех по домам, и вокруг не стало никого. Тогда Михаил сломался. Он занемог и теперь лежал в жару, в бреду, ничего не видя и не узнавая Калины.

Время догнало его и навалилось всем своим диким ужасом. В растопленной зноем памяти всплывали картины, и все в них было красным: над красными лесами вздымалась гребнем красная гора, словно огненный ящер Гондыр; красные люди сражались красными мечами, и их янтарный блеск иглами колол вздрагивающие яблоки распухших, закрытых глаз; на красном поле на красных колях корчились красные мертвецы.

Михаил умер бы, если б не Калина. Калина пришел с каким-то мужиком, завернул князя в шкуры, перевалил на волокушу и увез из башни в дом. Только после нового года, в марте, остуженный ледяными пузырями и настоями горьких трав, Михаил пришел в себя.

Он понял, куда перетащил его Калина. Весной, перед нашествием московитов, в Чердынъ пришел беглый мужик с Руси. Пришел босой, драный, обросший. Из всех вещей при нем был только мешок из лосиного брюха, в прорехах которого тускло отблескивали золотые побрякушки. Мужик сразу направился в монастырь и заперся в келье с отцом

Дионисием. Он сторговал у настоятеля луг по Колве ниже Чердыни, сторговал лес и работников. Пока Михаил дрался с москвитями, на пустынном берегу вырос огромный дом.

Таких домов, как этот, в Перми Великой еще не было. Такие дома стояли только на коренной Руси. Двухъярусный, выстроенный глаголем, он под своей крышей вмещал и службы — конюшню и коровник с сенником, амбары, дровяник, хозяйственные клетки, баню. В высокую ограду усадьбы были заведены колодец, погребцы, гумно, овин с очагом, широкие вешала. В такой домине могла жить целая семья в три поколения, а хозяин жил один. На дремучий лес смотрело просторное резное крыльцо, санный след не вел в запертые ворота, плахи взвозов не оббились лошадиными копытами. Нелюдимый, звероватый пришелец отпугивал всех от себя, как леший. Он и поселился на отшибе, чтобы его — и луг его — обходили стороной. Этот луг звали Пелиным полем, а мужика — Нифонтом.

— Се человек, — с усмешкой, но значительно сказал Калина, указывая лежащему на лавке Михаилу на хозяина.

— Здравствуй, Нифонт, — сипло сказал Михаил костистой спине склонившегося над столом хозяина. — Спасибо за приют...

— Здрав будь, князь, — не дрогнув, прогудела спина. — Бога благодари...

Первые дни Михаил был слаб, не поднимался. Он лежал и грелся у печи, первой настоящей печи Перми Великой. Поставленная на опечье из могучих плах, она была сложена из кирпича, битого здесь же, на Колве. Кирпич получился плох — сыпался песком, и печь сложилась неказисто, кособоко, да еще и лопнула от жара, но все же это была первая настоящая печь, а не чувал.

Неугомонный Калина редко бывал дома, все бродил по лесу, охотился или гостевал то здесь, то там. Михаил подолгу оставался с Нифонтом с глазу на глаз. Нифонт всегда молчал и всегда чем-то занимался — щепил лучину, резал доски, ложки, прялки или другую утварь, шил сбруи, точил серпы и косы, латал обувь и одежду, топил печь, варил еду. Казалось, что дом его полон народу, коли уж столько забот и трудов, — а не было никого. Нифонт жил среди призраков своей семьи и хозяйства, как и сам Михаил недавно еще жил в призраке своей крепости.

Михаил лежал полураздавленный слабостью, почти беспомощный, и разговор для него был единственной передышкой от болезни.

— Нифонт, — как-то раз негромко окликнул он. — А для чего тебе все это — дом, хозяйство, поле... Ты же один.

— Женюсь, — сухо ответил Нифонт.

— Когда?

— После первого хлеба.

Михаил не понял, что хотел сказать этим Нифонт. Да и тревожила его в Нифонте не тайна будущего, а тайна прошлого.

— Нифонт, а ты богат?

Нифонт долго думал, размеренно стругая бондарную планку.

— На паперть не пойду, — веско ответил он.

— А откуда твое богатство?

— А почто тебе знать? — пробурчал Нифонт.

— Татем был?

— Грешил, — спокойно согласился Нифонт.

— А людей губил?

— Было.

Михаилу все показалось ясным. Он уже знал немало подобных судеб. Холопы жгли бар, бежали на Камень, дорогой промышляя грабежом, и здесь, добравшись до воли, возвращались к своему делу. Правда, в основном это был ремесленный и промысловый люд. Если появлялись пахотники, то, год-два поковыряв тощую и каменистую пермскую землю, они бросали борозду и уходили на варницы Соликамска. Единственное, чем вроде бы отличался от них Нифонт, — то, с каким уверенным размахом он собирался крестьянствовать: сразу и усадьба, и целое поле, а не землянка, полоска взятой на время земли и старый олень под соху. Впрочем, Нифонт, возможно, был просто дурак.

Через несколько дней Нифонт купил коня. Лежа на лавке, Михаил слышал сквозь стены пустой избы, как Нифонт завел животину в стойло. Конь брякал копытами по дощатому настилу, пока Нифонт примерял на него сбрую. По тому, как Нифонт гудел в бороду, Михаил понял, что мужик доволен, но в горницу Нифонт вернулся такой же мрачный и молчаливый. А вечером к нему пришли пермяки.

Михаил дремал и не слышал, как они тихо вошли в дом. Когда он приподнялся на своем лежаке, пермяки уже сидели у дверей на лавке. Это были сплошь старики. Нифонт не предложил им снять тулупы, не дал даже веника обмести с обуви снег. Насупленный, он грозно стоял в углу под единственным образком, тяжело опустив руки с набрякшими жилами.

— Ты ли, Нифонт, купил Пелино поле? — по-русски спросил один из стариков.

— Я купил.

— Зачем?

— Пахать.

Старики даже не шелохнулись, но Михаил почувствовал, какое их охватило смятение.

— Поле это нечестно досталось монастырю. Наш князь Танег, пьяный, отдал его вашему князю Ермолаю, забыв о своих предках, а Ермолай продал епископу Питириму. От Питирима оно перешло Ионе, а Иона подарил его монахам.

— Но я-то купил его честно, — упрямо возразил Нифонт.

— И ты купил его нечестно, — тихо и виновато возразил старик. — Ты отдал за него сокровища вакуля из Адова озера...

— Коли ты это знаешь, то знаешь, как я их добыл, — зло ответил Нифонт.

— Не будем об этом, — мягко предложил старик. — Наши боги не любят, когда отнимают их богатства. Но богатства, отнятые и возвращенные, они не ценят. Если ты сумел взять — это твое.

— Значит, и поле мое.

— Нет. Поле наше. Это Пелино поле. Кто бы кому его ни дарил и ни продавал, это все равно наше поле. Верни его нам.

— Не верну.

— Его нельзя пахать. Ты умрешь.

— Посмотрим.

— Нифонт, давай поладим миром. Хочешь, мы обменяем тебе это поле на другое?

Нифонт презрительно посмотрел на пермяков и усмехнулся:

— Все, что у вас есть, у вас могут хоть завтра отнять. Если я возьму поле у вас, то и у меня его отнимут. А у монастыря никто ничего не отнимет, и Пелино поле останется моим по сделке.

Старики молчали, как идола, глядя в пустоту. Им горько и обидно было слышать такие жестокие слова от пришлого русского мужика. Но, видимо, дело о Пелином поле оказалось выше гордости.

— Тогда, Нифонт, давай мы дадим тебе столько же золота, сколько ты заплатил за поле. Купи себе новое, а Пелино верни нам.

Нифонт покачал головой:

— Дионисий не дурак. Другие хорошие поля монастырь продавать не будет: мало у вас доброй земли. Он мог продать только Пелино — и продал.

Старики снова молчали, размышляя.

— Есть ли еще способ вернуть нам это поле? Скажи, мы сделаем по твоему слову.

— Нету. Простите, отцы.

— Нифонт, мы хотели решить дело миром. Ты сам отрекся. Пелино

поле не должно быть и не будет распаханно. На нем не вырастет твой хлеб. Ты навлекаешь на себя беду.

— Вы мне грозите?

— Тебе грозит судьба.

— А я ничего не боюсь, — тихо ответил Нифонт так, что всем стало ясно: он и вправду уже ничего не боится.

Старики ушли.

Только долгий срок спустя, когда Нифонт на розвальнях уехал в монастырь за сеном, Михаил решил спросить у всезнающего Калины, что за пермская тайна заключена в Пелином поле.

— Пелино поле — не капище, у него другая история, — охотно согласился рассказать Калина. — Пермьки очень чтут богатыря Пелю. Есть у речки Золотой, притока Вишеры, свой маленький приточек — речка Пеля, где стоит идол Пели с серебряной бородой. Хоть речка та теперь вогульская, вогулы не смеют мешать пермякам ходить к Пеле на поклонение. А сказка о том такова.

Много-много лет назад, когда вогулы еще жили у себя за хребтами, на той речке стояла священная ель пермяков. Шаманы так величали ее и такие сладкие песни слагали, что у той ели на стволе у корней выросли уши слушать эти песни.

Но из-за гор нагрянули вогульские хонты и изгнали пермяков из тех мест. Вогульский хакан велел срубить священную ель. Ель срубили. Однако наутро вогулы увидели, что за ночь она выросла вновь и стоит такая же, как прежде. Срубили снова. Утром — та же картина. Срубили в третий раз и решили даже корень выдернуть. Вцепились вогулы в уши на пне и стали тянуть корень из земли. Все вогульское войско тянуло пень за уши три дня и наконец вытащили корень. А корнем-то был богатырь. Вогулы вытянули ему уши как у зайца, отчего богатыря и прозвали «Пеля», что значит «Ухо». Пеля разметал вогулов по лесам и прогнал обратно за их горы.

Много лет берег Пеля свои земли и держал вогулов в страхе, не пропуская через Камень. Но вот на Колве завелся страшный Ящер. Он пожирал людей и оленей, распугал всю дичь. Жил он под землей. Логово его находилось как раз под тем местом, которое сейчас пермяки зовут Пелиным полем. Здесь Ящер нагромоздил горы бурелома и костей. Этого Ящера и взялся известить Пеля.

Он пришел и покидал весь бурелом в Колву. Освобожденная земля радостно вздохнула, увидев солнце. Ее вздох разбудил спящего Ящера. Ящер поднялся на поверхность и увидел Пелю. Ящер был куда сильнее

богатыря. Он стал метать в Пелю камни. Сколько Пеля ни прикрывался щитом и ни рубил мечом летящие на него валуны, камни завалили его с головой. Ящер решил, что Пелю раздавило каменным курганом, и ушел в свое логово под землю спать дальше.

Но Пеля не погиб. Он стал просить помощи у земли, которую так долго берег от врага, и земля поглотила камни. Они упали на Ящера и разбудили его. Ящер снова поднялся наверх и снова увидел Пелю.

Тогда он изрыгнул на богатыря потоки воды, чтобы Пеля утонул. Вода залила все вокруг, как при великом потопе, когда сухой осталась лишь вершина Холат-Сяхла, где еле-еле можно было положить мертвеца. Ящер вновь вернулся в логово, считая, что Пеля погиб.

Но Пеля стал просить у земли помощи, и земля выпила всю воду, которая вышла у подножия гор ключами. Подземные ручьи в третий раз разбудили Ящера.

В третий раз Ящер поднялся на поверхность и в третий раз увидел Пелю живого и невредимого. И тогда ондохнул на него огнем. Пеля вспыхнул и сгорел. Он погиб — пепел его кружился на ветру и падал на поле. Ящер одолел богатыря. Довольный, он опустилсЯ в свое логово и заснул, ожидая, когда проголодается, чтобы пойти охотиться на людей.

Пеля погиб, но все же победил. Пепел его упал на голую землю, с которой богатырь выбросил бурелом и кости. И из пепла родились цветы и травы. Они покрыли весь луг, названный Пелиным полем, сплелись в земле корнями и словно сетью опутали спящего Ящера. Он проснулся, но не смог даже пошевелиться. ПермЯки говорят, что он и сейчас лежит глубоко в земле под Пелиным полем.

— Поэтому поле нельзя пахать? — спросил Михаил.

— Да, — согласился Калина. — В память о Пеле пермЯки не косят здесь трав и не рвут цветов. А в страхе перед Ящером они не пашут землю, чтобы сохой не порвать сеть из корней, которая удерживает под землей Ящера. Даже монахи побоялись потревожить это поле, потому и продали Нифонту.

— Значит, если Нифонт решит растить здесь хлеб, ему придется схватиться со всем народом?

— И еще с Ящером, — добавил Калина.

Потихоньку Михаил выбирался из трясины болезни, начал вставать, ходить, держась за стены. Он оживал, и для него оживал весь мир. Недолго уж оставалось до весны, и на закате ярко пылали снега, окованные настом. Даже тишина Нифонтова дома, которая поначалу казалась могильной, —

когда не скрипят сами собою углы и половицы, не шуршат мыши, не пиликает сверчок, даже домовый ночью не роняет на пол ковша с кадушки, — эта тишина была теперь уже иной — это была тишина обморочной весенней земли, которая скоро зашепчет под ветром травами и цветами.

Нифонт ни о чем не просил, и Михаил по собственному почину принялся помогать ему по хозяйству, хотя сил не всегда хватало. Оказалось, что и помочь-то он мало чем может. Умел он немного, да и то плохо. Он рубил дрова и щепил лучину, топил печь, носил воду, стряпал что попроще, сушил одежду, подметал. Он не думал о том, что все это — работа не мужская, тем более не княжеская. С болью прозрения он потихоньку сознавал, что, не испробовав мелких дел, не справиться с большими.

А потом у Нифонта пал конь.

Калина, случившийся в тот день дома, сказал сразу:

— Это не хворь, не отрава. Это пермяки порчу навели.

Нифонт смолчал. Он разрубил тушу коня на части и сволок в овраг. Словно ничего не произошло, Нифонт, как обычно, сел за печкой на чурбан и стал резать ветви лосиных рогов на соху. Он сидел там весь день, а после и всю ночь, и еще день, и только потом свалился рядом и уснул, заглотив боль, как рвоту.

— Как пахать будешь? — поутру спросил Калина.

— Другого коня куплю.

— И другого сгубят.

— Тогда напялю хомут на шею и на себе вспашу! — рявкнул Нифонт.

Из Чердынского городища к Михаилу прибежал мальчишка и принес исчирикannую пасами бересту. Знаки на ней гласили: заberi своё. Весточку прислал старый знакомец — охотник Куртог, с которым раньше Михаил ходил на медведей.

Во дворе дома Куртога Михаил замер как вкопанный. У заплота, запряженный в пермяцкие сани на высоких копыльях, укрытый попоной из старых шкур, стоял конь. Морда его обросла сосульками. Он скосил на Михаила глаз и словно бы чуть кивнул — так же, как в Искоре, когда нес на себе князя Асыку. Это был Нята. И прошлое кинулось на Михаила, как рысь с ветки, вцепилось, повалило, покатило кубарем.

Михаил ворвался в керку Куртога, едва не разломав дощатых сеней, смяв земляные ступени. В полумраке жилища Михаил увидел горящий очаг. По одну его сторону на глинобитной завалинке сидел Куртог, какой-то потерянный, поникший, виноватый. Напротив него у огня на скамейке, поджав ноги, сидела маленькая девочка, повернувшая к Михаилу

испуганное лицо.

— Тятя!.. — вдруг тихо воскликнула она, сорвалась с места и с разбегу ударилась Михаилу в живот, словно хотела спрятаться в отца, слиться с ним, как ручеек с озером, и никогда больше не оставаться одной. Это была семилетняя Аннушка.

И Михаил вспомнил: так же по снегу княжьего двора в Усть-Выме между скачущими вогулами бежала к отцу и кричала другая маленькая девочка — Тиче... Михаил поднял дочь, обнял и притиснул к себе, и сквозь какой-то хрип души он с ужасом осознавал, что же могла чувствовать золотая идолица Сорни-Най, когда ей в чрево князь Асыка возвращал Вагирьому...

Куртог поведал, как очутилась у него Аннушка. Все было просто. Родственники, к которым в Дий перед нашествием московитов Михаил отправил семью, устали бояться. Тичерть, ламия, сбежала почти сразу, как приехала, и не было от нее ни слуху, ни духу. Князя разбили и пленили. Матвей ушел и, говорили, предался Пестрому. Князь вернулся — но без княжества. Московитская буря разметала его жизнь, развалила на куски и расшвыряла во все стороны. Родственникам стало страшно. Что если им отомстит Пестрый за укрывательство семьи пермского князя? Или Михаил отомстит за то, что не уберегли жену и сына? Может отомстить и Матвей: мало ли позора и насмешек он вытерпел в Дие? А хуже всего, если станет мстить ламия, которой нужно выплеснуть свой гнев хоть на кого-нибудь. Девочка, своим родством повязанная со всеми этими людьми и нелюдьми, может передать зло, обрушить беду на невинные головы. Надо, чтобы девочка ушла. И в один прекрасный день из пармы прибежал и остановился возле маленького керку в Дие конь Нята, запряженный в сани. Его, несомненно, послала ламия: мол, увозите девочку. И девочку увезли — в Чердынь, к Куртогу. Куртог знал, как живет князь в доме Нифонта, но и он страшился оставить Аннушку у себя, вместе со своими детьми.

Но Михаил теперь и не хотел расставаться с дочерью. После того половодья, что перекатилось через него, как через упавшее дерево, Аннушка осталась для него последним осколочком семьи, любви, счастья, и он не пожелал бы отдать ее даже под страхом смерти.

Жена Куртога одела девочку, и Михаил посадил ее в сани, а сам уселся сзади и окутал себя и дочь тулупом. Нята бодро пошагал вперед, словно знал дорогу: прочь из городища, по спуску на лед Колвы и дальше, вниз по реке, мимо высоких белых гор и сизых, загроможденных снегами лесов — по ворге, зимнему пути на Редикор и Пянтег, на самый край дремучей пермской земли, где утонули в сугробах почти сказочные деревянные

крепости. Михаил прижимал к себе дочь, глядел, как уверенно топает по льду большими копытами лесной конек, и вспоминал Тиче — без боли, без горечи, даже без желания увидеть вновь, но с какой-то древней, все простившей печалью. Она жива, его ламия. Она помнит его. Она вернула ему дочь и подарила Няту. И что означает этот подарок?

На руках Михаил перенес дочку через порог Нифонтова дома и поставил в горнице на пол, показывая хозяину. Его даже испугал темный и злой огонь, полыхнувший в глазах Нифонта.

— Дозволь до тепла мне у тебя с дочерью пожить, — не считая, что унизит себя этой просьбой, сказал Михаил.

— Ты князь, — буркнул Нифонт, опуская глаза. — Какое от меня тебе надобно дозволение?

Михаил сел на скамью и принялся развязывать тесемки на меховом колпачке Аннушки.

— Сам знаешь, какой я князь, — тихо произнес он, чтобы злостью в голосе не пугать дочь. — Мне заплатить тебе нечем. Сделай мне одолжение, прими от меня в подарок коня.

— Не по чину нам княжеские кони, — негромко, но яростно ответил Нифонт, встал и шагнул к двери. — Я себе своего куплю.

— Пстой! — окликнул Михаил, и в голосе его впервые после Искорки звякнуло железо княжеского повеленья. Нифонт остановился, не оборачиваясь. — Не гоже, Нифонт, к добру спиной вставать. Это Нята — конь Асыки, слышал небось. Его пермяки не отравят, побоятся. И порчу не наведут — заговоренный он. Возьми его, Нифонт. Я от чистого сердца прошу.

Нифонт ссутулился, словно осел от тяжести на плечах.

— Благодарствую, — проскрипел он и вышел прочь.

Пермякам немного потребовалось времени узнать, что Михаил подарил Няту Нифонту. Они истолковали это в том смысле, что маленькая усадьба на краю Пелина поля объявляет войну городищу. Значит, Михаила отныне можно не только не уважать, но и не беречь его жизнь. И ночью дом Нифонта подожгли.

Калина в этот раз не ночевал. Нифонт и Михаил проснулись одновременно от ржанья Няты в стойле. Крайнее окошко горницы кроваво полыхало сквозь замерзший рыбий пузырь. Нифонт, без зипуна, в одних оленьих бакарях, в которых спал, бросился наружу со снеговой лопатой. Михаил только успел завернуть Аннушку в тулупы и вынести в сени на лавку, как услышал с улицы:

— Князь, живее давай!..

Домину подожгли с угла, там, где стояли сусеки с рожью для посева. Пермязи не мстили непокорным русичам, не готовили их погибель — они уничтожали угрозу священному лугу, заключенную в золотых зернах ржи. Нифонт и Михаил в две лопаты забрасывали огонь снегом. Бревна были еще свежи, не успели просохнуть на солнце и ветрах до звона, да и не отмякли от зимних стуж, к тому ж воры спешили, и некогда им было развести огонь пожарче, потому и удалось сбить пламя, затушить угли, раскидать от стен и выбросить изнутри головни. Дом и подворье уцелели, но амбар сгорел.

На рассвете Михаил и Нифонт, измученные и черные от сажи, вернулись в горницу. Михаил рухнул на лавку, прижал к боку проснувшуюся дочь, а Нифонт долго пил воду, потом молча оделся и ушел. Было слышно, как он обколачивает об крыльцо лыжи, затем шаги прошаркали за ворота, и только свистнула лыжня под уклон к Колве.

Михаил не задумался, куда отправился Нифонт, уснул. Но скоро его растолкал возвратившийся Калина. Калина уже увидел изуродованную усадьбу — будто загнанный под Пелино поле Ящер выбрался все же на землю и одним огненным укусом вырвал угол дома, разбросав вокруг обгорелую щепу и угли.

— Где Нифонт? — быстро спросил Калина. — Ушел?..

Борода его встала дыбом, но ласково, чтобы не пугать Аннушку, Калина сказал:

— Светлая ты голова, Мишка, да пустая... Он же в городище пошел — воров учить! А его там дрекольем встретят — и в прорубь! Собирайся, пока я Няту запрягаю, да топор бери. А ты, девонька, — он погладил девочку по русой головке, — побудь до вечера одна, покуда мы с тяткой съездим. Я вон тебе в торбе гостинец привез.

К низкому полудню тусклого и сырого апреля Нята домчал сани до Чердыни. Городище расплзлось по горе, как куча грязи, все бурое от снега, что за долгую зиму напился помоями, мочой и навозом. Ворота были открыты и пусты. На майдане яростно и злобно орал и топтался народ, мелькали над головами палки. Нята уверенно, как и должно княжескому коню, врезался в толпу. Пермязи, оглядываясь, видели Михаила и Калину с топорами, бросали колья, отбегали в сторону. Они не испугались, потому что их было куда больше, чем русских, и они считали себя правыми, но даже за правду и даже в запале они не хотели бы убить человека до смерти.

Нифонт лежал в каше из снега, крови и грязи. Казалось, он был мертв, но едва его подхватили, он дернулся, высвобождая сжатую в кулак руку.

— Скажи ему, Калын, скажи, Михан, — крикнул кто-то из пермяков, — пусть не трогает Пелино поле! Этот раз сильно били — другой раз совсем убьем!..

Калина, взбесившись, поднял обломок оглобли и побежал на кричавшего. Он замахнулся и заорал:

— Нифонт, как Кудым-Ош, вам хлеб несет, а вы, как псы, на него!..

Пермяки кинулись врассыпную. Калина швырнул жердь им вслед.

— Убьем Нифонта! Тебя, Калын, убьем! И тебя, Михан, трус, убьем! Всех вас, роччиз, убьем! — издалека, из-за угла керку вопил еще кто-то, но Калина уже остывал, повернул обратно к саням, где лежал и хрипел, брызгаясь кровью, Нифонт.

Теперь в избе у Пелина поля вместо больного Михаила был избитый Нифонт. Били его крепко, но, если не брать в расчет кровоподтеки и ссадины, серьезным делом оказались лишь вывих руки, трещины в ребрах и проломленный затылок. Калина, ловко ощупав кости, проворчал:

— Если по делам да по уму, так тебе, Нифонт, этого маловато... Может, добавить от себя?

Когда большого и шумного Калины в доме не было, горница казалась пустой. Нифонт на лавке у печи не шевелился, не говорил. Молчал Михаил. Тихо играла в углу Аннушка — тряпочками, резными чурками, берестяными куколками. Она вообще была девочка тихая и незаметная, смеялась редко и беззвучно. Худенькая, беленькая, как ромашка, она словно бы истаявала светом, вот-вот миг — и останется только лучик. Михаил боялся лишний раз притронуться к ней, не умел ни поговорить с ней, ни приласкать, только смотрел, и что-то в душе его словно корчилось от боли, от нежности. Ему казалось, что вся она целиком состоит из его любви, из ее последнего, самого чистого ручейка, который был когда-то большой, сильной, доверчивой рекой, а реку замутили, запоганили, иссушили, и остался только ручеек. Аннушка была для Михаила последней проталиной любви к людям, маленькой, словно проталинка от дыхания на заиндевавшем окошке.

И не раз Михаил ловил Нифонта на том, что тот теми же глазами, не двигаясь, смотрит на склоненную к игрушкам белую голову девочки. В эти мгновения с лицом Нифонта происходило что-то странное и страшное — как отмороженные, бледнели скулы и нос, а глаза словно погружались в какую-то темную, бездонную глубину. Может, не так уж и слаб был Нифонт, чтобы только лежать на лавке, но, видно, что-то в нем перебили палки пермяков, отчего не хотелось вставать — пусть все катится к черту,

дайте только посмотреть на эту девочку, дайте спокойно умереть...

Как-то раз утром Нифонт долго шептался с Калиной, а потом Калина исчез на весь день и вернулся, ухмыляющийся, только в сумерках. Нифонт с трудом сел на своей скамье, пряча руки под шкурой, которой укрывался, и подозвал к себе девочку. Аннушка робко подошла, оглядываясь на отца. Нифонт вынул из-под шкуры и протянул ей огромные ладони, в горсти которых сидел маленький, взъерошенный котенок.

Девочка замерла, не веря такому чуду. Потом осторожно взяла котенка из рук, прижала к себе и бросилась к отцу.

— Тятя!.. Тятя!.. — не находя слов, шептала она.

— Спроси у дяди Нифонта, как его зовут, — велел Михаил, поворачивая дочку за плечики лицом к Нифонту.

— Самогуд, — довольно проворчал Нифонт и улегся, глядя в потолок.

С этого времени Аннушка играла только с котенком, и теперь чаще слышался ее смех, а иногда, баюкая, она тоненько пела ему песенку из сказки, некогда насквозь пронзившую сердце князя:

— Котик-братик, котик-братик, несет меня лиса за синие леса...

Девочка перестала бояться Нифонта, подходила к нему, даже односложно отвечала ему на негромкие вопросы, хотя и застенчиво отворачивалась. Она сама кормила своего «братика» и спускалась по лестнице в ледник, пока Михаил светил ей лучиной, а там, обеими ручонками поднимая тяжелый топор, откалывала ледяные кусочки от огромных жерновов мороженого молока. Да и Нифонт начал оживать, словно поднимался со дна омута к солнцу.

Он, как окаменевший ворот, медленно, толчками, сдвинулся и повернулся, показывая свою другую, человеческую сторону. И Михаилу сразу стало с ним легче.

— Нифонт, слышь, рассказал бы ты о себе, — как-то раз ночью, когда Аннушка спала, а Калины не было, попросил Михаил.

— Чего рассказывать? — буркнул Нифонт. — Таких, как я, у тебя полно княжество...

И правда: с Руси русские люди несли в Пермь свои потери, свое горе, согнавшее с места, но несли и свои дарования, свои надежды. И Нифонт потихоньку рассказал.

Жил он на Рязанщине, в деревне неподалеку от Оки. Был небогат, но и бедовать не приходилось. О барине грех дурное слово сказать: уже состарился, перебесился, а оттого и был справедлив, не жаден. Нифонта рано женили на соседской девке Олене, за которую в приданое он получил только родительские наказы. Нифонт не обижался. Олену он полюбил, и

жили они душа в душу. Она ему слова поперек не сказала, и он на нее ни разу голоса не поднял, не то чтоб руку. С детьми же не повезло — подряд четыре девки уродились, а потом в нутре у Олены лопнула какая-то бабья жила, и наследника ждать уже не пришлось. А Нифонт, тогда еще легкий нравом, и тем доволен был: девки свои, озорные, веселые и красивые, ему все к сердцу припали.

Тем летом старшей исполнилось бы пятнадцать. Невеста... Разнесся слух, что идут на Оку ордынцы. Народ побежал к Рязани, где над слиянием Трубежа и Лыбеди высился островерхий каменный кремль, опоясанный крепким деревянным острогом. Нифонт тоже посадил своих на телегу и поехал прятаться за стены.

Он немного опоздал. На мосту через ров его остановил сотник с караулом, охранявший башенные ворота. Сотник был зол, красен, расхристан. Вдалеке уже мелькали волчьи малахаи передовых татарских разъездов, поднялись дымь над горящими за окомом деревнями.

— Куда ты, заселшина, с бабьём, да без припасу! — орал сотник на Нифонта. — За стеной и без вас вздохнуть нечем — холопов что саранчи, холеры на вас не хватило! Чего жрать в осаде собираетесь, дуры? А ну вали отсюда!

Нифонт полез в драку, его скрутили. Коня выпрягли, увели в ворота, Нифонта утащили, телегу столкнули с моста в ров, а Олену с дочерьми прогнали от острога прочь: спасайся сама, как знаешь. Нифонта кинули в яму к таким же буйным мужикам, что не хотели разлучаться со своими бабами, стариками и детишками.

Ночью мужики сбились муравьиной кучей и друг по другу вылезли из сруба, закопанного в землю. Дружно сшибли караул в воротах, попрыгали в ров — мосток уже сожгли — и под стрелами со стены побежали в поле, кто куда, искать своих.

Два дня Нифонт ползал во ржи, прячась от татарских разъездов. Он пробирался к своей деревне. Но деревни уже не было — одни угли. Еще там, на мосту, он успел крикнуть Олене: «Беги на заимку!» Теперь только на заимке в лесу он и мог ожидать найти Олену с дочерьми.

Он их и нашел. Совсем незадолго до него — еще парили яблоки конского навоза — отсюда уехали татары. И Олену, и всех девок Нифонта они изнасиловали и удушили тетивами, а тела бросили в крапиву за избушкой. Не взяли в полон, чтобы продать, и, надругавшись, не отпустили на все четыре стороны, — а задушили, как лисы кур.

Нифонту было страшно вспоминать, что тогда с ним творилось. Хотя, наверное, со стороны все выглядело тихо: мужик выкопал яму, похоронил,

поставил крест, взял на заимке топор из-под половицы и ушел.

Татары не брали Рязань приступом, даже осадой не обложили. Это и не орда была — так, какой-то мелкий хан, пугнувший рязанского князя и вновь растворившийся в своих степях. А Нифонт потерял все. Нет больше Олены и девок, нет дома, нет коня. Под князя не вернешься — на цепь посадят за побег. Да и зачем возвращаться к князю? Разве что зубами разорвать ему горло за то, что выгнал из крепости в голое поле к татарам бабу и четырех девчонок...

Нифонт пошел бродяжить. Ноги привели его туда, куда приводили всех, ему подобных: в вольный и дремучий Муромский лес. Здесь владычил знаменитый атаман Кудеяр, самозванный Соловей-Разбойник. Был он и соловьем, и разбойником, но от рязанского князя отличался лишь тем, что на княжение его не бог поставил, а сатана. Наголодавшийся и намучившийся Нифонт не нашел у Кудеяра ни покоя, ни сытости. Да и не тянуло к себе воровское дело, не вором Нифонт был рожден, и не веселило душегубство. В лесу Нифонт с такими же, как и сам, неприкаянными бедолагами ютился в сырой землянке впроголодь, рубил дрова, валил бор на засеки у дорог, чистил коней и котлы. Одно хорошо — выучился брать зверя, жить лесом.

Муромскому воеводе осточертел Кудеяр, и воеводские дружины вторглись в чащу. Разбойники прыснули кто куда. На чьем-то коне Нифонт вывернулся из схватки и поскакал прочь. За ним увязался дружинник. Уже нагнал, уже поднял меч, чтобы рубануть по затылку, как Нифонт, сам того от себя не ожидая, повернулся и через плечо ударил ратника в лоб клевцом на длинном ратовище.

Сидя на траве рядом с окровавленным покойником, Нифонт вспоминал своих девок, вспоминал Олену — тихий голос ее, темные глаза, мягкие губы, косы, плечи... Вот и опять он выжил, а зачем? Убил парня... Да, защищался, не по своей воле грех принял. Пусть и глупая, и бесполезная была жизнь у этого ратника, но она ему была нужна, а Нифонту своя — нет. Не осталось больше сил.

Нифонт подогнал коня под крепкий сук, влез на седло и связал из кушака петлю. Сунул голову, толкнул коня ногами и повис...

Очнулся на земле. Страшно болело раздавленное горло, трещала грудь, звездыплыли в глазах. Кушак был цел, не порвался; петля висела на шее; а вот узел, что он накрутил на ветви, распустился. Сроду у Нифонта узлы не распускались, он их вязать умел. С неба, что ли, протянулась рука и развязала?.. И Нифонт понял: не берет его небо. Не то чтоб уж очень грешен — и не такие грешники помирали, а дела своего здесь, на земле, он

еще не доделал. Надо жить дальше, надо работать, надо начатое довершить. Только что довершать, какое дело делать? Он ведь знал только одно — растить хлеб.

И тогда Нифонт ушел из-под Мурома искать вольные хлебные земли. Думал он о Вятке. Пробавляясь где работой, где подаянием, где воровством, он добрался до Хлынова. Но Вятка не приняла его. И здесь уже сидели бояре, земля давно была поделена, а начинать жизнь с батрачества Нифонт не хотел. На Вятке он впервые услышал о другой земле со странным названием — Пермь.

Он пошел дальше и пришел в Кай. Здесь соорудил плотик и поплыл вниз по Каме. Два с лишним года миновало с тех пор, как набат загудел над Рязанью. Стояла поздняя осень. От Кая на Пермь плыли хлебные барки. Купец ради смеха велел править на плотик Нифонта. Могучий нос барки с треском расколол плотик на бревна. Нифонт очутился в воде.

Он бы утонул, замерз, да вновь повезло. Вцепившись в бревно, Нифонт догреб до берега. Он вылез на косогор — в дождь и стужу, мокрый, без топора и огнива. А по берегу — он знал — ни одного окрест селения, никаких городищ. Однако ж все равно пошел. Гнала его какая-то сила.

Полумертвого, его подобрали пермяки-охотники из какой-то деревушки, спрятавшейся в лесах вдали от Камы. Деревушка звалась Тыльдор. В Тыльдоре Нифонт провел зиму.

Еще дальше деревушки, в глубь лесов, лежало священное озеро Тыль. Потом Нифонт узнал, что русские прозвали его Адовым. Пермяки говорили, что озеро бездонно и живет в нем дух-вакуль. Нифонт ходил с пермяками на это озеро и видел, как те молились вакулю, а потом шаман бросил в полынью золотое блюдо. Этого Нифонт забыть не смог. Не только любовь, удача и труд — золото тоже было ключом к земле.

Весной Нифонт ушел на Адово озеро. Он снова сколотил плот и с него нырял, желая отыскать блюдо. Он плавал в ледяной глубине, разрывал руками ил, ворочал сучкастые, склизкие, окаменевшие коряги на дне. Отогревался он у костра. Голову ломило, как с похмелья, давило сердце. Он почти оглох, глаза покраснели, из носа текла кровь. Он, может быть, погиб бы в топляках на дне Адова озера, если бы вовремя не остановился. Пермяки, видать, издавна молились здесь своему вакулю. Вакуля Нифонт не нашел, зато нашел золотые и серебряные блюда с отчеканенными боролатыми царями, воинами, рабами, со львами, павлинами и заморскими деревьями, нашел чаши, кубки, кувшины. Это было целое богатство, клад, но клад не найденный, а добытый трудом, отвагой и кровью.

Нифонт не хотел быть вором. Он пришел в Тыльдор, к шаману, и

высыпал из мешка свои сокровища.

— Вы отдали их вакулю, а вакуль отдал мне, — хрипло и простуженно сказал он. — Я не хочу отплатить вам за добро воровством и унести все это тайно. Отдайте это добро мне. Я куплю поле, посею рожь, и Тыльдор всегда сможет брать у меня хлеб.

— Боги любят золото, — ответил шаман. — Но если им дать его, потом отнять, а потом снова отдать, они не станут его ценить. Это все равно что убивать уже мертвого зверя. Забирай сокровища. Если тебе их отдал вакуль, мы отобрать их не можем. Но мы запомним твои слова о хлебе. Хлеб очень дорог. Если ты нарушишь свое обещание, мы тебя проклянем.

Жители Тыльдора снарядили Нифонта в путь — в Чердынь, к князю. Только у князя можно было купить землю так, чтобы никто потом не объявил ее своей. И Нифонт уплыл вниз по Каме. Пермьки обещали слать ему зверя, птицу, рыбу, а через три года приехать за хлебом.

В Чердыни Нифонт сразу пошел к игумену Дионисию. Все, с кем он встречался, говорили о честности монаха. Дионисий принял сокровища Адова озера, дал Нифонту лес на усадьбу, коня, работников, снаряд, рожь на посев. Дал монастырскую охранную грамоту и расписку за принятое добро. Но самое главное, он дал Нифонту землю — священное Пелино поле.

А на Чердынь, на Колву, на Пелино поле неотвратно надвигалась весна, словно грозовая туча. Яркие и резкие, четкие и плоские краски зимы потускнели, смягчились, набухли водой, обрели глубину и тяжесть. Оголился лес, потемнел лед, осели сугробы. Небо, поначалу затянутое низкими сизыми облаками, очистилось; теплый ветер, раздвигая окомы, сметал тучи в громадные стога, и за ними застенчиво засветилась еще блеклая высота. Во дворе Нифонтовой усадьбы вытаивали потерянные вещи — оброненные поленья, забытый ковшик, сломанный санный полоз, рукавица. На крыше проступил черный и жесткий хребет охлупня, а на коньке повисла длинная сосулька. Теперь Михаилу казалось, что жилой мир несказанно расширился, от тесноты затхлой, прокоптившейся избы вырос до размеров окрестных лесов, реки, поля.

Михаил часто выходил на крыльцо, не закрывая за собою двери в сени, брал Аннушку, сидел на ступеньках, сняв шапку, словно бы голова его по весне вытаяла, как пень. И Нифонт тоже ожил, разом поднялся с лавки, с новой страстью набросился на дела.

Пермьки, похоже, отступились от Пелина поля. Но как-то ночью

Нифонт растолкал Михаила и Калину — на поле что-то происходило. Сквозь тусклый пузырь окошка издалика светила красная точка. Это на поле горел костер.

— Спите, — глянув в окно, недовольно проворчал Калина. — Это пермяки камлают. Не тронут они нас, знаю. Они, наверное, тебя, Нифонт, проклинаят. Спи.

Днем они отправились на поле взглянуть, что там сотворили камлавшие. Михаил нес на руках дочку, шагая последним и глубоко проваливаясь в рыхлый, мокрый, истоптанный снег.

Посреди поля лежал здоровенный валун — как пермяки его притащили? Рядом было протаявшее почти до земли кострище с черными головнями. Вокруг на снегу валялись разбросанные рыбы хвосты. Калина поднял один, повертел в пальцах, бросил и весело сказал:

— А ведь и вправду проклинали, собаки.

Михаил поставил дочку на валун. Нифонт задумчиво и угрюмо оглядывался.

— Ну и черт с ними, — с досадой сказал он. — Не анафема же, не отлучение... Я православный. Чего мне их проклятье? — Он помолчал и добавил: — Много я по пермским чащобам шастал, в Адово озеро нырял и не видел никаких ихних страшилищ или богов. Одни болваны пусторылые. И Стефана, говорят, тоже проклинали...

— А пермяки не богами и не чудищами тебя проклинали, — серьезно сказал Калина. — Что идол? Идол без духа — деревяшка. Пермяки твой дух убили и сожгли, проклинали твою судьбу.

— Выходит, я теперь без судьбы? — усмехнулся Нифонт. — Чудно говоришь. Как же это я без судьбы, коли жив? Это как без тени на солнце — невозможно.

— Возможно, — возразил Калина. — И ты не хмыкай: это ведь страшное, жестокое проклятье — на судьбу-то. Они могли и убить тебя, и в жертву отдать, да им тоже хлеб нужен. А надругательства над Пелиным полем они простить не хотели. Вот и отомстили. Не пожелал бы я на твоём месте оказаться.

Нифонт настороженно молчал — зло, упрямо, несогласно.

— А в чём беда? — спросил Михаил, смутно ощущая, что это действительно очень страшно: остаться без судьбы.

— В том беда, что нет теперь в мире силы, которая бы ему помогла... Будет тонуть — и соломинка под руку не подвернется. Заблудится в лесу — ни следа, ни звезды не увидит. Любая, самая мало-мальская беда с ног сшибет. Это как если бы ты от любой болезни умирал — хоть от укула

еловой иголки, хоть от соплей. Человек без божьей помощи очень слаб, почти бессилён.

— Я крещённый.

— Ну и что. Ты-то в бога веришь, а тебя для бога больше нет. Тем и гневит бога язычество, что способно на такое зло. Ты хоть десять раз ещё покрестись — не разглядит тебя господь. Рассказывают, что и Пелю вогулы проклинали, потому и одолел его Ящер.

Нифонт яростно пнул рыбий хвост.

— Да плевать мне на их проклятье! — рявкнул он. — За меня — хлеб, а через него и вся земля! Сильней этой силы ничего не знаю.

Он развернулся и грузно зашагал прочь. Михаил глядел вслед Нифонту, вспоминал о его жизни. Сколько раз незримые силы спасали Нифонта: когда ползал во ржи рядом с татарами под Рязанью, когда отбилсЯ от ратника в Муромском лесу, когда распустился узел в петле, когда выплыл на берег из-под купеческой ладьи, когда встретил охотников из Тыльдора, когда шарился в корягах на дне Адова озера... Теперь ничто не спасет, не выручит. И все же Нифонт не стал жалок. Наоборот, сейчас, проклятый, он показался Михаилу таким, каким его представил в первый раз Калина: «се человек». Михаил ощутил в Нифонте небывалую, непобедимую правоту и силу земли — земли, которую он выстрадал и хозяином которой стал. Даже если могучее и древнее зло поразит Нифонта, сломит, свалит, убьет, загонит в могилу, Нифонт выйдет обратно из земли хлебом, как Пеля взошел травой.

Ничто не изменилось в Нифонте после проклятия. И вскоре сам Михаил убедился, насколько глубокой была правота Нифонта, хотя ничего особенного в том доказательстве не было.

Снег таял на поле, и с какого-то времени Михаилу стало казаться, что сквозь него просвечивает земля, но не черная, а голубая. Не веря глазам, он пошел на поле и только тут увидел: большой клин был уже вспахан, и на нем взошла озимая рожь. Пелино поле родило хлеб. Михаил был потрясен — так это было просто и так велико.

Сзади к нему подошел Нифонт.

— Дураки пермяки, — добродушно, как о детях, сказал он. — Зазря мне амбар пожгли. Не было ведь там зерна. Забыли они, что никто здесь рожь яровую сеять не будет — только озимь, а то не встанет... Мы с Калиной по осени вдвоем целину рвали, сеяли по ночам, чтоб никто не увидел, а утром все сеном закидывали — вот так.

Снег стоял к маю, и теперь издалека было видно, как ярко зеленеет

край Пелина поля. Приближалась страда. В Чердыни все собирался и собирался уезжать князь Федор Пестрый, а потом вдруг Михаил увидел вереницу плывущих по Колве стругов с яркими парусами и расписными носами. Московский гость убирался восвояси не попрощавшись. Но Михаила это не тронуло. Вдруг озабочился чем-то Калина, в котором вешние воды всегда будили тревогу и неодолимую тягу бродяжить, горячили кровь, звали куда-то — все дальше, дальше, как перелетную птицу. В конце концов Калина не выдержал, поклонился и ушел. Говорили, с ним ушел и княжич Матвей.

Михаил помнил свое обещание Нифонту — весной оставить его дом. Но некуда было податься с Аннушкой, да и Нифонт не гнал, потому Михаил пока никуда не собирался. Впрочем, даже не в том дело, что хозяин не гонит, а идти некуда. Михаил увидел, как взошел хлеб на Пелином поле — первый русский хлеб на пермской земле, — и ему почему-то захотелось побыть рядом с этим хлебом, будто напиться из родника, будто посидеть на ступеньках храма, к которому брел так долго.

Вместе с Нифонтом Михаил собирал на зеленой полосе камни, что всплывали из недр земли, — на окраине поля выросла целая груда обломков. А потом они на пару начали взламывать целину: долбили и рвали дерн мотыгами, дробили заступами. Работа была тяжелая; ничего тяжелее этого Михаил за свою жизнь не делал. Но так было нужно — соха бы не взяла здесь землю, только бы поцарапала без пользы. Аннушка носила им воду с Колвы в берестяном ведерке. Нифонт и Михаил порою так уставали, что и ночевали в поле, и, просыпаясь ночью, Михаил видел над собою Млечный Путь, древний Путь Птиц пермяков.

Они расковыряли, разворочали Пелино поле, и подошло время пахать. Нифонт выволок соху с двумя лемехами, вырезанными из лосиных рогов. На раму взгромоздили валун, на котором когда-то — кажется, тысячу лет назад, — пермяки проклинали Нифонта. В соху впрягли Няту. И пахать оказалось еще труднее, чем ломать целину. За день лемехи истирались, словно были из сосновой коры, и приходилось их снова резать и острить. За неделю от широкой лопасти лосиного рога оставался один обмылок. А нужно было вспахать поле не раз и не два, чтобы пронять слежавшуюся землю до самой плодородной глубины. И когда Нифонт, обессиленный, ложился на межу, за сошники брался Михаил и вместе с Нятой толкал соху дальше, вперед, вперед.

Из Чердыни, из городища приходили пермяки и смотрели, как князь пашет поле. Князь, согнувшись, шагал за сохой, вдавливая лемех в бурую землю, и рубаха его была мокрой на спине, как у простого пахаря. А соху

по священному полю тащил старый боевой вогульский конь, которого вела под уздцы маленькая белоголовая княжна. Труд был не просто тяжек, он был мучителен, даже неподъемен, но в его изнуряющей ломоте заключался такой простой и великий смысл, что Михаил порою переставал понимать, чем и зачем он жил раньше. Он думал, что все его мысли были о Пермской земле, и все дела тоже были посвящены ей, но теперь с ясностью простого смерда он видел, что думал-то не о земле, а о своем месте на ней, и сражался не за землю, а за себя. Он был князем уже восемнадцать лет, и за такой долгий срок не сделал для земли ничего — не проложил дороги, не построил города, даже избы не поставил и не вырастил и травинки.

Михаил и не заметил, как лето скатилось к осени. Рожь налилась силой, гнувшей колосья к земле. Теперь Нифонт и князь горбушами скосили поле, оставив лишь жесткую щетку стерни, связали снопы. В ведро снопы сушили на сушилах, в непогоду — в овине, потом молотили и веяли на гумне, задыхаясь в колючей пыли половы. Аннушка как взрослая таскала солому в сарай, мяла ее и утаптывала: вдруг Няте до весны не хватит сена? Урожай вышел небольшой, сам-треть, как и говорил Нифонт. Он не стал засыпать закрома — всем зерном, что было, засеял зябь. Он был согласен еще одну зиму провести на рыбе и дичи, но зато следующей осенью у него будет хлеб.

К севу вернулся Калина, а после сева уже ударили первые заморозки. Михаил глядел с крыльца на черное Пелино поле, над которым собирались в клин лесные журавли, и видел рожь — золотую рожь своих трудов, своей малой, но такой трудной правды. Оттуда, с крыльца, Михаил и заметил сына — княжич Матвей пешком шел к нему из Чердыни.

Михаил уже забыл о княжении, забыл о Пестром, забыл, что сын самовольно и жестоко занял его место. Но Матвей шел к отцу не князем.

— Батя, — позвал он ломким баском, — дозвожь войти... — и уже в избе, при Калине и Нифонте, поклонившись, сказал: — Отец... Нет княжества без князя. Иди, князь, тебя люди зовут... прости меня. Иди, князь.

Михаил молчал, не зная, что ответить.

— Оно и верно, князь, — вдруг сказал Нифонт. — Хлеб — дело мое, не твое. Я ведь жениться думаю. Надо хозяйку в дом. Мне уж в городище девку просватали. А ты не обессудь. Каждому свое место. Ступай, князь, княжить. Ты со мной Пелино поле поднял — это труд великий. Дальше я один управлюсь. А тебя другое дело ждет. Тебе еще Чердынь поднять надо. Ступай.

Глава 28

Талая Вода

— Был город люд, стал город лют, — задумчиво сказал Калина, озираясь.

Матвей, сощурившись, пристально вглядывался в камскую даль.

— Не-е, не шибаса это и не тюрень, — сообщил он. — Это большой каюк пермяцкий.

— Да и откуда тут татарам взяться, коли ты их прогнал, — хмыкнул Калина. — А пермяки сюда не полезут. Балбанкар — заклятое место.

Они стояли на краю заброшенного городища, на высоком склоне берега. Рядом валялся мешок с припасами, весла, лук Калины и меч Матвея, лежала на боку длинная, как веретено, кожаная лодка.

Калина и княжич Матвей плыли вниз по Каме вдвоем, тайком от всех — и своих, и чужих. Они держались ближе к берегам, прячась под кустами, рядом с обрывами, в случае чего накрывались срезанными ветками с листвой: пусть думают, что плывет упавшее дерево. Своим незачем знать, куда направился княжич; татары могут в полон забрать, ведь за княжича большой выкуп взять можно; а пермяки — то собаки брехливые, увидят и всем растрезвонят.

Когда плыли мимо Балбанкара, Матвей разглядел вдали парус. Волей-неволей пришлось причаливать и прятаться на проклятом городище.

Начиналось лето, молодая трава покрыла оплывшие валы, ямы землянок. В траве особенно чуждо выглядели гнилые черные кольца, трухлявые бревна выкладок, покосившиеся идолы, в лицах которых еще торчали пеньки стрел ушкуйника Ерохи Смыки. Калина оглядывался и вспоминал ватагу Ухвата, которая почти двадцать лет назад здесь, на Балбанкаре, лопнула пополам и чуть себя не истребила; вспоминал, как тащил тяжеленную Вагирйому по крысиной норе подземного хода.

— Погоди-ка, — сказал Матвею Калина и пошел к другому краю городища, полез в овраг и вскоре выбрался обратно, держа в руках человеческий череп.

— Глянь, княжич, это кто-то из трех Иванов... Отсюда, с Балбанкара, побежала к твоему деду смерть.

Матвей посмотрел на череп, презрительно сплюнул и велел:

— Собирайся, дальше поплывем. Каюк уже за поворот загнул.

Калина осторожно положил череп на камень в траве.

Всю миновавшую зиму Матвея мучила память о той девчонке, о Маше, ясырке шибана Мурада, которую он обещал выкупить из рабства. Матвей не только не хотел нарушать своего слова, нет — его изнутри жгла еще какая-то боль. Хотелось ту девчонку видеть подле себя счастливой и вольной, хотелось почувствовать ее благодарность и уважение. Матвей знал, что летом афкульские татары продадут своих рабов в Ибыре. Плата у Матвея была — все та же пуговица с кафтана Пестрого. Оставалось только придумать, как попасть в Ибыр на торг.

Однажды в Покче Матвей встретил Калину.

— Постой, — окликнул он его. — Иди сюда. Скажи, где Ибыр находится?

— В воскресенье еще на Сылве стоял, — ответил Калина.

— А как добраться до него?

— Седлай коня богатырского да скачи во всю прыть.

— Я тебя делом спрашиваю, дурак!

— По вопросу и ответ, княжич.

— Я не княжич, я князь.

Калина взглянул на мальчишку — красивое, высокоскулое лицо ламии, глаза и губы — тоже от Тичерть, а от деда Ермолая — упрямство и воля, спокойно переступающая через души и судьбы. Только от Михаила в мальчишке не было ничего.

— Я, княжич, крест целовал только Михаилу, батьке твоему. Вчерась еще с ним похлебку хлебали, так что вроде жив он. Для тебя я — вольная птица. Прощай.

Он уже развернулся, но Матвей схватил его за рваный локоть.

— Ладно, не серчай, — с досадой сказал он. — Добром прошу, разъясни, как мне в Ибыр попасть.

— А на что?

— Не твое дело.

— А я в чужие дела не суюсь.

— Да постой ты!.. Черт с тобой, я скажу, на что. Но коли ты проболтаешься хоть кому — хоть отцу, — найду и под землей, на кол посажу! — разозлился Матвей.

— Ужо штаны на задку отвисли, — хмыкнул Калина.

Матвей рассказал, и его история Калину подкупила. Рядились они недолго. С вешней водой решили плыть вдвоем и втайне от всех.

Весной, когда зазеленели берега Колвы, Калина сам пришел к Матвею. За его спиной был здоровенный тюк. Они убрались из Покчи подальше, в

лес.

В тюке у Калины были припасы: сухари, сушеное мясо, мед, топор, рыболовный снаряд, разборный лук, мелкое железо на обмен, крынка с бобровым салом, чтобы смазывать лодку. Шкура от лодки занимала половину тюка. Она была сшита из оленьих кож ковшом, нос и хвост — карманами.

Калина стал учить Матвея собирать лодку. Такими лодками пользовались охотники. Если придется убегать с реки в лес, лодку вмиг можно разобрать, свернуть шкуру и сгнуть в глухомани. И восстановить пыж недолго. Нужно срубить две елочки, срезать, где надо, ветви, вставить комлями друг к другу в карманы — носовой и хвостовой, а потом связать пришитыми шнурками и дважды перетянуть поперек тетивой. И снова лодка готова — легкая, как сноп соломы, и ходкая.

На Олёну Ранние Росы выплыли из Покчи. Через две недели были уже у Балбанкара.

— А чего вы там делали-то, на городище? — спросил Матвей, сидевший в лодке впереди, когда Балбанкар уже скрылся из глаз.

— Вагирйому прятали, малую Золотую Бабу.

— Это за нее деда убили?

— За нее.

— Я про Золотую Бабу все знаю, — помолчав, сообщил Матвей. — И не Баба это никакая, а богородица. Потому ее язычники и прячут. Она ведь у крещеных должна быть.

— Кто это с тобой такой мудростью поделился? — удивился Калина.

— Филофей, епископ. Он мне все рассказал. Чуть ли не тыщу лет назад пермяки пошли войной на царьградские и немецкие земли. Далеко за Москву зашли, хоть Москвы тогда еще и не было. И бог хотел их остановить, явил им чудо: из чистого неба пошел град, и перед войском из градин сама собой слепилась богородица. Ни огнем, ни мечом ее взять не могли, а через три дня она вовсе золотой стала. Тогда половина пермяков призвала попа, окрестилась и в той земле осталась жить, свою страну Енгрией назвали. А другая половина язычников убежала сюда, на Камень, и богородицу золотую с собой унесла. Потому нам и надо ее отнять.

Калина усмехался, слушая рассказ Матвея.

— Репей в глотку твоему епископу, — сказал он.

К вечеру дошли до устья Чусовой, широкого, как ворота. Дальше уж до Ибыра придется грести вверх по течению.

— Запомни Чусовую, великая река, — сказал Матвею Калина, когда они в темноте ужинали у костра, и оглянулся через плечо: Чусовая широко

и туманно светилась под луной.

— А чего в ней?

— Она одна Каменные горы победила — даже Вишере то оказалось не под силу. Началась на той стороне и, как пилой, хребет прорезала. Поэтому на ней повсюду скалы — и малые, и под самое небо. Есть, как и у нас, Столпы — окаменевшие великаны. И все скалы здесь священные. На каждой или под каждой — капище, в любой пещере — идол. Река эта богата несметно. Не только рыбой, зверем, лесом. Есть и песок золотой, и жемчуга, и горячая земная смола, и самородные камни вроде того, что у тебя на пуговице. Только все это недоступно. Река тайная, и живут здесь тайные вогулы. Со своими не дружатся, а чужаков всех убивают. Нет здесь ни городищ ихних, ни павылов, одни только легкие стойбища. Чусовские вогулы — лесные, живут охотой, молятся камням и деревьям. У них даже боги особые. Тайный народ, одним словом, тайный и страшный.

— Будет у меня войско — и побью я этих тайных вогулов, — решительно ответил Матвей. — Заберу эту реку себе. Назову эту землю Пермью Новой Чусовской и посажу сюда княжить сына.

— Далеконько загадываешь, — недоверчиво покачал головой Калина.

На следующий день плыли недолго. После полудня Калина причалил к берегу по правую руку. Вдоль реки и вглубь здесь раскинулся широкий луг, ограниченный лесистыми холмами. Калина оставил Матвея налаживать стан, а сам ушел — бродил вдали по травам, глядя под ноги, или вдруг озирался, словно что-то потерял, влезал на кривые бугры, часто натканные повсюду и заросшие малиной.

— Искал, что ль, чего? — насмешливо спросил Матвей, когда Калина вернулся. — Вогулов тайных?

— Это, княжич, знаменитое поле Чулмандор, — пояснил Калина. — Здесь два с половиной века назад пермяки и вогулы разбили татар.

Калина протянул Матвею ладонь, на которой лежали позеленевшие наконечники стрел.

— Медные, — презрительно сказал Матвей.

— Тогда железа мало делали. Железные стрелы только у татар были, а у наших — медь да кость. Однако ж победили.

Матвей окинул взглядом пустынное поле, тихо зарастающее молодой травой.

— Для нас Чулмандор все равно что Куликово поле для Москвы.

— А велика ли у татар сила была? — заинтересовавшись, уважительно спросил Матвей.

— Велика. Говорят, тридцать туменов.

— Тридцать татарских туменов всю вселенную завоюют, — не поверил Матвей.

— Татары конные в степи сильны. А сюда они на лодках против реки шли. На тюрени-то с шибасами много коней не возьмешь. А пеший татарин валок... Вон там пермяки стояли, — Калина махнул рукой вверх по течению. — Татары на них кинулись. А им в бок ударили вогулы, что прятались на пармах. Почти все татары и полегли, мало кто ушел. Эти вот бугры, что здесь повсюду, — скудельни татарские. Я еще помню, что валялись здесь и порубленные татарские лодки — из травы торчали черные носы и ребра, а сквозь днища деревца проросли. Теперь уж те деревца вон какие...

— Почему ж тогда пермяки татарам харадж давали?

— Народ силен единством. Через двадцать лет после Чулмандора пришел к нам хан Беркай. Он вогульских хаканов подкупил, и вогулы от общего дела откололись. Пермякам же в одиночку было не справиться. Пришлось покориться. Но татары рвались к Последнему морю. Они побоялись навешивать на людей Каменных гор ясак, чтобы не оставить у себя за спиной врагов. Поэтому обложили пермяков данью союзников, легкой данью — хараджем. Ну и клятву верности взяли.

— А я их клятву порушил и хараджа велел не платить. А кто понесет харадж — тому велел руку рубить.

— Не по летам ты крут, — неприязненно заметил Калина.

— Как того дело требовало, так и поступил.

— Легко тебе дохлую собаку пинать. И в ребра ее, и в зубы...

— Ты это о чем?

— О том, что давно уж Золотая Орда на куски развалилась, и ханства нынешние не чета Чингизову. Пермяки с татарами за два столетия крепко срослись. Их харадж уж и не дань, а так, знак уважения. От татар добра не меньше, чем горя. Как, впрочем, и от Руси. Ничего не поделаешь — соседи, и живем по-соседски: и рубахи друг на друге пластаем, и пожар вместе гасим.

— Ну-у, заныл, — недовольно сказал Матвей.

Калина бессильно махнул рукой.

— А почему ж пермяки-то с татарами именно тут сошлись? — не унимался настырный княжич. — Поближе к Чердыни места не нашлось?

— На Чулмандоре сходятся все дороги, что ведут к татарам. Из Перми Великой, с верхней Камы, с Колвы, Вишеры, Иньвы и Обвы. Из Югры — другие древние пути: через Басеги на Усьву, Лебединую Воду, через верховья Чусовой или со середины по Серебряной реке, или по Сылве мимо

Ибыра. По своим дорогам пермяки вогулов не захотели пропускать, вероломства побоялись.

— Ладно, Калина, хорош лясы точить, — вдруг оборвал разговор Матвей. — Пора за дело браться, дрова-то прогорели...

В темноте Калина решил еще раз пройти по травам Чулмандора. Чулмандор неудержимо манил его, Чулмандор — поле былой славы, развеявшейся в веках без следа. Только кузнечики стрекотали так же звонко, неподвластные времени. Калина вспоминал — и то, что было с ним, и то, чего он никогда не видел, но знал так ярко и остро, словно бы сам пережил. Он вдруг остановился и резко оглянулся — почудился в темноте чей-то призрак, знакомая тень... Чусовская вогулка, много лет назад нашедшая его на Балбанкаре и лечившая в своей избушке где-то здесь, неподалеку, красавица ведьма Солэ — это будто бы она мелькнула где-то на краю зрения. Но Калина напрасно всматривался во тьму — не было никого. Только память, луна и Чусовая.

Калина вернулся и залез под шкуру рядом с Матвеем.

Он проснулся на рассвете как от толчка, поднял голову. По розовой от восхода воде заводи плыли два сиреневых лебедя. На берегу на коленях стоял Матвей и натягивал лук.

Калина успел ударить мальчишку по руке. Стрела, взбурлив, ушла под кувшинки. Калина вырвал лук у княжича и рявкнул:

— Чужое оружие брать не смей!

— Не бойсь, не сломаю, — смело ответил Матвей, поднимаясь с колен и глядя Калине в глаза.

— А лебедь — птица священная.

— У язычников.

— А язычников ты уважить не можешь, да?

— Кто они и кто я?

— Не буду я с тобой собачиться, — сказал Калина. — Только на Чулмандоре теперь не стреляют, понял? Хватит, тут уже настрелялись.

— Ну, поди обратно в луг, поплачь, повздыхай, помечтай, как девка, — бесстрашно предложил Матвей. — Я ж видел, как ты вчера ночью страдать бегал.

Калина взглядом смерил княжича с головы до ног.

— Удивляюсь я тебе, — признался он. — На чем ты стоишь? Ни единого ведь корешка нету!

Погода наладилась, сияло солнце, река казалась неподвижной. Пыж бежал легко и быстро, как водомерка. Наконец добрались до устья Сылвы.

— Сылва — мирная река, торговая, — сказал Матвею Калина. — Здесь уж можно не прятаться...

Длинный песчаный мыс с ровным рядом высоких сосен разделял Чусовую и Сылву. За стволами и вершинами мягко искрилась чусовская дорога на восток — в скалы, в хмурые леса. Сылва уводила на полдень — к степям, к холмам, к пологим горам.

— Глянь-ка, вроде вогул стоит, — неуверенно окликнул Калину Матвей.

На мысу под соснами и вправду кто-то был, но разглядеть мешал подлесок. Чудилось, что в пушистых елочках стоит человек в одежде из шкур и пристально следит за проплывающей лодкой. Калина вспомнил свое ночное видение — вогулку Солэ — и подумал, что неспроста эти мысли. Полтора десятка лет о ней не вспоминал — и вдруг подряд дважды мерещится.

На ночлег встали за небольшим святилищем под склоном холма. Здесь на поверхность земля выдавила ручьи — чистые и холодные, — и кумирню соорудили в подкопанном русле старого притока. Святилище не было заброшенным, хотя, видно, и посещали его редко. Калина и Матвей потоптались меж невысоких, потрескавшихся идолов, поискали, чем можно разжиться. Нашли только медное огниво, больше ничего ценного. Старые наконечники стрел, черепки, моленные горшочки в углях, выкладки из костей и черепов, канавы, жертвенные колоды... Святилище сылвенцев не пугало, не отгоняло от себя чужаков. Мирная торговая река же поклонялась злым богам войны и боли, не принимала в жертву могучих лесных хищников.

А ночью пожаловала ведьма Солэ.

Матвей спал, и Калина задремал возле костерка, который теперь можно было не гасить и не прятать, и вдруг совсем рядом раздался пронзительный волчий вой. Калина вскочил, как подброшенный, сжимая топор, и возле него тотчас оказался Матвей с ножом в руке. Вокруг них, словно по углам, сидели четыре волка. Отблески углей делали их глаза кровавыми.

— Пасия, Калын, — произнес скрипучий голос.

Ведьма стояла чуть в стороне, подальше от отсветов костра. Когда-то Калина знал ее женщиной в годах, но все еще сохранявшей яркую и дикую красоту. Солэ и сейчас не утратила стройности и стати, будто бы до сих пор была девушкой, но ее лицо было лицом глубокой старухи — вылезли брови, ввалились глаза и щеки, крючком загнулся нос, высохли губы, редкая борода висела на подбородке. Белые волосы Солэ распустила по

плечам; в руках она держала глиняный кувшин.

— Пасия, отыр-нэ, Солэ, — угрюмо ответил Калина.

— Я пришла ойталахтын вармаль, — сказала ведьма. — Помнишь, как я спасла тебя? Сака эрнэ вармаль нангки.

— Помню, — кивнул Калина, опуская топор. — Если бы я знал, что ты лечишь людей за плату, я бы давно расплатился. Я от долгов не бегаяю.

— Я лечу людей, Калын, — ответила ведьма. — А ты не человек. Когда я нашла тебя на Балбанкаре, ты был такой же, как сейчас. Сколько тебе зим? Сто? Двести? Тысяча? Кто ты? Куль? Мертвец? Хумляльт? Войпель?..

— Кто бы я ни был, мне сейчас нечем тебе заплатить.

— Отдай мальчишку.

— Нет.

И тут Матвей сунул руку за пазуху, выхватил пуговицу князя Пестрого и кинул в рот.

— Йолькирь! — звонко крикнула ведьма.

Один из волков прыгнул Матвею на спину и сбил с ног. Пуговица вылетела у княжича изо рта и покатила по траве к ногам ведьмы. Солэ подняла ее, посмотрела сквозь камень на костер. Волк все еще стоял передними лапами на спине распластанного Матвея.

— Отдай, ведьма! — злобно завопил княжич.

Солэ быстро спрятала пуговицу в кулак и пальцем указала на мальчишку.

— Ты должен звать меня «эква», — велела она. — Если отныне ты назовешь меня иначе, мои волки найдут тебя повсюду. Мигирь! Йолькирь! Ракирь! Сагиль!

Три волка вокруг костра зарычали, поднявшись на все четыре лапы. Матвей молчал, уткнувшись лицом в землю. Йолькирь спрыгнул с его спины, подошел к ведьме.

— Солэ, нам нужен этот камень, — тихо сказал Калина. — Потом я заплачу тебе больше, чем он стоит. Отдай его нам. На него мы хотим выкупить человека из неволи.

— А я тоже на него выкуплю человека. Даже несколько человек. Мои волки не должны забывать вкус живого мяса. Я стара, я одинока. Мне надо заботиться о своих помощниках.

— Но ты не можешь грабить нас здесь! — в бешенстве крикнул Калина и топнул ногой. — Ты давала Вагирйоме и Ялпынгу мир эли-палт маим так латынг! Туявит — мирная река!

Ведьма засмеялась и бросила под ноги Калины кувшин. Кувшин

раскололся, вода плеснула на Калину и Матвея.

— Я знала, что ты вспомнишь об этом. Я не граблю, а забираю долг! И это — вода Ханглавита, Чусовой. Все, прощай. Амки салиуй!

Солэ словно растворилась в темноте. Калина оглянулся — волков тоже не стало.

До утра Калина и Матвей, подавленные, сидели у прогоревшего костра. На мальчишку вообще было жалко смотреть: ведьма отняла у него возможность выкупить рабыню, отняла уверенность в своей силе и своем слове. Но тем самым она разожгла в княжиче гнев, который бывает побольше любой надежды, веры и силы.

На рассвете Калина оживил костер, принес воды в медном котелке и повесил котел над огнем, а сам в сторонке сел смазывать салом днище пыжа.

— Ну, княжич, куда теперь? — спросил он, не поднимая головы. — В Ибыр или домой?

Он еле уклонился от топора, который швырнул в него Матвей.

— Все из-за тебя! — завизжал княжич. — Это ты сосвоими долгами не расплатился! Ненавижу тебя! Ненавижу эту... э...

— Экву, — с готовностью подсказал Калина.

— Хоть эква, хоть кто! — надрывался княжич, шаря по земле руками: чем бы еще запустить в Калину.

— А я тут при чем? — спокойно хмыкнул Калина. Он увидел, что беда не раздавила мальчишку, не размазала, как слякоть. — Думаешь, если бы я вовремя заплатил, она бы пуговицу брать не стала? Держи карман шире.

— Откуда она вообще о ней узнала?

Калина развел руками.

— Как-то проведала. На то и ведьма.

Матвей в бессильной злобе начал лупить палкой по углям в костре. Полетели искры, зола, пепел.

— Ты вот отца клянeshь, что он у тебя рохля и пустодыра, — издалека сказал Калина, — теперь сам судьбы попробуй. Сам сначала покувыркайся от досады да наизнанку вывернись, а потом суди.

— Отец неудачник! — снова закричал Матвей. — Неудачник! Он проиграл битву! Его побили! Я его ненавижу! Мне не нужен такой отец!

— А тебя сейчас не побили, да? Не ограбили, как лаптя деревенского? И кто? Старуха!

— Ну и пусть! Конеч — делу венец! Я все равно уведу Машку из ясырок! Украду! Мечом отобью! Всех обману!..

— Ну, давай, давай, — сварливо согласился Калина. — Там другого

такого расписного на всю ярмарку не найдется. Витязь, вор и хитрец — единый в трех лицах...

И они плыли дальше вверх по Сылве — Талой Воде пермяков.

Река была медленной, как корова, тихо и нежно струилась вдоль кожаных бортов пыжа. Вода в Сылве казалась темной и прозрачной, а небо как на иконе — благостным и лучистым. Солнечный свет играл на гальке перекатов, и чудилось, что лодка парит над донными камнями, словно облако. А в омутах солнце собиралось где-то в глубине в клубы мерцающего тумана. На пологих берегах звенели золотые травы. Там, на хребте, на холодном севере, словно бы бушевала буря, выламывала утесы из жилистых боков мансийских тумпов, гнала чередой волны скалистых зубцов, смерчем взвихривала над голыми вершинами исполинские каменные столбы священных чурков, а здесь буря давно улеглась, и только эхом ее протяжно вздымались и опадали покатые, длинные пармы, да по берегу, как обсохшие в межень лодки, кое-где громоздились горячие, белые, приземистые скалы, на которых отпечатались нечитаемые письма прошедших времен и загадочные, неведь откуда взявшиеся известковые ракушки. Даже комарья тут не было, а над знойными лугами воздух бурлил от увесистых слепней и оводов, вечных спутников скотогонов.

Калина и Матвей видели эти стада — коровьи и козьи, что пасли всадники в лохматых волчьих малахях. По тропам башкиры гнали на продажу конские табуны. Все тянулись на торг. Селения встречались редко, и чаще временные: то чумы вогулов и остяков, то юрты башкир и татар, то берестяные балаганы черемисов и мордвы. Лодка Калины и Матвея иногда обгоняла большие караваны, поднимающиеся к Ибыру; реже навстречу вниз проходили уже почти порожние или легко груженные соболями и прочей рухлядью. Сылва летом была даже более оживленной, чем Колва или Кама у Бондюга. Бояться нападения уже не приходилось: Туявит — мирная река; но и зевать тоже не стоило.

Через несколько дней в Сылву по левую руку впала Ирень — мутная и странно сине-зеленая, как зимняя хвоя. Отсюда, сказал Калина, начинались земли его друга, остяцкого князьца Чикаля. Вскоре показался и дом Чикаля на прибрежной поляне под высокими старыми соснами. Калина причалил.

Чикаль был совсем старым старикашкой, таким морщинистым, что на его лице невозможно было бы найти глаза, рот и нос, если бы не привычка искать их на своем месте. Однако держался Чикаль бодро.

Разместившись в избушке под соснами на земляных лавках, Калина вытащил из своего мешка наконечник стрелы — первый попавшийся.

— Ты небось слышал, что наш князь Михаил побывал в Москве, у самого Великого князя? — спросил Чикаля Калина. — Так вот, рассказал он о нашей жизни и тебя, уважаемого, вспоминал. И Великий князь послал всем подарки — небольшие, но ценные. Вот, тебе велел передать это острие. Пусть, сказал, знаменитый Сылвенский и Иренский князь Чикаль ходит с этим острием в стреле на охоту. Охота всегда будет удачной, потому что главный пам роччиз заговорил это железо на зверя. Принимай!

Чикаль был очень польщен, спрятал наконечник в берестяную коробочку, а коробочку убрал на дальнюю полку.

— А Камаю он тоже подарок послал? — ревниво спросил старик.

— Нет, Камаю он ничего не послал.

Чикаль был доволен вдвойне.

С Камая завязался разговор. Матвей скучал, не понимая, зачем им надо здесь торчать. Но Калина, видно, наслаждался общением с хозяином. Чикаль говорил о своей вражде с Камаем — соседним князьцом, давним своим другом-соперником и таким же старикашкой. Камай, этот глупый, злой и жадный человек, творил преступления без стыда и совести. Он высек свои катпосы на деревьях в Осиновом логу, что издревле принадлежал Чикалям, межевому идолу в жертву кидал пустые шишки, выливал по утрам в Сылву помои, чтобы Чикаль их пил, наслал на Чикаля ломоту в спине и лысину, охотился в лесах Чикаля, колдовством влюбил красивых, умных и добрых внуков Чикаля в своих внучек, уродливых, злых и грязных, а проплывавшим мимо остякам сказал, что Чикаль — старая крыса и муравьиная какашка. Но потихоньку Калина разузнал и кое-что важное: каков нынче торг в Ибыре, много ли ясырей, как татары относятся к русским. Напоследок Калина прикупил у Чикаля мяса.

— Позавчера мой сын Бакат убил большого кабана за Сорумпатум хотпа махум — за Мертвыми Народами. Я его положил в Янгкынг Ма кивыр курSSIP — в Ледяную пещеру, — сказал Чикаль. — Там еще две коровы и мань ут — всякая мелочь. Но ты бери только кабана.

— Разве ж я вор? — обиделся Калина.

Они расстались с Чикалем и погребли дальше, к белым скалам над прибрежным тальником.

— Почто у старика столько времени потеряли? — не довольнo ворчал Матвей.

— Отчего же хорошего человека не навестить?

— А зачем же хорошему человеку про стрелу наврал?

— Мне ничего не стоит, а ему приятно, — беспечно ответил Калина.

— А что это за Мертвые Народы, где кабана убили?

— Мертвые Народы — это холм такой погребальный, здоровенный. На правом берегу Ирени стоит, верстах в десяти—пятнадцати от устья. Под ним, говорят, может, сто, а может, и двести или больше могил, где древние пермяки схоронены. Там, бывает, в земле, в ручьях золото могильное находят, река из берегов кости вымывает.

— Какие древние пермяки? — удивился Матвей. — Сылва же, Туявит, — вогульская и остяцкая река.

— Это сейчас. А лет пятьсот назад она пермская была. Название-то у нее пермское. Тут много крепостей стояло, гортов — ну, деревень, по-нашему. А вогулы тогда еще звали себя «манси» — значит, меньшие братья пермяков. И жили они за Камнем.

— А потом что?

— А потом, еще задолго до Чулмандора, вогулы перешли Камень и напали, выгнали старших братьев. Отняли они и Сылву, и Чусовую. Отняли Койву, Усьву, Яйву, половину Вишеры до Акчима, левый берег Камы, где долины брошенных селений — Кужмангорт. Вот тогда пермяки и ушли отсюда в кудымкарские леса, на верхнюю Каму, на Колву.

Калина направил пыж к берегу. Там в зарослях, над которыми вставала скала, виднелась поляна с журавлем — вогульским кострищем.

С поляны к скале вела узкая тропа. В конце ее, под скалой, между глыбами камня, заплетенными малиной, чернела небольшая дыра, из которой несло могильным холодом.

— Ух ты! — сказал Матвей. — Пещера!

Калина некоторое время возился, разжигая бересту, накрученную на палку. Палки с берестой пучком торчали из расщелины меж валунов, заранее заготовленные Чикалем.

Со светочем в руке Калина встал перед лазом на колени, перекрестился, неожиданно суровый, и полез в дыру на четвереньках. Матвей ринулся за ним, стараясь не отстать, и даже получил пяткой по лбу.

Земля и камни были обжигающе-холодными. Солнечный свет позади внезапно оборвался, иссяк, словно вытек весь до капли. Ползти пришлось недолго и недалеко, хотя Матвею показалось, что очень далеко и очень долго. Но вот впереди во тьме словно бы растворилось присутствие Калины, и всем телом Матвей ощутил вокруг себя пустое пространство. Он осторожно поднялся на ноги и обогнул ледяной выступ.

Казалось, что из солнечного летнего полдня они попали в зимнюю полночь. Кругом громоздились горбатые сугробы. Низкий косой потолок бугристо провис над головой, как набрякшее тучами небо. И справа, и слева стояли ледяные столбы; лед стекал потоками по стенам, свисал

огромными сосулями. И сосули, и камни, и даже снег были покрыты невесомой, игольчатой ледяной пылью, словно замерз воздух. Огонь светоча Калины засиял на мириадах кристаллов, замерцал в изморози, трепеща, заструился по потолку, разбежался радугами, как круги по воде.

— Ну и хоромы! — гулко сказал Матвей. — Калина, гляди, там проход...

— Не для нас, — шепотом ответил Калина.

— Почему?

— Потому что мы берем кабана и уходим.

— Где-где, так ты храбрец, а тут струсил, — насмешливо и нарочито громко сказал Матвей.

— Я своей храбростью не кичусь и робости не стыжусь, — возразил Калина и, воткнув светоч в сугроб, начал ворочать замерзшие куски разрубленных туш, отыскивая своего кабана.

Матвей пополз по каменной осыпи к черной расселине.

— Княжич, не суйся, коли спятить не хочешь, — предостерег его Калина. — Тьма глаза высосет, разум оморочит...

— А ты там был? — останавливаясь, спросил Матвей.

— Единожды случилось, и больше не пойду. Лучше я буду среди вогульских тумпов скитаться, на гибидеях ночевать. Лучше уж сразу в Пети-Ур...

— А чего там?

— Красота неизмеримая, но не для человека. Дворцы и храмы из льда, ледяные леса, образы птичьи, звериные и человеческие из камня, валуны поющие, колодцы в потолке, бездонные озера с невидимой водой... Это все Мамонта жилище, людям туда ход заказан...

— Какого Мамонта? — невольно понижая голос, спросил Матвей и оглянулся через плечо на расселину.

— Слышал небось, что иногда реки вымывают из берегов кости огромные, загнутые? Это стада Чуди Белоглазой — мамонты. Звери, живущие под землей. Маммуты, по-пермски. Когда движутся они, ходы в земле остаются, вроде нор и пещер. А если ночью поднимаются наружу и бродят по лугам и горам, то появляются их следы — ямищи огромные, воронки, в которые может провалиться целый дом, а то и больше. Я тебе потом покажу такие. Их здесь наверху видимо-невидимо. Потому что в этой пещере, в Ледяной горе, живет владыка всех мамонтов и пещер, старший Мамонт.

— А наша Дивья пещера... — начал было Матвей.

— У нас, в Перми Великой, пещеры от Ящеров, а здесь другое...

Ладно, пошли скорее отсюда, пока лихо не накликali. Ты держи огонь, а я тушу поволоку.

Калина снова полез первый. Прежде чем нырнуть за ним, Матвей оглянулся, подняв светоч повыше. И увидел Мамонта. Косматый пещерный мрак живой горой навалился на мальчишку, нависли сверху страшные ледяные бивни, искрой блеснул огонек маленького кровавого глаза... Матвей пискнул, выронил светоч и стрелой юркнул вслед за Калиной.

Вечером у костра он попросил:

— Расскажи еще что-нибудь про Мамонта...

Калина сидел с закрытыми глазами; изо рта у него торчала тростина, на которую был насажен коровий рог. Рог дымил саром — вогульским курением, которым Калину угостил Чикаль.

— Про Мамонта? — переспросил Калина, открывая глаза. — Могу рассказать тебе о двоюродной бабке Чикаля. Она в те давние времена еще девкой была. И прельстил ее пришлый человек. Волосом он был черен, ликом бел, от дыхания холод шел, света солнечного не любил. Но был богат безмерно, перламутры сыпал перед девкой, лалы, яхонты, бирюзу... Соблазнилась дура богатством и пошла за пришельцем жить к нему в пещеру. Но то не человек был, а сам Ма Елипат Олнэ Воруи Махар — Подземный Зверь Мамонт, только человеком обернувшийся. И как дошли они в пещере до заветного озера, он обратно чудовищем стал, а все его самоцветы оказались ледышками. Но выхода уже не было. Так девка в пещере и заковала... Мы с Чикалем ходили на озеро Плачущей Красавицы, носили пищу, приветы передавали. Там в тишине и темноте денно и ночью капаят с потолка в воду слезы.

Матвей сидел задумчивый. Калина молча выколотил о камень рог и пошел спать.

Когда он утром проснулся, на берегу не было ни Матвея, ни лодки. Поначалу Калина ничего не заподозрил — рыбалка там, забавы... Но время шло, а княжич не возвращался. В душу Калины начала закрадываться тревога. Он стал вспоминать: о чем вчера говорили? Двоюродная бабка Чикаля, Подземный зверь Мамонт, пещера, сам Чикаль... Чикаль! Мертвые Народы! Могильный курган на Ирени! Конечно, княжич поплыл туда за золотом — ведь он не знал, чем платить за ясырку! Но разрывать могилы...

Калина заметался по поляне, но что он мог сделать? Лодку — и ту княжич увел. Тогда Калина через заросли полез на склон, поднялся на вершину горы, осмотрелся. Нет, Матвея нигде не было видно. Да и сколько уж времени прошло... Сейчас, наверное, он уже копает курган. Оставалось

только ждать. Будь что будет.

Калина опустился на лежащий в траве белый валун. Легкая рябь облаков плыла в небе над Ледяной горой. Вокруг — с высоты как на ладони — распростерлись благословенные сылвенские просторы: курчавились перелески на горах, золотились под солнцем луга, таял в мареве оком. Ирень едва-едва просверкивала извивом в жаркой дымке. Сылва широкой лентой тихо стелилась под светлыми кручами Ледяной горы, широко убегала и направо, откуда приплыли Калина и Матвей, и налево, где вдали мутно синела высокая скала, — там некогда дозорные древнего городища жгли сигнальный костер, если по реке шел враг.

Городище лежало рядом, по левую руку — оплывшие валы, редкие зубья упавшего тына. По всей плоской вершине Ледяной горы расплескалось ковыльное море, полынный океан, и теплый полуденный ветер гнал по нему от края до края волны серебристого отсвета. Как острова, по щиколотку в ковылях стояли сосновые боры. Высокое поле было ровным, только кое-где вдруг западало в глубокие складки логов, да еще дырявили его круглые воронки следов Мамонта, из которых весело выглядывали вершинки березок. Совсем белые, изъеденные временем валуны вросли в землю, и на них сидели огромные, как волки, черно-сизые вороны — мудрые птицы, жравшие мертвечину и жившие три века.

Жаркий покой дрожал, звенел, стрекотал кузнечиками вокруг Калины, над Калиной, над Ледяной горой с воронками, воронами и городищем, над Сылвой, над всей землей, а Калина все думал, что в это время глупый, самолюбивый княжич упрямо роет могилы, которые не надо, не надо, не надо трогать даже ради всего золота мира.

Но время шло, Калина потихоньку успокоился, а потом даже разозлился. Он слез с горы на поляну и начал возиться с костром. Если уж княжич пропал, так пусть хоть кабанчик не пропадет, — с мрачной усмешкой решил он.

До темноты Калина коптил мясо на прутьях, затем прилег возле углей, рассчитывая подремать вполглаза до рассвета. В ветвях над его головой расчирикались птицы, и голоса их казались голосами звезд, зернами просыпавшихся на синее блюдо небосвода...

Кто-то больно пнул его в плечо, и Калина подскочил, проснувшись. Уже давно рассвело; последний пар таял над гладью реки. Над Калиной стоял Матвей — перепачканный глиной, осунувшийся, но ликующий. Он бросил на землю перед Калиной золотую чашу — большую, плоскую, мятую, с одной ручкой.

— Я нашел золото в могилах! — крикнул он. — Нашел! Никто меня не

остановит! Пусть твоя ведьма подавится моей пуговицей!

— Эква, — вяло поправил его Калина, рассматривая чашу.

— Ведьма! Ведьма! — упрямо выкрикнул княжич.

Калина поставил чашу на траву и поднялся.

— Ты соображаешь, чего натворил, княжич? — зло спросил он. — Ты разграбил священную могилу! Такого грабителя должен убить любой, кто его встретит! Куда ты сунешься с этой чашей? Каждый, кто ее увидит, сразу поймет, что это могильное золото! Он должен будет нас убить! А чашу у тебя никто не возьмет!

— Возьмут. Золото — всегда золото, — сказал Матвей.

— Тьфу, сопляк! Через день-два всей Сылве станет известно, что кто-то разрыл Мертвые Народы! Начнут спрашивать, кто это мог сделать, и Чикаль скажет, что проплывал бывший скудельник Калина! И если при нас найдут эту чашу, обоих тут же живьем закопают!

— И что теперь, утопить ее? — с вызовом спросил Матвей.

— Утопить!

— Ну да, — ухмыльнулся Матвей и поставил на чашу ногу. — Разбежался. Я ее камнем расплющу, и будет она просто лепешкой золота.

— Ай, бес с тобой! — в сердцах сказал Калина. — Поймают нас — я все на тебя сопру, поклянусь, что не я могилу рыл. Я тебя предупредил — дальше поступай как знаешь, коли ты самый умный. Когда тебя тетивой удавят — я тебе глазки сам закрою. Давай скорее убираться отсюда. И зря ты Солэ ведьмой назвал — она услышит.

Калина до вечера греб как одержимый, стараясь уйти подальше от устья Ирени. Проплыли по левую руку сросшиеся утесы, где когда-то зажигались сполохи для городища на Ледяной горе, потом в распадке мелькнул межевой идол, разделявший земли Чикаля и Камая. Деревушка Камая, по счастью, была пуста, когда пыж проскочил мимо. Сылва изогнулась дугой, обегая вздутие еловых гор, и дальше на просторной луговине, где под солнцем блестели зеркала озер в провалах мамонтовых следов, Калина показал Матвею древний могильник, одной стороной осыпавшийся в воронку.

— Вон там бы рыл, скудельник, — сказал он. — Никто бы и не заметил. Надо сначала спрашивать, а потом делать. Так ведь не-ет, мы сами себе голова!

Матвей не слышал ворчания Калины — спал.

Истомившись, вечером Калина причалил лодку к пологому бережку под скалой. Здесь заканчивалась еще одна широкая петля Сылвы, горло которой было перехвачено длинной и крутой горой. Склон горы,

обращенный к реке, был скалистым; скальная стена высывалась из края горы гребнем, почти нависшим над водой. Понизу лежала щебневая осыпь, а поверху на полоске земли по хребту росло несколько елочек, торчали гнилые зубцы частокола и головы идолов. Утесы здесь были покрыты желто-бурым лишайником, на закате казавшимся кровавым.

— Эту гору вогулы зовут Пункг выгыр вортолнут нёр, или просто Вортолнутур, — сказал Калина, рассматривая гряды. — Это значит «Гора головы красного медведя».

— Пунк... гынк... мурл... — передразнил Матвей и зевнул. — Как ты это запоминаешь? Язык сломать можно.

Они вытащили лодку, раскинули стан, наломали дров для костра. Солнце, побагровев, село на острия елей, как отрубленная голова на копья хонта. Над огнем на прутьях разогревалась нарезанная ремнями кабанина. В котелке Калина заварил мяту, помешивая берестяным ковшиком.

— И нисколько не похожа эта гора на медведя, — сказал Матвей, искоса глядя на скалу и зубами разрывая мясо.

— Там останец есть такой, как медвежья голова, — пояснил Калина. — Ему жертвы приносили, там и пещерка имеется.

— Здесь тоже пермяки жили?

— Пермяки. Тут крепость их стояла. Видишь остатки тына? Частокол по горе шел. На склоне, вон там, — землянки. Здесь, на луговине, скот держали, а река и тын защищали его, если враг нападал. Все окрестные деревни этой крепостью спасались и стада спасали.

— Пока не стемнело, пойдем посмотрим на Медвежью Голову, — предложил Матвей. — Может, там еще жертвенное золото осталось?

— Мало тебе? — буркнул Калина.

Черная дырка пещеры посередине скалы была видна издали, а останец совсем не виден. К пещере вела тропка, ровная на осыпи и завихлявшаяся на заросших можжевельником крутых каменных ступенях. Калина и Матвей добрались до пещеры, совсем маленькой, глубиной в два шага. Матвей сразу принялся ворошить камни, засовывать руки в дыры по стенам, но нашел только кости и позеленевшую медную безделушку.

— Хорош варначить, — недовольно одернул его Калина. — Взглянул бы на Медвежью Голову.

Перед пещерой в скале образовалась заросшая кустами выемка с косым, неровным дном, а из ее края торчала в небо каменная Медвежья Голова — вытянутая, с прижатыми ушами, с четко обозначенной скулой. Внизу раскинулась вся луговина, очерченная петлей Сылвы. Тень горы укрыла ее наполовину.

— Ну-ка я Медведю на нос залезу, — воодушевился Матвей и дернулся к останцу, но Калина вдруг услышал знакомый вой и рванул княжича за рубаху в пещеру.

В скалу, звякнув, ударила вогульская стрела со свистулькой в острие.

— Это что? — обомлел Матвей.

Калина, отодвинув его, осторожно выглянул, но тут же отдернул голову — сверху клюнула еще одна стрела, посланная ему в затылок. Однако Калина успел все разглядеть.

— На берегу две вогульские лодки, — сказал он Матвею. — Значит, вогулов четверо. Видать, пошарились в наших пожитках и нашли твою чашу. Говорил же я тебе — не бери могильное золото!..

Матвей молчал.

— Двух вогулов, которые по тебе стрельнули, внизу видел, — добавил Калина. — А другие двое, надо полагать, наверху, над нами. Эти уже по мне били. Заперли нас здесь, княжич, как в норе. У тебя оружие есть?

— Нож, — тихо сказал побледневший Матвей.

— А у меня ничего... Чудесно.

— Что же делать?

Калина пожал плечами, уселся и поднял камень поувесистее, подбросил его на ладони. Они ждали, но вогулы не шли.

— Чего они не идут-то? — наконец не вытерпел Матвей. — Боятся?

— Нас испугаешься, — проворчал Калина. — Васька Калина — Тараканья Смерть и богатырь Матвей — Уноси Зад Поскорей... — Калина быстро выглянул и тотчас всунулся обратно в пещеру. — Костер наш жгут. Караулят, когда сами выйдем.

— А чего им нас тут не перебить? — не унялся Матвей.

— Не терпится, что ли? — огрызнулся Калина. — Они, наверное, из какого-то рода, чей предок враждовал с Медведем. А здесь — священное медвежье место. Им сюда, значит, ход запрещен.

— Э-э! — обрадовался Матвей. — Тогда мы ночью уйдем!

— Думаешь, они такие же дураки, как ты? Они и сверху, и снизу будут нас сторожить. А больше нам деться некуда.

— Сам дурак, — только и ответил Матвей.

— Ладно, давай ночи ждать, — сказал Калина.

Солнце затонуло в лесах. Кудель тумана сплеталась и расплеталась над тихой водой омута. Небо потемнело, но все осветилось прорехами ярких и чистых звезд. Огромная луна выкатилась над луговиной и светила прямо в пещеру. Травы поголубели; красные скалы стали бледными, как кость. Каждая пядь земли была озарена мертвящим лунным пламенем.

У подножия скалы горел костер. Другое зарево поднялось за гребнем. Калина видел, как два вогула сидят на валунной осыпи внизу; третий стражник торчал, чернея на фоне звезд, на скале над головой.

— Если проползти, то не заметят, — шепнул Матвей Калине. — А то я замерз — зябко тут в камнях...

— Ползи, попробуй, — предложил Калина. — Со стрелой в заднице вернешься. Надо ждать, пока луна за гору зайдет.

— Все у тебя «ждать, ждать». Сказал же, замерз я...

Отодвинувшись друг от друга, они полночи мерзли поодиночке. Лунное колесо, рассыпая серебряную пыль, наконец перекаатило небо и стало опускаться за хребет горы. Склон, на который смотрела пещера, непроглядно почернел, хотя осыпь все еще оставалась ярко освещенной — луна стояла высоко.

— Теперь можно попробовать, — решил Калина. Он стащил с себя рубаху и портки. — Помочись на них, — велел он княжичу и сам помочился.

— Ты чего это? — засмеялся княжич.

— Давай-давай.

Калина вытер мокрой одеждой пол пещеры, куда нанесло земли, и напялил грязную одежду обратно. Грязью он измазал лицо, шею, пятки.

— Не погано тебе так? — ухмыльнулся княжич.

— Смерти ты не видел, а то б не кочевряжился... Давай нож.

— Не дам. Это мой нож. Ты свой внизу оставил.

После короткой схватки Калина отнял у мальчишки нож.

— За грибами я, что ли, пошел? — яростно прошипел он.

— Когда вернемся, я велю тебя повесить! — злобно ответил Матвей.

— Вешай, — кивнул Калина. — Меня долго не будет, понял? Ты здесь шуми время от времени — ну, возись, камнями стучи, бормочи, чтобы вогулы думали, будто мы никуда не делись.

Калина лег на живот и соскользнул по камням за край пещеры.

Перемазанный грязью, он в темноте почти сливался со скалой. Он полз вниз, туда, где кромка выемки, в которой находилась пещера, переходит в скальную стену. Он полз очень медленно и осторожно — чуть приподнимаясь на пальцах рук и ног и тихо передвигая тело на вершок вперед. Не шелохнув кустов, не сбросив ни камешка, он добрался до изгиба скалы.

Здесь было самое опасное, самое заметное место. Луна освещала каменный угол, который любой ценой надо было обогнуть. По правую руку в темноте, как призрак, плыла тоже освещенная луной Медвежья Голова.

Калина нашарил подходящий обломок, примерился и точно швырнул его в небо так, что он перелетел Медвежьей Голову, ударился за нею о склон и, стуча, запрыгал вниз по осыпи. Вогулы, что караулили и на горе, и под горой, тотчас оглянулись на шум. Они отвлеклись — это и нужно было Калине. Он ужом проскользнул мимо угла и пополз дальше под стеной, в сторону гребня, нависшего над Сылвой.

Эта часть скальной стены тоже была во тьме, к тому же с виду неприступна. Да и зачем пленникам залезать на нее? Поэтому вогулы сюда почти не смотрели. Однако Калина не ослабил осторожности.

Теперь он стал карабкаться вверх на отвесный гребень, цепляясь за малейшие неровности камня. Днем, когда высота зрима, он, наверное, не решился бы на такой подъем. Но сейчас была ночь, да и выбирать не приходилось. Расплющившись по скале, растекшись по ней, как смола, Калина забрался на гребень, прополз по нему немного обратно, ближе к скрытому горбом горы вогульскому костру, и быстро, но так же бесшумно спустился по другую сторону.

Сейчас его никто уже не мог увидеть. Он стоял на крутом, заросшем елями склоне, что поднимался из лога к гребню и выше, к вершине, где горел костер. Калина прокрался в самую чащу ельника и затаился, приготовив нож.

Костер караульных, конечно, требовал дров. Вскоре один из вогулов спустился с вершины и полез в елки. Застучал топор.

Калина, как рысь, по дуге обогнул дровосека, заходя со спины. Вогул его не замечал, не слышал, срубая еловые лапы. Калина метнулся к нему сзади, зажал ладонью рот, запрокидывая голову, и ножом перерезал туго натянувшееся горло. Он держал вогула стоящим, прихлопнув ему губы, чтобы не захрипел, и обнимая за грудь другою рукой, на которую горячо и густо текла кровь. Наконец вогул перестал дергаться, тело обмякло и отяжелело. Калина бережно положил мертвеца на землю.

— Нанг моялх? — от костра крикнул другой вогул.

— Моляхыл! — ответил Калина.

Он быстро нарубил большую кучу лапника, взял ее в охапку, не выпуская топора, и пошел на вершину.

Второй вогул сидел неподалеку от костра на краю обрыва, свесив вниз ноги. На земле рядом с ним лежали лук и стрелы. Он оглянулся на Калину, но Калина был весь укрыт лапником — и он отвернулся.

Калина сбросил ветки в костер. У него было несколько мгновений, пока прибитое пламя поднимется вновь и вершину опять можно будет разглядывать от подножия. В наступившей краткой темноте Калина

прыгнул к вогулу и всадил топор ему в затылок, тотчас подхватив за шкуру, чтобы мертвец не свалился вниз. Изогнувшись, Калина выдернул из костра длинный сук, еще горевший с одного конца, и подпер им тело — теперь снизу будет казаться, что караульщик сидит по-прежнему.

В костре загудело и затрещало пламя, поднялось столбом, разбрасывая искры. Белые клубы дыма повалили в темное небо. Калина уже лежал на животе на краю площадки. Он бросил вниз, к пещере, маленький камешек и тихо позвал:

— Княжич! Матвейка! Лезь сюда!..

Вскоре Матвей, все-таки сообразивший, что шуметь нельзя, выполз наверх. Калина сразу прижал его к земле: нельзя вставать, заметят.

— А вогулы? — шепотом спросил Матвей.

Калина два раза щелкнул языком.

— Здорово! — восхитился Матвей.

— Чего уж тут хорошего...

Они ползком пересекли площадку на вершине, подобрав луки и стрелы убитых вогулов, и сползли на противоположный склон.

— Уйдем в лес? — спросил Матвей.

— Куда мы потом без лодки? — ответил Калина. — К тому ж оставшихся надо кончить. Они твое могильное золото видели — молву разнесут...

Он бы не стал раньше времени вытаскивать княжича из пещеры, если бы мог справиться с оставшимися вогулами сам.

Вдвоем они побежали по склону, укрываясь за гребнем горы и старым частоколом. Спустившись на луговину, залитую лунным светом, они отошли от горы, чтобы оказаться у вогулов сзади, легли и поползли ко второму костру.

У этого костра один из вогулов на колышках пережаривал мясо их кабана, а другой сидел спиной к огню и не отрываясь следил за черным склоном и осыпью.

Калина и Матвей выглянули из травы, и Калина указал Матвею пальцем на вогула у костра. Матвей понимающе кивнул. Костровому от огня ничего не было видно, поэтому Калина и Матвей поднялись на колени и дружно натянули луки.

Взвизгнули две стрелы, и обе ударили в спину вогулу, сидевшему на валуне. Он подскочил, вскрикнув, изогнулся и повалился набок. Другой вогул, костровой, на мгновение остолбенел, а потом бросил палку, которой шевелил угли, скакнул в сторону и кинулся к зарослям тальника. Матвей и Калина выбежали к костру.

— Ты чего не в того стрельнул? — заорал Калина.

— На кого показал, в того и стрельнул!

— Я на другого показал!

— На этого! — Матвей ткнул пальцем в сторону мертвеца. — У тебя, может, палец кривой!..

— Ладно, некогда! — рявкнул Калина. — Забирай луки — и на берег!

Калина метнулся к берестяным лодкам вогулов и двумя взмахами топора перерубил их почти пополам. Затем разом поднял над головой свой пыж и, перевернув в воздухе, грузно плюхнул его на воду.

Калина уже сидел в лодке на корме, когда прибежал Матвей, покидал луки и колчаны вогулов и начал залезать сам, держа под мышкой золотую чашу. Калина подался вперед, выдернул чашу из-под руки мальчишки и швырнул ее в воду далеко посреди реки.

— Ты чего?! — завизжал Матвей и чуть не прыгнул вслед за чашей, но Калина поймал его за шиворот, кинул на свое место и оттолкнул лодку от берега.

— Мало тебе напастей могильное золото накликало? — закричал он, чтобы оглушить Матвея. — Я дурак по-твоему, что ли, что плыву в Ибыр твою девку выкупать, а платить нечем, да? Дурак?.. Есть чем заплатить, понял?!

Он мощными гребками стремительно перегнал пыж через реку и приткнул к берегу.

— Вылезай, — переводя дух, сказал он. — До рассвета здесь будем.

— Вогула уцелевшего испугался? — злобно спросил Матвей.

— Испугался. Он в любой миг за спиной из-под земли выскочит, сатана.

— А здесь не выскочит?

— Здесь — нет. Реку не одолеет.

— Что, переплыть не сможет?

— Не сможет.

— Отчего же?

— Отстань.

Они вытащили пыж на мелководье, а сами уселись на высокой круче. За рекой грозно и мрачно темнела громада Медвежьей горы Вортолнатур, поверху вся усыпанная звездами.

А потом пришел рассвет, туман снялся с воды, осветились и посвежели ельники, задышал ивняк, и страшная гора замутилась мглою, поголубела и под низким солнцем выплыла к Сылве, как огромный корабль. Два кострища — на вершине и у подножия — чуть курились синим дымком.

Калина и Матвей переплыли обратно на свой стан.

— Огонь надо развести... — пробурчал продрогший Матвей, — Э-э...
А где же мертвец?

Под камнем, где лежал убитый вогул, теперь валялся мертвый волк с двумя стрелами в спине. Матвей, обомлев, не верил своим глазам. Подошел Калина.

— А там, на горе, небось другой волк с расколотой башкой, — сказал он. — А в ельнике — третий, с перерезанным горлом. Понял теперь, отчего мы на тот берег уплывали?

— Ве... э-э... Эква?..

Калина кивнул.

— Обойдемся без костра. — Он повернулся и пошел к лодке. —
Веслом согреешься...

С той ночи словно бы что-то сместилось в их и без того неладных отношениях. Матвей озлобленно молчал. Он был словно конь, остановленный на всем скаку. А лодка бежала дальше против течения, минуя луга и темные крутояры, редкие становища, стада по берегам, аргиши шедших на торг, барки и шибасы купцов, плывущие навстречу.

Они остановились переждать под елками дождь, а заодно и отдохнуть. Рядом с невысокого обрыва двумя струями скатывался небольшой водопад.

— Люссуйнёр, — сказал Калина. — Плачущая гора.

— А чем ты собираешься заплатить в Ибыре за ясырку? — вдруг спросил Матвей.

Калина без слов полез за пазуху и вытащил небольшую, зеленую медную бляху на гайтане.

— Медяшкой? — презрительно изумился Матвей.

— Это не просто медяшка. Это малая княжья тамга хакана Асыки. За нее можно получить очень и очень много... Любой вогул или остяк даст все, чего захочешь.

— А как она у тебя очутилась?

— Долгая история.

— И дождь, видать, надолго.

— Ну, как хочешь. Только начинать надо издалека. Ты о Стефане Пермском что знаешь?

— Все знаю, — уверенно заявил Матвей. — Я и Житие читал, и Филофей мне рассказывал.

— А историю о двух проклятиях?

— Тоже знаю.

— Тогда начинай, рассказывай.

— Проверяешь меня, что ли? Тоже мне, государев дьяк выискался... А история такая. Раньше, значит, до Христа еще, пермяки были огнепоклонниками...

— С тех пор они Гондыра и почитают, — добавил Калина.

— Не перебивай. Поклонялись они Заре... ту...

— Заратустре.

— ...и вот этот Заратустр предрек пришествие Христа. Когда загорелась Вифлеемская звезда, три пермских пама пошли ему поклониться. Их Священное Писание называет волхвами. Христу они поклонились, а обратно не вернулись. Мощи их нетленные сейчас рыцари захватили и у себя держат. Поэтому Христова вера в Пермь не пришла. А четыре века спустя пермяки собрали войско и сами пошли в поход на Рим. Повел их князь Атила...

— Стой-стой, какие пермяки?

— Пермские, какие же еще? Так Филофей говорил.

— Брехал. На Рим из полуденных степей, от самого Жукотина, с монгольского Керулена шли народы хуны. Они через Каменный Пояс много южнее Перми переваливали — там, где лежит древняя страна Артания, где в степях видны еще следы круглых глиняных крепостей, что тысячи лет назад построили народы-огнепоклонники, пришедшие неведомо откуда и ушедшие неведомо куда. Они и оставили пермякам почитание огня... А у хунов, которые двинулись на Рим, был военачальник Беледэй — Бледа иначе. Кан Атыла — Атила, по-твоему, со своим отрядом присоединился к нему, а потом уже рассорился с Бледой, зарубил его и сам встал во главе войска...

— Ну, сам и рассказывай, если лучше меня знаешь, — обиделся Матвей.

— Ладно, молчу.

— Вот... Ромеи пришельцев звали варварами. Варвары разграбили всю их страну, захватили Рим. Они бесчинствовали в храмах, попов и епископов убивали, и за это господь на них осерчал. Атила в одночасье умер, а на пермяков господь на триста один год наложил проклятие. Триста один год прошел. Пермяки снова собрали войско и опять пошли на Рим. Но дошли только до страны Паннонии. Там господь явил им чудо, чтобы одумались. Из чистого неба пошел град... А-а, это я тебе уже рассказывал, про Золотую Бабу-то... В общем, часть пермяков осталась в Паннонии и свою страну назвала Енгрией, а другие с Золотой Бабой бежали за Каменный Пояс и назвали свою страну Угрией, Югрой. За безверие господь

снова наложил на них проклятие, теперь вдвое тяжелее — на шестьсот два года. Проклятие и завершилось, когда в Великом Устюге родился креститель Стефан. А в Пермь Великую он пришел в тот год, когда москвиты разбили Мамай на Куликовом поле...

— Не был Стефан в Перми Великой, — опять перебил Калина, — и зря его зовут Великопермским. Он только в Перми Старой был, на Вычегде и Печоре. Он поселился возле городища Йемдын на устье Выми, и с него начался город Усть-Вым, где княжил твой дед. А сейчас попы о Стефане вовсе неправду говорят. Расписывают его под иконный лик — и грамоту он составил, и мудрец был, весь в седилах, и то, и сё... А он даже не дожил до седин-то. И грамотой его, в общем, никто не пользуется... Ты, к примеру, ее знаешь? То-то... Он, Стефан-то, геройства искал, а не духовного подвига. И звали его в Ростове в монастыре в Затворе до пострига Степан Храп. Нахрапом он все взять и хотел. Он как крестоносец был. В божьем деле алкал мирской славы. Потому его Сергей Радонежский на Пермь и послал. Сергей понял, где Стефан может пригодиться...

— Ты так говоришь, будто сам Стефана видел, — не доверчиво заметил Матвей.

— Ты, княжич, не поверишь, но я его вправду видел.

— Ври давай. Он сто лет назад жил.

— А мне и есть сто лет.

Матвей оглядел Калину с головы до ног, словно видел впервые.

— Я бессмертный, — просто сказал Калина. — Мне бог дело поручил, и пока я его не сделаю, не умру. Таких, как я, вогулы называют хумляльтами — людьми призванными. Князь Асыка тоже хумляльт. Вспомни, что эква про меня говорила — будто я не состарился. А ведь я деда твоего здесь, в Перми, встречал, отца твоего отроком помню. Спроси его: изменился ли я с тех пор?

— Что ж, тебя и убить нельзя? — почему-то разозлился Матвей.

— Убить можно, хотя и труднее, чем прочих. На Балбанкаре Ухват убить меня не смог, хотя большой мастер этого дела был. И когда с твоим отцом мы на Искоре дрались, меня тоже со скалы скинули — а я не убился. Но, конечно, коль ты мне руку или ногу отрубишь — новые не вырастут. Убить меня можно, а сам по себе я не умру, пока обещанного не выполню.

— А чего ты обещал?

— Не стоит про то...

— А кому?

— Стефану... Вот и слушай про него и про медяшку для Асыки... Батя мой, новгородец, гулевым человеком был. Понемногу ушкуйничал,

понемногу торговал, понемногу золото мыл. На Цильме у него зимовье стояло. Там я и рос — как мамка померла, совсем один. И в то лето взял отец меня с собою на торг. Торг был на Печоре, против Мамыльского порога. Туда пришли вогулы. У их кана Кероса сын был, со мной одногодок — Асыка. Мы сдружились, втроем играли — я, Асыка и Айчейль, девчонка, которую Асыке в жены прочили. В ту пору Стефан в Перми в силе был: уже обжился; роды некоторые покрестил; слава о нем гремела. Но, как и многие, кто не рос в Перми сызмальства, а пришел извне, возжелал он Золотую Бабу заполучить.

Про это дело, как мне рассказывали, у него еще в лавре с Сергием речь была. Может, ради Зарини Сергей и послал сюда Стефана. Говорят, будто бы Сергей благословил его на этот подвиг и дал ему серебряный чудотворный крест, заговоренный и освященный в водах Иордана. И вот в то лето Стефан из своего Троицкого монастыря на Печоре поплыл в одиночку куда-то к остоякам, у которых на гибидее и стояла тогда Сорни-Най. О намерении Стефана всякий знал — шила в мешке не утаишь. Но по пермским законам нельзя было чинить ему препятствий до тех пор, пока он Зариню не увидит. Опять же, никто не мог и помочь, даже руки подать права не имел.

И вот мы втроем играли на берегу и увидели, как в Мамыльский порог заплывает плотик с русским мужиком. Завертело его в валах, ударило, понесло, разбило на бревна. Мужик в воде очутился. Орет, руками машет, захлебывается. Утонул бы, да вцепился в какой-то валун. Вылезти не может — вода его сносит, еле-еле держится, а вытащить его, помочь ему никому нельзя. Народ стоит и смотрит. Так он и сгиб бы у всех на глазах. А я же мал был, глуп, да и кто мне тогда чего объяснял?..

Я с шестом в руках по камням пробрался и протянул мужику жердину. Он за нее схватился и выполз из воды. Спас я, получается, Стефана. Видно, в Мамыльском пороге он изрядно страху натерпелся и решил отказаться от своей мысли Золотую Бабу одолеть. Но от обета так просто не отресишься; надо его кому-то передать, если сам не хочешь исполнить. Стефан, не мудрствуя лукаво, мне и передал, коли я единственный ему руку протянул. Надел на меня свой чудотворный крест и взял с меня зарок. А я-то, дурак, тогда еще радовался. И вот уж сколько лет с тех пор прошло, и кроме Асыки да Айчейль никого не осталось — ни Стефана, ни Сергея, ни отцов наших, и нет даже тех, кто был после них — Анфала Никитина, епископа Герасима, князя Ермолая, Полюда, Питирима, Ионы, многих других, а я еще живу. Все еще висит на мне обещание. Не доделал я Стефанова дела, а потому нет мне ни смерти, ни покоя...

Калина замолк, раздумывая.

— Ну, а медяшка-то при чем? — напомнил Матвей.

— А, это... Это детская дурь, которая в большую взрослую беду переросла. Там же, на Мамыльском пороге, мы с Асыкой друг другу в дружбе поклялись и перед расставанием поменялись. Я ему Стефанов крест отдал, а он мне — свою тамгу. Зря он это сделал.

У вогульских князей бывает две тамги — большая у князя, малая у княжича, у наследника. И малая даже важнее большей. Если ее потерять, то большую тамгу княжичу уже не дадут шаманы, и князем ему уже не стать. А когда князь-отец докняжит и помрет, весь род его истребят. Закон такой. Отец Асыки кан Керос как узнал о нашем обмене, так чуть не убил сына, отрекся от него. Но и Асыка не лыком был шит. Он Кероса-отца попросту зарезал и сам взял себе большую княжескую тамгу. Но для потомков своих малой тамги у него все равно не было!

Коли такое дело, я б, конечно, тамгу ему отдал. Но кончилась тогда промеж нас дружба — развела нас по разным берегам красавица Айчейль. В общем, добром получить от меня тамгу Асыке надеяться не приходилось. И вот тогда-то пошел Асыка к шаманам Сорни-Най и отдал Золотой Бабе крест, заговоренный против нее, а в обмен получил бессмертие до той поры, пока не вернет себе тамгу. Сделал он это все для того, чтобы у него с Айчейль дети были князьями, и никто ни детей его, ни жену не тронул. Так и стал он хумляльтом — человеком призванным, который не может умереть, пока не доделает своего дела. А чтобы всю жизнь бесконечною любовью жены наслаждаться, он Айчейль тоже отдал Сорни-Най, и она стала ламией и в ламию еще в Усть-Выме обратила твою мать... Теперь сам понимаешь, почему за тамгу Асыка чего хочешь отдаст, не только девчонку-ясырку. Сын-то Юмшан у Асыки старше твоего отца. Пора ему княжить. Да и хумляльту с ламией жизнь уже осточертела...

— На его месте я бы не стал от бессмертия отказываться, — ухмыльнулся Матвей. — Да и на твоём месте за тамгу чего-то подороже потребовал, чем Машка.

— Ничего ты, княжич, в жизни не понимаешь. Асыка нажился уже выше горла. Ему покоя хочется. Он человек гордый и умный. Он понимает, что русские придвигаются к Югре вплотную, и он видит, что Москва сильнее Чердыни, а Чердынь сильнее Пелыма. Пройдет еще какое-то время, и русский князь из Чердыни покорит Югру насовсем. Может, этим князем будешь ты. И манси не станет, манси исчезнут с земли, как Чудь Белоглазая. Думаешь, гордому Асыке хочется это увидеть? Нет, не хочется. Поэтому он спешит умереть. А как умрешь, коли сам бессмертие

выпросил? Надо ему тамгу обратно заполучить, иного пути нет. За тамгу Асыка любую цену заплатит.

— Даже Бабу Золотую отдаст?

— Баба-то не его, а всех людей Каменных гор. Про нее и речь идти не может.

— Ну, а ты-то, Калина, почему тамгу отдаешь так задешево?

— Тысячи жизней тех, кто не погибнет на войне с вогулами за Каменные горы, — разве это дешево? Асыка русских миром никогда не пустит. Он все кровью зальет. А получит тамгу — умрет, и станет каном сын его Юмшан, который и духом слабже, и волей жидковат. При Юмшане войны с Югрой не будет.

— Значит, ты это для моего отца стараешься, да? Его Москва разбила, а ты ему Югру принесешь?

— Не ему, а всей Руси. И тебе тоже.

От Плачущего Камня до Ибыра оставалось уже недалеко. На третий день пути Калина и Матвей увидели вдали Торговый остров и непривычно многолюдный берег.

Ибыр встретил их висельниками. На большой березе над Сылвой раскачивались тела двух женщин-воровок. Дальше начиналась просторная луговина, вся заставленная татарскими и башкирскими юртами, вогульскими шалашами, пермяцкими и остяцкими чумами, балаганами черемисов и мордвы. В отличие от Афкуля, Ибыр не был крепостью: в сплошном море жилищ едва-едва выделялись несколько врытых в землю домов да спица минарета, обнесенные тыном. Вдоль берега протянулось несколько торговых рядов, где прямо на траве, на бересте или на кошмах были разложены и навалены товары. Издалека доносился гул человеческих голосов — крики зазывал, ссоры торгующихся, плач детей. Десятки разномастных лодок болтались на приколе у мелководья; лошади и олени под присмотром пастушат паслись на опушках; по стану дымились костры; топталась толпа меж рядов; сновали торговцы дровами; татарские всадники с камчами зорко следили за порядком.

Людьми торговали на острове посреди Сылвы.

— На тамгу Асыки у татар мы ничего не купим, — говорил Калина, правя к острову. — На что татарам тамга? Нужно делать двойной обмен, через вогулов, а сначала договориться. Я пойду, а ты сиди в лодке.

— Нет, я с тобой, — тотчас возразил Матвей.

— Сиди! — прикрикнул Калина. — А то лодку уведут. Что, я твою Машку, что ли, не узнаю?..

Калина заволок пыж носом на берег и пошагал к торгу. Невольников продавали в основном татары и башкиры. Калине не хотелось подходить туда, где, привязанные к столбам, стояли русские рабы, а купцы сидели, скрестив ноги. Калина хорошо помнил свое рабство в Афкуле. Да и что он мог сделать для ясырей? Он свернул в сторону от татарского стана.

Вогулы, остяки, черемисы продавали детей и младенцев, чужеродных вдов, стариков, знающих ремесла. Бывало, кое-кто продавал сам себя: плату отдавал детям и уходил в рабство. Калина знал, что такова жизнь, и ничего здесь не изменить, и все же ему было тяжело, душно, совестно. Ведь живые, все понимающие люди, а не скот, не снулая рыба...

Он подошел к вогулу, продававшему трехлетнюю девочку.

— Зачем отдаешь? — хмуро спросил он по-вогульски.

— Девочек много, — задумчиво ответил вогул. — Зачем мне много девочек? Мне топоры нужны.

— Не знаешь, продавали или нет русских из Афкуля?

— Почто не знаю? Знаю. Давно стою. Никому девочек не нужно. Всем нужны топоры... А русских вчера последних продали.

— Кому? Куда? — вскинулся Калина.

— По-разному. Всех не запомнишь. Многих кондинец Пылай купил, во сколько, — вогул показал растопыренные пальцы.

— А была ли среди них девчонка лет четырнадцати, Машей зовут?

— Этого не знаю. Спроси у Пылая, он еще не уехал. Вон там стоит, за кустами.

Калина побежал к лодке.

— Малость припоздали, — сказал он Матвею, торопливо спихивая лодку на воду. — Многих один вогул купил, может, и твоя у него... Сейчас все выведем.

Вогула Калина отыскал быстро. Теперь Матвей пошел с ним — до берега было рукой подать, лодка на глазах. Пылай сидел у костра и курил, а за его спиной работники навьючивали потки на оленей. Невольников вокруг, кажется, не было.

— Салия, Пылай, — сказал Калина, присаживаясь. Он теперь стал говорить по-русски, чтобы Матвей понял. — Ты ли купил русских ясырей из Афкуля?

— Я, — спокойно кивнул кондинец.

— Была ли среди них девчонка лет четырнадцати, Машей зовут?

— С поротым задом?

— Она, — мрачно кивнул Матвей.

— Была. Купил ее.

— И где же сейчас твои ясыри?

— Еще вчера с аргишем пешими отправил, — пояснил вогул. — Догоню. У меня быстрые олени.

— Послушай, Пылай, — подступился Калина. — Продай мне эту девчонку. Гляди, что плачу. — Калина выволок из-под рубахи тамгу.

Пылай даже открыл рот, увидев ее.

— Это очень высокая цена, — уважительно сказал он. — Девчонка того не стоит. Кан Асыка даст за тамгу целый гурт — нет, три гурта!

— Забирай тамгу себе, а девчонка — наша.

Матвей уже ликовал. Кондинец задумчиво пососал тростину, выпустил облако дыма.

— Нет, — сказал он. — Меня мой кан за рабами посылал, а не за тамгой. Я рабов и приведу. Кану рабы нужны, а не тамга.

— Так ведь ты на эту тамгу вдвое больше рабов купишь, чем уже есть! — убеждал Калина.

— Я уже купил, сколько нужно, — ответил вогул.

— Ну, как ты не понимаешь!.. — Калина начал горячиться. — Тамга ведь дороже! Прибытка больше! Ты не десять, а двадцать рабов купишь!

— Зачем мне дважды делать одну и ту же работу?

Калина растерялся, не зная, чем прошибить этого тугодума.

— Нет, ты меня не понял, Пылай, — начал растолковывать он. — Я отдам тебе тамгу, за которую ты купишь три гурта оленей. А ты за это отдашь мне девчонку.

— Я понял тебя, роччиз. Но зачем мне тамга, даже такая ценная? Меня ведь послали за рабами. Когда я иду рыбачить, мне нужен крючок, а не полоз от нарты. Когда я иду на охоту, мне нужна собака, а не ведро.

— И я понял тебя, — сдался Калина. — Но послушай... Нам очень нужна эта девчонка!

— Она твоя дочь?

— Нет.

— Его невеста? — вогул указал на Матвея.

— Тоже нет.

— Тогда она вам не нужна.

— Не тебе судить! — крикнул Матвей.

— Он, — Калина тоже указал на Матвея, — он обещал ее выкупить. Это его долг.

— Долги надо отдавать, — согласился кондинец. — Но боги судьбы мудрее даже памов, не только нас, простых людей. Иногда они заставляют человека сделать долги, которые он отдает всю жизнь, но так и не может

отдать. Эти долги держат человека в жизни, не дают умереть, ведь человек умирает, когда отдает все долги. Пусть мальчик не отдаст своего долга. Ты ведь поймешь меня, как мужчина мужчину. Неотданный долг сделает мужчиной и этого мальчика.

— Не учи меня! — злобно закричал Матвей, вскакивая.

— Ты меня обидел во второй раз, — с сожалением сказал вогул. — Я больше не хочу с вами разговаривать.

Пылай поднялся и пошел к оленям. Калина хотел пойти за ним, но работники Пылая недвусмысленно заслонили собой хозяина.

Калина и Матвей растерянно смотрели, как уходят олени вогулов.

— Надо нагнать их в лесу и отбить Машку! — сипло сказал Матвей, еле сдерживая жгучие слезы ненависти.

— Не справимся, — тихо ответил Калина и, помолчав, добавил: — Пропала твоя Машка.

Матвей вдруг побежал к реке, сел в лодку и повернулся спиной.

— Поплыли домой! — заорал он так, что и вдалеке люди оглянулись.

Калина подошел к лодке, яростно столкнул ее на глубину и прыгнул на свое место.

— Гребь живей!

— Не ори! — заорал и Калина. — Я тебе не возчик, князь ты драный!

Он зачерпнул веслом воды и плеснул в Матвея. Тот сидел согнувшись, спрятав лицо в коленях — плакал от бессилья.

— Не лез бы в Покче в князя, так и не угнали бы твою Машку на Конду! — продолжал кричать Калина, не в силах остановиться. Терпение его, вроде бы до этого безграничное и нерушимое, внезапно лопнуло, и на Матвея хлынул весь гнев, что копился в душе Калины. — Пусть теперь твоя Машка считает тебя пустобрехом! Поделом! Тоже мне, победитель выискался! Дорогу до Ибыра одолел, оборотней перебил, сам себе золота накопал!.. А накося выкуси, все зря! Запомни, что и так в жизни бывает! Все сделаешь, чего надо — а не выйдет: не судьба! Правильно тебе вогул сказал: может, после этого мужчиной станешь! А то, вишь ты, отец ему не угодил, неудачник!.. Да отец твой во сто раз больше терял, а ему еще вся Пермь поклонится! А на тебя и плевка жалко!..

Матвей плакал, не отзывался.

В конце лета они вернулись в Чердынь. Княжич, не простившись с Калиной, отправился в Покчу, а Калина развернулся в другую сторону — к Нифонту.

Матвей явился к отцу только поздней осенью. Он вытянулся, побледнел, а во взгляде его появилась та же темная сила, что и во взгляде

князя Михаила.

— Отец, — сказал он. — Прости меня... Иди, князь, тебя люди зовут.
Нет княжества без князя... Иди, князь.

Глава 29

Чердынь — русская застава

Михаил возвращался — и возвращался князем. Иначе и незачем было возвращаться. Он возвращался в Чердынь — больше было некуда.

Башня сгоревшего острога для жилья не годилась, и Михаил вместе с Аннушкой поселился до следующей весны в монастыре. Настоятель Дионисий сам предложил ему жить у себя, а не христарадничать по домам. И это было знаком того, что Михаила по-прежнему считают князем.

Михаил крепко переменялся со времен похода московитов. Иван Васильевич и Федор Пестрый ничему его не научили, потому что не было в них духовного превосходства, но научила судьба. И еще научил Нифонт, у которого судьбы не стало. Он научил Михаила жить на своей земле и идти к своей правде через все препятствия. Эта правда — если, конечно, до нее дойдешь — и оправдывает насилие.

Михаил понял, что княжить надо иначе. Он был добрым князем: вдумывался в смысл пермских богов, уважал пермские обычаи, берег честь пермских князей. И что же? Когда пришла беда, пермские князья его бросили, спрятались в лесах. Единственный, кто встал рядом с ним, Качаим Искорский, и тот воевал врозь. Нет, таких князей Михаилу более не нужно было. Их надо искоренять. И княжить надо так, чтобы народ сплотился именно вокруг него, вокруг Чердыни.

Но как? Можно было страхом дружины, но маловата была дружина, да и не хотел он стать своему народу Батыем. Можно было сплотить Пермь, найдя ей общего врага. А кого сделать врагом? Москву? Москва сильнее. Новгород? Он теперь почти московитский. Татар? Далече... Вогулов? Тоже не годится. Оставался третий путь: новое, прочное, последнее крещение, от которого пермяки уже насовсем бы сделались русскими.

О крещении надо говорить с попами. Михаил поначалу хотел обсудить свой замысел с Дионисием. Он долго присматривался к игумену, и старик начал ему нравиться: строгий, твердый, честный. Однако как-то раз Михаил увидел, что молодой послушник о чем-то просит Дионисия, а старик, насупив брови, сердито кричит в ответ: «О чем думаешь, греховодник! До конца света семнадцать лет осталось! О спасении думай, вот чего!» И Михаил не стал вызывать Дионисия на разговор. Незачем, если старик решил, что мир уже в преддверии Страшного суда. Сам же Михаил в конец света на исходе седьмого тысячелетия не верил. Может, он

был плохим христианином, но не видел никаких знамений Судного дня.

Оставался только Филофей. Епископ вернулся из Усть-Выма в марте. Вот тогда Михаил и улучил время побыть с ним с глазу на глаз.

Филофей его выслушал, понимающе кивая головой.

— Согласен с тобой, князь, — сказал он. — Да и дело это богу и Москве угодное. Но скажи, кто тебя надоумил пойти ко мне? Сын?

— При чем здесь Матвей? — удивился Михаил, не знавший о разговоре княжича и епископа в Покче.

Филофей успокоился.

— Я тоже о том размышлял и вот что надумал, — продолжил он. — Пермьков покрестить заново, после Стефана, Питирима и Ионы, — еще полдела. Надо тебе порядок княжения переиначить. Княжества пермские преобразуй в погосты, и в каждом погосте чтоб церква с попом была. Князьцов назначь церковными старостами, чтоб попа кормили. Князьцы люди темные, то за честь почтут, а ты с них в том клятву возьми. Они у тебя вроде все крещенные?.. Ты же срок определенный после выжди и объяви, что отныне ясак в храмах принимать будут, чтоб людишки ясачные его в храм несли, а не князьцам. Пусть те как рыбы насуху останутся и власть потеряют.

— Князьцы не согласятся.

— Конечно нет. Но ведь ты клятву с них возьмешь. Да и дружин у них нету, а у тебя есть. Ты дружиной должен будешь храмы беречь.

— Думаю, и пермяки попу ясак не понесут.

— Понесут. Ты посчитай. Через князьцов у них ясак в три доли складывается: доля князьца, доля Чердыни, доля Москвы. Причем доля князьца больше будет, чем обе другие, вместе взятые. А теперь этой доли не станет — уменьшится ясак. Выгодно храмам-то его давать. Вот пермяки и понесут в храмы. Кто меньше дерет, тот и люб.

— А как же церковная доля? — напрямик спросил Михаил.

Филофей змеино улыбнулся:

— Подождет до лучших времен. Монастырю митрополит поможет, а попы, что у князьцов на кормлении будут, пусть свое хозяйство заводят, от тебя безтягловое.

— Хитер ты, владыка.

— Так ведь Пермь — не первая страна, которую к Христовой церкви приобщают, — скромно сказал епископ, опустив глаза.

— Какие ж еще премудрости ты знаешь?

— Дальше — мелочи... Ну, дозвожь попам суд вместо князьца вершить. Перепись пусть ведут. Сделай некрещеным ясак побольше, чтобы

крестились скорее... Тебе легко, у тебя народ оседлый. Поволнуются людишки, понятно, и смирятся. Земля богатая, хоть и не хлебная. И сами прокормятся, и тебя прокормят. И меня. Лет через пяток станет твое княжество и сытым, и сильным.

— Значит, надо мне пермских князей на совет созывать?

— Погоди немного. Для начала нужно еще Дионисия уломать, чтобы попов дал.

Михаил был доволен беседой с Филофеем, хотя и остался в душе какой-то осадок. Будто бы не до конца открыт был владыка, темнил.

Через несколько дней инок позвал князя в келью к игумену. Дионисий, завесив глаза бровями, сидел у своего стола, заваленного пергаменами, положив на грамоты руку. Филофей торчал на скамье напротив, поставив меж острых коленей резной Стефанов посох. Рядом с кипой свитков притулился его служка — дьячок Леваш из Усть-Выма. Михаил поклонился и сел на лавку в стороне, как чужой.

— Я, епископ Филофей, божьей милостью и волей митрополита шестой епископ Пермский, созвал вас, набольших людей княжества Перемь Великая, на совет, как нам вместе довершить дело пермских владык — Стефана равноапостольного, Исаакия, Герасима, Питирима и Ионы, — торжественно огласил Филофей. — Изложи, княже.

Михаил, чувствуя себя неловко, коротко пересказал Дионисию то, о чем они с Филофеем давеча говорили.

— Каково же, отец, мнение твое? — спросил Филофей.

Дионисий качнулся, словно пробудился, и зыркнул на епископа блеснувшими под кустами бровей глазами.

— Не дело то, — веско сказал он.

— Как же не дело? — удивился Филофей. — Паствы прибудет, храмов...

— Паствы, храмов, причта — да, а верующих — нет.

— Объяснись, — строго велел Филофей.

Дионисий вдруг возвысил голос так, что свитки посыпались у Леваша из рук.

— Я-то, дурак старый, думал, что после прохвоста Ионы к нам благонравный владыка прибудет! Поверил грамоткам твоим из Ферапонтовой обители! Позор на мои седины! Еще на Руси увидел я, что Церковь — невеста Христова — в вавилонскую блудницу превращается! От того окаянства бежал сюда, в глухомань, а скверна и сюда добралась! Мирские дела непотребные именем церкви вершить — грех! Вслед за

Стефаном вашим лжеапостольским и сюда, в чащобы пермские, поп с мошной приполз!

— Ты что ж, подвиг Стефанов отрицаешь?

— Отрицаю! Не верю ему! И право на то имею, потому как никто его еще не канонизировал, слава богу!

— Канонизируют, — будто с угрозой, предупредил Филофей.

— С тобой — да! — разозлился Дионисий. — Все о тебе знаю, владыка! Ты Стефана на хоругвь поднимаешь, потому как тебе то выгодно! Ты его в месяцесловы включил, ты по нему греку Пахомию Логофету заказал службу с акафистом и житием! А своей славы у Стефана нет!

— А Епифанов труд? — опешил Филофей.

— Что — Епифаново житие? Епифан со Стефаном бок о бок в Ростове, в Григория Богослова обители в Затворе блох кормил!

— Ну, ты, отче, крут... — протянул Филофей, приходя в себя. — Мои труды скромные ты, конечно, отрицать вправе, но как отрицать святость Стефанову, явленную через чудеса?

— Какие чудеса?

— Да многие... По дальности обители твоей и глухоты ты небось и не знал о них, хотя должен был бы знать. Ведь еще Прокопий Устюжский рождение Стефана предсказал. И здесь Стефан премного богом отмечен был. Когда язычники его убить хотели, ослепили же они от его молитвы! И когда в ладье на Вычегде на него бес в ризах напал, утопить хотел, от молитвы закипела ж вода, и сварился бес! Стефан — чудотворец, в том сомнения нету! Он в Бондюг по Каме на камне приплыл — поди взгляни, тот камень по сей день на берегу лежит. И с Сергием по дороге в лавру он за девять верст говорил! Икона его письма — образ Николая Чудотворца, что написана им в честь его первого прихода в Усть-Вым в Николин день, — чудотворна! А вспомни образ Святой Троицы с зырянской надписью, что Стефан оставил в храме в Вожме, когда в последний раз в Москву уходил? Трижды новгородцы сей образ крали и к себе увозили, и трижды он обратно сам возвращался!

— Ты меня бесами вареными не убедишь! Шаманы и кудесники тоже чудеса творят! Не верю я в чудотворность сына причетника из Успенской церкви Устюга и зырянской девки Машки! Не верю в чудотворность епископа, что чертову дюжину лет епископствовал! Все чудеса Стефана им самим и его присными придуманы! Кто свидетель? Когда Стефан с памом спорил и предлагал в огонь войти и подо льдом проплыть, почему не вошел и не проплыл? Только словеса плестъ хитер был да ловок дурачить! Не святой он!

— Святостью господь не только за чудеса облакает! Вспомни Александра Невского — тот чудес не творил! По делам чин!

— По каким делам-то? Что от него осталось? Ты мощи его видел?

— Мощи его в храме Спаса на Бору в Кремле, не вскрывались еще, но вот дела его по сей день землю украшают! Храмы усть-вымские — Благовещенский, Никольский, Архангельский! И монастыри его — Троицкий на Печоре, Михаила Архангела в Яренске, Спасский близ Усть-Сысолы — мало?

— Мало! Храмы, монастыри — того для святости мало!

— А грамота зырянская, азбука? Как Кирилл и Мефодий...

— Азбука! — перебил Дионисий. — Переписал двадцать четыре пермских паса на греческий лад, вот тебе и азбука! «А-бур-гаи-дои... пей-рей-сии-таи...» Кто ее знает-то теперь, эту азбуку? Кто ею пользуется? Разве что ты, когда грамотку подмахиваешь: «Пилопий»! Да и ты ее только год назад вызубрил!

Михаил, отстранясь, смотрел, как спорят Дионисий и Филофей. Епископ явно проигрывал, не ожидая такой страсти и учености от старика. Он нервно постукивал об пол посохом, на котором тихо брякали костяные втулки с резьбой на тему Стефанова жития — труд Стефанова ученика, второго пермского епископа Исаакия. Дионисий же весь подался вперед, в запале тыча во владыку пальцем и тряся бородой. Леваш, насмешливо улыбаясь, устало прислонился к бревенчатой стене кельи.

— Святой! — гремел Дионисий. — Кто вокруг него был, с кем он хороводился? Сопляком еще он постриг принял от руки игумена и пресвитера старца Максима! Воспитывал его митрополит Московский Алексей! Через пять лет после пострига дьяконом ставил епископ Арсений! В священнический чин его благословил епископ Коломенский Герасим! В путь на Пермь, помимо Сергия, направлял митрополит Пимен, он же его и епископом сделал! Новгород усовещать он с Алексием-архиепископом ездил! В прошлый век в девяносто восьмом году Тверского епископа Евфимия он смещал вместе с епископами Михаилом Смоленским и Даниилом Звенигородским, с греческими митрополитами Матфеем и Накандром, с московским митрополитом Киприаном, с которым и сдружился тогда! Год спустя на соборе перед всеми русскими епископами покрасовался! Знался с Сергием, а с Епифанием Премудрым вместе иночествовал! Сам Дмитрий Донской ему потворствовал! Экие великие заступники! С такими-то и Навуходносора святым объявить можно!

— Что ж, в чем-то ты и прав, отче, — от греха подальше сдался Филофей. — Но ведь зазря такие большие люди с ним бы не якшались.

Значит, важное княжеское дело он делал. Не зря ж ему Донской и охранную грамоту выдал, и деньги, и дружину с ним до Котласа — Пыраса — послал! Ведь Стефан Пермь Вычегодскую Старую от Новгорода оторвал и Москве отдал! От него, от Стефана, мы, пермские епископы, имеем права московских наместников и в том лишь перед Великим князем, а не митрополитом, ответ держим! Мы ведь и своим судом судить властны, и с торговых людей пошлины брать! В том вся заслуга Стефана! Он здесь, в Перми, себя не только святителем оказал, но и государевым мужем! Он Новгород от Перми отвадил и в голодуху хлеб зырянам из Вологды и Устюга возил! А управление вотчиной — это тоже как вид божьего служения!

— Мало того!

— Мало-помалу — много наберется.

— Для Стефана — нет! Он церковное имя опорочил! Он с мирским делом сюда под пастырской личиной проник! Хотела Москва пермские земли у Новгорода оттягать, да боялась в открытую: Мамай шел! Вот она и заслала сюда Стефана воду мутить! Он начал кашу варить, а ты ее доварил, когда Ивана Васильевича на Пермь натравил! Сто годов, почитай, здесь правда крещения попиралась епископами! Все они не церковные, а княжьи ставленники были! Покрестят ради пустого слова, а веры нет! Пермь с крестом на капище ходит, с крестом требы языческие справляет! Не Христову веру, а лицемерие Стефан сюда принес! Мишка-идольник во сто раз к вере пристальнее, чем Стефан! Не крестить пермяков надо, а христианизить! Твои же замыслы о погостах, о ясаке — тоже Стефаново лицемерие! Грешен я, что звал тебя! Каюсь! Совсем в Перми веру извратят крестоносцы! Не стать пермякам христианами с такими пастырями! Не быть Перми единой с Русью!

— Ну, то промысел божий да государев, — разозлился и Филофей. — А от тебя мне только попы в новые приходы нужны. Хулу свою оставь. Не забывай, кто я, — владыка!

— Как я тебе попов дам? — Дионисий выхватил из кучи грамот на столе одну, свалив половину оставшихся на пол. — На-кося, почитай и вспомни «Чины избранья и поставленья». Попа надо ставить того, кого причт из себя изберет и о том выборную челобитную напишет, где укажет условия найма, сроки и поручительства соседей вкупе с духовником, да еще и оговорка на изгнание! Только уж после этого архиерей, которого у нас тоже нет, попа испытывать будет и утверждать на место! А какая челобитная от пермяков, коли они неграмотны и язычны, да и поп им нужен, как собаке мельница!

— Ты, отче, давай за буквы не цепляйся. Мне лишь человек нужен, живой человек, а все остальное, челобитные всякие, я на себя беру. Дружина за всех напишет. Знай заноси в святительские книги. Я тебе и архиереем буду, и папой римским, коли надо.

— Тьфу! — яростно плюнул Дионисий.

Михаил опустил голову. Они понимал, что правы оба — и игумен, и епископ. Но Филофей свою правду вертел туда-сюда, как тороватый барышник на ярмарке, — торговал. А Дионисий своей правдой не поступался. И хоть Дионисий чужим был Михаилу, не лежала душа к нему, князь все равно почувствовал, как холодное, жесткое непримиримое дыхание старика раздувает в нем, согревая, негаснущую искорку Полюда: Полюд верил сам, и доказал свою веру, и передал ее князю — веру в то, что в человеке все равно всегда остается что-то неискоренимо человеческое, и нельзя эту человечность продать или отвергнуть, а можно лишь убить вместе с самой жизнью.

Через несколько дней Михаил разослал тиунов, созывая в Покчу пермских князей. Они съехались. Теперь их было только семеро. Погиб в Усть-Выме Чердынский Танег, и род его растворился в народе, как соль в воде. После московитского нашествия не стало Мичкина Уросского, повесившегося в подвале кремлевского терема, не стало Качаима Искорского, зарытого в чужой холодной земле, не стало Сойгата Покчинского, убитого посохом Ионы. Пока Михаил поднимал целину Пелина поля, умер Пемдан Пянтежский.

Михаил оглядывал князей. Из семерых он знал только трех: Кейгу Редикорского, зятя Пемдана, который теперь объединил редикорские и пянтежские вотчины, Янидорского Керчега и крещеного Колога Пыскорского. Однако, по рассказам тиунов и ясачных сборщиков, Михаил неплохо представлял себе и остальных князьцов, молодых. Михаил молчал и размышлял, как же ему навязать князьям свою волю? На что они купятся? Князьцы ждали.

Кама до Бондюга, земля Уроса, была разорена московитами и обезлюдела. О ней можно было пока не заботиться: не скоро еще там появятся пермяцкие горты и русские починки. Не беспокоила и Вишера: Акчимский князь Неган, зажатый между русскими и вогулами, примет любые условия Чердыни, лишь бы иметь надежный тыл.

С Колвой дело оказалось сложнее, но и здесь, если разобраться, вряд ли пермяки станут сопротивляться крещению и новому порядку. По смерти трех колвинских князей — Чердынского, Покчинского и Искорского —

Колва перешла Янидорскому Керчегу. И Керчег не допустит, чтобы здесь появились другие пермские князья. Впрочем, им и взяться-то неоткуда. Чердынь уже русская, Искор почти вырезан Пестрым, а в Покче стоит дружина. Керчег еще крепок, прокняжит долго, а как помрет, пермякам уже поздно будет ставить своих князей: русские заселят Покчу и Искор, обсадят деревнями Вильгорт, Янидор, Ныроб, Тулпан, Дий. Их и сейчас на Колве поровну с пермяками, а потом и еще прибудет. Русские пермского князья не примут, и язычество с Колвы уползет в дальние леса.

Камско-Вишерское междуречье держал Кейга, человек покладистый. Земля его с севера и с юга граничила с христианской, замкнутая Чердынью и Соликамском. Кейга против крещения не пойдет.

Опасность гнездилась только в пермяцких чащобах правого берега Камы, где царили Юксей Урольский и Колог Пыскорский, Елог в Майкоре и Кудым-Боег в Кудымкаре. Впрочем, Колог когда-то был крещен Питиримом, но о том небось и сам не помнил... Вот в этих идолских урманах придется труднее всего.

— Я собрал вас, князья, чтобы говорить о новом порядке княжения, — начал Михаил. — Знаю, Федор Пестрый уже объявил вам об увеличении ясака...

— Не по силам нам такой ясак, — тотчас сказал Юксей. — Мы его дать не сможем.

— Мне на бедность свою не ссылайтесь, — осадил Михаил. — В вашу худобу я не верю. У тебя, Юксей, пять жен, и каждая толще священной гляденовской ели. А у тебя, Колог из Пыскора, походный чум из ковров Коканда, одного Коканда, потому что Бухара и Ургенч, Хорезм и Самарканд, Мерв и Отрар тебе не угодили, видишь ли! Все я знаю о вас. В твоём роду медведей, Кудым-Боег, все лыжи и полозья нарт подбиты песцами. А твой бобровый род, Елог из Майкора, у татар, что из Афкуля уходили, купил много рабов, а каждый раб стоит столько же, сколько годовой ясак целого рода... Вижу, Кейга, ты плакать собрался? Не поверю. Тебе от Пемдана какое наследство досталось, а? Вместе посчитаем, или лучше ясак дашь? И у тебя, Керчег, добра не перемерять. Есть ли еще на Колве охотники с костяными стрелами? Нету — все с железными. Ты же, Неган Акчимский, на разорение от вогулов не кивай. Вогулы уж сколько лет в набеги не ходили, а торг ихний весь через тебя идет. К тому ж, какую дань ты собираешь с тех, кто мимо тебя на поклонение к Пеле или Ялпынгам идет? Нет, вы не нищие. Это я по сравнению с вами нищий. Соберете новый ясак, не обеднеете... Но я не о том говорить хотел.

— А о чем же еще? — смело усмехнулся Кудым-Боег. — Чего еще у

нас отнять хочешь?

— Вы знаете, что я в Москве побывал... Вашей милостью туда попал. Вышли бы вы в поле с москвитом биться, как Коча, так и не было бы у нас сегодняшнего разговора. Но сделанного не воротишь... О многом мне пришлось в том пути подумать. Много и увидел. Я прошу вас, хотя бы на сегодня забудьте свои обиды на Москву. Я вот держу свое сердце, хотя мои обиды жгут позлее ваших... Москва вокруг себя все земли собирает. Хакан московский Иван хочет, чтобы все народы этих земель слились воедино, чтобы вся земля стала Русью, а все народы стали русскими. И думаю я, что надо нам этой дорогой добром идти.

— Зачем?

Это был самый трудный вопрос. Им, пермякам, зачем это?

— Вместе, едины, мы будем великим народом. Никакой враг нам не будет страшен.

— А мы до сих пор и так сами справлялись со всеми врагами, — напрямик сказал Кудым-Боег.

— С татарами же не справились. Двести лет харадж платили.

— Татар уже нет.

— Другой враг может найтись.

— Что-то не находится...

— А Москва?

Пермяки пораженно переглянулись.

— Я был в Москве и вот что понял: либо с ней, либо против нее. Третьего не дано. Москва нас уже припугнула. Поверьте мне: таких войск, как у Пестрого, Москва может послать сотню. Нам надо с Москвой родниться, чтобы вновь не пришли ее полки.

— Что же, кроме ясака, для этого требуется?

— Крещение.

Колог презрительно свистнул.

— И все? Что ж, покрестимся. Креститься не трудно. Я знаю.

— Нет, Колог. Креститься трудно. Нужно креститься по-настоящему. Нужно оставить родительских богов. Это обидно, и горько, и страшно, — но так нужно. Нужно поверить в Христа, понять его и жить по его законам. Нужно блюсти их, даже если видишь рядом обман и неправду. Даже если другим ложь будет выгодна, а тебе твоя вера убыточна. Даже если над тобой будут смеяться или начнут тебя презирать. Это очень трудно, князь. Далеко не все русские могут это. Но вы должны суметь, потому что будете первыми.

— Но зачем? — упорствовал Боег. — Мы можем поставить нового

идола — или что там у вас? Божий дом, Христову чамью, — и можем приносить Христу жертвы, сколько требуется, но не уважать его. Я многих наших богов не уважаю, но боюсь их или просто привык их кормить, как отец и дед. Зачем нам любить нового бога по-настоящему? Зачем гнать старых богов?

— Христос идолов не терпит. А любить его... Я мог бы объяснить, чему он учил, но вам не понять его замысла... Вы можете его только почитать, но почитать искренне. Пермь и Москва стали единой землей, а пермяки и москвиты станут единым народом. Нам этого не увидеть, но это увидят наши дети. Они войдут в большой русский народ как равные, и нам должно быть стыдно, если они войдут с ложью. Ведь вы не пускаете на совет рода воров. Поэтому вы должны верить в Христа всей душой, без обмана, и тому же научить детей. Русский народ по-настоящему еще не родился, хотя мы и зовем всех москвитов «роччиз» — «русские». Русский народ еще только рождается, принимая в себя многие малые народы — и нас, и зырян, и печору, и вотяков, и черемисов, и новгородцев... Мы — еще пермяки, но дети наши будут называть себя русскими. Им станет горько, если они будут знать, что в их русские жилы отцы вместо крови плеснули тухлую воду. Вы должны принять Христа ради будущего, ради того, чтобы пермяки в русском народе сохранились навеки, а не были истреблены москвитами. Ради нашего спасения, понимаете?

Пермяки молчали, раздумывая.

— Ты говоришь об очень сложных вещах, — наконец сказал за всех Кейга. — Дай нам время подумать.

Они думали два дня. Михаил ждал. И на душе у него было погано. Нет, он не лгал. Все, что он говорил, было правдой, но правдой слишком большой для человека. Эти пермяки, конечно, не станут русскими, и дети их не станут, и, наверное, даже правнуки еще не станут. Но кто-то потом все же станет... И придется заплатить очень, очень дорого. Они, потомки, потеряют своих князей, своих богов, свои имена, сказки, может быть, и свою память, свой язык... Но они сохранят нечто большее — свою землю в веках, которую не вытопчут конницы враждующих дружин, и свою кровь в поколениях, которая не прольется впустую на берега студеных рек.

А что делать? Все поглощается всем: вода размывает землю, и земля впитывает воду, горы останавливают тучи, и ветер истирает камни в песок. Таков порядок вещей во вселенной. Но жаль тех людей, что вокруг, — они начнут платить векам эту тяжелую дань неведомо за что. А впрочем, и не очень жаль. Он, князь, будет с этими людьми до конца, разделит их судьбу и тоже заплатит свое. И уж если ради такого дела ему не было жаль себя,

он не очень щадил ближних. Нифонт тоже никого не пощадил, не уважил, зато на его поле вырос хлеб.

Пермяки и Михаил вновь встретились в гриднице Покчинского острога.

— Нам не понравилось то будущее, которое ты нам обещаешь, — рассудительно сказали они. — Но похоже, что другим оно быть не может. Мы покоряемся будущему. Скажи, что мы должны делать?

Михаил объяснил. Пермяки разъехались по своим городищам, по своим увтырам. Михаил знал, что они честно выполняют порученное. И вскоре им вслед он разослал монастырские артели плотников, чтобы возводить новые храмы, а Дионисий уже готовил попов.

Узнав про обещание пермяков креститься и держать храмы, Филофей и обрадовался, и удивился. С хитрым прищуром он посмотрел князю в глаза.

— А ведь тебе, пожалуй, удастся то, что не удалось Стефану, Питириму, Ионе...

Михаил только махнул рукой. Он не хотел славы крестителя, он не святой Владимир. Переступив свою совесть, он не жалел пермяков, но все же тяжесть оставалась на душе, ведь его крещение — пока полуправда, потому что за ним идет правда: московитская кабала. О правде пермяки еще пока не ведали.

— Что ж, сочтем, что ты лишь скромно завершил почти вековой труд великих своих предтеч, — по-своему понял Михаила Филофей.

Лето накалялось, как железо в горне, и Михаил покинул монастырь, оставив монахам Аннушку. Откуда-то рядом очутился Калина, всегда появлявшийся в нужный момент. Вдвоем они взялись обустроить обгоревший острожный холм и башни. Сначала — Княжью. Настелили полы, потолок, соорудили дощатые сени, проконопатили мхом пазы между венцов, заново сложили чувал, сколотили лавки и стол, и башня стала пригодной для жилья. Зимовать в монастыре еще раз Михаил не хотел.

Затем принялись разгребать пепелище. Крючьями и баграми стащили годные бревна к башне, накатили на слуги, чтобы не гнили от земли. Негодные, обугленные бревна распилили, раскололи на дрова, выложили поленицы. Головни спихнули со склона в овраг. Копать валы, чтобы выкопать черные пни частокола и ряжей под башни, не успели — лето, оказывается, уже проскользнуло мимо, как девичья лента по речному перекату. Первые заморозки звякнули над крыльцом.

На первый снег из пармы, из Урала и Пысгора, вернулись монастырские артели. В монастырской трапезной князь читал грамоты от

ушедших попов, слушал рассказы мастеровых. Глядя на огонек лучины, он словно воочию видел, как на еланях, расклинив собою чашу и городище, встанут новые храмы — из сырых, вековых еловых бревен, на высоких подклетах, с узкими бойницами и огромными, страшными крестами на маленьких главках: словно кулак сжимает меч. Храмы, как разбойничьи вертепы, были обнесены тыном. Это были даже не храмы — крепости. Здесь два попа могли надежно спрятать рухлядь за тяжелыми засовами и переждать осаду. На божью помощь и людскую любовь попы не рассчитывали. И на мирную кончину свою тоже. И в этих угрюмых храмах пермские князья и пермские роды принимали таинство крещения — мрачное, как камлание.

— Что ж, самые светлые ключи тоже бьют из-под диких камней, — сказал Дионисий.

Дружбы с Матвеем у Михаила все равно не получилось. Но теперь их связало нечто большее, чем дружба или родство, — прочная упряжка общего дела. Княжича Михаил поставил воеводой над дружиной. Зимой нужно было заняться обороной. Два года вогулы не ходили на Пермь Великую в набеги, не трогали Акчима и Дия. Видно, думали, что после московитов поживиться нечем. Но больше искушать судьбу Перми Великой не стоило.

Михаил решил окружить свое княжество заставами со сменным караулом. Поначалу с первой сотней Никиты Бархата он пошел вверх по Колве. С ним была и Аннушка — с кем же ее оставить? На вершине Искорской горы, в разбитой пермской крепости Михаил заложил первую заставу; для второй Матвей присмотрел давно брошенное городище Пымпал. По пояс в снегах, худо-бедно изладили землянки, поставили заплоты, облили водой валы и подступы. Доводить заставу станут уже летние караулы.

Двумя другими заставами Михаил задумал перегородить вогулам Вишеру. Полюдов камень сам напрашивался под дозор. Михаил вновь поднялся на его вершину, вскарабкался на заиндевевшие валуны — глядел на бескрайнюю заснеженную парму, такую холодную и нелюдимую, но так горячо любимую Полюдом... Ратники показывали друг другу огромный след человеческой ноги на камне и рассказывали, что это ступил сам богатырь Полюд. Когда-то, давным-давно, богатырь Полюд показывал этот след княжичу Мише и говорил, что это ступил бог ветра Шуа. А Полюдова меча Михаил уже не увидел — меч соржавел в прах. Даже камня, им рассеченного, не найти.

Под вторую вишерскую заставу князь присмотрел поляну неподалеку

от Редикора. Надежда на пермяков неважная — пусть застава стоит рядом с городищем. На этой заставе Михаил поселил ратника Кондрата Петрова с товарищами, которые давно просили волю от службы. Пусть эта застава будет слободой.

Последней заставой, пятой, Михаил закрыл Каму. Застава расположилась у Пянтега, на Анфаловом городище, где сиротливо торчала над крутояром засыпанная снегами одинокая башня.

И потихоньку закрутились колеса княжьей жизни, с шорохом завращались жернова забот, из-под которых посыпался песок проходящего времени. Третьим летом — так Михаил начал отсчитывать года после похода московитов — на свой кошт князь сбил артели из нищих пришельцев и прочего люда и отправил в парму рубить лес и возить его в Чердынь. Чердыни был нужен острог. Покча — Покчей, но без Чердыни Перми Великой не бывать. А из монастыря плотники и попы на стругах поплыли в самую глухомань — в Майкор и Кудымкар.

Зиму Михаил коротал в башне, ездил по заставам, надолго задерживался в городищах, расспрашивая о слухах и настроениях пермяков; самые холода просидел в Соликамске, заново знакомясь со старшинами и богатыми солеварями, — соликамцы держались от Чердыни наособицу, но перечить князю не помышляли. В долгих разъездах по снежным воргам Михаил не уставал дивиться — как все же велика его земля и как малолюдна, словно после потопа.

Четвертым летом пришел черед взять пермских князьцов за горло. Михаил, посоветовавшись с Филофеем и дьяками, составил указ, растолковал смысл его Матвею, настрополил и испытал дружину и лишь после этого отправил ратников вниз по Каме — в Пянтег, Пыскор, Урол, Майкор и Кудымкар. Дружина должна была проверить жите-бытье чердынских попов и огласить новую волю князя: отныне ясак собирать храмам, а не местным князьям. Пусть мечи и брони дружины предостерегут пермяков от непокорства. Впрочем, стычек в этом походе Михаил не ждал. Ведь простым пермякам-общинникам все равно, кому давать ясак — попу или князьду. Попу даже лучше, ведь он берет меньше. Но вот для князьцов новый ясачный устав был как нож в спину. От князьцов можно было ждать бунта. Благо то, что дружины пермские были разогнаны, да и община князьцов не поддержала бы.

По осени Матвей вернулся заметно возмужавший, посвежевший и словно просветлевший от большого и самостоятельного ратного дела. Давить мятежи Матвею не пришлось. Видно, князьцы еще не сообразили, чем чреват для них новый порядок. Михаил понял, что меч ему потребуется

только через год-два.

И в пятое лето он решил ставить острог. Дружина поволокла из пармы, с лесосек, просохшие бревна; усеяла острожный холм, отсыпая заново валы, углубляя рвы, копая ямы под ряжи, колотя бутовый камень, растесывая доски. Михаил уже привык, что на его холме чернеет пепелище, полузаросшее крапивой, да стоят три башенки, печальные, как часовни на кладбище. И вдруг все переменялось: зашевелилась и закипела земля под заступами, и полезли из нее, как новая щетина из старого шрама, волчьи зубы частоколов; друг на друга укладывались венцы башен, как пергаментные листы бессмертной летописи.

Михаил смотрел на стройку, и ему казалось: нет, не бой на Искорке, а вот это время — самое главное в его жизни. Время, когда возрождается Чердынь, первая, самая надежная русская застава навстречь солнца. И еще Михаил удивлялся, сколь же многолюдна была стройка — это в его-то безлюдном княжестве! А потом, присмотревшись, он увидел среди ратников многих иных людей — и монахов, и солеваров, и русских лапотников из слободок, и пермяков, сошедшихся сюда со всех концов Перми Великой, и еще шли из леса новые люди — незнакомые, молчаливые, оборванные, с разбойничьим прищуром глаз, привыкших к сумраку пармы. Всем была нужна Чердынь, и посад утыкали землянки и балаганы, задымили костры и чувалы, появились бабы, вокруг которых, как грибы вокруг пней, словно размножились стаи детишек, козы, коровы, гуси, псы, кошки, лошади... И в этой суматохе будто бы отступала боль в сердце князя, легчало на душе, прояснялось в небе, и в этом гаме Михаил впервые услышал, как зовет его народ: Старый князь.

А ведь ему было всего под сорок. Но он огляделся и увидел рядом с собой своих детей. Матвей превратился в плечистого, рослого и статного парня, черного, как уголь, красивого, с полоской еще мягких усиков над упрямо изогнутыми губами и с темным, грозовым взглядом колдовских материнских глаз. При встрече с ним прятались девки и краснели молодухи-вдовицы, у землянок которых по ночам бил копытом Матвеев конь. И совсем другой была Аннушка, уже превращавшаяся в девушку, тоненькая, улыбчивая и тихая, как речная кувшинка, не по-княжески стыдливая, закрывавшаяся рукавом, если проходящий мимо орел-ратник приосанивался, начинал накручивать ус и бесстыже подмигивал. Рядом с такими детьми Михаил и вправду казался старым, да и мало вокруг уцелело тех, кто помнил его иным. Кто? Калина и Дионисий — все. Пропала, исчезла, затерялась в вогульских янгах Тиче, и сердце порой всхлипывало перебоем.

Достроить весь острог до снегопада не успели. Михаил распорядился оставить до весны княжий дом и гридницу, церковь, амбары и конюшни, возведенные только по нижние венцы. И под первым снегом все же поднялись над тыном острые шатры башен, перекликавшиеся с острями елей, как колокольный звон с громом за Полюдовым камнем. В новом остроге Михаил оставил на зиму сотню Вольги Онежанина, а сотни Матвея и Бархата отправил в Покчу.

Впервые за несколько лет былолюдно и весело на острожном холме, когда над снегами лишь еле-еле брезжит пасмурный день, а ночи светлее дня от дивного размаха лазоревых и серебряных позарей. Зима навалилась, как медведь, помяла Чердынь, трещакостями, и уползла прочь, в ледяные пещеры на самоедских островах.

Лето началось вестью о бунте в Пыскоре. Матвей, радуясь делу, повел дружину за Соликамск. Но пришел он поздно. Пыскорцы, понесшие ясак в храм, оставили князя Колога без дани, и Колог, взбесившись, с немногими родичами напал на храм. Попы дрались насмерть и сгорели вместе с храмом и рухлядь в подклете. Пыскорцы, боясь чердынского гнева, сами повязали и задушили Колога, а подоспевшему Матвею показали его голову на колу. Бунтовать дальше они не думали. Кланаясь, они пообещали нести ясак как прежде, только пусть не будет у них больше ни князьца, ни храма. Раз в год приедет сборщик из Чердыни — и довольно. Матвей согласился, если отец не станет возражать. Филофей попробовал уговорить князя силком вернуть в Пыскор храм, но Михаил не пошел против воли пермяков.

Посреди лета Михаилу сообщили, что из Урала выплыл небольшой караван во главе с князем Юксем, и направляется он вверх по Вишере к вогулам. Михаил перехватил урольцев в Кондратьевской слободе. Юксей был зол и надменен.

— Ты отнял у нас наших богов, а мы не хотим молиться Христу. Он скуп, — сказал Юксей. — Мы уходим в Югру навсегда.

— Но в Мансипале ты будешь поклоняться не своим богам, а вогульским, — возразил Михаил, уже поняв, в чем дело.

Юксей не нашел что ответить, только крикнул:

— Ты вероломный князь! Ты москвит!

— Ты, Юкся, прячешься за ложь, — ответил Михаил. — У тебя не стало богатства и дружины, и ты потерял власть в своем увтыре. Твой род тебя не уважает. Поэтому ты бежишь.

— Кто будет уважать бедного и слабого?

— Князь силен умом и богат мудростью. Таким был, например, Пемдан. Без дружины правят своими родами Керчег Янидорский и Неган

Акчимский. Разум Пемдана унаследовал Кейга. Ты меня назвал москвитом, но ведь не я изгнал тебя, пермского князя, а твой род.

— Ты лукав, я не знаю, что тебе сказать! — вспыхнул Юксей. — Но я уйду к вогулам и отныне стану твоим врагом!

И Юксей ушел — оскорбленный, негодующий, ничего не понявший.

Этот год готовил еще одну неожиданность для князя. Бабьим летом к Чердыни снизу подошли большие пермяцкие каюки с людьми и грузом. Это с Иньвы, с Майкора и Кудымкара приплыли князя Кудым-Боег и Елог.

Народ облепил валы острога, глядя, как перед новым княжьем домом пермяки расстилают на земле холстины и выкладывают на них меха, золото, угощенья. Кудым-Боег поклонился Михаилу по-русски.

— Я к тебе, князь, со сватовством, — сказал он.

— А... кого сватаешь?.. — изумился Михаил.

Боег сморщил лицо, пряча усмешку.

— Дочь твою, Анну, сватаю себе в жены.

Михаил обомлел.

Аннушка, вспыхнув, метнулась с крыльца в дом.

Потом уже, оставив гостей на пиру, Михаил уединился с Боегом в маленькой горнице. Молодой пермяк настораживал князя. Что это за сватовство такое? Зачем? Отчего? Что нужно кудымкарцу? Женильбой укрепить свое княжение, пошатнувшееся без ясака и дружины?..

— Не по нашему обычаю твое сватовство, — сказал Боегу Михаил.

— Русских обычаев я еще мало знаю, — согласился пермяк, — Как уж придумал, так и посватался. Ты и сам жену брал не по обряду.

Боег был смел, глядел прямо в глаза, не юлил. Михаил почувствовал в нем искренность и силу духа.

— Почто дары такие богатые? Может, я тебя заверну с порога?

— Верю, что не завернешь. А дары мои богаты оттого, что ты беден. Нечего тебе дать за дочь.

— Дерзишь.

— Прости. Но это правда. Я же не всем, а лишь тебе это говорю.

— Шибко ты спор на речи.

— Не обессудь, князь, таким уж уродился. Я тебя обидеть не хочу. И дурно обо мне не думай. Не корысти ради я приехал, и не ради крепости своего княжения. Я твою дочь полюбил. Верно говорю.

— Когда же ты успел? — хмуро поинтересовался Михаил.

— А прошлым летом, когда острог ставили.

Михаил глядел в серые, честные глаза Боега. Вроде бы видел он тогда

эти глаза, из толпы устремленные на его дочь... Да мало ли в Перми Великой серых глаз?

— Мала еще Нюта замуж выходить. Еще в куклы не доиграла.

— У нас такие девочки уже бывают женами. Да и у татар, и у вас тоже бывают. У московского кана Ивана первая жена двенадцати лет была.

— Ну и не к добру то вышло.

— Я согласен с тобой, князь. Сестру свою таких лет я бы мужчине не отдал.

— А чего ж мою дочь сватаешь? Чужого не жаль?

— Не гневись на меня, князь. Знаю, что рано приехал. Но уж так мне дочь твоя к сердцу припала, что боюсь потерять ее. Ведь стану ждать — так другой уведет. Может, тот же Елог, который сейчас в верности клянется и в дружки к жениху просится.

— От твоей опаски она не повзрослеет.

— Я тебе слово мужчины дам и поклясться могу хоть на вашем кресте и волшебной книге, хоть на своей тамге прадедовской, — я возьму ее в жены и не нарушу, покуда ей пятнадцать лет не исполнится. Отдам матери своей и теткам — они добрые, — пусть только живет рядом со мной, моей любовью согретая. Я ее не обижу и слово сдержу. Коли солгу — убей меня, рукой не шевельну защититься. В парме слово Кудым-Боега все уважают. Мы, род Медведя, вероломства никогда не допускали.

Михаил тяжело молчал.

— Трудно мне решение принять, — сознался он. — Дай время подумать. И Нюту спросить надо, люб ли ты ей?

— Люб.

Ночью Михаил пришел к дочери. Аннушка сидела на своем лежаке, закутавшись в одеяла. Лицо ее было заплакано.

— Любишь Боега? — просто спросил Михаил, присаживаясь рядом.

— Люблю, — пискнула девочка. — Но тебя, тятя, больше люблю...

Михаил невесело усмехнулся.

— Парень он вроде честный, хороший...

— Тятя, боюсь я... Не отправляй меня отсюда...

— Эх, ну и дела... И можно, конечно, Боегу на год отсрочить, да что толку? Тебе уход нужен, призор, а здесь чего? Я, да ратники, да монахи. Опять же, ведь и не быть тебе в Чердыни весь век, все равно увезут. Лучше сызмальства с пармой свыкнуться. Да-а... Не меня сюда надо — мать...

Михаил думал.

— Как велишь, тятя, так и сделаю, — тихо сказала девочка.

Михаил погладил ее острые коленки под одеялом.

— А вдруг вогулы в набег пойдут? — вслух размышлял он. — Или бунт? Или татары? Или снова московиты? Кудымкар — он безопаснее, надежнее...

Михаил все сидел и думал, молчал, молчал, а уж лучина, затрещав, погасла, и Аннушка, наплакавшись, тихонько заснула у него под боком и улыбалась во сне.

Утром Чердынь узнала, что князь отдает свою дочь в жены Кудым-Боегу. Но ни Боега, ни князя в Чердыни уже не было.

Взяв с собой Калину, они тайком от всех переплыли Колву и ушли в парму. Там, где с мрачных отрогов Полюдова кряжа стекает чистая Чудова речка, они выследили и завалили медведя. Шкуру расстелили у ручья, поставили на нее столб с воткнутыми мечами, и два князя, взявшись за рукояти, стали вращать его посолонь, произнося подсказываемые Калиной древние слова клятвы. Михаил потребовал, чтобы Боег поклялся не только перед алтарем, — кто знает крепость клятвы недавних язычников? — но и по-прадедовски, на столбоверчении и мече у проточной воды, и чтобы пил с золота, и чтобы ел сырое медвежье сердце, которое, пока вертели столб, истекая кровью, еще долго билось в тряпице в ручье.

И только после этого в Чердыни начался большой свадебный пир, который протянулся до самых дождей. А потом Михаил провожал дочь в Кудымкар. На каюке Боега он доплыл до устья Колвы и там сошел на берег. Стоя на обрыве, он долго глядел вслед лодкам, пока те не скрылись за поворотом. Он помнил заплаканные и виноватые, и счастливые, и влюбленные глаза Аннушки, помнил, как цепко держались ее тонкие пальчики за рукав Боеговой кольчуги, — помнил и верил, верил в то, что эти двое будут счастливы друг с другом.

И там, на берегу затянутой дождем Колвы, он впервые ощутил, что в жизни своей все главное уже сделал, обрел судьбу и любовь, врос в эту землю кровью дорогих людей, и теперь пусть даже он исчезнет — все равно уже он продолжится в своих делах славой своего города, продлится в веках своими будущими внуками.

Глава 30

Огонь Полюда

Волки вышли. Вольга зубами стащил рукавицу и натянул лук, на котором уже была прилажена стрела. Матерый вожак уловил движение за высокими, но редкими кольями ограды, отпрыгнул — и повалился со стрелой в шее. Он вскочил заново, нелепо заскакал по сугробам боком в сторону, хрипя, опять упал, задержался и затих. Другие волки его стаи уже скрылись в подлеске, но Вольга знал: они молодые, их голод сильнее их слабого ума, значит, помявшись, они все равно сожрут вожака и отстанут от аргиша.

Аргиш был всего из пяти оленьих упряжек. Впереди ехал Калина, за ним — князь Михаил, потом пустые нарты, нарты со шкурами для чума, а замыкающим был Вольга. Шел аргиш от Чердыни к каким-то неведомым Вольге Цепёлским полянам. Князь Михаил получил весточку, что там вогулы вернут ему жену, которая семь лет назад сбежала в парму. Калина обещал показать дорогу на поляны, а Вольгу, чердынского сотника, взяли на всякий случай.

Мимо Полюдова камня с маленькой заставой на вершине аргиш прошел к Вишере, а дальше от скалы Ветлана путь пролегал через леса, по еланям и маленьким речкам. Ворга была хоть и заметенная новогодней пургой, но торная: люди князя Кейги несколько раз проезжали по ней на поляны, где зимой паслись редикорские и пянтежские стада. На расстоянии дневного перехода по ворге стояли огороженные оленьи загоны, а для гуртовщиков при них — маленькие керку и сомъяхи, где и ночевали Калина, князь Михаил и Вольга. В пятый день пути аргиш миновал порог на Тулыме — речке, стекавшей со склона хмурого и нелюдимого Тулымского камня. Порог замерз сине-зелеными буграми льда, из которых торчали расщепленные стволы деревьев. От порога за аргишем и увязалась оголодавшая волчья стая, пока через ночь Вольга не щелкнул вожака из-за ограды оленьего загона.

Вольгу не особенно интересовало дело, ради которого они тащились по снегам. Ну, княгиня, ну, сумасшедшая, ну, убегает и возвращается, — и бес с ней. Вольга думал о себе и о своей судьбе. Там, в Чердыни, среди дружины боль его громко дребезжала в душе, как коровье ботало, чтобы дозвониться до разума и сердца через гам многолюдья. А сейчас вокруг была тишина и немота заснеженной пармы, и боль утихала, потому что в

этой тишине не надо было шуметь, чтобы услышали, — и так слышен даже шорох падающих снежинок. Ничего у Вольги в жизни не получилось. «Какой-то я порченный, — с тоской думал он. — Ну чего надо? Чего не хватает? Что не так?» Вольге казалось, что он бежит по замкнутому кругу: из войска новгородцев — в войско Пестрого, из войска Пестрого — в войско княжича Матвея... Не того душа просила, не ратной службы. А пусть бы и она — только нужно еще в жизни что-то большое, важное, хорошее, а этого не было. Единый раз зажегся перед ним тот огонь — в разбитом городище Искорке, в глазах девчонки-ламии. Зажегся — и исчез во тьме. «Ищи меня теперь, Вольга, до самой смерти». Он искал. Не находил.

А прав был все-таки тот пермяк в Искорке, с которым Вольга разговаривал в ночь перед приступом у костра. Самое трудное — это твердо сказать: «Здесь моя родина». Жизнь прожить уже легче. Нашлось дело и место, нашлись друзья и даже веселая, бескорыстная подруга, к которой Вольга навещался, когда отлучался муж-лодейщик. Семь лет всего прошло на новой службе, а он уже — сотник. На Руси до такого только бы к седине дорос. Вольга даже дом решил себе поставить в слободке; приглядывался к девкам, высматривал невесту. Он прочно врос в чердынскую жизнь. Его уважали ратники и посадские, княжич Матвей и князь Михаил. Он уже не путал пермяков с зырянами и вогулов с остяками, как не путал постромки с подпругами; он умел взять медведя, обучить сокола охоте, поставить на ветру чум с его бесчисленными завязками, ремешками и петлями и наладить в нем как надо кожаные полотнища дымохода. И все-таки этого было мало.

От речки Кутим Вольга начал ощущать, что кто-то идет за ними вслед. Будто парма смотрела в спину. Кто это? Зверь? Нет, не зверь. Человек? Вогульский бог? Лесное чудище? Жутковато было в неподвижной, огромной зимней чаще, и Вольга не стал говорить Михаилу и Калине о своих подозрениях. Еще посмеются над оробевшим сотником. Но однажды ему случилось вернуться за оставленным в керку котелком — а он оставил котелок нарочно, — и перед домиком Вольга увидел широкий полукруг следов от полозьев нарт. Кто-то, шедший за ними, услышал свист его лыж и отогнал своих оленей обратно.

Ворга стала подниматься на пологие склоны отрогов Кваркуша. Парма отступала, обнажая заснеженные спины гор. Приближались Цепёлские поляны. Возле Кайбыш-Чурка Вольга, Калина и Михаил долго стояли, разглядывая просторы. На востоке горбился сам Кваркуш, казалось,

вздыбленный прямо посередке глыбой Вогульского камня. Под ним-то и лежали Цепёлские поляны, летом сказочно-разнотравные, а сейчас ровные и мертвые. Чуть в стороне вставал Золотой камень. За левым плечом угрюмо и косо, заросшая идолами, темнела Помяненная гора. Весь оком словно колыхался волнами дальних хребтов, еле просвечивающих в заметленном воздухе, — на полдень взрытые пашни Малого Кваркуша, Козмера и Кедрового Споя, а на полночь, за громадами Кир-Камня и Пелиных Ушей, за Шудьей-Пендышем и жуткой Пропашей горой, с которой никто никогда не возвращался, — каменные узлы Березовского камня, Чувала и Мартая. А за спиной распростерлась снежная, хмурая парма, утекающая за оком, и никого в ней не было видно.

Цепёлские поляны встречали аргиш скалами-останцами, которые в сумерках, чернея, казались чудовищами. Это были Отцы Цепёла. За ними чуть подальше посреди поля располагалось цепёлское капище, утыканное идолами и чамьями, обложенное каменной стенкой. Цепёлские идолы вросли в горы льда у своих ног огромными усами и бородами — это вогулы выдолбили сердцевины у бревен и просверлили дыры в идолских ноздрях, отчего осенняя вода текла по деревянным лицам и застывала сосульями усов и бород. Посреди капища, у столбов чамьи горел костер, у которого на нартах сидели четыре вогула. Выпряженные олени лежали под каменной стенкой, за ветром. Сумрак сгущался, словно черные тучи Кваркуша волокли брюхо по вершинам гор. Огонь трепетал, бился, мотался в снежной яме, как зверь в яме ловчей, и озарял треснувшие опорные столбы чамьи, ее днище из плах, темных идолов в блестящих ледяных космах и багровые лица вогулов — двух мужчин и двух женщин.

Вольга вглядывался в них со страхом и удивлением. Только один вогул казался человеком — мужчина лет под пятьдесят; а остальные были будто бы медные, с неподвижными лицами, отеканенными жестко и красиво, но красотой не человеческой, без возраста, словно прожили тысячу лет, и годы, как дожди, стерли случайные черты. Михаил и Калина отстегнули лисьи запоны колпаков, тоже открывая лица. Молча выпрягли оленей, подтащили нарты к огню и сели напротив вогулов.

— Пасия, князя Асыка и Юмшан, — по-русски сказал Калина. — Здравствуйте и вы, Айчейль и Тичерть.

У Михаила точно свело скулы — он зачерпнул снег и утерся.

— Я привез тебе жену, кан, — сказал вогул с длинными сивыми косами и кивнул на одну из женщин, непохожих и одновременно неотличимых друг от друга.

— Здравствуй, Тиче, — хрипло произнес князь.

— Здравствуй, Михан, — ответила женщина, и Вольга не понял — какая из двух.

Все ждали, что же скажет князь дальше, а он молчал.

— Мне не за что благодарить тебя, Асыка, — наконец сказал он.

Вогул не ответил.

Вдруг завозился Калина, выволок из глубины своей меховой яги маленькую медную бляху и перекинул ее на колени Асыке.

— А я возвращаю твой подарок, — пояснил он.

Асыка стащил рукавицу, взял бляшку двумя пальцами, осмотрел, поворачивая, и неожиданно лицо его расколола узкая, как трещина, усмешка.

— Ты умный и опасный враг, мой названный брат Васык Калын. Жаль, что нам не пришлось стать друзьями. Но ведь ты должен знать меня. Я не умру, пока не доделаю своего дела. Я, как и ты, — хумляльт.

— Какое же у тебя еще дело? — мрачно удивился Калина.

— Убить кана Михана и сжечь Чердынь.

— Почему ты меня ненавидишь? — устало спросил Михаил. — Ты убил моего отца, сгубил брата, отнял жену. Разве тебе мало?

— Ты не прав, — возразил вогул. — При чем тут ненависть? Я тебя уважаю. Мои потомки будут гордиться, что их предок убил русского кана, который вел за собой на Каменные горы Русь. Дорогу для нее топчут ваши пахотники, воины, шаманы, но ведешь их ты. Ты видел Сорни-Най, и она притягивает тебя к себе. Ты идешь к ней и всем прочим торишь путь. Я должен тебя остановить, ведь я — хранитель Золотой Девы.

— Ты не успеешь, — уверенно сказал Калина.

— Посмотрим. Время покажет. А теперь уходите.

И они ушли с капища на Цепёльских полянах, увозя на пустых нартах возвращенную княгиню.

На ночевках в керку гуртовщиков Вольга начал присматриваться к княгине. Как только в первый раз она сняла меховой колпак и на плечи бесстыдно посыпались тяжелые, смоляные, ничем не скрепленные кудри, Вольга вздрогнул, вспомнив ту чернокудрую девчонку-ламию на Искорской горе. Но та девчонка, мало того что моложе, была сама жизнь, а княгиня казалась замороженной. Она глядела всепонимающими, но равнодушными и пустыми глазами, темными, как проруби. Она стелила шкуры, зажигала жировую лампаду, рубила застывшее мясо большим бронзовым вогульским ножом, но жили только руки, лицо скрывала тень неразобранных волос. И князь почти не общался с женой — он обходил ее, будто это была не его

вещь. Однако в их взаимном отчуждении не было нарочитости, презрения, отместки. Княгиня не потеряла своего бессознательного достоинства, а с губ князя не сошла жесткая складка печали, загнанной в глубь души: да, жена вернулась, но он ничего не обрел. Вольга однажды услышал, как князь, переговариваясь ночью с Калиной, тихо обронил: «Видно уж, что потеряно, то утрачено невосвратно...»

Речку Кутим аргиш пересекал в том месте, где над ключами кипела незарастающая полынья. Вольга в тот день ехал первым и взял слишком близко к воде. На обдутом ветром ледяном бугре нарты вдруг скользнули набок, и Вольга, даже не успев взмахнуть руками, бултыхнулся в воду. Он не растерялся, тут же вцепился в копылья нарт, и олени одним рывком выдернули его на лед, остановились, испуганно поводя боками и оглядываясь через плечо.

На лыжах подбежал Калина, помог подняться на ноги. С яги, со штанов у Вольги текли ручьи.

— Как ты? — спросил Калина, взглядом ощупывая сотника.

— Да жив я, можно дальше! — задыхаясь, ответил Вольга, еще не опомнившийся после купания.

— Э, нет, — Калина помотал головой. — Гоним до ближайшей поляны и — костер. Иначе не доедешь, околеешь. Я знаю.

Поляна подвернулась через двести сажен, но уже к тому времени стужа схватила Вольгу в пасть, засосала, как болотное бучило. Вольга боком лежал на нартах и корчился; его трясло так, что он уже рассадил бровь о доньшко котелка.

Калина и Михаил вытащили топоры, побежали на лыжах в лес. Вольга сел, еле удерживая равновесие, стал рвать завязки на груди, чтобы стащить коробом заскорузшую ягу. Раздирая смерзающиеся глаза только наполовину, он увидел, как княгиня вдруг встала с нарт и пошла на лед Кутима. А на льду, неведомо откуда, появились еще нарты, не их — чужие. Вольга слабо соображал, что же происходит. Княгиня что-то тихо сказала человеку на нартах, тот ответил и глянул на Вольгу, приподняв над лицом меховой колпак. Сквозь лед и слезы Вольга увидел его лицо — знакомое лицо. А потом человек взмахнул хореом, щелкнул оленей и унесся прочь, дальше — по старому следу в Чердынь.

Когда княгиня вернулась, Вольга лежал на нартах ничком, съезжившись, потеряв силы и надежду, только сипло, прерывисто подвывал. В лесу трещали сучьями Калина и князь, тюкали топоры. Княгиня вдруг повернула Вольгу лицом к небу и усадила, словно переломив пополам, с какой-то быстрой, неженской силой. Вольга видел только ее бледные скулы

и черные провалы глазниц. Княгиня протянула руку и положила ладонь Вольге на лоб.

Тепло — даже жар — поплыло из-под ладони, шапкой нахлобучилось на голову. «Вот так замерзают...» — подумал Вольга. Но он не замерзал. Жар воротником сел на шею, кольцами пополз вниз по рукам к запястьям, поехал по ребрам. Вольга оживал, даже сердце защемило. По лицу потекла вода растаявшего в волосах льда, набухла каплями щетина. И сквозь текущие размывы Вольга увидел княгиню — совсем другую. Это была его девчонка-ламия, в точности княгиня, и все же не она — юная, с сияющими глазами и горящим лицом, и алые, тугие губы шевелились, шепча вогульские заклинания.

— Ты?.. — шепотом спросил обомлевший Вольга.

— Я, — улыбнулась ламия. — Это я. Всегда я, Вольга. Ищи меня, жди меня, я тебя люблю...

И прекрасное лицо ламии начало застывать, как вода в ведре, превращаясь в чужое лицо княгини.

Когда Калина и князь прибежали с охапками сухостоя, Вольга, полуголый, дрожал и плясал на нартах, стаскивая заледеневшие кисы.

Кое-как подсушив одежду, они тронулись в путь дальше. Вольга всю дорогу бежал на лыжах рядом с нартами, чтобы не окоченеть. Лишь затемно они добрались до загона и керку.

Всю ночь Вольга не спал. Сидел у чувала спиной к лежакам, досушивал ягу и одежду. Спал князь, спал Калина, но не спала ламия. Она молчала и даже, кажется, не дышала, но Вольга лопатками ощущал тепло от углей ее открытых глаз. Душа его качалась и звенела, как колокол, подвешенный где-то в горле. И будто бревна в пороге, бились друг о друга две фразы: «Ищи меня теперь, Вольга, до самой смерти...» — а навстречу слова все почуявшего Калины, сказанные украдкой от князя в сенях: «Бойся ее, сотник, трижды сильнее смерти».

И Вольга понимал, что он везет в Чердынь то, что хотел привезти, но не получил князь Михаил. Они — Михаил, Калина — знали какую-то жуткую, тоскливую тайну ламии. А Вольга не хотел ее знать. Поэтому за весь путь до Чердыни он больше не поднял на княгиню глаз. Поэтому он никому ни о чем не сказал ни слова.

А Чердынь встретила их горем. В своей келье отходил старец Дионисий, строитель и игумен Иоанно-Богословского монастыря. Князь и Вольга сразу со двора поспешили в обитель.

Над монастырским холмом надсадно всхлипывал маленький колокол.

У раскрытых ворот громоздились лошади, олени, сани, нарты. Во дворе на истоптанном снегу собралась толпа — все без шапок, все крестятся, и у многих на глазах слезы. Дионисий был суров, строг, требователен, и никогда его особо не любили, а как настал его час — сотворенное им добро позвало людей сюда, в монастырские стены. Князь шел сквозь толпу, ему кланялись, и он кланялся.

На крыльце его встретил епископ Филофей с печальным и возвышенным лицом, будто думой был где-то в горнем мире, но повадка его была такая ненавязчиво-хозяйская, словно бы он сам затеял это небывалое и умильное торжество. Впрочем, Вольга не обратил на то внимания. И епископ, и настоятель были ему чужими, далекими людьми. Вольгу разумом точно заклинило в том мгновении, когда княгиня превратилась в девчонку-ламию.

Филофей проводил князя и сотника в келью, где на лавке под лампадой лежал умирающий старик. Рядом, обратившись лицом в угол к аналою, на коленях стоял послушник и читал Псалтырь, лежащую на невысокой тумбе, — он ничего не видел и не слышал, кроме слов своей молитвы.

Дионисий страшно пожелтел; огромные ручищи, пальцами переплетенные на груди, на кресте, казались вилами. Упрямо торчал вверх клин седой бороды. Филофей успел шепнуть, что Дионисий без памяти, и тихонько вышел, прикрыв дверь. Михаил тоже опустился на колени и поцеловал запястье старика.

— Прости, отец, — тихо сказал он.

Вольга истуканом тупо торчал за спиной князя.

Запястье дрогнуло, словно оживленное поцелуем, потом дернулась борода, и еще сильнее ввалились щеки старика — он открыл рот.

— Дождался тебя... — едва слышно прошептал Дионисий. — Ты меня прости...

Михаил молчал, склонив голову.

— За слепоту мою... прости... Твоими делами вера... в Перми держится... истинная... Всю жизнь я... от лживой веры... к праведной... бежал, а тебя... не увидел... Прости... Ты, князь... в силе сейчас и в славе... а Филофей... мирской чести... и власти... взалкал... Ты у него... на пути встал... Берегись... Он тебя сгубить хочет... Знаю... Во... вогули...

Грудь старика еле поднялась, и в ней тихо заклокотало — Дионисий хотел что-то сказать, но уже не было сил.

— Берегись... — уже беззвучно повторил он. — Благослови тебя го... господь наш И... Ии... сус...

Вольга без мысли и чувства просто стоял и ждал. Князь на коленях все вслушивался и вслушивался в дыхание Дионисия, но тот ничего больше не смог сказать. Бубнил монах.

Дионисия отпели в соборе и похоронили рядом на небольшом кладбище возле алтаря. Князь тоже бросил горсть земли в черную, ледяную могилу, жутко зиявшую среди сугробов.

— А ведь я еще помню пустырь на этом месте, — оглядываясь, задумчиво сказал Вольге Михаил.

Время шло. Никто из дружинников не заметил в сотнике какой-то перемены после поездки к вогулам, разве что он перестал бегать на посад к молодухе. Но Вольга знал и чувствовал, как велика эта перемена. Ламия перетряхнула и перевернула вверх дном его душу. Нет, Вольга не тосковал. Поначалу, понемногу, — было, но потом он осознал, что эта перемена — не тоска. В душе что-то зрело, тяжелело, разворачивалось во всю ширь, разгоралось. И Вольга этого не испугался. Спокойно, с отрешенностью последнего и непреклонного решения он ждал. Чего? Он не знал чего, но знал, что чего-то дождется.

И весна пришла вся под стать — бурная, шумная, переполненная жизнью. С рокотом покатились в уреме ручьи, ворочая глыбы глины и вырванные из склонов пни. Снег таял; его лоскутья корчились, как на огне, и обугливались. Вздудась Колва, подняв ледяные груды, вздудось небо, в котором, переваливаясь друг через друга, неслись огромные, темные облака. Свежесть и свет пьянили; дали заметало быстрыми дождями, яростно пылали зори; и ветер, словно сорвавшись с привязи, хлестал по ельникам, гудел в шатрах чердынских башен. Вольга чувствовал, что это все — для него; это ламия разбудила грозу над пармой.

Однажды, уже в мае, Вольгу вызвали из гридницы на двор: сказали, ждет его человек от епископа. Вольга сбежал со ступенек крыльца и увидел того, кто шел за их аргием до Цепёльских полей, а на обратном пути разговаривал с княгиней. Это лицо он забыть не мог — узкое, по-вогульски безбородое, с широким тонкогубым ртом и умными, всегда прищуренными глазами. Вольга взрыкнул и схватил посланца за плечо, но тот, ухмыльнувшись, легко сбил тяжелую руку сотника.

— Ты кто таков? — яростно спросил Вольга.

— Не лапай, я тебе не ясырь, — ответил человек. — Я — Леваш, слуга владыки Филофея.

— Ты почто за нами зимой следил? — Вольга потянул меч из ножен. — Я вот ты сейчас к князю сволоку...

— Не сволочешь, — спокойно возразил Леваш. — Иначе и я князю поведаю — о твоих тайнах с княгиней.

На Вольгин пыл словно плеснули стужей, в лицо ударила кровь.

— Какие тайны?.. — хрипло спросил он. — Не было ничего...

— Она велела передать тебе, что завтра на закате будет ждать тебя на Стонущем озере возле трех истуканов.

Вольга прислонился к резному столбу крылечка. Леваш не спеша шел к воротам в проулок. Невидимый кузнец бил по наковальне в груди у Вольги, звезды разлетались в глазах. «Она будет ждать... — повторял Вольга. — Ищи меня, теперь, Вольга, до самой смерти... Бойся ее, сотник, трижды сильнее смерти... У трех идолов на Стонущем озере...»

Вольга знал, что пойдет, все равно пойдет — не медля, не раздумывая, пойдет, побежит, понесется, сломя ноги, очертя голову, любой ценой. Он не боялся. Он задыхался, давился надеждой, он не мог ждать. Пусть будет что будет. Подлость, смерть, измена — все равно. Ламия не была для него княгиней, женой князя, которого он уважал, не была матерью его воеводы, княжича Матвея, даже не была для него женщиной, которая старше его и опытней, — она была той девчонкой в Искорке, была идолом, была пропастью, в которую он упал с обрыва.

В назначенный день он переправился на левый берег Колвы и погнал коня в глубь леса по заросшей, давно не хоженной тропинке. Ни русские, ни пермяки не любили Стонущее озеро — дугой изогнувшуюся в чаще былую старицу Колвы, уже полузатянутую болотами. Говорили, что на дне озера лежит кость мамонта — она-то и страшно кричит в безлюдье, стонет. Этого мамонта не взял в свой большой каюк пермский герой Ратег, когда спасал зверей и птиц от Всемирного потопа.

Валежник загромождал тропу, да и конь не хотел идти — фыркал, прядал ушами, мотал мордой, упирался. Вольга соскочил с седла, намотал поводья на сук и, не обращая внимания на обиду коня, быстро пошел один. Тропа вывела его на невысокий бугор, заросший крапивой. Некогда здесь стоял маленький горт, а сейчас были только две ямы от керку и три гнилых, черных идола. Вольга оглядывался, ища ламию. За Чердынью, за Колвой и лесами садилось солнце, и длинные красные лучи полого били из-за спины Вольги, качали крапиву и камыш, превращали в кровь черную воду озера. И вдруг комаров словно сдуло в сторону. К берегу по алой воде плыл ком темной пены. Пена вскипела и с плеском прыгнула вверх — из воды встала подплывшая ламия.

Она беззвучно смеялась и, нагая, шла к Вольге, руками разводя перед животом паутину ряски. Во вспышке боли и счастья Вольга подхватил ее и

тотчас бросил в траву. Одежду словно ветер сдирал с тела. И Вольга взял ламию так яростно и стремительно, с такой решимостью и с таким отчаяньем, будто мечом смахнул с плеч голову.

И с того дня начались их встречи на Стонущем озере: тайные, скоротечные, ненасытные. Вольга бросал коня на тропе — духи пармы пасли его, пока сотник сжимал в объятиях ламию. Это была не любовь, не страсть, а какое-то бешенство, камлание плоти. Вольга не закрывал глаз, глядел в широко раскрытые, трясинно-черные глаза ведьмы, и в самый острый миг в них начинала мерцать серебряная рябь сумасшествия. Когти ламии рвали ему спину, ламия хрипела, а потом резко отворачивалась, стискивая Вольгу намертво, открывала рот, и над болотом неслся страшный, тоскливый вопль мамонтовой кости. И Вольга все видел, все понимал, все запоминал по-звериному ярко, четко, терпко. Он знал, что все это — смертный грех и погибель души, но не желал поступиться и отречься. Он был готов заплатить за все сполна и разом, как только будет надо, но пока не надо, он будет пить эту отраву до последней капли.

Вольга не задумывался, как ламия приходила на озеро. Здесь он даже одежды ее ни разу не заметил. Если она из окна княжьего терема до Колвы летит нетопырем, змеей переплывает реку, рысью бежит по урманам — ну и пусть. Ей можно все, и ему здесь тоже можно все. Там, в Чердыни, — нельзя. Но там и невозможна была эта бесовская пляска. Словно охваченный невидимыми обручами, Вольга ходил по острогу привычным всем сотником. Если он и встречал княгиню, то разве ж эта недоступная, красивая и нелюдимая женщина была его дикой возлюбленной? А потом Вольге — всегда случайно — подворачивался где-нибудь в проулке Леваш и, кланяясь, тихо говорил: «Завтра» — или: «Нынче» — или: «Через день». И Вольга вечером шел к конюшне, седлал коня и говорил, что едет на заставу — на Полюд-камень, на Искор, на Пымпал, хоть куда, лишь бы дорога вела за Колву. И там, на Стонущем озере, его всегда уже ждала ламия — нагая, прекрасная, вечно юная, с древними глазами. И уже не надо было слов, не надо правды или лжи, не надо даже солнца или месяца в прозрачном молоке белой ночи.

Чудские боги хранили их, и никто не дознался о свиданиях сотника и княгини. Но каленое чердынское лето коротко, как свист стрелы, и все оно потихоньку, незаметно прокатилось мимо. Пришли сумерки полночью, а потом и тьма, и первый утренний иней на папоротниках, и гусиные клинья в опустевшем небе. Вольга не устал, был так же неутомим и жаден в любви, но все же насытился. Он хотел ламию по-прежнему, однако же все-таки впитал в себя с этой любовью и силу, чтобы остановиться, переждать

зиму одному. Зимой ламия его убьет — он замерзнет в сугробе.

— И хватит покуда, душа моя... — ненастной ночью прошептал он. — Я же человек, а не лесной дух. Я зимой не выживу.

— Будешь ли ты меня ждать на вешние воды? — держа его голову в ладонях, спрашивала ламия.

— Всю жизнь буду, до самой смерти.

Он не хотел зимовать в Чердыни, которая словно горела невидимым огнем любви. Он поставил себе замену и по первому льду уехал зимовать на заставу, что словно птица плыла в небе на вершине Полюдова камня.

На заставе жило самое большее по десятку человек, сменявшихся каждую неделю, и Вольге казалось, что он почти один. Одиночество не тяготило. Оно было созвучно великому молчанию мира, распластавшегося до окоемов вокруг одинокой горы. Наравне с рядовыми ратниками Вольга рубил дрова, обходил на лыжах силки-ловушки, топил чужал, готовил пищу, стоял в дневных дозорах, вглядываясь в белую, опушенную ельниками ленту Вишеры, и стоял в ночных караулах, высматривая отблески вогульских костров. Вольга был переполнен прошедшим летом, когда каждый день казался бесконечным и самым важным, а вот теперь чудилось, что лето промелькнуло как единый миг, но главное еще впереди. Вольга был счастлив: впервые почти за десять лет его ничто никуда не гнало и не манило. Печаль, что лето прошло, легла теплой росой на душу, как летний туман на прибрежные травы. Вольга сидел на останце и глядел, как зима слой за слоем настигает на землю снега, но сквозь все слои упорно проступает вдали, на колвинском крутояре, крохотная корона русской деревянной крепости. А зима выдалась морозная и ясная, когда в полдень небо промерзало до дна прозрачной зеленью, а в полночь просторно двигалось и колыхалось светящимися покровами позарей. Такими ночами Вольге хорошо было лежать на топчане и слушать долгие, неспешные пересуды товарищей у чужала. Со спокойствием постороннего он удивлялся рассказам о том, что творилось в мире, и удивлялся тому, что слышал, но не понимал услышанного, когда о том говорили в гриднице еще в пылу свежих новостей.

Оказывается, рухнула новгородская вольница. Три года назад новгородский архиепископ Феофил, московский прихвостень, поручил новгородским послам назвать Ивана Васильевича не господином, а государем. Великий же князь прицепился к этому поводу и спросил вече: никак Новгород его власти возжелал? Так он, князь Московский, придет. Вече взбунтовалось, кинулось в топоры, порубило бояр, что готовы были

лизнуть московский сапог. Но главный москвит уже шел с войском к стенам Новгорода, чтобы государить. И Новгород сдался, убоявшись осады. Скинули с колокольни вечевой колокол и вырвали ему язык, а потом погрузили в сани и, пленного, повезли в Москву. За этими санями шла на смерть сама Марфа Борецкая, вдова посадника Дмитрия, что на Шелони попал в руки князю Даниилу Холмскому и был обезглавлен в Белокаменной, — шла Марфа-посадница, не проронив ни слезинки, старая, надменная, властная, высокая и толстая, как башня, и волочились по санным колеям полы расписной шубы. Не по силам, да и не по духу Пскову, Твери, Рязани и Вятке, даже вместе взятым, было противостоять Москве. А Пермь Великая, когда-то новгородская вотчина, отныне и навеки затягивалась в московскую кабалу.

Счастливая звезда сияла над Иваном Васильевичем. Победа сама шла ему в руки, как прирученный конь на свое подворье: гони — не погонишь. Истомившись веками усобиц, русская земля будто срасталась воедино под его сапогом, словно Иван Васильевич кропил ее сказочною живой водой. Подзуженный ростовским архиепископом, мудрым старцем Вассианом, Великий князь порвал ханскую грамоту от Золотой Орды. Он давно уж не давал ясака, не ездил за ярлыком на поклон в Сарай. Гневливый хан Ахмет решил наказать москвиту, но кто ж пересилит чужую удачу? Иван Васильевич натравил крымского хана Менгли-Гирея на Литву, где король Казимир обещал Ахмету подмогу, а сам послал на Волгу, на беззащитный Сарай орленые струги воеводы Ноздреватого и крымского царевича Нур-Довлата. Собрав огромное ополчение, Иван Васильевич и сам вышел к Уфе. Но многочисленны были татары, и витали над ними грозные призраки Едигея и Тохтамыша. Русское войско бежало до Оки, а сам Великий князь примчался аж в Москву, велел рыть рвы и твердить стены Кремля. Народ зароптал на малодушие царя — так после женитьбы на Софье Царьградской стали по-византийски называть московского государя. Пришлось царю, замирившись со строптивыми братьями, вернуться на речку Угру к войску.

Он было сунулся с переговорами к Ахмету, и Ахмет уж было согласился разойтись полюбовно, да советчики уломали царя переговоры прервать. Однако ж приказа идти в бой царь все не отдавал. Два войска стояли друг против друга, разделенные речонкой в десять шагов шириной. Только на десять шагов отступили от Руси Чингиз, Батый и Мамай. Стой, русская рать! Пусть они отступят дальше! Но Иван Васильевич увидел, как Угру затягивает осенним льдом. Значит, татары в любой миг могут пойти на приступ, как посуху. И русские полки отступили. Любого воеводу или

князя, оставившего поле врагу, сочли бы побежденным, устранившимся. Но звезда сияла над москвитом по-прежнему. Татары решили, что русские хотят обойти их, и бросились бежать, пораженные ужасом. Татарские призраки, не дождавшись русской крови, набросились на собственное войско и растерзали его. Разорив по пути встреченные литовские города — в отместку Казимиру за вероломство, — Ахмет уполз в Орду, а там был убит нагрянувшим тюменским ханом Иваком и сыном его салтаном Кулуком. Не зря пермский князь Михаил отослал на зиму сотню Бархата в Пянтег: как бы тюменцы обратным путем не завернули на Чердынь. А на Угре рухнуло и Югрой добито было татарское иго, что два с половиной века блестело мечами и свистело плетью над русской землей.

Вольга слушал и удивлялся этим небывалым делам. Как безмерно далеки были они от Перми Великой, и все же там, на Шелони и Волхове, на Москве-реке и на Угре ангелы опускались с неба на московские хоругви в том числе и для того, чтобы здесь, в Перми Великой, он, Вольга, почувствовал себя стоящим на своей — своей! — земле. И пусть вся его застава — это курная изба, три бадьи и берестяной балаган с сухими дровами для сполоха, но он будет стоять на ней так же крепко, как былинный богатырь Полюд, о котором тоже рассказывали сказки у чужака.

Говорили, что был он стражем своей земли еще в незапамятные времена. Шло на Пермь несметное войско вогулов, и он обратился в гору, которую вогулы не смогли преодолеть, потому что гора эта — святая, и злобе, силе нечистой на нее не подняться. А еще говорили другое, что был Полюд защитником всего бедного народа, отнимал несправедливые сокровища и вместе с ними укрылся в горе, где и заснул непробудным сном. И если придет сюда совсем несчастный человек, то откроется перед ним гора, и будет чаша с золотом и камнями. Но коли пришелец окажется жадным, возьмет хоть крупинкой больше, чем надо, то гора сомкнется, и останется тот человек в пещере наедине с разгневанным Полюдом. Много, говорят, в пещере костей ненасытных искателей поживы. И третье рассказывали о Полюде, что был у него брат Ветлан, и оба они были пермскими богатырями. Но полюбили одну девушку — красавицу Вишеру, и стали за нее биться на мечах. А Вишера не захотела гибели хоть кого из них и бросилась между ними. Она обратилась в реку, а богатыри стали скалами. Вольга посмеивался над сказками, не верил — и в то же время верил каждой из них. И его застава стояла на вершине горы как на вершине легенды.

Однажды Полюд даже приснился Вольге. Вольга увидел во сне знакомую заснеженную полянку у подножия горы. На полянке горел

костер, и по обе его стороны, друг напротив друга, стояли двое: ламия, нагая и прекрасная, и русский ратник в обгоревшей одежде и порванной кольчуге, с усталым, обросшим бородою лицом. «Полюд, отпусти его со своей горы», — просила ламия. «Я не держу, — ответил Полюд. — Он сам не уходит. Если он тебе нужен, ты сама поднимись к нему». — «Твоя гора — святая, — с тихой злобой ответила ламия. — Мне, ламии, на нее хода нет. Занеси меня наверх на руках, Полюд, без меча у пояса...» Растрепанный сном, Вольга наутро спустился с горы. На поляне он увидел яму в снегу и угли костра. Кто его жег? Когда? Ответа не было. В тот день сменился дозор, и новые ратники принесли весть, что в Чердыни княгиня родила сына, которого окрестили и нарекли Иваном.

И Вольга не был ошарашен, лишь звон тяжело бухнул в виски и угас. Вольга почувствовал, что будто бы заранее, с самого начала знал: его любовь не будет бесплодной. Такая любовь, даже в грехе, не случается зря. Он остался спокоен, только строже и пристальнее в карауле вглядывался в заснеженную Вишеру, ведь за его горой была Чердынь, где родился его сын. И кто там сказал, что Чердынь — последний, самый бедный и захудалый острожек на краю Христовой земли? Нет, его Чердынь — это первый во вселенной город, который крестами на башнях встречает восходящее солнце, а Полюдов камень — первая во всем божьем мире крещеная сторожевая гора.

Время шло, и опять подкатила весна. Вершина горы, открытая солнцу и теплым ветрам, обтаяла и плыла над пармой, как остров. Вольга с валунов, с высоты заставы глядел, как темнеют леса, освобождаясь от снега, как лопается и горами ползет по Вишере лед, как земля, сырая и бурая, выступает из-под сугробов, и проталины расплываются вширь, как лужи, пятная поляны и берега. Вольга ждал. «На вешние воды», — сказала она.

Вольга ждал со звериным терпением, упрямо, тихо, без тоски последних холодов, без лихорадочной радости первых оттепелей. «Она придет, она найдет меня», — думал он. Вольга не ехал в Чердынь, чтобы увидеться там с княгиней, не расспрашивал тех, кто прибывал на смену уходящим ратникам, даже не размышлял, каким образом княгиня сможет бросить мужа и сына, чтобы добраться до заставы за тридцать верст. Она сможет, он в это верил.

Миновала неделя, другая. Менялись дозорные. И с третьим караулом Вольга получил весточку.

Отозвав его в сторону, Фока, десятник, передал клочок бересты,

сложенный пополам и зашитый по краю.

— Филофеев человек Леваш велел тебе тайно сунуть, — пояснил Фока. — Не бойся, я не читал, грамоте не разумею.

«Почему Леваш?» — удивился Вольга, но сразу сообразил: ламия тоже не умела писать, хотя, говорят, была крещена.

«От сего дня на третий в полдень на росстани», — нацарапал на бересте Леваш.

И эта весточка словно взорвала Вольгу изнутри. Все поплыло в глазах, застучало сердце, кипятик заполнил грудь и забурлил в горле. Даже мускулы рук и ног заныли, сведенные от напряжения, будто тело стремилось броситься к ламии прямо сейчас.

Вольга согнул свою душу, как лук, и сцепил ее тетивой воли. Три дня Вольга слышал в ушах звон этой натянутой тетивы.

На третий день он еле смог неспешным шагом дойти до леса, а дальше, заслоненный еловыми лапами от глаз своих ратников, побежал вниз по склону, по тропе, все быстрее и быстрее.

Он вылетел на росстань и повалился на обочину без сил. Никого не было. Торная дорога, переваливаясь на ухабах, уходила к Вишере; убитая тропинка ответвлялась от нее и вела на гору. Туча комаров, звеня, висела над развилкой.

Тиче шла к Вольге по взгивку между колеями и улыбалась, помахивая веточкой. Она была в длинной черной рубахе, стянутой простым пояском, без платка, босая. Вольга встал. Он обнял ламию и притиснул к себе так, словно хотел вдавить ее в себя, зарылся лицом в черные, пахнущие смолой кудри, ладонями, грудью, всем телом ощутил под полотном рубахи тугое и звонкое, горячее тело ламии.

— Душа моя... — шептали его губы.

— Уйдем с дороги, — шепотом ответила ламия. — Уйдем в парму... — И вдруг она дернулась, вырываясь из его рук, и завизжала: — Ош!

Вольга успел увидеть только ее вытаращенные в ужасе глаза, как его словно ударили мягким бревном и отшибли в придорожные кусты. Он рванулся обратно на дорогу, ломая ветви и раздирая кожу.

Тиче неслась прочь, а за ней гнался медведище — не бурый, а весь какой-то зеленый и заплесневелый, точно из могилы. Он бежал как волна — то плечи вверх, то крестец. Он нырнул вперед еще раз и с лету сбил лапой Тиче с ног, покатил по дорожной грязи, подмял под себя.

Вольга, выдернув меч, в два прыжка настиг медведя, ухватил рукоять меча обеими ладонями и всем своим весом вогнал клинок медведю в спину,

в шерсть, под левую лопатку. Зверь вскрикнул по-человечьи, осел набок, повернув к Вольге узкую морду, и грузно лег на ламию. Пасть его приоткрылась, дохнув смрадом, проклокотал последний рык, будто дальний гром, и на Тиче потекла черная, густая медвежья кровь. Вольга схватил медведя за огромную лапу, не боясь предсмертной судороги, и перевалил его на сторону.

Тиче лежала ничком, вся в грязи, в крови, в перепутанных кольцах длинных волос. Вольга ошеломленно уставился на нее. Еще мгновение назад он ее обнимал, а сейчас она — мертва?.. По-волчьи завыв, Вольга подхватил Тиче, ощущая, как страшно и безвольно обвисает ее тело в его руках, перенес на траву, положил, стал грязной ладонью стирать грязь с ее лица, а потом, спохватившись, прижался ухом к ее груди и только тогда услышал ровный, спокойный толчок сердца — будто молотком стукнули в ухо.

С княгиней на руках он бежал по тропе на гору — спотыкался, но не падал, задыхался, но не останавливался. Он не мог думать, не мог перевести дух, его словно расколола пополам трещина дикой боли.

Ратники на заставе, побросав дела, высыпали навстречу, перехватили его ношу, положили на кафтан у костра.

— Что за баба? Откуда? Чего с ней? — слышал Вольга, но не мог ответить, лишь всхлипывал и мотал головой.

Расталкивая парней и мужиков, к Тиче пролез Фока, встал рядом на колени. В одной руке у него был ком мокрого мха, в другой — нож.

— Держи дурня! — рявкнул Фока, и ратники ухватили за плечи и локти Вольгу, дернувшегося к Тиче при виде ножа.

Фока стер корку крови и грязи с губ Тиче, поднес к ним лезвие, подержал, затем перевернул. Лезвие запотело.

— Дышит, жива, — сказал сам себе Фока. — Ну-ка, все прочь!..

Он начал вспарывать рубаху от горла до подола, разложил ее, обнажив тело, стал осторожно щупать ключицы, плечи, ребра, живот своими толстыми и, казалось, неуклюжими пальцами.

— В костях я толк знаю... — бормотал он. — Нет, сломанных нету... Синячища вон, ссадины, а не пухнет... Может, где что и лопнуло, но без сдвига... Жить будет. Должна очухаться. Что с ней было-то, сотник? Где ты ее нашел?

— На дороге у медведя отбил, — хрипло ответил немного опомнившийся Вольга. — Чего она глаза-то не открывает?

Лицо Тиче было измученным, враз истончившимся, бледным. Синие тени лежали в глазницах.

— Обморок, напугалась, — пояснил Фока. — А кто она?

— Княгиня.

Ратники даже отшатнулись.

— Э... ну-ка давайте все отсюда, — нашелся Фока, прикрывая Тиче разрезанной рубахой. — Да-а... — Он поскреб бороду, разглядывая княгиню. — Ну и дела. Я слышал, что она того, блаженная... Убегала из дому, говорят, не раз... Ну и вот.

— Ладно, оставь ее, — сморщившись, сказал Вольга. — Если обморок, то очнется. Иди, а я посижу.

Ратники, оглядываясь, разошлись. Отошел и Фока. Вольга сходил в избу, принес одежду, сунул под голову Тиче, укрыл сверху. Потом умылся из бадьи и уселся рядом на полено. В голове было пусто.

Без мысли, без движения он сидел весь день. Отказался есть. Тиче в себя не приходила.

— Фока, — позвал Вольга. — Ты лекарь? Что делать с ней?

Фока приблизился, встал над княгиней, почесывая поясицу.

— Какой я лекарь? — пробурчал он. — Так, кость вправить, перевязать, прижечь... Ежели у нее только испуг да ушиб, то уж встала бы, а ежели чего другое...

— Чего?

— Ну... внутренность какая порвалась... Всякое бывает... Короче, сотник, в Чердынь ее надо. Я тут не помощник. Там на посаде бабка пермячка живет, Мухоморницей зовут. Если можно вылечить — она вылечит. Только, я понимаю, скорей надо, а то ведь кровь в брюхо течет.

— Запрягай тогда мне Воронка, — вставая, решил Вольга.

На заставе был единственный конь — старый мерин Воронок. На нем возили воду с Вишеры. Воронка запрягли в телегу, выбросили из кузова бадью, наложили гору лапника и сверху устроили княгиню.

— Возьми сопровождаемых, — посоветовали Вольге. — Путь неблизкий, ночью поедешь.

— Не надо, — угрюмо отмахнулся Вольга.

По медному от заката склону телега съехала с горы. В сумерках миновали росстань. На туше убитого медведя уже скакали птицы, какой-то зверек порскнул в кусты. Вольга вытащил свой меч, обтер о кожу, сунул в ножны.

Воронок, пугаясь и вздрагивая, робко шел по дороге, тянул телегу. Настала ночь. В облаках над пармой летела косматая луна. Вольга снова выволок меч и положил рядом с собой. Он услышал за спиной тихий смех и резко оглянулся, дернув вожжи. Воронок встал.

Тиче сидела в телеге — почти голая в разрезанной рубахе, словно светящаяся во тьме. Глаза ее сияли. Волосы гривой кудрявились вокруг головы, петлями извивались по плечам, на грудях. Тиче смеялась, и Вольге стало страшно. Он знал, что имеет дело с ведьмой, с ламией, и никогда этого не боялся, а вот теперь ему стало страшно, до полусмерти страшно.

Он нашарил меч, сполз с телеги и попятился.

— Так ты невредима? — хрипло спросил он.

— Конечно, — она кивнула. — Разве же Ош меня обидит? Я его сама позвала.

— Зачем?

— Я — ламия. Меня на гору Полюд не пускает. Я туда попасть могу, только если кто меня на руках занесет, без меча у пояса. Ты занес.

Вольга молчал, потрясенный.

— Вольга, не ходи в Чердынь, — попросила Тиче и потянулась к нему; кудри посыпались с голых плеч. — Будь со мной, люби меня всю ночь. Не ходи в Чердынь, там тебя убьют.

— Почему?

— Там всех убьют. И князя, мужа моего, и княжичей, моих сыновей, и всех ратников, и монахов, и мужиков, и баб — всех.

— Кто?

— Вогулы. Хакан Асыка пришел и много хонтов привел. Завтра ночью он Чердынь возьмет.

— Не было вогулов на Вишере...

— Были. Они от заставы за лесами, за скалами прячутся. Вы их не видели. Они вашего сполоха боятся, хотят Чердынь внезапно взять.

— Так вот зачем тебе на заставу было надо... — без голоса сказал Вольга, взмокнув от внезапного предчувствия.

— За этим, — согласилась Тиче. — Ведь я же ламия, жена хумляльта. Твоя застава вся спит непробудным сном. Я ратным людям твоим в котел с пищей дурман бросила. Они и заснули. А ты не ел.

— Я вернусь... Я разбужу... — тупо произнес Вольга.

— От того сна никого не разбудишь. Под горой семь вогульских косатых богатырей прятались. И они поднялись на гору, когда все уснули.

— Как же ты могла... любовь мою... — Вольга подавился словами.

— Я люблю тебя, я спасла тебя. Тех уже убили, а в Чердыни всех завтра убьют. Оставайся со мной, Вольга. Со мной тебя никто не тронет. Ты воеводой русским будешь, а может, князем. А я твоей женой стану, самой лучшей женой, сладко любить буду, жарко.

Она спрыгнула с телеги и медленно пошла к нему, протягивая руки,

покачивая бедрами, переливаясь блеском в лунном свете, как рыба.

— Не подходи! — крикнул Вольга, выставя перед собой меч. — Не подходи!..

— Не бросай меня, — заклинала ламия. — Вогулы убьют тебя в Чердыни, вогулы убьют тебя на заставе, ты не спрячешься от них в парме даже в самую глухую полночь... Не покидай меня, Вольга...

Держа ламию на расстоянии острием меча, Вольга обогнул ее по обочине.

— Я тоже тебя люблю, Тиче, — с болью сказал он. — И низкий поклон тебе за твою любовь... Но мне иначе нельзя. Я должен быть на заставе.

— Тебя убьют, если ты зажжешь сполох. Косатые богатыри близко. А ты так красив, так молод...

— Я молод, да не мальчик. Любовь велика бывает, а жизнь больше... Ты не вздумай меня останавливать — убью, не остановлюсь.

Он развернулся и побежал по дороге обратно.

Далеко за полночь, почти перед рассветом он поднялся на Полюдов камень к заставе. Луна серебрила молодую траву, бревна избушки, брони лежащих людей. Их кололи спящих, они ничего не узнали, не поняли. Вольга, смятенный, обошел мертвую заставу. Никого. Он один. И семь косатых богатырей под горой.

Он встал на колени у погасшего, затоптанного костра, достал огниво, начал высекать искры на сухой мох, что надергал из пазов избушки. Мох задымился, затлел. Вольга плакал. Он ничего не видел из-за слез, из-за того, что зрачки сжались, нацеленные только на крошечные угольки в моховом комке. И вдруг Вольге показалось, что напротив него, также на коленях, стоит и осторожно дует на искры русский воин в обгорелой одежде и рваной кольчуге, воин с усталым, обросшим бородою лицом. Вольга почувствовал на своих руках его теплое бессмертное дыхание.

Глава 31

Путь Птиц

Глубокой ночью поднятый с постели княжич Матвей глядел на сполох с вала Покчинского острожка. Рядом толпились, гомоня, взъерошенные, полуодетые ратники.

— Закрывать ворота! — крикнул Матвей.

Душа его тихо наполнялась ликованием. Вот он — его первый набат, его первое большое, яркое, знатное дело! Настоящее дело.

Жизнь в Покче тяготила его. Он чувствовал, что создан для чего-то большего, чем разводы караулов и плаванья на усмирение и без того смиренных городищ. Он был уверен, что рожден для подвига. И теперь его грядущий подвиг глядел на Пермь Великую гневным огненным глазом с вершины Полюдовой горы и словно выискивал в толпе его, княжича Матвея. Тот, кто зажег сполох, тоже совершил подвиг. Раз костер поднялся ночью, значит, не станут лесные воины губить горбом и потом нажитое хозяйство.

Если какой вогул приближался, в него со стен острога летела целая туча стрел, бессильно сыпавшаяся в траву у копыт коняшки. Матвей, резвясь, и сам пустил парочку, пока не услышал, как где-то в стороне Бархат ворчит:

— Чего расстрелялись, дурни? Как будет приступ, чем стрелять станете? Соломой?

Матвей стоял на обходе башни в открытую, подбоченясь, в сверкающем хазарском шлеме, перекупленном у татарского купца. Легкий ветерок трепал алую ферязь, напыленную поверх горячей от солнца кольчуги. Матвей вдруг услышал вой, словно выла, летя, маленькая ведьма, и вой этот, кинувшись на него, тюкнулся в стену рядом с локтем. Из бревна торчала вогульская стрела, еще трепетавшая перьями. Усмехнувшись, Матвей выдернул ее, глянул на дырочку в острие и дунул. Стрела свистнула.

Посадские, увидев, что в князя стрельнули, полезли с вала вниз. Матвей презрительно хмыкнул.

— Княже, и ты бы сошел, — посоветовал подоспевший Бархат. — Торчишь на виду, как петух на заборе...

— Язык прикуси, — оборвал его Матвей, но с башни спустился и пошел к Дашке пить брагу.

Он уже изрядно захмелел, когда прибежал дозорный и сообщил, что вогулов сочли: две с половиной сотни примерно будет. «Ну и что — на сотню больше? — пьяно и азартно подумал Матвей. — Коли налететь пошибче, да размахнуться пошире...»

— Вели рожечникам бой трубить, — приказал Матвей ратнику и вслед за ним двинулся на крыльцо.

— Дружина!.. — заорал он. Голос у него был красивый, сильный, отважный. — По ко-о!..

Снизу налетел Бархат, грудью впихнул Матвея назад, в горницу.

— Одумайся! — сипло рявкнул он. — Ты что?.. Куда мы?.. Они нас всех еще за сто шагов стрелами положат!

— Да как смеешь ты... — изумленно начал Матвей. — Да я тебя караулу!..

— Чего ты меня караулу? Ты князь? Ну и поступай по-княжьи! Я поболе тебя, сопляка, в ратном деле смыслю! А я тебе на бой добра не даю! И коли я добра не дал, с тобой никто не пойдет! Я здесь с половиной воев плечом к плечу на Искорке бился! Я твою честь блюду, понял?!

Матвей, быстро трезвея, сел на скамью и тихо, грязно выругался.

— Все я понял, — зло сказал он. — Пошел вон.

Хоть ночь он и проспал глубоким сном, наутро в душе ему было невыносимо гадко. Он попал в самое поганое положение — в смешное. И оно было вдвойне нелепо оттого, что острог стоял в осаде.

Но княжич не побоялся своего позора. Он свистнул рынду и велел созвать дружину.

Когда все, кроме караульных, сошлись у крыльца, Матвей, черный и озлобленный, появился перед ратниками.

— Чего лыбьтесь?! — взревел он, вытаскивая плетень. — Я — князь! Я себе во всем волен, и в браге волен! Ваше счастье, что нашелся трезвый человек, — он ткнул плетью в сторону стоящего на отшибе Бархата, — иначе все бы, и я тоже, сейчас посеченные лежали! Вам не зубы скалить надо, а богу молиться!

Он двинулся вниз с крыльца и хлестнул землю перед собой так, что толпа раскололась пополам.

— А послушаться себя я никому не дам! — Он ткнул плетью в лицо первому встречному. — Я в яму сажать не буду! Башку сшибу без молитвы, хрюкнуть не успеете! Поняли?

Он вернулся к себе и рухнул на лежак. Бархата он бы сейчас голыми руками разорвал. Он его ненавидел люто. И в ненависти потянулись бессмысленные дни осады, долгие и мучительные, как пытка.

Осада оказалась совсем не такой, какой ожидал увидеть ее Матвей: не тревожным и грозным стоянием на забрале с ладонью, козырьком прижатой к бровям. На валы острожка вообще лучше было не соваться — вогулы поставили свои дозоры и били стрелами по любой голове, мелькнувшей за частоколом. Прежде всего осада была совместным мучением целой огромной толпы людей, стиснутой в стенах маленькой крепости, и это мучение только усиливалось простором безоблачного неба над головой, простором речной поймы, лесов и дальних гор. Матвей заперся в своем доме и выходил только ночью, чтобы провести в конюшне коня — вороного Монаха. А люди в остроге уже к вечеру первого дня забыли, почему и от какой беды они здесь укрываются, и пошла обычная жизнь со склоками, дележом, бабьим криком, детским визгом, стариковским ворчаньем. Кто-то запил горькую, кто-то клянчил хлеба. Колодец на третий день вычерпали, и теперь из него только к утру можно было поднять на дне бадьи немного глиняной жижи. Матвей пил только квас, несколько бочек которого стояли у него в подклете, умывался квасом, даже посуду Дашка споласкивала квасом, и от кваса Матвея уже тошнило.

Скот и люди в один день загадили весь острог. На улочках хлюпали лужи мочи, под всеми стенами смердели кучи. Сделать общую выгребную яму никто вовремя не догадался. Застоявшиеся, голодные коровы мычали. Нескольких прирезали, несколько сами сдохли. Туши их лежали-полежали, брошенные хозяевами, и начали вздуваться на солнце. Тогда пришлось их разрубить и выбросить за тын. К лужам мочи прибавились лужи тухлой крови. Мухи и комары темной тучей клубились над острожком, терзая хуже голода, жажды и жары. Умерло несколько младенцев, несколько стариков и баб, помятых при свалке в воротах. Их наскоро отпел покчинский поп Африкан, потом закопали без гробов. Народ, праздно шатавшийся туда-сюда, за час затоптал могилы. Зверствовал понос, выдирая из живота кишки. По ночам негде было ступить среди тел спящих. Под телегами ратники насиловали молодых. Какая-то баба сошла с ума, дни напролет выла, что-то пророчила, металась по острогу. Толпа просителей обивала ступени Матвеева крыльца, каждый чего-то хотел от княжича: пожрать, напиться, наказать обидчика, выбраться на волю, получить оружие и харч, узнать, скоро ли все закончится. Расползались дикие слухи. Мужики воровали у ратников припасы, ратники воровали у мужиков добро. Язычники из пермяков хотели молиться по-своему, их били: тяжело, насмерть, вымещая на них всю злобу и тоску. Иногда Матвею казалось, что еще немного, и он схватит меч, пойдет рубить всех подряд

направо и налево. Всеми ратными делами его дружины ведал Бархат.

Два лазутчика, отправленные Матвеем в Чердынь, исчезли, как камни в пруду. Однажды ночью дозорные на валу слышали переполох среди вогульского караула, вой стрел, стон изо рва.

— Братцы... — позвал снизу чей-то голос. — Дострелите меня... Помилуйте...

— Ты кто таков?

— Из Чердыни я послан... Ранили меня... Дострелите...

— Чердынь-то как?

— Стоит твердо... И вы стойте. А мне конец...

Раненого дострелили. Покча стояла. Здесь была теснота, вонь, грязь, жажда, зной. А рядом — рукой подать — родные дома, луга, Колва. Но вогульский стан за посадом стерег эту благодать, не пускал.

И вдруг однажды утром вогулов не стало. Они ушли, только пара десятков воинов копошились среди погасших кострищ, да еще напротив покчинских ворот — речных и напольных — торчали караулы.

— Выходим в поле! — заорал Бархату в лицо Матвей, не давая и слова сказать. — Порубим оставшихся к чертям собачьим! Все лучше, чем здесь сидеть да гнить! Пока им подмога подоспеет, мы уж весь сброд из острога в парму прогоним!

Он побежал к конюшне, растолкал ратников, стал взнуздывать Монаха.

Вратари отволакивали створки напольных ворот, сдирая одуванчики, что за неделю выросли в проезде башни. Утреннее солнце, как счастье, полыхнуло в бревенчатый проем. Вслед за передовыми Матвей вихрем вылетел за острожные стены, на простор улочек беспорядочного посада. Вот она, божья благодать: мчаться на коне навстречу врагу, навстречу свежему ветру, и чтоб солнце играло на броне, и чтоб рука приятно удлинялась тяжестью меча.

Вопя, топча кур, яростно и радостно рубя горшки на кольях заборов, всадники Матвея, обгоняя друг друга, скакали к околице, к опушке леса, где на стану заматались вогулы, залезая в седла. Трубили рожки, ржали кони, стучали копыта, кричали люди. И вдруг в этом гаме словно взвыли вогульские ведьмы — пернатые стрелы взбурлили воздух, брызнув, казалось, изо всех окошек окрестных изб. Завизжали, валясь и лягаясь, раненые кони, покатались в траву подстреленные всадники, кувыркаясь через голову.

«Засада?.. Выманили?.. — подумал Матвей, но не испугался, даже не опомнился, опьяненный волей, ветром и скачкой. — Пускай! Засада так засада! Рубка так рубка! Лишь бы не в острог! Мы еще посмотрим, кто —

кого!»

— Вперед! — закричал он своим, перетягивая со спины на плечо круглый деревянный щит, утыканный медными гвоздями, с литым медным умбоном в центре.

И русская конница неслась дальше, сквозь секущий ливень вогульских стрел — навстречу вогулам. А те словно вдруг удесятились числом, выскочив из каких-то укромных мест, где ждали русских, и тоже неслись на врага, выставив копья. Словно грозовой разряд вспышкой лопнул над землей между двумя конными лавами — это с неба сошли ангелы, крылами опалая место самой страшной сечи: на мечах и на всем скаку.

Матвей впервые увидел вогульских воинов вблизи — в одеждах из вывернутых мехом наружу шкур, в деревянных доспехах, в треугольных шеломах с приклеенными рогами и волосами, увидел их смуглые смелые лица с недобро прищуренными светлыми глазами, увидел их русые косы, помелами летящие вслед за спиной.

Две лавы сшиблись, вонзившись друг в друга, как вилы в вилы. Матвей гибко уклонялся от нацеленных копий, отшибал их щитом, рубил мечом по рукам и плечам, проносящимся мимо. Звон, крик и такой треск, точно кололи дрова, — треск деревянных лат, обтянутых дубленой лосиной кожей, треск разломленных костей, раздробленных черепов — все это раскатилось над опушкой. Монах завертелся под Матвеем, как черт на сковороде, грызся с другими лошадьми, бил грудью и копытами. Матвей отмахивался мечом, выставляя щит, или падал в ударе вперед, стискивая коленями бока Монаха, и поражал вогулов, которых тотчас уносила куда-то круговерть боя, не успевали они падать. Краем глаза Матвей видел вокруг скрещенье лучей и блеск железа, вытаращенные глаза, открытые рты, искаженные лица дерущихся, взлетающие мечи и руки, сбитые шлемы, растрепанные гривы и оскаленные морды коней, и все это — густо, броско заляпанное алыми пятнами, будто кто-то горстями швырял кровь в толпу, на кого попадет — и ладно.

Сеча, как юзом вертящееся колесо, сползала, стекала с опушки по пологому уклону, роняя мертвецов. А по чердынской дороге на Покчу несло другое, невиданное войско.

— Князь!.. — орали на ухо Матвею, и он даже покачнулся в седле, едва осознав себя.

Сеча, как дым пожара, валила мимо.

— Князь! — орал Бархат, отдергивая руку от узды Монаха — конь по-собачьи клацнул зубами у его рукава. — Гляди!

По чердынской дороге на беззащитную, раскупоренную Покчу скакали

всадники на огромных боевых лосях, не по-лошадиному перебиравших длинными и сухими, как спицы, ногами. «Никто, говорят, против них не устоял, — успел подумать Матвей, — кроме отца, князя Михаила, на састуме в Пелыме...» И княжичу впервые стало страшно: страшно не боя, а страшно повернуться спиной к вогулам на лосях, чтобы обогнать их, достичь Покчи первым и велеть закрыть ворота. Но, как всегда навстречу своему страху, Матвей перекинул щит на спину и звонко шлепнул Монаха голомянем меча по заду.

Монах понес его наискосок лосям, обгоняя вогулов. Прыгнули в глаза домишки посада, а над их берестяными крышами уже поднимались кряжистые башенки острога, когда вдруг что-то ударило Матвея, и Монах исчез из-под него. Матвей по широкой дуге перелетел крайний заплот и шлепнулся в грязь и тину на дне рва, но тотчас лягушкой заскакал вверх по откосу и вкатился в раскрытые ворота острожка, едва вывернувшись из-под лосяных копыт.

— Закрывай ворота! — закричал он.

Но закрывать ворота было некому.

Вогулы уже ворвались в острог, скакали по улочкам, бежали по валам и рубили, кололи всех подряд. Русские и пермяки кричали, закрывались руками, слепо метались из стороны в сторону и валялись мертвыми, рассеченными, окровавленными. Целые стога мертвецов громоздились на перекрестках. Вогулы убивали без меры и пощады, сами такие же сумасшедшие, как и те, кого они убивали. Теперь уже кровь не горстями швыряли на народ — ее широко плеснули из ведра, окатив острожек от кровель по нижние венцы. И Матвей бы кинулся с мечом на ближайшего вогула — да меч он выронил во рву. И коловращение бойни повлекло его, лишенного зацепки, неведомо куда.

Он тоже бежал, спотыкался, падал, матерился, ступал по грудям и спинам мертвых, полз на карачках в окровавленной крапиве, шарахаясь от лосяных и конских копыт, скользил на человеческих внутренностях в грязи и никак не мог вырваться из потока бегущих людей, будто был не князем, а последним невольником в человеческом гурте татарского шибана. Толпа вынесла его к другим — Колвинским — воротам острожка и выбросила на берег, усыпанный корчащимися телами подстреленных людей. И здесь тоже нельзя было остановиться, укрыться, прижаться к земле, потому что на валах острожка стояли вогулы и стрелами гнали народ в воду, словно на крещение. Сотни ведм, воя, проносились над головой, по-осиному впивались в тела, сшибали с ног. И Матвей вместе со всеми скакал через убитых к Колве.

Задом наперед, лицом к вогулам, отступал к стремнине реки поп Африкан и держал высоко над головой икону, в которой уже торчали две стрелы. Третья стрела пригвоздила бороду попа к груди, и он повалился набок, выронив доску. Матвей споткнулся о нее и схватил ее обеими руками, сломил стрелы, пластом кинулся в волну, подложив икону под себя, чтобы она приняла на себя тяжесть кольчуги, как святой принимает на себя тяжесть человеческого греха.

Но на левом берегу спасенья не было: там тоже стояли вогулы с луками и били стрелами в плывущих. Река несла эти стрелы мимо Матвея — они погрузили в воду железные клювы и выставили вверх оперенные хвосты. Матвей задира голову, высматривая, и, отплевываясь, кашляя, захлебываясь, греб через широкую Колву к узкому клину плавней, куда половодье натащило всякий речной мусор. Ноги коснулись дна, и Матвей, сначала пригибаясь, потом опираясь о дно рукой — другой рукой он держал под мышкой икону, — потом на четвереньках добрался до зарослей, зарылся в них и притаился.

Он сидел в плавнях долго, очень долго. Он видел, как расстреливали плывущих, как добывали добравшихся до мелководья, как, наконец, река опустела, вогулы сели в длинные лодки и перебрались на покчинский берег. Но Матвей все равно не вылез из плавней. Крики и стоны утихли в остроге, и вскоре над крепостью, над домишками посадка начала разматываться сперва редкая синяя кудель, а затем густая смоляная пряжа пожара. Вогулы подожгли убитую Покчу. Из плавней Матвей видел, как мостом, черной радугой выгнулась через весь небосвод страшная дымная полоса. Она была как дьявольское, угольное отражение Млечного Пути в светлом небе. Пермязи говорили, что Млечный Путь — это Путь Птиц, по которому на свое неведомое земле небо улетают птицы-души умерших. По этому же адову мосту, гневно и беспокойно клубясь, уходили к русскому богу души зарубленных и сожженных в Покче. Матвей словно бы видел в дыму мелькающие бледные лица и темные глаза. И его душа, пока что сидящая, как зверь, в клетке из ребер, словно одежда — дождем, набухла пониманием: вот оно каково — видеть, как горит твой город. «Отец видел это дважды», — опять вспомнил отца Матвей. Но Матвей прогнал воспоминания об отце. Еще немного, и отец скажет ему: это ты виноват.

А ведь все было иначе совсем недавно, вот только-только... Матвей зажмурился, надеясь, что откроет их — и окажется в своей постели рядом с горячей Дашкой, а со двора будут вопить: «Вогулы ушли!» Но как бы ни был близок тот миг, все же он был уже под прозрачным льдом, на котором стоял княжич Матвей. И Матвей замерз бы, пока сидел в плавнях,

если бы его не сжигало дикое пламя досады, ненависти к своему бессилью, к своему позору. «Я вам всем оплачу! И вогулам, и мертвецам, за то, что умерли, и... и тебе, отец!»

Когда стемнело, он сволок с плеч кольчугу, лег грудью на икону и бесшумно поплыл вниз по течению к Чердыни.

Две черные, зубчатые поверху громады — острожная гора и монастырская гора Чердыни — были окружены кольцом вогульских сторожевых костров. Но все ж таки близко к склонам гор вогулы не подходили, да и цепь огней была редкой. Матвей выполз в высокую прибрежную траву и, брюхом отыскивая на залидном лугу холодную струю Чердынки, полез вперед. Он легко выбрался в урему между двумя горами, куда вогулы, похоже, не решились сунуться, нашел погребок подземного хода и, лязгая зубами, ногтями стал колупать дверку. Дверка вдруг открылась. Видно, за ней кто-то сидел и ждал лазутчика, ушедшего к вогулам.

— Ты кто? — ошалело спросил стражник, цапая ножны на поясе.

— Матвей я... — просипел Матвей. — Княжич...

Стражник пропустил его, оглядывая изумленными глазами. Матвей, шатаясь и налетая плечами на стены, прополз по тайнику, вскарабкался по лестнице и вывалился из колодца Тайницкой башни прямо на руки Ваське Калине.

— Княжич? — воскликнул Калина. — Живой? Вот это да!..

— Дай пожрать, — ответил Матвей.

Ночью Матвея не пустили к князю Михаилу — берегли его покой. Княжича накормили, переодели в сухое, отвели в гридницу. Матвей заснул тотчас же, как свалился на лежак, — будто канул под лед.

Проснулся он чуть ли не в полдень. Сразу слез с нар и пошел к отцу. Он шагал улочками Чердыни, глазел по сторонам. Сначала ему показалось, что народу здесь куда меньше, чем было в Покче, но, приглядевшись, он понял, что скорее наоборот. Просто не было толчеи, суеты, гама, как на торжище. В Чердыни царил порядок. Ратники не торчали на валах, не толпились у бойниц башен, не сидели кучами где попало, зубоскаля на проходящих мимо девок. Бабы не вопили, не причитали, не ругались, а, собравшись кружками, латали одежонку, что-то плели, возились с детьми. Мужики что-то копали, пилили и кололи дрова, занимались какими-то необременительными и кропотливыми работами: сбивали бочки, резали доски на причелины и наличники, стругали ложки и кочедыки, правили косы, пилы и топоры. Где-то звенели молотки кузницы, у колодца зевал

стражник. Не громоздились бесполезные возы, не мычали голодные коровы. Скотины вообще не было — только кони, а из живности — несколько псов и вездесущие кошки. Матвей презрительно щурился, но в душе закипала досада: трудно ль, мудрено ль и ему было наладить в Покче такой же быт? Он зло сплюнул под забор, где не росли лопухи с крапивой: а-а, теперь все равно.

В отцовском доме оказалась толпа народу — старицье, молодухи с младенцами, больные и раненые. Сам отец сидел в маленькой полутемной горенке. Он был в кольчуге на голое тело, в простых штанах, босой.

— Садись, — кивнул он Матвею на лавку.

Матвей уселся как-то боком, чтобы не глядеть отцу в глаза. Он уставился в проем двери в соседнюю клетушку, где молодуха кормила грудью сосунка. «Может, братец мой Ивашка? — подумал Матвей о младенце. Брата он еще ни разу не видел. — Не-е, мать бы его сама кормила, это не он... Тоже бог послал подарочек — братца... Да плевать. Князем-то по старшинству все равно мне быть. А этому... Может, завоюю ему какое княжество подальше — Пелымское, или Кодское, или Кондинское... А может, Ивашку бог приберет...» Матвею давно стала безразлична семья — отец, мать, сестренка, исчезнувшая в кудымкарской дали, брат новоявленный... Матвея занимала своя жизнь: яркая, страстная, полная жгучей надежды на власть и славу.

— Знаю я уже, как Юмшан хитростью Покчу сгубил, — перебил его мысли отец. — Можешь не рассказывать.

— Юмшан? — вскинулся Матвей. — Сын Асыки?

— Ну не царя ж Давида, — устало ответил отец. — И вот что я о тебе думаю... Не будем о том, почему так вышло. Поздно уже. Но после Покчи воеводой я тебя поставить не смогу. А простым ратником — княжья честь не позволяет. Болтаться же тебе без места — один позор нам обоим. И решил я, что гонцом тебя отправлю.

— Каким? — изумился, встопортившись, Матвей. — Куда?

— Вогулы пришли только за победой, — не отвечая сразу, продолжил князь. — Только за ней. Они осаду хоть до ледостава держать будут. А нам столько не сдюжить. Месяц-полтора — и мы слабеть начнем. Я знаю. Они нас по волоску выщиплют. Нам помощь нужна.

— Откуда же ее взять? — хмыкнул Матвей. — В Москву мчаться?

— Не в Москву. Ближе. В Перми Старой по Вычегде нынешним летом ведет перепись московский дьяк Иван Гаврилов. При нем — полк устюжан с новым воеводой Андреем Мишнёвым. Вот на Вычегду и надо тебе лететь.

— Что ж, — сразу с облегчением согласился Матвей. — Дело

любопытное. Не то что за острожными стенами сидеть и тараканов давить.

Отец исподлобья глянул на него, как обжег взглядом: ты вот вышел из-за стен от своих тараканов, и что? — но смолчал.

— Одному идти иль с провожатыми? — пряча за деловитостью смущение, начал расспрашивать Матвей. — По Каме иль через Чусовское озеро?

— Что вверх по Колве, что вниз — думаю, одинаково. Вогулы же не дураки, дозоры везде поставили. Так что лучше через Чусовское озеро и Бухонин волок. Гаврилов и Мишнёв, наверное, от Усть-Выма уже вверх по Вычегде ушли. Значит, с полуночного пути тебе до них будет ближе. Быстрее найдешь. А в провожатые дам тебе двоих: своего надежного человека, мужика, Нифонтом зовут, и епископова слугу Леваша, который, если нужда будет, подмоги потребует именем владыки. Ну, вот и все. Ступай к Калине, он тебя снарядит.

Матвей поднялся, но почему-то помедлил. Вдруг отец еще чем напутствует?

— Чердыни судьбу тебе доверяю, — помолчав, тихо добавил князь Михаил. — Тебе ею княжить после меня. Не подведи, Матюша, прошу... Больно мне будет и горько любовь свою дырявой душе оставить.

Горло Матвея перехватило.

— Ладно, — хрипло произнес он и пошел из горницы, нахлобучивая шапку.

Он не любил отца, но было в отце что-то такое, через что Матвей не мог переступить.

Калина, разглядывая Матвея, оживленно сообщил:

— А мать твоя вместе с братом твоим Иваном в монастыре очутилась. Вместе с монахами осаду переживает.

Матвей смолчал.

— И Вольга погиб. Это он сполох на Полудовой горе зажег.

Матвей ничего не говорил, злобно мазал салом кожаную шкуру лодки.

— Пыж-то хоть помнишь? Это на нем мы с тобой в Ибыр плавали...

— Всего не упомнить, — буркнул Матвей. — Отвяжись.

Епископского слугу Леваша Матвей видел раньше и запомнил его приметное лицо — безбородое, узкое, с умными холодными глазами. А Нифонт, мужик угрюмый и рослый, Матвею не понравился. Ему никогда не нравились люди, которых ценил отец.

Ночь выдалась подходящая: ветреная, дождливая. В шуме деревьев, в шелесте трав, в ропоте дождя на лугу трудно уловить шорох ползущих людей. Лодочную шкуру, шесты и весла, оружие, небольшой мешок с

припасами Матвей, Леваш и Нифонт вытащили в урему через тайник. Костяк пыжа из еловых стволиков с ветвями им скинули со стены. Пятеро ратников доползли с ними до берега мимо вогульских костров. На берегу два вогула ставили морду — их без звука закололи. Лежа в траве, Нифонт и Матвей собрали лодку, тщательно пересчитав и завязав все тесемочки, потом спустили ее на воду, отвели на глубину и забрались внутрь. Течение потянуло назад, к монастырю, но Матвей с Левашом, пригибаясь, загребли, и пыж заскользил по темной Колве вдоль острожного холма, вдоль вогульских костров.

Вогульский дозор расположился за Покчей. До него добрались, когда начало светать. Вогулы все же заметили лодку, закричали, потащили к реке свои берестяные каюки. Горящие стрелы полетели с берега, с шипением падая в воду вокруг русских.

— Надо причалить, — велел Леваш. — Я должен переговорить с их старшим. Я знаю, что сказать, чтобы нас пропустили.

— А чего им сказать? — тут же спросил Матвей.

— Вы того знать не должны. Это князя повеление.

— Отец мне про то ничего не говорил, — недоверчиво заметил Матвей.

— Не бойся, я не оборотень, — успокоил Леваш. — И с вогулами мне не впервой торговаться.

Он гребком направил лодку к берегу и что-то закричал по-вогульски. Вогулы и вправду перестали стрелять, остановились, положили берестяные каюки на землю. Со склона к воде спустился пожилой воин в кольчуге и надвинутом на глаза татарском шлеме.

Леваш негромко сказал ему что-то, воин ответил и пошел прочь.

— Поплыли, — быстро обернулся к своим Леваш. — И скорее, пока они не сообразили...

Нифонт и Матвей налегли на весла.

— Чего ты ему соврал? — снова спросил Матвей.

— Много будешь знать — скоро состаришься.

— Не верю я тебе, друже, — глухо прогудел Нифонт. — Темнишь ты...

Леваш пожал плечами.

До полудня они шли на веслах, потом подгребли к мелководу и толкались шестами — так было легче. Перед Ныробом Колва выписывала петли и крюки, словно не хотела бежать дальше. На одной петле Леваш снова велел причалить. Втроем они пересекли перешеек и стали смотреть вниз по реке. Вдали из-за лесистого поворота выскользнули две крохотные щепочки — вогульские лодки.

— Шестеро, — подсчитал зоркий Леваш. — И вогулы мне тоже не поверили, Нифонт. Это погоня.

— Ну, тогда вперед. — Нифонт сплюнул. — Нечего время терять...

И они поплыли дальше.

Ночь снова провели с шестами в руках. Следующим днем добрались до устья Вишерки, впадавшей в Колву по левую руку. Повернули туда.

Никто, видно, с весны ни разу не прошел этим путем, ведущим с Вычегды в Пермь Великую. Петлявшую по лесам и болотам узкую Вишерку загромаждали завалы от берега до берега. Продвигаться вперед было очень трудно. Шесты натерли кровавые мозоли, ломило спины и плечи. О том, чтобы остановиться, отдохнуть, нечего было и думать. И днем и ночью двое должны были стоять на носу и на корме пыжа и толкать его вперед. Кто-то один еще мог спать на дне, но и уснуть было невозможно — снизу мочила вода, просачивающаяся сквозь швы и порезы шкуры, сверху плотной тучей висел гнус, сводя с ума. Если лодка садилась на мель или цеплялась за сучья топляка, всем приходилось слезать за борт, сниматься, волочить пыж вперед и в сторону. И жрать было нечего, разве что подбить стрелой птицу, ощипать, выпотрошить, натереть солью и лопать сырую, выплевывая кровь. Хуже всего, если встречались завалы. Через них тащились поверху, посшибав ногами сучья, или обходили берегом, болотиной и травой, с лодкой на горбу, а случалось, и рубили узловатые еловые стволы в три топора, слегами ворочали комли с красной древесиной, освобождая путь — для себя и для вогулов тоже. Нет, зря Матвею казалось, что быть гонцом — это лихо пронестись сквозь парму по синей речке. Быть гонцом означало обречь себя на муки изнурения и адовой работы, в которой забывался даже смысл того, во имя чего она вершится. Матвей трижды проклял себя за то, что по дури так охотно согласился бежать на Вычегду. В сердцах он рубил проплывающие над головой еловые лапы, крыл по-черному Нифонта и Леваша. Нифонт и Леваш отмалчивались. Похоже, они были откованы из железа.

Фадина деревня стояла вымершей, заброшенной. Все постройки обвалились внутрь, в ямы, словно сложились, как крыло летучей мыши, и затянулись мхом. Клепанный цырен размером сажень на сажень, стоивший дороже огромного гурта оленей, краснел под трухлявыми бревнами варницы, проржавевший насквозь. За Фадиной деревней терпение Матвея лопнуло.

— Хорош! — орал он. — Я вам не конь! Дайте передышки, дьяволы! Уйдем в лес, и никто нас не заметит, никакая погоня!

— А погоня-то небось уж в двух шагах, — словно не слыша княжича,

произнес Нифонт. — Пока мы завалы разгребали, сколь они навестать смогли, а? Э-эх... — он махнул рукой. — Шестеро троих всегда догонят...

— Значит, надо еще шибче слегой махать, — спокойно сказал Леваш.

— Куда-а?! Дайте дух перевести! Все жилы вытянули!..

— Малому и впрямь передых нужен, — согласился Нифонт. — Мы-то с тобой — что? Пропадай! А его надо довести, княжич все ж.

— Некогда отдыхать, — возразил Леваш. — У Мишнёва отдохнем.

— До Вычегды мы и полпути не прошли. Видать, придется с вогулами схлестнуться.

— Трое против шести? — злобно спросил Матвей.

— Не трое, — сурово поправил Нифонт. — Один. В засаде. А двое пусть вперед убегут и отдохнут, когда третий завернет вогулов...

— И кто этот один будет?

— А выбирать не из кого. Тебя князь ждет, его — епископ. Меня же только девки мои. Я и буду.

Матвей зачерпнул из-за борта воды, умыл распухшее от укусов, грязное от крови лицо.

— Тебя убьют, дурак, — сказал он. — Ты в одиночку вогулов не развернешь, не остановишь.

— Ежели троих-четверых подстрелю, то разверну. Авось уж не убьют, утеку в парму — ищи меня... — Нифонт задумался. — А и убьют, что ж... Князь сказал, что девок моих не бросит. Две их у меня, Машка и Палашка, да жена...

— Не-ет! — отрекся Матвей. — Если уж встречать вогулов — так всем!

— Молод ты еще, княжич, — рассудительно возразил Нифонт. — Наше дело — позвать подмогу. А уж какой ценой, то не важно. Чердынъ в осаде... Сначала я. Не выйдет у меня — он встанет, — Нифонт ткнул черным пальцем в Леваша. — Епископ не обрыдается. А ты беги, и беги, и беги. Ты — княжич, ты — гонец, и нечего тут рассусоливать.

Они дотолкались от Фадиной деревни до завала там, где оба берега затонули в непроходимых болотах. По левую руку болота сочились бурой речкой Щугор, притоком Вишерки. Здесь половодье нагромозило целую гору сучкастых зеленых елей и сосен, переплетенных друг с другом, — гору высотой с крепостной заплот.

Лодку едва-едва перекинули через стволы. Нифонт в нее не сел, остался стоять на сосне, с луком за спиной.

— Вот и местечко славное, — сказал он. — Вогулы здесь через меня не пройдут. Так что всё: давайте плывите. Дело торопит. Будем живы —

свидимся.

Леваш и Матвей молча поклонились Нифонту, взяли за шесты и погнали лодку вперед, вверх по течению, дальше за повороты.

Нифонт прошелся по стволу, расчищая себе дорожку, и только присел поджидать воголов, как их берестяные каюки появились на реке.

— Дожить не дадут... — пробормотал Нифонт, поднимаясь и стаскивая через плечо лук.

Княжич Юмшан, сын Асыки, стоял последним на второй лодке. Русские стрелы не пели знакомых песен, но он сразу понял, что это вдруг свистнуло над рекой, а потом свистнуло снова. Юмшан ничком упал на дно своего каюка.

На передней лодке двое — на носу и на корме — так и стояли одинаково, словно остолбенели от изумления, и из груди у них одинаково торчали и дрожали оперенные стрелы. А затем эти двое одинаково повалились направо, рухнули в воду и перевернули лодку.

— К завалу! — крикнул Юмшан. — Он прячется там!

Воины на его лодке опустились на одно колено, пригнули головы и мощным толчком послали лодку к завалу. Каюк ткнулся носом в еловые лапы. Юмшан, Тыран и Латып разом прыгнули на деревья, как рыси.

Но Юмшан чуть задержался, а два его манси полезли вперед, вытаскивая мечи и срубая ветви. Еще раз свистнула в хвое стрела, но мимо — она улетела в прибрежный лес, сшибая прошлогодние шишки. На другой стороне завала раздался звяк железа, крик, хрип.

Что-то плескалось рядом с Юмшаном, и он, отстранив ветку, увидел, что это третий воин с первой лодки. Воин зацепился воротом кольчуги за сучок и теперь бился, задыхаясь, и не мог ни вырваться, ни выплыть. Он глядел на Юмшана из-под воды, разевал рот, из которого вылетали гроздья пузырей, царапал ногтями кору ствола, на котором стоял Юмшан. Юмшан еще подождал, прислушиваясь к схватке на той стороне завала и не глядя на тонущего, а потом обернулся, спустил в воду ногу, наступил на лицо воина и притопил его еще глубже. Глаза под водой выпучились и стали совсем рыбьими. Воин захлебнулся.

Тогда Юмшан выпрямился и крикнул по-русски:

— Рочча! Не стреляй! Я с миром!

Он полез через ветви на другую сторону.

Нифонт с разрубленной грудью лежал на своей сосне, ногами уходя в воду. Он был еще жив, хрипло дышал. Кровь из раны толчками выплескивалась на рубаху. Тыран — мертвый, с ножом в горле — лежал рядом, лицом вниз, в ветвях. Наверху сидел Латып, дрожащими руками

сжимая меч.

Юмшан оглядел место схватки и, не торопясь, спустился к Нифонту.

— Ты все сделал хорошо, чердынский богатур, — с трудом подбирая слова, по-русски сказал он. — Юмшан тебе благодарен.

Он вытащил из-за пояса нож, приподнял Нифонта за шею и лезвием обвел его голову по кругу. Затем убрал нож, вцепился в волосы Нифонта и сорвал их с черепа вместе с кожей. Положив Нифонта обратно на бревно, Юмшан поднялся к Латыпу и протянул ему окровавленный косматый ком.

— Это твое, — сказал он.

— Его убил Тыран, а не я, — задыхаясь, ответил Латып.

— Ты — молодой воин. У тебя еще нет ни одних волос врага. А это был настоящий враг, очень хороший, сильный и умный. Тебе будет чем гордиться. Возьми. Я ничего не скажу другим манси.

Латып перевел взгляд с Юмшана на волосы в его руке, и в глазах его страх начал таять, сменяясь радостью.

— А что я должен сделать за это? — спросил он.

— Ты должен вернуться и сказать, что Юмшан поплыл догонять русских один. Он один, сам, догонит их и убьет.

— Но ведь все манси спросят меня, почему я оставил тебя одного? Ведь я даже не ранен.

— Ты хочешь, чтобы я тебя ранил?

— Нет, — быстро сказал Латып, отодвигаясь.

— Тогда отвечай, что Юмшан был очень зол. Он сам хотел наказать русских за гибель четырех своих воинов. Он отослал тебя обратно, и ты ушел, потому что он — князь.

— Я понял. Давай волосы.

Юмшан кинул волосы на колени Латыпа и вновь повернулся к Нифонту. Нифонт до сих пор был жив. Сквозь кровь на вогула смотрели его страшные глаза, в которых был ужас и неверие в то, что случилось. Юмшан наклонился, спихнул Нифонта в воду и еще притопил его ногой и дослал под завал, как только что сделал со своим манси.

А Леваш и Матвей в это время изо всех сил толкались вверх по течению. К вечеру они наконец добрались до Семи Сосен. За Соснами до окоема синело Чусовское озеро. Леваш и Матвей выволокли лодку на берег, повалились на хвою и через мгновение уже спали.

Семь Сосен стояли ровно по кругу. Может, они сами так выросли, как по ведьминым кругам вырастают грибы, а может, были посажены в незапамятные времена. Между ними располагалось древнее святилище, давным-давно заброшенное пермяками, а потом ограбленное

ушкуйниками, а потом еще порушенное и затоптанное всяким проезжим людом. Матвей проснулся за полночь в круге этих сосен и увидел, что в кольце их черных, косматых вершин, словно ожерелье на дне болотной чарусьи, лежит на небе семизвездье Ковша.

Посреди поляны горел небольшой костер. Возле него сидели двое: Леваш и какой-то пожилой человек в одежде из звериных шкур. Матвей поднялся и подошел к огню. Разговаривали по-вогульски.

— Кто это? — резко спросил Матвей, перебивая незнакомца.

— Юмшан, — кратко ответил Леваш.

Матвей открыл рот, закрыл, снова открыл и еле выдавил:

— Э... мы... в плену?

— Нет. Юмшан один.

— Он у нас в плену?

— Тоже нет. Он назначил тебе и мне встречу под Семью Соснами. Вот мы и встретились.

— Ничего не понимаю! — Матвей помотал головой.

— Я договорился с ним, — пояснил Леваш. — Помнишь, там, за Покчей, когда проплывали вогульский дозор? Вот тогда и договорился. Нифонт убил его воинов, чтобы те не донесли о нашей встрече Асыке, а Юмшан убил Нифонта, чтобы Нифонт не донес о ней князю Михаилу. Так было условлено. Понятно?

— У-у, какие дела... — протянул Матвей, усаживаясь на корточки. — И зачем же Юмшану эта встреча? И почему нашим отцам не надо про нее знать?

Леваш усмехнулся, пошурудил палочкой в костре. Юмшан глядел на Матвея.

— Ладно, давай напрямому, — раздраженно велел Матвей.

— Хорошо, — согласился Леваш. — Владыка знает о том, о чем мы сейчас будем говорить. И он благословил желание Юмшана, потому что оно — на пользу русскому делу. А желание таково... Нам с тобой не надо торопиться на Вычегду. Ехать — надо, а торопиться — нет.

— Это почему?

— Потому что надо дать Асыке время, чтобы Чердынь ослабла. Тогда князь Михаил выйдет с дружиной биться в поле.

— И... что? — замерев, осторожно спросил Матвей.

— И князь Асыка убьет князя Михаила.

Матвей долго молчал, глядя в огонь.

— Я Покчу сгубил, — наконец сказал он. — И вогул хочет, чтобы в придачу я сгубил и отца с Чердынью?

— Ты не понял. Твоего отца убьет его отец, а не ты. А убив князя Михаила, князь Асыка не станет дальше жить. Он обещал. Ему больше незачем будет жить. Он умрет. Просто от старости. Он ведь очень старый.

— Что за чушь? — Матвей поморщился.

— Это ты так думаешь. А вогулы и думают, и поступают иначе. Ты просто еще их не знаешь. Так и вправду будет: Асыка убьет Михаила и умрет. Он только ради этого и пришел к Чердыни. Город ему не нужен. Он убьет князя, снимет осаду и уйдет, а потом умрет. Нам с тобой нужно только не торопиться, чтобы Чердынь ослабла и Михаил вышел в поле. Погибнет Михаил — и Чердынь будет спасена. Ты станешь князем, и Юмшан тоже станет князем.

— Князем? — тихо переспросил Матвей. Лицо его окаменело.

— Ты меня понял? — вкрадчиво осведомился Леваш.

Матвей кивнул.

— И епископ тоже хочет, чтобы я стал князем?

— Да. Твой отец — плохой князь.

— Он хороший князь. Его любят люди.

— Возможно. Но владыка считает, что ты будешь князем лучшим, чем твой отец.

— Ты предлагаешь мне стать отцеубийцей?

— Не ты его убьешь, а вогул Асыка. Зато ты спасешь свой город. И ты даже исполнишь отцов приказ — приведешь рать Мишнёва, отгонишь вогульские хонты. Надо только немного подождать. Не торопиться.

— Ты предлагаешь мне стать отцеубийцей... — повторил Матвей.

— Не я! — разозлился Леваш. — Он предлагает! — Леваш указал на Юмшана. — Владыка предлагает! Будь мужчиной! Будь князем!

— Быстро говорите... — вдруг сказал Юмшан. — Я плохо понимаю роччиз. Перескажи, как манси.

Леваш заговорил по-вогульски. Юмшан выслушал, утвердительно покачивая головой. Потом он вдруг тронул Матвея за плечо и тоже начал говорить, показывая на небо. Леваш переводил:

— Вот что хочет сказать тебе Юмшан... Всему в мире есть своя мера. Грех прерывать дело, пока его мера не исполнена. Но бессмысленно тянуть дело дальше, когда мера отмерена до конца. Князь Асыка доделает свое дело и умрет, потому что он — Призванный, он — хумляльт. Но русские не верят в мудрость людей Каменных гор. И князь Михаил исполнил свою меру. Он совершил великие дела. Он создал княжество, он построил столицу, он родил детей и постиг истину. Он сделал все, что от него надо богам. Его будут помнить всегда. Зачем ему еще жить дальше? Эта жизнь

будет нужна ему одному, а больше никому и ничему — ни людям его, ни городу, ни земле, ни детям. Пусть лучше он уйдет по Пути Птиц как герой, сраженный достойным врагом. Это славная смерть! А если его душа-птица одряхлеет вместе с телом, она уже не пролетит по Пути Птиц. Князьям, героям, воинам надо жить как птицы, чтобы после смерти пройти этим Путем. Когда вожак молод и силен, он летит во главе клина, и все летят за ним, гордятся и любят его. Но когда вожак стареет, он падает, и ни одна птица не поддержит его своим крылом. Такова судьба. Никто не виноват. Юмшан говорит тебе, княжич, чтобы ты был птицей.

И Матвей остался под Семью Соснами.

Глава 32

Поющие стрелы

Молодого чердынского десятника-пермяка звали Дайбог, и острые на словцо русичи сразу переделали в «Недайбог». Парень злился. Той ночью, когда сотник Вольга зажег на заставе Полюдов огонь и сгорел в нем, князь Михаил, не раздумывая, сказал Дайбогу:

— Что ж, теперь тебе сотником быть.

— Тогда пусть все зовут меня Волегом, — сразу ответил Дайбог, пермски переиначив имя «Вольга». Он думал, что Вольга — это не имя человека, а звание.

Каждое утро осады Волег, Иртег и Калина подъезжали к крыльцу княжьего дома. Князь выходил, сунув под мышку батожок с рукоятью, и рынды помогали ему влезть в седло. Лицо у него серело от боли, пот катился по лбу, но князь не стонал, не отменял утреннего объезда.

Вчетвером, не спеша, они объезжали валы и немногочисленные улочки острога. По большей части князь молчал. Не повеления его, а его вид заставлял людей подтянуться, собрать волю, подавить в душе страх и тоску, прогнать злые и подлые мысли, что точили и разъедали стойкость чердынцев. И Чердынь держалась, не покорялась.

...Князь Михаил, как и весь город, проснулся той ночью от монастырского набата — своего колокола в Чердыни еще не было. Над Полюдовой горой сияла искра сполоха. Тогда князь и велел позвать Дайбога.

— Напольные ворота открытыми держи, с караулами из двух десятков, — распоряжался Михаил, сидя на топчане и накручивая на ноги обмотки. — Три десятка по посадку разошли. Пусть народ будят, стариков тащат. Собирай весь харч и, главное, — соль; не смотри, где — чьё, все бери. Скотину в острог не пускай, всю забивай, а мясо и шкуры — сюда. Пяток коров помолочнее отбери сам и тоже сюда пошли. Мужики пускай несут с собой косы и топоры. Избы не жги. Кто сопротивляться станет, с тем не связывайся. Время дорого.

Стоя на обходе Спасской башни, над раскрытыми воротами острога, Михаил наблюдал, как в сером мороке рассвета идут по мостку в острог злые и раздраженные мужики с мешками за спиной, растрепанные и ревущие бабы с детишками. На посадке слышались крики и вопли, ржание крестьянских лошадей, мычание коров, падавших под ножами и обухами

ратников.

— Да ты сам разоритель чище вогулов! — бесстрашно крикнул Михаилу с мостка какой-то мужик.

— Дурак, — ответил князь.

Мутно-алый, словно зола в крови, вставал рассвет над Колвой. Над далеким Полудовым камнем в небе трепетало тусклое перо дыма и росного пара — все, что осталось от сполоха, от Вольги.

Не все мужики согласились забить скотину: кое-кто упрямо погнал стадо по дороге в Бондюг. Потом-то все поняли, что князь был прав: через два дня вогулы пригнали этих коров обратно и привезли головы пастухов на пиках.

Вокруг Чердыни повсюду суетился и сновал народ — монахи у монастыря, пермяки у городища. По реке плыли каюки, жители бежали на верхнюю Колву: вниз было нельзя, потому что путь к надежным крепостям — Редикору, Уролу, Пыскору, Майкору — вогулы могли перекрыть засадой в устье Колвы.

Утром к Михаилу пришли городищенские пермяки во главе с охотником Иртегом.

— Пусти, князь, нас с женами и детьми в острог, — попросил Иртег. — Старики наши собираются открыть вогулам ворота городища. А мы вогулам не верим. И в парму бежать, как звери, не хотим. Мы, мужчины, на стенах будем биться не хуже твоих ратников.

Михаил пустил пермяков в острог, и без того переполненный.

Когда посадки, поле и берега опустели, Михаил созвал совет. В своей рати он насчитал меньше двух сотен человек. Восемь десятков было в дружине, над которой он поставил Волега. Еще семь десятков дало русское посадское ополчение из мужиков-лапотников, не знавших меча и бердыща. Их, как обычно, Михаил отдал под начало Калине. Во главе пермяков из городища, которых набралось три-четыре десятка, встал Иртег. И все. Больше ратной силы не было и ждать не приходилось. Михаил распорядился назначить десятников и тотчас начать учить мужиков боевому делу. Ворота Чердыни закрыли и подперли врытыми в землю кольями.

Пока длился совет, на левом берегу Колвы показались вогулы. Весь народ кинулся на валы речной стены острога смотреть, как вогулы будут переправляться. Михаил с воеводами тоже поднялся на обход Спасской башни, самой высокой в остроге.

Сперва на легких берестяных пыжах переплыл головной отряд — напряженный, готовый к бою. Но с отпором его никто не встречал. Тогда

вогулы собрали по берегу лодки и струги чердынцев, спустили на воду большую барку парома, в которой паромщик пожалел прорубить днище, и начали перевозить хонты. Через Колву плыли косматые кони, олени, лоси и люди в железных кольчугах и кожаных доспехах — десятки, сотни людей. Воеводы с башни насчитали почти полторы тысячи манси. Асыка плыл одним из последних. Михаил видел его шлем из рогатого оленьего черепа, а еще один такой же череп, увешанный песцовыми хвостами, воин держал на шесте: это был княжеский бунчук. Асыка перенял обычай бунчуков от татар, что нашли приют в Пелыме после ухода из Афкуля.

Вогулы переправились, обошли стороной острожный и монастырский холмы и стали подниматься к полупустому городищу. Народ в остроге, созываемый рындами, потянулся к княжьему дому на сход. Михаил сел на коня, опоясался мечом и выехал вперед. Люди ждали.

— Что ж, — негромко заговорил Михаил с седла. — Сами видите, беда пришла. Нам ее вместе отражать. На пощаду не надейтесь. И на помощь от дяди — тоже. Себя спасти мы только сами сможем. И многие головы сложат — не без этого. Ничего тут не поделаешь. Но нам стоять накрепко надо. Иначе нельзя.

— Тебе хорошо стоять! — крикнул из толпы давешний храбрый мужик, который ругал Михаила с моста. — У тебя полны закрома! А у меня корову забили да ржи посевной последний мешок отнимают!

— Или вы меня не знаете?! — разозлившись, рявкнул Михаил. — Я на чужой нужде не жировал! А харч весь — всем! — в острожные амбары сдать нужно! Кто утаит — выгоню за ворота в поле, жри там! А здесь харч всем будет поровну из артельного котла — и мне, и бабе последней, чтоб без обид! Только раненым и детям малым молоко от коров ваших дадим. Убоину же, что принесли, сейчас же солить по бочкам и вялить; соли я дам, солнца у бога просите. Кто знает, на сколько осада затянется... Придется конину варить — вместе давиться будем.

— Ты-то будешь... — пробурчал мужик, прячась в толпе.

— А разговоры такие вести не смей! Кликуш да охальников буду в яму сажать без жалости! Слышите, бабы? Чтобы воя и воплей в остроге не было! Свара или драка случится — в плети! Воров и насильников — сразу в петлю!

— Вот вор! — крикнули в толпе и выпихнули рослого, густо покрасневшего парня. — Он у меня с иконы серебряный оклад снял!

— Ты вор? — строго спросил князь с коня.

— Согрешил, — сказал парень, и в толпе засмеялись.

— Петлю, — приказал Михаил.

Ратники тотчас перекинули через балку ворот кушак, сладили петлю, подкатали бочку.

Парень побледнел, но, куражась, влез на бочку и напялил петлю. Рука его сама собой вдруг очертила перед грудью неровный крест. Михаил спрыгнул с седла и пинком вышиб бочку у парня из-под ног. Парень повис на воротах, корчась и извиваясь, задергался, захрипел, вцепился пальцами в петлю на шее. Глаза его страшно выпучились, уставившись на толпу. Толпа онемела. Михаил влез обратно в седло.

— Ну что, все еще смешно? — спросил он.

Толпа молчала, боясь словом разгневать князя. Михаил ждал.

— Помилуй, батюшка... — еле слышно прошамкала какая-то старуха.

Глаза у повешенного парня уже закатились, руки упали, тело обмякло, только ноги еще дрожали. Михаил подтолкнул коленями коня, вытащил меч и перерубил кушак. Повешенный мешком свалился на землю.

— Откачивайте, — предложил Михаил. — Выживет или нет — как бог даст. Но слушать себя я вас научу.

И толпа впереди, и дружина за спиной словно чуть-чуть отодвинулись от князя подальше.

— Без дела по острогу болтаться я никому не дам, — ровным голосом продолжал Михаил. — Нечем заняться — прижмись и сиди. Бабы пусть своим бабьим делом занимаются, под ногами не мешаются, ребятишек приструнят. Мужиков пусть Иртег и Калина разобьют на десятки и к десятским Волега на ученье ведут. Мужик сейчас каждый за ратника будет — мало нас. Так что косы на пики перековывайте, топоры и вилы пересаживайте на боевые ратовища. Не нынче вечером, так завтра утром вогулы на приступ пойдут. Ясно? Михаил задумался.

— Чего еще забыл? — спросил он себя. — Жить станете в балаганах, жерди и кора за соляным амбаром свалены. Костров не жечь. Воду от колодезного караула по ведру в день получите. Ходить только в отхожее место, а кто гадить начнет — тех голодом морить стану. Пьянства не потерплю, баклаги выливайте, кто припас. Православным — храм, кто божится — тем пустырь у Глухой башни, и чтоб без драк между крещеными и язычниками. По всему хозяйству главным будет дьяк Протас Хлебов — вон он стоит, к нему и обращайтесь, коли нужда прижмет. А теперь идите. Отец Никодим на молебен созывает.

Михаил не пошел в храм, вернулся к себе. В горнице его встретила старуха-нянька, взятая для младенца княжича Ивана. Плача и утираясь углом платка, она запричитала:

— Ой, князюшко, горе-то какое, чего творится...

Михаил тяжело опустился на лавку, стал слушать, глядя сквозь раскрытое окошко на светлое и высокое чердынское небо. Злая мансийская сила, напозавшая из-за Каменных гор, вновь навалилась на него, стиснула сердце. Она пробивалась в его жизнь, как вода в дырявую лодку, — не там, так здесь.

Перед рассветом в дом ворвалась княгиня в распластанном платье, босая, мокрая, растрепанная, безумная. Она заметалась по горницам, как птица, легко уклоняясь от ловящих рук старухи, схватила спящего княжонку, выбежала прочь. Разве старухе догнать ее было? В суматохе набата и в сумерках никто не обратил внимания наженщину с младенцем. А княгиня бежала через посад, через Чердынку и укрылась в монастыре. Если в поступках ламии отражается воля Каменных гор, то это означало только одно: Чердыни не выстоять, Чердыни погибнуть. Сердце у князя щемило — остро и как-то привычно. «Не дам, — упрямо и устало подумал Михаил. — Не дам. И пусть хоть все небо в знаменьях».

Вогулы не стали ждать долго. К вечеру они вереницами потянулись из городища в Чердынский посад. Они шли с оружием, почти без коней. Они не прятались, не скрывали своих намерений. Михаил поднялся на Спасскую башню. И рядом с ним, и на валах за частоколом напольной стороны выстроились стрелки Волега и Иртега, сгибали, напруживая, луки, клеенные из ели и березы, насаживали тетивы, со скрипом перекидывали мощные рычаги самострелов, натягивая толстые струны на кованые крючья запоров, прилаживая толстые, голые стрелы-болты, прошибающие щиты и доспехи насквозь. Ратники толклись у ворот; вооруженные мужики опасливо разглядывали свои бердыши и шестоперы, взвешивали их в руках и примерялись, задирали головы и смотрели вверх на валы и обходы башен — что там скажут про вогулов?

Вогулы не подходили ко рву ближе чем на полет стрелы, но по всей протяженности напольной стены в домах, на кровлях, за заплотами замелькали волчьи колпаки мансийских лучников. У кого луки дальнобойнее, тот и решит, сможет или нет враг подступить к воротам Чердыни вплотную. Мосток через ров перед воротами уже порубили. Чердынцы глядели со стены на неспешную суету среди вогулов, а вогулы, щурясь на закат, оценивающе рассматривали и стену, и чердынцев. На монастырь, что стоял на соседнем холме, они даже не оглядывались. То ли не верили в стойкость его защитников, то ли были просто безразличны к нему, потому что не ради него шли через хребты между священными нёройками вслед за солнцем.

Михаил увидел вдали, на околице посада, высокий бунчук, а под ним на коне — Асыку с отрядом лучших воинов, выложивших поверх кольчуг длинные седые косы. Вогулы закричали, приветствуя своего князя. И тотчас за домишками перестали тюкать топоры, и из проулка полезло на улочку большое бревенчатое сооружение, что сколачивали на пустыре, — длинный и прочный помост. Его на плечах несли воины со щитами, им же и прикрываясь сверху.

— Никак мост перекидной сладили, — сообразил Волег, стоявший рядом с Михаилом, и закричал: — Целься по мостовым!

Помост, подрагивая, прополз по улице и ткнулся концом во взгорок, на котором раньше лежал острожный мосток. Другой конец помоста начал подниматься вверх — его сзади подпирали длинными слегами. Протяжное бревенчатое полотнище стало отвесно напротив Спасской башни, на миг замерло в зыбком равновесии и начало падать через ров. Свистнули чердынские стрелы, словно пытались остановить падение в воздухе, и вогулы, притащившие помост, за его заслоном побежали прочь, щитами прикрывая спины. Мост рухнул, загремев, и вздрогнула, скрипнув венцами, вся пустотелая бревенчатая коробка башни. Мост подпрыгнул и замер, чуть наискось, но прочно и надежно перекрыв собою ров. Вогулы завопили — ликующе и угрожающе.

Сзади и снизу Михаил услышал гомон. Это заволновались ратники.

— Вогулы мост перекинули!.. — оглядываясь, крикнул им Волег, но Иртег схватил его за плечо, указывая вперед:

— Туда гляди! Ворота вышибать будут! — и он закричал лучникам на стенах: — Стреляйте по коням!..

По улочке посада, к мосту и воротам, в пыли мчалась четверка лошадей. Лошади были связаны парами, пары поставлены друг за другом, а между лошадьми висело прочно притороченное бревно тяжелым комлем вперед — таран. Глаза лошадей были завязаны, спины покрыты попоной из лосиной шкуры, а по бокам их бешено нахлестывали скачущие вровень два всадника с обеих сторон. Лошади неслись все быстрее, направляемые плетями на мост. И едва до него осталась сотня шагов, словно лопнула невидимая нить. Из посада к стенам Чердыни, взыв, метнулась целая туча вогульских стрел.

Чердынцы успели ответить своим залпом, но первые мертвецы, пробитые вогульскими стрелами, еще не скатились с вала — даже еще не упали, — когда лошади, визжа и гремя копытами, промчались по мосту и врезались тараном в ворота. Постромки лопнули, и, лягаясь, лошади повалились в ров, — но лопнули и прясла ворот. Врытые в землю кольца,

что подпирали ворота, выдержали удар, и выдержали его засовы, однако треснули и сломались доски, из которых были сбиты створки.

— Стреляйте!.. — отчаянно закричал Волег и бросился с башенного обхода по лесенке вниз, на ходу вытаскивая меч.

Вогулы со всех сторон бежали к мосту, к проломленным воротам. Сотни вогульских стрел, как ливень, с визгом упали на стены и башню, и показалось, что их поток смыл встречные чердынские стрелы, как стремнина смывает рыбу, поднимающуюся через порог. Иртег отпрыгнул назад и сбил князя Михаила с ног. Прижавшись к настилу, князь всем телом ощутил бурлящий ветер вогульских стрел, и ему почудилось, что по башне и по частоколам Чердыни хлещут огромные еловые лапы, как веники в бане. Вогульские луки оказались дальнобойнее чердынских, и всех защитников смело со стен — кто катился по валу вниз со стрелой в груди или в лице, кто сползал сам, бросив лук и сжимая меч.

Князь Михаил сел, прячась за выпуском бревен четверика, срубленного в обло, и стал смотреть. Иртег исчез, спрыгнув с башни на вал. Ограда обхода была выломлена свалившимися вниз убитыми лучниками. Михаил видел и посадский берег рва, прилегающий к мосту, и площадку за проездом башни. Посад весь кишел вогулами, рвущимися к воротам, а за проездом началась сеча.

И князь испугался, что сейчас чердынские и вогульские воины смешаются друг с другом, как гречка с пшеницей, и круговерть рубки хороводом раскрутится на весь острог, захлестнув кипением все улочки и дворы, и бой рассыплется на одиночные схватки, бегство и погони, как то было и в Усть-Выме, и в Пелыме, и на Искоре, но такого не случилось. Внизу, у башни, толпа дерущихся слиплась в единый ком, и в нем, будто кружева инея или древесные кольца на спиле, словно от давления, само собой выродилось, вызрело противостояние. Чердынцы плотным серпом, прижавшись друг к другу, наваливаясь на врага щитами, отмахиваясь мечами и топорами, как живая стена в несколько рядов оцепили прущих навстречу вогулов. И обе рати — сросшаяся воедино, медленно отступающая и растягивающаяся чердынская, и напиральная, увеличивающаяся в числе, ключом бьющая из дыры проезда в башне вогульская, — давили, что есть мочи давили, с нечеловеческой силой давили друг друга, кто кого: чердынцы ли выдавят вогулов обратно наружу или вогулы разорвут живую чердынскую цепь и бешено выплеснутся внутрь. И не было крика, воя — только треск щитов, звон ударов через плечи и головы, хрип и рев дикого напряжения людей, которые от натуги точно погружались в землю по колени. И Михаил понял, что сейчас, будь

он хоть трижды князем, Чердыни от него ничего не надо, никаких приказов, никакого примера, никакого гордого стояния на верхотуре под хоругвью, только еще хотя бы капельку сил его мускулов. Он скатился по лесенке с башни и боком вклинился в толпу, подняв меч.

Забыв обо всем, сжатый раскаленными кольчугами своих ратников, он вместе со всеми жал, жал плечом вперед, видя только багровые лица, вытаращенные глаза, вздутые вены вогулов. И на него ломили спереди, пытаясь сверху достать его мечом, а он, дергая локтем, еле отбивал такие же судорожные удары, и давили его сзади свои, через его голову лупили по вогулам чеканами, топорами, клевцами на длинных ратовищах, обдирая кожу на боках, просовывали между тел вперед копья, тыча вслепую. И в этой свалке, сминаясь, хрустели грудные клетки, кровь текла изо ртов, мертвецы, не падая, стояли среди живых.

Казалось, что сквозь башенный проезд, загроможденный врытыми кольями, заваленный обломками ворот и убитыми, не пролезет даже мышь, но вогулы, как змеи, все же пролезали, и их делалось все больше и больше, и уже одним своим объемом они оттесняли чердынцев, растягивали их цепь и ослабляли ее — а стоило цепи порваться, и разгром был неминуем. Но удержать напор вогулов, которые все лезли из ворот, было невозможно, пока ворота открыты, как невозможно намертво, навсегда перегородить реку плотиной без стока.

Только потом все дознались, кто же это сделал. А сделали это пермяки из Иртеговой дружины, братья Гачег и Лунег. Раненый ратник Петька Косой, умиравший на валу у Спасской башни, указал им на тайник. Подземным ходом Гачег и Лунег выбрались в Чердынку, а из нее проникли в ров напольной стороны. По рву, прячась, они проползли к вогульскому мосту. Они держали в руках багры. Никто на них не обратил внимания — много раненых стонало и копошилось на дне рва в грязи и ряске среди мертвецов. Гачег и Лунег впились в бревна мостка баграми и сдернули мосток на себя. Мосток упал. Гачег и Лунег прервали поток вогулов, вливающийся в крепость; заткнули собою дыру, через которую топило лодку Чердыни. Вогулы, лишившись моста, стали прыгать в ров и карабкаться к воротам на вал, но теперь их легко уже могли сбивать стрелами уцелевшие чердынские лучники на забрале.

А давка словно пережевывала тех врагов, кто налегал друг на друга щитами под Спасской башней, — давка словно втискивала, вминала в землю первые линии, сталкивая друг с другом следующие ряды на стерне из растоптанных мертвецов. И князя тоже смяло, покосило, потянуло вниз. Он пытался вырваться, словно вынырнуть из трясины, но сверху его

плющила тяжесть живых. Его затапывали, ступая на бока, на живот, на грудь, на плечи. Михаил яростно бился, переворачивался с бока на бок, но не мог подняться, будто на нем вырос лес. Ряды вогулов, не замечая, перешагнули его, как валежину, кто-то каблуком разломил меч, треснули ребра, как перетянутый лук, захрустела голень в голенище сапога. Локтем прикрывая лицо, Михаил, ничего не видя, тыкал вперед и вверх обломком меча, и чужая кровь текла по его волосам. И его бы раздавили насмерть, если бы вогулы не остановились, исчерпав силы. Сверху, с валов, в них били стрелами, а сзади уже не шло пополнение. Чердынцы нажали рывком и наконец начали теснить вогулов обратно к воротам. Михаил, хрипя, вцепился в чью-то ногу, крест-накрест обмотанную берестяными ремешками русского лаптя, и тотчас чьи-то руки ухватили его под мышки, поволокли наружу.

Но хоть вогулов и начали выдавливать из крепости, те, кто оставался за рвом перед острогом, и не думали отступать. Они спускались в ров, залезали на вал, вытаскивали из проезда башни доски, бревна, мертвецов и лезли на подмогу. Немногим чердынским стрелкам на стенах трудно было их остановить: закат уже закрыл ров глубокой тенью, а поющая и пернатая вогульская смерть заставляла прятаться за зубцы. И тогда на помощь острогу пришел монастырь. Открылись его ворота, и вогульской орде в незащищенный бок ударила новая рать. Вогулы увидели, как из монастыря бегут на них новые страшные люди — в длинных черных рясах, заткнутых за пояса, с длинными мечами в руках, с длинными развевающимися волосами и бородами. И души вогулов не выдержали натиска. Молча, без воплей, вогулы разворачивались и скрывались за домишками посада, уходя по направлению к городищу.

Сумерки уже легли на Чердынь, когда дорубили последних врагов. Кое-как завалив проезд под башней чем попало, ратники чуть не замертво падали на землю от усталости. Тихо появились женщины и пошли вдоль куч мертвецов, отыскивая живых, отыскивая своих.

Рядом с князем, которого положили на вытоптанную траву под стеной амбара, опустилась на колени какая-то баба, стала вытирать ему лицо, сплевывая на угол платка.

— Родненький, что ж они с тобой сотворили, окаянные, — плача, все повторяла она, не узнавая князя.

Михаил дышал с подвыванием: простреливало бок, где треснули ребра, невыносимо болела раздробленная голень. Михаил увидел, что над ним остановился Калина. Остановился, узнал и не сел, а рухнул на траву, словно сломался сразу в нескольких местах. Волосы его были растрепаны,

красная рожа непривычно побледнела, рубаха висела клочьями. Крупно и часто, в такт сердцу, тряслись руки.

— Отбились? — тихо спросил Михаил.

— Отбились. Ты-то как? Выживешь?

Михаил закрыл и открыл глаза.

— Наших навалили страх сколько, — сказал Калина. — Иртега того...

Михаил молчал.

— Аниска, слышь, — обратился к бабе Калина. — Принеси-ка лучше нам водички... Душа горит.

В светлой ночи неприступно чернели над Колвой две крепости в кольце огней вогульской осады — острог и монастырь. Словно два ощерившихся пса в кольце волчьей стаи.

Измятому, раздавленному телу князя нужен был покой, но сон в ту ночь так и не пришел. Князь лежал на топчане в полузабытьи, в голове был звон — то ли эхо мечей, то ли мирные комары; а перед глазами все еще стояло: чердынская рать столкнулась с вогульской ратью под кряжистой громадой Спасской башни.

Наутро пришел Калина и сразу понял, что князю худо. Он засуетился, заругался, и вскоре Михаила уже отпаивали горькими настоями и горячими отварами, намазали бок пахучими притирками, стянули ногу лубком. В тот день явились угрюмые вогульские послы, договорились о перемирии. Им выдали их мертвецов, забрали своих из рва. Всего в бою погибло четыре десятка чердынцев — очень много для маленького чердынского ополчения. Вогулов положили почти вдвое больше. Вечером батюшка Никодим отпел акафисты по христоробивым воинам, многие из которых были язычники, и крещеных схоронили в скудельне у алтаря Воскресенской церкви, а нехристей сожгли в колодах на пустыре у Глухой башни. За стенами острога, за оврагом Прямицей, над частоколами городища тоже висели хвосты дыма от погребальных костров вогулов. Души-птицы отважных манси и стойких коми вдоль заката вместе улетали на свое соколиное небо.

Третьим днем с утра князь вновь поехал на осмотр острога — уверенный в себе и спокойный, с рындами и десятниками, в самой богатой одежде, будто не сидела ножом меж ребер острая боль, будто без лубка не пухла голень в тугом сапоге. С Михаилом ехали Калина, Волег, Леваш, отважно дравшийся под Спасской башней, даже дьяк Хлебов. Народ глядел недоверчиво, но, видя в небе хоругвь с серебряным медведем, крестился и кланялся с обновленной верой в глазах.

И с первого взгляда Михаил понял, как жестоко поразил чердынцев

вогульский приступ, пусть и отбитый. Пусть не в обиду пермскому медведю будет сказано, вогульский приступ был как страшное, заплесневелое рыло медведя-людоеда, которое вдруг выбило окошки запертой избы. Словно сердце схватили клещами. Словно бросили в ледяную иордань — долго не побарахтаешься. Но что делать? Если вогулы разорят и сожгут Чердынь — второй раз после Пестрого — Чердыни уже не подняться. Никто не пойдет жить на землю, которую слой за слоем складывает горький, бесславный пепел пожарищ. Чтобы Чердынь осталась во времени живой, как лодка на плаву, сейчас ей надо стоять и выстоять во что бы то ни стало: стерпев лишения, примирившись с потерями, не дрогнув духом. Может, никто из чердынцев того не понимал, но все смотрели на князя, а князь понимал, и потому ехал по городку надменный и властный, как победитель.

Однажды на край рва к воротам Спасской башни подъехал всадник и кликнул князя. Вскоре Михаил поднялся на разбитый обход. Внизу его ждал Асыка.

— Хакан? — удивился Михаил.

Рынды князя, стражники на валах, вратари в бойницах замерли, наострив уши и ожидая, чего станут говорить князя.

— Михан, — негромко обратился Асыка.

Михаил вздрогнул. Михан — так звала его только Тиче. Значит, пока она жила у Асыки, Асыка с ее слов привык называть его так же, как она... И Михаил вдруг услышал далекий, тихий, никогда не забываемый им шепот, обреченный, полный любви и тоски: «Михан, не ходи за Камень...»

— Михан, — продолжил Асыка. — Выходи биться со мной как воин и князь: один на один.

— Я ранен, — просто возразил Михаил.

— Ты ранен оружием, а я — старостью. Выходи.

Михаил покачал головой.

— Нет, Асыка, я не выйду. Я слаб, чтобы убить тебя.

— Ты трус.

— Я боюсь, что моя гибель будет бессмысленной.

— Нет, не бессмысленной. Если ты меня убьешь, манси уйдут сами. Но если я убью тебя, то я уведу их отсюда. Обещаю. Выходи. Этим ты спасешь свой город. Мне Чердынь не нужна.

— Может, мне тогда попросту зарезаться? — усмехнулся Михаил.

Асыка молчал, не зная, как ответить на насмешку. Он не мог оскорбиться и уйти, потому что смеялись не над ним. А Михаил вдруг впервые почувствовал себя выше вогула.

— Чего бы ни случилось с тобой или со мной, вогулы не уйдут, — сказал Михаил. — Тебе Чердынь не нужна, а им нужна. Им нужно золото и серебро, рухлядь, рыбий клык, мамонтова кость и соль из чердынских амбаров, им нужны брони и шлемы, мечи и кони чердынских ратников. И без хабара они не уйдут. Ты это знаешь.

Асыка продолжал молчать. И Михаил пощадил его самолюбие — развернулся и первым пошел прочь. Он не сказал Асыке главного: вогулы хотят уничтожить Чердынь не только из-за богатств ее амбаров, а еще и потому, что хотят остаться единственными хозяевами Каменных гор. Богатства он и так бы отдал, если бы вогулы после этого ушли, но вот отдать вогулам могилы тех, кто пришел жить на эти горы, и надежды тех, кто еще придет жить, он не мог и не желал.

Через день после разговора с Асыкой вогулы взяли Покчу. Они сами через ров радостно кричали об этом чердынцам на забралах. Вечером над лесами вдали, словно покров богородицы над павшими, поднялась и повисла пелена дыма.

Из покчинской бойни чудом вывернулся и ухитрился проскользнуть в Чердынь мимо вогульских караулов один-единственный человек — десятник Колыван Вех. Он и рассказал Михаилу о покчинском осадном сидении, о сечи на опушке, где легла вся дружина и сотник Бархат. Вех видел, как из сечи ускакал Матвей, и о сыне князь не стал особо беспокоиться: Монах — конь быстрый, унесет княжича от погони.

Но известие о гибели Покчи придавило чердынцев. Хотя и не было им в Покче никакой пользы, все-таки как-то легче, увереннее было на душе оттого, что за перелеском, в каком-то десятке верст, стоит и не думает сдаваться такая же русская крепость. А вот теперь Покчи не стало. И гибель ее, грянувшая внезапным ударом колокола в затишье осады, вновь напомнила, как это нелегко — выстоять. Отбить первый приступ — мало. Куда труднее в долгом наводнении осады не осыпаться, как подмытый берег. Пусть пока еще Чердынь сильна, но волна и утесы рушит. Нельзя забывать о мере своей силы и стойкости. И значит, пока не поздно, нужно звать подмогу.

Михаил давно держал в голове мысль о переписи дьяка Гаврилова на Вычегде, о дружине Андрея Мишнёва, берегущей дьяка. Но Михаилу очень не хотелось обращаться в Усть-Вым. Это означало, в первую очередь, поклониться епископу. Кланяться же Филофею Михаилу было обидно. Он помнил о предостережении умирающего Дионисия, хотя и не понял его. Что ж, теперь выбирать не приходилось.

Ночью в Чердынь пробрался Матвей, а утром явился к отцу. Михаил

долго рассматривал сына, словно видел впервые. Матвей погубил свой город. Не со зла и даже не от равнодушия — по молодой горячности. Но ведь все равно погубил... И никак это на Матвее не отразилось. «Да мой ли это сын? — думал Михаил. — Или я совсем уж никудышный отец? Или всегда так бывает, что детей своих не можешь понять?» Оставлять Матвея в Чердыни Михаил не хотел и сразу решил отправить его гонцом на Вычегду. В товарищи ему он дал Леваша, чтобы тот сговорился с Филофеем, да и вообще: ни к чему ему в Чердыни епископов соглядатай. Леваш человек опытный и смелый, он не даст Матвею сгинуть. А чтобы эти двое не позабыли, зачем пошли, Михаил приставил к ним еще и Нифонта, тоже укрывшегося от вогулов в Чердыни. Гонцы ушли. Оставалось ждать.

День за днем просверкивали в глазах Чердыни, одинаковые, как звенья кольчуги. Из розового молока белой ночи всплывало алое, круглое солнце. Искрилась Колва под горячим ветром с далеких гор. Пахло хвоей и прелью пармы, плыли облака, с шумом пробегали быстрые, почти невидимые дожди. Весь оком словно бы медленно, тихо вращался вокруг Чердыни, врытой в землю, будто кол.

У Михаила было много времени, чтобы думать, но как-то не думалось. Точно все уже передумано и расставлено по местам, и нечего ломать голову, надирать душу. Он остался один. Давно уж не было ни матери с отцом, ни брата, и даже удивительно было вспоминать: неужели они когда-то и впрямь существовали? Нет рядом и Аннушки, солнечного лучика. Горит этот лучик где-то на синей Иньве, и тонкое, нежное сияние его не увидеть через леса из Чердыни. Как там Нюта, доведется ли обнять?.. Вот ушел и Матвей. Да что Матвей? Он ведь сам, еще в детстве, когда перекинулся служить Пестрому, надломил ветку своего родства, и теперь ветка эта засохла. С огульной детской жестокостью, не разбираясь, вымещая обиду за мать и слепой свой гнев, Матвей отверг все, что было дорого отцу. А нашел ли что-нибудь свое? От него не дознаешься... И Тиче... Вечная боль — Тиче...

Он привез ее из-за Каменных гор, но не вернул ее душу. Душа затерялась в вогульских болотах, заблудилась среди диких скалистых тумпов, зачарованная нёройками и ялпынгами, околдованная на капищах, затянута в морок древних заклинаний. Но Михаил не отрекся от Тиче, не отверг ее, не проклял. Он ее любил. Так уж вышло в жизни: кому-то — другое, а ему — это. Спасибо за то, что хоть когда-то она была человеком, что когда-то женщина, тоскуя, шептала ему: «Михан, не ходи за Камень...», что когда-то девушка выходила к нему из тени Прокудливой Березы, и звенели на ее пояске лошадки-обереги, что когда-то маленькая девочка,

плача, бежала к отцу по окровавленному снегу...

Тиче жила в Чердыни, дома, как хотела, и ни в чем ей не было запрета. Люди ее чурались, но она того уже не замечала. Глаза ее глядели словно бы сквозь окружающую жизнь и видели то, чего не видел никто. И все в Чердыни знали, что княгиня — ведьма и сумасшедшая, но никто не решился бы посмеяться над князем и никому бы не пришло в голову его жалеть. За те несколько лет, что Тиче прожила в Чердыни, Михаил и пальцем ее не коснулся. Он был заботлив и ласков с ней, как с несмышленным ребенком. Но Тиче не была ребенком. Когда она забеременела, князю стало даже страшно. Кого она встретила там, в нехоженой парме, или кого здесь сбила с пути? Какой черный замысел вызрел в ее уже не человеческом разуме? Кого она родит: невинное дитя или будущего хумляльта? Но никто — даже ламия — не заметили смятения князя. И родился мальчик, окрещенный Иваном, которого князь назвал своим сыном. Пусть его тайна будет известна только троим. Михаил поступил так, как следовало по ходу вещей, если смотреть на него извне. Он давно уже отчаялся постичь смысл и судьбы, и времени. Но в отчаянье его не было боли и разочарования. Михаил был еще совсем не стар, но изломанное в бою под Спасской башней тело вдруг сделало его слабым, словно он состарился только снаружи. И вместе с ощущением собственной старости его душа, будто поневоле, вдруг обрела и мудрость — настоящую мудрость, без горечи.

А долгие дни осады тянулись над Чердынью, как нескончаемые плесы-тягуны на ровной, длинной реке. Лето звенело зноем по заливным лугам, верещало птицами, играло огнями на Колве, дятлом стучало из близкой, но недоступной пармы. Посад стоял пустым, его улочки и дворики заросли травой, окна затянуло паутиной, на крышах и в пазах бревен ярко зазеленел мох. Одиравших кошек и собак уже не было видно, исчезли брошенные гуси и куры. Вогулы не заняли даже дальних, крайних изб на околице — опасались ночной вылазки осажденных. На реке дни напролет чернели пыжи вогульских рыбаков, вдоль воды паслись вогульские кони, на опушке и в городище дымили вогульские чувалы. Вогулы упрямо ждали, изматывая Чердынь осадой, и Чердынь упрямо ждала, испытывая вогулов своим терпением.

Князь видел, как тяжела для людей осада. Уже провалилась скудельня у Воскресенской церкви, и огромный крест с кровлей ударил плечом в бревенчатую скулу алтаря. Но вокруг этой скудельни зарябила россыпь новых могил, одиночных — умирали раненые в бою под башней, умирали

старики, вырванные из своей привычной жизни, как деревья из земли, умирали младенцы. Упрямое терпение Чердыни не истончилось, не обветшало — оно натянулось, как струна, и могло лопнуть, вышвырнув людей за городские стены под поющие стрелы и голодные мечи вогулов. Люди были злы и раздражены, но князь каждое утро объезжал острог — все такой же, как раньше, в броне и богатой одежде, и уже не такой: побледневший, осунувшийся, седеющий на глазах, словно осень его жизни была столь же скоротечна, как и осень земли. И люди держали себя в руках. Чердынцы и без напоминаний помнили, что их спасение — в этих лишениях, в этой бессильной злобе и тоске, и пусть душа отравлена, но сорвать сердце на друге или на враге означало одно — гибель.

Перед Чердынью, угрюмо замкнувшейся в себе на крутояре, время медленно разматывало свой бесконечный свиток. По ночам на опушке выли волки; хищный зверь в безопасности жирел и наглел, а в глухих урманах, в берлогах, в гнездах, в норах, никем не тревожимые, росли детеныши, не знавшие страха перед человеком. Не потоптанное людьми, не ощипанное скотом, по берегам, по еланям разлилось сказочное многоцветное разнотравье, и в его дремучести затерялись, растворились лоскутья полей, дикая гречиха и васильки задушили посевы. Мыши дочиста обглодали кости соболей в ловушках и капканах; медведи точили когти о столбы, роняя высокие амбары-сомъяхи; белки без опаски шныряли по окнам, столам и топчанам охотничьих заимок; замыло илом и дрянью склизкие вешки запруд на лесных речках; забыли хозяев олени гурты на дальних урочищах. Только труд, только ежедневная забота берегла и обороняла людей в океане лесов, и сейчас океан быстро затопил человеческие дела — еле след найдешь.

Отсверкал, отгрохотал Ильин день. Начали остывать утренние росы. Из-за вогульских гор потянулись тучи; они цеплялись утробами за каменные гребни, распарывались и роняли дожди. В березах вдруг солнечными зайцами начали вспыхивать желтые листья. С обхода башни Михаил глядел на синюю Полюдову гору, и ему почему-то казалось, что Чердынь — как маленькая часовня, к которой с разных сторон идут три путника: с полуночи — осень, с запада — Русь, с востока — смерть. Кто поспеет раньше?

Голод к Чердыни еще не подступил, хотя и припасов осталось мало. Забили коров, все равно те перестали доиться: сено съели, а солому, надерганную с крыш, отдали лошадям. Почти опустошили амбары с княжьей десятиной — посевной рожью. Недолго час, когда придется валить на мясо боевых коней. Людям надо есть, а коней все равно кормить

нечем, да и застоялись они. Всю траву в остроге скосили, все лопухи и крапиву — все снесли в стойла. Земля была голой, утоптанной, пыльной, потому что даже стерню выщипали. Травинки и корешки жевали как лекарство: кое у кого начали кровоточить десны, зашатались зубы. Это было эхо цинги. Дико было циножить, когда за стенами крепости невпроворот было боровой дичи, дикого лука, хвои и коры на отвары, всякой ягоды — луговой, лесной, болотной. Но что поделать? Русь не шла, Русь не шла. Чердынь ждала, сопротивлялась, не сдавалась, не кидалась очертя голову в последнюю схватку. Но день проходил за днем, неделя за неделей, а Русь не шла.

Вогулы в городище вкопали высокий столб, и наблюдатель со столба мог видеть все, что творится в остроге. Когда в остроге завалили на мясо первого коня, вогулы всполошились. Русский конь — добыча не менее ценная, чем оружие и брони, золото и рухлядь. И добыча эта сама придет в Мансипал, ее не надо тащить на себе, а там, дома, еще и размножится, удвоится, утроится, удесятерится. Вогулы не хотели ждать, пока роччиз перебьют всех коней. Пусть лучше манси поляжет на сотню больше — ведь каждый надеялся, что он не окажется в этой сотне, зато русские кони перейдут победителям невредимыми. И вогулы начали готовить приступ.

Чердынцы видели, что вогулы собираются брать крепость через стены напольной стороны. Сколотив большие, крепкие щиты, они установили их на кольях вдоль своего края рва — защищались от чердынских стрел. Ближние домишки растащили на бревна, бревна подкатили ко рву и стали сбрасывать на дно. Не так уж и глубокий был ров, чтобы бревен потребовалось много. Сверху его бутили жердями, обломками досок, всяким мусором; потом повалили щиты. Рва словно не стало, высота стен сократилась вдвое. А вдали, в недосыгаемости для стрел, другие воины несли из леса длинные еловые стволы, срубали с них ветви, оставляя пеньки. Эти пеньки на стволах будут и ступенями, по которым вверх полезут люди, и крючьями, которыми ствол зацепится за впадину между двумя зубцами частокола. Калина, что, сощурившись, следил за вогульскими приготовлениями, сказал, что вогулы так и называют эти простые лестницы — «вангкрип мувлахи таганэтал», «крючья из обтесанных стволов».

И Чердынь не сидела сложа руки. Точили оружие, которого теперь хватало на всех, — мечи, бердыши, клевцы, чеканы, шестоперы, копья, топоры. Недостало наконечников стрел — на них перековали ножи, последние серпы и косы, повыдергали из стен все гвозди и скобы, использовали даже рыболовные крючки. Проезды во всех башнях намертво

засыпали землей и затрамбовали. Пустые амбары и стойла разобрали на бревна, распилили их на длинные чурбаки и закатали на валы. Из земли выворотили все камни, что нашли, сложили кучами. Живая работа и ожидание приступа, вслед за которым придет облегчение — или отступление вогулов, или собственная гибель, — словно вдохнули силы в угасающую Чердынь. Чердынь уже ничего не боялась, кроме смертной тоски осады.

И вогулы, и чердынцы завершили приготовления к вечеру второго дня. На третий день следовало ждать приступа. Устали все, и все понимали, что бой будет решающим. Чердынцы усыпали валы, обламы и обходы, оглядывая посад и подступы. Вогулы жгли костры на околице, разъезжали на конях, кучами сидели на крышах уцелевших изб, рассматривая заново башни и частоколы, примериваясь. За их спиной — над Русью — горела тусклая вечерняя заря, какая-то малиновая, словно остывающий металл, и вдоль ее высоко поднятых рваных хоругвей в дыму плыли сизые узкие тучи, будто насеченные из железных полос. А за спиной Чердыни, за Колвой над Югрой вставало крыло тьмы, но все никак не могло распрямиться, взмахнуть и накрыть собою Чердынь — точно боялось обжечь оперенье о раскаленный багровый уголь Полюдовой горы.

Михаил в сумерках позвал людей на сход.

— Надо ль говорить, что нас завтра ждет? — спросил князь. — Вас, — он обвел рукой толпу мужиков, баб, отроков, стариков, — мне учить стойкости нечего. Это наша земля. Она наши города и храмы держит, кормит нас хлебом, принимает в себя наши кости. Мы правы, нам себя корить не за что, и бог за нас. Славьте имя его. Пока у нас еще есть ночь, покайтесь и причаститесь, грехи замолите, простите долги и обиды. С чистым сердцем до победы ближе. Я же сам у мира прошу прощенья... — Он замолчал, стоя на крыльце и разглядывая бледные в полумраке лица в толпе. — Может, завтра закат и не увижу...

— Что ж, мы князя не убережем? — раздался в темноте неуверенный одинокий голос.

— Я не о том. Все может быть. Вогулы могут и одолеть. Их вдесятеро больше. Но мы должны драться. Так? Мне город наш дорог. Я его и потерял, и заново отстроил. Но город — это люди. Была бы возможность, я бы откупился и городом, и княжьей казной, чтобы сберечь людей. Мог бы — под защитой дружины с боем вывел бы всех к лесу. Но судьба мне того не позволила. И меня, и вас судьба с Чердынью намертво связала. Порознь — мы ничто, никто. Вот еще и поэтому мы должны выстоять. Облик свой человеческий — и, значит, божий, — сохранить. Вогулы хотят нас измором

взять, а измором мы их взяли. Они первыми не выдержали. Соберите силы, подождите отчаиваться — нам надо вогулов во второй раз сломить. И больше они не оправятся. Уйдут. Надо только выстоять. Мы ведь собою Русь закрыли.

— Что ж, без нас вогулы до Москвы дойдут? — насмешливо и зло крикнул кто-то.

— До Москвы вогулы не дойдут, — спокойно согласился Михаил. — Но из Московитии на наши заповедные земли идут жить люди, так же, как и вы когда-то пришли. И если мы завтра не сдюжим, вогулы их еще сотню лет резать будут, как скот. А наша земля, хоть и малолюдная, — тоже Русь. Мы свою маленькую Русь защищаем. Если каждый свой дом защитит — вся держава неприступной будет. Если каждый по лучине зажжет — все небо в зареве. Великое из малого слагается. И нам оружие по замаху подбирать надо, а великим пусть царь и бог правят.

— Так пусть Русь-большая нам и поможет! — выкрикнул из толпы тот же голос. — Должна ведь она?

— Должна, — согласился князь. — Но что ж нам делать, коли ее все нет? Судьба нас искушает, пермские бесы. А вы не поддавайтесь, стойте крепко. И молитесь, чтобы Русь пришла. Молитесь, насколько сердца хватит.

И утро словно не хотело рассветать над людьми — мглисто расплылось над Чердынью, угрюмое, злое, тусклое. Чердынцы уже стояли на валах в бронях, держали в руках снятые шеломы и крестились. Тяжелый и сырой ветер трепал их светлые волосы, отросшие и кудлатые бороды, рукава и подолы белых рубах.

Вогулы подступили ордой. Они шли молча, бренчали деревянными доспехами, волокли свои зубастые мувлахи — лестницы из еловых стволов. За спиной у каждого висел щит. Лучники полезли на кровли изб.

Еще с вечера к стене Спасской башни намертво прибили гвоздями высокое древко с пермской хоругвью. Полотнище раскачивалось, колыхалось, и было похоже, что серебряный медведь с книгой на спине медленно переходит вброд кровавый речной пережат. Михаил решил биться под хоругвью, как на Искорке. С его увечной ногой ему оставалось лишь одно — взяться за самострел. И он взялся. Зацепив носком сапога стремя на острие лова, он с трудом перекинул тугой рычаг, запер тетиву крючком и вложил в желоб толстый болт с шипастым лезвием. Укрывшись за выпуском бревен на углу обхода, он подпер самострел рогаткой и нацелился на берег рва, придерживая наклоненный болт пальцем.

Как на камлании, дружно взвыли вогульские ведьмы. Стрелы тупо

забарабанили по бревнам частокола, по венцам башни, зафыркали, перемахивая зубцы и падая на крыши амбаров в остроге. Чердынцы прятались, сидя под зубцами на корточках. Вогулы ринулись на приступ всем войском, сразу засыпав и берег, и забутованный ров. Как копья, они несли длинные мувлахи, подняв повыше их острые клювы.

Редкие чердынские стрелы скользнули из бойниц и исчезли бесследно в толпе вогулов, как капли в волне. Михаил тоже дернул крючок, и самострел крякнул, подпрыгнув. Князь увидел, как его болт ударил прямо в шлем одного вогула, и шлем разъехался, расклепался на бронзовые лепестки, а вогул, оглушенный, упал на четвереньки, выронив щит и меч.

Тупые морды мувлах полезли между зубцов, цепляясь сучьями за бревно частокола. На миг князю показалось, что уже нет ни одного промежутка между остриями бревен, куда бы не всунули мувлаху. Их приставили к стене столько, что Чердынь вмиг напомнила Михаилу тысячевесельную ладью. Сотни вогулов, прикрывая головы щитами, стремительно кинулись вверх по мувлахам к гребню стены, будто кошки на охлупень.

Но десятки чердынских острых шеломов выросли над стеной, будто частокол удвоился, и началась рубка — не сеча, а рубка. Бердыши и секиры, клевцы и чеканы на длинных ратовищах с широкого, как на свадьбе, замаха били по сучьям и рылам мувлах, по лицам и грудям вогулов, взлетевших на зубцы. Кровь и железо расплескались над стеной; с частоколов посыпался вниз drobный стук, звон и хряск.

Вогулы валились друг на друга; убитые сшибали живых с мувлах, как шишки с кедра; люди катились под стены, точно репы из порванного мешка. Но что там три сажени высоты частокола? Упавшие вылезали из-под раненых и мертвых и опять лезли наверх. Как пьяная бражная пена над краем кружки, вогулы, бурля, нависли над гребнем стены. Нависли — но не могли упасть, будто что-то держало их в воздухе, не давая коснуться земли валов.

Михаил стрелял в гущу вогульских шеломов, ободрав тетивой пальцы, и там, внизу, капли его крови на болтах, наверное, искрами вонзались в вогульскую кровь. А чердынцы осатанело рубились у зубцов, хрипели, задыхались и кололи на поленья черный вогульский сухостой. Никакой щит, дважды обтянутый лосиной кожей, не мог выдержать литого удара клевца и разлетался щепками; вминались в мозг, выдавливая глаза, раздробленные кости черепов, обломки шеломов, кованые ребра чердынских чеканов и шипы шестоперов; булатные хорасанские мечи вогульских косатых богатырей вырывались из рук, ломая пальцы, когда

перекрещивались с ясным железом пудового боевого топора. Пока одни чердынские ратники бились с вогулами, повиснув на стене с зубьями частокола под мышками и поражая врага на внешней стороне, с внутренней стороны другие ратники отрубали сучья на концах мувлах, рогатинами, натужась, поднимали над частоколами еловые бревна с сидящими на них врагами и сбрасывали их наружу наискосок. Через частокол перекатывали и пускали вниз заготовленные чурбаки, которые, крутясь, катились по мувлахам, как по сходням, заматывая вогулов вокруг себя в клубок. Мальчишки тащили стрелкам пучки подобранных стрел, бабы волокли на валы короба с камнями. Вогулы наваливались волна за волной, как волчьи выводки, но Чердынь дралась, как загнанный в берлогу медведь, направо и налево расшвыривая волков лапами, полосуюя когтями, разрывая клыками.

Вогулов было достаточно, чтобы затопить весь острог, но все меньше оставалось лестниц, измочаленных и расщепленных чердынцами. Вогульская орда, редая, оползала по стенам вниз, как обессиленная туча туманом и клочьями сползает по склонам горы в дол, оставляя чистую скалу вершины. Только яростнее взвыли вогульские стрелы, в досаде долбя непокорные частоколы. Михаил отошел за угол четверика и поразился: ему казалось, что прошло всего чуть-чуть, а солнце уже взмыло в самое поднебесье, будто в страхе шарахнулось подальше от Чердыни.

Ратники сидели на валах спиной к частоколу, тяжело дышали, стирали с глаз мокрые волосы. Шеломы, как пустые горшки, лежали на земле. Скорчившись, все в крови, изломанные, валялись мертвецы — и свои, и чужие. Бабы тащили раненых; кто кричал, кто стонал — ратники не оглядывались. Мальчишки за спинами отцов и старших братьев опасно забирались на забрало, глядели меж кольев на отступивших вогулов, осторожно, с робостью и уважением брали в руки, едва удерживая, тяжелые иззубренные топоры с длинными и скользкими рукоятями. Будто опавшей листвой, склоны валов и дворики были забросаны вогульскими стрелами, хрустевшими под ногой князя, как хворост.

Словно лесорубы на лесосеке после жаркой работы, они жадно обедали у костра: глотали бурую, глиняную воду из берестяных ковшей, рвали зубами мылку синюю конину.

— Как думаешь, князь, — спросил один из ратников, — полезут нехристи другой раз?

— Полежут, — кивнул Михаил.

И вогулы, наладив новые мувлахи, к вечеру подступились опять. Михаил за железными остриями своих болтов, целясь, видел их лица, их

отважные лица — все одинаковые, смуглые и безбородые, искаженные, с прозрачными от бешенства глазами. Это было адски трудно — после ужаса, крови и сумятицы неудавшегося приступа вновь гнать себя в бой, в ужас, кровь и сумятицу, и еще труднее было преодолеть эту острозубую бревенчатую стену. Наверное, живым вознестись на соколиное небо, где обитают души героев, было легче, чем ползком подняться на эти три сажени вверх, — но труднее всего было повернуться и уйти прочь ни с чем. Теперь вогулы тащили с собой свои рогатые, хвостатые бунчуки с оленьими и волчьими черепами, теперь на берегу рва выли, хохотали, пели, били в бубны, бесновались и кувыркались в пыли с пеной у рта шаманы, призывая в битву всех вогульских богов. Вогулы уже не защищались, ничего не боялись, лезли напролом. Они мертвецами задавили чердынцев, завалили, как диких зверей, вытаскивая из ловчей ямы живьем, заваливают мокрыми шубами, и прорвались в острог.

Они прорвались не везде, только в нескольких местах, но зачем? Это было бессмысленно. Чердынь решила стоять насмерть, до последнего защитника, и любой, кто решил победить ее, должен был пробраться в нее сквозь мечи и частоколы. Все ворота, все проезды были наглухо засыпаны землей. Прорвавшиеся в острог вогулы бежали к воротам, чтобы открыть их для своих, и там, загнанные в тупик, падали под стрелами, повисали на копьях.

Монастырь, оттесненный в сторону, как младший брат, увидел, что вогулы посыпались в острог через гребень стены. Он не хотел оставаться на этой земле один. Его ворота раскрылись, и вновь из них в бок вогулам врезалась рать в черных подоткнутых рясах и железных клобуках.

Но вогулы помнили о прошлом жестоком и коварном ударе, и словно бы все их хонты разом повернулись лицом к монастырю. Вогулы бросились на монахов, будто бы ворота монастыря вели в острог, и даже те, кто мгновение назад полз по мувлахам на частокол, спрыгнули вниз и побежали к обители. Вогулы хотели хоть какой-то, хоть малой победы; в них кипела невымещенная ярость. Черные рясы и черные одежды из шкур вмиг перемешались, как две столкнувшиеся грозы, и в общей туче заблестели молниями лезвия мечей.

Вогулы смяли монахов как траву, разорвали на клочки, расшвыряли и ринулись в открытые ворота монастыря. Дикий вой взлетел выше звонницы, и даже лемеховые купола будто бы поплыли в головокружении от внезапного приступа. Монастырь внутри загремел, как барабан, затрепал. И чердынцы полезли на зубцы своего частокола, покатались вниз по вогульским мувлахам.

Никто, наверное, и не думал, что монахов надо выручать, — просто в пылу боя неумогу было остановиться на ползамахе, когда враг вдруг развернулся и побежал в другую сторону. Такая битва могла завершиться только тогда, когда свалится последний вогул или последний чердынец. Чердынцы перелетали стену, прыгали с трехсаженной высоты, падали среди мертвецов, вскакивали и мчались вслед за вогулами. И невозможно было их задержать, образумить. Никому уже не было дела до того, что выйти в поле означало — погибнуть, ведь в поле вогулов не одолеть. Но даже видя этот гибельный бросок своей рати за врагом, Михаил не думал о гибели. Наоборот, ему казалось, что это — знамение победы, что теперь уж точно никому не взять, не сломить Чердынь. И он понимал, что какая-то причина этой радости победы должна все же быть, и, наверное, уже есть, но пришлось даже трижды оглянуться, чтобы осознать увиденное: за дальним частоколом и дальними башнями во всю ширь Колвы разметнулись струги, ладьи, барки, лодки, плоты с распушенными парусами и растопыренными веслами.

— Русь! Русь пришла!.. — закричал Михаил.

Струги и плоты выползали на отмели. С них сыпались воины с алыми, вырезанными каплей щитами, в брызгах бежали по мелководу. Два оврага под боками острога — Чердынка и Прямица — вдруг загудели, затрясли космами уремы и, ожив, как пересохшие источники, выбросили наверх, в поле, две струи русского войска.

Пламя и колокольный звон наискось выметнулись из монастыря в небо, и в отблеске этого взрыва на кривых улочках порушенного посада смешались все рати — вогульская, чердынская, русская. Все заметалось, задергалось, заискрилось, развалилось на куски, как в сказке. Михаил одним прыжком очутился на земле, другим — на валу, третьим — уже за частоколом. В монастырь, в монастырь, скорее туда, где в дыму вставало клином яркое пламя, где была Тиче.

— Тиче!.. — кричал Михаил, надсаживаясь.

Вогулы словно провалились сквозь землю. Нигде их не было, а были вокруг только свои, только русские, бегущие, как и он, оружие, размахивающие мечами. Михаил, расшвыривая встречных, пробился сквозь узкий проезд воротной башенки в монастырь, и тотчас над ним во весь рост взметнулся огромный Иоанно-Богословский собор. Он горел.

Когда-то изваянный Калиной в образе ламии в снегах, он и сейчас был жив нечеловеческим духом: отшатнулась в сторону остроглавая звонница, будто обожженная, и высоко, грозно чернели купола в короне пламени. Пылающие доски кровли, срываясь, плыли и кружились в небе над толпой,

раскатывающейся от пожара кто куда.

— Тиче! — кричал Михаил.

— Княгиня! Там княгиня! — вторили ему чьи-то голоса.

И Михаил ничего уже не понимал. Все смешалось в его разуме — времена, города, люди. Горел Усть-Вым, горела Чердынь, горели деревянные соборы, и в зареве, в вихре огня, русский воин Полюд с двумя детишками на руках рвался сквозь пожар к спасению.

— Она там, князь! — хватая Михаила за плечи и разворачивая лицом к собору, кричал Калина и махал рукой: — Туда! Скорее!

Вслед за Калиной Михаил поскакал вверх по ступенькам крыльца, ворвался в трапезную, полную дыма. На полу в обломках столов ползали задыхающиеся люди, что укрылись в соборе от вогулов. Дверь в молельную была закрыта и заперта изнутри на засов. Михаил и Калина, не сговариваясь, ухватили длинную скамью и как тараном ударили ею в окованные створки, выбив их вместе с петлями, засовом и щепой косяка. Нестерпимый зной дохнул из молельной, как из пасти Ящера, и Калина, взыв, отскочил, заслоняясь руками. Вход зиял и пылал, словно зев печи. Но на князя жар будто не подействовал.

Широко раскрыв глаза, Михаил шагнул за порог.

Она была здесь — стояла под образами, прижимая к груди сына, глядела вверх на горящий иконостас и не оборачивалась на Михаила, словно молилась. А весь храм был освещен пожаром, и по всем стенам, как вода, стремительно струился ввысь прозрачный огонь и сливался над головой в прожженной дыре «неба» в немыслимо-яркий водоворот солнца. В потоке пламени оживали иконы, и какие-то святые вдруг начинали бесовски корчиться, плясать и таять, как восковые, а другие страшно чернели, чернели и исчезали в пустоте, где еще чуть-чуть, еще мгновение, отсвечивали угли их яростных глаз.

Тиче была нагая, и смоляные ее кудри взметнулись над плечами, как крылья ворона. От дикого зноя тряпками провисали оклады образов, но ни Тиче, ни младенец не кричали, словно зачарованные, словно перед князем была сама бестелесная Богоматерь-Умиление.

— Тиче! — позвал Михаил. — Тиче! Вернись!..

Она медленно оглянулась на него, разворачиваясь, и Михаил увидел, что она смеется — беззвучно смеется, откидывая голову, а по телу ее, по рукам, по бедрам ползет янтарный пот, точно смола по идолу, точно лампадное масло. А ребенок спал, прислонившись виском к ее щеке и обхватив ее ручонками за шею.

— Тиче! Не покидай меня!.. — просил князь.

Черты ее лица, ее тела задрожали, словно отражение в воде. Она отняла младенца от груди и опустила, прижав к животу. Она будто плавилась, как свеча, оплывала, искажалась, и наконец Михаил понял: нет, не Богородица, а золотая Сорни-Най с дитем во чреве, сияя, стоит перед ним и долго, безмятежно, страшно улыбается ему, закрыв глаза.

Целое облако непроглядно-блистающих алых искр поднялось и закружилось вокруг Золотой Бабы, и она начала опускаться — то ли прогорел пол, то ли земля поглощала в свои недра ламию, то ли дьяволицу низвергало в пекло. Тугой завиток огня вихрем окрутил князя, сжигая волосы и бороду, и вышвырнул сквозь разбитый дверной проем. Калина подхватил его и поволок на улицу, бессмысленно и потрясенно бормоча:

— Вот и все, Мишаня... Все, все...

И уже из ворот проезжей башенки монастыря они увидели, как гора собора начала ломаться, грузно покосилась набок, точно от удара под дых, и со склонившихся шей начали срываться и падать, разбиваясь на площади, огненные клубки куполов.

И потом еще что-то было, голоса, люди, лица, плечи, руки, брони, смех, слезы, Матвей, тревожно и опасливо вглядывающийся в отца, воевода Андрей Мишнёв, обнимавший Михаила и что-то рассказывавший, блестя в хохоте зубами, — но перед глазами князя было только медленное превращение Тиче в Сорни-Най и высокий стог огня на месте храма.

Михаил очнулся глубокой ночью. Оказывается, он не спал, не терял сознания — он жил, и ходил, и говорил, но на самом деле он ничего не видел, ничего не слышал, ничего не понимал, хотя никто этого и не заметил. Он стоял посреди пустой улочки посада. Посад ожил. В темноте в окошках полуразвалившихся домишек светили лучины; во дворах пылали костры, вокруг которых сидели люди. Их было много, они бражничали, пели, радовались избавлению, горевали о погибших. Их жизнь продолжалась, а его, Михаила, будто остановилась — не оборвалась, не кончилась, а непостижимо замерла на месте, будто луна посреди ясного дня. Михаил стоял посреди пустой улицы один, совершенно один, и хотя вокруг по домам и дворам были сотни людей, он внезапно ощутил такое страшное одиночество, какого не знал никогда.

Он пошагал по улочке вперед, и она вывела его к Спасской башне. Ворота уже раскопали. Михаил спустился в ров и поднялся на вал, прошел в острог. И острог был совершенно пуст. Зачем его так ожесточенно обороняли? Чтобы оставить, как только станет возможно? Михаил молча усмехнулся своей глупой ревности.

Он поднялся по лестнице на обход башни и остановился. Ночь была темная, облачная, беззвездная. Еле отсвечивала тусклая Колва. По берегам, по лощинам и оврагам, по еланям и лугам лежал туман, укрывший неубранных мертвецов.

Вот так. Прихотливые, извилистые линии судьбы вдруг сложились в единый, ясный осмысленный узор. Таинственные круги судьбы пересеклись, сплелись в кружево, неразрывное, как кольца кольчуги.

— Михан, — вдруг окликнули князя откуда-то снизу, с края рва.

Он прищурился, разглядывая какого-то человека в зыбком тумане.

Это был Асыка. Вогул стоял босой, без брони, без меча, без рогатого оленьего черепа на голове. Длинные сивые волосы, перевязанные тесемкой, хвостом лежали за спиной. Через плечо у Асыки был надет лук. Постариковски медленно Асыка стащил его через голову, достал откуда-то стрелу, наложил ее на тетиву, нацелил на князя.

«Он стар и слаб. Он проиграл. Он стоит далеко и в тумане, — спокойно подумал Михаил. — Я дам ему выстрелить в себя... но только один раз. Только один. Он все равно промахнется. Потом я уйду».

Вогул оттянул тетиву, разжал пальцы. Стрела запела. Михаил услышал, как пение ее оборвалось звуком тупого удара.

«Не попал, — усмехнулся князь. — Судьба». Он повернулся, чтобы уйти, и почему-то все небо и вся Чердынь повернулись вокруг него, и он будто полетел то ли вверх, то ли вниз, в пустоту. «Он ведь не попал!.. — удивился Михаил, раскидывая руки для полета. — Ведь я жив, я все чувствую и понимаю, и значит, смерти нет, смерть — ничто. Все вопросы, все ответы, весь смысл — в жизни, а смерть — ничто...»

Но он уже не мог произнести этих слов, потому что на губах его было молчание, а в глазах — прозрачная тьма, потому что, убитый, он уже лежал вниз головой на заросшем откосе рва под Спасской башней. И он уже не был князем, не был человеком, а был только корнями отцветающих трав, только палой листвой, только светящимся песком.

2000 г.